
Н.РАЕВСКИЙ
ИЗБРАННОЕ


Н.РАЕВСКИЙ
Избранное



Н. РАЕВСКИЙ





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р 2
Р 16

Ответственный редактор
Р. В. ИЕЗУИТОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Р $\frac{70302\text{-}368}{028(01)\text{-}78}$ без объявл.




ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящее издание знакомит широкого читателя с двумя книгами писателя Николая Алексеевича Раевского — «Портреты заговорили» и «Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин».

«Портреты заговорили» — книга необычная. Изданная более чем стотысячным тиражом, она быстро завоевала широкую читательскую известность и уважение ученых-специалистов. В чем секрет такого внимания к ней?

Прежде всего, конечно, в самой теме. Имя Пушкина, обстоятельства его жизни, непреходящая для всех нас загадка его гения — все это уже является залогом неравнодушного отношения к труду того, кто берется рассказать о Пушкине.

На первый взгляд может показаться, пожалуй, что Пушкина в этой книге нет — как бы нет. Есть умная, энергичная Елизавета Михайловна Хитрово с «дочкой Доллинькой»; есть «властитель слабый и лукавый» Александр, показанный с весьма, скажем, необычной для нас стороны; есть Петр Андреевич Вяземский и княгиня Вера Федоровна, есть Василий Андреевич Жуковский, Александр Иванович Тургенев, есть свояченицы Пушкина и его жена, есть множество их великосветских знакомых и современников.

Н. А. Раевский обращает читателя к воспоминаниям, дневникам, переписке давно ушедших в небытие людей, и пестрая толпа их, окружавшая Пушкина, словно обступает нас вместе с ним, посвящая в свои большие и маленькие, важные и незначительные дела и волнения. Автор этой книги словно вводит нас незримо в первую половину девятнадцатого столетия и ведет бок о бок с Пушкиным по дворцам и салонам тех, кто знал воочию поэта и кого он видел перед собой. Под пером писателя оживают лица, для большинства из нас безвестные, если б не Пушкин.

Следует отдать должное Раевскому, счастливо сочетающему талант исследователя с дарованием повествователя. Его выводы и умозаключения, его гипотезы и предположения* покоятся на основательном изучении архивных источников, его рассказ пронизан превосходным ощущением эпо-

---

* К числу таких авторских гипотез относится не решенный исследователями вопрос о ночном свидании Пушкина с Д. Фикельмон в особняке на Дворцовой набережной. *(Ред.)*

хи и знанием среды, описываемой им. Серьезное научное исследование у Раевского органически сплавлено с эмоциональным бытописанием и поучительной картиной нравов.

И тем не менее книга Н. А. Раевского рассматривает трагедию Александра Пушкина через призму личных отношений, автор приводит множество интереснейших и новых по существу документов, но, увлеченный этой стороной исследовательской работы, он мало говорит о том, что уже давно стало достоянием советского пушкиноведения — об истинных причинах трагедии великого поэта: о преследовавшем свободное слово царизме, о гнетущей атмосфере двора Николая I, о чем так прекрасно сказал великий современник Пушкина в своем стихотворении «Смерть поэта»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..

Обстоятельства Раевского сложились так, что довольно значительный период жизни, около тридцати лет, он прожил за границей. Биолог по образованию и основному роду занятий, писатель многие годы посвятил изучению пушкинской эпохи и всего, что связано с именем поэта.

«Если изучение государственных архивов западноевропейских стран началось еще в 1910-х годах П. Е. Щеголевым, при подготовке его исследования «Дуэль и смерть Пушкина», с помощью Академии наук и министерства иностранных дел России, и дало значительные результаты, то личные, семейные и родовые архивы не были вовсе изучены нашим пушкиноведением и оставались недоступными и неучтенными. Именно в этом направлении и были предприняты Н. А. Раевским первые шаги,— говорит один из старейших советских пушкинистов доктор филологических наук Н. В. Измайлов.— При этом надо иметь в виду, что умение отыскивать и привлекать новые источники связано у него с умением завязывать личные связи и отношения, о чем он рассказывает не только как исследователь, но и как мемуарист-художник, прирожденный литератор.

Павел Воинович Нащокин, которому посвящена вторая в этой книге работа Раевского,— один из своеобразнейших и замечательнейших представителей русской дворянской интеллигенции первой половины XIX века, человек большого и оригинального ума, разнообразных дарований (которым он, как и многие его современники, не нашел применения), с тонким литературным и художественным вкусом. Не являясь писателем, артистом или художником, он тем не менее снискал себе известность в литературно-художественных кругах, заслужил дружбу и привязанность выдающихся деятелей русской культуры, таких как Гоголь, Белинский, Баратынский, Вяземский, Верстовский, К. Брюллов, П. Соколов, Щепкин и многие другие. Главным же является то, что Нащокин, бесспорно, один из самых близких к Пушкину людей, если не самый близкий, особенно в последние годы жизни

поэта, преданный друг, которому Пушкин поверял свои мысли и переживания. В этом смысле никто — ни Жуковский, ни Вяземский, ни Чаадаев — не может равняться с «Войнычем» Нащокиным.

Представляют большой историко-культурный и характерологический интерес и многие лица, близкие к Нащокину: его отец, типичнейший образец военного деятеля XVIII века; его жена Вера Александровна, дочь богатого барина и крестьянской девушки, разделявшая с мужем дружбу Пушкина и сохранившая почти до девяноста лет живую память о поэте; сам этот барин, ее отец, дальний родственник Нащокина, друга Пушкина; автор прослеживает также судьбы детей и внуков Нащокиных, их ныне живущих потомков, от которых он получил целый ряд новых документов. Все это вместе взятое дает широкую картину жизни людей и общественных отношений с 1820-х годов почти до начала нашего века».

Предназначенные в первую очередь для специалистов — историков и литературоведов, книги Раевского далеко выходят за пределы узко обозначенной темы и жанра и представляют увлекательное чтение для всех, кто интересуется русской историей и культурой.

ПОРТРЕТЫ ЗАГОВОРИЛИ






ВВЕДЕНИЕ



ем лучше мы знаем жизнь Пушкина, тем глубже и точнее понимаем смысл его творений. Вот главная причина, которая уже в течение нескольких поколений побуждает исследователей со всей тщательностью изучать биографию поэта. Не праздное любопытство, не желание умножить число анекдотических рассказов о Пушкине заставляет их обращать внимание и на такие факты, которые могут показаться малозначительными, ненужными, а иногда даже обидными для его памяти.

В жизни Пушкина малозначительного нет. Мелкая подробность позволяет порой по-новому понять и оценить всем известный стих или строчку пушкинской прозы. Нет ничего оскорбительного для памяти поэта в том, что мы хотим знать живого, подлинного Пушкина, хотим видеть его человеческий облик со всем, что было в нем и прекрасного и грешного. В этом отношении можно согласиться с Вересаевым, который сказал: «Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях»[1].

Дорогой всем нам образ становится еще ближе и дороже, когда мы вплотную подходим к поэту и пытливо вглядываемся в его человеческие черты.

Этими мыслями я руководствовался и при своих работах по Пушкину.

В настоящее время архивы СССР в отношении пушкиноведческих материалов изучены очень тщательно, но находки отдельных текстов поэта и материалов о нем продолжаются и, несомненно, будут продолжаться.

---

[1] В. Вересаев. Пушкин и Евпраксия Вульф.— В кн.: «В двух планах». М., 1929, с. 87.

В самые последние годы систематическое изучение обширного архива семьи Гончаровых, хранящегося в Москве в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА),— казалось бы давно и хорошо известного,— дало ряд новых и очень существенных материалов. Интересные находки были сделаны и в других архивах нашей страны (ЦГАОР, ЦГИАЛ и др.).

Совершенно иначе обстоит дело в отношении пушкинских материалов за границей.

Есть, во-первых, категория архивов, о которых пока можно лишь сказать, что когда-то они существовали и, вероятно, содержали немало ценного. Пушкинисты насчитывают пять-шесть таких собраний.

Наряду с этими затерявшимися источниками есть и архивы известные, но по разным причинам недоступные. Наконец, третью группу составляют хранилища, полностью или частично доступные для изучения.

Сейчас нас, однако, интересуют по преимуществу материалы ненайденные или недостаточно изученные. Их, в свою очередь, можно разделить на три группы: архивы официальных учреждений, частные архивы иностранцев и архивы русских, в разное время переселившихся за границу.

Работая над своей книгой «Дуэль и смерть Пушкина», первое издание которой вышло в 1916 году, П. Е. Щеголев получил через министерство иностранных дел копии донесений аккредитованных в Петербурге дипломатов о гибели поэта. Эти материалы оказались очень интересными и ценными, но голландское министерство иностранных дел из соображений национального престижа отказалось сообщить донесения посланника в Петербурге барона Геккерна, как известно, сыгравшего неблаговидную роль в драме Пушкина (частично они стали известны по перлюстрациям, хранившимся в архиве нашего министерства иностранных дел). Только в 1936 году запрещение было частично снято, но наиболее важный документ — письмо Николая I принцу-регенту Вильгельму Оранскому с требованием об отозвании Геккерна, которое, возможно, хранится в личном архиве голландской королевской семьи, не опубликовано и до сих пор.

Точно так же остается совершенно недоступным архив Высшего дворянского совета Голландии. Кроме того, французское министерство иностранных дел сообщило в свое время, по-видимому, не все документы о дуэли, в которой в качестве секунданта Дантеса участвовал секретарь посольства виконт д'Аршиак.

С другой стороны, не все русские дипломаты исполнили поручение своего министерства о розыске соответствующих материалов в архивах стран, в которых они были аккредитованы.

Таким образом, несмотря на содействие такого авторитетного учреждения, как министерство иностранных дел, ряд документов все же не был разыскан и ждет дальнейших исследований.

Поиски частных архивов за границей и, главное, получение допуска к ним — дело не легкое и весьма деликатное.

Все зависит от доброй воли владельцев. Пушкинские материалы к тому же в силу ряда причин попали преимущественно в руки самых верхов международной аристократии, не склонной вообще допускать посторонних людей к своим семейным бумагам.

Надо, однако, сказать, что в этой замкнутой и труднодоступной среде архивы обычно сохраняются очень хорошо. Приведу пока один пример, к Пушкину не относящийся.

Однажды я побывал в частично доступном для обозрения громадном архиве князей Шварценберг в чешском городе Тшебони. Он состоял из двадцати четырех камер, разделенных стальными перегородками, и обслуживался несколькими специалистами-архивариусами. Одна из камер содержала бумаги чешской семьи Ружемберг (Розенберг), вымершей более трехсот лет назад.

Таких частных архивов, насколько я знаю, в России не было. Но и в скромных поместьях небогатых европейских дворян бумаги хранились тщательно. Благодаря этому, если давно исчезнувший из поля зрения архив не погиб от какой-либо стихийной причины, имеется надежда его обнаружить.

Однако даже архивы, никуда не исчезавшие, порой очень труднодоступны. Примером может служить история писем Пушкина к его невесте Наталье Гончаровой.

Младшая дочь поэта, Наталья Александровна, родившаяся в 1836 году, первым браком была замужем за Михаилом Леонтьевичем Дубельтом, сыном начальника штаба корпуса жандармов генерала Леонтия Васильевича Дубельта, который в свое время, как известно, наблюдал за Пушкиным. В 1862 году она разошлась с мужем и в 1867 году вышла замуж за приехавшего в Россию офицера прусской службы принца Николая Вильгельма Нассауского. Еще перед венчанием, состоявшимся в Лондоне, зять принца, владетельный князь Георг Вальден-Пирмонт, пожаловал ей титул графини Меренберг, так как брак был «неравнородный», так называемый «морганатический», и титула принцессы Наталья Александровна носить не могла.

Дочь графини Меренберг, София Николаевна, в 1891 году вышла в Сан-Ремо (Италия) замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Михайловича*. Император Алек-

сандр III этого брака не признал, и супруги навсегда остались в Англии. Перед свадьбой дядя невесты, ставший к этому времени великим герцогом Люксембургским, пожаловал ей титул графини Торби.

Эти сложные генеалогические подробности[1] были бы для нас совершенно не интересны, но графине досталось от матери драгоценное сокровище — письма поэта к невесте. В России было об этом известно, и Академия наук добивалась возвращения их на родину, но графиня Торби, оскорбленная царским непризнанием своего брака, отказала наотрез и заявила, что пушкинских писем никогда Россия не увидит. В 1927 году графиня Торби умерла, а ее муж продал письма известному театральному деятелю и собирателю автографов С. П. Дягилеву, жившему за границей. Вскоре умер и он. Библиотеку и архив Дягилева выкупил танцовщик, впоследствии балетмейстер Парижской оперы Сергей Лифарь, который в 1936 году выпустил в Париже два издания писем — роскошное и более дешевое. В 1956 году этот почитатель поэта и коллекционер пушкинских автографов принес в дар Пушкинскому дому приобретенную им рукопись предисловия к «Путешествию в Арзрум».

Быть может, со временем вернутся в СССР и подлинники пушкинских писем к невесте...

Наряду с другими источниками большой интерес представляют архивы пушкинских современниц, по тем или иным причинам навсегда уехавших за границу, и частные архивы иностранных дипломатов, аккредитованных в Петербурге при жизни Пушкина.

Мои личные поиски касаются лиц двух последних категорий. Мне удалось, живя за границей, завязать ряд знакомств в той среде, в которую попали за рубежом пушкинские материалы. Я считал, что, разыскивая их, по мере сил выполняю свой долг перед русской культурой, перед светлой памятью гения.

Надеюсь, что читатель не упрекнет меня за изобилие титулованных особ, о которых придется упоминать. Я уже говорил о том, что материалы, так или иначе относящиеся к Пушкину, попали за рубежом преимущественно в руки людей знатных и богатых.

Приступаю теперь к рассказу.



[1] В книге «Если заговорят портреты» мною был допущен в этом отношении ряд неточностей, которые исправлены на основании статьи Н. Лернера «Зарубежное потомство Пушкина» («Столица и усадьба», 1916, № 67, с. 18—19).




В ЗАМКЕ БРОДЯНЫ



1933 году в лесах под Прагой был необычайный урожай белых грибов. Казалось бы, что между грибами и материалами, относящимися к Пушкину, связи нет никакой, но на этот раз она оказалась налицо. В один светлый, горячий июльский день я собирал белые грибы в дубовом лесу близ памятной для меня по многим причинам деревни Вшеноры. Рядом со мной прилежно нагибалась и осторожно извлекала из травы крепкие упругие грибки старая дама, внучка одного из братьев Натальи Николаевны Пушкиной. Фамилии называть не буду. Ее уже давно нет в живых.

Присели отдохнуть. Дама не раз рассказывала мне о гончаровском имении Полотняный Завод, где она выросла. На этот раз она приветливо, но хитро улыбнулась и спросила:

— Николай Алексеевич, а вы знаете, что в Словакии живет дочь Александры Николаевны Гончаровой, герцогиня Лейхтенбергская? Я на днях получила от нее письмо...

Я старался казаться спокойным, но на самом деле был очень взволнован. Родная дочь любимой свояченицы Пушкина Ази Гончаровой, племянница Натальи Николаевны, живет здесь, в Чехословакии, и никто об этом не знает!

Мое волнение возросло, когда я узнал, что престарелая герцогиня хорошо помнит свою тетку. Девочкой она любила сидеть на скамеечке у ее ног, когда Наталья Николаевна приезжала за границу. В замке есть альбом, принадлежавший Александре Николаевне, и в нем карандашный портрет вдовы Пушкина. Есть и еще какие-то реликвии.

Расстояния в Чехословакии невелики. Надо непременно побывать в замке. Задаю вопрос о его названии, но сразу вижу, что не так-то это просто... Дама явно не хочет сообщить

мне точный адрес. Отвечает описательно — замок находится недалеко от курорта Тренчанске-Теплице. Получается нечто вроде чеховского «на деревню дедушке». Не настаиваю, конечно. Достаточно того, что в этом замке живет герцогиня Лейхтенбергская.

Уже около двухсот лет в Германии ежегодно выходит «Готский альманах» — справочная книжка, в которой помещаются сведения о всех знатнейших родах Европы. Издаются в Готе и справочники, посвященные семьям менее знатным. «Карманная книжка графских родов», «Карманная книжка баронских родов». Составляются они очень тщательно, и нужные исследователю сведения, в том числе и адреса, там всегда легко найти.

В ближайший свободный день еду в Прагу. В великолепном старинном «зале докторов» Национальной библиотеки беру с полки красный томик с золотой короной. Начинаю перелистывать. Какое разочарование!.. Тщетно я прочитываю страницы, посвященные Лейхтенбергскому герцогскому дому. Нужной мне герцогини нет... Этого я никак не ожидал. Брак, правда, неравнородный — владелица словацкого замка официально герцогиней считаться не может, но в Готском альманахе упоминаются и морганатические супруги. В чем же дело? Совершенно невероятно, чтобы почтенная шестидесятилетняя женщина выдумала эту историю с дочерью Александры Николаевны.

Надо приняться за специальную литературу. В Праге собрана самая богатая в Западной Европе пушкиниана — русская и иностранная. Этим фондом заведует специальный сотрудник, который обычно заказывает все работы по Пушкину, выходящие в СССР и на Западе. Здесь же, в Национальной библиотеке, хранится четверть миллиона русских книг — в том числе все, что осталось от знаменитой библиотеки Смирдина, которой пользовался и Пушкин. Кроме чехословацкой столицы, за пределами Советского Союза нигде нет таких условий для пушкиноведческой работы.

Много часов я провел в зале докторов, стараясь найти какие-нибудь данные о дочери Александры Николаевны. Все было тщетно.

Старую даму я больше не беспокоил. Все равно не скажет, может получиться и хуже: скажет, но возьмет с меня честное слово молчать. Пока же я ничем не связан и имею право искать.

Так проходят тридцать третий год, тридцать четвертый и тридцать пятый годы. Я чувствовал, что надо торопиться. Герцогине около восьмидесяти лет. В Европе после прихода к власти Гитлера очень неспокойно.

Однажды на костюмированном вечере в одном частном доме я снова встретился со старой дамой. Подошел к ней

как был — в тюрбане магараджи, с бумажной звездой на смокинге. Попивая крюшон, мы долго говорили о владелице словацкого замка. Я надеялся, что в гостиной мне повезет больше, чем во вшенорском дубовом лесу, но ошибся. Попрежнему приветливо улыбаясь, дама сообщила мне, что герцогиня еще жива, недавно опять писала. Хотелось сказать моей собеседнице: «Не будьте графиней из «Пиковой дамы»! Откройте тайну, пока еще не поздно. Ведь не для меня же это». Но безнадежной попытки не сделал.

Развязка наступила неожиданно. Я уже редко вспоминал о словацком замке и его владелице, но поздней осенью 1936 года, перелистывая с совсем другой целью «Русский архив» П. И. Бартенева за 1908 год, я наткнулся на короткую заметку о том, что у Александры Николаевны была дочь красавица, которая вышла замуж за герцога Ольденбургского[1]. Обратите внимание, читатель,— не Лейхтенбергского, а Ольденбургского! Внучатая племянница Пушкиной, рассказав мне о герцогине, по всему судя, спохватилась и, не желая, чтобы я попал в замок[2], назвала мне не ту фамилию. Очевидно, так...

Но морганатическая супруга герцога Ольденбургского в Готском альманахе должна быть. До Национальной библиотеки далеко, а мне хочется все узнать сейчас же. Спешу во Французский институт имени историка Эрнеста Дени, в котором состою помощником библиотекаря. Там тоже есть альманах. Мое начальство, молодая специалистка по ассирийской клинописи, которая работает над докторской диссертацией, замечает, что я чем-то взволнован. Обещаю объяснить причину потом. Беру с полки красный томик.

Вот она! Герцог Антуан-Готье-Фредерик-Элимар Ольденбургский (1844—1896). Вдова: Наталья, урожденная баронесса Фогель фон Фризенгоф; брак несогласный с законами Ольденбургского герцогского дома. Курсивом адрес: замок Бродяны, Нитранская область, Словакия.

Итак, все ясно: Наталья Густавовна Ольденбургская (имя ее отца я знал давно). Готский альманах, правда, именует ее лишь «владелицей Бродян», но для родных и знакомых, как я потом убедился, она герцогиня*[3]. Так будем ее называть и мы.

Ключ найден. Остается лишь его повернуть. Однако задача оказывается нелегкой. Без соответствующей рекомендации

---

[1] «Русский архив», 1908, кн. III, с. 596. Мне не были в то время известны другие упоминания о дочери Александры Николаевны, имевшиеся в пушкиноведческой литературе.

[2] Как я узнал впоследствии, моя собеседница собиралась послать туда свою дочь, которая, надо сказать, никакого отношения к пушкиноведению не имела. Эта поездка не состоялась.

[3] Здесь и далее см. раздел «Комментарии автора»*.

писать герцогине Ольденбургской по поводу ее семейных воспоминаний и бумаг почти безнадежно. Не ответит, или ответит отказом, или обратится к племяннице, а та явно не хочет, чтобы я попал в замок. Малейшая неосторожность с моей стороны может все испортить. Обращаюсь к моим «готским» знакомым, чьи фамилии фигурируют в красной книжке. К сожалению, никто из них лично не знаком с герцогиней Натальей. Она давным-давно живет в Словакии и никуда не выезжает.

Чувствую все сильнее, что надо торопиться. Старушка родилась 8 апреля 1854 года. Ей восемьдесят два года. Решаю идти напролом. С разрешения администрации Французского института 24 декабря 1936 года отправляю в Бродяны письмо на официальном бланке. Обращаюсь к владелице замка в качестве русского исследователя с покорнейшей просьбой сообщить мне, не имеется ли в ее архиве каких-либо бумаг Пушкина или его жены. Наталью Николаевну, которая скончалась 26 ноября 1863 года, ее племянница могла видеть в последний раз только будучи восьмилетней девочкой, но все же я пишу (по-французски): «С глубоким волнением я думаю о том, что, быть может, Вы сами знали свою тетку и что в этом случае, без сомнения, в Вашей памяти остались какие-либо личные воспоминания о ней» [1].

Проходит одна неделя, проходит другая. Ответа нет. Признак плохой — в том кругу, к которому принадлежит Наталья Густавовна, и незнакомым людям отвечают немедленно или уже не отвечают совсем. Еще через две недели письмо из Бродян приходит, но почерк на конверте мужской. Смотрю на подпись — «Граф Георг Вельсбург».

Читаю французский текст:

«Ответ на Ваше весьма любезное письмо задержался вследствие внезапной смерти моей бабушки, герцогини Ольденбургской, 9 января. Моя бабушка все хотела лично Вас поблагодарить и сказать, что она очень сожалеет, не имея возможности сообщить Вам сведения о Пушкине, так как ее мать никогда не хотела говорить на эту деликатную тему, касающуюся ее сестры» [2].

Я опоздал... С грустью кладу письмо в папку «А. Ф.» — Александра Фризенгоф. Так и не удалось мне встретиться с дочерью Александры Николаевны, любившей сидеть у ног вдовы поэта. Последняя живая связь с тем временем оборвалась.

Хозяйка умерла, но ее замок остался, и так или иначе мне надо в него попасть.

---

[1] Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (Ленинград). В дальнейшем *ИРЛИ*.

[2] *ИРЛИ*.

Я списался с графом Вельсбургом и получил приглашение приехать в Бродяны во время пасхальных каникул 1938 года. Пользуясь случаем, я решил по пути осмотреть поле Аустерлицкого сражения, а также побывать в очень красивом краю — Моравской Словакии, знаменитой крестьянскими национальными костюмами.

Готовился к поездке тщательно. Моей целью было проложить дорогу в Бродянский замок для специалистов-пушкинистов. В том, что в никем из них еще не посещенном замке, где Александра Николаевна прожила около сорока лет*, окажется много интересного, я не сомневался, но надо было тщательно обдумать, о чем можно говорить в Бродянах и о чем нельзя. Я снова перечитал все, что мог достать в Праге, об Александре Николаевне Гончаровой, ее семье и ее отношениях с Пушкиным. Выписками заполнил толстую карманную книжку.

В солнечный, но холодный апрельский день я сел в балканский экспресс, и памятная поездка началась. После завтрака в вагоне-ресторане сижу за чашкой кофе и от нечего делать вынимаю свою записную книжку (она уцелела и хранится теперь в Пушкинском доме в Ленинграде)[1]. Надо еще раз перечитать свой конспект.

Александра Николаевна Гончарова родилась годом раньше жены поэта — 27 июля 1811 года. Потомственная дворянка по происхождению, но дворянство Гончаровых весьма недавнее. При Петре I выдвинулся их предок — оборотистый и предприимчивый торговец и промышленник Афанасий Абрамович. Екатерина II в 1789 году возвела Гончаровых в дворянское Российской империи достоинство, но фактически они уже давно вели жизнь богатых дворян и породнились со старинной знатью.

В те годы, когда Азя Гончарова, как ее звали близкие, была девочкой, от прежнего богатства оставалось очень немного. Любящий, но беспутный дедушка Афанасий Николаевич промотал огромное состояние и продолжал проматывать его остатки.

Вскоре после женитьбы, 22 октября 1831 года, Пушкин в письме к своему другу П. В. Нащокину отзывается об этом дедушке весьма непочтительно:

«Дедушка свинья; он выдает свою третью наложницу замуж с 10000 приданого, а не может заплатить мне моих 12000 — и ничего своей внучке не дает»[2].

---

[1] *ИРЛИ*.

[2] В настоящей книге цитаты из произведений и писем Пушкина приведены по изданию: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Под ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана. М., Гослитиздат, 1959—1962. Исключения оговорены.

Вообще, обстановка в семье Гончаровых тяжелая. Отец Ази, Николай Афанасьевич, одаренный и прекрасно образованный человек, психически ненормален. По временам наступают настоящие приступы безумия. Мать, Наталья Ивановна, урожденная Загряжская, тоже женщина не без образования. По-русски, как и многие барыни того времени, пишет, правда, безграмотно, но французский знает неплохо. Характер у нее тяжелый, деспотический. Дети от нее сильно страдают, особенно дочери. Матери боятся, но вряд ли ее уважают[1]. Дома вести не умеет. Гончаровские миллионы растрачены, но бумажная фабрика и земля продолжают еще давать немалый доход. На пропитание Наталья Ивановна получает изрядные суммы*, а распоряжается ими плохо. В доме постоянный беспорядок. На балах юные барышни Гончаровы иногда появляются в лопнувших перчатках и стоптанных башмаках. Выдав замуж за Пушкина красавицу младшую, мать за неимением средств старших дочерей поселяет в калужской деревне.

В 1936 году опубликованы три французских письма Александры Николаевны к старшему брату Дмитрию, относящихся к этому периоду[2]. У остроумной барышни очень злой язычок. Чувствуется почтительное недовольство матерью, а дедушке достается сильно. Летом 1832 года (дата написана очень неразборчиво) она сообщает: «Вот мы и опять брошены на волю божию: маменька только что уехала в Ярополец, где она пробудет, как уверяла, несколько недель, а потом, конечно, еще и еще несколько, потому что раз она попала туда, она не скоро оттуда выберется <...>».

«Сюда накануне отъезда маменьки приехали Калечицкие и пробудут здесь до первого. Не в обиду будь сказано дедушке, я нахожу в высшей степени смехотворным, что он сердится на нас за то, что мы их пригласили на такое короткое время. Тем более, что сам он разыгрывает молодого человека и тратит деньги на всякого рода развлечения. Таша[3] пишет в своем письме, что его совершенно напрасно ждут здесь, так как ему чрезвычайно нравится в Петербурге. Это не трудно, и я прекрасно сумела бы делать то же, если бы он дал мне хоть половину того, что сам уже истратил. К у д а н е п р и с т а л о с т а р и к у д у р а ч и т ь с я!» (последняя фраза по-русски).

Как мы видим, недовольная своей судьбой, мятущаяся внучка отзывается о дедушке немногим мягче, чем Пушкин.

---

[1] «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах». Вступительная статья и примечания М. А. Цявловского. М., 1925, с. 63. В дальнейшем: *Рассказы о Пушкине.*

[2] «Летописи Государственного литературного музея», кн. I. Пушкин. Ред. М. А. Цявловского. М.—Л., 1936, с. 419—425. В дальнейшем: *Лет. ГЛМ.*

[3] Домашнее имя Натальи Николаевны Пушкиной-Гончаровой.

Афанасию Николаевичу Гончарову оставалось в это время жить всего несколько недель. Он скончался 8 сентября 1832 года.

Немалую роль в жизни Александры Николаевны, видимо, играют литература и искусство. Если верить позднему (записан в 1887 году) рассказу князя А. В. Трубецкого, «еще до брака Пушкина на Natalie, Alexandrine знала наизусть все стихотворения своего будущего beau-frére и была влюблена в него заочно»[1].

В цитированном нами письме она просит Наталью Николаевну «попросить мужа, не будет ли он так добр прислать мне третий том его собрания стихотворений[2]. Я буду ему за это чрезвычайно благодарна». Упоминает Александра Николаевна и о посещении имения С. С. Хлюстина. Хозяин был в отъезде, но дворецкий «показал нам весь дом, где у Семена прелестная библиотека. Я умирала от желания украсть у него некоторые из его прекрасных книг. Мы видели также портрет Настасьи[3] вместе с матерью, писанный маслом, когда она находилась в Колизее в Риме. Портрет действительно великолепен».

Долгое время думали, что барышни Гончаровы получили недостаточное образование. В своей книге П. Е. Щеголев отзывается о нем очень пренебрежительно: «Об образовании Натальи Николаевны не стоит и говорить»[4]. Опубликованная в 1936 году семейная переписка этого взгляда, однако, не подтверждает[5]. Вероятно, еще отец до своего заболевания постарался пригласить хороших домашних учителей. Дедушка тоже постоянно осведомлялся об успехах детей, в особенности внучек. Кроме обязательного тогда французского, их учили и по-русски и по-немецки. Имелся учитель музыки и учитель рисования.

Есть, наконец, сведения о том, что постоянными кавалерами подрастающих сестер Гончаровых были образованные молодые люди — студенты Московского университета. Говоря беспристрастно, они учились, видимо, не меньше и не хуже большинства дворянских барышень пушкинского времени.

Русские письма Александры Николаевны пока не опубликованы. Французские в 1832 году, когда ей был 21 год, написаны бойко и во всех отношениях грамотно. Их автор — духовно содержательная и культурная девушка*.

---

[1] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы, изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 424. В дальнейшем: *Щеголев*.

[2] Третья часть собрания стихотворений Пушкина, о которой идет речь, вышла в 1832 году.

[3] Сестра С. С. Хлюстина, графиня Анастасия Семеновна Сиркур, жена французского публициста.

[4] *Щеголев*, с. 48.

[5] *Лет. ГЛМ*, с. 388—425.

И еще одна мысль об Александре Николаевне. Бедовая была девица, совсем не «кисейная барышня». По натуре смела. Как и жена Пушкина, отличная наездница. О своей лошади она пишет брату Дмитрию: «Вопреки тому, что наговорил мой дорогой братец Ваничка, она никогда не становится на дыбы и ход у нее очень спокойный <...>. Но самый горячий конь покорится, если всадник так искусен, как я»[1].

Хотелось ей, видимо, и в жизнь броситься смело, да время еще не было подходящим для таких, как она. Родись она лет на тридцать — сорок позже, сумела бы устроить жизнь по-своему.

Но волевой и страстный характер Александры Николаевны, несомненно, сыграл свою роль в истории ее отношений с Пушкиным.

В 1834 году Наталья Николаевна, которая очень любила своих сестер, решила взять их к себе в Петербург. По-видимому, их положение в доме самодурки матери стало невыносимым. Пушкин согласился, но неохотно. 14 июля 1834 года он пишет:

«Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, женка! смотри... Мое мнение: семья должна быть *одна* под *одной* кровлей: муж, жена, дети покамест малы; родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься и семейственного спокойствия не будет»[2].

С переездом Александры Николаевны к Пушкиным хлопот, по крайней мере житейских, надо сказать, не прибавилось, а скорее убавилось. Домашнее хозяйство стала вести Александрина, и она же заботилась о маленьких детях поэта[3].

В 1907—1908 годах дочь Натальи Николаевны от второго брака А. П. Арапова опубликовала в приложениях к очень тогда распространенной реакционной газете «Новое время» обширные воспоминания о матери, озаглавленные «Наталья Николаевна Пушкина-Ланская». В одной из глав (III) она, основываясь на семейных преданиях, рассказала о далеко зашедшем романе Пушкина со своей свояченицей[4]. Как ни относиться к этому повествованию Араповой, вызвавшему много споров, оставить его без внимания нельзя.

Александра Николаевна долгие годы оставалась у сестры, по-прежнему помогая воспитывать подрастающих детей. Если верить Араповой, характер у старшей барышни посте-

---

[1] *Лет. ГЛМ*, с. 422.

[2] Письма 1834—1837 годов цитируются по изд.: «Пушкин. Письма последних лет, 1834—1837». Л., 1969.

[3] Сведения эти, однако, оказались неверными, о чем я скажу позже. Но в то время, когда я заполнял свою записную книжку, не было оснований им не доверять.

[4] Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1907, № 11 413, 19 декабря, с. 6.

пенно стал тяжелым, деспотическим. По словам ее племянницы, «Александра Николаевна, прожившая под кровом сестры большую часть своей жизни, положительно мучила ее своим тяжелым, строптивым характером и внесла немало огорчения и разлада в семейный обиход». 18 апреля 1852 года она в возрасте сорока одного года вышла наконец замуж за сорокапятилетнего чиновника австро-венгерского посольства барона Густава Фогель фон Фризенгофа и уехала с ним за границу. Где жила в дальнейшем Александра Николаевна и когда умерла, пушкиноведам не было известно. В 1887 году она, во всяком случае, была еще жива, и с ее слов муж, по просьбе племянницы А. П. Араповой, написал последней 26(14) марта этого года довольно подробное письмо о дуэли и смерти Пушкина[1]. К сожалению, этот документ большого значения не имеет — память престарелой баронессы ослабела и, самое главное, даже полвека спустя, она не пожелала откровенно написать о драме Пушкина то, что, несомненно, знала.

...Мой кофе давно выпит, а ресторанная прислуга не любит пустых столов и клиентов, уткнувшихся в бумаги. Заказываю еще чашку. Теперь я спокойно могу перелистывать свою книжку.

Родословная графов Вельсбург — она мне тоже нужна. Сын герцога Элимара Ольденбургского от морганатического брака с баронессой Натальей Густавовной Фогель фон Фризенгоф не наследовал герцогского титула и получил фамилию граф фон Вельсбург*. Ее носит и теперешний владелец Бродян граф Георг, младший сын покойного первого графа Александра. В числе его предков есть и шведский король из династии Ваза. Вывод: о романе Пушкина и Александры Николаевны в замке говорить нельзя. Взглядов его хозяев я не знаю, но с вероятными предрассудками аристократической семьи надо считаться.

Другой вывод важнее и для меня печальнее. Пушкинских рукописей, которые, вероятно, были у Александры Николаевны в Петербурге, в Бродянах почти наверное нет. Положение супруги барона Густава, несмотря на давность событий, было непростым...

Началом своей поездки я остался доволен. Побывал на поле битвы под Аустерлицем с первым томом «Войны и мира» в руках. По-прежнему на спуске с Праценской горы близ разветвления двух дорог стоит одинокий заброшенный дом, у которого остановился Кутузов перед самым началом сражения. Где-то здесь недалеко лежал раненый князь Андрей...

---

[1] Французский подлинник — *ИРЛИ*.

Кругом никого не было. Я лег на спину и старался думать мыслями Болконского: «Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..»

Потом поезд снова везет меня дальше на восток — в живописный богатый край, Моравскую Словакию. Побродив по деревням и полюбовавшись на праздничные наряды женщин, ухожу в горы. Невысокий массив Яворина, который отделяет Моравию от Словакии. Вечереет. Я иду с рюкзаком за плечами.

Никогда еще не видел столько подснежников, как на этом волнистом хребте. Целые гектары скромных белых цветов. От них тянет нежным, чуть слышным ароматом весны. Иду один по этому царству подснежников и уже думаю, не сбился ли я с пути. Припасов в мешке достаточно, но ночь в горах будет холодная. Совсем неожиданно передо мной возникает ярко освещенное деревянное здание. Отель, в котором я буду ночевать.

Поутру медленный спуск в долину реки Вага. Обычно здесь тепло. Сады зацветают по крайней мере на две недели раньше, чем в Праге. Они и сейчас цветут, и солнце светит по-весеннему ярко, но откуда-то с севера льется холодный воздух. Ветер не прекращается, и когда я в городе Тренчине осматриваю развалины древнего замка, он катает по двору мелкие камешки. Упорно пытается сорвать мою новую кепку, специально купленную для этой поездки в Бродяны.

Еще одна ночь в отеле, и утром я снова в поезде. Здесь уже не ходят скорые. По одноколейной дороге среди гор полупустой поезд медленно тащится на восток к долине реки Нитры, где и стоит замок Александры Николаевны. Отсюда еще очень далеко до России, но словацкие женщины куда больше похожи на русских, чем чешки. Моя соседка распеленала ребенка, целует его и совсем по-русски говорит: «Душенька».

Маленькая станция, последняя перед Бродянами. Здесь мне предстоит подождать с полчаса местного поезда. Подтянув рюкзак, выхожу на почти пустой перрон. Элегантный молодой человек высокого роста, лет тридцати, в спортивном костюме и зеленом макинтоше подходит ко мне, приподнимает кепи.

— Господин Раевский?

— Граф Вельсбург?

Знакомимся. Сажусь рядом с графом в небольшую машину. По пути он указывает мне на белую часовню на склоне холма. Она, кажется, протестантская, а не католическая.

— Наш фамильный склеп. Там похоронена и бабушка...

— А где покоится ее мать, Александра Николаевна?

— Тоже там... Потом я покажу вам и склеп.

Вот и первый результат моей поездки — узнал, где похоронена Александра Николаевна. Потом, конечно, узнаю и дату смерти.

Мы въезжаем в ворота старого парка и останавливаемся перед замком. Граф открывает массивную дверь, окованную железными полосами. Берется за старинное кольцо, вставленное в львиную пасть. Не без волнения я переступаю порог замка, в котором десятки лет жила и закончила свои дни Александра Николаевна Фогель фон Фризенгоф, в прошлом Азя Гончарова. Что-то я увижу здесь?..

Молодая графиня Вельсбург выходит встретить гостя в вестибюль, на верхней площадке лестницы нас ожидает ее мать, вдова командира кирасир Вильгельма II.

Меня проводят в большую гостиную, стены которой сплошь увешаны портретами. Сидим в старинных креслах вокруг старинного стола. Новых вещей вообще незаметно — даже массивные лампы керосиновые, так как в глухой словацкой деревне пока нет электричества. В камине потрескивают дрова — несмотря на апрель замок еще приходится отапливать.

Обо всем, что я увидел и услышал в Бродянах, я подробно рассказал в статье, опубликованной в сборнике «Пушкин. Исследования и материалы» [1]. Здесь я могу только вкратце изложить результаты моего кратковременного (менее двух суток) пребывания в замке. Архива я не просил мне показать — только что познакомившись с хозяевами, я считал это неудобным. Все в свое время... Единственный документ на русском языке, который граф Вельсбург, видимо, заранее приготовил для меня и просил перевести, оказался извещением министерства императорского двора № 769 о том, что их величества изъявляют согласие на брак фрейлины Гончаровой [2].

Меня очень интересовал вопрос о том, нет ли в архиве писем Натальи Николаевны к сестре. Эти письма когда-то существовали, так как сестры были дружны, а целых три года — с переезда молодоженов Пушкиных из Москвы в Петербург (18 мая 1831 г.) и до осени 1834-го — жили врозь. Там могли оказаться новые подробности о жизни пушкинской семьи и о самом поэте. Вельсбург ответил уклончиво: в архиве вообще нет писем на русском языке. Расспрашивать подробнее о семейных бумагах я не считал возможным, но

---

[1] Н. А. Раевский. В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой.— «Пушкин. Исследования и материалы», т. IV. М.—Л., 1962, с. 379—393.

[2] Александра Николаевна получила это звание 1 января 1839 года одновременно с графиней Софией Виельгорской («Journal de Saint-Pétersbourg», 1839, № 1, 3/15 января). Во дворце она не жила и придворной службы, по-видимому, не несла.

был почти уверен в том, что сестры переписывались по-французски. По крайней мере в трех опубликованных письмах Александры Николаевны к брату, о которых я уже упоминал, есть только отдельные русские фразы, вкрапленные во французский текст, а Наталья Николаевна в одном из писем к деду признается, что ей легче писать по-французски, чем по-русски.

Не задал я вопроса и о пушкинских рукописях. Поспешность могла только испортить дело.

Вернувшись в Прагу, я узнал, что о моей поездке, тщательно «засекреченной» для успеха поисков, бывшая камеристка Натальи Густавовны Анна Бергер сообщила А. М. Игумновой. Эта русская дама, постоянно жившая в Словакии, как оказалось, была хорошо знакома с покойной владелицей Бродян и провела в ее замке целых три лета[1].

А. М. Игумнова старалась выяснить вопрос о пушкинском наследии в Бродянах, но это ей не удалось. В письме от 5 июня 1938 года она сообщила мне, что «несмотря на все усилия не нашла и не узнала там ничего относящегося к Пушкину». Сомневаться в точности слов Игумновой не приходится, но можно подумать только, была ли откровенна Наталья Густавовна со своей русской гостьей.

Судьба бумаг Александры Николаевны остается весьма неясной по настоящее время. Сам я не пытался ее выяснить, но в примечании к моей статье редакция сборника «Пушкин» приводит следующие сведения (с. 292): «В своих «Воспоминаниях о Бродянах» и в письмах, присланных в Рукописный отдел ИРЛИ, А. М. Игумнова, касаясь судьбы бродянского архива, сообщает, что перед смертью Александра Николаевна сожгла все хранившиеся у нее письма; по-видимому, остальные бумаги из ее архива были сожжены по ее просьбе дочерью; в свою очередь, Наталья Густавовна, умирая, завещала своей воспитаннице Анне Бергер, бывшей в течение многих лет ее доверенным лицом, сжечь все ее бумаги и письма, в том числе обширную переписку с матерью, что и было исполнено».

Таким образом, если бы сведения, сообщенные А. М. Игумновой, были вполне точные, следовало ожидать, что от архива Александры Николаевны ничего не уцелело. Это, во всяком случае, неверно, так как в Пушкинском доме хранится целый ряд бумаг, полученных из Бродян*. Бумаг Натальи Густавовны в архиве Пушкинского дома действительно нет. Нет и ни одной строки Пушкина.

Были ли они?

Мы этого не знаем, но я продолжаю думать, что, уез-

---

[1] «Воспоминания о Бродянах» А. М. Игумновой — *ИРЛИ*. В дальнейшем — *Воспоминания о Бродянах*.

жая с мужем за границу, Александра Николаевна, считаясь с его чувствами, не могла взять с собой рукописи поэта. Это, конечно, лишь предположение,— быть может, «бродянский Пушкин» когда-нибудь и найдется, но мне это кажется очень маловероятным.

От посещения Бродян у меня осталось такое впечатление, что при жизни Александры Николаевны имя Пушкина было в замке под запретом. В первом своем письме Вельсбург сообщил мне со слов своей бабушки, которой, к несчастью, оставалось жить всего несколько дней, новый и ценный факт: ее мать никогда не говорила с дочерью о Пушкине, считая это слишком деликатным для памяти сестры.

Я смутно надеялся на то, что в Бродянах, быть может, сохранились произведения Пушкина с его дарственными надписями свояченице. Библиотека в замке для частного дома огромная (не менее 10 000 томов). Она занимает целый зал и содержится в большом порядке. Есть и отдельный русский шкаф, но тщетно я искал там прижизненные издания Пушкина. Есть только посмертное издание с прелестным экслибрисом Натальи Густавовны и ее печатью. Я просмотрел его и не нашел никаких указаний на то, что оно когда-то принадлежало Александре Николаевне.

Рукописей Пушкина у Ази Гончаровой могло и не быть — поэт дарил их неохотно, но томики с посвящениями, судя по всему, несомненно, были. Остались они где-то в России.

Еще одна мысль о рукописях: если бы они были, то очень маловероятно, чтобы перед смертью Александра Николаевна их сожгла. Ведь художественные произведения Пушкина ее никак не компрометировали. И еще менее правдоподобно, на мой взгляд, чтобы Наталья Густавовна, очень культурная и одаренная женщина, всю жизнь занимавшаяся музыкой, живописью и поэзией, изучавшая Канта и Шопенгауэра*, держала бы в тайне рукописи поэта, а умирая, завещала их сжечь.

Итак, архива я не видел и ничего определенного о нем сказать не могу. Зато портретов, рисунков, мемориальных вещей, в то время никому не известных, я увидел множество.

Покойный поэт Владислав Ходасевич, которому я сообщил по секрету о результатах поездки в Бродяны, написал мне, что я нашел клад. По правде говоря, не нашел. Мне его показали хозяева. Хранили они клад отлично — не в каждом музее так тщательно ухаживают за экспонатами — нигде ни соринки, ни один лист не помят, все стекла протерты. Жена владельца замка, показывая мне стоявший на столике перед камином акварельный портрет одного из братьев Александры Николаевны, спросила, не может ли ему повредить горячий воздух. Пришлось сказать, что музейного дела я не знаю. Услышал я от графини и такое признание:

— Это должны быть интересные вещи, мы их всячески бережем, но значения их не знаем.

Как умел, я рассказал любезным хозяевам о значении бродянских иконографических сокровищ.

Осмотр начался с альбома, принадлежавшего Александре Николаевне. Небольшой альбом отлично сохранился. В нем я насчитал двадцать девять заполненных листов с карандашными портретами, частью расцвеченными акварелью. Сделаны они очень грамотным любителем. Впоследствии выяснилось, что им был Н. П. Ланской, племянник второго мужа Натальи Николаевны генерала П. П. Ланского.

Среди портретов преобладают члены семей Пушкина и Ланских, но есть немало их знакомых, в том числе престарелый писатель Ксавье де Местр, князь П. А. Вяземский, князь Н. А. Орлов.

Один портрет особенно интересен. Немолодая уже, но красивая женщина с лицом южного типа. Под рисунком автограф: «Julie comtesse Stroganoff. Ce jour heureux»[1].

Графиня Юлия Павловна Строганова по национальности португалка. Проведя очень бурно молодость (есть сведения о том, что она была одно время любовницей наполеоновского генерала Жюно и будто бы занималась шпионажем), урожденная графиня Ойенгаузен, по первому мужу графиня д'Ега, в конце концов вышла замуж за графа Григория Александровича Строганова и стала знатной русской дамой. При жизни поэта она была близкой приятельницей Н. Н. Пушкиной, настолько близкой, что, когда Пушкин умирал, именно она и княгиня В. Ф. Вяземская почти безотлучно находились в его квартире. Насколько я знаю, портретов Строгановой известно очень мало*.

Есть в альбоме и карандашный портрет сорокалетней Н. Н. Ланской с ее автографом, сделанным в 1852 году. Наталья Николаевна сидит в кресле. По-прежнему красиво ее лицо, но сходство, кажется, не очень схвачено. Не будь французской подписи, я бы ее не узнал. Другие портреты знакомых лиц удались рисовальщику значительно лучше. К сожалению, все они сделаны много лет спустя после смерти Пушкина (1851—1857 гг.).

В замке оказался еще ряд изображений Натальи Николаевны. Вот прелестная акварель 1842 года работы художника В. Гау. Тридцатилетняя вдова поэта в расцвете своей красоты[2].

---

[1] Графиня Юлия Строганова. Этот счастливый день *(франц.)*.

[2] В работе профессора А. В. Исаченко «Пушкиниана в Словакии» (см. с. 31 наст. изд.) приведена отличная красочная репродукция этой акварели, которая является (авторской?) копией часто воспроизводимого портрета Н. Н. Пушкиной (*Щеголев*, с. 41 и др.).

А вот фотография стареющей болезненной дамы в черном платье, снятая за год до смерти Натальи Николаевны (она скончалась от воспаления легких 26 ноября 1863 года в возрасте 51 года). Но лучше всего Пушкина-Ланская вышла на отлично сохранившемся дагерротипе, который Вельсбург, во избежание выцветания, хранил в письменном столе.

В одинаковых платьях и чепцах сидят рядом Наталья Николаевна и Александра Николаевна. За ними и сбоку трое детей Пушкиных — сыновья в мундирах пажей и девочка-подросток (младшая дочь Наталья). Одна из девочек Ланских прижалась к коленям матери. Дагерротип снят не в ателье, а в комнате (видны книжные шкафы) и, по всей вероятности, относится к 1850 или, самое позднее, к 1851 году (старший сын, А. А. Пушкин, окончил Пажеский корпус в 1851 году). Наталье Николаевне было тогда 38—39 лет.

Беру большую лупу и долго смотрю на генеральшу Ланскую. Прекрасные, тонкие, удивительно правильные черты лица. Милое, приветливое лицо — любящая мать, гордая своими детьми. Невольно вспоминаются задушевные пушкинские письма к жене. На известных до сих пор изображениях Натальи Николаевны, как мне кажется, нигде не передан по-настоящему этот живой и ласковый взгляд, который сохранила серебряная пластинка.

У ее сестры заострившиеся черты стареющей барышни. Тоже очень живое лицо, но совсем иное, чем у Натальи Николаевны. Пристальный, умный, но жестковатый взгляд. От этой сорокалетней особы можно ждать острого слова, но вряд ли услышишь ласковое.

Есть и другие портреты Александры Николаевны. Принято считать, что умная Азя Гончарова в противоположность своей прелестной сестре была некрасива. Чуть заметное косоглазие Натальи Николаевны, которое нисколько ее не портило, у старшей сестры было много сильнее. Позировать, а позднее сниматься анфас она обычно избегала. Однако бродянские портреты Александры Николаевны показывают, что в молодости она была далеко не так некрасива, как обычно думают. Один недатированный дагерротип действительно изображает особу непривлекательного вида, но снимок, во-первых, неудачный, а во-вторых, сравнительно поздний. Зато на большом овальном портрете, несомненно пушкинских времен (ранее был в Бродянах), у Ази Гончаровой очень миловидное и духовно значительное лицо[1]. Есть и поздние фотографии шестидесятых — семидесятых годов. Баронесса Фогель фон Фризенгоф располнела, отяжелела. Ничего не осталось от былой лихой наездницы. Взгляд у нее спокойный, но по-прежнему

---

[1] В настоящее время этот портрет хранится в фондах Всесоюзного музея А. С. Пушкина (Ленинград).

жестоковатый. Есть, наконец, большой портрет Александры Николаевны в глубокой старости работы ее дочери Натальи Густавовны (масло). Хороший, совсем не любительский портрет — Наталья Густавовна была одаренной художницей и в молодости всерьез училась живописи у венского художника Ленсбаха. Александре Николаевне, должно быть, за семьдесят. Из-под черной наколки виднеется белый старушечий чепчик. Умное, строгое, но успокоившееся лицо. Нет в глазах прежней пронзительности. В кресле сидит очень степенная, важная старая баронесса, теща герцога Элимара Ольденбургского. Поэт здесь решительно ни при чем*.

Александра Николаевна пережила своего мужа, скончавшегося 16 января 1889 года. Ее замужество продолжалось, таким образом, полных тридцать шесть лет. Был ли счастливым этот поздний брак, пока сказать трудно. Во всяком случае, он, судя по всему, был прочным и спокойным. На портретах и фотографиях, которых в Бродянах много, барон Густав производит впечатление вдумчивого, корректного человека**. Если первое время он и ревновал жену к памяти Пушкина, то на склоне лет ее увлечение поэтом, вероятно, стало лишь полузабытой главой семейной хроники. Как мы знаем, в 1887 году супруги совместно написали племяннице малосодержательное, но обширное письмо о дуэли и смерти Пушкина.

Осматривая бродянские реликвии, я невольно подумал, часто ли вспоминала владелица замка свои русские годы и своего гениального свояка.

Впоследствии из воспоминаний Анны Михайловны Игумновой, которой об этом, несомненно, рассказала герцогиня Н. Г. Ольденбургская, я узнал, что «Александра Николаевна всячески поддерживала связь с Россией, не раз ездила к своей родне, и в доме готовились русские кушанья»[1].

Все пушкинское она, видимо, оставила в России, но в замке я все же увидел две вещи поистине памятные...

Графиня Вельсбург, старавшаяся показать мне все, что могло меня интересовать, сняла с пальца старинное золотое кольцо с продолговатой бирюзой и сказала, что оно перешло к ней от герцогини, а ей досталось от матери. Кольцо Ази Гончаровой, почти наверное то самое, о котором княгиня Вера Федоровна Вяземская, жена друга Пушкина, когда-то рассказывала издателю «Русского архива», пушкинисту П. И. Бартеневу[2].

---

[1] *Воспоминания о Бродянах*, с. 3.

[2] М. А. Цявловский. Из пушкинианы П. И. Бартенева.— *Лет. ГЛМ*, с. 561.

Однажды поэт взял у свояченицы кольцо с бирюзой, несколько времени носил его, потом вернул. А в ящичке с драгоценностями герцогини, именно в ящичке из простой фанеры (Наталья Густавовна считала, что воры не обратят на него внимания), я увидел потемневшую золотую цепочку от креста, по словам хозяйки замка, тоже принадлежавшую Александре Николаевне. Доказать, конечно, невозможно, но, быть может, это самая волнующая из бродянских реликвий...

П. Е. Щеголев привел в своей книге цитату из письма к нему П. И. Бартенева от 2 апреля 1911 года, в котором последний сообщал: «Княгиня Вяземская сказала мне, что раз, когда она на минуту осталась одна с умирающим Пушкиным, он отдал ей какую-то цепочку и попросил передать ее от него Александре Николаевне. Княгиня исполнила это и была очень изумлена тем, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула, что и возбудило в княгине подозрение» [1].

Впоследствии в архиве Бартенева была обнаружена вырезка из корректурной гранки его известной статьи «Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских (записано в разное время с позволения их обоих)» [2]. Вырезка представляет собою исключенный автором конец абзаца, содержание которого Бартенев сообщил Щеголеву в цитированном выше письме. Абзац заканчивается следующим образом: «Потом взял у нее цепочку и, уже лежа на смертном одре, поручил княгине Вяземской возвратить ей эту цепочку, но непременно без свидетелей <...>. По кончине Пушкина кн. Вяземская исполнила это поручение его и прибавила, что он приказал отдать цепочку именно без свидетелей. Та вспыхнула и сказала: «Не понимаю, отчего это!» [3]

Нельзя забывать, что В. Ф. Вяземская — близкий друг Пушкина, а Бартенев хотя и страдал зачастую недостатком критического чутья, но, свято чтя память поэта, был неспособен сознательно возвести на него напраслину.

Очевидно, с цепочкой была связана какая-то очень интимная тайна. В своих воспоминаниях Арапова пытается ее раскрыть [4], но верны ли ее сведения, исходящие к тому же от прислуги Пушкиных, сказать невозможно. Думаю поэтому, что приводить их не стоит. Но, читая повествование Бартенева, я никогда не думал, что мне суждено будет увидеть кольцо, а тем более цепочку.

Хозяева замка обратили мое внимание и на косяк две-

---

[1] *Щеголев*, с. 430.

[2] «Русский архив», 1888, кн. III, № 7, с. 309.

[3] М. А. Цявловский. Из пушкинианы П. И. Бартенева.— *Лет. ГЛМ*, с. 651.

[4] Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1907, № 11 413, 19 декабря. См. также: *Щеголев*, с. 431—432.

рей в большой гостиной. Его не ремонтировали, очевидно, много десятков лет, но старинный коричневый лак сохранился хорошо. На нем карандашными черточками отмечен рост многих друзей и знакомых, когда-то гостивших в Бродянах[1]. Четкие подписи читаются легко. Среди них Natalie Pouchkine,— очевидно, младшая дочь поэта и один из его сыновей (я, к сожалению, вовремя не записал, кто именно).

Сейчас кое-что из бродянских портретов и бумаг находится в Пушкинском доме и Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде*. К сожалению, за малым исключением, это материалы второстепенного значения. Куда девалось остальное, пока неизвестно. Мне же кроме архива удалось увидеть, правда, накоротке, бегло, обстановку, какой она была в замке при жизни Александры Николаевны и ее дочери.

Не буду говорить о портретах предков герцога Элимара Ольденбургского — для нас они неинтересны. Но вот многочисленные русские портреты, главным образом, акварели и миниатюры, которые в трех комнатах — большой гостиной, малой гостиной и столовой — висели на стенках, стояли на столиках и этажерках. Это целый семейный музей, как я уже сказал, очень бережно сохранявшийся.

Я долго рассматривал эти никому не ведомые сокровища, обходя одну за другой комнаты в сопровождении хозяина замка, помнившего, очевидно, со слов бабушки, многих русских предков. Вот Афанасий Николаевич Гончаров — «дедушка-свинья», как непочтительно назвал его Пушкин,— благообразный старик в синем фраке; вот родители Александры Николаевны — Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна; вот ее брат лейб-гусар Иван Николаевич Гончаров. О многочисленных портретах самой Александры Николаевны и Н. Н. Пушкиной-Ланской я уже рассказал. В столовой висит большой портрет (литография) В. А. Жуковского с его подписью и там же, на очень видном месте, овальный портрет Дантеса, исполненный в 1844 году художником С. Вагнером.

Дантес еще молод — ему всего 32 года, но благодаря бородке-эспаньолке выглядит старше. Он в штатском. По-прежнему красивый и самоуверенный человек кажется очень довольным самим собой. И подпись его под стать внешности — размашистая, со сложным росчерком.

Немало в столовой и «русских гравюр», как их издавна зовут в замке,— портретов и групп, но уже Наталья Густа-

---

[1] А. С. Кишкин (Москва), побывавший в обветшавшем замке летом 1967 года, сообщил мне в письме от 25 января 1970 года: «Единственно, что напоминает об Александре Николаевне, это надписи и пометки на косяке одной из дверей в старом доме <...> с обозначением роста детей Пушкина, приезжавших когда-то гостить к своей тетке».

вовна не помнила, кого они изображают. Почти все исполнены в 1839—1844 годах, когда Александра Николаевна жила у сестры.

О том, что в Бродянах есть портреты ее родных, я знал давно. Не упоминаю здесь об альбомах фотографических карточек, так как они относятся к позднему времени (преимущественно семидесятые годы и позже) и большого интереса не представляют.

Но в замке меня ждала большая неожиданность — никак нельзя было предполагать, что там окажется множество рисунков французского писателя и художника графа Ксавье де Местра (1763—1852).

Сейчас в Советском Союзе о нем мало кто знает — гораздо известнее его старший брат Жозеф, сардинский посланник при Александре I, государственный деятель и известный философ-реакционер, имевший влияние и на русского императора. В дореволюционной России ученики средних школ кое-что о нем слышали, но Ксавье де Местра они знали все. Язык его нетруден, а действие некоторых произведений происходит в России, которую этот добропорядочный второстепенный писатель знал значительно лучше, чем большинство французских авторов.

Он приехал к нам в 1800 году, довольно долго состоял на русской военной службе, участвовал в войнах на Кавказе и в Персии. Для русского министерства народного просвещения его изящные и политически весьма благонадежные повести оказались вполне приемлемыми. Перед империалистической войной все тогдашние гимназисты читали «Кавказских пленников» Ксавье де Местра.

О том, что Ксавье де Местр хорошо рисовал, исследователи знали давно. По некоторым сведениям, он, живя в Москве в начале века и сильно нуждаясь, даже зарабатывал на жизнь именно рисованием портретов. Один из них много раз воспроизводился — это миниатюра на слоновой кости, портрет матери Пушкина Надежды Осиповны в молодости. Однако известное до сих пор художественное наследие де Местра было крайне бедным — кроме этого изображения еще несколько миниатюр, портрет князя Д. И. Долгорукова и две акварели в одном из провинциальных музеев Франции. Французский биограф предполагал, что работы де Местра следует искать в Советском Союзе.

Каково же было мое удивление, когда в замке на берегу Нитры Георг Вельсбург, предложив мне посмотреть рисунки де Местра, выложил передо мной на стол восемь больших, отлично сохранившихся альбомов![1]

---

[1] Впоследствии оказалось, что два из них, заполненные довольно посредственными акварелями (пейзажи), содержат работы итальянского художника Боджи (Boggi).

Долго я их перелистывал — хозяева замка меня не торопили. Прелестные тонкие рисунки карандашом, по-французски изящные, на мой взгляд, немного холодные, акварели, карикатуры, семейные сценки, набросанные умелой рукой. Есть среди рисунков и очень ранние — например, спящий кот с французской подписью: «Василий Иванович. 1810». Судя по типу лиц и по военным формам, в этих альбомах немало соотечественников. Есть и ряд подписанных изображений — среди них один из братьев Тургеневых (кажется, декабрист — Николай Иванович), некая княгиня Г. Гагарина, г-жа Пашкова и другие.

Один портрет очень взволновал меня. Небольшой, тщательно отделанный рисунок карандашом. Молодой человек лет восемнадцати — двадцати в штатском. Голова в профиль повернута. Густые волнистые волосы, чуть одутловатые губы. Очень большое сходство с Пушкиным, но уверенности в том, что это он, у меня не было. Рисунок сделан 24 мая. Год не указан, но если это поэт, то последний возможный год 1819, так как в следующем Пушкин в это время уже уехал в южную ссылку. Возможно, Ксавье де Местр изобразил двадцатилетнего поэта, а его облика в этом возрасте мы не знаем. Тем ценнее портрет, если только я не ошибся. Говорю Вельсбургам о его значении. Беречь не прошу. Знаю, что и без моей просьбы в этом замке с рисунком ничего не случится. Только вкладываю в альбом закладку с надписью «Пушкин (?)».

К сожалению, я ошибся. Впоследствии, когда портрет был воспроизведен в одном научном издании[1], известная пушкинистка Т. Г. Цявловская высказала предположение, что это «Левушка» — брат поэта, Лев Сергеевич. Автор словацкой публикации профессор Братиславского университета А. В. Исаченко, как и я, предположительно считал, что это портрет А. С. Пушкина. Такие ошибки случались уже не раз — братья были очень похожи, да и почерк Льва Сергеевича неоднократно принимался за братнин.

Отправляясь в Бродяны, я мало что знал о жизни Ксавье де Местра. Вернувшись в Прагу, перечитал о нем все, что смог найти в чешской столице. Многое все же осталось для меня неясным в его биографии, да и сейчас, три десятка лет спустя, приходится пожалеть о том, что научного жизнеописания де Местра-младшего нет ни в отечественной литературе, ни в иностранной.

Пушкин несколько раз упоминает о его знаменитом брате (но почему-то именует дипломата-философа Жозефа де Местра «Мейстр» и «Мейстер»). Имя Ксавье де Местра не встречается

---

[1] A. V. Isačenko. Puškiniana na Slovensku (А. В. Исаченко. Пушкиниана в Словакии). «Slavanské Pohl'ady», 1947, № 1, с. 1—16.

ни в произведениях, ни в известных нам письмах Пушкина. Однако, повествуя о детских годах поэта, биографы неизменно его упоминают.

Давно известно, что, проживая в Москве, де Местр бывал в доме родителей Пушкина и, несомненно, знал их старшего сына, когда тот был еще ребенком.

Сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева в своих воспоминаниях о брате, записанных с ее слов мужем, Н. И. Павлищевым, в 1851 году, сообщает:[1] «До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного; напротив, своей неповоротливостью, происходящею от тучности тела, и всегдашнею молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние <...> Достигнув 7-летнего возраста, он стал резов и шаловлив. <...> Между тем в доме родителей собиралось общество образованное, к которому принадлежало и множество французских эмигрантов. Между этими эмигрантами значительнее был граф Местр, занимавшийся тогда портретной живописью и уже готовивший в свет свой «Voyage autour de ma chambre»;[2] он, бывая почти ежедневно, читывал разные свои стихотворения. <...> Все это действовало на живое воображение девятилетнего мальчика и пробудило в нем бессознательный дух подражания и авторства».

Таким образом, судя по контексту воспоминаний Павлищевой, де Местр знал Пушкина тогда, когда тот был девятилетним мальчиком. Французский писатель, по ее мнению, наряду с другими литераторами оказал даже некоторое влияние на пробуждение поэтического таланта брата.

О Ксавье де Местре в русских источниках сообщалось немало противоречивых и неверных сведений*. Сравним поэтому рассказ Павлищевой с теми надежными биографическими данными, которые приведены в редкой книге М. Лескюра[3].

Автор широко использовал переписку братьев де Местр — главным образом письма графа Жозефа[4]. Согласно Лескюру, Ксавье де Местр проделал Итальянскую кампанию Суворова (1799) в качестве пьемонтского офицера[5], прикомандирован-

---

[1] Воспоминания о детстве А. С. Пушкина (со слов О. С. Павлищевой), написанные в С.-Петербурге 26 октября 1851 года.— *Лет. ГЛМ*, кн. I, с. 452.

[2] «Путешествие вокруг моей комнаты» *(франц.)*. Эта книга была впервые издана в Турине в 1794 году. В России де Местр закончил вторую часть этого сочинения «Expédition nocturne autour de ma chambre» («Ночное путешествие вокруг моей комнаты»).

[3] M. Lescure. Le comte Joseph de Maistre et sa famille. 1753—1852. Etudes et portraits politiques et littéraires (М. Лескюр. Граф Жозеф де Местр и его семья. 1753—1852. Очерки, политические и литературные портреты). Paris, 1892 (*франц.*).

[4] Надежными можно считать именно данные, приведенные в этой переписке. В остальном тексте книги Лескюра немало хронологических и иных ошибок — он, например, постоянно путает имена сестер Гончаровых.

[5] Пьемонт именовался также Сардинским королевством.

ного к его штабу. Затем вместе с полководцем он уехал в Россию и с разрешения своего короля Виктора-Амедея поступил на русскую службу в чине капитана. Соответствующий приказ датирован 5 января 1800 года. 22 января 1802 года он вышел в отставку и поселился в Москве, где открыл художественную мастерскую (atelier) картин и портретов. В марте 1805-го, по ходатайству брата, сардинского посланника, Ксавье де Местр был назначен директором библиотеки и музея Адмиралтейства и уехал в Петербург[1].

В доме Пушкиных он мог бывать в течение трех лет (1802—1805). В момент отъезда Ксавье де Местра из Москвы поэту не было еще и шести лет. Вряд ли писателя мог интересовать неповоротливый молчаливый мальчик, который, по словам Павлищевой, в это время «не обнаруживал ничего особенного».

Возможно, однако, что завсегдатай дома Пушкиных изобразил маленького Александра в одном из альбомов, которые я видел в Бродянах. Недатированных карандашных набросков портретов детей там немало.

Мы не знаем, встречался ли де Местр с юным поэтом в его послелицейские годы. Может быть, и встречался... Около 1817 года (Лескюр не указывает, когда именно) генерал-майор граф Ксаверий Ксаверьевич[2] де Местр вторично и на этот раз окончательно вышел в отставку. В 1816 году он еще состоял на службе в городе Або (Финляндия). Прожив некоторое время в Москве, де Местр затем надолго поселился в Петербурге на набережной Мойки.

Наличие в его альбоме портрета молодого Льва Сергеевича, жившего вместе с родителями, показывает, что отставной генерал, видимо, возобновил в столице знакомство с семьей Пушкиных — когда именно, сказать пока, к сожалению, нельзя.

Портрет «Левушки», судя по его внешнему виду, нарисован около 1824 года,— во всяком случае, после высылки поэта из Петербурга (6 мая 1820 года). Позднее де Местр встречаться с Пушкиными не мог — в 1825 году он надолго уехал за границу и вернулся в Россию только в 1839 году.

Лескюр (стр. 366) приводит отрывок из письма Ксавье де Местра к его другу Марселлюсу (Marcellus) от 4 апреля 1839 года, посвященный дуэли и смерти Пушкина: «Эти несчастные новости немало способствовали обострению болез-

---

[1] Позднее он снова вернулся на военную службу, проявил незаурядную храбрость и был ранен при осаде Ахалциха.

[2] В России Ксавье де Местра официально именовали графом. Титул «шевалье», который он носил на Западе как младший брат графа, у нас не был в употреблении.

Русским именем и отчеством его шутя назвал в одном из писем брат Жозеф.

ни Софии (M-me де Местр). Они ее очень огорчили; это ужасная история, сути которой мы даже точно и не знаем. Бедную вдову ни в чем не упрекают — все ее несчастие произошло из-за того, что она была очень красива и за ней очень много ухаживали. У ее мужа была горячая голова, его противник...[1] никто не был в действительности влюблен. Все сделало оскорбленное самолюбие. Она уехала в деревню с моей свояченицей Екатериной[2], всегда готовой пожертвовать собой для других... Вы прочли в газетах, что император пожаловал его вдове пенсию в 1000 рублей; кроме того он сложил долг за имение (une terre), заложенное в казну (à la couronne), и приказал издать полное собрание сочинений великого поэта, доход от которого поступит в пользу вдовы».

Ксавье де Местр скончался 12 июня 1852 года в Стрельне близ Петербурга, где гостил у Ланских на даче. Старый писатель скончался на исходе восьмидесятидевятилетия (родился 8 ноября 1763 г.). Его архив, если он где-нибудь сохранился, может оказаться весьма интересным для биографов Пушкина.

Заканчивая это длинное отступление, упомяну еще о том, что в числе литературных источников «Кавказского пленника» Пушкина в старой литературе указывали и «Кавказских пленников» Ксавье де Местра. Б. В. Томашевский, однако, справедливо считает, что «простое поверхностное знакомство с этим популярным рассказом должно было бы без всякого дополнительного анализа убедить, что ничего общего рассказ и поэма между собой не имеют»[3].

Вернемся теперь в Бродяны. Чем же, однако, объяснить, что там находится часть наследия де Местра? Альбомами оно не ограничивается. В замке есть большой портрет писателя в глубокой старости. Кроме того, Вельсбург показал мне том стихотворений В. А. Жуковского с русской дарственной надписью: «Графу Местру от Жуковского. В знак душевного уважения».

Ксавье де Местр был женат на тетке Александры Николаевны, но вряд ли причина в этом не очень-то близком свойстве. В большой гостиной мне показали три портрета первой жены Густава Фризенгофа, Натальи Ивановны, урожденной Ивановой*. Происхождение этой красивой женщины южного, явно нерусского типа довольно загадочно. В замке

---

[1] Многоточие в тексте Лескюра.

[2] Фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская, сестра Софии Ивановны де Местр и Натальи Ивановны Гончаровой.

[3] Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). М.—Л., 1956, с. 394—395.

сохранилось предание о том, что она была дочерью самого Александра I. В свое время ее удочерила София Ивановна Ксавье де Местр. На царя она, надо сказать, нисколько не похожа, но ее сходство с писателем сразу же бросилось мне в глаза. Я вспомнил, что у него была внебрачная дочь, которую де Местр очень любил. С разрешения хозяев беру со стола акварельный портрет Натальи Ивановны работы L. Fischer (1844) и сравниваю с портретом старика писателя. Никакого сомнения — отец и дочь! Присутствующие со мной соглашаются. Таким образом, София Ивановна удочерила вовсе не царскую дочь, а просто внебрачного ребенка своего мужа. Много запутанных нитей, пушкинских и околопушкинских, тянется к этому замку на берегу Нитры. Одну удалось только что распутать, а сколько их остается!..

И еще об одном портрете надо рассказать. Недавняя очень удачная фотография герцогини Ольденбургской. Глубокая старуха сидит на коне по-мужски. Она похожа на мать — такой же пристальный взгляд, как у Александры Николаевны, но лицо доброе. Судя по всем рассказам, владелица Бродян действительно была доброй женщиной. В деревне ее любили и вспоминают тепло.

Я провел несколько часов среди давно умерших родных и знакомых поэта. Многих из них я знал лично и чуть не с детства. Много о них читал. Но в этом замке воспоминаний я увидел их по-новому, как не видел еще никто из писавших о Пушкине. Незабываемые бродянские часы...

Мы ужинали при свечах. Все было как во времена Александры Николаевны. На столе скатерть из русского льна, искрящийся богемский хрусталь, массивное серебро из приданого шведской принцессы Ваза вперемежку с серебряными вещами с монограммой «А. Г.». В полусумраке чуть видны портреты — Дантес, Жуковский, «русские гравюры» с забытыми людьми. Воспоминания, воспоминания...

После ужина долго беседуем в малой гостиной. В разных местах комнаты мягко горят свечи.

Я сижу в старинном глубоком кресле. Рассказываю хозяевам о бурных годах, о боях на Карпатах, о прорыве Буденного к Перекопу. Им это интереснее далеких околопушкинских воспоминаний. Но все мои мысли здесь, в Бродянах...

Вот здесь, в этой комнате, в этих самых креслах, три четверти века тому назад сиживали две стареющие женщины — генеральша Ланская и ее сестра*. О чем они говорили, о чем думали? Опустила ли Наталья Николаевна глаза, увидев впервые портрет Дантеса? Или его убрали на время перед приездом Ланской?**

Утром, как и накануне, солнечно, но холодно — весна в

этом году запоздала. После кофе Вельсбург пригласил меня пройтись по парку. Он невелик, но красив. Хорошо распланирован в английском вкусе и немного напоминает Павловск. Старые толстые деревья — липы, дубы, ясени, вязы, лужайки с видами на замок. Немного позднее здесь зацветет сирень. Не помню, где я еще видел такие огромные кусты. Вероятно, им не менее ста лет. Может быть, любуясь ими, Александра Николаевна невольно вспоминала гончаровское имение — Полотняный Завод. И небольшая белая беседка с ампирными колоннами, можно думать, построена по ее желанию или по просьбе первой жены Фризенгофа Натальи Ивановны — в Средней Европе ампирных построек почти нет.

Замок — охряно-желтое трехэтажное строение — не очень велик и совсем не роскошен. Скромная резиденция небогатых помещиков*. Не зная архитектуры, вида здания описывать не берусь. Оно красиво, но единого стиля, во всяком случае, нет. Создавался замок на протяжении многих веков. Некоторые помещения нижнего этажа, по преданию, построены еще в одиннадцатом столетии, главный корпус, вероятно, в семнадцатом, другая часть в половине восемнадцатого, а библиотечный зал пристроен уже в девятнадцатом. В нижнем этаже помещаются апартамент для гостей и службы, во втором — жилые комнаты. В третьем я не был, кажется, там комнаты для прислуги.

Вокруг замка долго сохранялся ров, но барон Густав, купив в 1846 году Бродяны у прежних владельцев, венгерских аристократов Brogyanyi, велел засыпать этот остаток тревожной старины.

Об обстановке замковых покоев я уже говорил. Она почти целиком старинная. Сохранилось и немало вещей, принадлежавших Александре Николаевне: ее бюро работы русских крепостных мастеров, к сожалению, переделанное, несколько икон, столовое серебро, печати с гербами Гончаровых и Фризенгофов, под стеклянным колпаком маленькие настольные часы — очень скромный свадебный подарок императрицы Александры Федоровны фрейлине Гончаровой.

Из парка мы поднимаемся на холм к часовне. Его когда-то голые склоны Наталья Густавовна велела засадить соснами. Теперь это уже большие деревья. Место для семейной усыпальницы герцог Элимар выбрал живописное. Внизу виднеются замок и парк, уходит вдаль долина речки Нитры. Синеют невысокие здесь словацкие горы.

Вельсбург открывает склеп. Первым от входа на бетонном постаменте стоит серебристый с золотом гроб с немецкой надписью на щитке:

БАРОНЕССА АЛЕКСАНДРА ФОГЕЛЬ ФОН ФРИЗЕНГОФ,
УРОЖДЕННАЯ ГОНЧАРОВА
1811
9 VIII 1891

Итак, Александра Николаевна скончалась восьмидесяти лет от роду[1] в последнем десятилетии прошлого века. С глубоким волнением я поклонился праху той, которая была так близка Пушкину.

О том, как проходила жизнь Александры Николаевны за границей, мы знаем очень мало. Я надеялся расспросить об этом ее дочь, но, как уж было упомянуто, мне не пришлось встретиться с герцогиней Натальей.

В своих воспоминаниях А. П. Арапова упоминает лишь, что, поселившись после выхода замуж в Вене, тетка однажды приняла приглашение на званый обед к голландскому посланнику Геккерну и этим очень огорчила Наталью Николаевну. Рассказывая довольно подробно о пребывании матери у сестры в «Венгрии» (т. е. в неназванных Бродянах) в 1862 году, она ничего не говорит о хозяйке замка[2].

Некоторые сведения о последних годах Александры Николаевны имеются в воспоминаниях евангелического епископа Пауля Геннриха, который, будучи молодым священником, в течение ряда лет (1887—1896) состоял учителем детей Натальи Густавовны[3]. Он постоянно встречался с ее матерью и, очевидно, ввиду отсутствия православного духовенства, хоронил ее в Бродянах. Однако все свое внимание священник-учитель, видимо, уделял не ей, а ее дочери, женщине, несомненно, очень незаурядной. Последняя хотя и была окрещена (вероятно, в Вене) по православному чину, но по своему мировоззрению являлась скорее лютеранкой. Замковый проповедник считал, кроме того, что она, «как это часто бывает с художественно одаренными натурами, склонялась к пантеизму».

Приходится пожалеть о том, что «старой баронессе» в книге Геннриха посвящено, в общем, немного строк. Описывая свое прибытие 10 ноября 1887 года в замок Эрлаа близ Вены, где жил тогда с семьей герцог Элимар, автор говорит, что за обедом он познакомился «с родителями герцогини — бароном Фризенгофом, изящным старым господином, который состоял на австрийской дипломатической службе и, обладая знаниями в самых различных областях, умел очень интересно говорить, и его женой, бывшей придворной дамой русского двора и своя-

---

[1] Впоследствии я выяснил в Праге, что дата смерти Александры Николаевны давно указывалась в «Taschenbuch der freiherrlichen Häuser» («Справочная книжка баронских родов»), но это издание, видимо, не было использовано русскими исследователями.

[2] См. комментарий к с. 35—36.

[3] D. Paul Gennrich. Erinnerungen aus meinem Leben. Jahrbuch der Synodalkomission und des Vereines für ostpreusische Kirchengeschichte (Д. Пауль Геннрих. Воспоминания из моей жизни. Ежегодник Синодальной Комиссии и Общества изучения восточнопрусской церковной истории). Königsberg, 1938 *(нем)*. Благодарю А. М. Игумнову за присылку обширных выписок из этой очень редкой книги, которой, по-видимому, нет в книгохранилищах СССР. Страницы книги в выписках не указаны.

ченицей поэта Пушкина[1]. У нее уже несколько лет был левосторонний паралич. Говорила она обычно по-французски, но немецкому кандидату (богословия.— *Н. Р.*) все же сказала несколько исковерканных немецких слов».

Характеризуя своих учеников — внука Александры Николаевны Александра и внучку Фреду (Фредерику), Геннрих упоминает о том, что «родители, и в особенности герцогиня, не слишком заботились о детях, которых они в большинстве случаев видели только за столом. Они к тому же зачастую неделями отсутствовали во время поездок. Впоследствии герцогиня сама жалела о том, что дети таким образом всецело оставались на попечении бабушки».

Из воспоминаний А. М. Игумновой мы узнаем и причину материнского недовольства: «В последние годы своей жизни Александра Николаевна не могла ходить, и ее возили в кресле. Внуки выросли при ней, и она, по словам Натальи Густавовны, их очень избаловала».

Как видно, Александра Николаевна, которой в то время исполнилось уже 76 лет, была не очень хорошей воспитательницей. Какие у нее были отношения с властной и решительной дочерью в более ранние годы[2], мы пока не знаем, но о закате жизни Александры Николаевны сдержанный и благожелательный автор воспоминаний говорит не без грусти: «Настоящей близости с матерью благодаря этому у них (детей) так и не образовалось, так как — независимо от разницы темпераментов — старая дама, в последние свои годы ставшая очень чудаковатой*, не воздерживалась при детях от критики их матери, с которой она часто бывала несогласна».

Вот то немногое, что мы узнаем непосредственно об Александре Николаевне из воспоминаний Пауля Геннриха.

Когда баронесса скончалась, ее временно похоронили на кладбище деревни Бродяны рядом с недавно умершим мужем, так как семейная усыпальница еще не была достроена. В октябре 1894 года оба гроба торжественно перенесли в склеп.

Бедные конкретными сведениями об Александре Николаевне воспоминания замкового священника зато подробно воссоздают ту обстановку, в которой доживала она свой век. Они дают также возможность ближе присмотреться к ее дочери, которая во многих отношениях была интеллектуальной копией матери.

Наталья Густавовна представляет для нас известный интерес именно как своего рода отображение свояченицы Пушкина Александры Николаевны.

О средней из трех сестер Гончаровых написано немало, но ее духовный облик все еще нельзя считать вполне ясным.

---

[1] Имя Пушкина в книге Геннриха упоминается только один раз.

[2] Наталья Густавовна вышла замуж в 1874 году, когда матери было 63 года.

Посмотрим поэтому, как автор воспоминаний описывает герцогскую резиденцию и ее хозяйку, которую он близко знал в течение почти полувека (последний раз Пауль Геннрих был гостем Натальи Густавовны в 1933 году).

В Бродяны переселялись только на лето. Обычно семья жила в приобретенном герцогом двухэтажном замке Эрлаа близ Вены. После замужества дочери Фризенгофы также проводили там большую часть года. По словам Геннриха, «это большое, довольно безвкусное строение, которое, как говорят, некогда было построено для принца Евгения Савойского[1]. Лучшее, что было в имении, это очень большой парк с прекрасными старыми деревьями, обширными полянами, прудом, искусственными развалинами и гротами».

Герцог, несмотря на то, что из-за женитьбы на Наталье Густавовне ничего не получал из доходов Ольденбургского дома, был богат, так как унаследовал после своей матери, великой герцогини Цецилии, очень крупное состояние.

Боевой офицер австро-прусской войны 1866 года и франко-прусской 1870—1871 годов, он, выйдя в отставку, жил главным образом литературными и художественными интересами. Под псевдонимом Антона Гюнтера написал ряд комедий, хотя по натуре был скорее меланхоликом. Сочинил, кроме того, несколько песен и дуэтов.

И муж и жена много музицировали. «Герцогиня хорошо играла на фортепьяно и охотно пела звучным меццо-сопрано широкого диапазона. Герцог также играл на фортепьяно и фисгармонии».

Два раза в неделю приезжал скрипач, каждый второй раз его сопровождал виолончелист. Особенно охотно исполняли Бетховена и Шуберта. Такие же музыкальные вечера устраивались и в Бродянах. В обоих замках на них бывали постоянные гости, живавшие там зачастую неделями.

Можно думать, что и Александра Николаевна с удовольствием присутствовала на этих музыкальных собраниях. В молодости она, несомненно, любила музыку. Во второй половине декабря 1835 года писала брату Дмитрию: «Ты, наверное, знаешь, что я беру уроки пиано. Не упрекай меня за это. Это единственная вещь, которая меня занимает и развлекает. Только занимаясь моими заданиями, я забываю немножко мои горести. Это заглушает их и отвлекает меня от моих черных мыслей...»[2]

Вероятно, и много лет спустя баронессе Фризенгоф были понятны музыкальные увлечения дочери и зятя.

---

[1] Н. Г. Ольденбургская не любила Эрлаа и впоследствии, овдовев, перевезла большую часть коллекции в Бродяны. Перед первой мировой войной она продала замок. Во вторую мировую войну 1939—1945 гг. замок уцелел. До настоящего времени замок Эрлаа никем не обследован.

[2] М. Яшин. Пушкин и Гончаровы.— «Звезда», 1964, № 8, с. 188.

Живя в Эрлаа, герцог и его жена, по словам Геннриха, часто ездили в близкую Вену, бывали в театрах и на концертах, посещали выставки. Обычно их сопровождал молодой замковый священник, ставший как бы членом семьи. В те годы, которые он провел в замке, немощная Александра Николаевна, конечно, не могла принимать участия в этих поездках.

Литературные интересы... Об огромной бродянской библиотеке я уже упоминал. О библиотеке замка Эрлаа Пауль Геннрих не рассказывает, но, вероятно, и она была богатой — ведь и владелец этой резиденции, и его жена — литераторы. Герцог, как мы знаем, писал комедии. Наталья Густавовна была не только художницей, певицей и музыкантшей, но и поэтессой, по словам Геннриха, высокоодаренной. Она выпустила два тома своих стихов. Будучи в Бродянах, я, к сожалению, о них не услышал, а сейчас достать эти тома (скорее, томики) невозможно...

Мы знаем из письма 1832 года, что совсем еще тогда молодая Александра Николаевна с восторженным интересом относилась к книгам и картинам соседа-помещика. Спустя шесть лет, 28 июня 1838 года, вдова Пушкина, жившая в то время вместе с сестрой в Полотняном Заводе, в письме П. В. Нащокину просила его прислать сочинения Бальзака, «чем много обяжете женскую нашу обитель» [1]. Для иностранного читателя Бальзак, надо сказать, автор очень нелегкий. Чтобы одолеть его, нужно основательно знать язык и иметь привычку к чтению. Видимо, она была у обеих сестер, и вряд ли Александра Николаевна утратила ее в старости.

Была ли эта старость счастливой? Сказать пока трудно... О прочном и спокойном браке с бароном Густавом я уже упоминал, но кроме мужа были дочь и зять, с которыми Александра Николаевна прожила семнадцать лет.

По некоторым сведениям, Фризенгофы были против «неравнородного» брака дочери, и это весьма вероятно. Тем не менее с герцогом Элимаром, судя по всему, умным и достойным человеком, у них, очевидно, установились хорошие родственные отношения — иначе супруги не жили бы постоянно с зятем. Владельцев Бродянского поместья ведь никак нельзя считать «бедными родственниками»...

Александра Николаевна, хотя и выросла в весьма провинциальной обстановке калужского имения, потом восемнадцать лет провела в Петербурге. Еще при жизни Пушкина вошла в высшее общество столицы, потом стала свояченицей гене-

---

[1] И. Л. Поливанов. Из архива Л. И. Поливанова.— «Искусство. Журнал Российской академии художественных наук». 1923 № 1, с. 326.

рала Ланского, командира блестящего гвардейского полка. Придворной службы не несла, но все же состояла фрейлиной высочайшего двора. Быт герцогского замка Эрлаа сам по себе вряд ли был ей в тягость.

Думается все же, что там она была хотя и не чужой, но и не до конца своей... Навсегда уехала за границу, а в душе осталась русской женщиной, видимо, тосковавшей по родине. Была, как и многие ее современницы того же круга, воспитана на русско-французской культуре. Немецкий язык, судя по воспоминаниям Геннриха, до конца жизни знала весьма плохо, а жить приходилось в среде немецкой знати, говорившей, правда, когда нужно, по-французски, но думавшей и чувствовавшей по-своему...

И совсем иностранкой была ее единственная дочь, немецкая поэтесса, в подлиннике читавшая труднейших германских философов, с матерью говорившая на «языке Европы» [1], но думавшая, вероятно, главным образом по-немецки. Германский шовинизм, видимо, был совершенно чужд этой — повторим еще раз — высококультурной женщине, по духу австрийской аристократке. Она умела говорить по-словацки и даже иногда любила надеть в Бродянах словацкий народный костюм*.

По-словацки говорила, а родного языка матери не знала вовсе, и Россия была для нее чужой. По словам А. М. Игумновой [2], впоследствии «родными своей матери в СССР она совершенно не интересовалась и вообще была далека от всего русского. Не знала она и русского языка».

Как мы узнаем из воспоминаний Геннриха, в конце жизни у Александры Николаевны были плохие, кажется, даже очень плохие отношения с дочерью. В чем их причина, автор не говорит, но можно думать, что и тогда и раньше не было настоящей духовной близости между русской матерью и дочерью-иностранкой.

И, вероятно, старая женщина, когда-то через сестру, Наталью Николаевну, просившая Пушкина прислать часть третью его стихотворений, порой жалела о том, что свою Наталью она даже и читать по-русски не выучила...**

Снова возвращаемся к моей поездке в Бродяны. Я пробыл в замке очень недолго — немногим более суток. Перед отъездом, 21 апреля, я получил приглашение снова приехать во время пасхальных каникул в будущем, 1939 году. Оно меня очень обрадовало. Заранее решил, что попрошу на этот раз разре-

---

[1] Пушкин так называл французский язык (письмо к П. Я. Чаадаеву 6 июля 1831 года).

[2] *Воспоминания о Бродянах*, с. 2.

шения привезти с собой фотографа, специалиста по портретам и музейным вещам. Буду подробно описывать, измерять, сравнивать. Быть может, познакомившись со мной поближе, хозяева замка покажут мне и архив. Очень возможно, что в нем есть письма жены поэта за 1831—1834 годы, когда сестры жили врозь. Может оказаться и многое другое, о чем заранее не догадываешься.

Моим надеждам не суждено было осуществиться. 15 марта 1939 года в Прагу вошли танки Гитлера. Чехословакия временно была разрезана на куски. Во вновь организованное немцами Словацкое «государство» я ехать не мог. Письма туда шли плохо. Переписка с Бродянами прекратилась.

Много лет я ничего не знал о судьбе замка Бродяны и хранившихся в нем коллекций. Впоследствии я получил ряд писем из Чехословакии, на основании которых в первом издании этой книги писал: «...замок уцелел, часть реликвий попала, к счастью, в Ленинград, а где находятся остальные — неизвестно» [1].

Сведения были неутешительными, но позднее я узнал ряд других, еще более печальных. По-прежнему ничего не известно о судьбе наиболее ценных материалов — рисунков Ксавье де Местра, альбома Александры Николаевны, большинства портретов и миниатюр*. Хозяева замка, покинувшие его перед концом войны, во всяком случае, ничего с собой не увезли.

Оставались на месте и архив и библиотека, но в письме в Пушкинский дом от 5 июля 1961 года А. М. Игумнова сообщила: «В 1945 году, сейчас же после освобождения Словакии от немцев, я ездила в Бродяны вместе с А. В. Исаченко и с профессором Московского университета Н. Н. Вильмонтом, который в то время был в Советской Армии. Анны Б(ергер) [2] тогда не было в Бродянах. Мы нашли библиотеку в замке в плачевном виде, окна были выбиты, в комнате поселились голуби, которые ее сильно перепачкали. Незадолго до этого в замке были помещены румынские (королевские) солдаты, которые распоряжались там по-своему. Из ценнейшей библиотеки они брали то, что им было нужно, на растопку или на папиросы, а много бумаг просто выбросили за окно. По возвращении Анна Б. нашла в куче мусора письма Фризенгофа <...>» [3].

Прошло еще двадцать лет. Бродянский замок совершенно обветшал. Все, что можно было унести, унесено, в том числе и книги.

---

[1] «Если заговорят портреты», Алма-Ата, 1965. с. 43.

[2] Скончалась в январе 1965 года. В самое тяжелое время Анна Бергер сохранила часть бродянских реликвий.

[3] Это были, несомненно, письма барона Густава к брату Фридриху Адольфу, выдержки из которых опубликовал А. В. Исаченко.

Иозеф Бардун пишет в своей словацкой статье о том, что не только замок находится в бедственном состоянии. «Парк вокруг него также изуродован. Над деревней на лесистом холме находится часовенка со склепом, в котором похоронена Александра, ее муж и их потомки. Часовенка сильно повреждена».

Однако в той же статье автор сообщает, что Окружной музей в городе Топольчанах и кафедра русского языка философского факультета Университета Коменского в Братиславе, которую возглавляет доцент Юрай Копаничак, «решили спасти бродянский замок». Предположено не только реставрировать замок, но и «создать в нем музей, который состоял бы из отдела, посвященного А. С. Пушкину, и из более широко задуманного музея словацко-русских отношений. Кафедра русского языка рассчитывает кроме того «постепенно создать из замка исследовательский центр словацких русистов <...>».

Широко задуманный интересный проект оказывается, к сожалению, трудно осуществимым.

Однако, независимо от того, для каких целей — научных или культурно-общественных — будет использован восстановленный замок, его прежде всего необходимо безотлагательно ремонтировать.

Ю. Копаничак считает, что бродянский замок является «культурно-историческим памятником, рамки которого превышают узкий круг словацкой истории и касаются такой выдающейся личности, какой был Александр Сергеевич Пушкин»[1].

В словацких журналах время от времени продолжают появляться статьи о Бродянах, авторы которых описывают печальное состояние исторического замка и настаивают на его реставрации. Опубликован ряд фотографий разрушающегося строения и опустошенных комнат.

Пока эта кампания принесла лишь незначительные результаты. Для восстановления памятного здания необходимо затратить немалые средства. А пока в Бродянах производится лишь частичный ремонт. Меньшее крыло замка, в котором помещалась библиотека, реставрировано, и его занял бродянский Местный национальный комитет. Вестибюль Комитет украсил портретом Пушкина. Так по желанию жителей словацкой деревни Бродяны изображение великого русского поэта впервые появилось в бывшем замке Александры Николаевны Фризенгоф-Гончаровой... По словам И. Бардуна, жители «гордятся своей пушкинской традицией».

---

[1] Juraj Kopaničak. Puškin a Brodziany (Юрай Копаничак. Пушкин и Бродяны). «Slovenka», 1965, № 51—52 *(словацк.)*.

* * *

Так заканчивался мой очерк, посвященный поездке в Бродяны, в первом издании этой книги. Я рассказал в нем о бывшей владелице замка Александре Николаевне Фризенгоф-Гончаровой, такой, какой я ее представлял себе на основании известных в то время материалов.

Недавно найдены и опубликованы письма сестер Гончаровых к брату Дмитрию, относящиеся к тому периоду, когда сестры жили совместно с семьей Пушкина[1]. И хотя эти новые материалы не нарушают в целом создавшегося у меня ранее образа Александры Николаевны, однако они вносят в него ряд существенных и новых подробностей.

Оказалось, например, что издавна укоренившееся мнение о том, что Александра Николаевна по своей натуре была домоседкой и по приезде к Пушкиным приняла на себя все заботы по дому и занималась воспитанием детей поэта — это традиционное мнение оказалось несоответствующим действительности. Как видно из писем сестер, дом вела сама Наталья Николаевна, и она же воспитывала своих детей. Никаких подтверждений домашних забот Александрины в письмах сестер мы не находим. Домоседкой она также не была.

Однако мы в дальнейшем остановимся несколько подробнее на этой находке, так как первое же петербургское письмо Александрины содержит весьма любопытные сведения.

До самого последнего времени мы знали чрезвычайно мало о том периоде жизни семьи Пушкина, когда барышни Гончаровы поселились в квартире поэта.

Напомним о том, что для лучшего устройства своих своячениц Пушкину пришлось сменить квартиру на бóльшую и из дома Оливье переехать в дом Вяземского, надолго уехавшего за границу. Пушкин, по всему судя, радушно принял своячениц, хотя вначале и не очень одобрительно отнесся к плану жены перевезти сестер к себе.

В первом же петербургском письме Александра Николаевна с благодарностью говорит об отношении Пушкина к ней. Примерно через два месяца после приезда Александрина заболела — по-видимому, довольно серьезно, и в связи с этим сообщает ряд подробностей, очень характерных для сравнения ее жизни в Полотняном Заводе с той обстановкой, которая окружала сестер в доме Пушкина. Для нас особенно ценным в этом письме является упоминание о поэте, которое лишний раз подтверждает свойственные Пушкину отзывчивость и доброту. Приведем небольшую выдержку из письма Александрины.

---

[1] И. Ободовская, М. Дементьев. Вокруг Пушкина. М., 1975. В дальнейшем — «Вокруг Пушкина».

«Я простудилась и схватила лихорадку, которая заставила меня пережить очень неприятные минуты, так как я была уверена, что все это кончится горячкой, но, слава богу, все обошлось, мне только пришлось пролежать 4 или 5 дней в постели и пропустить один бал и два спектакля, а это тоже не безделица. У меня были такие хорошие сиделки, что мне просто было невозможно умереть. В самом деле, как вспомнишь о том, как за нами ходили дома, постоянные нравоучительные наставления, которые нам читали, когда нам случалось захворать, и как сама болезнь считалась божьим наказанием, я не могу не быть благодарной за то, как за мной ухаживали сестры, и за заботы Пушкина. Мне, право, было совестно, я даже плакала от счастья, видя такое участие ко мне, я тем более оценила его, что не привыкла к этому дома».

Весьма многозначительно письмо Александрины от конца июля 1836 года, в котором имеется тщательно зачеркнутая фраза. Ее, однако, удалось разобрать авторам книги «Вокруг Пушкина». Александра Николаевна, передавая брату просьбу Пушкина прислать писчей бумаги разных сортов, добавляет: «Не задержи с отправкой, потому что мне кажется, он скоро уедет в деревню». Из этого можно предположить, что у Пушкина, по-видимому, было серьезное желание увезти жену из Петербурга и таким образом прекратить флирт с бароном Жоржем, а также вообще разрядить ненормальную и чрезвычайно сложную обстановку, сложившуюся в то время в семье Пушкина. Своим намерением он, быть может, поделился с Александриной и попросил сохранить это пока в тайне. Не придав, по-видимому, вначале особенного значения своей фразе, Александрина затем тщательно ее зачеркнула.

Судя по письмам сестер Гончаровых, и в частности Александрины, их материальное положение в период жизни у Пушкиных было очень нелегким. Барышни Гончаровы, которых тетка Загряжская всячески старается ввести в большой свет, а Наталья Николаевна строит планы выгодно выдать их замуж, постоянно нуждались в деньгах. Пушкин, кстати сказать, весьма иронически относился к матримониальным планам жены: «Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Николаевну за Хлюстина, а Александру Николаевну за Убри: ничему не бывать; оба влюбятся в тебя; ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтоб ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица».

Постоянные просьбы о деньгах, порой носившие трагический оттенок, несомненно, были тягостны и для сестер Гончаровых, и для их брата Дмитрия Николаевича, который рад бы был им аккуратно помогать, но сам находился постоянно в больших затруднениях. И неоднократно, когда разговор заходит на эту неприятную для обеих сторон тему, Александра Николаевна прибегает к родному языку, на котором ей

все же, по-видимому, легче было выражать оттенки своих чувств. «Грустно вас теребить, но что ж делать, и сами не рады». Кстати сказать, русские вставки в письмах Александры Николаевны написаны более живо, образно и остроумно, чем французские. Нельзя не заметить по этой переписке, что все три сестры отличаются живым остроумием, а иногда и язвительностью.

В письме Александрина пишет: «Несмотря на всю нашу экономию в расходах, все же, дорогой братец, деньги у нас кончаются; у нас, правда, еще есть немного денег у Таши, и я надеюсь, что этого нам хватит до января, мы постараемся дотянуть до этого времени, но, пожалуйста, дорогой братец, не заставляй нас ждать денег долее первого числа. Ты не поверишь, как нам тяжело обращаться к тебе с этой просьбой, зная твои стесненные обстоятельства в делах, но доброта, которую ты всегда к нам проявлял, придает нам смелости тебе надоедать. Мы даже пришлем тебе отчет в наших расходах, чтобы ты сам увидел, что ничего лишнего мы себе не позволяем. До сих пор мы еще не сделали себе ни одного бального платья; благодаря Тетушке, того, что она нам дала, пока нам хватало, но вот теперь скоро начнутся праздники и надо будет подумать о наших туалетах <...> Мы уверены, дорогой брат, что ты не захочешь, чтобы мы нуждались в самом необходимом, и что к 1 января, как ты нам это обещал, ты пришлешь нам деньги. Так больно просить; что ж делать, нужда заставляет» [1].

Это письмо, как и все остальные, написано по-французски. Последняя же фраза процитированного нами отрывка — «Так больно просить...», идущая из глубины сердца, написана по-русски.

Последнее письмо Александрины, приведенное в книге И. Ободовской и М. Дементьева, написано всего за несколько дней до дуэли и поэтому заслуживает особо пристального внимания. Оно содержит ряд многозначительных недомолвок, о случайно пропущенных двух белых страницах Александра Николаевна говорит: «Не читай этих двух страниц, я их нечаянно пропустила и там, может быть, скрыты тайны, которые должны остаться под белой бумагой...»

Внешне семейные отношения как будто бы наладились. Дантес женат на Екатерине Николаевне, Александра Николаевна изредка бывает в семье Геккернов, однако «не без тягостного чувства», видимо, надеясь на то, что все в конце концов как-то образуется. Ее наблюдательный глаз видит то, что сестра старается от нее скрыть — Екатерина Николаевна хочет казаться счастливой, но это ей плохо удается.

«Все кажется довольно спокойным. Жизнь молодоженов

---

[1] «Вокруг Пушкина», с. 261.

идет своим чередом, Катя у нас не бывает; она видится с Ташей у Тетушки и в свете. Что касается меня, то я иногда хожу к ней, я даже там один раз обедала, но признаюсь тебе откровенно, что я бываю там не без довольно тягостного чувства. Прежде всего я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянником не из близких; с обеих сторон смотрят друг на друга косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда. Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия, она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни: более спокойна, но, мне кажется, скорее печальна иногда. Она слишком умна, чтобы это показывать, и слишком самолюбива тоже; поэтому она старается ввести меня в заблуждение, но у меня, я считаю, взгляд слишком проницательный, чтобы этого не заметить».

Для нас наиболее интересны настроения самой Александры Николаевны. Она явно устала от тягостной, запутанной обстановки в семье и от нравов окружавшего ее общества. «То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску. Я была бы так счастлива приехать отдохнуть на несколько месяцев в наш тихий дом в Заводе». Совсем недавно Александрина с ужасом думала о возможном возвращении в Полотняный Завод, а сейчас она считает за счастье оказаться там.

Таким образом, всего за несколько дней до трагической развязки у Александры Николаевны появилось страстное желание вырваться из сетей, в которых запуталась вся семья поэта. Вспомним о том, что всего несколько месяцев назад примерно то же желание возникало и у самого Пушкина.

Другими, относительно новыми публикациями, которые произвели немалое впечатление в читательских кругах, были напечатанные посмертно статьи Анны Андреевны Ахматовой[1]. Мне придется остановиться на одной из них подробнее в дальнейшем, а пока хочу обратить внимание читателей на одну деталь, относящуюся к Александре Николаевне.

В Чехословакии давно ходили слухи о том, что будто бы существует дневник Александры Николаевны Гончаровой-Фризенгоф, в котором якобы имеется запись о встрече Натальи Николаевны с Дантесом в замке Фризенгофов. Это дало повод Анне Ахматовой заявить:

«О дуэли знали многие (Вяземский, Перовский) и, между прочим, «друг Пушкина» Александрина Гончарова. Могу сообщить многочисленным поклонникам этой дамы, что много лет спустя Александра Николаевна, не без умиления, записала в своем дневнике, что к ней в имение (в Австрии) в один день приехали ее beau-frère[2] Дантес (очевидно, из Вены от

---

[1] «Гибель Пушкина».— «Вопросы литературы», 1973, № 3; «Александрина».— «Звезда», 1973, № 2.

[2] Зять *(франц.)*.

Геккерна) и Наталья Николаевна из России. И вдова Пушкина долго гуляла вдвоем по парку с убийцей своего мужа и якобы помирилась с ним».

Не вдаваясь в подробное обсуждение статьи Ахматовой, я должен тем не менее заметить, что дневника Александры Николаевны Ахматова, несомненно, читать не могла, так как и по истечении 20 лет этот документ остается необнаруженным.

Являются также совершенно недостоверными просочившиеся в печать слухи о встрече Натальи Николаевны Ланской с Дантесом в замке Фризенгофов.

В 1946 году А. В. Исаченко опубликовал в братиславском журнале «Свободное радиовещание» первую краткую статью о Бродянах (на словацком языке) «Родственники Пушкина в Словакии», в которой он, в частности, писал:

«Наталья Пушкина-Ланская несколько раз гостит у Фризенгофов в Бродянах. При одном из этих посещений она даже встречается с убийцей своего мужа Дантесом ван Геккерном, и кажется, что эта встреча уменьшила напряжение между ними».

Из числа лиц, пишущих о Пушкине, я был, к сожалению, единственным, который видел замок Бродяны таким, каким он был при жизни Александры Николаевны и приезжавшей к ней в гости Натальи Николаевны. Свои впечатления я подробно описал в статье «В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой», о чем я уже упомянул. В ней я задал вопрос автору статей о Бродянах А. В. Исаченко о том, откуда исходят приводимые им сведения о встрече Натальи Николаевны Ланской с Дантесом. С тех пор прошло 14 лет, но мой вопрос по-прежнему остается без ответа.

Могу еще прибавить, что никаких следов пребывания Дантеса в Бродянах нет.

До сих пор, однако, оставалось загадкой — каким образом в замок Бродяны попал большой портрет Дантеса-Геккерна с его автографом, висевший в столовой замка. Наличие этого портрета давало основание к различным толкам об истинном отношении Александры Николаевны к Дантесу. Приходилось предполагать, что между убийцей Пушкина и свояченицей поэта существовали дружеские отношения. Лично я до сих пор помню, какое странное, неприятное впечатление произвело на меня присутствие в замке свояченицы Пушкина портрета его убийцы.

Совсем недавно опубликованные И. Ободовской и М. Дементьевым письма из-за границы Екатерины Николаевны, Дантеса и Луи Геккерна позволяют, однако, думать, что злополучный портрет Дантеса попал в замок Бродяны совершенно другим путем. Оказалось, что Екатерина Николаевна находилась в очень дружеских отношениях с первой женой Фризенгофа Натальей Ивановной Ксавье де Местр.

После того как барон Луи Геккерн, после длительной опалы, был, наконец, аккредитован при венском дворе и поселился в Вене, он пригласил к себе на всю зиму Дантеса с семьей. Из писем Екатерины Николаевны брату Дмитрию этого периода мы можем догадаться, что положение четы Дантес-Геккерн в венском обществе было весьма щекотливым. Убийцу Пушкина, по всей видимости, не желали принимать в высшем обществе.

«Мы не увидим госпожи Дантес, она не будет бывать в свете и в особенности у меня, так как она знает, что я смотрела бы на ее мужа с отвращением. Геккерн также не появляется, его даже редко видим среди его товарищей. Он носит теперь имя барона Жоржа де Геккерна» — эти слова принадлежат графине Д. Ф. Фикельмон, о которой я буду говорить очень подробно в следующем очерке.

Известны всего два письма Екатерины Николаевны из Вены, и в обоих она сообщает, что ни она, ни Дантес в свете не бывают, но зато ежедневно встречаются с семьей австрийского дипломата барона Густава Фризенгофа. Его первая жена Наталья Ивановна Ксавье де Местр, как я уже упомянул, находилась в родственных отношениях с Гончаровыми.

«Я веду здесь жизнь очень тихую и вздыхаю по своей Эльзасской долине, куда рассчитываю вернуться весной,— пишет Екатерина Николаевна.— Я совсем не бываю в свете, муж и я находим это скучным; здесь у нас есть маленький круг приятных знакомых, и этого нам достаточно. Иногда я хожу в театр, в оперу, она здесь неплохая, у нас там абонирована ложа. Я каждый день встречаюсь с Фризенгофами, мы очень дружны с ними. Натали очень милая, занимательная, очень веселая и добрая женщина».

Таким образом, является очень правдоподобным, что именно в память об этой дружбе, особенно ценной в атмосфере всеобщего недружелюбия, Дантес мог подарить несколько позже свой портрет чете Фризенгоф. И если так, что, повторяю, весьма и весьма возможно, то никакого отношения к портрету Дантеса Александра Николаевна не имела. Все объясняется просто: став второй женой Фризенгофа, Александра Николаевна не сочла возможным или нужным менять что-либо в сложившейся при Наталье Ивановне обстановке замка. Известно также, что Александра Николаевна в свое время очень ее любила и во время смертельной болезни Натальи Ивановны самоотверженно за нею ухаживала. Все портреты первой жены своего мужа она также тщательно сохранила, и они дошли до наших дней.

Но как бы там ни было, Александре Николаевне приходилось постоянно видеть перед собой портрет убийцы любимого ею поэта, и можно только представить, какие сложные чувства владели ею при виде этого портрета.

В письмах Екатерины Николаевны из-за границы мы находим еще одно подтверждение невозможности встречи Дантеса с Александрой Николаевной или Натальей Николаевной. Оказалось, что обе сестры, и Наталья Николаевна и Александра Николаевна, не только не желали встречаться с Дантесом, но даже навсегда порвали всякие связи со старшей сестрой — женой убийцы Пушкина.

В первое время, оказавшись на чужбине, Екатерина Николаевна пыталась писать сестрам, но письма неизменно оставались без ответа. О жизни сестер баронесса Дантес-Геккерн узнавала только из третьих рук. Не сразу ей стало известно и о смерти тетки Загряжской, которая также прекратила всякие отношения с племянницей.

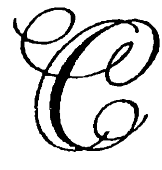
Вопреки мнению Щеголева, считавшего, что «деяние Жоржа Дантеса не диктовало Гончаровым никакой сдержки в отношениях к убийце Пушкина», письма из-за границы подтверждают обратное — все Гончаровы не желали поддерживать какую-либо связь с женой убийцы Пушкина (за исключением матери Натальи Ивановны и брата Дмитрия, и то очень непрочную).






ФИКЕЛЬМОНЫ

I



реди архивов, в которых, по всей вероятности, были материалы, так или иначе относящиеся к Пушкину, литературоведов издавна интересовали бумаги австрийского посла в Петербурге графа Шарля-Луи Фикельмона и его жены, графини Дарьи Федоровны, которая в литературе о Пушкине более известна под своим английским уменьшительным именем Долли.

В 1942 году я решил попытаться найти этот несомненно ценный архив. Задача была нелегкой, так как Фикельмон скончался в 1857 году, его жена умерла в 1863 году, и никаких данных о местонахождении их бумаг в известной мне литературе не было*.

В то же время, зная, как тщательно сохраняются в архивах западноевропейской знати бумаги не только своей семьи, но и давно вымерших близких ей родов, я был уверен в том, что архив Фикельмонов можно отыскать, если только он случайно где-нибудь не погиб за восемь десятилетий, прошедших после смерти Дарьи Федоровны.

Надо было отыскать конец нити. Я нашел его далеко не сразу. Помешала война. Надо, кроме того, сказать, что гитлеровцы, продержав меня в 1941 году два месяца в тюрьме, запретили мне затем выезжать из Праги. Таким образом, мои возможности были очень и очень ограничены. Приходилось искать неизвестно где находящийся архив, сидя в зале докторов Национальной и Университетской библиотек.

Я знал давно, что в 1911 году в Париже некий граф Ф. де Сони издал письма графа и графини Фикельмон к сестре Дарьи Федоровны графине Екатерине Тизенгаузен[1].

---

[1] Comte F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont à la comtesse Tiesenhausen (Граф Ф. де Сони. Письма графа и графини Фикельмон к графине Тизенгаузен). Paris, 1911. В дальнейшем: *Сони.*

По-видимому, в Россию попало очень мало экземпляров этой интересной книги. Пушкинисты ее почти не использовали. Я рассчитывал на то, что де Сони, вероятно, знал, где хранится архив Фикельмонов, и, быть может, упомянул об этом в изданном им сборнике. К сожалению, в богатых книгохранилищах Праги нужной мне книги не оказалось. Тщетны были и мои попытки что-либо узнать о ее составителе. Ни в одном из французских справочников фамилии де Сони я не нашел. По всей вероятности, это псевдоним.

Один ключ не подошел. Я стал искать другой.

Граф Фикельмон с пятнадцати лет состоял на австрийской военной службе, но по происхождению он француз из старинного лотарингского рода. Возможно, что во Франции или в Бельгии и сейчас проживают какие-либо потомки его родственников, но я не пытался узнать, кто именно. Все равно во время войны списаться с ними из Праги невозможно. Надо поискать, не осталось ли родственников и в Центральной Европе.

Одну за другой беру книги по пушкиноведению, но нужных мне данных не нахожу. Позже я убедился в том, что плохо искал,— кой-какие сведения все же были.

Прошло несколько недель. Однажды, сидя дома, я вдруг вспомнил о том, что где-то читал о дочери графини Фикельмон. Кажется, она вышла замуж за какого-то австрийского князя. Да, несомненно читал, но где? Силюсь вспомнить — не удается. Еще и еще раз напрягаю память. И вдруг ясно вижу перед собой толстый поблекший том — «Старую записную книжку» друга Пушкина П. А. Вяземского.

Скорее в библиотеку! «Старая записная книжка» в «Полном собрании сочинений князя П. А. Вяземского» — это не один том, а три (VIII, IX, X). Перелистываю их, заглядывая в указатели, и почти сразу нахожу то, что мне нужно. Запись 12 ноября 1853 года, сделанная в Венеции.

«12. Вечер у Стюрмер. Первый в Венеции. <...> Принцесса Клари белоплечная с успехом поддерживает плечистую славу бабушки своей Елизы Хитровой. Красива и мила» [1].

У Елизаветы Михайловны Хитрово, друга Пушкина, дочери фельдмаршала М. И. Кутузова, была только одна замужняя дочь. Вторая, фрейлина Екатерина Федоровна Тизенгаузен, замуж не вышла. Итак, принцесса Клари... Фамилия звучала по-итальянски. А вскоре я нахожу еще одну обрадовавшую меня запись без даты:

«Графиня Хотек, бабушка нынешнего принца Клари, который владеет Теплицем и женат на нашей полусоотечественнице графине Фикельмон, оставила по себе записки».

---

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. X, с. 83.

Есть и еще несколько записей, а в двенадцатом томе — стихотворение «Notturno»[1], написанное в 1863 году и посвященное «принцессе Клари, урожденной графине Фикельмон». Старческая бледная лирика (Вяземскому 71 год)*, но чувствуется, что былой поклонник матери неравнодушен и к дочери. Девятью годами раньше он писал (по-французски) графу А. Орлову: «Мне доставило большое удовольствие ее видеть прежде всего потому, что она была она, и затем еще потому, что для меня она была ее мать».

Я прочел все упоминания о «принцессе Клари», как ее именует Вяземский (теперь принято писать княгиня Кляри), но запоздалые чувства старого поэта мне неинтересны. Важно то, что дочь Д. Ф. Фикельмон найдена и ее мужу лет восемьдесят тому назад принадлежал замок в городе Теплице, по-чешски Теплице-Шанове. Может быть, бумаги Фикельмонов и сейчас хранятся там? Это очень недалеко от Праги, но, к сожалению, поездка в Теплиц для меня сейчас невозможна. К тому же за восемьдесят лет все могло измениться. Живя в Праге я ничего не слышал о князьях Кляри. Где их искать и существует ли сейчас этот род?.. Мог и вымереть за столько лет. Но о княжеской фамилии Кляри разузнать будет нетрудно. Для этого есть справочники, и прежде всего Готский альманах. Если изучить родословную, можно догадаться и о том, куда мог попасть архив.

На следующий день я занял с утра в «зале докторов» Национальной библиотеки один из специальных столов для читателей книг большого формата. Передо мной строй толстых томов — несколько чешских справочников, французская Большая энциклопедия, темно-малиновый с золотом том новой итальянской, Британская энциклопедия, сборник австро-венгерских биографий и, конечно, маленький по формату, но очень нужный Готский альманах. Служащие библиотеки посматривают на мой стол с интересом. Они приблизительно знают, чем заняты постоянные посетители, а я работаю в этом великолепном зале уже много лет. Сначала подбирал материалы для диссертации по анатомии насекомых, потом увлекся пушкиноведением. Как я уже упомянул, здесь, в Славянской библиотеке, хранится и все, что уцелело от петербургской библиотеки Смирдина.

Один из библиотекарей подходит ко мне, шепотом спрашивает:

— Нашли что-нибудь, господин доктор?[2]

Я улыбаюсь:

— Надеюсь найти...

---

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 33—34.

[2] В Чехословакии долгое время существовала только одна ученая степень — доктора. Она приблизительно соответствует нашей кандидатской.

Кое-что я уже установил. Дочь графини Фикельмон в честь императора Александра I и его жены, императрицы Елизаветы Алексеевны, была названа Елизаветой-Александрой. Ее муж носил титул князя Кляри-и-Альдринген.

Беру то один том, то другой. Выясняю, кто на ком и когда женился, где жил, когда умер, что сталось с детьми. Мелькают передо мной Прага, Венеция, Рим, Вена, Лондон, Париж, дворцы, имения, замки... Стараюсь не упустить ни одного возможного варианта.

Через два дня задача теоретически решена. Князья Кляри-и-Альдринген здравствуют и поныне. Их основная резиденция — по-прежнему замок в Теплице. Там проживает старший в роде, правнук Дарьи Федоровны, князь Альфонс. Если архив Фикельмонов не погиб в восьмидесятых годах во время одного из пожаров в Лондоне, то с наибольшей вероятностью его надо искать именно в теплицком замке. На втором месте стоит дворец Кляри в Венеции, на третьем — имение одного престарелого итальянского генерала где-то близ Рима.

Начинать, конечно, надо с Теплица. Опять, как и в истории с Бродянами, встает вопрос о рекомендации. Из энциклопедий узнаю, что Альфонс Кляри-и-Альдринген знатный и очень богатый магнат. До земельной реформы, проведенной в Чехословакии после 1918 года, ему принадлежало более десяти тысяч гектаров — по западноевропейским масштабам цифра огромная. Библиотека теплицкого замка пользуется европейской известностью.

В альманахе сказано, что Кляри — сын чешской княжны. От знакомых узнаю, что до войны он вообще держался больше чешской, чем немецкой линии. Это очень облегчает дело, но рекомендация все же необходима. На этот раз, просмотрев Готский альманах, вижу, что получить ее будет нетрудно. Мой хороший знакомый, Карл Шварценберг, правнук фельдмаршала, который считается победителем Наполеона в битве под Лейпцигом, оказался родным племянником Кляри. (Надо сказать, что национальность аристократов Средней Европы — зачастую вопрос убеждения, а не происхождения: оно почти у всех крайне смешанное.) Шварценберг неплохо знает русский язык, перевел на чешский блоковских «Скифов». На мое французское письмо он отвечает по-русски — не совсем правильно, но вполне понятно. Его дядя не помнит, есть ли у него интересующие меня материалы. Просит сообщить подробно, о каких именно бумагах идет речь. Стороной узнаю, что по обстоятельствам военного времени владелец замка лишился своего заведующего архивом.

Посылаю в Теплиц очень подробное письмо. Запрашиваю между прочим, нет ли в замке дневника прадеда Кляри,

Шарля-Луи Фикельмона, и альбома графини. Прикладываю серию фотокопий — образцы почерка Пушкина и его жены, Вяземского, Александра Ивановича Тургенева и других лиц, которых близко знала Долли Фикельмон. Особенно прошу поискать письма поэта. Чтобы заинтересовать владельца замка, сообщаю ему о том, что подвиг его прапрадеда, отца Дарьи Федоровны, увековечен Толстым в «Войне и мире». Под Аустерлицем флигель-адъютант граф Фердинанд — Федор Тизенгаузен повел со знаменем в руках в контратаку сильно поредевший батальон, был тяжело ранен, взят в плен и после трехдневных страданий скончался.

В настоящее время мы имеем возможность уточнить дату смерти Ф. Тизенгаузена. В алтаре соборной церкви города Таллина (б. Ревель) находится, как мне сообщила Т. П. Милютина, обелиск с барельефом Тизенгаузена и надписью (на немецком языке):

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО
ГРАФ ФЕРДИНАНД ФОН ТИЗЕНГАУЗЕН,
КАВАЛЕР ОРДЕНОВ МАРИИ-ТЕРЕЗИИ И СВ. АННЫ.
ОН УМЕР СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ ОТ РАНЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ НАКАНУНЕ ПОД АУСТЕРЛИЦЕМ.
MDCCCV (1805)

В моей книге «Если заговорят портреты» я высказал предположение о том, что это не могила, а лишь мемориальный памятник — кенотаф, но оно оказалось ошибочным. Чешская исследовательница Сильвия Островская (Sylvie Ostrovskà) * сообщила мне, что на месте временного погребения Тизенгаузена близ Аустерлица (по-чешски в деревне Силнична (Штрасендорф) был установлен постамент с крестом. В конце XIX века сохранился только постамент.

Лев Толстой воспользовался опубликованным в печати рассказом о подвиге Тизенгаузена, создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея**.

Как будто все сделано... Остается ждать ответа. Жду с нетерпением. Я решил уравнение со многими неизвестными, но совсем не уверен в том, что нашел правильное решение.

Письмо, датированное 22 ноября 1942 года[1], приходит лишь недели через три. Кляри просит извинить его за задержку с ответом. Идет война, он очень занят. Дальше, дальше... От волнения четкие строки расплываются у меня перед глазами. Мне будет выслана копия письма Пушкина к Дарье Федоровне Фикельмон! Дневника прадеда не существует, но есть петербургский дневник прабабушки и в нем длинная запись о дуэли и смерти поэта, сделанная в день его кончины. Текст записи я также получу.

---

[1] *ИРЛИ.*

Итак, уравнение решено правильно. Архив Фикельмонов найден, и в нем есть неизвестное письмо Пушкина. Существует дневник графини, о котором до сих пор не знал решительно никто.

Один из счастливейших дней моей жизни!..

Вскоре наступает другой, еще более счастливый. Мне подают заказной пакет с немецким штемпелем «Теплиц-Шенау». Сейчас там третий рейх. Почтальон-чех удивлен: вместо обычной кроны я даю ему двадцать. Осторожно вскрываю конверт. На стол падают копия французского письма Пушкина к графине Фикельмон от 25 апреля 1830 года из Москвы и еще одна машинопись. С волнением читаю неизвестные строки поэта. Потом принимаюсь за дневниковую запись: «Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина...» Сто пятьдесят строк французского текста. Сразу же вижу, что передо мной документ большой важности: нового в нем мало, но уже известное подтверждает независимая свидетельница, близко знавшая поэта. Рано или поздно биографы Пушкина, наверное, используют ее запись.

В тот же день пишу в Теплиц. Благодарю князя Кляри-и-Альдринген за услугу, которую он, дальний потомок Кутузова, оказывает науке о Пушкине. Благодарю от имени всех, кому дорога память нашего великого поэта.

С тех пор прошло более четверти века. Оба документа, машинописные копии которых мне удалось получить, опубликованы в наших академических изданиях. Обстоятельства сложились так, что принять участие в их изучении мне в свое время не пришлось. Точный текст письма Пушкина установлен теперь по фотокопии, присланной в Пушкинский дом из Чехословакии, и приводится во всех новых изданиях сочинений поэта. Подлинник хранится в одном из государственных архивов ЧССР. Две тетради дневника Фикельмон, принадлежавшие ранее Кляри, вошли в состав филиала Государственного архива в городе Дечине (Dečin). В 1959 и 1960 годах в Праге и Вене вышли (на русском языке) работы профессора А. В. Флоровского, в которых довольно подробно изложено содержание дневника и приведен ряд выдержек, касающихся Пушкина[1].

---

[1] А. В. Флоровский. Пушкин на страницах дневника графини Д. Ф. Фикельмон. «Slavia», Praha, 1959, rocn. XXVIII, ses. 4, c. 555—578. Antonij Vasil'evič Florovski. Дневник графини Д. Ф. Фикельмон. Из материалов по истории русского общества тридцатых годов XIX века. Wiener slavistisches Jahrbuch, Graz-Köln, 1959, Bd. VII, c. 49—99.

Указанные работы в дальнейшем цитируются сокращенно: *Флоровский. Пушкин на страницах дневника; Флоровский. Дневник Фикельмон.*

Н. В. Измайлов дал русский перевод приведенных А. В. Флоровским выдержек, относящихся к поэту[1].

Наконец в 1968 году итальянская исследовательница Нина Каухчишвили опубликовала в Милане почти полный текст первой тетради французского дневника графини с обширной вводной статьей «Дарья Федоровна Фикельмон-Тизенгаузен» (на итальянском языке)[2].

Давно изданные в Париже письма супругов Фикельмон к Е. Ф. Тизенгаузен остаются по-прежнему почти неиспользованными, хотя они очень интересны и хорошо дополняют петербургский дневник. В Праге мне в конце концов удалось получить это очень редкое издание из одной частной библиотеки, и я сделал из него много выписок.

Однако читатель, вероятно, уже давно подумал: кто же она такая, эта графиня Фикельмон, внучка Кутузова, супруга австрийского посла? Какова ее роль в жизни Пушкина?

Дарья Федоровна — дочь флигель-адъютанта Александра I штабс-капитана инженерных войск графа Фердинанда — Федора Ивановича Тизенгаузена (1782—1805) и Елизаветы Михайловны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, любимой дочери полководца.

Мы знаем, как геройски погиб совсем еще молодой Тизенгаузен, но о его жизни неизвестно почти ничего. Судя по барельефу на надгробии в Таллинском соборе, он был красивым офицером с крупными, но очень правильными чертами лица. Не портит профиля и довольно большой нос. Принятая тогда пышная прическа с напуском на лоб и александровские бачки делают Тизенгаузена значительно старше его 23 лет. Он выглядит в общем привлекательным и кажется энергичным человеком.

В одном из писем Кутузова к дочери, Елизавете Михайловне[3], мы находим ласковый отзыв полководца о своем молодом зяте:

«Любезного Фердинанда благодарю за приписку, или лучше сказать за большое письмо».

«Если бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд».

Судя по воспоминаниям современников, смерть Тизенгау-

---

[1] Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. 2. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон, Временник Пушкинской Комиссии *(Врем. ПК)*, 1962. М.—Л., 1963, с. 32—37.

[2] Nina Kauchtschischwili. Il diario Dar'ja Fëdorovna Ficquelmont (Нина Каухчишвили. Дневник Дарьи Федоровны Фикельмон), Milano, 1968. В дальнейшем: *Дневник Фикельмон*. Нина Михайловна Каухчишвили, грузинка по национальности, родилась за границей.

[3] Князь М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Письмо его к дочери графине Е. М. Тизенгаузен, во втором замужестве Хитрово.— «Русская старина», 1874, июнь, с. 337—377. Оригиналы большинства писем по-французски.

зена была большим личным горем для Кутузова, который его очень любил. Об этом несчастье он упоминает в нескольких письмах к своей жене и дочери-вдове, к сожалению, очень кратких и не содержащих фактических данных[1].

Матери Долли Фикельмон, Елизавете Михайловне, посвящено немало обстоятельных работ. Она родилась 19 сентября 1783 года[2] и была на год моложе своего первого мужа. Потеряла его в 22 года. Свое горе, видимо, переносила очень тяжело. Кутузов не раз пробовал ее утешать. Вскоре после Аустерлица он пишет Елизавете Михайловне: «Лизанька, мой друг сердечный, у тебя детки маленькие, я лучший твой друг и матушка; побереги себя для них. Жаль очень, что я не могу с тобой сейчас видеться. Я пойду с армией по другой дороге через Венгрию, куда тебе никак в теперешнее время доехать нельзя[3]. Поезжай поскорее к своим деткам и к матушке <...>».

15 января 1806 года в письме из Брод Михаил Илларионович сообщает: «Слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что там будешь много плакать. Сделаем лучше так: без меня не плакать никогда, а со мной вместе <...>».

Горе, однако, не утихало долго. В этом отношении многозначительно письмо Кутузова из Киева от 27 мая (1807 года?):[4] «Лизанька, решаюсь наконец тебя пожурить: ты мне рассказываешь о разговоре с маленькой Катенькой, где ты ей объявляешь о дальнем путешествии, которое ты намереваешься предпринять и которое все предпримем, но желать не смеем, тем более когда имеем существа, привязывающие нас к жизни».

Можно думать, что публикатор ошибся, отнеся это письмо к 1807 году — Катеньке в это время было четыре года, и вряд ли мать могла ей говорить о своем желании умереть. Впрочем, все могло статься: Елизавета Михайловна — женщина умная и добрая, но странности у нее были немалые...

Почитатели Пушкина знают ее под фамилией второго мужа — Хитрово. Всю жизнь она была стойкой русской патриоткой, хотя, как и многие светские дамы ее круга, с трудом писала по-русски (а по-французски, к слову сказать, с грубыми ошибками, чем, однако, грешили тогда не только

---

[1] Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, с. 149. В дальнейшем: *Письма к Хитрово.*

[2] Месяц и число, считавшиеся неизвестными, определяются по письму князя П. А. Вяземского к жене от 19 сентября 1832 года, в котором он сообщает, что «сегодня» празднуется день рождения Е. М. Хитрово (*Звенья,* IX, с. 457).

[3] По-видимому, во время похода Елизавета Михайловна, расставшаяся с маленькими дочерьми, сопровождала армию. В дни Аустерлица она, как можно думать, находилась в Тешене (ныне Чехословакия). Смерть мужа от нее сначала скрывали.

[4] «Русская старина», 1874, июль, с. 341.

русские, но и некоторые аристократки-француженки). Славу своего великого отца Елизавета Михайловна любила так сильно, что не совсем по праву подписывалась иногда «урожденная княжна Кутузова-Смоленская», хотя полководец получил этот титул, когда его дочь была уже замужем.

Любила она и отечественную литературу. Лично знала и постоянно принимала у себя некоторых русских писателей — В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. А. Соллогуба, А. И. Тургенева, поэта-слепца И. И. Козлова...[1] Познакомившись (вероятно, летом 1827 года) с Пушкиным, Елизавета Михайловна Хитрово вскоре стала одним из самых преданных друзей поэта. О ее патриотизме и дружбе с Пушкиным надо помнить и в повествовании о Долли Фикельмон. За исключением немногих лет мать все время жила вместе с дочерью.

Старшая из сестер, Екатерина Тизенгаузен, родилась в 1803 году; младшая, Даша, 14 октября 1804 года. О раннем детстве Долли мы знаем только по письмам Кутузова к Елизавете Михайловне и по немногим упоминаниям в дневнике Дарьи Федоровны. Первые одиннадцать лет своей жизни будущая графиня Фикельмон провела вместе с сестрой в Ревеле у бабушки Тизенгаузен, урожденной Штакельберг (1753—1826), которую она очень любила и считала своей второй матерью. Обстановка, в которой росли девочки, была далеко не роскошной — Долли впоследствии вспоминает в дневнике о простых и однообразных нравах и обычаях маленького города, или северной деревни[2]. Что это за «северная деревня», мы не знаем,— вероятно, эстляндское имение Тизенгаузен. Мать подолгу живала вместе с дочерьми у родственников покойного мужа. Лето проводила у них либо ездила с девочками на дачу в Стрельну под Петербургом. Порой предпринимала и далекие поездки: в Бухарест к отцу, в Крым, но дочери в это время оставались у бабушки.

С раннего детства они знают и французский и немецкий. В свои русские письма к старшей внучке Кутузов то и дело вставляет отдельные фразы на этих языках. Иногда пишет ей целиком по-немецки. Впоследствии обиходный язык Фикельмон главным образом французский, но хорошее знание немецкого языка, несомненно, помогало ей лучше понимать жизнь Центральной Европы. Из писем Кутузова видно, что девочки учатся и родному языку. Однако будем помнить, что Даша Тизенгаузен с детства жила в нерусской среде и, кроме Ревеля и Петербурга с окрестностями, кажется, нигде больше в России не бывала.

---

[1] Сведения о том, что в петербургском салоне Е. М. Хитрово бывал и молодой Гоголь, едва ли соответствуют действительности.

[2] *Дневник Фикельмон*, с. 7.

В 1811 году, через шесть лет после смерти Ф. И. Тизенгаузена, ее мать выходит вторично замуж за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово (1771—1819). Елизавете Михайловне 28 лет.

Пытаясь проследить жизненный путь Дарьи Федоровны, приходится пока постоянно делать оговорки — «по-видимому», «вероятно», «может быть». Очень многого мы о ней не знаем точно или совсем не знаем. Мало что известно и о ее отчиме, но все же значительно больше, чем об отце.

Отвечая на письмо дочери, которая, видимо, известила его о предстоящей свадьбе, Кутузов, находившийся в это время в Бухаресте, пишет ей 13 августа 1811 года: «С каких пор, дорогое мое дитя, считаешь ты меня тираном своих детей? Как ты могла считать меня способным сказать: не делай этого и оставайся несчастной? и что мог бы я возразить против брака с г. Хитровым? <...> Я долго соображал, кто же мой зять, и наконец разыскал его в своей памяти: молодой человек[1], статный, немножко хилый, очень умный и очень порядочный человек, впрочем насмешник. Я хорошо представляю себе г. Хитрова, и если когда-нибудь вернусь к вам, то отлично уживусь с ним. Если у тебя есть обычай его целовать, сделай это от меня. Да почему он мне не напишет?»

Несмотря на заочный поцелуй, переданный новому зятю, в письме Кутузова не чувствуется, однако, той сердечности, которая ощущается в нескольких известных нам строках, где Михаил Илларионович говорит о «любезном Фердинанде».

Довольно подробную характеристику Хитрово дает П. А. Вяземский[2]. Надо сказать, что она лишь отчасти совпадает с мнением Кутузова. Вяземский считает, что «он был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен». Офицеру-гусару приходилось, однако, тщательно скрывать свои литературные интересы от гуляк товарищей по полку. Вяземский, со слов Алексея Михайловича Пушкина, повествует о том, как испугался Хитрово, когда во время офицерской пирушки Алексей Михайлович обнаружил в его гусарской сумке (ташке) томик элегий Парни. «Ради бога молчи и не губи меня,— сказал он,— <...> как скоро проведают они (товарищи по полку.— *Н. Р.*), что занимаюсь чтением французских книг, я человек пропадший, и мне в полку житья не будет».

Николай Федорович, несомненно, умел нравиться людям— и притом людям очень разным. «Хитров был очень любим великим князем Константином Павловичем, который умел

[1] Н. Ф. Хитрово в 1811 году было уже 40 лет — возраст, по понятиям того времени, далеко не молодой.

[2] Из «Старой записной книжки».— «Русский архив», 1877, кн. I, с. 512—513.

ценить ум и светскую любезность». По словам Вяземского, к нему благоволил и Александр I. Весьма, правда, склонный к преувеличениям граф Ф. Г. Головкин утверждает, со слов Хитрово, что царь «всегда был его другом»[1].

Все эти сведения говорят скорее в пользу Хитрово — обходительность да и житейскую ловкость, если она не переходит в непорядочность, вряд ли можно считать недостатком. Если же переходит... Кутузов — не знаем, искренне или нет — считал своего нового зятя «очень порядочным». От воспоминаний Вяземского остается в этом отношении впечатление несколько неясное. По его словам, Хитрово был «чем-то вроде Дон-Джовани» и «на разные проделки в этом роде был не очень совестлив». «Не удастся ему, например, достигнуть где-нибудь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи и стоит неподалеку от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали это, выводили из того заключения свои; с него было и довольно».

В начале XX века за такого рода проделку (если, конечно, речь шла о «порядочной женщине») суд чести мог предложить офицеру уйти из полка, но в конце XVIII столетия нравы были иные... В связи с любовными историями российский «Дон-Джовани» служебным неприятностям, по-видимому, не подвергался.

Он тем не менее мог попасть под суд, но совсем по другой линии — против него было возбуждено редкое по тем временам дело по обвинению в жестоком обращении с крепостными крестьянами.

11 мая 1794 года императрица Екатерина писала Н. П. Архарову:[2] «Дошло до сведения нашего, что гвардии Преображенского полку поручик Николай Хитрово и сестры его девицы Катерина и Наталия, живущие в Москве, владея деревнею <...> отягощают крестьян своих выше меры продажею на выбор их порознь по душам, отпуском таковых же на волю со взятием с каждой души по триста рублей и что сверх того в нынешнем году выбрано с деревни и выслано в Москву к сущему разорению семейств их тридцать девок и одна вдова с дочерью, намереваясь и всех годных распродать порознь <...>».

Императрица, «желая положить преграду подобным поступкам», повелела Архарову «во всей подробности осведомиться под рукой и нам обстоятельно донести, справедлив ли вышесказанный слух, до нас дошедший, также в каком

---

[1] Федор Головкин. Двор и царствование Павла I, М., 1912, с. 365.

[2] «Из бумаг Николая Петровича Архарова».— «Русский архив», 1864, вып. 9-й, с. 908—909.

Н. П. Архаров (1742—1814) — московский обер-полицмейстер.

состоянии теперь находятся крестьяне сих помещиков и в коликом числе душ». Из дальнейшего текста письма можно, однако, заключить, что царица намеревалась выкупить в казну и деревню и крестьян. Наказание для жестоких помещиков, надо сказать, не очень серьезное...

Чем это дело закончилось, мы не знаем. На будущей карьере Н. Ф. Хитрово оно, во всяком случае, не отразилось*.

Судя по всем отзывам, он действительно был человеком не глупым, но никакими выдающимися способностями не обладал. Не был причастен и к подвигам воинским. В Отечественной войне по слабости здоровья не участвовал, о чем его тесть, Кутузов, упоминает с некоторой иронией. «Что поделывает Хитров, с его несчастным здоровьем?» (письмо к Елизавете Михайловне от 2 октября 1812 года).

В книге «Если заговорят портреты» я посвятил отчиму Д. Ф. Фикельмон лишь несколько строк, так как не было никаких сведений о том, какую роль он играл в ее жизни. Меня побудило ближе присмотреться к его облику появление труда Н. Каухчишвили, в котором автор приводит выдержку из письма Долли к мужу от 7 апреля 1823 года из Флоренции[1]. Об умершем четыре года назад Н. Ф. Хитрово Дарья Федоровна говорит: «Образ отчима (bon-papa)[2], которого мы так любили и которого потеряли здесь, не покидает меня. Я вспоминаю все эти ужасные моменты».

9 апреля 1829 года[3] она пишет в дневнике о своем муже, что он является одним из тех редких людей, у которых «есть нечто, что возвышает их над ничтожеством нашего мира. Я знала трех людей, наделенных богом этим благом, которое он, как кажется, бережет так ревниво и раздает так скупо — это папа[4], царь Александр и Фикельмон».

Итак, Дарья Федоровна, безусловно, любила отчима и приписывала ему достоинства необыкновенные — так же, как и недавно умершему царю. Об Александре I речь будет впереди.

В 1815 году сорокачетырехлетний генерал Хитрово назначается российским поверенным в делах при герцоге Тосканском. Семья переезжает во Флоренцию. Даше в это время одиннадцать лет. Для девочки начинается новая жизнь, совсем уже далекая от России и скромных ревельских нравов. В дневнике она вспоминает о внезапном переезде «в среду

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 10.

[2] Обычно «bon-papa» значит «дедушка» (в фамильярной речи).

[3] Записи в дневнике, хранящемся в г. Дечине, начинаются с 28 февраля 1829 года, но до приезда Фикельмонов в Петербург (в ночь с 29 на 30 июня ст. ст.); публикатор приводит из них только выдержки.

[4] Д. Ф. Фикельмон, несомненно, говорит здесь об отчиме; отец ее был убит, когда Даше Тизенгаузен шел второй год.

самого высшего света и самых элегантных обычаев», где она провела «молодость, полную праздников, самых блестящих удовольствий — все это на юге, ах! какой сон!» (запись 23 марта 1833 года)[1].

Во Флоренции проходит конец детства и юность Даши Тизенгаузен. Мы увидим в дальнейшем, что и в зрелые годы Долли Фикельмон была необыкновенно восприимчива ко всему прекрасному в жизни. Можно думать, что эта чуткость развилась у нее именно в столице Тосканы, где так много художественных сокровищ. Искусство там издавна срослось с повседневной жизнью. Чуть не каждая церковь расписана великими мастерами эпохи Возрождения. На улицах и площадях сколько-нибудь внимательный глаз не пропустит статуй, созданных в эту эпоху художественного расцвета Италии. Картинные галереи полны творений мирового значения.

Чудесный город. По вечерам золотистый полусвет скрадывает линии старинных зданий, терпко пахнут разогревшиеся за день кипарисы, и от мутной реки Арно тянет влажным теплом. В ноябре Флоренция еще полна роз, в феврале ее сады окутаны розовыми облаками цветущего миндаля.

Легко себе представить, как жизнь там влияла на подраставшую девочку. Так и видишь ее вместе с матерью и сестрой в галерее Уффици перед знаменитой «Весной» Боттичелли или в церкви Сан-Лоренцо перед гробницами герцогов Лоренцо и Джульяно Медичи, изваянными Микеланджело, или просто на улице, любующейся порталом храма Санта-Мария дель Фьоре.

И пусть читатель не посетует на меня за эти флорентийские подробности — мы увидим, что в духовном облике Долли Фикельмон навсегда осталось многое от Италии, ее любимой, по-настоящему родной страны.

П. И. Бартенев, хорошо знавший многих современников графини, говорит, что обе сестры «получили отличное образование во Флоренции»[2]. Учились девочки, надо думать, дома у гувернанток и приходящих учителей разных национальностей. Так учился маленький граф М. Д. Бутурлин, живший в то время с родителями во Флоренции. У Бутурлина был русский учитель[3], но обучал ли он и девочек Тизенгаузен, неизвестно. Во всяком случае, живя за границей, Дарья Федоровна, как мы увидим, совсем забыла разговорный русский язык, но когда началось это забвение, сказать трудно,— может быть, во Флоренции, может быть, позже, во взрослые годы. Удивлять-

---

[1] *Флоровский. Дневник Фикельмон*, с. 51. *Каухчишвили. Дневник Фикельмон*, с. 7.

[2] П. И. Бартенев. Рецензия на книгу Сони.— «Русский архив», 1911, кн. III, № 9, 2-я обложка.

[3] «Записки графа М. Д. Бутурлина».— «Русский архив», 1897, кн. 1, № 4, с. 594.

ся этому не приходится. Современницы Пушкина, никуда из России не выезжавшие, и те, по его словам:

Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

У Долли Тизенгаузен, как ее стали звать во Флоренции, к тому же прибавилось там еще два иностранных языка — английский и итальянский. Дома, по дворянскому обычаю того времени, наверное, говорили по-французски. Была ли в семье Хитрово русская прислуга, неизвестно (переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными)*.

Семейства Бутурлиных и Хитрово очень сблизились. Можно поэтому думать, что многие подробности быта тогдашних русских флорентийцев, которые приведены в записках Бутурлина, относятся и к семье русского поверенного в делах[1]. По словам автора, русских, постоянно живших во Флоренции, было очень мало. Наезжали иногда из России знатные путешественники[2]. Жизнь проходила по-иностранному. При дипломатической миссии не было и церкви. Отец Бутурлина устроил крошечную домашнюю церковку в занимаемом им доме, но служил в ней священник-грек, исповедовавший русских по-итальянски.

Не мудрено было Долли Тизенгаузен разучиться русскому языку.

Н. Каухчишвили, подробно изучавшая флорентийский период жизни Долли Тизенгаузен, отмечает, однако, что, начиная с 1818 года, приток русских путешественников в столицу Тосканы заметно усилился.

В своей книге[3] Ф. Г. Головкин подробно говорит о русской флорентийской колонии 1810 и 1817 годов. Как и Н. Каухчишвили, он называет многочисленных представителей русской знати, проживавших тогда во Флоренции. Перечислять их целиком было бы излишне. Назовем лишь некоторых: обер-гофмаршал А. Л. Нарышкин, его дочь княгиня Е. А. Суворова; известный адмирал П. В. Чичагов; граф (впоследствии князь) В. П. Кочубей; отец будущего декабриста московский богач С. М. Лунин с многочисленной семьей; граф Аркадий Иванович Марков (он же Морков), состоявший во времена Наполеона русским послом в Париже, и многие другие. Проез-

---

[1] «Записки графа М. Д. Бутурлина».— «Русский архив», 1897, кн. 1, № 4, с. 588, 592, 596.

[2] В действительности, как мы увидим, во Флоренцию русские приезжали часто и надолго.

[3] Федор Головкин. Двор и царствование Павла I. М., 1912, с. 346—379.

дом были во Флоренции дамы, перешедшие в католичество, княгини Е. П. Гагарина и Е. Н. Толстая.

Процветавшая в то время сравнительно благоустроенная Флоренция, по-видимому, была излюбленным городом русских путешественников.

Через несколько лет (в 1823 году) Шарль де Флао (de Flahaut) писал из Петербурга своей флорентийской приятельнице, графине д'Альбани: «Я не чувствую себя иностранцем в этом огромном городе. Здесь очень мало людей хорошего общества, которые не побывали бы в вашем салоне <...> Я никогда не кончу, если стану перечислять всех особ на «off», которые имели честь вас знать. Я нахожу, что петербургское общество в действительности все побывало в Италии»[1].

Долли Тизенгаузен, несомненно, видела многих из этих знатных путешественников в апартаментах русской миссии.

Несмотря на свой скромный пост поверенного в делах, генерал Хитрово, как мы узнаем из воспоминаний Ф. Г. Головкина, жил очень широко и нерасчетливо. Приехав во Флоренцию, Головкин в первом же письме к двоюродной сестре г-же Местраль д'Аррюфон (10 ноября 1816 года) сообщает: «Русский посланник умен и приятен в обращении, но он большею частью бывает болен, а страшный беспорядок в его личных делах налагает на него отпечаток меланхолии и грусти, которые он не может скрыть. Его образ жизни лишен здравого смысла. По вторникам и субботам у него бывает весь город, и вечера заканчиваются балом или спектаклем. По поводу каждого придворного события он устраивает праздник, из коих последний ему стоил тысячу червонцев[2]. При таком образе жизни он задолжал Шнейдеру за свою квартиру и во все время своего пребывания во Флоренции берет в долг картины, гравюры, разные[3] камни. Его жена скорее некрасива, чем красива, но она романтически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию[4] и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене <...> а также о своем славном старике-отце Кутузове. <...> Словом, все в этом открытом доме преувеличено, хотя и вполне прилично».

В доме Хитрово устраивались любительские спектакли, в которых участвовала также Елизавета Михайловна и (по-видимому) ее старшая дочь Екатерина. «Г-жа Хитрово поочередно должна изображать то г-жу Жорж, то г-жу Дюшенуа[5], и

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 15.

[2] Я уже отметил склонность Ф. Г. Головкина к преувеличениям. Тем не менее сообщаемые им сведения о жизни семьи Хитрово во Флоренции представляют значительный интерес. Никто из других авторов их не приводит.

[3] Вероятно, не «разные», а «резные», т. е. камеи.

[4] Не имея возможности ознакомиться с подлинником, я принужден цитировать перевод Кукеля, местами довольно неуклюжий.

[5] Знаменитые трагические актрисы того времени.

после впечатления, которое она производила своим талантом, публике приходится не меньше удивляться переменам ее костюмов для каждой сцены, а также силе ее легких»[1].

Среди многочисленных временных флорентийцев было немало знакомых и родственников Бутурлиных, особняк которых стал своего рода русским центром Флоренции. «Открытый дом» русского поверенного в делах, в котором, по словам Головкина, бывал «весь город», по-видимому, носил более международно-европейский характер, хотя иностранцы бывали и у Бутурлиных.

Однако девочкам Тизенгаузен, если бы они того хотели, было с кем и дома поговорить по-русски — прежде всего, конечно, с родителями. Почти наверное они не хотели... И родные и знакомые — частица русского большого света, перенесенная в Италию, и говорили и писали по-французски. Надо, однако, сделать оговорку — лишь немногие русские, подобно Пушкину, владели этим трудным, синтаксически очень сложным, веками разрабатывавшимся языком, как образованные французы. Приходится согласиться с Н. Каухчишвили — Долли Тизенгаузен слышала во Флоренции не живую речь Франции того времени, а, скорее, международный язык высшего общества XIX века...

Круг знакомых ее родителей и самой Долли был, естественно, шире, чем у Бутурлиных. Альбом, хранящийся в фонде Фикельмонов в городе Дечине, показывает, например, что среди подруг юных сестер Тизенгаузен было немало итальянских аристократок. Были и знатные польки — в том числе дочь тогдашнего русского министра иностранных дел князя Адама Чарторийского. Для дочерей русского посланника не существовало «пропасти, которая отделяла иностранцев от тосканцев»[2].

Среди посетителей салона родителей двенадцатилетняя Долли, несомненно, видела в 1816 году и, можно думать, навсегда запомнила M-me де Сталь. Знаменитая писательница во время своего пребывания во Флоренции познакомилась с семьей русского поверенного в делах. В одном из писем к своей тамошней приятельнице, графине Луизе д'Альбани, она просит ее рекомендовать некую леди Джерсей супругам Хитрово, которые «должны хорошо принять в своем салоне эту очаровательную особу»[3]. Недавно чешская исследовательница Мария Ульрихова[4] опубликовала в Праге неболь-

[1] Е. М. Хитрово обладала сильным голосом; известно, что она пела в домашней церкви Бутурлиных во Флоренции.

[2] *Дневник Фикельмон, с. 18.*

[3] Там же, *с. 15.*

[4] Marie Ulrichová. Lettres de Madame de Staël conservées en Bohême (Мария Ульрихова. Письма M-me de Сталь, хранящиеся в Чехии). Prague, 1959, с. 79. Письма опубликованы с сохранением очень неправильной орфографии и пунктуации автора.

шое любезное письмо M-me де Сталь к генералу Хитрово, в котором содержится подобная же просьба:

«Его Превосходительству генералу Хитрово,
посланнику Русского Императора во Флоренции.

Я вам писала из Болоньи, дорогой генерал, и вы мне не ответили — таковы русские, в тысячу раз более легкомысленные, чем французы. Несмотря на свое злопамятство, я рекомендую вам господина и госпожу Артур, моих знакомых ирландцев, которые год тому назад собирали в своем салоне в Париже самое приятное общество — попросите госпожу Хитрово, у которой столько любезной доброты, хорошо их принять ради меня и постарайтесь вспомнить о моих дружеских чувствах к вам, чтобы оживить ваши. До свидания. Все, окружающие меня[1], вспоминают о вас и,— на самом деле,— это очень нужно.

Коппе[2], 22 августа 1816. С дружеским приветом

Н(еккер) де Сталь Г (ольштейн)».

Генерал Хитрово, очевидно, умел нравиться и некоторым известным людям в Европе. Письмо M-me де Сталь показывает, что между ней и русским генералом существовали если и не дружеские, то все же очень хорошие отношения. В противном случае знаменитая и уже очень немолодая писательница[3] не обратилась бы снова к человеку, который не потрудился ей ответить.

Очень рано — лет с четырнадцати, если не с тринадцати, Долли начала «выезжать в свет» вместе с матерью и сестрой. Во Флоренции, надо сказать, единого высшего общества не было. Католическая итальянская аристократия держалась особняком. Иностранцев там принимали неохотно. Очень замкнутая, чинная и довольно скучная среда, особенно старшее поколение.

Был во Флоренции и двор. Не бог весть какой государь великий герцог Тосканский, но жил Фердинанд III в своей резиденции, дворце Питти, как монарх великой державы. Английская путешественница, леди Кемпбелл, побывавшая в 1817 году на придворном празднестве, пишет в своем дневнике: «Устройство дворцовой службы, число прислуги и стражи намного превосходит то, что видишь при наших дворах»[4]. Возможно, что во Флоренции на протяжении веков сохранялась по традиции пышность Лоренцо Великолепного.

---

[1] Вероятно, M-me де Сталь имеет в виду сына Августа, немецкого писателя Вильгельма Шлегеля и своего друга Альберта Рокка, сопровождавших ее во время путешествия по Италии.

[2] Швейцарская резиденция де Сталь.

[3] В 1816 году M-me де Сталь (1766—1817) был 51 год. Год спустя она умерла.

[4] *Дневник Фикельмон,* с. 17.

Семья русского поверенного в делах не только бывала во дворце, но и близко познакомилась с родными герцога. Молодая наследная принцесса Анна-Каролина (1799—1832), для Долли Тизенгаузен просто «Нани», стала ее любимой старшей подругой. Впоследствии, когда Анна-Каролина, с 1824 года великая герцогиня Тосканская, мучительно умирала, Дарья Федоровна записала в дневнике 16 декабря 1831 года: «Столько лет уже я люблю ее, как сестру <...> дня не проходит, чтобы я мысленно не была с ней. Это подлинная любовь, а для нее не существует ни времени, ни разлуки»[1].

Для нас эта дружба, завязавшаяся в те годы, когда Долли была еще девочкой-подростком, интересна тем, что, по всему судя, будущая австрийская посольша почти с детства привыкла обходиться запросто с «высокими» и «высочайшими» особами и видеть в них просто людей.

Нам еще придется вернуться к этому качеству графини Дарьи Федоровны Фикельмон по поводу одной необыкновенной страницы ее жизни, которая только сейчас становится известной.

Сестра Долли, Екатерина, по-видимому, несмотря на свою молодость, была в приятельских отношениях с мужем Анны-Каролины, наследником тосканского престола, герцогом Леопольдом (1797—1870). В письмах 1848 года к сестре графиня Фикельмон не раз называет его «ton ami de Florence» — «твой флорентийский друг». Однако сама Долли почему-то относилась к этому герцогу довольно неприязненно.

Мне думается поэтому, что при всей своей любви к «Нани» она не очень охотно бывала в пышном дворце Питти с его все же стеснительным этикетом.

Вероятно, молоденькой девушке веселее было в другом кругу. Его составляли знатные и, во всяком случае, богатые туристы разных национальностей, главным образом англичане и американцы. На балу и в этом международном обществе Долли увидел однажды французский путешественник Луи Симон, судья взыскательный и строгий. В своей книге[2] он находит манеры молодых англичанок и американок чересчур развязными. Зато падчерицей русского дипломата он не налюбуется. «Видите, сказал я в свою очередь синьору Фаббрини <...> эту молодую особу, которая не менее прекрасна, чем предмет ваших сарказмов, но, по-видимому, сама этого не замечает. Она вернулась к матери после танца и, как кажется, боязливо колеблется, принять ли ей руку подошедшего кавалера. С одной стороны, у нее откровенное желание продолжить, а с другой — страх за то, не слишком ли много она

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 179.

[2] Louis Simond. Voyage en Italie et en Sicile (Луи Симон. Путешествие в Италию и Сицилию), V. I. Paris, 1828, p. 122—123 *(франц.)*.

танцевала, но ни малейшей степени расчета. Она непосредственна и восприимчива — один нежный и встревоженный взгляд матери заставляет ее решиться и отклонить самым любезным образом обращенное к ней приглашение. Видите, она набрасывает шубку и собирается уезжать».

Луи Симон замечает дальше, что русская барышня очень напоминает ему по своему облику англичанку, но англичанку хорошо воспитанную.

В начале 1817 года генерала Хитрово постигла служебная и денежная катастрофа; возможно, что та и другая были связаны между собой. До сих пор мы знали о них очень мало. Все тот же Ф. Г. Головкин, подружившийся с русским дипломатом и принимавший большое участие в упорядочении его донельзя запутанных дел, сообщает об этой печальной истории ряд подробностей, которые, по-видимому, соответствуют истине.

25 марта этого года он пишет своей французской кузине Местраль д'Аррофон: «В один прекрасный день ко мне является генерал Хитрово, в страшно расстроенном виде <...> он сознался, что в том отчаянном положении, в котором находятся его дела, и в тот момент, когда он ожидал помощи[1], ставшей для него необходимой, он получил ошеломляющее известие о потере своего места; что это место совсем упразднено[2], и что ему отказывают в какой-либо помощи; и, наконец, что немилость эта, по-видимому, решена бесповоротно, так как ему предоставляют маленькую пенсию, но с условием, чтобы он оставался жить в Тоскане».

Н. Ф. Хитрово, очевидно, впал в Петербурге в немилость. Возможно, что она была вызвана тем, что до столицы дошли сведения о его неразумных тратах и безнадежном финансовом положении. Поверенному в делах, должность которого упразднялась, не только не предоставили другой пост, но — мало того (если не ошибается Головкин) — поставили условием для получения пенсии жить по-прежнему в Тоскане. Эта совершенно необычная мера, быть может, имела целью побудить Хитрово уплатить свои крайне неуместные для дипломата долги.

Выяснением их занялся Головкин[3]. 21 апреля 1817 года Федор Гаврилович пишет своей французской кузине: «Гене-

---

[1] От императора Александра I.

[2] В целях сокращения расходов по дипломатическому представительству обязанности поверенного в делах были переданы русскому послу в Риме А. Я. Италинскому.

[3] Ф. Г. Головкин, надо сказать, был русским только по имени. Он принадлежал к заграничной, совершенно обыностранившейся ветви этого графского рода, был лютеранином и совершенно не знал русского языка.

рал Хитрово переносит свое несчастие мужественно <...> Он все продает и рассчитывается со своими кредиторами; свое хозяйство он упразднил и нанял маленькую квартиру».

Таким образом, совсем еще девочкой (ей было 12 лет), Долли Тизенгаузен после «открытого дома», где постоянно устраивались (в долг) роскошные приемы, снова попала в очень скромную обстановку. Об этой флорентийской катастрофе семьи в известных нам записках Дарьи Федоровны упоминаний нет. Впрочем, придворные круги и высокопоставленные знакомые, узнав о несчастии, постигшем генерала, от семьи Хитрово не отвернулись. По словам Головкина, «все устроилось как нельзя лучше <...> Двор и общество выказали еще больше участия, чем мог ожидать этот бедняга. Для меня это было большое утешение...».

Головкин сообщает также: «Далее было решено, что г-жа Хитрово поедет в Петербург, чтобы отыскать какие-нибудь средства и предотвратить полное разорение <...>».

Долли Тизенгаузен и ее сестра, несмотря на все, что произошло, сохранили все свои знакомства. Прекратились домашние приемы, но в остальном жизнь юных графинь шла по-прежнему.

Через два года семью постигла тяжкая утрата. Давно уже прихварывавший Николай Федорович Хитрово после долгой и мучительной болезни скончался 19 мая 1819 года. Похоронили его в Ливорно. В жизни Долли смерть любимого отчима была первым большим горем.

Овдовев вторично, Елизавета Михайловна не покинула Флоренции. По словам А. Я. Булгакова, после смерти Николая Федоровича она одно время даже осталась «в прежалком положении, с долгами и без копейки денег»[1].

Если вспомнить то, что недавно писал о денежных делах покойного ныне генерала хорошо его знавший Ф. Г. Головкин, придется признать, что, вероятно, и Булгаков говорит правду. Тем не менее, будучи вдовой генерал-майора, Елизавета Михайловна вскоре должна была получить полагающуюся ей по закону небольшую пенсию. Ее, конечно, не хватило бы для далеких разъездов, а между тем в 1820 году Е. М. Хитрово побывала с дочерьми в Неаполе*. По крайней мере, однажды — когда именно, пока неизвестно,— совершила с ними большую поездку в Центральную Европу. Несомненно, побывала в Вене, где прозвали Долли «Сивиллой флорентийской» — в дальнейшем мы узнаем почему. По всей вероятности, в эти трудные для нее годы Елизавета Михайловна получала поддержку от родных из России.

[1] Письмо А. Я. Булгакова к брату от 13/25 июня 1819 года («Русский архив», 1900, кн. III, с. 206).

Духовно привлекательная и житейски опытная Е. М. Хитрово сумела создать себе и прежде всего подросшим дочерям блестящее положение в европейском «большом свете». Славное имя Кутузова знали, конечно, и иностранцы, но вряд ли оно производило на них большое впечатление. Истинную роль великого полководца в победе над Наполеоном и у нас ведь поняли много позже. Графы Тизенгаузен — древний немецкий род, но и только. В толстой «Справочной книжке графских домов» таких семей множество. Еще меньше могла говорить иностранцам стародворянская, но не титулованная фамилия Хитрово. Между тем среди личных друзей Елизаветы Михайловны и ее дочерей в начале двадцатых годов мы находим прусского короля Фридриха-Вильгельма III*, герцога Леопольда Саксен-Кобургского, впоследствии бельгийского короля и много других членов королевских и владетельных домов Германии, Австрии и Италии, не говоря уже о многочисленных представителях самых верхов аристократии.

Эти дружеские отношения «высочайших», «высоких» и просто знатных особ с Е. М. Хитрово и ее юными дочерьми возникли, конечно, не по признаку знатности и богатства последних.

II

Вряд ли их можно объяснить и замужеством Долли. Мы знаем немало претендентов на руку ее старшей сестры, как известно, оставшейся незамужней. Одно время в числе их считали и прусского короля Фридриха-Вильгельма III.

О том, как проходила жизнь сердца юной «Сивиллы флорентийской», мы не знаем пока ничего,— быть может, потому, что ее судьба определилась очень рано — 3 июня 1821 года, не достигнув еще и семнадцати лет, Дарья Федоровна вышла замуж за только что назначенного австрийского посланника при короле Обеих Сицилий графа Шарля-Луи Фикельмона, выдающегося кавалерийского генерала и опытного дипломата. Позже, в преклонных годах, он стал плодовитым и интересным политическим писателем. Постепенно мы ближе присмотримся к облику этого, несомненно, незаурядного человека.

О происхождении Фикельмонов можно сказать то же самое, что и о Тизенгаузенах: не богатый, но очень старинный бельгийско-лотарингский род. Их предок, крестоносец, еще в 1138 году, уезжая в Палестину, подарил участок земли одному монастырю.

Дед Шарля-Луи и его отец Христиан-Максимилиан, оста-

ваясь французскими подданными, служили, по семейной традиции, в Австрии — в XVIII веке это бывало нередко[1]. Шарль-Луи первоначально учился в коллеже в Нанси. В 1792 году его отец эмигрировал и взял сына с собой. В Австрии юноша, почти мальчик (ему было 15 лет), поступил в драгунский полк Лятура и с тех пор до конца жизни состоял на военной службе. Шарль-Луи (по-немецки Карл-Людвиг) Фикельмон стал со временем выдающимся кавалерийским начальником. Командовал в Испании полком в армии генерала Костаньоса (Costagnos), присоединившегося к англичанам. Много лет спустя герцог Веллингтон говорил, что он не знал лучшего кавалерийского генерала, чем Фикельмон.

После того как Австрия в 1813 году присоединилась к коалиции против Наполеона, граф вернулся из Испании. В 1815 году он командовал конницей корпуса австрийского генерала Фримона и дошел с ним до Лиона[2]. Позднее Фикельмон, оставаясь военным, перешел на дипломатическую службу. Состоял военным атташе в Швеции[3], а в 1819 году был назначен австрийским посланником во Флоренцию.

Здесь Фикельмон и познакомился с шестнадцатилетней Долли Тизенгаузен. Разница лет между ними была огромная. Посланник, родившийся 23 марта 1777 года, был на 27 лет старше Долли и на шесть лет старше ее матери.

Мы не знаем, когда именно состоялось их знакомство — в 1819 или, скорее, в 1820 году (предыдущий в семье Хитрово был траурным). Не знаем и того, как развивался этот не совсем обычный роман. Несомненно одно — не позднее 2 января 1821 года (скорее всего накануне — в день Нового года) во Флоренции Шарль-Луи Фикельмон сделал предложение Долли Тизенгаузен, которой было 16 лет и 2 месяца. Предложение сразу же было принято.

Об этом мы узнаем из письма графа к бабушке невесты, княгине Екатерине Ильиничне Голенищевой-Кутузовой-Смоленской, от 2 января 1821 года, которое хранится в Пушкинском доме[4]. Приведу его почти полностью:

---

[1] Не надо забывать, что понятие нации в современном смысле этого слова сложилось на Западе лишь во время Великой французской буржуазной революции.

[2] Сведения о военной карьере Фикельмона заимствованы мною из составленного академиком Барантом (бывшим послом в России) краткого биографического очерка в кн.: «Pensées et réflexions morales et politiques du comte de Ficquelmont ministre d'Etat en Autriche («Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона, австрийского государственного министра»). Paris, 1859.

[3] Согласно Баранту — посланником, но я считаю более надежными сведения Н. Каухчишвили, работавшей в семейном архиве Фикельмонов в Чехословакии.

[4] *ИРЛИ*.

«Княгиня

Нет на свете для меня ничего более счастливого и более лестного, чем событие, которое накладывает на меня, Княгиня, обязанность вам написать; я исполняю ее с величайшей поспешностью. Ваша дочь и ваша внучка одним своим совместно сказанным словом только что закрепили мое счастие, и мое сердце едва может выдержать испытанное мною волнение. Я удивлен, найдя у них обеих такое соединение достоинств, столько очарования, добродетелей, естественности и простоты. Неодолимая сила увлекла меня к новому существованию. Теперь его единственной целью будет счастие той, чью судьбу доверила мне ее мать. Все дни моей жизни будут ей посвящены и, поскольку воля сердца могущественна, я надеюсь на ее и на мое счастие.

Как военный, Madame la Maréchale[1], я горжусь больше, чем могу это выразить, тем, что мне вручена рука внучки маршала Кутузова, и я имею честь принадлежать к вашей семье <...>».

Е. М. Хитрово давно знала Александра I. В юности она была фрейлиной его матери. Когда Долли стала невестой, Елизавета Михайловна сейчас же (10 января) сочла нужным известить царя о предстоящей свадьбе. Он ответил любезным письмом из Лайбаха:

«...Примите мои искренние поздравления и пожелания брачному союзу, который ваша младшая дочь вскоре заключит с генералом Фикельмоном. Он мне известен с самой хорошей стороны. Вы имеете, таким образом, полное основание надеяться на то, что этот брак будет счастливым <...>»[2].

Пушкинисты не раз задавались вопросом о том, была ли счастлива в замужестве Долли. Решали его по-разному. Н. В. Измайлов считает, что «это был, вероятно, брак по рассудку, а не по любви с ее стороны и, быть может, расстроенные денежные обстоятельства играли в нем не последнюю роль...». Однако исследователь делает оговорку: «Ум и чувство графа Фикельмона сумели сделать этот брак, насколько возможно, прочным и даже счастливым»[3].

Л. Гроссман, наоборот, говорит о Долли Фикельмон, как о женщине, «видимо, несчастной»[4]. То же отношение к замужеству Дарьи Федоровны чувствуется и у некоторых дру-

---

[1] Это обращение к супруге фельдмаршала непереводимо. «Госпожа маршальша» по-русски сказать нельзя.

[2] *Дневник Фикельмон*, с. 19.

[3] Н. В. Измайлов. Пушкин и Е. М. Хитрово.— В кн.: *Письма к Хитрово*, с. 155.

[4] Л. П. Гроссман. Устная новелла Пушкина.— В кн.: «Этюды о Пушкине». М.— Л., 1923, с. 81.

гих литературоведов. Почти девочка, выданная матерью за пожилого мужчину, вероятно, из-за денежных расчетов. Несмотря на несходство положений, вспоминается рассказ Татьяны:

...Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж.

Читатель, знакомый с историей создания «Евгения Онегина», быть может, подумает — а в самом деле не рассказ ли это графини Фикельмон о своем замужестве? Ведь восьмая глава «Онегина» была написана тогда, когда поэт уже был знаком с женой австрийского посла...

Предположение заманчивое, но, несомненно, неверное. Пушкин описал встречу своей героини с ее будущим мужем в предыдущей главе. Помните эту строфу:

— Взгляни налево поскорей.—
«Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди...
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое...
Вот отошел... вот боком стал...—
«Кто? толстый этот генерал?»

Судьба Татьяны предрешена, но седьмая глава закончена в ноябре 1828 года, когда Долли еще не было в Петербурге. Пушкин был уже тогда хорошо знаком с ее матерью, но совершенно невероятно, чтобы Елизавета Михайловна рассказала поэту о том, как ради денег ей пришлось выдать дочь замуж за нелюбимого человека. Против этого говорит все, что мы знаем о матери Долли, особе в высшей степени романтической, очень ценившей и культивировавшей всякое чувство. Нет, вообще не верится, чтобы она могла выдать замуж любимую дочь по расчету!

История этой свадьбы неизвестна, но, на мой взгляд, шестнадцатилетняя девушка легко могла увлечься блестящим боевым генералом, которому было тогда всего сорок три года, человеком во всех отношениях привлекательным, немалого ума, тонким и остроумным и, вероятно, горячо ее полюбившим.

Ранние браки были тогда в обычае не только у русских крестьян (вспомним, как будущую няню Татьяны «с пеньем в церковь повели» в 13 лет!), но и в аристократических семьях России и Западной Европы. Рано начинали взрослую жизнь знатные девушки того времени. Учились обычно лет до пятнадцати, а там вскоре и замужество и материнство. Большая разница в летах между мужем и женой тоже не была редкостью.

Необычный по нынешним временам брак Долли Фикельмон вполне мог быть заключен по взаимной любви.

Я высказал это предположение в 1965 году, зная лишь поздние письма Долли к сестре, ранее не изученные пушкинистами. То и дело она с несомненной любовью и нежностью говорит в них о своем старом уже муже. О молодости Дарья Федоровна вспоминает не часто, но всегда радостно — особенно о семи годах, проведенных в Неаполе.

«Помнишь ли ты Радта, который доставлял нам столько удовольствия в Неаполе, в первые годы <...>; мы часто говорим с ним и с Менцем об этом прекрасном времени нашей молодости» (6. XI. 1847)[1].

«...Наш бедный Менц <...> умер, не приходя в сознание. Это был верный друг, который напомнил мне мои прекрасные неаполитанские годы» (11. XII. 1847)[2].

«Сохранив все письма Фикельмона с тех пор, как мы поженились, я делаю из них извлечения, переписываю все места, замечательные по стилю, по мыслям, по сюжету <...>

Я ничего до конца не забыла, но эта живая картина нашего прошлого, твоей и моей радости с разными эпизодами — ты бы тоже не смогла читать о них без умиления и трепета» (15. XII. 1852)[3].

Кажется, именно там, в Неаполе, когда генерал Фикельмон еще не был стар, Долли была счастливее, чем когда-либо. Во всяком случае, любовное отношение к тогдашним письмам мужа, которые трогают и волнуют даже тридцать лет спустя, неоднократные упоминания о счастливых неаполитанских годах — все это позволяет думать, что Дарья Федоровна вышла замуж никак не по расчету.

Накопившиеся за последние годы материалы и, главным образом, книга Н. Каухчишвили, прочитавшей всю сохранившуюся переписку супругов, еще определеннее говорят в пользу брака по взаимной любви.

В письмах к Е. И. Кутузовой за 1821—1823 годы[4] Фикельмон говорит о юной невесте и жене с трогательной нежностью. Некоторые его эпитеты, быть может, покажутся сейчас выспренними и книжными, но нельзя забывать, что пишет человек, воспитавшийся еще в XVIII веке.

«Я очень счастлив, что снова вижу Долли,— обращается Фикельмон к бабушке невесты,— она прекрасна, как никогда; это ангел красоты и доброты, и каждодневно я благодарю

---

[1] *Сони*, с. 133.

[2] *Сони*, с. 137.

[3] Там же, с. 389.

[4] В архиве *ИРЛИ* хранятся четыре письма Фикельмона к Е. И. Кутузовой. Он встретился в ней в Италии, проезжая в 1822 году через Флоренцию, где Екатерина Ильинична провела несколько месяцев. В 1824 году она скончалась.

бога, позволившего, чтобы моя судьба была соединена с судьбой девушки столь замечательной во всех отношениях; это существо с совершенным характером и умом» (Неаполь, 16 мая 1821 г.). 10 декабря следующего года граф пишет Кутузовой из Вероны: «Я уезжаю обратно в Неаполь через несколько дней и очень рад, что снова соединюсь с Вашей Долли, лучшим и прелестнейшим существом на свете; разлучаться с ней — это самое большое огорчение, которое я могу испытать, а вновь с ней увидеться — самое большое счастье».

Так говорит муж. Прислушаемся теперь к дошедшим до нас словам жены.

«До свиданья, дорогой, любимый папочка!» — пишет ему Долли из Сорренто в июле 1824 года. Н. Каухчишвили считает, что, судя по этому обращению (по-итальянски «papariello»), у нее еще остались тогда некоторые детские черты[1]. Мне думается скорее, что это лишь проявление очень юного, очень нежного чувства к немолодому уже мужу (Фикельмону 47 лет).

«Какое счастие снова быть с тем, кого любишь всей душой, после месяцев одиночества, возбуждения и беспокойства» (дневниковая запись 28. IV. 1829, сделанная в Вене)[2].

«Вчера, 3 августа, Фикельмон нас покинул. Его отъезд — это всегда траурный и скорбный день для меня. В течение всей моей жизни я чувствую пустоту, когда Фикельмона здесь нет. Я вдвойне избалована его заботами обо мне, прелестью его близости, такой нежной, доброй и такой умной» (3. VIII. 1832, Петербург)[3].

Ограничимся этими тремя цитатами. В дневниках и письмах графини подобных высказываний много. Своего мужа она, несомненно, любила на протяжении всех тридцати шести лет супружеской жизни (1821—1857).

На замужестве Дарьи Федоровны я остановился подробнее не случайно. Для истории ее отношений с Пушкиным, как мы увидим, далеко не безразлично, была ли она счастлива в семейной жизни.

Итак, счастливая супруга австрийского посланника, по возрасту почти что девочка (ей нет еще и семнадцати лет), начинает свою взрослую жизнь в Неаполе[4]. Предоставим слово Н. Каухчишвили, изучившей архивные материалы этого времени. Их, по-видимому, сохранилось значительно меньше, чем от флорентийских лет, но все же не мало.

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 22.

[2] Там же, с. 24.

[3] Там же. Запись в тетради, хранящейся в архиве Фикельмонов (г. Дечин) в общем футляре с двумя другими. Эти документы не входят в состав основного дневника.

[4] Для брака католика Фикельмона с православной потребовалось разрешение папы. Оно хранится в семейном архиве в Дечине *(Дневник Фикельмон*, с. 25).

«Ответственность юной Дарьи Федоровны в связи с ее новым положением, несомненно, была большой, она должна была принимать послов, именитых граждан (нотаблей), принцев разных стран, ей приходилось соперничать со знаменитыми домами, многоопытными хозяйками дома, а также с двором. Соседство матери было для нее в этих условиях большой поддержкой, благодаря помощи, которую последняя могла оказывать, основываясь на личном опыте»[1].

Елизавета Михайловна и сестра Долли Екатерина оставались с ней после замужества почти пять лет. У нас нет сведений о том, жили ли они в австрийской миссии, но, судя по всему, это представляется очень вероятным.

Е. М. Хитрово с дочерью вернулись в Россию лишь в начале 1826 года[2]. К этому времени Дарья Федоровна, можно думать, приобрела уже житейский и светский опыт. Жаль, что мы ничего не знаем о том, какой она была в семье первые неаполитанские годы. Она совсем еще недавно вышла из того возраста, когда девочки-подростки потихоньку от взрослых и от прислуги нередко продолжали играть в куклы, и вот — супруга посланника великой державы, хозяйка дома, особа дипломатически неприкосновенная...

Вряд ли только Долли вначале понимала сложную и трудную роль своего мужа, аккредитованного при Фердинанде I (1751—1825), который в 1816 году принял титул короля Обеих Сицилий[3]. Этот бесхарактерный, но злобный и жестокий монарх был неистовым реакционером, не раз уже нарушавшим данное своим подданным слово. Он всецело находился под влиянием своей жены, Каролины Австрийской, у которой жестокость и католический фанатизм сочетались с волевым, властным характером.

Не раз уже Фердинанду приходилось бежать из Неаполя, но, используя политическую обстановку, он при помощи иностранных войск возвращал себе престол и затем зверски расправлялся с «изменниками». Неаполитанские порядки даже в то далекое время вызывали немалое возмущение в Европе.

В июле 1820 года в связи с успехами революции в Испании в Неаполе произошло восстание, организованное военными, к которым присоединилась либеральная буржуазия и

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 19.

[2] Каухчишвили упоминает о том, что они прибыли в Россию летом (*Дневник Фикельмон*, с. 34). Однако 29 июля 1829 года Фикельмон отмечает, что в этот день она весело проводила время в гостиной вместе с матерью и сестрой *впервые после трехсполовинойлетнего перерыва*. (Курсив мой.— *Н. Р.)*

Вероятно, Н. Каухчишвили права, считая, что Е. М. Хитрово поспешила на родину в связи со смертью Александра I, так как опасалась за свое еще не окончательно урегулированное финансовое положение.

[3] До этого он именовался королем Неаполитанским Фердинандом IV.

организации карбонариев, связанные с масонами. Возглавлял восстание генерал Пепе, человек весьма умеренных взглядов, который добивался лишь восстановления конституции, но не свержения династии.

Перепуганный Фердинанд поспешил согласиться с требованиями восставших, назначил Пепе главнокомандующим, но сам уехал в Лайбах (Любляну), где собрались на конгресс монархи — руководители Священного Союза. По их решению австрийская армия генерала Фримона перешла 5 февраля 1821 года реку По и двинулась на Неаполь. Армия Пепе, не поддержанная народными массами, была разбита. Неаполь капитулировал 23 марта и на следующий день был занят австрийцами. Вслед за ними вернулся в свою столицу Фердинанд.

В начале апреля Пушкин написал послание В. Л. Давыдову (известен только черновик), в котором упомянул и о неаполитанских событиях:

Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.

Поэт, по-видимому, не надеялся на успех неаполитанской вспышки, но, живя в Кишиневе, в это время, вероятно, еще не знал, что в Неаполе все кончено. Больше там никто не «шалит»...

Снова, как и раньше, вернувшийся король начал жестокие репрессии.

Во время похода армии Фримона и подавления неаполитанской революции вновь назначенный посланник генерал Фикельмон состоял при штабе этой армии и таким образом являлся военным участником событий. В Неаполе он также находился в постоянных контактах с австрийским командованием.

Жестокости Фердинанда I, несомненно, осложняли положение Фикельмона как дипломатического представителя Австрии, которому необходимо было установить добрые отношения с неаполитанским обществом. По всей вероятности, именно благодаря его донесениям Меттерниху император Франц I, либерализмом отнюдь не отличавшийся, все же настоятельно советовал королю Обеих Сицилий умерить репрессии. Эти советы, несомненно, передавались через посланника, с мнением которого Фердинанд I, обязанный Австрии троном, не мог не считаться.

Отношения между самолюбивым королем и тактичным, но настойчивым Шарлем-Луи Фикельмоном, вероятно, были чисто официальными. Нет никаких указаний на то, чтобы граф и его семья стали «своими людьми» во дворце неапо-

литанского деспота, как это было с семьей Хитрово при великом герцоге Тосканском.

Зато, по словам Н. Каухчишвили, «несмотря на довольно натянутые отношения между австрийцами и итальянцами, Долли и ее мать очень скоро приобрели расположение всего неаполитанского общества и вполне хорошо себя чувствовали среди оживленного разговора людей юга»[1].

Русских, постоянно живших в Неаполе, было гораздо меньше, чем во Флоренции. Дарья Федоровна и ее мать встречались чаще всего с посланником графом Густавом Оттовичем Штакельбергом и его многочисленной семьей. Путешествующие соотечественники наезжали только зимой и весной по окончании карнавала в Риме[2].

Из дипломатов, аккредитованных в Неаполе, человеком более или менее незаурядным был, как кажется, лишь англичанин Джон Фейн[3], генерал и музыкант, которого Долли знала раньше как посланника во Флоренции. Он получил назначение на тот же пост в Неаполь в 1825 году.

Вообще же среди посетителей ее неаполитанского салона, о которых упоминает Долли Фикельмон, выдающихся людей, кажется, не было. Нельзя к ним причислить ни очень заурядного литератора Карло Меле, посвятившего ей несколько стихотворений, ни епископа Капечелатро, ни некоего князя Камальдоли. Остальные имена ее тамошних друзей уже совсем ничего не говорят исследователю. Искать их в справочнике не имеет смысла.

Однако графиня Долли чувствовала себя отлично и в обществе людей, ничем не выдающихся, но ей лично симпатичных. Она любила Неаполь не меньше, чем Флоренцию,— может быть, даже сильнее. Солнца, цветов и тепла там еще больше, чем в Тоскане, дождливая зима проходит быстро, и снова сияет лазоревое море, белой дымкой цветущего миндаля окутываются сады древнего города.

Известно, что Долли живала в неаполитанские годы летом на морском побережье — в Сорренто, Кастелламаре, Исхии. Вероятно, верхом на ослике поднималась с родными или друзьями на Везувий в его спокойные дни — поднималась не до кратера, но все же высоко. Побывала, надо думать, и в Помпее — тогда погибший город не был еще как следует откопан. Занимался раскопками кто хотел и как хотел. Шла «самодеятельная» охота за ценными вещами, которые сбывали богатым туристам, но все же было что посмотреть и в королевском музее. Вероятно, Фикельмоны всей семьей хоть раз ездили и на остров Капри — не знаем только, ходили ли туда пироскафы или надо было плыть на парусной лодке.

---

[1] *Дневник Фикельмон,* с. 19.
[2] Там же.
[3] С 1841 года лорд Баргерш.

«Я начинаю здесь это письмо перед тем как покинуть с тоской в душе и стесненным сердцем Неаполь, мой возлюбленный рай...»[1] — писала Дарья Федоровна мужу много лет спустя, 15(27) апреля 1839 года, снова побывав в дорогом ей городе.

Живя в «раю», посланница, должно быть, не замечала или старалась не замечать ни узких, грязных улиц, где ютилась неаполитанская беднота, ни множества нищих, ни десятилетних проституток, ни детей, почти круглый год ходивших совершенно нагими. Впрочем, на такие улицы жена австрийского посланника, наверное, не заглядывала — там слишком скверно пахло...

Была в счастливой неаполитанской жизни графини Фикельмон и обратная сторона. До появления книги Каухчишвили мы о ней ничего не знали, но теперь кое-что знаем.

В первый же год после свадьбы Долли очень огорчала необходимость надолго расставаться с мужем. Посланнику нередко приходилось уезжать из Неаполя — «по делам службы», как прежде говорили у нас в России. В январе 1822 года Фикельмона вызвали в Вену, и он вернулся домой только в апреле. Осенью того же года он снова уехал — на конгресс в Верону и принужден был там задержаться до конца февраля 1823 года. Совсем бы истосковалась Долли, не будь с нею матери и сестры.

Была и другая, очень интимная причина, мешавшая полноте семейного счастья: детей у супругов Фикельмон не было в течение ряда лет. Дарья Федоровна даже взяла на воспитание итальянскую девочку и посвящала немало времени заботам о ней[2].

III

Как мы знаем, мысль о необходимости Елизавете Михайловне съездить в Россию возникла давно — еще в 1817 году. Осуществить ее тогда не удалось из-за отсутствия средств на это далекое и дорогое путешествие.

В 1822 году Е. М. Хитрово собиралась отправиться с дочерьми в Верону, где Фикельмон должен был присутствовать на конгрессе. Однако, как он сообщает Е. И. Кутузовой 10 декабря этого года, ряд причин, в том числе нездоровье Е. Тизенгаузен, «побудили её (Елизавету Михайловну) остаться в Неаполе и пожертвовать бывшим у нее намерением встретиться с царем Александром и представить ему дочерей, а Долли не захотела расстаться с матерью <...>».

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 43.
[2] *Дневник Фикельмон*, с. 33.

О себе посланник пишет, что он, к сожалению, не сможет располагать временем, «чтобы привезти Долли в Петербург и засвидетельствовать вам там мое уважение»[1].

Наступил 1823 год — очень памятный год в жизни неаполитанской посланницы и ее матери. Задуманное шесть лет тому назад путешествие наконец состоялось[2]. Долли было в это время 18 лет, ее сестре — 19, а самой успевшей дважды овдоветь Елизавете Михайловне шел сороковой год[3]. Читатель, я надеюсь, вскоре увидит, что эта справка о возрасте трех путешественниц не является неуместной.

Фикельмон оставался на своем посту в Неаполе.

Мы не знаем точной даты прибытия Е. М. Хитрово и ее дочерей на пироскафе в Ревель, где во время короткой остановки Долли встретилась с любимой бабушкой Тизенгаузен, тетками и кузинами. Оттуда путешественницы отправились в Петербург. Там их ожидала многочисленная родня во главе с бабушкой Екатериной Ильиничной Голенищевой-Кутузовой-Смоленской и теткой Дашей — Дарьей Михайловной Опочининой, сестрой Е. М. Хитрово. Их Долли, во всяком случае, повидала уже во Флоренции, где они гостили в 1821 году.

С остальными петербургскими родственниками Дарья Федоровна либо встретилась впервые, либо успела их основательно позабыть за восемь итальянских лет. На первых порах она, видимо, была совсем не в восторге от этих родственных встреч в столице. 15 (27) июня она пишет мужу, что у обеих сестер весь день проходит в «показах то одному, то другому, точно мы любопытные звери. Иногда меня возмущает эта манера демонстрировть меня, как будто я занимательное четвероногое»[4].

Быть может, и Татьяне Лариной не очень были по сердцу визиты к неведомым родным:

И вот по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.

Но Татьяна была тогда попроще, чем ее неаполитанская современница, и, вероятно, меньше с ней было хлопот, чем с графиней Долли.

О пребывании Елизаветы Михайловны и ее дочерей в Петербурге летом 1823 года известно немало. Мне, однако, предстоит вкратце рассказать теперь об одной многозначительной истории, разыгравшейся тогда в Царском Селе и

---

[1] *ИРЛИ*.

[2] В книге «Если заговорят портреты» я ошибочно указал, что поездка в Россию имела место в 1822 году.

[3] Напомним, что Е. М. Хитрово родилась 19 сентября 1773 года.

[4] *Дневник Фикельмон*, с. 30.

других окрестностях невской столицы, истории, о которой исследователи до сих пор не знали решительно ничего.

Начнем с цитат.

«Как вы любезны <...>, что подумали о прелестных рисунках. Конечно, они будут бережно сохранены. Но каким выражением мне следует воспользоваться, чтобы сообщить вам о том удовольствии, которое доставила мне наша первая встреча, и то, как вы ко мне отнеслись? Я думаю, что вы сами прочли это на мне лучше, чем я смог бы вам выразить.

Я постарался как мог лучше исполнить ваши поручения, и у вас уже должно быть доказательство этого.

. . . .

Ожидаю с нетерпением счастия снова вас увидеть.

Царское Село, 16 июня».

«Будьте спокойны — вас не будут бранить, прежде всего потому, что ваше письмо прелестно, как прелестны вы сами <...>».

«Я был очень обрадован, встретив вас только что у моей свояченицы, и что меня особенно очаровало, это свобода и естественность, которые никогда вас не покидают и еще более усиливают присущую вам обеим прелесть.

Что касается упрека в недоверии, который вы мне делаете, я вам скажу, что там, где есть уверенность, основанная на фактах, там не может больше существовать недоверия.

Желаю вам тихой и спокойной ночи после ваших дневных треволнений».

«Вечерние маневры прошлого дня продолжались так долго <...>, что я смог вернуться в Царское Село только в час ночи и уже не решился приехать к вам».

. . . .

«Весь день я провел, будучи прикован к письменному столу, и не вставал из-за него до глубокой ночи.

Вы поймете, насколько я был огорчен. Но это огорчение не было единственным. Вы, действительно, подвергли меня Танталовым мукам — знать, что вы так близко от меня и не иметь возможности прийти вас повидать; ибо таково мое положение!»

«Что касается новых брошюр, то у меня их почти нет. За неимением лучшего посылаю вам несколько довольно интересных путешествий. На все остальное вы получите устные ответы при нашей встрече. В ожидании ее я должен вам сказать, что очень тронут привязанностью, о которой вы мне говорили, и искренне вам отвечаю тем же».

«Мне совершенно невозможно выйти, не вызвав, благодаря здешним наблюдателям, род *скандала*, несмотря на мое крайнее желание вас повидать.

Постарайтесь остаться здесь еще до вторника, когда я смогу беспрепятственно прийти вас повидать».

. . . .

«Вы уже меньше нас любите?!! Неужели я заслужил подобную фразу? За то только, что, из чистой и искренней привязанности, исполнил по отношению к вам долг деликатности! За то, что подверг себя очень чувствительному лишению только ради того, чтобы вас не компрометировать или подвергать нескромным пересудам, которые всегда неприятны для женщин. И вот мне награда!»

. . . .

«Тысячу раз благодарю за подарок. Он драгоценен для меня и будет тщательно сохранен.

Весь ваш <...>».

«Будьте уверены в том, что в любое время и несмотря на любое расстояние, которое нас разделит, вы всегда снова найдете меня прежним по отношению к вам. Я бесконечно жалею о том, что необходимость заставляет нас расстаться на такое долгое и неопределенное время».

Для читателя, который еще не догадался о том, кто же автор этих писем к графине Долли, автор, несомненно, возымевший к ней весьма нежные чувства, пора назвать его имя. Это — Александр I, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая...

Скажу прежде всего, что эти письма, несколько выдержек из которых я только что привел,— никак не мое открытие. Об открытии здесь вообще говорить не приходится, так как в книге поступлений Рукописного отдела Пушкинского дома за 1924—1929 годы эти письма записаны 31 декабря 1929 года под № 1059, с примечанием: «Дар неизвестного». Установить сейчас, кто же было это лицо, пожелавшее остаться неизвестным, и какие у него были на то основания, не представляется возможным. Нельзя выяснить и предысторию царских писем[1].

Приехав с дочерьми в Петербург, Елизавета Михайловна Хитрово не теряя времени обратилась с частным письмом к царю. Текста его мы не знаем, но короткий ответ Александра приведу полностью:

---

[1] Всего в *ИРЛИ* (Пушкинском доме) имеется 16 писем Александра I. Десять из них обращены непосредственно к Долли Фикельмон; три адресованы Е. М. Хитрово; одна записка — гр. Е. Ф. Тизенгаузен (pour Catherine); одно письмо обращено к «Трио» (Е. М. Хитрово и ее дочерям).

«Ваше письмо, Madame[1], я получил вчера вечером. Приехав сегодня в город, я спешу сказать вам в ответ, что мне будет чрезвычайно приятно быть вам полезным и познакомиться с M-me Фикельмон и M-lle Тизенгаузен.— Итак, сообразуясь с вашими намерениями, я буду иметь удовольствие явиться к вам в среду в шесть часов пополудни.

Пока примите, Madame, мою благодарность за ваше любезное письмо, а также мою почтительную признательность.

Александр,
Каменный остров.
9 июня 1823 г.

Госпоже Хитрово («A Madame de Hitroff»)».

Об этом визите царя, с точки зрения придворного этикета надо сказать весьма необычном, Дарья Федоровна подробно рассказала в письме к мужу. Впервые она увидела царя в среду 11 (23) июня, 15 (27) она описывает эту встречу в выражениях весьма восторженных: [2]

«...Я от нее совсем без ума («J'en suis tout à fait folle») и никогда не видала ничего более любезного и лучшего <...> Он начал с того, что расцеловал маму и поблагодарил ее за то, что она ему сразу же написала. Он пробыл у нас два часа, неизменно разговорчивый, добрый и ласковый и как будто он всю жизнь провел с нами. Екатерина и я, мы сейчас же попросили у него разрешения обращаться с ним как с частным лицом, что привело его в восхищение. Он повторил нам, по крайней мере, раз двадцать, чтобы мы не усваивали здешних привычек и оставались такими, как есть — без всякой искусственности. Он говорил о тебе и о твоей репутации военного. Царь сказал, что прусский король обрисовал ему нас и отозвался о нас с таким дружеским чувством, что ему (Александру.— *Н. Р.*) трудно было дождаться встречи с нами. Словом, я нахожу его прелестным».

Вероятно, опытный дипломат Фикельмон, читая в Неаполе эти излияния юной жены, умно и добродушно посмеивался. Он-то знал отлично, какой простой и добрый человек император Всероссийский, которого Наполеон называл «лукавым византийцем»...

Внимание, которое оказывала русская царская семья жене, теще и свояченице австрийского посланника при дворе одного из многочисленных итальянских государей, вероятно, было приятно Фикельмону и как человеку и как дипломату, естественно рассчитывавшему на дальнейшую служебную карьеру.

А внимание действительно оказывалось исключительное.

О двухчасовом визите царя к «генерал-майорше Хитрово»,

---

[1] Обычных французских обращений я не перевожу.
[2] *Дневник Фикельмон*, с. 30.

каковой бывшая фрейлина Елизавета Михайловна числилась со времени своего второго замужества, мы уже говорили подробно. 27 июня (9 июля) Дарья Федоровна пишет мужу:[1] «Вчера мы получили приглашение от императрицы Елизаветы, чтоб быть ей представленными в Царском Селе, что не делается ни для кого. Это устроил император. Сегодня приехал великий князь Михаил Павлович; он пробыл три битых часа (trois grandes heures) и все время болтал. Итак, завтра мы едем в Царское Село, к императрице Елизавете, оттуда в Павловск, чтобы быть представленными императрице-матери и великой княгине Александре Федоровне»[2].

Позднее — 7 (19) сентября — Долли писала мужу из Петербурга, что жена великого князя Николая «обращается» с ней и с Екатериной «как с сестрами»[3].

По словам Н. Каухчишвили, граф Фикельмон в своем Неаполе «читал эти, полные энтузиазма, описания с известными опасениями — он полагал, что для чрезвычайно роскошного русского двора не будет приятен простой и безыскусственный характер его жены»[4].

При дворе и в высшем обществе России начала двадцатых годов, которую Фикельмон, вероятно, считал прежде всего душевно холодной и церемонной страной, обе молодые графини имели, однако, необычайно большой успех,— может быть, именно потому, что в то время они по своему облику были больше итальянками, чем русскими или немками. О впечатлении, которое они произвели в обеих столицах, мы еще будем говорить.

Нравилась многим и совсем еще не старая, жизнерадостная и эксцентричная Елизавета Михайловна, тоже мало похожая на тогдашних русских, и в особенности петербургских, дам.

Зато с дочерьми у нее всегда было много общего. Быстро и близко познакомившийся со всеми тремя дамами[5], царь Александр прозвал их «любезным Трио» («l'aimable Trio»).

Не раз он упоминает о «трио» в своих письмах, а два послания относятся к нему непосредственно. 21 июня (3 июля) — через десять дней после начала знакомства — Александр пишет из Царского Села:

«...Я получил прелестное письмо Трио вчера, когда ложился спать. Рано утром я уехал в Гатчину, а затем в Красно-

---

[1] *Дневник Фикельмон,* с. 31.

[2] В подлиннике «Grande Duchesse Nicolas» — по-видимому, супруга великого князя Николая Павловича, впоследствии императора Николая I. В России это чисто французское обозначение не было принято.

[3] *Дневник Фикельмон,* с. 31.

[4] Там же, с. 31.

[5] Е. М. Хитрово царь, правда, знал уже давно, но не виделся с ней не менее восьми лет.

сельский лагерь. Оттуда я вернулся недавно. Сегодняший дождь помешал учению, которое должно было состояться. <...> Благодаря этому я надеюсь вас увидеть только в воскресенье, если вы по-прежнему собираетесь здесь переночевать, чтобы утром поехать в Павловск.

Два цветочка, полученных с благодарностью, старательно сохраняются, как драгоценное воспоминание. Очень прошу Трио оставить для меня место в своей памяти.

А.

Царское Село, в понедельник вечером 21 июня».

Второе письмо, хотя касается «трио» в целом, адресовано Дарье Федоровне:

«Я покорно подчиняюсь упрекам и даже наказаниям, которые Трио соблаговолит на меня наложить. Прошу разрешения прийти, чтобы им подвергнуться сегодня, между одиннадцатью и двенадцатью часами, так как это единственное время, которым я могу располагать.

Только покорно подвергнувшись наказаниям, к которым меня приговорят, я возвышу свой скромный голос, чтобы доказать свою невиновность, и, надеюсь, она окажется настолько очевидной, что справедливость моих любезных судей полностью меня оправдает <...>.

А.

Я вошел бы во двор, если вы позволите.

Каменный остров.

Понедельник вечером. Графине Фикельмон».

Странное чувство испытывал автор этой книги, когда он впервые вчитывался в бледно-голубые листки царских писем. Совсем недавно в Ленинградском русском музее долго стоял он перед моделью памятника Александру I в Таганроге работы знаменитого И. П. Мартоса. Театрального вида самодержец, воин и законодатель с неким свитком в руке — таким постарался изобразить его скульптор.

И вот передо мной его письма, в которых ничего театрального нет. Хорошо знаю, что и речам и писаниям Александра I весьма часто верить нельзя. Но и у самых неискренних людей бывают приступы искренности. Кто знает, быть может, автор голубых писем говорил Долли Фикельмон, ее матери и Екатерине Тизенгаузен то, что он на самом деле думал. Маловероятно, но утверждать, что это не так, я не берусь...

Во всяком случае, в письмах внутренняя близость чувствуется со всеми тремя женщинами — даже с Екатериной Тизенгаузен, которой адресовна всего одна короткая, вероятно, прощальная записка:

«Для Екатерины.

Я очень признателен за любезный подарок и строки, которые вы мне прислали. Поверьте, что мне многого стоило отказаться от [возможности] вас повидать, в особенности когда мы были так близко. Однако важные соображения вменили мне это в обязанность.

Прошу вас помнить обо мне,

Сердечный привет матушке».

И все же мне кажется, что ласковые слова, которые царь адресовал «любезному Трио», большое внимание и очень серьезные услуги (если только можно их назвать «услугами»), оказанные им Елизавете Михайловне — о них речь впереди,— даже эта малозначительная, но любезная записка к Тизенгаузен,— все это, в конечном счете, лишь маскировка большого увлечения Александра I Долли Фикельмон.

Я уже привел ряд выдержек из писем царя, которые вряд ли можно считать, говоря по-современному, флиртом — светской игрой в любовь, которой в действительности нет.

Объясняя Долли, почему он не может навестить ее в Красном Селе, куда она, не подумав, приехала во время маневров, царь пишет: «По окончании маневров мне нужно уехать, потому что в Царском Селе меня ждут другие занятия. К тому же я вас слишком люблю, чтобы таким образом привлекать к вам все взгляды, что неминуемо случилось бы, если бы я явился здесь, где я и шагу не могу ступить без сопровождения адъютанта, ординарцев и т. д.».

«К тому же я вас слишком люблю...» («D'ailleurs je vous aime trop»). Очень интимные слова, но в этом контексте по-французски их все же нельзя понимать как объяснение в любви. «Je vous aime trop» — скорее, «я к вам слишком привязан...». Во всяком случае, слова, которые зря не говорят. Они обязывают.

И говорит их Александр I по серьезному поводу. Еще в одном письме, во второй или третий раз (последовательность писем определить трудно) он предупреждает Долли, что, во избежание сплетен, ей следует быть сдержаннее: «Вы выбрали очень неудачный день, чтобы приехать сюда, так как в среду я буду отсутствовать — отправляюсь в Красносельский лагерь[1]. <...> Но если я могу вам дать совет, будет много лучше, если вы совершите поездку в Царское Село после того, как я побываю в городе. Лагерь тогда уже будет закончен, и я смогу пожить здесь. В ожидании этого не забывайте меня и скажите себе, что я искренне отвечаю

---

[1] Речь снова идет о больших Красносельских маневрах.

вам той же доброй привязанностью, о которой вы мне пишете. Передайте привет Екатерине».

Судя по тому, что царь вовсе не упоминает об Елизавете Михайловне, она куда-то уехала, может быть, к матери, Е. И. Кутузовой, которая жила на даче где-то в окрестностях Петербурга. Долли, видимо, осталась одна и решила быть совсем самостоятельной — съездить в Царское в надежде повидаться — не знаем, с царицей и царем или только с царем... По-французски такое молодое, немного озорное и неожиданное приключение лучше всего передается словом «escapade», вошедшим и в русский язык. Как и многие чисто французские понятия, точному переводу оно не поддается. Во всяком случае, ничего предосудительного для чести той, которая совершает такое экстравагантное деяние — «эскападу» — здесь нет.

Но дневника Долли за эти петербургские недели у нас нет, а перечитывая серию писем царя, можно предположить, что эта ее выходка не была первой.

Я уже упоминал о том, что жизнь молодой женщины сложилась так, что никакого священного трепета перед особами, которых принято именовать «высокими» и «высочайшими», она не испытывала. С императором всероссийским, конечно, была вежлива — так же вежлива, как с любым влюбленным в нее офицером или атташе посольства, но, вероятно, не больше... Царь ведь сам при первой же встрече настаивал на том, чтобы с ним обращались как с частным лицом. Долли так с ним и обращалась. Приходилось его величеству не раз извиняться перед восемнадцатилетней графиней (19 лет ей исполнилось 14 октября этого года).

Ряд этих извинений, большей частью шуточных, я уже процитировал. Однако среди писем царя есть одно [1], которое в виде исключения я привожу полностью. По-видимому, между Александром и Долли произошла более или менее серьезная размолвка — все из-за той же неосторожной поездки Долли в Царское Село в совсем для этого не подходящее время маневров. В ответ на очень деликатное по форме, но настоятельное по существу напоминание царя о необходимости быть осторожнее графиня, кажется, всерьез обиделась на своего коронованного поклонника.

На этот раз он не оправдывается, только просит понять — и снова довольно настойчиво, что частным лицом он может все же оставаться только до известного предела.

В письме нет ни обращения, ни адреса, оно написано частью в третьем лице, но, судя по концовке («Передайте привет маменьке»), все же обращено в первую очередь к Долли. Вот его текст:

---

[1] *ИРЛИ.*

«Только в данный момент я освободился, чтобы написать вам эти строки.

Итак, я сказал Екатерине, что я ничуть не отношусь к ней с недоверием и что, со своей стороны, я вполне искренне питаю к ней ту же дружбу, что и она ко мне.

Что касается Долли, я бы ее спросил, чем я навлек на себя бурю, которая бушует против меня в ее письме? Если бы она лучше меня знала, она бы поняла, что я придаю очень мало цены осуществлению какой бы то ни было власти; что я всегда смотрел на нее как на бремя, которое, однако, долг заставляет меня нести. Так как я никогда не думал расширять эту власть за пределы тех границ, которые она должна иметь, то тем более [я не хотел] стеснять мысль. Когда эта мысль касается меня и притом принадлежит существу столь любезному, как о н а. Ничуть не думая ее отталкивать, я принимаю с благодарностью все проявления ее интереса. Однако моему характеру и, в особенности, моему возрасту свойственно быть сдержанным и не переступать границ, которые предписывает мое положение. Вот почему Долли ошибается, считая меня несчастным. Я ничуть не несчастен, так как у меня нет никакого желания выйти из того положения, в которое меня поставила власть всемогущего. Когда человек умеет обуздывать свои желания, он кончает тем, что всегда счастлив. Это мой случай. Я счастлив; и, кроме того, я не хотел бы позволить себе ни одного шага вне воли всевышнего.

Если вы спокойно и последовательно подумаете над тем, что я вам здесь говорю, это объяснит вам многое, что должно вам казаться во мне странным.

До встречи завтра вечером.
Передайте привет маменьке».

Что сказать об этом, во всяком случае, многозначительном письме? Оно, несомненно, адресовано одной из дочерей Елизаветы Михайловны. Я предполагаю, что адресатка — Долли, но полной уверенности у меня в этом нет. Эта своеобразная исповедь царя, по существу во всяком случае, обращена к ней, а не к Екатерине Тизенгузен[1].

Когда читаешь уверения Александра I в том, что в глубине души он тяготится властью, возложенной на него, как он считает, свыше, этому можно поверить,— не одной Долли Фикельмон он так говорил.

Еще 21 февраля 1796 года девятнадцатилетний князь Александр Павлович писал своему недавно уволенному воспи-

[1] Думаю, что адресатка во всяком случае не Елизавета Михайловна, так как ее мать, старую княгиню Кутузову, царь вряд ли бы назвал просто «маменькой» («maman»).

тателю Лагарпу: «Дорогой друг! Как часто я вспоминаю о вас и о всем, что вы мне говорили. Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания».

Весной того же года он писал своему приятелю В. П. Кочубею: «Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что рожден не для того сана, который ношу теперь, и еще меньше для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом» [1].

Это настроения юноши, но они возобновлялись по временам у царя на протяжении всей его жизни. Не раз он говорил близким ему людям о своем намерении отречься от престола. В 1819 году сказал брату Николаю и его жене Александре Федоровне: «Я решил сложить с себя мои обязанности <...> и удалиться от мира» [2].

Итак, когда Александр пишет о своем взгляде на царскую власть как на тяжелое бремя, его искренности поверить можно. Зато когда он лицемерно пытается уверить графиню в своем уважении к свободе мысли (какой бы то ни было), как не вспомнить лишний раз пушкинские стихи:

Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

Мы не прочли и, вероятно, никогда не прочтем писем Долли к царю. Только одну ее фразу Александр сохранил в своем ответе: «Вы уже меньше нас любите?»

Но и этих нескольких слов достаточно, чтобы почувствовать «климат» посланий графини Фикельмон к царю.

О первой встрече с ним она с трогательной откровенностью писала мужу: «Я от нее совсем без ума». То же впечатление остается и от всей серии писем Александра, когда он говорит о настроениях и поступках Долли. Не узнаем мы в ней до предела благовоспитанной барышни, которой немного лет тому назад любовался во Флоренции французский путешественник Луи Симон. Помните, как он говорил своему приятелю синьору Фаббрини: «Видете <...> эту молодую особу <...> она вернулась к матери после танца и, как кажется, боязливо колеблется, принять ли ей руку подошедшего кавалера».

А теперь восемнадцатилетняя графиня, жена австрийского посла, повторим еще раз — несомненно любящая мужа, никого не боится, ни с кем не считается, держит себя так, что Александру I явно не по себе... Она совсем без ума от этой встречи.

---

[1] Георгий Чулков. Императоры. М.— Л., 1928, с. 85.
[2] Там же.

А может быть, дело обстоит иначе — попав в совсем ей, по существу, неведомую Россию, страну, где ею восхищаются и балуют напропалую, очень еще юная, очень самоуверенная женщина считает, что здесь иногда уместно то, что и неуместно и невозможно во дворцах Флоренции, Вены или Неаполя...

По-своему графиня Фикельмон отчасти и права — с высокими особами за границей она не раз обращалась запросто, но, наверное, все же никто из них не просил у нее разрешения «войти во двор», как попросил русский царь.

Во всяком случае, Александру I приходилось порой увещевать Долли, напоминать о своем нежелании ее «компрометировать или подвергать нескромным пересудам, которые всегда неприятны для женщин».

Ни дать ни взять Евгений Онегин, читающий нравоучение Татьяне:

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.

Но в 1823 году еще ни одна глава «Онегина» не вышла в свет, а четвертая не была и написана...

Следует, однако, нам в этом «штатском» деле вспомнить простой и ясный вопрос, который, разбирая самые сложные военные операции, полковник Фош, будущий маршал Франции, неизменно ставил своим слушателям в Высшей военной школе:

— De quoi s'agit-il? — В чем дело?

В чем дело? Что перед нами — ни к чему в конце концов не обязывающий светский флирт, игра в любовь — и только? Или, наоборот, мы идем по следам далеко зашедшего романа царя и графини Долли, разыгравшего в эти летние месяцы 1823 года?

Я лично не думаю ни того, ни другого. Есть такое французское выражение, с трудом передаваемое по-русски — «amitié amoureuse» — влюбленная дружба — понятие, равно далекое и от флирта и от интимной связи. Оно родилось позднее, но, на мой взгляд, этот очень французский термин лучше всего передает характер тогдашних отношений Александра I и Долли Фикельмон — большое взаимное увлечение.

Прибавим еще, что у юной женщины (приходится все время не забывать о ее юности) увлечение царем, на мой взгляд, сильнее и бездумнее, чем чувство Александра.

Однако и в его не очень долгой, но сложной жизни встреча с графиней Фикельмон вряд ли была только занимательным приключением. Я убежден в том, что вряд ли кому из ровесниц Долли Александр I писал такие серьезные и искренние письма, как ей.

И еще одно впечатление — этот роман 1823 года, как кажется, закончился хотя и не разрывом, но охлаждением —

не берусь судить, взаимным или нет. Во всяком случае, дневниковые записи графини Фикельмон, посвященные Александру после его смерти, так же восторженны, как и впечатление от первой встречи с ним, а последнее письмо царя из Серпухова от 31 августа (Александр I куда-то надолго уезжал) грустно, но довольно сухо;

«Нужно иметь большую охоту исполнить ваши желания, чтобы набросать эти строки при тех занятиях, которые одолели меня в дороге. Я хотел бы, чтобы вы однажды стали воочию их свидетельницей, и вы приобрели бы уверенность в том, что у меня остается не много времени для частных писем. Благодарю вас за все любезное, что вы мне говорите. Поверьте, что я бесконечно жалею о том, что не имел возможности повидать вас перед отъездом.

Кланяйтесь маме и Екатерине и от времени до времени вспоминайте обо мне.

31 августа 1828 г.».

Показала ли Долли, вернувшись в Неаполь, царские письма мужу? Думается, что не показала... Это не письма любовника, но, сколько оговорок ни делай, все же это послания влюбленного в нее человека.

О матери и сестре Дарьи Федоровны говорится почти в каждом письме Александра. Елизавета Михайловна, член «любезного Трио», была, по крайней мере отчасти, соучастницей сближения своих дочерей с царем. Думается, что от матери и сестры у Долли в этом отношении тайн почти или совсем не было, но больше никто и никогда голубых листков не увидал... Своей дочери, княгине Елизавете Александровне Кляри-и-Альдринген, к которой перешла большая часть семейного архива[1], писем Александра I Дарья Федоровна, во всяком случае, не оставила.

Я подробно рассказал о посланиях царя к Долли и «любезному Трио», но из писем, официально адресованных «Madame de Hitroff», привел только одно. Может быть, и остальные письма этой серии когда-либо используют ученые-историки — материал все же совершенно новый,— но, на мой взгляд, они по сравнению с перепиской с Фикельмон относительно малоинтересны. Помимо светских любезностей речь в них идет главным образом о просьбе Елизаветы Михайловны оказать ей материальную помощь.

Содержания письма Е. М. Хитрово мы не знаем, но из ответа царя видно, что он поспешил сделать соответствующие распоряжения:

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 3.

«Очень сожалею о том, что вчера у меня не было времени ответить на ваше письмо и заверить вас, что я очень желаю облегчить ваше положение, поскольку это совместимо с возможностью и соображениями благопристойности, нарушать которые я не могу. Я тотчас же займусь данным вопросом и надеюсь в скором времени известить вас на этот счет».

Перед самым отъездом надолго (куда именно, мы не знаем) царь, жалуясь на массу дел, которые заставляют его проводить бессонные ночи, передает Елизавете Михайловне, Долли и Екатерине прощальный привет и сожаление о том, что не смог еще раз их повидать.

Житейски говоря, самыми существенными являются, конечно, заключительные строки этого письма: «Ваши дела устроены единственным способом, который мне представился подходящим. Я поручил графу Нессельроде вас об этом известить».

О том, что именно Александр I нашел уместным сделать для Елизаветы Михайловны, мы узнаем из других источников.

21 августа (2 сентября) графиня Фикельмон пишет мужу из Петербурга: «Надеюсь, что тебя очень обрадовал способ, которым царь устроил дела! Все в один голос говорят, что 6000 десятин земли в Бессарабии — это отличная вещь! Те, которые работали с царем,— передают, что он никогда не был таким взволнованным, как в эти три дня, когда он старался устроить дела мамы. У нового министра финансов совершенно не было денег, чтобы их дать, тем не менее император хотел сделать нечто прочное. Мама была очень возбуждена и обеспокоена». 7 (19) сентября графиня прибавляет: «До сих пор невозможно было получить денег от казны»[1].

По-видимому, речь здесь идет о пенсии, пожалованной Елизавете Михайловне помимо бессарабских земель. Наполеоновский генерал и дипломат Шарль де Флао (de Flahaut), приехавший в это время в Петербург и, по-видимому, хорошо информированный о тамошних делах, писал: «Я всего на несколько дней опоздал встретиться с госпожой Хитрово. Она так же, как и Долли, пользовалась поразительным успехом. Она сделала все, что хотела. Двор принял их единственным в своем роде и необычным способом. В Санкт-Петербурге об этом только и говорят. Госпожа Хитрово воспользовалась этим, чтобы получить пенсию в семь тысяч рублей, возмещение за прошлое время (arrérages) и довольно большие земли в Бессарабии, которые она сможет выгодно продать»[2].

Насколько точны сведения де Флао о размерах пенсии, пожалованной Е. М. Хитрово, мы не знаем. Других данных на этот счет мне встретить не пришлось.

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 32.

[2] Там же.

Несомненно одно,— по существу, Александр I одарил Елизавету Михайловну за счет государственных средств бессарабскими землями (надо думать — черноземом, а не песками) и пожаловал ей немалую пенсию не в память ее великого отца*, а ради дочерей; скажем точнее — ради Долли...

Необходимое приличие, по всей вероятности, было все же соблюдено — официально вдова генерал-майора Е. М. Хитрово получила земли и пенсию как дочь своего отца. Соответствующие документы, возможно, когда-либо найдутся.

IV

Прервем теперь повествование о путешествии Е. М. Хитрово с дочерьми в Россию — нам предстоит еще позднее к нему вернуться,— забудем также на время о «влюбленной дружбе» графини Долли Фикельмон с царем Александром I и отправимся в ее любимый Неаполь.

Дарье Федоровне предстояло там провести еще около шести лет[1].

Итак, неаполитанская жизнь супругов Фикельмон продолжалась. Детей у них по-прежнему не было. Дарья Федоровна воспитывала маленькую итальянку Магдалину, но с течением времени, кажется, стала посвящать ей меньше внимания. По словам Н. Каухчишвили, «...воспитание девочки не заставило ее пренебрегать светскими обязанностями; наоборот, ее неаполитанский салон все более оживлялся, и в последние годы помимо официальных гостей мы встречаем в нем многочисленных друзей <...> которые, в свою очередь, становились добрыми друзьями ее русских знакомых»[2].

Подробности светской жизни графини Фикельмон в Неаполе для нас неинтересны, тем более, что, как я уже упоминал, особенно выдающихся людей в столице королевства Обеих Сицилий в это время, по-видимому, не было.

В 1825 году Дарья Федоровна Фикельмон после четырех лет замужества стала матерью. В конце этого года родилась ее единственная дочь, будущая княгиня Кляри-и-Альдринген. Ее назвали Елизаветой-Александрой в честь записанных крестной матерью и крестным отцом императрицы Елизаветы Алексеевны и императора Александра Павловича[3]. Но знатной католичке полагается иметь больше имен. К двум уже названным прибавили еще Марию и Терезу.

---

[1] Дату возвращения Е. М. Хитрово и ее дочерей в Неаполь, вероятно, можно установить по материалам архива в Дечине, но в известных мне источниках она не указана.

[2] *Дневник Фикельмон*. с. 33.

[3] *Сони*, с. 111 (предисловие публикатора).

В петербургском дневнике и письмах Дарьи Федоровны о ее дочери упоминается множество раз, но никаких документов, связанных с рождением Елизаветы-Александры, мы не знаем.

Читатель может спросить — а что же сталось с итальянской девочкой Магдалиной, которая, по позднейшим словам Долли[1], «была первым ребенком, которого я любила, потому что Елизалекс[2] еще не родилась».

В 1825 году она была «вверена попечению» одной из сестер Шарля-Луи, Марии-Франсуазе-Каролине, которая впоследствии (в 1841 году) основала монастырь «Святого сердца» в Нанси*.

Счастливые итальянские годы графини Долли близились к концу. По-видимому, еще в 1823 году, когда Елизавета Михайловна с дочерьми гостила в России, у Фикельмона возникла надежда или, во всяком случае, желание занять пост австрийского посла в Петербурге. Действительно, из его письма к жене мы узнаем, что в конце этого года он запросил своего петербургского коллегу Людвига Лебцельтерна, намеревается ли тот покинуть свой пост и когда именно[3]. Лебцельтерн, однако, оставил русскую столицу лишь в 1826 году, возможно, в связи с тем, что он и декабрист Сергей Петрович Трубецкой были женаты на родных сестрах, урожденных Лаваль. Поверенным в делах оставался граф Зичи.

По словам Н. Каухчишвили, изучившей документы Венского государственного архива, «...в конце 1828 года, когда международное положение потребовало присутствия в Петербурге лица, способного сгладить вероятные недоразумения, которые могли возникнуть вследствие положения, создавшегося на Востоке, выбор Меттерниха пал на Фикельмона»[4].

Мне представляется очень вероятным, что русское происхождение жены графа и ее не столь давние успехи при дворе и в среде русской царской семьи, о которых в свое время столько говорили в Петербурге, сыграли немалую роль в решении канцлера. «В январе 1829 года он (Фикельмон) был послан в Петербург с чрезвычайным поручением выяснить возможность сближения России и Австрии, сделать попытку проломить брешь в новом тройственном согласии, которое сблизило Россию с Англией и Францией».

В официальной петербургской газете, издававшейся на французском языке, было помещено следующее сообщение

---

1 *Дневник Фикельмон*, с. 39—40.
2 Домашнее имя Елизаветы-Александры.
3 *Дневник Фикельмон*, с. 34.
4 Там же.

о приеме царем графа Фикельмона, прибывшего в столицу 29 января ст. ст.:

«Придворные новости от 30 января. Государь император приняли сегодня утром в частной аудиенции графа Фикельмона, действительного статского советника и генерал-майора на службе его королевского и апостолического величества, присланного его монархом с чрезвычайной миссией к его имп. величеству»[1].

Предоставим опять слово итальянской исследовательнице: «Фикельмону удалось блестяще исполнить поручение к удовлетворению обеих сторон: почва для возможного сближения обеих великих держав была подготовлена. В марте Долли узнала, что Татищев[2] представил в Вене от имени Николая I его пожелание видеть послом в Петербурге графа Фикельмона (23 марта н. ст. 1829 года), пожелание, которое было окончательно подтверждено в июне того же года»[3].

Фикельмоны провели несколько месяцев в Вене и затем, проехав через Варшаву, прибыли в Петербург. Временно они поселились на Черной Речке в доме Лавалей. Официальное сообщение о приеме царем нового посла гласило: «Придворные новости от 17 июля. Сегодня утром посол Его Величества австрийского императора граф Фикельмон имел честь получить в Елагинском дворце первую аудиенцию у Его Вел. Императора и Ее Вел. Императрицы, вслед за чем имели честь быть представленными графиня Фикельмон и леди Хейтсбери, супруга английского посла, а также его дочь»[4].

По рассказу Дарьи Федоровны, в покой императрицы ее ввели «обер-церемониймейстер граф Литта[5] и граф Станислав Потоцкий». «Увидев меня, она воскликнула: «Долли посольша!», затем она прибавила: «эту посольшу мне надо расцеловать!» — нежно меня обняв, императрица сказала мне много добрых и ласковых слов. Должна признаться, что я была тронута до слез»[6].

Не зная прежних (1823 года) писем Долли к мужу, было бы непонятно, откуда вдруг такая нежность у императрицы Александры Федоровны к жене нового австрийского посла. В действительности встретились старые знакомые. Напомним, что когда-то жена великого князя Николая Павловича обращалась с дочерьми Елизаветы Михайловны «как с сестрами».

---

[1] «Journal de Saint-Pétersbourg», 1829, № 14 от 31 января (12 февраля).

[2] Д. П. Татищев (1769—1845), русский посол в Вене.

[3] *Дневник Фикельмон*, с. 34—35.

[4] «Journal de Saint-Pétersbourg». 1829, № 86 от 18 (30) июля.

[5] Граф Юлий Помпеевич Литта (1763—1839) был в действительности обер-камергером, впоследствии начальник Пушкина по его придворной службе.

[6] *Дневник Фикельмон*, с. 88.

Долли записывает: «Императрица мне напомнила так много; я не видела, будучи молодой (так!)[1], когда розовые очки, через которые видишь все, готовы разбиться, но еще полностью наслаждаешься всеми удовольствиями, которые видишь через них. Она напомнила мне нашего обожаемого бессмертного императора Александра и все доброе, что он для нас сделал».

«После обеда, в день моей аудиенции, я встретила императрицу верхом в сопровождении императора; она была в самом деле прелестна в таком виде. Император подъехал ко мне и сказал, что ему очень приятно видеть меня здесь надолго; он прибавил: «разрешите вам показать свою внешность», и, сняв шляпу[2], он дал мне возможность увидеть целиком свою замечательную красивую голову. Он пополнел, и в его облике есть нечто, напоминающее императора Александра» (22. VII. 1829) .

Итак, Шарль-Луи Фикельмон начинает свою деятельность австрийского посла в Петербурге в очень благоприятных условиях. Он назначен сюда по желанию Николая I, на которого, очевидно, произвел благоприятное впечатление еще во время своего приезда в столицу с чрезвычайной миссией.

Близость Дарьи Федоровны с императрицей Александрой Федоровной, ее давнишнее знакомство с Николаем Павловичем (иначе царь, очевидно, не счел бы возможным говорить жене иностранного посла о своей внешности) — все это, несомненно, способствовало близости между Зимним дворцом и австрийским посольством, далеко не бесполезной и для служебной работы дипломата.

Изучение этой работы в мою задачу не входит, и я в дальнейшем коснусь ее лишь вкратце. Наше внимание будет сосредоточено на личности Фикельмон, ее русских литературных связях и — прежде всего — на роли Дарьи Федоровны в жизни и творчестве Пушкина.

Предварительно я должен все же вкратце рассказать и о дальнейшей служебной карьере ее мужа, итальянский период которой нам уже достаточно известен. Коснусь отчасти и его литературной деятельности, которая когда-то имела немалую известность.

В следующих очерках я не раз буду возвращаться к обстоятельствам петербургской жизни супругов Фикельмон.

---

[1] Д. Ф. Фикельмон в это время нет еще и двадцати пяти лет.

[2] Треуголку или другой военный головной убор. В пределах своей страны русские императоры всегда носили военную (изредка морскую) форму.

[3] В дальнейшем я, как общее правило, обозначаю цитаты из дневника Фикельмон только датами записей без указания страниц источников (книга Н. Каухчишвили, работы А. В. Флоровского — для записей 1832—1837 гг.).

Упомяну пока о том, что, вернувшись в 1826 году в Россию, Елизавета Михайловна Хитрово и после приезда Долли с мужем в Петербург некоторое время жила отдельно со старшей дочерью Екатериной на Моховой улице в доме Мижуева[1]. Весной 1831 года она переехала в арендованный австрийским посольством обширный особняк кн. Салтыковых (современный адрес — Дворцовая набережная, 4), но занимала там, как мы увидим, отдельную квартиру. В ней Е. М. Хитрово прожила восемь лет и здесь же скончалась (3 мая 1839 года).

Ее дочь, Екатерина Федоровна Тизенгаузен, стала личным другом императрицы Александры Федоровны. В мае 1833 года она в качестве камер-фрейлины переехала в Зимний дворец[2].

Свой ответственный пост граф Фикельмон занимает в течение целых одиннадцати лет, получив в 1830 году чин фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии[3]. Изредка посол уезжает из столицы. Летом 1833 года он отправляется в Чехию, которая тогда называлась Богемией. Осенью 1837 года граф был в Крыму, но Дарья Федоровна, насколько нам известно, в этом путешествии его не сопровождала.

В первые годы пребывания Фикельмона на посту посла в Петербурге князь Меттерних, несомненно, был доволен его деятельностью, хотя судить об этом приходится лишь по косвенным данным — документов мы не знаем[4].

В Вене были довольны до поры до времени. У Николая I благоволение к Фикельмону сохранялось в течение всего пребывания графа в Петербурге. Об этом свидетельствуют, между прочим, и высокие награды, полученные им в России. В ноябре 1833 года (запись Дарьи Федоровны 10.XI) ему был пожалован высший русский орден — Андрея Первозванного, который иностранным послам давали в очень редких случаях. При отъезде из России он получил еще более редкое отличие — бриллиантовые знаки к этому ордену[5].

Впоследствии автор одного из некрологов Фикельмона писал, что покойный «благодаря своему долгому пребыванию в России, получил особое пристрастие к этой северной стране

---

[1] Современный адрес — Моховая, 41 («Пушкинский Петербург». Л., 1949, с. 406).

[2] Так называемые «фрейлинские комнаты» помещались в верхнем этаже дворца.

[3] В официальном русском сообщении о приеме Николаем I Фикельмона 30 января 1829 года, видимо, есть ошибка — граф значится в нем всего лишь генерал-майором, а год спустя он уже фельдмаршал-лейтенант (производство через чин в австрийской армии не практиковалось).

[4] Служебная переписка посла с канцлером хранится, как я уже упоминал, частью в Вене, частью в г. Дечине (Чехословакия). Я смог использовать лишь выдержки из нее, приведенные в книге Н. Каухчишвили, и давно известное донесение Фикельмона о дуэли и смерти Пушкина.

[5] *Сони*, с. 2.

и питал большую привязанность к особе императора Николая, который относился к нему с особой благосклонностью» [1].

Действительно, в сочинениях и письмах Фикельмона мы находим ряд отзывов о России, необычных для образованного иностранца того времени, особенно для австрийского сановника, каковым все же был Шарль-Луи (Карл-Фридрих), несмотря на свое французское происхождение. Достаточно привести, например, отзыв Фикельмона о цивилизаторской роли России в Азии, имеющийся в его посмертно изданной книге:[2] «...ни в какой период истории Европы не было столь блистательного факта, как приобщение к цивилизации бесконечных пространств русской территории <...>, призванных к тому волею Петра Великого».

О знаменитой книге французского путешественника маркиза Кюстина[3], наделавшей много шума в Европе и запрещенной в России, и о ее авторе он отзывался крайне резко: «Он пишет, таким образом, что, будь я молодым русским, я бы его разыскал и дал ему единственный ответ, которого он заслуживает, и надеюсь, что это с ним случится». «В его книге, несомненно, есть кой-какая правда; так, я согласен с ним, когда он говорит, что любовь к людям занимает недостаточно большое место в истории России, но его всегда грязная и всегда враждебная мысль бесчестит то подлинно хорошее, что он мог встретить на своем пути <...>». «Не стоит она того, чтобы ею заниматься, она умрет как пасквиль <...>. Автор — безвестное насекомое <...> время его раздавит своею поступью, и ничего не останется от его обломков. Это грязь, которая возвращается в грязь, из которой она вышла, его укус не причинит никакой боли <...>» [4] и т. д.

Обычно очень корректный граф Фикельмон в отзыве о Кюстине и его книге не скупится на эпитеты. В его письме к тому же чувствуется автор комедий для домашнего театра, которые имели успех, но, насколько известно, напечатаны не были.

Сейчас, через сто с лишним лет, приходится признать, что Фикельмон ошибся. Памфлет Кюстина на Россию Николая I выдержал испытание временем лучше, чем умные и сдержанные книги Шарля-Луи. Они почти забыты, хотя и не заслуживают этого.

Не можем мы согласиться и с благоговейным отношением Фикельмона к личности Николая I, в котором он видел своего

[1] «Press», 1857, № 81. Цит. в «Biographisches Lexikon des Kaisertums Oesterreich», Bd. 13, IV. Wien, 1858, S. 223.

[2] Pensées et réflexions morales et politiques du comte de Ficquelmont (Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона). Paris, 1859, p. 267.

[3] Marquis de Custine. La Russie en 1839 (Маркиз де Кюстин. Россия в 1839 году), V. 1—4, 2-me éd. Paris, 1843 *(франц.)*.

[4] *Сони*, с. 50—51.

рода воплощение непреклонной воли,— качество, которым этот царь, к несчастью для России, действительно обладал.

Но к политике императора Николая I в восточном вопросе, которую он в своих книгах хотя и в корректной форме, но резко и обоснованно критикует, Фикельмон всегда относился отрицательно[1]. Однако, когда Восточная война разразилась, он не менее резко возражал против попыток тогдашней английской и французской печати представить Россию как варварское государство, грозящее гибелью западной культуре.

Все это происходило многим позже петербургского периода деятельности Фикельмона, периода, который нас преимущественно интересует, но его взгляды на Россию и русских, по всему судя, сложились давно и, вероятно, послужили причиной крушения его дипломатической карьеры.

В 1839 году граф был вызван в Вену и временно замещал Меттерниха, что, конечно, не говорит о том, что посол впал в немилость. Затем Фикельмон вернулся в Петербург, но в июле 1840 года был окончательно отозван из русской столицы. Он покинул ее 20 июля этого года.

Судя по грустному обращению к Екатерине Федоровне Тизенгаузен, написанному перед самым отъездом, ему пришлось оставить свой пост неожиданно и, во всяком случае, не по своей воле:

«Петербург, 20 июля 1840.

Я пишу вам, дорогой друг, в тревожный и волнующий момент <...> Через час я уезжаю, и мое сердце полно вашей матерью, Долли и вами. Это трио[2], которое организовало мою жизнь и так долго составляло мое счастие, было разорвано, а остатки его разделены.

Поэтому я с большой грустью в душе покидаю этот дом <...> Одна жизнь кончена, а я слишком немолод, чтобы начинать другую».

Подлинной причины отозвания Фикельмона мы не знаем.

Н. Каухчишвили считает, что недовольство Меттерниха могли вызвать два продолжительных отпуска (первый из них длился полгода), которые посол испросил в 1838 и 1839 годах, Действительно, Дарья Федоровна, привыкшая с одинна-

---

[1] Двухтомный труд Фикельмона «Lord Palmerston, L'Angleterre et le continent» («Лорд Пальмерстон. Англия и континент») (Paris, 1852) был запрещен в России (по-видимому, из-за критического отзыва о вел. кн. Константине Павловиче), хотя автор отзывается очень отрицательно о враждебной России политике Англии.

[2] Возможно, что «трио» издавна было ласковым прозвищем Елизаветы Михайловны и двух ее дочерей, причем в 1823 году оно стало известным Александру I.

дцати лет к итальянскому солнцу и теплу[1], плохо переносила хмурый и холодный климат Петербурга. Головными болями она страдала и раньше, но, как сообщал Фикельмон в письме к Меттерниху от 4 января 1838 года (23 декабря 1837 г), «...страдания M-me Фикельмон, которые ей причинил в течение двух лет ревматизм головы, были очень сильными; начиная с минувшего лета они стали настолько острыми и постоянными, что все, что я мог бы сказать по этому поводу, еще не соответствовало бы действительности. Она может лишь надеяться на то, что ей поможет перемена климата и ванны»[2].

Отпуск был разрешен, и в мае 1838 года супруги Фикельмон с дочерью и сопровождавшая их Елизавета Михайловна уехали за границу. В Дечине хранится дневник, который Долли вела во время этого путешествия. Из него известны пока только отрывки, приведенные в книге Н. Каухчишвили. Проведя два месяца в Баден-Бадене, путешественники через Швейцарию направились в Италию. Уже в Камподольчино (Итальянская Швейцария) Дарья Федоровна записывает 26 августа: «...сразу воздух стал мягким, бархатным, и между двух гор видишь ослепительный свет, сверкающую даль. *Это моя любимая Италия,* которую я снова вижу и узнаю после десяти лет разлуки и беспрерывных сожалений. Во время моей долгой и мучительной болезни во мне преобладало желание вернуться в Италию и тайный страх за то, что мне это не удастся»[3].

К Долли понемногу возвращается радость жизни, хотя временами она еще очень страдает. Однако на нее надвигается тяжкое горе. В Генуе она прощается с Елизаветой Михайловной, которая торопится в Россию. Ни мать, ни дочь не думали, конечно, что это расставание навеки... В своей любимой Флоренции Дарья Федоровна разлучается и с мужем, у которого отпуск подходит к концу.

Весной 1839 года Елизавета Михайловна тяжело заболела. По-видимому, заболевание было внезапным, так как впоследствии в некрологе было сказано, что «жестокая болезнь только что унесла ее в возрасте 56 лет, но еще полную жизни, здоровья и молодости духа»[4]. Зная, что конец неизбежен, и предвидя, как тяжело будет больная Дарья Федоровна переживать смерть любимой матери, граф Фикельмон снова обратился 21 апреля (9 мая) 1839 года к князю Меттерниху с просьбой об отпуске.

Елизавета Михайловна, как мы знаем, скончалась 3 мая

---

[1] Нельзя забывать о том, что за исключением нескольких месяцев, проведенных в Центральной Европе и в России, она прожила в Италии без перерыва 13 лет.

[2] *Дневник Фикельмон,* с. 38.

[3] *Сони,* с. 38—39.

[4] «Journal de Saint-Pétersbourg», 1839, № 55, 9 (21) мая.

старого стиля. Долли получила известие о смерти матери, возвращаясь из Неаполя, где она провела с дочерью весенние месяцы.

24 мая Фикельмон обратился к одному из ее близких друзей — И. И. Козлову. Он писал поэту-слепцу: «вчера, или сегодня, или завтра, или, наконец, на днях жена должна получить известие, которое разобьет ее сердце. <...> Напишите ей, сударь,— вы облегчите ее горе <...> слова тех, которые счастливы, никогда не произвели бы на нее такого действия, как ваши» [1].

Похоронив тещу, с которой Фикельмон был очень дружен, он уехал за границу и встретился с женой во французском курорте Экс ле Бен (Aix les Bains)[2].

Таким образом, длительная болезнь Дарьи Федоровны и смерть Е. М. Хитрово, действительно, на довольно продолжительное время нарушили дипломатическую работу Фикельмона, и Меттерних имел основание быть этим недовольным. Очень возможно также, что, как предполагает Н. Каухчишвили, канцлеру могла не понравиться в письме-прошении о вторичном отпуске ссылка на мнение Николая I, который спросил посла: «разве вы не съездите к вашей жене и дочери? Они будут в вас нуждаться. Прошу вас не приносить мне этой очень большой жертвы» [3].

Я тем не менее не могу согласиться с мнением автора о том, что эти отпуска по семейным обстоятельствам и промах, допущенный послом со ссылкой на мнение русского царя, послужили причиной краха дипломатической карьеры Фикельмона.

Я уже упомянул о том, что временное исполнение графом обязанностей канцлера в 1839 году никак нельзя считать признаком немилости. Кроме того, трудно понять, почему наказание последовало так поздно — прошел целый год, прежде чем Фикельмона отозвали с поста посла в Петербурге и фактически отстранили от всякой сколько-нибудь государственной работы. По приезде из России он был назначен на почетный пост, приблизительно соответствующий министру без портфеля (Staats und Konferenzminister) и до революции 1848 года выполнял разные, главным образом дипломатические, поручения. По существу, Фикельмон, однако, оказался не у дел, в полуотставке — письма Дарьи Федоровны и самого Шарля-Луи не оставляют на этот счет никакого сомнения. По словам Долли (письмо к сестре от 5 сентября 1851 года) , Меттерних в течение десяти лет перед революцией старался, как

---

[1] *ИРЛИ.*

[2] Насколько я знаю, это был единственный случай, когда Д. Ф. Фикельмон побывала во Франции.

[3] *Дневник Фикельмон,* с. 43—44.

[4] *Сони,* с. 331.

только мог, свести его значение на нет (l'annuler). В другом письме (29 декабря 1852 года)[1] Дарья Федоровна утверждает, что ее мужа «удерживали здесь под тем предлогом, что пользуются его услугами, тогда как в действительности его держали вдали от всех дел».

Упорная неприязнь Меттерниха к Фикельмону, как я думаю, объясняется не мелкими промахами графа в прошлом, а его последовательным русофильством и общеполитическими взглядами, которые, видимо, казались либеральными в то чрезвычайно реакционное время. 25 июня 1842 года он пишет, например, Е. Ф. Тизенгаузен: «То, что делают в России, не может привести ни к какому хорошему результату, и я об этом очень жалею, так как будущее целиком зависит от этой проблемы дворян и крестьян. Земли в России так много, что ее достаточно для всех, и право государства ею владеть является иллюзорным, так как оно не в состоянии ее обрабатывать. Раздать ее крестьянам, при условии установления соответствующего налога, было бы наиболее простым способом управления, и земледелие сделало бы больше успехов, так как у крестьянина никогда не будет интереса к приобретению нужных земледельцу знаний, раз он уверен в том, что никогда ничем владеть не будет»[2].

Конечно, необходимым условием для осуществления предлагаемой Фикельмоном реформы явилась бы отмена крепостного права, но он об этом умалчивает и в письме и в своих сочинениях.

В печатных трудах Фикельмона встречаются и более оригинальные мысли. Он пишет, например: «Демократия, в том виде, как ее сейчас добиваются, не может быть осуществлена иначе, как через коммунизм, только он может сделать демократию основой государства. Демократия, если она подлинная, должна ввести коммунизм и цивилизацию <...> Заменить другую, которая до настоящего времени является идеалом без прецедентов»[3].

Сам Фикельмон, по своим взглядам, конечно, чрезвычайно далек и от «подлинной демократии» и от коммунизма, но его политическая мысль работает все же весьма самостоятельно, и это не могло нравиться его бывшему начальнику, реакционнейшему Меттерниху.

В привычном климате Италии и Средней Европы здоровье

---

[1] *Сони*, с. 393.
[2] Там же, с. 30.
[3] Lord Palmerston. England und der Kontinent, von K. L. Grafen Ficquelmont. (Лорд Пальмерстон. Англия и континент. соч. графа К. Л. Фикельмона). Verlag A. Manz, 1852, с. 356—367. Я воспользовался чешским переводом этой любопытной цитаты, сделанным Сильвией Островской и сообщенным мне в письме. Немецкого издания я не видел, а разыскать ее во французском мне не удалось.

Дарьи Федоровны, по-видимому, более или менее восстановилось. В известных нам письмах сороковых и пятидесятых годов она на него жалуется редко. 28 декабря 1850 года княгиня Кляри пишет тетке: «...мама всех удивляет, она прекрасна, молода и свежа, находят, что она помолодела, и ее салон приятен, как всегда»[1].

По заказу Дарьи Федоровны в Италии было изготовлено в 1841 году прекрасное надгробие в виде стелы из белого мрамора с барельефом Елизаветы Михайловны и фигурами ее скорбящих дочерей. Оно было привезено в Россию и установлено на могиле покойной в церкви Св. Духа[2].

Сама Долли, насколько мы знаем, на родину больше не возвращалась. Сестра время от времени навещала ее в Австрии. Супруги жили главным образом в Вене, а теплое время года проводили в Теплицком замке у дочери, которая в 1841 году, как и мать, вышла замуж по любви в шестнадцать лет. Ее муж, князь Эдмунд Кляри-и-Альдринген (3. II. 1813—1894), очень богатый австрийский помещик, был старше жены на двенадцать лет.

13 октября 1842 года у Елизаветы-Александры родился первый ребенок — девочка Эдмея-Каролина*. Дарья Федоровна, таким образом, стала бабушкой ровно в 38 лет. В 47 у нее уже четверо внучат.

Большая политическая карьера ее мужа возобновилась было во время революции 1848 года, но вскоре оборвалась окончательно. 18 марта Фикельмон, считавшийся человеком умеренных взглядов, вошел в состав первого конституционного кабинета в качестве министра двора и иностранных дел, а после отставки графа Коловрата короткое время замещал председателя совета министров. Министерский пост Фикельмон занимал всего сорок пять дней. Революционная демонстрация студентов, направленная не только против министра, но и против его русской жены, заставила Фикельмона выйти в отставку.

В нескольких письмах к сестре Дарья Федоровна рассказывает, как подготовлялось и произошло это тягостное для нее событие[3].

«Сейчас думают, что Фикельмон принадлежит к старой школе князя[4]. Если бы люди знали все, что он говорил, все, что он писал в течение двух лет, и сколько раз князь

---

[1] *Сони*, с. 299.

[2] В настоящее время надгробие находится в Лазаревской усыпальнице (Александро-Невская лавра в Ленинграде).

[3] *Сони*, с. 154—155, 158—159, 161—165.

[4] Т. е. Меттерниха.

пренебрегал его мудрыми словами и отвергал их <...> Фикельмона обвиняют в том, что он слишком друг России, и я все время боюсь, что способствую укреплению этого мнения» (15 апреля).

«Посылаю тебе листовку, из которой ты увидишь, каким преследованиям я здесь подвергаюсь. Люди не боятся оскорблять благородный характер Фикельмона и предполагать, что мы оба продались России. Эта глупая история о двенадцати миллионах разглашена здесь болтуном Оболенским, и благожелательная публика, которая постоянно обвиняет Фикельмона в том, что он друг русских, подхватила эту болтовню. Вообще, я не в состоянии сказать, как я страдаю от этой ненависти ко всему русскому. Если бы я не была убеждена, что приношу пользу Фикельмону <...> я бы уехала, чтобы не предполагали, что мое влияние может внушить ему пристрастие к России. Это стесняет меня в повседневной жизни, я едва решаюсь видеться со здешними русскими, настолько у меня велика боязнь ему навредить» (22 апреля).

В длинном письме от 4 мая Дарья Федоровна подробно рассказывает о том, как вечером и ночью 2. V. 1848 года делегации революционно настроенных студентов являлись к Фикельмону на дом, требуя его отставки, а под окнами бушевала толпа молодежи, распевая оскорбительную для графа песню. На следующий день Фикельмон вручил императору прошение об отставке. 8 мая Долли сообщает, что причиной, побудившей ее мужа принять это решение, были не крики студентов, а полная инертность властей и национальной гвардии, оставивших председателя правительства один на один со студентами с девяти часов вечера до двух часов ночи. Войска он заранее запретил вызывать во избежание кровопролития.

Можно думать, что перепуганная администрация и руководители буржуазной национальной гвардии были рады отделаться от неприемлемого для оппозиционных кругов русофила.

Во время событий 1848 года Дарье Федоровне, прежде чем вернуться к мужу в Вену, пришлось перенести немало волнений и неприятностей — в особенности в Венеции, где ее дважды арестовывала гражданская гвардия. В конце концов она с трудом выбралась из города вместе с дочерью, зятем и внучатами на английском военном корабле.

Граф Фикельмон к политической деятельности больше не возвращался. Энергичный и бодрый старик всецело отдается своим литературным работам, которыми занимался и прежде. О содержании его книг, неизменно благожелательных к России, я уже говорил. Написаны они несколько старомодным (и для того времени) языком, но читаются легко.

В начале 1855 года Фикельмоны пополам с князем Кляри покупают дворец в Венеции (palazzo Clary и поныне принад-

лежит потомкам теплицкого магната). Поселяются там вместе с зятем, дочерью и внучатами.

Граф Шарль-Луи скончался в Венеции 6 апреля 1857 года восьмидесяти лет от роду. Дарья Федоровна, рано начавшая болеть, ненадолго пережила мужа. Она умерла в Вене 10 апреля 1863 года, несколькими месяцами раньше Н. Н. Пушкиной-Ланской.

V

Я набросал только схему не очень долгой (59 лет) жизни Долли, причем остановился главным образом на годах ее молодости и том времени, когда ее знал Пушкин. В начале их знакомства Долли 25 лет, в пору дуэльной драмы — 32. Сейчас этот интервал — взрослая молодость, в эпоху Пушкина — возраст уже немолодой. Нам нелегко себе это представить, но так было...

Как мы видели, жизнь Долли внешними событиями не богата. Только революция 1848 года ненадолго прервала ее размеренный, на вид спокойный ход.

Схема жизни Фикельмона — сына эмигранта, воина, дипломата, государственного деятеля, писателя гораздо сложнее, но сколько-нибудь подробное изложение ее в мою задачу не входит.

Шарль-Луи Фикельмон для нас интересен главным образом как муж Долли и близкий знакомый Пушкина.

П. И. Бартенев, знавший многих современников Фикельмона, пишет: «В нем не было ни немецкой тяжеловесности, ни себе-наумелого французского легкомыслия. Подобно графу С. Р. Воронцову, считал он, что лукавство вовсе не надежное орудие дипломата, который больше выиграет в делах своих, коль скоро успеет снискать уважение в обществе качествами ума и сердца своего. Фикельмона полюбили в Петербурге, и мы уверены, что Пушкин, обворожавший его супругу, находил большое удовольствие в беседе с ним, человеком многосторонним и даровитым» [1].

Присмотримся теперь ближе к облику Дарьи Федоровны Фикельмон. Новые источники позволяют сейчас восстановить его многим полнее, чем он был известен раньше.

В первом приближении этот облик определяется одним словом — очарование. Очарование внешнее, очарование духовное — на этом сходятся все, при ее жизни и после смерти.

О внешности Фикельмон свидетельств немало, но, к сожа-

---

[1] «Русский архив», 1911, кн. III, № 9, 2-я обложка.

лению, никто не описал ее подробно. Можно быть, однако, уверенным в том, что некий генерал Эссен без зазрения совести польстил Кутузову, уверяя старого полководца, что маленькая Даша очень на него похожа. И в детстве и в ранней юности она была уже красавицей удивительной. Граф М. Д. Бутурлин, впервые встретивший Долли во Флоренции, вспоминает, что «молодые графини Екатерина и Дарья (Долли) Федоровны Тизенгаузен только что начинали выезжать в свет и были во всем блеске красоты; но особенно поражала даже меня, десятилетнего мальчугана, пятнадцатилетняя графиня Дарья Федоровна» (в действительности Долли тогда было всего тринадцать).

Точно так же молодой князь Д. И. Долгоруков, видевший супругу австрийского посланника в Неаполе в 1822 году, пишет отцу из Рима: «... г-жа Фикельмон прекрасна, ее сестра очень хороша собой...». Появление восемнадцати-девятнадцатилетней Долли в петербургском и московском обществе в 1823 году производит, видимо, очень сильное впечатление. Будущий декабрист А. А. Бестужев сообщает матери из Петербурга 3 сентября этого года, что на Петергофском празднике «первая красавица была графиня Фикельмон, дочь Хитровой и внучка Кутузова — в самом деле прекрасная женщина» [1].

В свою очередь, П. В. Вяземский пишет А. И. Тургеневу из Москвы: «И нашу старушку вскружила Фикельмон. Все бегают за ней; в саду дамы и мужчины толпятся вокруг нее; Голицын празднует. Впрочем, она в обращении очень мила» [2]. Впоследствии, в 1831 году, О. С. Павлищева, сестра Пушкина, считает, что Фикельмон не менее красива, чем ее невестка Наталья Николаевна [3], а Вяземский в письмах к А. И. Тургеневу обычно называет графиню «австрийской красавицей».

Эпитет «красавица» неотделим от имени Долли Фикельмон, причем красота ее, как кажется, была ласковой, чарующей.

Вероятно, не раз Долли писали и рисовали знавшие ее художники. Может быть, где-то хранятся и ее скульптурные изображения. Долгое время, однако, не было известно ни одного портрета Дарьи Федоровны. За последние десятилетия и в Советском Союзе и за рубежом их обнаружено несколько,

---

[1] «Памяти декабристов». Сборник материалов. I. Л., 1926, с. 40.

[2] Остафьевский архив кн. Вяземских, т. II, с. 354 (письмо от 1 декабря 1823 г.).

[3] Письма О. С. Павлищевой к мужу, Н. И. Павлищеву, в 1831 и 1832 гг. из Петербурга («Пушкин и его современники», вып. XV, с. 184).

но, насколько я знаю, вплоть до 1930 года был опубликован лишь набросок Пушкина, определенный А. М. Эфросом[1]. По его мнению, этот рисунок следует датировать концом 1832 или началом 1833 года[2]. Он был сделан Пушкиным на полях черновика, использованного затем в «Медном всаднике».

На первый взгляд рисунок несколько разочаровывает. Он может показаться, как сейчас принято называть, «дружеским шаржем». А. Эфрос справедливо замечал:

«Рисунки (Пушкина) отличаются тем особым, почти утрированным сходством, которое подводит все пушкинские наброски к схематизму, очень часто достигает границ карикатуры и нередко переступает их». Сравнивая этот набросок портрета с акварелью неизвестного художника (несомненно, малоодаренного любителя), которая послужила автору для идентификации рисунка поэта, А. Эфрос, однако, говорит: «Пушкин же, свободно изобразив резкую удлиненность профиля, крупный изогнутый нос <...> в то же время сумел передать то, что его модель была красавицей, одной из прекраснейших женщин петербургского общества 1830-х годов <...>».

Акварель, использованная А. Эфросом и, несомненно, изображающая Д. Ф. Фикельмон, впервые была экспонирована на юбилейной выставке 1937 года в Москве. В настоящее время она хранится в фондах Всесоюзного музея А. С. Пушкина. По словам того же А. Эфроса, в ней «сказывается откровенный дилетантизм; это — домашняя копия более художественного оригинала, пока не обнаруженного и где-то залежавшегося или пропавшего; поэтому копиист хотя старательно воспроизводит в акварели типичность черт, однако не справился с их характерной прелестью».

С разрешения покойного ныне профессора А. В. Флоровского я опубликовал в 1965 году фотокопию с портрета (акварель, белила) работы английского художника Т. Уинса (Th. Wins, 1782—1857), исполненного в Неаполе в 1826 году. Этот портрет был обнаружен в Вене у букиниста Яковлевым и позднее принесен им в дар Всесоюзному музею А. С. Пушкина. В настоящее время портрет находится в экспозиции в г. Пушкине. Графине 21—22 года, но выглядит она старше. Красота у нее сочетается с величавой наружностью дамы большого света. Пушкин познакомился с Долли Фикельмон, когда она была несколько старше; Александр I знал ее совсем молодой.

---

[1] «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, 1930, с. 180—181.

[2] Абрам Эфрос. Пушкин портретист. М., 1946, с. 38, 209—214.

Сильвия Островская[1], не раз уже оказывавшая мне очень ценные литературные услуги, предоставила в мое распоряжение фотокопию, которую она случайно приобрела в Праге. По мнению художников, снимок сделан с акварели. Она изображает трех молодых красивых женщин, очень похожих между собой.

Предоставляем теперь слово Сильвии Островской, которая охотно и почти правильно пишет по-русски: «Пожалуйста, примите как маленький сувенир копию одной старой фотографии, которую случайно купила с одной книгой в антиквариате. Когда в 1962 году в Ленинграде увидела в квартире Пушкина малый портрет графини — стало ясно, что незнакомая на фото — это она. Предполагаю, что эти двое — Екатерина Тизенгаузен и Адель Штакельберг <...> Почти забыла написать — у Долли на лбу диадема (первая направо)»,— письмо из Праги от 6 апреля 1967 года.

По мнению С. Островской, средняя из «трех красавиц», как их называет исследовательница,— это сестра Долли, Е. Ф. Тизенгаузен, слева от нее — их любимая кузина, Адель (Аделаида) Павловна Штакельберг, урожденная Тизенгаузен.

Т. Г. Цявловская, ознакомившись со снимком, разрешила мне упомянуть о том, что, по ее мнению, атрибуция С. Островской в отношении Д. Ф. Фикельмон правильна. Действительно, на предполагаемом ее портрете мы видим те же характерные особенности лица, которые выявили у Дарьи Федоровны Пушкин, Уинс и неизвестный художник-копиист.

Сбоку снимка ясно читается подпись: «E. Peter 1832».

Находка С. Островской представляет несомненный интерес — датированный портрет Фикельмон относится ко времени ее близкого знакомства с Пушкиным. Кроме того, мы, возможно, получаем представление о внешности А. П. Штакельберг за год до ее ранней смерти. 29 ноября 1833 года Пушкин отметил в своем дневнике: «Молодая графиня Штакельберг (урожд. Тизенгаузен) умерла в родах. Траур у Хитровой и у Фикельмон». Если предположение Островской верно, то мы знакомимся и с двадцатидевятилетней фрейлиной Е. Ф. Тизенгаузен. Другой ее портрет экспонировался на юбилейной выставке 1937 года.

В отношении правильности атрибуции этой работы Е. Петеру (1799—1873) возникает, однако, существенное затруднение. Искусствовед А. Н. Савинов (Ленинград) сообщил мне, что по наведенным им справкам художник E. Peter в 1832 году в Россию не приезжал. С другой стороны, известно, что

---

[1] В настоящее время С. Островская состоит старшим ассистентом кафедры факультета общественных наук Университета семнадцатого октября, созданного в Праге для зарубежных студентов.

Д. Ф. Фикельмон в этом году не ездила за границу. Тем не менее возможно, что очень модному тогда венскому миниатюристу были посланы из Петербурга какие-либо портреты Дарьи Федоровны, ее сестры и кузины, пользуясь которыми художник и скомпоновал заочно свою изящную группу. Местонахождение оригинала неизвестно.

Сильвия Островская обогатила иконографию Д. Ф. Фикельмон еще одной находкой. В Дечинском архиве она обнаружила и опубликовала в своей краткой статье[1] небольшую фотографию графини. Этот портрет, помещенный в многотиражном журнале, для репродукции не годится. С. Островская прислала мне, однако, очень хорошую фотокопию найденного ею портрета.

Пожилой женщине на вид пятьдесят с лишним лет. Она, по-видимому, в трауре,— возможно, по мужу, скончавшемуся, как мы знаем, в 1857 году, когда Дарье Федоровне было 52 года. Хотя снимку более ста лет, но он, видимо, сделан очень хорошим по тому времени фотографом. Впервые мы ясно видим близкое к старости, но все еще прекрасное, умное лицо той, которой любовались современники Пушкина. Не портит его ни крупный нос, должно быть, унаследованный от отца, ни довольно большой, но красивый рот.

Итак, мы теперь до некоторой степени знаем, какова была внешность Долли Фикельмон. Надо, однако, сказать, что молодой мы видим ее пока неясно. Даже лучшие, на мой взгляд, изображения — прелестный, но очень схематичный рисунок Пушкина и портрет Уинса — лишь отчасти передают необыкновенную красоту Долли. Не производит впечатления и профессионально искусная, но какая-то бездушная акварель Е. Петера. Характерно, что лица, которым я показал найденный С. Островской групповой портрет, единодушно находят, что старшая сестра кажется красивее младшей. Современники «трех красавиц» столь же единодушно отдавали предпочтение Долли.

В конце тридцатых годов в Праге мне удалось увидеть в обширном собрании художника Николая Васильевича Зарецкого, страстного и удачливого коллекционера, несколько экземпляров очень хорошей литографии с портрета Д. Ф. Фикельмон кисти венского художника, фамилию которого я, к сожалению, не помню.

Пожилая женщина, лет сорока пяти. По общему облику похожа на мать, совсем не отличавшуюся красотой, но все черты Елизаветы Михайловны как бы исправлены и облагорожены художницей-природой. Долли Фикельмон — брюнетка с необыкновенно красивыми бархатистыми глазами. Пре-

---

[1] Sylvie Ostrovská. Vnučka M. I. Kutuzova (Сильвия Островская. Внучка М. И. Кутузова), «Praha — Moskva», 1959, № 4, с. 254.

красные волосы, очень открытые по моде того времени плечи. Умный, серьезный и в то же время оживленный взгляд. Глядя на эту литографию, понимаешь, почему двадцатью годами раньше Дарья Федоровна считалась одной из самых красивых женщин николаевского Петербурга.

Упомянем еще о том, что на надгробной стеле Елизаветы Михайловны итальянский скульптор, несомненно, изобразил ее скорбящих дочерей. Коленопреклоненная, очень стройная фигура справа — вероятно, Долли, более полная молодая женщина, простирающая руки к изображению матери,— ее старшая сестра. Ваятель, можно думать, верно передал общий облик обеих, но портретного сходства я не вижу.

Иконография Д. Ф. Фикельмон, как мы видели, бедна — мы не знаем пока ни одного ее портрета работы первоклассного художника. Что касается графа Шарля-Луи, то я должен еще раз и, как всегда с благодарностью, упомянуть имя моей пражской корреспондентки, все той же Сильвии Островской, которая прислала мне репродукцию портрета Фикельмона, помещенную в книге Иозефа Полишенского[1]. Подлинник портрета находится в данное время в художественной галерее г. Теплица*. По-видимому, чешскому автору не удалось разыскать более ранних изображений графа — в 1820 году генерал-майору Фикельмону было всего 43 года, а на портрете мы видим старика лет семидесяти с лишним*. У него умное, добродушное лицо, но фельдмаршал-лейтенант, несмотря на сохранившуюся военную выправку, выглядит хилым, болезненным человеком. Таким он, видимо, и был в старости, даже не очень глубокой. 1 июля 1845 года Дарья Федоровна пишет В. А. Жуковскому из Карлсбада: «На днях я говорила о вас с Фикельмоном, которого вы видели,— для мужчины у него очень болезненный вид <...>»[2]. Графу в это время 68 лет, его жене — 41.

В Москве на юбилейной выставке 1937 года была экспонирована литография Вагнера с какого-то портрета Фикельмона[3]. Ознакомиться с ней мне не удалось.

Хотя у нас нет пока хорошего портрета Дарьи Федоровны Фикельмон, но ее очаровательная красота сомнению не подлежит.

Не меньше очарования и в ее духовном облике. Этому очарованию поддавались почти все, кто был с ней знаком. Об этом говорит и самый ранний известный нам документ о

---

[1] Josef Polišenský. Opavský kongres roku 1820 a europská politika let 1820—1822 (Иозеф Полишенский. Конгресс в Опаве (Троппау) 1820 года и европейская политика 1820—1822 годов). Opava, 1822.

[2] *ИРЛИ*. Подлинник по-французски.

[3] 1837—1957. Всесоюзная пушкинская выставка. Москва (Краткий путеводитель), с. 57. К. Л. Фикельмон. Литография Вагнера.

жизни графини Долли — письмо ее жениха генерала Фикельмона к бабушке невесты, Е. И. Кутузовой, которое я уже цитировал.

П. А. Вяземский и А. И. Тургенев, близкие друзья Фикельмон, в своих письмах не раз вспоминают Долли. Надо сказать, что их огромная переписка очень интимна. Об общей своей приятельнице, не в меру восторженной Е. М. Хитрово, они порой отзываются язвительно и довольно-таки резко. Но как только речь заходит о ее дочери Долли, эти уже немолодые, много видевшие люди пишут тепло, задушевно, а более чувствительный Тургенев даже восторженно. 28 июля 1833 года он обращается к Вяземскому из Женевы:[1] «Неужели я не писал из Рима и не благодарил милую посольшу за письма в Неаполь? Жаль, что теперь поздно! Но ты объясни, как я мог — не забыть об этом, а пропустить случай сказать ей все, что она зажгла в душе моей и своими глазами, и своими умными разговорами, и поэтическими строками в письме о поэтической Италии. Как ее все помнят и любят в Неаполе! Как она к лицу этому земному раю! Там бы взглянуть на нее! В цветниках виллы Reale[2], при плеске волн Соррентских! У грота Виргилия!..»

«Милая красавица посольша», «прекрасная посольша», «милая посольша» — Тургенев с глазу на глаз с Вяземским не перестает повторять ласковые слова об общем их петербургском друге.

Всех восторженнее отзывается о графине разбитый параличом слепец-поэт И. И. Козлов, никогда ее воочию не видевший, но очарованный ее лаской и добротой. Для него она та, «кто, взору и сердцу на радость, улыбкою небес дана».

Попытаемся проверить отзывы друзей по дневнику Долли Фикельмон, первую часть которого мы теперь знаем почти полностью, а вторую — по выдержкам, приведенным А. В. Флоровским. Используем и ее многочисленные письма к сестре, когда-то опубликованные в Париже. Последними, конечно, надо пользоваться с осторожностью. Нас интересует прежде всего та Долли Фикельмон, которую знал Пушкин, а переписка с сестрой относится ко временам послепушкинским (1840—1854 годы). Однако в Петербург Долли приехала уже вполне сложившимся человеком. В своей основе ее душевный строй, особенно в первые годы после смерти поэта, несомненно, оставался тем же, что был раньше[3].

[1] Архив братьев Тургеневых, вып. 6-й. СПб., 1921, с. 276.

[2] Королевской.

[3] Характеристику Д. Ф. Фикельмон во многих отношениях значительно пополняет ее петербургская (в основном) переписка с кн. П. А. Вяземским, которую я излагаю в следующем очерке, а также отрывки из писем Дарьи Федоровны к мужу, опубликованные Н. Каухчишвили.

В петербургском дневнике очень много жизнерадостной светской болтовни, в письмах меньше радости (и чем дальше, тем меньше), но великосветских новостей, для нас сейчас неинтересных, тоже много. Однако не в рассказах о бесконечных развлечениях большого света ценность и прелесть записок Долли. Можно эти рассказы выпустить почти целиком, а то, что останется — характеристики людей и событий, отзывы о виденном и прочитанном, вдумчивые размышления о государственных делах,— позволят нам яснее себе представить Дарью Федоровну Фикельмон.

Графиня Долли, несомненно, добра и отзывчива. В письмах, вообще более содержательных, чем дневниковые записи, это особенно чувствуется. Дневник — прежде всего светская хроника, письма — задушевная беседа с любимой сестрой.

Нечего и говорить о том, что своих близких она любит самоотверженно и сильно. Порой ей даже кажется, что в этой любви есть нечто греховное. Любит, но страшится вечной разлуки — «это приковывает меня к земле...»[1] — пишет она сестре 11. IV. 1851 года.

Всю жизнь Долли Фикельмон старалась быть полезной людям, с которыми встречалась. Постоянно она за кого-нибудь хлопочет, то и дело просит сестру помочь — то новому австрийскому послу, незнакомому с петербургскими светскими обычаями, то испанскому генералу, то русской девице, просрочившей заграничный паспорт. В Милане во время революции 1848 года, оставшись одна, ухаживает вместе с хирургом за смертельно раненным поваром-французом. Знакомых у нее множество. У них неудачные увлечения, неудачные браки, болезни, смерти близких — обо всем этом Долли неизменно пишет в Петербург и для всех находит участливое слово. Нередко переживает чужое горе как свое собственное. Она грустит не только о случившихся несчастьях, но и о тех, которые могут произойти. Особенно тревожится за судьбу талантливых людей. Она, например, с восторгом слушает девочек-скрипачек Миланолло, но старшей из них пророчит близкую смерть. Графине кажется, что «ее игра и ее лицо <...> не предназначены к тому, чтобы долго оставаться на земле» (26. V. 1843). Впрочем, предчувствие Дарьи Федоровны не оправдалось: старшая Миланолло прожила долго, а младшая, судьба которой, казалось ей, должна была быть безмятежной, умерла шестнадцати лет.

Итак, доброта Фикельмон и ее любовь к людям несомненны, но надо сказать, что они обращены почти всегда лишь на

[1] Выдержки из французских писем Д. Ф. Фикельмон, за немногими исключениями, были мною переведены и впервые опубликованы по-русски в 1965 году. Письма в большинстве случаев обозначаются только датой их написания, так как издания, в которых они опубликованы, имеются лишь в очень немногих библиотеках Советского Союза.

своих — титулованных, знатных, хорошо воспитанных людей большого света. Только для больших артисток она зачастую делает исключение; вообще же в свой узкий круг Дарья Федоровна замыкается вполне сознательно.

Дарья Федоровна порой грубо ошибалась, но ум у нее все же, несомненно, был выдающимся. Не надо забывать, что такие почитатели ее, как Вяземский и Тургенев,— люди большой культуры и широкого ума, и идти с ними вровень в духовном отношении молодой женщине было не так-то просто. Хранитель пушкинской традиции П. И. Бартенев, лично знавший многих современников и друзей Фикельмон, издавна считал ее женщиной «отменного ума»[1]. Этот ум, несомненно, углублялся и зрел с годами. Автор писем, особенно поздних, мудрее и грустнее той Долли Фикельмон, которая писала петербургский дневник и которую знал Пушкин, но основные качества ее интеллекта, конечно, остались те же.

Была умна и ее мать, дочь умнейшего Кутузова, но ум у нее довольно беспорядочный. У Дарьи Федоровны он строен, точен, организован. «Мой логический ум»,— говорит она сама о себе, и нельзя с ней в этом отношении не согласиться. Всегда ясна ее мысль (верная или ошибочная — другой вопрос), стройны и точны многочисленные и длинные рассуждения о политических, исторических, литературных и иных вопросах. То же самое надо сказать и о ее отлично построенных французских фразах (пражские и венские корректоры журналов местами их порядком исковеркали). Словоупотребление у Фикельмон не всегда правильное — сказывается влияние немецкого и итальянского языков, но писать она все же мастер, и следить за ходом ее мысли легко.

Самая сильная и своеобразная сторона ее мышления—это способность до некоторой степени предугадывать будущее. Недаром в свое время австрийская императрица прозвала совсем юную девушку «Сивиллой флорентийской». Она думала, несомненно, о вещих девах, которым древние греки и римляне приписывали дар прорицания.

Ничего сверхъестественного в Долли Фикельмон, конечно, не было. Была та удивительная интуиция, которая зачастую позволяет большим шахматистам, всмотревшись в расположение фигур, предвидеть исход партии тогда, когда для игроков послабее он еще совсем неясен.

Конечно, многолетнее общение с мужем, опытным и умным дипломатом, очень помогло ей в этом отношении. В политике Долли Фикельмон, в общем, внимательная ученица и последовательница своего мужа. Данные, которые приводит Н. Каухчишвили, не оставляют сомнений в том, что, выйдя

---

[1] А. Хомутов. Из бумаг поэта И. И. Козлова.— «Русский архив», 1886, кн. I. с. 184.

замуж очень юной, она много и добросовестно работала над собой. Изучив многочисленные письма Долли к мужу, хранящиеся в Дечине и в печати неизвестные, исследовательница замечает: «В Неаполе происходит медленное превращение характера Долли. Девушка, подготовленная к тому, чтобы занять очень видное положение в высшем обществе, была еще мало знакома с проблемами своего времени. Под руководством мужа, человека выдающегося ума, ей удается расширить свой духовный кругозор и за сравнительно короткое время, в молодом еще возрасте, достигнуть полной зрелости»[1].

Вместе с тем, при всем своем восхищении духовным богатством мужа, Долли Фикельмон сохраняет все же известную самостоятельность мысли и в политических, и в философских, и, в особенности, в литературных вопросах. Было бы ошибкой считать, что Долли — лишь интеллектуальная тень умного мужа. Однако самостоятельность политического мышления, так сказать, проявляется у нее в более зрелые годы. В Петербурге супруга посла, по-видимому, мыслит и оценивает мир в полном согласии с мужем. Н. Каухчишвили, изучавшая в Вене донесения Фикельмона Меттерниху, пишет: «Сравнивая страницы дневника с дипломатическими донесениями Фикельмона, поражаешься сходству, существовавшему между супругами: их оценки людей и событий почти совпадают»[2].

Впоследствии, в заграничных письмах к сестре, Долли, насколько можно судить, высказывает нередко взгляды более самостоятельные. Самостоятельны и многие ее предвидения. Она предугадала, например, австро-прусскую войну 1866 года и франко-прусскую 1870 года, которые разыгрались уже после ее смерти.

И в молодые еще годы у «красавицы посольши», несомненно, были серьезные духовные интересы. В дневнике они чувствуются не часто — говорить сама с собой о «материях важных и высоких» Фикельмон, видимо, не любила. 18.XII. 1830 она отмечает: «Я почти не пишу дневника. В обществе все так печально, что нечего о нем сказать, а я вовсе не хочу создавать здесь сборник размышлений <...>».

Надо, однако, сказать, что размышлений, порой серьезных и глубоких, в дневнике все же немало. Тем не менее графиня, несомненно, предпочитала обсуждать серьезные вопросы в письмах и главным образом в дружеской беседе. К сожалению, лишь очень немногие из ее собеседников упомянули об этих разговорах, касавшихся вопросов, которые волновали в то время русское и европейское общество.

Одним из вопросов такого рода было «дело Чаадаева». В 1836 году близкий друг Пушкина, отставной гусарский

---

[1] *Дневник Фикельмон,* с. 22.

[2] Там же, с. 24.

офицер Петр Яковлевич Чаадаев, смелый и оригинальный философ, напечатал в журнале «Телескоп» отрывок из своего первого «Философического письма», должно быть, по недоразумению пропущенный цензурой[1]. В нем автор в крайне пессимистическом тоне говорил об истории России и ее участии в духовной жизни человечества. Письмо, за которое автор, по приказанию царя, был объявлен душевнобольным, вызвало большие споры среди русских образованных людей. Граф Фикельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7 (19) ноября 1836 года сообщает, что, по мнению Чаадаева, все беды России следует приписать «гибельному решению заимствовать религию и цивилизацию из Византии, падавшей от гнилости, вместо того чтобы примкнуть к римской церкви, которая так высоко вознесла цивилизацию на всем Западе». Посол считает, что это письмо «упало, как бомба, посреди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенствования, к которым весьма склонны в столице»[2].

Из дневника А. И. Тургенева мы узнаем, что 6 декабря 1836 года он, будучи у Фикельмон, много говорил с ней и ее мужем о Чаадаеве[3]. Дарья Федоровна, как и граф Шарль-Луи, вероятно, ознакомилась с содержанием знаменитого письма по французскому тексту, опубликованному, как сообщает Н. Каухчишвили, еще в 1830 году[4]. Долли едва ли разделяла мнение своего мужа, который соглашался с утверждением Чаадаева о пагубной роли византийского христианства в истории России, так как она все же до конца жизни оставалась православной. Точнее ее взглядов на историко-философскую концепцию Чаадаева мы не знаем. Еще одна дневниковая запись А. И. Тургенева (27 ноября 1836) показывает, что разговоры о Чаадаеве велись в салоне Фикельмон в течение ряда дней.

8 января 1837 года Тургенев послал Дарье Федоровне какое-то сочинение Ламеннэ — бывшего главы французских неокатоликов (в 1834 году он порвал с церковью). Консерваторы во Франции считали этого христианского социалиста революционером-якобинцем. Как мы увидим, идеями Ламеннэ Фикельмон интересовалась издавна[5].

---

[1] В своей статье «Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон» (*Врем. ПК.* 1967—1968. Л., 1970, с. 14—32) М. И. Гиллельсон подробно разбирает вопрос об отношении графа Фикельмона к «Философическим письмам» Чаадаева (послу были известны первое и неопубликованное третье).

[2] *Дневник Фикельмон,* с. 76. Перевод М. И. Гиллельсона.

[3] *Щеголев,* с. 276.

[4] *Дневник Фикельмон,* с. 76. М. И. Гиллельсон считает, однако, утверждение Н. Каухчишвили о давнишней публикации первого письма во Франции явным недоразумением.

[5] Отзывы Д. Ф. Фикельмон о Ламеннэ читатель найдет в следующем очерке, посвященном переписке ее с кн. П. А. Вяземским.

Я уже упомянул о том, что почти все опубликованные до сих пор письма Дарьи Федоровны относятся к послепушкинскому времени, когда ей было 36—50 лет. Однако и в пору знакомства с поэтом, в 25—32 года, ее взгляды и интересы уже вполне сложились. Надо думать, например, что, как и впоследствии, она много и внимательно читала французскую историческую литературу своего времени. Особенно интересовала ее история революций и причины их возникновения. Следует сказать, что у нее, убежденного консерватора, все же было, говоря современным языком, сильно развито сознание необратимости исторических процессов: «...нельзя остановить потока; что может сделать один человек против духа своего времени?» — писала она 14 июня 1848 года.

О широте ее духовных интересов отчасти можно судить и по довольно скудным в этом отношении дневниковым записям. Поговорив в Дерптском университете со знаменитым астрономом Струве, она замечает, например: «Если бы я стала ученой, то непременно стала бы астрономом». Фикельмон объясняет и причину своего выбора: эта наука «должна быть наиболее отрешенной от земли»[1]. Записывает она и свои впечатления от речи Гумбольдта на заседании, устроенном в честь знаменитого ученого Российской Академии наук 11 ноября 1829 года. В речи президента Академии наук С. С. Уварова ее удивила высокопарная фраза: «...войдите, боги здесь. Да, боги разума и мысли повсюду те же». Она отмечает скромность Гумбольдта, который в заключительной речи, «довольно длинной, но очень интересной», подчеркнул заслуги своих спутников по русскому путешествию, профессора Эренберга и Розе. «Все, что он сказал о России, было поучительно, интересно и могло бы стать полезным».

В этот же день Гумбольдт обедал в австрийском посольстве.

Можно быть уверенным в том, что Долли Фикельмон не робела, беседуя с великим ученым. Естествознания она, как кажется, не изучала, но, помимо природного ума, обладала ко времени приезда в Петербург постепенно накопленными серьезными познаниями в истории, международной политике, литературе.

Есть основание думать, что Дарья Федоровна была несколько знакома и с философией. После смерти мужа она, как свидетельствует Барант, «переписала и собрала» заметки мужа по разным вопросам, зачастую набросанные карандашом[2]. Возможно, что Барант не только составил биографи-

---

[1] *Флоровский. Дневник Фикельмон,* с. 58.

[2] Pensées et réflexions morales et politiques du comte de Ficquelmont (Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона). Paris, 1859, p. XXII.

ческий очерк Фикельмона, но и окончательно отредактировал эти записи. Однако, если бы Долли не разбиралась в их содержании, она не смогла бы выполнить своей части работы — в конце жизни у Фикельмона почерк был крайне неразборчивый. Между тем второй раздел книги целиком посвящен философии (о системе Гельвеция, об эклектизме и т. д.).

Что касается религиозно-философских вопросов, то петербургский дневник, несомненно, свидетельствует о том, что в духовной жизни Дарьи Федоровны они занимали большое место.

VI

Да, очень незаурядным человеком была Долли Фикельмон, но не будем чересчур отяжелять умными разговорами и умными книгами прелестный образ «посланницы богов — посланницы австрийской», как назвал ее Вяземский. Она была, конечно, много умнее и образованнее большинства дам петербургского большого света, но никак нельзя применить к ней пушкинские стихи:

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!

Несмотря на грустный порой строй мыслей, характер у Фикельмон — особенно в молодости — был очень жизнерадостный. Веселиться она любила и умела.

В тридцатых годах светская жизнь в Петербурге была очень интенсивной. Читая мемуары и дневники современников, порой удивляешься, как только у них хватало сил ездить без конца на балы, рауты, приемы, а днем еще делать бесчисленные визиты. Только в 1831 году уход всей гвардии на польскую войну и, в особенности, холерная волна, докатившаяся до столицы в половине июня этого года, на много месяцев прервали светские развлечения. Наконец, 6 октября на Марсовом поле было отслужено «благодарственное молебствие» по случаю окончания войны в Польше. В конце октября балы возобновились.

Само собой разумеется, что в развлечениях высшего общества дипломатический корпус принимал участие. Знатные русские семьи (правда, не все) издавна любили принимать иностранцев. Нередки были и официальные приемы и балы во дворцах у царя и великих князей. Австрийского посла с женой приглашали и на интимные вечера царской семьи. Это считалось большой честью, и ее удостаивались очень немногие дипломаты.

Долли с несомненным интересом относилась к светским визитам, пока не начала страдать постоянными жестокими головными болями. За границей, когда ее заболевание утихло, Дарья Федоровна снова надолго оказалась, подобно Александре Осиповне Смирновой-Россет, «в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора» — на этот раз австрийского. В поздних письмах Фикельмон, как и в петербургском дневнике, светская жизнь занимает, на мой взгляд, утомительно много места. Как проходил венецианский закат жизни графини, мы не знаем...

В Петербурге больше всего балов бывало на святках[1] и на масленице. Опубликованная часть дневника Долли позволяет установить некоторые цифры «бальной статистики». Возьмем для примера 1830 год, когда светскую жизнь ничто не нарушало. С 11 января по 16 февраля (36 дней) Фикельмон упоминает о 15 балах, на которых она присутствовала. Раньше трех часов ночи они не кончались, а некоторые продолжались и до шестого часа утра. Танцевали, можно сказать, не щадя сил. Сохранилось, например, письмо фрейлины Анны Сергеевны Шереметевой[2], в котором она сообщает, что на балу в министерстве уделов 5 марта 1834 года танцевали следующие танцы: 2 мазурки, 3 вальса, 12 кадрилей (!), 1 галоп, 1 «буря», 1 попурри, 1 гросфатер (всего 21 танец).

В дневнике, опубликованная часть которого, не забудем, охватывает всего два с половиной года, графиня Фикельмон описывает множество балов, но большинство этих описаний для нас сейчас неинтересно. Остановимся все же на нескольких — ведь на таких же балах, порой весьма скучных, порой веселых и оживленных, по двойной своей обязанности — мужа прелестной жены и камер-юнкера двора его величества — бывал несколько позднее и Пушкин. Для одного из них он, как известно, написал своего «Циклопа», короткое стихотворение, которое графиня Екатерина Тизенгаузен продекламировала в Аничковом дворце у великой княгини Елены Павловны 4 января 1830 года[3]. Сам поэт там не был, не была из-за австрийского придворного траура и Фикельмон. Очевидно, со слов сестры она так описывает 8 января это довольно странное действо, в котором пришлось принять участие и И. А. Крылову, изображавшему музу Талию: «Здесь принц Альберт Прусский, младший сын короля[4] <...> Несколько дней тому назад был устроен для императрицы сюрприз, который очень удался,— это был род шуточного маскарада;

---

[1] Время между праздниками рождества и крещения (от 25 декабря до 6 января ст. ст.).

[2] Архив села Михайловского, т. II, вып. I. СПб., 1902, с. 33—34.

[3] *Письма к Хитрово*, с. 40—46.

[4] Брат императрицы Александры Федоровны.

весь Олимп в карикатуре, женщины представляли богов, мужчины — богинь. Граф Лаваль, старый, замечательно безобразный и сильно подслеповатый[1], был *Грацией* вместе с Анатолием Демидовым и Никитой Волконским. Станислав Потоцкий, громадного роста и ширины, изображал *Диану*; князь Юсупов, весьма некрасивый, фигурировал в качестве *Венеры*. Женщины все были хорошенькие: Екатерина в виде *Циклопа,* Аннет Толстая — *Нептуна,* обе очаровательные. Великая княгиня в виде *Урании* танцевала менуэт с Моденом — *Большой Медведицей*[2]. Я видела многие костюмы у Модена, где собирались участвовавшие».

Иногда на балах разыгрывались целые сцены, требовавшие сложной подготовки. Такие репетиции, вероятно, проходили весело.

4 февраля 1830 года Долли записывает: «Утром я была у императрицы по поводу приготовления костюмов для костюмированного бала 14. Она хотела, чтобы я участвовала в ее кадрили, заимствованной из оперы Фердинанд Кортец»[3].

Этот бал у министра двора князя П. М. Волконского состоялся через десять дней — 14 февраля. Сначала выступило полтора десятка «розовых и белых летучих мышей» в масках — в том числе императрица и графиня Фикельмон. Затем в одном из салонов собрались все участники оперной кадрили, надо думать, тщательно разученной. Подождав, пока «мыши» с императрицей во главе переодевались, они торжественным кортежем вошли в зал: Монтезума — обер-церемониймейстер граф Станислав Потоцкий, его дочь — императрица, Фердинанд Кортец — принц Альберт и т. д. и т. д. Замыкали процессию жрицы Солнца, среди них — Долли, ее сестра и пятнадцатилетняя москвичка Ольга Булгакова, которая в этот вечер необычайно понравилась царю. Николай I велел ей снять маску; девочку отправили домой переодеться, и затем император и один из великих князей с ней танцевали.

Дарья Федоровна по этому поводу замечает: «Здесь контрасты во всем, но контрасты столь поразительные, что иногда действительно не знаешь, не грезишь ли ты. Наряду с этикетом и чопорностью порой видишь такую большую, такую полную непринужденность и такой моментальный эффект, что ничего нельзя предусмотреть. Это царство молодости и первых импульсов».

Как видим, Дарья Федоровна Фикельмон в 1830 году

[1] Однако мы знаем портрет Лаваля, нарисованный Пушкиным, на котором граф выглядит вполне благообразным. Портрет воспроизведен в кн.: М. А. Цявловский. Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер-Цявловская. Рукою Пушкина. М.—Л., 1935.

[2] По-французски Grand Ours — Большой Медведь.

[3] Опера Джовани Спонтини.

далеко не та увлекающаяся юная супруга австрийского посла, какой она была семь лет тому назад.

Прошло еще три года. Масленица 1833 года. Все по-прежнему, все то же самое. П. А. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: «... вот и блинная неделя, и мы с бала на бал катимся как по маслу» [1].

6 февраля в австрийском посольстве состоялся бал, на котором присутствовала царская фамилия. Два дня спустя графиня на маскараде все у того же министра двора князя П. М. Волконского танцевала вместе с другими дамами кадриль в костюмах XVIII века. На следующий день, 9 февраля, К. Я. Булгаков сообщает брату: «Как тебе описать вчерашний праздник? Я право не знаю; но ты возьми «Тысячу и одну ночь», прочитай «la lampe merveilleuse» [2], и что там описано, так сказать, во сне, то мы видели у князя Волконского наяву» [3]. П. А. Вяземский пишет тому же адресату (А. Я. Булгакову) проще, но выразительнее: «Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный, томительный, продолжительный <...> Старофранцузский кадриль графини Фикельмон был также очень хорош, совершенно в духе того времени, и мог дать понятие, как деды влюблялись в наших бабушек с пудрою, мушками, фижмами и проч. Очень хороши были в этом кадриле сама графиня Долли и Толстая, фрейлина великой княгини. Бал продолжался до шестого часа <...>» [4].

Маскарады, где можно вволю посмеяться, пофлиртовать, поинтриговать знакомых и незнакомых, Долли Фикельмон особенно любила, как любили их и многие другие. Однако в «свете» все друг друга знали, постоянно встречались и, несмотря на всяческие ухищрения — измененные жесты, умение говорить не своим голосом, на что Дарья Федоровна была, видимо, большая мастерица, ее не раз узнавали, и светский маскарад сразу становился неинтересным. Хотелось чего-то нового.

Такой новостью явились собрания в «Филармоническом зале» дома Энгельгардта на Невском проспекте. Приятель Пушкина, бывший член общества «Зеленая лампа», близкого к декабристам, Василий Васильевич Энгельгардт приобрел это здание в 1828 году и после капитальной перестройки превратил бывший растреллиевский дворец в доходный дом. Отставной гвардии полковник оказался удачливым дельцом. В нижнем этаже его дома помещалось несколько магазинов, в

---

[1] Остафьевский архив кн. Вяземских, т. III, с. 219.

[2] Волшебную лампу *(франц.)*.

[3] «Русский архив», 1904, кн. I, с. 246.

[4] П. П. Вяземский. А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям.— «Русский архив», 1884, кн. I, с. 422.

следующих трех — дорогие квартиры, а в большом зале[1] и смежных апартаментах устраивались общественные балы, маскарады, концерты.

«Северная пчела» описывает первый такой маскарад 5 февраля 1830 года в выражениях весьма восторженных: «Вот храм вкуса, храм великолепия открыт для публики. Все, что выдумала роскошь, все, что изобрела утонченность общежития, соединилось здесь. Тысячи свеч горят в богатых бронзовых люстрах и отражаются в зеркалах, в мраморах и паркетах; отличная музыка гремит в обширных залах...»[2].

Обстановка, как мы видим, далеко не демократическая, но все же эти «народные» маскарады были доступны для каждого, кто мог заплатить за вход, и церемонностью не отличались. В то же время Долли записывает 13 февраля того же 1830 года: «Эти маскарады в моде, потому что там бывает император и великий князь, а дамы общества решились являться туда замаскированными».

Долли, видимо, увлекло это необычное развлечение. Первый ее опыт был, впрочем, неудачен. Явилась замаскированной в зал с матерью, сестрой Екатериной и Аннет Толстой, начала успешно интриговать, но императрица, сидевшая в ложе, послала за посольшей, царь привел к ней Долли под руку, и инкогнито было нарушено.

15 февраля опять запись о маскараде в доме Энгельгардта. Фикельмон поговорила, не будучи узнанной, с царем и с великим князем. Уверяет, что с ней, как с незнакомой, любезничал и собственный муж, но мы позволим себе в этом усомниться. Вероятно, граф Шарль-Луи просто хотел позабавить жену, прикинувшись введенным в заблуждение.

Хотя графине уже 25 лет, но молодости в ней еще много, очень много, и по-прежнему она склонна к довольно-таки озорным эскападам. 23 февраля того же года, встретившись со знакомой, которую не видела со времени своей свадьбы, посольша рассудительно записывает: «... я была такой юной, таким ребенком по уму, когда она меня знала, мои мысли так радикально изменились, что от прошлого у меня осталась только дружба, которую я питаю к людям».

Дарья Федоровна несомненно искренна, но также несомненно неправа. Изменилась она далеко не полностью — нас это интересует, чтобы выяснить, какова же в самом деле была графиня Фикельмон в пору ее знакомства с Пушкиным. 26 февраля (год все тот же) Долли и Екатерина Ти-

---

[1] В настоящее время — малый зал Филармонии. Хорошо известный ленинградцам бывший дом Энгельгардта (Невский, 30) сохранил, в общем, до наших дней тот же вид, который имел в 30-е годы XIX века.

[2] «Северная пчела», 1830, № 17, 8 февраля (цит. в кн.: «Пушкинский Петербург». Л., 1949, с. 266).

зенгаузен заехали к генеральше Екатерине Петровне Голенищевой-Кутузовой, чтобы переговорить с ее сыном Борисом. Молодому человеку захотелось прокатиться с ними в санях, но места не было. Тогда сестры предложили ему сопровождать их в качестве ливрейного лакея. Сын петербургского генерал-губернатора стал на запятки в ливрее, проехался по Английской набережной и Невскому проспекту, где прогуливались в это время люди «большого света». Инкогнито раскрыто не было. Никто не обратил внимания на лакея. По словам Долли, «к счастью, было очень холодно и каждый был занят больше самим собою, чем другими».

Под 14 февраля 1833 года мы читаем в дневнике Фикельмон такую запись: «Бал-маскарад в доме Энгельгардта (в который раз! — *Н. Р.*). Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом, и выбрала меня, чтобы ее сопровождать. Итак, я сначала побывала на балу с мамой, через час оттуда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца, которое мне указали. Там я переменила маскарадный костюм и снова уехала из дворца вместе с императрицей в наемных санях и под именем M-lle Тимашевой. Царица смеялась, как ребенок, а мне было страшно; я боялась всяких инцидентов. Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже — ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина — этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта M-lle Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокошкин не решался ни последовать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила. Он, действительно, был в такой тревоге, что жаль было на него смотреть. Наконец, в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама очень довольна, что освободилась от этой ответственности»[1].

Много еще было увеселений — санная поездка великосветской компании в знаменитый «Красный кабачок» (у Долли «Krasnoi kabak»), катание с русских ледяных гор (очень страшное для южанки Фикельмон), поездка на пироскафах в

---

[1] Перевод записи об этом приключении сделан с фотокопии, с. 144—146 2-й тетради дневника. В 1965 году я смог воспользоваться лишь неточным ее изложением в статье А. В. Флоровского.

Кронштадт — всего не перечислить, да и нельзя же без конца рассказывать об увеселениях... Были у графини Долли и другие интересы.

Музыку любила страстно.

Услышав снова в Вене свою любимую певицу-итальянку Паста, Долли замечает 6. III. 1829 г: «Слушать ее — это настоящее наслаждение, и я при этом убеждаюсь больше чем когда-либо в том, что существует прямая связь между музыкой и всем, что есть наиболее таинственного в душе; никто не может отрицать, что она вызывает какой-то трепет. У тех, которые не чувствуют и не понимают музыки, одной душевной способностью меньше»[1].

Дарья Федоровна музыку, несомненно, чувствовала и понимала. Соглашалась слушать даже посредственное исполнение любимых опер. Бывала Фикельмон и в концертах — в Петербург приезжали такие выдающиеся артисты того времени, как певицы Генриетта Зонтаг, Розальбина Карадори Аллен, знаменитый виолончелист Ромберг. Были и среди русских светских женщин отличные исполнительницы, например, певица фрейлина А. Н. Бороздина. Выдающейся пианисткой была сестра воспетой Некрасовым княгини Е. И. Трубецкой Зинаида Лебцельтерн. П. А. Вяземский слышал ее игру в салоне Е. М. Хитрово. 2. VII. 1832 г. он пишет жене: «Играет она прелестно, с искусством, выражением, вкусом, душою. Вот, Пашенька[2], так играй. Слушая, как она играет целые места из опер, точно кажется, что сидишь в оперном представлении»[3].

Музыкальные вечера бывали и в австрийском посольстве, но, по-видимому, Дарья Федоровна особенно ценила собрания в доме графа Михаила Юрьевича Виельгорского, композитора-любителя и мецената музыки[4]. В них участвовал и брат Виельгорского, известный виолончелист Матвей Юрьевич.

Русской музыкой графиня Фикельмон, по-видимому, не интересовалась. А. В. Флоровский, изучивший весь текст дневника, пишет: «Доносились ли до австрийской «посольши» и звуки русской песни? Не знаем. <...> Дневник за 1836 год, к сожалению, совершенно молчит о взволновавшей весь Петербург постановке «Жизни за царя» Глинки»[5].

Дарья Федоровна, несомненно, любила театр — во всех его видах — лишь бы он был хорошим. В дневнике упоми-

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 36.

[2] Дочь Вяземского Полина (Прасковья), которой в это время было пятнадцать лет.

[3] *Звенья*, IX, с. 406—407.

[4] О М. Ю. Виельгорском скажем подробнее в последнем очерке.

[5] *Флоровский Дневник Фикельмон*, с. 72. Напомним, что в 1836 году графиня была уже очень больна.

наний о театральных представлениях мало, но все же они есть. Очень часто супруги Фикельмон бывали, например, на спектаклях французского театра на Каменном Острове, но там, по словам Фикельмон, был скорее салон, чем театр. Зато впоследствии, живя за границей, Долли нередко сообщает сестре о своих впечатлениях от ряда больших артистов. Великая трагическая актриса Рашель, певица Полина Виардо, балерина Фанни Эльснер, знаменитый актер-негр Олдридж — всем им посвящены четкие, вдумчивые, порой любовные строки. Особенно увлекает Фикельмон прекрасная шведская певица Женни Линд, с которой она познакомилась в 1847 году, так же, как много раньше (в 1830 году) с Генриеттой Зонтаг, гастролировавшей тогда в Петербурге. «На днях она (Линд) у нас обедала <...> Она так же восхитительна вблизи, как и на сцене. Ничто не сравнится с ее манерой быть простой и скромной, с ее вдохновенным взором, когда она говорит о своем искусстве, с этой прирожденной чистотой, которая окутывает ее словно ореолом» [1].

Любовь к театру у Долли — лишь одно из проявлений ее глубокой любви ко всему прекрасному. Немолодую уже, болезненную женщину радостно волнуют и лунные ночи в Венеции, и дворец Лихтенштейнов, и картинные галереи Мюнхена и Дрездена, и голубые умные глаза Женни Линд.

А в петербургские годы она, хотя и не любит Севера, с восторгом пишет о красоте островов в весеннем уборе, о великолепии ночей над Невой... Тихая грусть чувствуется в ее описании тепличных цветов зимой: «В моей гостиной камелия в цвету, а на окне гиацинты и бедные тюльпаны, но у этих растений страдальческий, чахлый вид, и на них жалко смотреть» (14 декабря 1829 года).

Это искреннее и сильное чувство красоты и искание ее — одна из самых привлекательных душевных черт Долли.

По-видимому, она сама отлично рисовала. Данных о ее работах пока очень мало. Известно, что при первом же знакомстве с Александром I поднесла царю какие-то свои рисунки, которые он нашел «прелестными». А. В. Флоровский упоминает о том, что в дневнике Фикельмон имеются две зарисовки молодого персидского принца Хозрев-Мирзы, приезжавшего в Петербург принести извинения шаха за убийство Грибоедова (как известно, Пушкин упоминает о встрече с принцем в главе первой «Путешествия в Арзрум»).

В своей книге Н. Каухчишвили поместила фотокопии двух отлично нарисованных портретов (П. А. Вяземского и М. Ю. Виельгорского) с надписями, несомненно сделанными почерком Д. Ф. Фикельмон. Если это действительно ее работы,

---

[1] *Сони*, с. 108, запись 25 января 1847.

то, по мнению художников, которым я показал репродукции портретов, их автор обладал вполне профессиональным мастерством.

С юных лет Дарья Федоровна уделяла много времени чтению. Об ее интересе к историческим трудам мы уже говорили. Однако не меньше, если не больше, она любила художественную литературу. О том, что она читала до замужества, сведений нет, зато сохранился в ее бумагах ряд списков прочитанного в позднейшие годы и многочисленные выписки из самых разнообразных книг. По очень вероятному предположению Н. Каухчишвили, в первые годы после свадьбы граф Фикельмон руководил чтением юной жены. Судя по ее заметкам, Долли Фикельмон, в противоположность своему современнику Евгению Онегину, не читала ни Гомера, ни Феокрита, хотя последний, на мой взгляд, созвучен ее душевному строю, не читала, по крайней мере в юности, и глубокомысленного Адама Смита. Зато прочла много других книг, которые, можно поручиться, если и были известны кое-кому из ее русских ровесниц, то только понаслышке.

В неаполитанские годы она, по словам Н. Каухчишвили, «во-первых, посвящает свое внимание классикам, вероятно, по совету мужа, который считал необходимым для жены посла историко-политическую подготовку, и читает поэтому Саллюстия, Цицерона, Вергилия, некоторые работы об Оттоманской империи; из современных историков она предпочитает Тьера и Тьерри. Затем она дополняет свои литературные познания, читая знаменитых итальянских писателей: Данте, Петрарку, Полициано, Манцони; немецких — Гете, Шиллера, Виланда, Клопштока, Новалиса, Жан-Поля, Э.-Т.-А. Гофмана. Она, наоборот, упоминает лишь немногих английских писателей, среди которых фигурируют только Мильтон и Байрон, в то время как французские авторы представляют чрезвычайно обширную картину: Фенелон, Ларошфуко, M-me де Жанлис, Шатобриан, M-me де Сталь, Ламартин, Виктор Гюго, Бенжамен Констан, Ламеннэ, Монталамбер и некоторые второстепенные авторы».

В примечании Н. Каухчишвили упоминает, что этот список, несомненно, не полон. Однако, если бы Долли прочла лишь то, что перечислено в ее реестрах, пришлось бы сказать, что в нашу столицу Фикельмон поехала уже весьма начитанной в литературе главных европейских стран. С русскими писателями и в начале пребывания в Петербурге ей было о ком и о чем поговорить... за исключением только русской литературы, внучке Кутузова тогда, видимо, совершенно неизвестной.

Император Карл V как-то сказал, что, изучая новый язык, мы приобретаем и новую душу. Мне думается — не новую душу, а ключ к пониманию чужой психики. У Долли

была целая связка таких ключей. Пользоваться ими она умела. В ее писаниях мы находим немало верных и глубоких отзывов о прочитанном, многое из того, что нравилось когда-то Долли Фикельмон, выдержало испытание временем.

Читала она большею частью по-французски, но нередко, как мы уже видели, и на других доступных ей европейских языках — немецком, английском и итальянском.

Одно из писем А. И. Тургенева[1] позволяет думать, что Долли снабжала своих петербургских друзей французскими книгами, которые она, как жена посла, получала без цензуры.

Во время пребывания в Петербурге Дарья Федоровна, несомненно, прочла те произведения французских авторов, о которых Пушкин упоминает в письмах к ее матери,— стихотворения Сент-Бева и Виктора Гюго, знаменитую драму последнего — «Эрнани», постановка которой в Париже явилась окончательной победой романтической школы, а несколько позднее — не менее знаменитый «Собор Парижской богоматери». Очень внимательно отнеслась она к «Красному и черному» Стендаля. «Долли чувствует особое влечение к этому автору, который любит Италию больше всех других стран, и начинает в своей тетради заметки о Стендале эпиграфом «Увидеть Неаполь и после умереть»[2]. В 1831—1832 годах Долли прочла ряд романов Бальзака — «Деревенский врач», «Евгения Гранде», «Шагреневая кожа», «Сцены частной жизни». Тогда же, в 1832 году, ей очень понравился роман Альфонса Карра «Под липами», о котором с похвалой отозвался и Пушкин.

Все это, конечно, чтение весьма серьезное, но Дарья Федоровна не чуждалась и произведений чисто развлекательных, вроде Александра Дюма и даже Мариво.

Переписка с сестрой показывает, что и в немолодые годы Фикельмон следила за французской литературой внимательно, читала ее вдумчиво и любила побеседовать о своих впечатлениях. Из больших писателей она снова упоминает о Жорж Санд, Гюго, Бальзаке, Сент-Беве, Ламартине, Шатобриане. Интереснее всего ее, к сожалению немногочисленные, замечания о французских писателях. Они обнаруживают у нее верный и тонкий литературный вкус. В своих суждениях Фикельмон весьма независима. Несомненно любя писателей-романтиков и в частности Гюго, она, например, очень неодобрительно относится к его драмам. «Что ты скажешь о «Burgraves»? «Какая великолепная нелепость»,— говорит наш приятель Сюлливан. Но, кроме нескольких тирад, можно было бы сказать просто нелепость»,— пишет она сестре 14 мая 1843 года.

---

[1] Архив братьев Тургеневых, вып. VI, с. 139.

[2] *Дневник Фикельмон*, с. 61.

Очень меток ее отзыв о «Mémoires d'Outre-Tombe» («Замогильные записки») Шатобриана: «...есть там прелестные страницы, есть и интересные, но они тонут в океане тщеславия и непомерного самолюбия. Как жаль, что такой талант не сумел восторжествовать над самой жалкой мелочностью человеческого духа» [1].

Хотя Дарья Федоровна кроме французского знала еще три иностранных языка (английский, по-видимому, меньше других) и в ее неаполитанских реестрах значится целый ряд прочитанных ею немецких и итальянских авторов, в более поздние годы мы находим в ее дневнике и письмах лишь очень редкие упоминания о нефранцузских писателях. Останавливаться на них я не буду. Упомяну только, что в библиотеке Пушкина нашлась принадлежавшая графине французская книга о Байроне[2].

Дарью Федоровну, судя по отзывам друзей, можно было счесть за женщину хотя и деятельную, но очень мягкую, мечтательную и, вероятно, склонную поддаваться чужим влияниям.

На французского путешественника Луи Симона, видевшего Долли, когда ей было лет 14—15, она, как мы знаем, произвела впечатление образцово послушной, благонравной девочки-подростка. Совсем другой она представляется нам спустя три-четыре года, судя по письмам Александра I. Волевая, напористая, порой вежливо-бесцеремонная и во всяком случае ничуть не боящаяся самодержца всероссийского, которому она отважилась писать весьма сердитые письма... Чувствуется у нее еще и недостаток должной выдержки, которой жена посла впоследствии овладела в совершенстве.

Ее письма к мужу мы, к сожалению, знаем только по кратким выдержкам, приведенным Н. Каухчишвили. Поздние (1840—1854 гг.) письма к сестре, опубликованные Ф. де Сони, показывают, что, несмотря на свою несомненную доброту, Долли, безусловно, обладала твердым, очень самостоятельным характером и, по-видимому, немалым личным мужеством. Внучка Кутузова сама сознает, что воля у нее есть, и очень ценит это качество в других.

Сама она, насколько можно судить по живым и очень интересным описаниям революционных дней в Венеции и Вене, в трудные минуты держалась спокойно и мужественно. Не страшила ее и мысль о возможности лишиться всего,

---

[1] *Сони*, с. 241.

[2] Marquis de Salvo. Lord Byron en Italie et en Grèce (Маркиз де Сальво. Лорд Байрон в Италии и Греции). Londres, 1825.— В кн.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910, с. 329—330.

если революция победит: «Я заранее приучаю себя к этой мысли, и если когда-нибудь придется потерять все, кроме чести, я, по крайней мере, скажу это весело, и убежденность будет моим счастьем» (18 мая 1848 года).

Казалось бы, что в Петербурге Дарья Федоровна могла быть довольна и своей судьбой и тем светским обществом, в котором она занимала такое блестящее положение. Молода, прекрасна собой. У нее любимая мать и любящий, заботливый муж. Он не богат, но по должности посла получает огромное содержание. Врагов у Долли, кажется, нет, друзей много.

В петербургском дневнике графиня Фикельмон действительно не раз говорит о том, что она счастлива.

В начале первой зимы, проведенной в Петербурге, записывает: «Влияние севера на настроение человека должно быть очень сильным, потому что посреди такого счастливого существования, как мое, я испытываю постоянную потребность бороться со своей грустью и меланхолией» (1 декабря 1829 года). Но в эту же зиму молодую мать трогательно радуют «светские успехи» совсем еще маленькой дочери: «Я еще очень глупа, когда вожу ее в гости, это так меня волнует и умиляет, что я сама не знаю, что делаю. Быть может, я привыкну к этому удовольствию» (6 февраля 1830 года). Через несколько месяцев она отмечает: «Годовщина моей свадьбы: девять лет постоянного счастья, без единого мучительного дня, без единого облака, в самом совершенном согласии. Действительно, это больше, чем многие женщины могли бы насчитать, соединяя вместе счастливые дни всей своей жизни <...> Меня печалит лишь одно обстоятельство, так как я убеждена, что Фикельмон не так совершенно счастлив, как я,— трудно, чтобы два существа одновременно испытывали в такой мере чувство блаженства и уюта» (22 мая — 3 июня 1830 года).

Приведем еще одну запись накануне наступления 1831 года: «... У счастливых сжимается сердце, они боятся, что счастье не продолжится, и в то же время у них глубокое чувство благодарности! Я принадлежу к этой категории, и мы с Фикельмоном сказали друг другу одно и то же: нам нечего желать, нечего просить для себя, кроме продолжения блага, которое нам ниспослал бог. Вот, однако, двое счастливцев посреди светского вихря!» (2 февраля 1831 года)[1].

Итак, в семейной жизни Долли до конца счастлива или, по крайней мере, старается себя убедить в этом. И только

---

[1] Вопреки первоначальному намерению Долли не делать из своего дневника сборника рассуждений, мы встречаем их на страницах дневника довольно часто.

ли себя — ведь дневник она оставила дочери... Чем больше в него вчитываешься, тем яснее чувствуешь, что это не «Journal intime», как говорят фарнцузы, а длинный ряд большею частью искренних, но всегда хорошо обдуманных записей. Калитку в свой духовный сад Долли Фикельмон только притворяет.

Отношение к окружающему светскому обществу... Конечно, жена посла умела быть любезной и обходительной со всеми, с кем ей приходилось встречаться, независимо от того, нравились ей эти люди или нет. Привыкла держать себя соответствующим образом почти с детства. Можно сказать с уверенностью, что графу Фикельмону никогда не приходилось краснеть за жену.

Светскую жизнь она, несомненно, любила, но в то же время порой ясно чувствовала пустоту «тревоги пестрой и бесплодной». В такие дни хотелось ей чего-то иного...

Вернувшись с полюбившейся ей Черной Речки в город, Долли пишет 11 сентября 1830 года: «Я жалею о более независимой, более спокойной жизни на даче; здесь светские обязанности возобновляются в полной мере. Не понимаю, почему бог сделал меня посольшей, я действительно не была рождена для этого».

В следующем году по тому же самому поводу Фикельмон пишет, вспоминая о даче: «Я виделась почти исключительно с людьми, которых мне хотелось видеть, и не выходила из своей гостиной. Здесь (в Петербурге.— *Н. Р.*) все принимает более чопорные формы <...>» (14 сентября 1831 года).

По мнению Н. Каухчишвили, которое кажется мне совершенно справедливым, «муж понимал, что жена предпочитает спокойную жизнь, и писал ей в 1834 году из Москвы в слегка ироническом тоне: «Я вижу тебя в твоем кабинете, одетой в кацавейку («katzaveika»), бранящей погоду и все же опечаленной возвращением в город, где ты почти что перестанешь гулять»[1].

Да, немало двойственности было в натуре Долли... Двойственным было и ее отношение к светскому обществу. Пока не задумывалась над тем, что делает, она спокойно и весело блистала в гостиных и бальных залах Флоренции, Неаполя, Петербурга, Вены. Но задумывалась, по-видимому, нередко, и тогда на бумагу ложились грустные, а порой и гневные строки.

12 декабря 1831 года двадцатисемилетняя «посольша» пишет П. А. Вяземскому: «Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, ко-

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 29.

торое называется обществом! Как Адольф (ваш приемыш)[1] прав, когда он говорит, что «обществу нечего нас опасаться: оно так тяготеет над нами, его глухое влияние так могуче, что оно немедленно перерабатывает нас в общую форму».

В своем письме Фикельмон почти точно процитировала соответствующие фразы Бенжамена Констана. Французский подлинник, несомненно, был у нее перед глазами. Однако взгляды Адольфа, которые она полностью разделяет, не были для нее новыми*. Еще в тетради с записями 1822—1825 гг.[2] она, комментируя мысли François de Sales[3] (1567—1622), пишет: «...так быстро и так легко теряется привычка к ней (светской жизни.— *Н. Р.*), что одно это доказывает уже, насколько гомон большого света, вихрь обязанностей, которые не дают никакого удовлетворения,— насколько они противоречат, по существу, природе человека. Мы нуждаемся, без сомнения, в обществе <...> Но общество могло бы быть таким простым, можно было бы дать имя простым привычкам, кругу подходящих к вам людей; но у нас так сильно тяготение к р а б с т в у (несмотря на все, что об этом говорят), что мы его ищем повсюду!»

Так думала юная Долли, и тридцать лет спустя, 22 марта 1851 года уже начинающая стареть Дарья Федоровна (ей 47 лет) пишет сестре почти то же самое, что в свое время Вяземскому:

«Свет, надо сказать, это соединение низостей и моральных ничтожеств, к которому проникаешься глубоким отвращением по мере того как становишься старше. Сама тогда удивляешься всем жертвам, которые еще ему приносишь».

Нет, эти мысли о светском обществе — не случайное настроение и не дань романтической литературе, которую Долли Фикельмон усердно читала.

Мы видели, что графиня Фикельмон разделяла многие мнения, убеждения и предубеждения окружавшей ее великосветской среды, но в ней она все-таки не растворилась, будучи духовно значительным человеком. Со многими светскими людьми ей, вероятно, было тоскливо — по крайней мере, при долгом общении, однако она, несомненно, любила свой уютный петербургский салон, где собирались главным образом те, кого она в самом деле хотела видеть.

---

[1] Герой одноименного романа Бенжамена Констана, переведенного Вяземским. Письмо до сих пор было известно только в переводе его сына Павла Петровича. Проверив перевод данного места по фотокопии подлинника, я сохранил его без изменений как достаточно точный.

[2] *Дневник Фикельмон*, с. 22.

[3] Французский епископ, проповедник.

И еще одна мысль рождается, когда перечитываешь ее письма и дневники. Была, видимо, у Долли какая-то чисто личная душевная трещина — одним недовольством обществом ее приступы грусти, мне думается, объяснить нельзя...[1]

Но кто же, в конце концов, эта внучка Кутузова, приятельница Пушкина, австрийская подданная, влюбленная в Италию,— русская или иностранка?

Ответить на этот вопрос не очень легко. Мы уже знаем, что, живя долгое время в Италии, Фикельмон забыла русский язык. Приехав в 1829 году в Петербург, посольша, по крайней мере первое время, говорить по-русски не могла. Даже митрополиту Филарету, который, по желанию матери, стал ее духовным наставником, она отвечала по-французски на его русские вопросы и поучения. Друг друга собеседники, очевидно, понимали (запись 15. X. 1829). Мы знаем также, что в 1830 году известный литератор О. М. Сомов давал графу и графине уроки русского языка.

На Россию Дарья Федоровна тогда, несомненно, смотрела глазами вдумчивой иностранки. О петербургской публике (не о «простом народе» — его туда не допускали), которую она наблюдала в загородных парках, графиня писала: «У толпы всегда такой вид, точно она развлекается не по собственному желанию, а по приказанию или по обязанности» (29 августа 1832 года). Не нравилось ей и времяпрепровождение русского светского общества. Терпеть не могла столь любимых тогда карт, которые «здесь лишают общество движения и веселья». Огорчала ее пустота светских женщин, «созданий из газа, цветов и лент». Скучными и всегда боящимися казались ей русские девицы: «Похоже на то, что они считают беседу светским грехом, так как в этом отношении строгость у них поучительная, что придает гостиным печальный и совершенно бесцветный оттенок» (21 июля 1832 года)[2].

Добавим от себя: все в николаевском Петербурге иначе, чем в милой сердцу Долли Фикельмон Италии, хотя светской пустоты и там, конечно, было немало.

---

[1] Н. Каухчишвили не согласна с моим предположением о наличии у Фикельмон некой «душевной трещины» (автор называет ее «душевным диссонансом»). По ее мнению, приступы тоски у Долли объясняются прежде всего ее болезненным состоянием, которое делало для нее порой мучительным исполнение светских обязанностей *(Дневник*, с. 28—29). Однако нервное заболевание Дарьи Федоровны развилось значительно позднее — в дневниках 1829—1831 гг. она лишь изредка упоминает о головных болях и с увлечением рассказывает, например, об общественных маскарадах в доме Энгельгардта, на которые она совершенно не обязана была ездить.

Таким образом, на мой взгляд, причину ее душевного состояния в эти годы надо искать в чем-то другом.

[2] *Флоровский. Дневник Фикельмон*, с. 69.

Есть в дневнике Фикельмон и более глубокие замечания о русском «большом свете» тридцатых годов. Несмотря на свои монархические убеждения и личную близость с царской семьей, графиня и о ней порой отзывается довольно резко. Побывав на одном из царских балов, она пишет о том, что всюду были цветы, но и они казались ей ненастоящими, и все там ненастоящее (31 января 1832 года).

В данном случае согласимся с Долли,— почти не зная России, наблюдательная женщина умела порой видеть то, чего не замечали вполне русские гости царя.

Будучи дипломатически неприкосновенной, она могла безбоязненно записывать в свои петербургские тетради все, что хотела. Но нет в ее дневнике ни слова о том, чего она не могла не знать,— о забивании людей насмерть шпицрутенами, о торговле крепостными, о многих других ужасах николаевской России, которых на Западе все же давно не было. Эти русские дела, видимо, оставались вне круга непосредственных наблюдений Дарьи Федоровны. Ничего она не говорит и о декабристах, хотя была знакома со многими родственниками и друзьями сибирских узников.

Несмотря на постоянное общение в Петербурге с нашими писателями, ни в дневнике, ни в письмах упоминаний о русской литературе почти нет. Можно только предполагать, что Фикельмон все же прочла «Клеветникам России», «Бородинскую годовщину», уже упомянутое письмо Чаадаева[1] и какую-то, видимо, русскую, биографию Кутузова. О русской музыке, как я уже упоминал, у нее нет ни слова.

Итак, почти иностранка, весьма равнодушная к русским делам?

Нельзя прежде всего забывать, что до самой смерти матери она почти все время жила вместе с ней, а Елизавета Михайловна, как мы знаем, любила родину горячо. Несомненным русофилом был и муж графини. Можно думать, что и годы, проведенные в Петербурге, все же заставили ее в какой-то мере снова обрусеть.

Из дневника и других источников мы узнаем, например, что в течение ряда лет она вместе с матерью бывала в русском театре и восхищалась игрой знаменитого Каратыгина в ролях Ермака (1829) и Отелло (1836). Отмечает Фикельмон и открытие Александринского театра в 1832 году. О «Жизни за царя» («Иване Сусанине»), поставленной в 1836 году, она не упоминает, но за этот особенно интересный для нас год, когда началась последняя драма Пушкина, записей в дневнике из-за болезни графини, к сожалению, вообще почти нет.

[1] Возможно, впрочем, что графиня прочла только опубликованный ранее французский текст письма, если это издание действительно состоялось.

Дарья Федоровна внимательно читает сочинения иностранцев о России и принимает близко к сердцу их зачастую легкомысленные и лживые повествования: «... они возбуждают во мне бешенство против тех, которые их пишут, не потрудившись даже собрать сведений» (15 декабря 1840 года) [1]. Книгу Кюстина «Россия в 1839 году» супруги Фикельмон читают «с удивлением и сожалением». По мнению Д. Ф. Фикельмон, «невозможно в одной книге вместить столько желчи и горечи». Однако этого автора легкомысленным она не считает: «...он строг, часто несправедлив, склонен к преувеличению, непоследователен и недоброжелателен, но правда там есть» (28. VI, 1843) [2]. Надо сказать, что это, несомненно, собственные мысли Дарьи Федоровны — отзыв ее мужа о книге французского аристократа, как мы знаем, гораздо резче, хотя и он не отвергает ее целиком.

В русско-турецкую кампанию 1829 года наши боевые успехи — взятие Эрзерума и Адрианополя, подписание там победоносного мира радовали Долли во всяком случае не как иностранку. Яснее же всего ее русские чувства проявились в 50-е годы, во время Восточной войны и Крымской кампании, хотя Дарья Федоровна уже давно и окончательно обосновалась за границей. Узнав об объявлении войны Турции, она пишет сестре: «...русская часть моего полурусского, полуавстрийского сердца в волнении», и позже: «Мы узнали о победе русского флота при Синопе, поздравляю тебя и не могу тебе сказать, какую радость доставила мне эта новость». Крайне враждебная позиция Австрии по отношению к России во время Восточной войны и Крымской кампании заставляют ее скорбеть: «...когда у тебя два отечества, их любишь, как отца и мать, и глубоко огорчаешься, если они не могут действовать вместе». За ходом войны Фикельмон следит очень внимательно, постоянно смотрит на карту. Приготовления союзников ее глубоко волнуют. «Русская половина сердца» все больше и больше дает себя знать. «Я читаю с ужасом и в то же время и с интересом о громадных приготовлениях Англии и Франции, и этот колоссальный флот для Балтийского моря стал моим кошмаром. Я уже боюсь за мой бедный Ревель».

Неудачи русских глубоко огорчают Дарью Федоровну. В одном из последних известных нам писем 1854 года мы уже ясно слышим голос русской патриотки, внучки Кутузова: «Третьего дня мы получили ложное известие о взятии Севастополя и были от него больны, но вчера известие было опровергнуто. Все мои мысли с вами с тех пор, как враг на русской земле» (5 октября 1854 года).

---

[1] *Сони*, с. 11.

[2] Там же, с. 50.

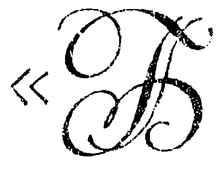
Пусть читатель сам решит, можно ли считать графиню Фикельмон иностранкой...

И, думаю, он согласится со мной, что среди множества женщин, которых знал Пушкин, она была одной из самых незаурядных.

Сложна и полна противоречий ее натура. Она добра, но способна остро ненавидеть тех, кого считает врагами. Она умеет наблюдать, но порой не замечает того, что видят люди гораздо менее наблюдательные. Дама «большого света» вдруг начинает грустно и гневно бранить то общество, в котором ее положение так блестяще. Все у нее, кажется, есть,— большего желать нечего, но недовольна она, мечется, не находит себе покоя... Тесно ей в великосветской оранжерее, в которую Дарья Федоровна сама себя заперла.



ПЕРЕПИСКА ДРУЗЕЙ

оюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге. Говорят, что у Канкрина ты при особых поручениях и настоящая твоя служба при ней»,— писал Пушкин 2 мая 1830 года своему другу П. А. Вяземскому.

Долли Фикельмон была приятельницей обоих поэтов. Ее отношениям с Пушкиным посвящен следующий очерк.

Чтобы жизнеописание Пушкина было как можно полнее, в некоторых случаях небезынтересно выяснить и то, как его друзья относились друг к другу. Я думаю, что, в частности, это можно сказать о Долли и князе Вяземском.

Петр Андреевич Вяземский — большой талантливый поэт, литератор и мемуарист. Облик Дарьи Федоровны Фикельмон до конца еще не ясен, но несомненно одно — она была женщиной во многих отношениях незаурядной.

О взаимоотношениях Вяземского и Долли известно немало — частые упоминания о Фикельмон мы встречаем в письмах Петра Андреевича; есть они в его переписке с А. И. Тургеневым, в «Старой записной книжке»[1]. Многократно перепечатывалось блестящее описание петербургского салона Фикельмон-Хитрово, данное в свое время Вяземским[2].

В свою очередь, отзывы Долли о ее приятеле имеются в отрывках из дневника, опубликованных А. В. Флоровским, к сожалению, в труднодоступном для советских читателей ежегоднике[3].

В книге итальянской исследовательницы Н. Каухчишви-

---

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., тт. VIII (1833), IX (1884), X (1886); П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963.

[2] «Русский архив», 1877, кн. I, с. 513.

[3] *Дневник Фикельмон*, с. 62—70.

ли, которую я уже неоднократно цитировал, помимо почти полного текста дневника Д. Ф. Фикельмон за 1829—1831 годы имеется специальная глава, посвященная ее отношениям с П. А. Вяземским.

Непосредственные эпистолярные беседы Фикельмон и Вяземского до сих пор были известны очень мало. Более восьмидесяти лет назад сын Вяземского, Павел Петрович, опубликовал в своей большой работе о Пушкине[1] отрывки из двух писем Долли к своему отцу, в которых упоминалось о поэте. Эти переведенные с французского тексты уже десятки лет цитируются во всех биографиях поэта, но, насколько мне известно, за исключением одного вновь опубликованного письма[2] переводы не были сверены с подлинниками. Не были изучены и другие письма графини к Вяземскому, хранившиеся в Остафьевском архиве, который включен в настоящее время в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ).

Что касается писем П. А. Вяземского к Долли, то в отечественных источниках они не публиковались. Имелось лишь в сочинениях Петра Андреевича несколько упоминаний об отсылке его писем Фикельмон[3].

В 1961 году Сильвия Островская (Sylvie Ostrovská) опубликовала в чешском переводе несколько выдержек из обнаруженных ею в архиве Фикельмонов французских писем Вяземского к Дарье Федоровне[4]. Находка была упомянута в советской печати, но дальнейшего освещения не получила.

В настоящее время малоизвестную «переписку друзей» можно значительно пополнить. Из ЦГАЛИ я получил отличные фотокопии всех хранящихся там писем Д. Ф. Фикельмон и ее родных к П. А. Вяземскому. Я смог таким образом ознакомиться со следующими эпистолярными документами:

1. Писем графини Д. Ф. Фикельмон к князю П. А. Вяземскому 14
2. Ее записок к нему же 67
3. Письмо и записка графини Д. Ф. Фикельмон к княгине В. Ф. Вяземской 2

---

[1] П. П. Вяземский. А. С. Пушкин (1815—1837). По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям.— «Русский архив», 1884, кн. II, с. 375—440.

[2] 13 октября 1831 года из Петербурга («Литературное наследство», кн. 58, с. 106).

[3] Например, писем от 23 октября и 25 декабря 1830 года из Остафьева (П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963, с. 200, 211).

[4] Sylvie Ostrovská. Dopisy V. A. Žukovského a P. A. Vjiazemského v Čechách (Z pozustalosti Dariji Ficquelmontové a K. L. Ficquelmonta v děčinském archivu) (Сильвия Островская. Письма В. А. Жуковского и П. А. Вяземского в Чехии.— Из материалов Дарьи Фикельмон и К. Л. Фикельмона в архиве г. Дечина).— «Československá rusistika», 1961, № 1. с. 162—167 *(чешск.)*.

4. Записка графини Д. Ф. Фикельмон к ее матери Е. М. Хитрово 1

5. Писем Е. М. Хитрово к князю П. А. Вяземскому 2

6. Писем графа Ш.-Л. Фикельмона к князю П. А. Вяземскому 5

7. Записка графини Е. Ф. Тизенгаузен к князю П. А. Вяземскому 1

Всего 92 отправления.

Кроме того, к одной из записок графини приложен подробный план романа (canevas d'un roman), который Д. Ф. Фикельмон составила для Вяземского. Все отправления на французском языке.

Судя по тому, что наряду с длинными содержательными письмами Долли сохранились и совершенно незначительные ее записки из нескольких слов, можно думать, что Вяземский сберег решительно все, что когда-либо ему написала Долли Фикельмон.

Благодаря любезному содействию Сильвии Островской я получил из Государственного архивного управления Чехословакии хороший микрофильм шести писем Вяземского, хранящихся в Дечине. Все они относятся к 1830—1831 гг.[1]. Эти письма, несомненно, составляют лишь часть переписки Вяземского с Долли. В ее ответах упоминается о ряде писем князя, которые остаются неизвестными[2]. На некоторые из записок Дарьи Федоровны Вяземский, несомненно, также отвечал, но этих отправлений мы не знаем.

Полученные мною из ЧССР материалы заслуживали бы, как мне думается, научного издания с приведением французского текста писем и соответствующими комментариями.

Н. Каухчишвили в своей книге опубликовала полностью французский текст 9 писем Д. Ф. Фикельмон к Вяземскому, хранящихся в ЦГАЛИ, и 6 писем князя из архива Дечина. В обширной вводной статье «Дарья Федоровна Фикельмон-Тизенгаузен» на итальянском языке исследовательница подробно прокомментировала многие отрывки из писем.

Я сверил установленную мною по фотокопиям транскрипцию писем с текстом Каухчишвили. Расхождений почти не оказалось, так как почерки обоих корреспондентов (в особенности Вяземского) при наличии некоторого навыка читаются легко.

[1] Оригинал микрофильма передан в Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

[2] Часть архива Фикельмонов, несомненно, была куда-то вывезена из Теплицкого замка в конце войны. По словам кн. К. К. Шварценберга, там хранились, например, оригиналы писем графа и графини Фикельмон к Е. Ф. Тизенгаузен, в свое время опубликованные графом де Сони. В фонды дечинского архива они не поступали.

Многочисленные записки Д. Фикельмон, а также письма ее мужа, матери и сестры исследовательница не изучала. Зато в своей вводной статье она широко использовала источник, до сего времени остававшийся совершенно неизвестным в печати,— переписку супругов Фикельмон, хранящуюся в Дечине[1], и отчасти — донесения графа Шарля-Луи канцлеру Меттерниху.

В этом очерке я могу привести лишь ряд отрывков из писем Фикельмон и Вяземского с самыми необходимыми пояснениями.

Из двух главных участников «переписки друзей» Долли я охарактеризовал в предыдущем очерке.

Нет, конечно, необходимости пересказывать здесь историю долгой жизни Петра Андреевича Вяземского (1792—1878). Сейчас нас интересует главным образом его духовный облик в те годы, когда Вяземский одновременно знал Пушкина и Долли Фикельмон, то есть в 1829—1837 годах.

Потомок удельных князей, «рюрикович», он родился в богатой помещичьей семье, но еще в ранней молодости сильно расстроил свое состояние благодаря большим карточным проигрышам. У него тем не менее оставалось подмосковное имение Остафьево с прекрасным особняком, который сохранился до наших дней, и суконная фабрика, ранее убыточная, но в начале тридцатых годов XIX века уже дававшая доход. Было у него имение и в Саратовской губернии, был в Москве дом в Большом Чернышевском переулке.

Тем не менее в эти же годы, по существу, семья Вяземских с трудом сводила концы с концами. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть, например, письмо Петра Андреевича к жене из Петербурга от 8 мая 1830 года, где сообщение о затрате 800 рублей на карету соседствует с просьбой пересмотреть «все летние панталоны», чтобы выбрать те, «которые могут быть представительны»[2]. Средств у Вяземского было, конечно, много больше, чем у Пушкина, но обоим поэтам приходилось жить не по средствам...

Девятнадцати лет Петр Андреевич женился на красивой и умной княжне Вере Федоровне Гагариной, которая была на два года старше его. Несмотря на свои многочисленные увлечения Вяземский дружно прожил с ней всю свою долгую и нелегкую жизнь[3].

---

[1] Эти письма были, правда, просмотрены А. В. Флоровским и Сильвией Островской, но остались неопубликованными.

[2] *Звенья,* VI, с. 248—249.

[3] П. А. Вяземский дожил до 86 лет, его жена (1790—1886), родившаяся при Екатерине II, умерла при Александре III, не дожив четырех лет до ста.

Еще до начала переписки с Д. Ф. Фикельмон Петра Андреевича и его жену постиг ряд семейных несчастий. Одного за другим они потеряли четверых сыновей — Андрея и Дмитрия в очень раннем возрасте; в 1825 году скончался на седьмом году Николай, в начале следующего года умер трехлетний Петр. 10 мая 1826 года Вяземский писал Пушкину: «...Потом мы опять имели несчастие лишиться сына трехлетнего. Из пяти сыновей остается один. Тут замолчишь поневоле» [1].

Те же несчастья продолжались и позже, как при жизни Пушкина, так и после его смерти. В 1835 году скончалась в Риме от чахотки семнадцатилетняя Полина (Прасковья) — Пашенька Вяземская [2]. В 1840 году умерла от той же болезни ее восемнадцатилетняя сестра Надежда. Мария Петровна Вяземская, в замужестве Валуева (1813—1849) тоже прожила всего 36 лет (умерла от холеры). Из восьми детей только один Павел Петрович (1820—1888) пережил отца.

Фикельмон, надо сказать, ближе всего знала Вяземского в тот период его жизни, когда горе, вызванное смертями младших детей, видимо, уже утихло (он очень редко упоминает о них в письмах к жене), а здоровье Полины и Надежды еще не вызывало серьезных опасений. Жизнерадостный от природы Вяземский, как мы увидим, казался порой друзьям-женщинам значительно моложе своих уже не очень молодых лет — не забудем, что он был на семь лет старше Пушкина.

Долли Фикельмон познакомилась с Вяземским в трудное для него время, трудное во многих отношениях. О постоянных материальных затруднениях семьи я уже упоминал, но у Петра Андреевича были тогда и другие тяготы — более глубокие и морально тяжелые...

В молодости его политические убеждения были чрезвычайно радикальными. Хотя широко известный рассказ о том, что вечером 14 декабря 1825 года Вяземский встретился с Пущиным и принял от него на сохранение портфель с политически опасными бумагами, оказался легендой, но близость Петра Андреевича к декабристам не подлежит сомнению. Н. Кутанов (С. Н. Дурылин) не без основания назвал его «декабристом без декабря» [3].

Надо, однако, сказать, что еще задолго до 1825 года резко оппозиционные настроения, которые привели его друзей на Сенатскую площадь, у Вяземского приняли другую форму.

---

[1] *Акад.*, XIII, с. 276.

[2] Н. Каухчишвили опубликовала в своей книге «L'Italia nella vita e nell'opera di P. A. Vjazemskij» («Италия в жизни и творчестве П. А. Вяземского») (Milano, 1964) ряд русских писем Вяземского к сыну Павлу, в которых подробно описывается болезнь и смерть Полины Петровны.

[3] Николай Кутанов. Декабрист без декабря.— В кн.: «Декабристы и их время», т. II. М., 1932, с. 201—290.

Его близость к декабристам была скорее личной, чем политической. В русскую революцию он не верил и от участия в конспиративных организациях отказался,— отказался не из-за трусости — доброволец Отечественной войны, участник Бородинского боя, Петр Андреевич был человеком большого гражданского мужества.

Для его отношения к революции характерно письмо Вяземского к Н. И. Тургеневу от 27 марта 1820 года: «Я за Гишпанию рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы соблазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы в грех кого-нибудь из наших. У нас, что ни затей без содействия самой власти,— все будет Пугачевщина»[1].

Однако, отвергая революционный путь преобразования российской действительности, Вяземский в то же время искренне ненавидел отечественную реакцию. В конце царствования Александра I, потеряв веру в мнимоконституционные намерения царя, он резко разошелся с правительственными кругами. Его пребывание в Варшаве, где Вяземский с 1817 года состоял на службе при императорском комиссаре Н. Н. Новосильцеве, было признано нежелательным. В апреле 1821 года Новосильцев сообщил своему подчиненному, что по приказанию царя ему воспрещается вернуться к месту службы. Оскорбленный этим, Вяземский подал прошение об отставке из камер-юнкеров. В июле того же года он был вовсе уволен от службы и поселился в Москве. Прямым преследованиям он не подвергался, но Александр I, а затем и Николай I не сомневались в антиправительственном образе мыслей опального князя. Николай I сказал по поводу неучастия Вяземского в декабрьском восстании, что «отсутствие имени его в этом деле доказывает, что он был умнее и осторожнее других».

Опальное положение Вяземского продолжалось целых девять лет. В 1828 году оно осложнилось клеветническим доносом на якобы непристойное поведение Петра Андреевича. От имени царя московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну было приказано: «...внушить князю Вяземскому, что правительство оставляет собственно поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни»[2].

Это «высочайшее» оскорбление было тем более обидным, что непосредственным поводом к нему послужил донос о том, что Вяземский намерен издавать под чужим именем некую

---

[1] Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов.— «Ученые записки Тартуского университета», вып. 98-й. Тарту, 1960, с. 75.

[2] П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963, с. 311.

«Утреннюю газету», о которой он не имел никакого понятия [1].

Петр Андреевич воспринял официальное бесчестие болезненно. В письме к Д. В. Голицыну он заявил: «...если я не добьюсь почетного оправдания <...> мне останется лишь покинуть родину с риском скомпрометировать этим поступком будущее моих друзей» [2]. По-видимому, Вяземский собирался покинуть Россию легально. Его мать была ирландкой, и он обратился с просьбой к жившему в это время за границей А. И. Тургеневу разузнать о своих ирландских родственниках.

Однако от мысли об эмиграции Вяземский, по всему судя, вскоре отказался. У него была семья и хронически не хватало денег. Кроме того, убежденный враг реакции, оппозиционер по натуре, он, употребляя английское парламентское выражение, принадлежал к «оппозиции его величества». Как мы видели, в русскую революцию он не верил, крестьянского бунта боялся.

Скрепя сердце Вяземский пошел по пути примирения с царем и правительством — считал, что иного выхода у него нет.

В течение декабря 1828 года — января 1829 года он составил свою «Исповедь» — обширный документ, который впоследствии Вяземский назвал в печати «Записка о князе Вяземском, им самим составленная». Написана она с большим достоинством, но все же эта записка являлась тягостным для автора актом раскаяния в некоторых своих ошибках.

«Исповедь» была в феврале 1829 года отослана Жуковскому в Петербург и через Бенкендорфа представлена Николаю I. Первоначально она не удовлетворила царя. От Вяземского потребовали еще извиниться перед великим князем Константином Павловичем, к которому он в свое время в Варшаве якобы отнесся без должного уважения. Пришлось пойти и на это...

Больше года тянулась тяжелая и обидная для Петра Андреевича волокита. Наконец 18 апреля 1830 года по повелению Николая I он был назначен чиновником по особым поручениям при министре финансов Канкрине, хотя сам выражал желание служить по министерству народного просвещения. Через год (5 августа 1831 года) Вяземский получил звание камергера двора его величества, а 21 октября 1832 года был назначен вице-директором департамента внешней торговли. Царь, по-видимому, был доволен тем, что на строптивого рюриковича удалось надеть прочный государственный хомут.

Я остановился подробнее на этом морально тяжелом для Вяземского переходном периоде, так как он совпал с началом его знакомства с Долли Фикельмон.

---

[1] П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848, М., 1963, с. 310—312.

[2] Там же, с. 315.

Петр Андреевич приехал устраивать свои дела в Петербург 28 февраля 1830 года. Его семья более года по-прежнему оставалась в Москве. 14 марта у своей приятельницы Елизаветы Михайловны Хитрово он впервые встретился с ее дочерью. В ближайшие дни Вяземский, несомненно, побывал, как это было принято, с визитом в австрийском посольстве, а 27 марта он уже пишет жене: «Я сегодня обедал с нею [Е. М. Хитрово] у Фикельмон, которые мне очень нравятся. Муж и жена учтивы, ласковы до крайности, и дом их по мне здесь наиприятнейший»[1].

Спустя шесть недель Вяземский, по всему судя, уже близкий знакомый Долли. 26 апреля, упомянув о том, что Е. М. Хитрово, «предобрая и превнимательная, ссужает меня книгами и газетами и всегда рада оказать услугу»,— он продолжает: «То же и посланница, с которою мне ловко и коротко, как будто мы век вековали вместе. Вообще петербургские дамы так холодны, так чопорны, что, право, не нарадуешься, когда найдешь на них непохожих. А к тому же посланница и красавица и одна из царствующих дам в здешнем обществе и по моде, и по месту, и по дому, следовательно, простодушие ее еще более имеет цены»[2].

Итак, наблюдательный Вяземский быстро заметил, что «посланница» во многом отличается от петербургских дам, отличается в выгодную сторону. Думаю, однако, что он ошибался, приписывая Долли «простодушие», которого у этой духовно сложной женщины не было. Было не «простодушие», а великолепная простота, которая далеко не всем дается...

В 1830 году Вяземский вел дневник, который начинается 26 мая[3]. Из него мы видим, что в июне[4] Петр Андреевич был частым гостем семьи Фикельмон-Хитрово. В дневнике отмечено за месяц шесть посещений, но из позднейшей переписки Вяземского с Дарьей Федоровной явствует, что до отъезда в Москву он был неизменным гостем Фикельмонов во все их приемные дни — три раза в неделю.

Посмотрим теперь, что говорит в начале знакомства с Вяземским сама Фикельмон в своем дневнике, выдержки из которого были опубликованы А. В. Флоровским, а почти полный текст записей 1829—1831 гг.— Ниной Каухчишвили.

18 марта 1830 года Дарья Федоровна записывает: «Познакомилась с князем Вяземским — он поэт, светский человек, волокита (homme à bonnes fortunes), некрасивый, остроумный

---

[1] *Звенья,* VI, с. 220.

[2] Там же, с. 242.

[3] П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963, с. 168—211.

[4] Около 15 июля Вяземский уехал в Ревель.

и любезный». 29 марта она снова отмечает, что «князь Вяземский, которого я теперь часто вижу, очень любезен; он говорит умно, приятно и легко, но он так некрасив». 30 апреля Долли записывает: «Мы продолжаем часто видеть князя Вяземского, знакомство с ним очень приятно, так как он умный (и образованный) человек (без всякого педантизма и писательских претензий)» [1].

В одном из писем к жене (14 марта 1830 года) Петр Андреевич упоминает о том, что Е. М. Хитрово «пописывает ко мне утренние цидулочки».

Почти семьдесят таких же записок и записочек, полученных в разное время Вяземским от Долли, сохранились в Остафьевском архиве. На фотокопиях видно, что обычно они заклеивались, как было принято, облатками. Невольно вспоминается, как у Татьяны:

Письмо дрожит в ее руке;
Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке.

Но большинство «цидулочек» Д. Ф. Фикельмон важных вестей не содержит, и запечатывала она их, можно думать, не волнуясь и не давая высохнуть облатке...

Итак, знакомство завязалось, переписка началась, но, прежде чем перейти к ее содержанию, мне кажется полезным привести хронологическую схему знакомства и переписки князя Вяземского и Долли Фикельмон — это избавит нас от неизбежных иначе повторений.

Как уже было упомянуто, знакомство состоялось 14 марта 1830 года. 10 августа Вяземский уехал в длительную служебную командировку в Москву. До этого — тем же летом 1830 года — он ездил в Ревель и провел там около трех недель. Таким образом, первый период непосредственного общения продолжался четыре с небольшим месяца. Петр Андреевич отсутствовал в Петербурге 16 месяцев (он вернулся в столицу около 25 декабря 1831 года). К этому времени относятся 8 из 14 писем Долли.

До переезда княгини Веры Федоровны с детьми в Петербург на постоянное место жительства (около 15 октября 1832 года) Вяземский снова жил в столице на положении «соломенного вдовца» в течение десяти месяцев.

По-видимому, пока он оставался в Петербурге без семьи, графиня Долли, не связанная в этом отношении светскими условностями, писала своему приятелю два-три раза в месяц. До сих пор мне удалось более или менее точно датировать

---

[1] Взятые в скобки части этой записи приведены Флоровским, но отсутствуют у Каухчишвили, вероятно, по типографскому недосмотру.

по содержанию 25 из ее 67 записок (все они без дат). Из них 14 (56 процентов) относятся к 1830 и 1832 годам. С некоторой вероятностью можно поэтому считать, что всего за 17 месяцев пребывания в столице без семьи Вяземский должен был получить около 40 записок.

С прибытием В. Ф. Вяземской в Петербург начинается третий период знакомства, который закончился с отъездом Д. Фикельмон за границу.

Зимой 1837/38 годов приступы невралгии, которой Дарья Федоровна страдала уже в течение двух лет, настолько усилились, что, по совету врачей, в мае 1838 года она, как уже сказано, отправилась лечиться за границу и больше в Россию не возвращалась. «Знакомство домами» продолжалось, таким образом, более пяти лет, но с неоднократными и длительными перерывами.

В 1833 году Д. Ф. Фикельмон дважды ездила в Дерпт. В 1834—1835 гг. Вяземские провели девять месяцев за границей — с 11 августа 1834 до 16 (?) мая 1835 года. Осенью 1835 года Петр Андреевич снова уехал на два с половиной месяца в Германию. Тогда же (в сентябре и октябре) Фикельмоны вместе с дочерью побывали в Теплице, где присутствовали при свидании Николая I с союзниками.

Можно поэтому считать, что период «знакомства домами» фактически вряд ли продолжался более трех лет.

После отъезда Дарьи Федоровны за границу друзья первое время изредка переписывались. Сохранились очень интересные и содержательные письма графини Долли к Вяземскому от 26 июля 1838 года из Баден-Бадена и от 7 января 1839 года из Рима.

Четвертый период непосредственного общения Д. Ф. Фикельмон с П. А. Вяземским был очень краток. Летом 1852 года Вяземский вместе с женой провели (по-видимому, дважды) несколько дней в Теплице. Это было последнее свидание друзей.

Их «очное» знакомство продолжалось, по моему подсчету, в общем, несколько более четырех лет, а переписка (с очень большими перерывами) — 22 года.

К огорчению исследователей, Д. Ф. Фикельмон, аккуратно и точно датируя письма, посылаемые по почте или с оказией, в записках чаще всего указывала лишь день недели, много реже — число и месяц, а года не проставила ни в одной из них. Датировка записок, с которых мы и начинаем обзор переписки друзей, поэтому нередко трудна, а зачастую и совершенно невозможна.

В виде примера приведу текст двух записок Долли, несомненно относящихся к первым месяцам знакомства:

«Вы принадлежите к числу тех, которые оплакивают отъезд M-me Мейендорф; хотите вы еще раз ненадолго повидать ее у меня сегодня вечером? В таком случае приходите после 10 часов, и ваши старые друзья этим тоже воспользуются».

Баронесса Елизавета Васильевна Мейендорф, с которой мы еще встретимся в следующем очерке, уехала вместе с мужем из Петербурга в последних числах апреля 1830 года[1], т. е. примерно через шесть недель после начала знакомства Вяземского с Фикельмон. Мы снова убеждаемся в том, что за этот короткий срок князь, видимо, стал уже «своим человеком» в доме Фикельмон. О том же говорит и подпись «Долли Фикельмон». Супруга посла, несомненно, видела в Вяземском прежде всего человека своего круга, а не чиновника по особым поручениям при министре финансов.

Еще более интимна другая записка:

«Прочту Шенье внимательно и с удовольствием.

Вот ваш портрет — не знаю, вполне ли он похож; я вас недостаточно знаю; но мне непонятно, почему вы пренебрежительно относитесь к доброму лицу?

Доброе лицо внушает доверие и дружбу — и мне кажется, что это очень приятно.

Д».

Это послание можно датировать первыми месяцами знакомства («я вас недостаточно знаю») до отъезда Вяземского в Москву (10 августа 1830 года). Подпись в виде одной начальной буквы уменьшительного имени говорит об очень коротких дружеских отношениях. Большинство записок графини подписано «Долли».

Вяземский, несомненно, сберег набросанный Дарьей Федоровной карандашный (?) портрет. Возможно, что он и сейчас хранится в Остафьевском архиве.

Очень любопытна следующая записка, относящаяся к более позднему времени:

«Вот Temps, дорогой Вяземский — как ваша нога? Екатерина чувствует себя довольно хорошо и не утомлена после вчерашнего. Я говею и оплакиваю свои грехи, это значит, что до понедельника я не принадлежу здешнему миру. Но, в качестве доброго соседа, вы всегда можете постучаться в мою дверь,— быть может, она для вас и откроется.

Долли».

Попытаемся установить, когда же была послана эта приятельская записка. Записка тем более показательна, что го-

[1] *Звенья*, VI, с. 246.

вение, предшествовавшее исповеди и причащению,— важный религиозный акт.

Как видно из дневника графини, в семье Хитрово-Фикельмон говели дважды в году — на страстной неделе (последняя неделя великого поста) и перед рождеством (25 декабря).

В 1830 году пасха была 6 апреля. Фикельмон вместе с матерью и сестрой причащалась в страстной четверг (3 апреля). Трудно предположить, чтобы, познакомившись с Вяземским 14 марта этого года, Долли уже через 2—3 недели послала ему такую доверительную записку. В ней, кроме того, есть вопрос о состоянии больной ноги князя, а несчастный случай с ним произошел 4 июня 1830 года. Нога, сильно ушибленная при падении экипажа, долго давала о себе знать. Рождество этого года и весь следующий, 1831, год Вяземский провел в Москве. Судя по тону записки, она адресована Петру Андреевичу до переезда в Петербург его жены (октябрь 1832 года). С большой вероятностью ее можно датировать последней великопостной неделей 1832 года (4—9 апреля). Вяземский в это время жил на Моховой улице (ныне Моховая, 41) недалеко от дома Салтыковых.

Рискуя утомить читателя, я привел это довольно длинное рассуждение как пример розысков, которые приходится производить, чтобы, по возможности, установить даты записок Долли.

Об отношениях Вяземского с сестрой Дарьи Федоровны, Екатериной Федоровной Тизенгаузен, мы знаем мало, но знакомство с ней Петра Андреевича, можно думать, вскоре также перешло в довольно тесную дружбу.

В письме без даты[1], которое комментатор М. С. Боровкова-Майкова относит к маю 1830 года, Вяземский спрашивает жену:

«Есть ли у тебя два браслета одесские? В таком случае, подари мне один, но без золотой оправы, а in naturalibus[2]. Я хочу подарить его г-же Тизенгаузен, сестре Фикельмон и дочери Елизы. Не бойся, он не будет на руке соперницы. Я совершенно не влюблен в нее, но она милая и умная девица и в летах довольно зрелых»[3].

Таким образом, к этому времени, т. е. в мае 1830 года, Вяземский знает Екатерину уже настолько, что может себе позволить сделать ей подарок-сувенир[4].

---

[1] *Звенья*, VI, с. 251.

[2] В природном виде *(лат.)*.

[3] Напомним, что Е. Ф. Тизенгаузен родилась в 1803 году.

[4] Светские обычаи в России, как и всюду, с течением времени менялись. Лет сорок спустя в том кругу, к которому принадлежали Тизенгаузен и Вяземский (да и в гораздо более скромных семьях), такого рода подарки можно было делать лишь близким родственницам. Подношения прочим дамам и барышням обычно ограничивались цветами и конфетами.

6 июня 1832 года он упоминает о болезни Тизенгаузен, а 2 июля того же года пишет жене:[1] «Часто бываю по вечерам у Долли. Они все довольно напуганы нездоровьем Екатерины Тизенгаузен. У нее кашель упорный, боль в боку и под сердцем, все это продолжается уже около двух месяцев, если не более. Мать и две дочери образуют точно одну душу, и страх разрыва, если не вечного, то, по крайней мере, временного, отъездом в чужие края матери с больной дочерью расстраивает их спокойствие и единство[2]. Можно простить Елизе многие проказы за любовь, почтительность и привязанность, которые она сумела в дочерях своих поселить к себе, и за согласие, которым она связала семейство свое. Без нравственной доброты не сделаешь этого».

Вероятно, к этому же тревожному времени относится одна из записок Остафьевского архива:

«Мама больна и лежит в постели, Екатерина нездорова, а я их сиделка. Все трое мы просим вас, дорогой друг[3], прийти немного нас развеселить сегодня вечером к маме — но не очень поздно!

Долли Ф».

Сохранилась в этом архиве и шутливая записка Долли, которая лишний раз свидетельствует о том, что Петр Андреевич вполне свой в дружеском родственном кружке, собиравшемся в особняке Салтыковых:

«Мой дорогой Вяземский,
хотя вы — гадкое чудовище без всякой доброты ко мне, я приглашаю вас прийти к нам *завтра вечером*, если вы хотите зараз повидать всех моих кузин[4].

---

[1] *Звенья*, IX, с. 406.

[2] Поездка за границу не состоялась, так как Е. Ф. Тизенгаузен через некоторое время выздоровела. Она дожила до глубокой старости и умерла 85 лет.

[3] Следует иметь в виду, что такие обращения, как «дорогой друг», «дорогой Вяземский» и т. п., по-французски звучат значительно менее интимно, чем по-русски; cher можно перевести как «любезный».

[4] Кузинами Дарья Федоровна именует не только своих двоюродных сестер, но и троюродных, которых у нее в Петербурге было несколько.

Из двоюродных она была наиболее близка с племянницами отца — Аделаидой Павловной Тизенгаузен, в замужестве Штакельберг (1807—1833) и ее сестрой Еленой Павловной (Лили), в замужестве Захаржевской (1804—1889). Нередко она упоминает и о племяннице матери Анне Матвеевне Толстой (1809—1897), в 1838 году вышедшей замуж за князя Леонида Михайловича Голицына.

Можно пожалеть о том, что старушки Захаржевская и Голицына, вероятно, встречавшиеся у Фикельмон с Пушкиным и прожившие очень долго, по-видимому, остались неизвестными своим современникам-пушкинистам.

Вы видите, что я рассчитываю на них, а не на себя, чтобы вы набрались храбрости и пожертвовали мне немного времени.

Понедельник».

Эта записка, вероятно, также относится к 1830 или 1832 году и, во всяком случае, послана при жизни Адели Штакельберг, скончавшейся, как мы знаем, 29 ноября 1833 года.

В Остафьевском архиве хранится единственная записка Екатерины Тизенгаузен к Вяземскому. Прочесть ее было нелегко, так как размашистый почерк сестры Фикельмон очень своеобразен:

«Графиня Тизенгаузен, по мнению князя Вяземского, довольно хорошенькая, надеясь (надеется? — *Н. Р.*)[1], что, несмотря на эти новые узы, князь остается для наших кузин другом, повесой взбалмошным и любезным и в особенности что мы будем его видеть повсюду каждый день.

Напишите нам, дорогой князь, вы как-то на днях были нездоровы и вчера вас не видели в театре. Мама мне поручила вам сказать, что у нас [ложа] номер 3, и мы надеемся, что вы там сегодня будете.

Екатерина Тизенгаузен».

Судя по довольно официальному обращению и подписи графини, вряд ли она писала Вяземскому сколько-нибудь часто, но это не исключает их близкого знакомства. Иначе трудно объяснить, как Тизенгаузен решилась назвать взбалмошным «повесой» (mauvais garçon) сорокалетнего отца четверых детей, камергера царского двора и т. д. «Новые узы» к тому же, вероятно, являются намеком на предстоящий в ближайшее время приезд жены Вяземского, Веры Федоровны, с детьми. Такой намек был бы, конечно, бестактностью, не будь у автора письма дружеских отношений с адресатом. Об этом же свидетельствует и кокетливое упоминание о своей внешности — мы знаем, что Екатерина Тизенгаузен действительно была очень красива.

Перейдем теперь к наиболее интересной части «переписки друзей» — серии писем Фикельмон и Вяземского, которыми они обменялись во время шестнадцатимесячного пребывания Петра Андреевича в Москве в 1830 и 1831 гг. Чиновник по особым поручениям при министре финансов коллежский советник князь Вяземский был командирован туда для устройства выставки.

---

[1] На фотокопии ясно читается слово «espérant» («надеясь»), но, вероятно, это описка Тизенгаузен. Следовало бы «espére» («надеется»).

Эти долгие месяцы были сложным и трудным для России периодом, главными событиями которого явились польское восстание и жестокая эпидемия холеры, сопровождавшаяся народными возмущениями. Естественно, что в письмах мы находим немало откликов на государственные и личные тревоги тех волнующих дней.

Очень большое место занимают в них личные отношения графини и князя. Нельзя забывать, что пишут друг другу люди, вообще настроенные весьма романтически. Пишут они, кроме того, в период самого расцвета романтизма, и это, несомненно, придает взаимным излияниям большого поэта и любящей литературу молодой женщины очень далекий от нашего реалистического времени характер.

Обсуждать подробно в рамках этой книги письма Фикельмон и Вяземского в хронологическом порядке мы не можем — это потребовало бы очень многих страниц.

Поступим поэтому иначе — наметим основные линии переписки и, излагая их, извлечем из текста писем лишь то, что представляется наиболее существенным.

Все, что так или иначе касается общего друга обоих корреспондентов — Пушкина, для единства изложения я переношу в следующий очерк.

Начнем с личных отношений Фикельмон и Вяземского, которым, как уже было сказано, в их переписке посвящено немало страниц.

Два первых письма, посланных Вяземским из Москвы, Е. М. Хитрово от 2 сентября 1830 года и Д. Ф. Фикельмон, по-видимому, отправленное в начале октября, пока остаются неизвестными[1].

11 октября 1830 года Долли пишет:

«Дорогой князь, ваше письмо пришло, как нарочно, чтобы успокоить нас на ваш счет. Мы с беспокойством думали о том, что с вами среди этой cholera morbus. Не было бы ли много лучше остаться в Петербурге и вызвать сюда всех, кого вы[2] любите. Теперь одному богу известно, когда мы снова увидимся. Между тем мы бы очень нуждались в вашем любезном обществе в это время столь общей меланхолии, когда всех нас, как кажется, окружает атмосфера печали <...>

[1] Возможно также, что Вяземский писал матери и дочери непосредственно после приезда в Москву (14 августа), но сведений об этом нет.

[2] Графиня Фикельмон всюду пишет «вы» (vous) со строчной буквы, князь Вяземский — с прописной. В переводе я сохраняю эту особенность транскрипции.

Сообщите нам ваши новости, дорогой князь, которые всегда будут для меня полны интереса, и верьте в мою искреннюю дружбу.

Гр. Долли Ф.».

Это первое письмо Фикельмон, надо сказать, очень сдержанно (оно, вероятно, было отправлено по почте). Подписав его своим именем и начальной буквой фамилии, она прибавила и титул, что впоследствии делала очень редко.

23 октября Вяземский отвечает длинным и сердечным посланием из Остафьева, куда он уехал вместе с семьей, укрываясь от московской холеры:

«Мне нет необходимости говорить Вам, графиня, насколько я был тронут тем, что Вы так любезно и по-дружески обо мне вспомнили. Вы должны это понять. Ваше письмо — такое же доброе и любезное, как и Вы сами, почему я его бесконечно ценю. Нужно ли мне говорить, что оно произвело на меня впечатление одной из ваших интимных вечеринок[1], впечатление, которое отвечает тому, что есть самого благожелательного и сердечного в улыбке. Вы должны вспомнить об особенностях этой симпатии, которую Вы мне разрешите рассматривать как доказательство Вашей дружбы. Да, Ваше письмо переносит меня в Ваш салон, разделенный на несколько федеральных государств, но управляемый одной и той же конституцией, основанной на любезной и разумной свободе[2] и оживляемой Вашим присутствием. Мне кажется, что я вхожу туда, покашливая, что я стремлюсь приблизиться к кружку, в котором Вы преимущественно председательствуете, что я там обосновываюсь, принимаю тамошнее подданство и приношу присягу на верность и преданность. Эти приятные иллюзии позволяют мне забыть, что cholera morbus нас разделяет и лишает меня возможности узнать, когда же я смогу явиться и возобновить приятную привычку к понедельнику, четвергу и субботе <...>».

Н. Каухчишвили считает, что «эти письма увеличивают интерес к богатой переписке Вяземского, подтверждая, что его французские письма так же живы, стилистически совершенны и богаты тонкими оттенками, как и русские»[3].

В этом отношении я не могу в полной мере согласиться с талантливой итальянской исследовательницей. Обнаружен-

---

[1] За неимением подходящего русского термина я перевел таким образом бывшее в ходу в кружке Фикельмон слово «baillements» (дословно «зевоты» или «позевывания»). Долли называла так интимные собрания ее близких друзей.

[2] Много лет спустя П. А. Вяземский, характеризуя салон Фикельмон-Хитрово, употребил почти те же выражения («Русский архив», 1877, кн. I, с. 513).

[3] *Дневник Фикельмон*, с. 63.

ные в дечинском архиве письма Вяземского, несомненно, важны и интересны. Искусно построенные и грамматически безупречно правильные французские фразы Петра Андреевича, конечно, много теряют в переводе. С другой стороны, надо, однако, сказать, что и в подлиннике они производят нередко впечатление несколько вычурных.

Несмотря на отличное знание языка, Вяземскому, на мой взгляд, все же далеко до блестящего и непринужденного стиля французских писем Пушкина. Этого вопроса Н. Каухчишвили не затрагивает, но вряд ли она права, считая, что французские письма Петра Андреевича стилистически равноценны русским. Написаны они с большим искусством, но последние все же — повторим снова — на наш взгляд, обычно много живее и естественнее, хотя и в его русских письмах нередко чувствуется надуманность.

Фикельмон ответила не сразу (7 декабря), и снова она скупа на слова, поскольку речь идет о ее личном отношении к Вяземскому.

«Не знаю, дорогой князь, доставит ли вам некоторое удовольствие получить это письмо — мне нужно сейчас многое вам сказать; мы продолжаем сожалеть о вас и желать вашего присутствия с настоящим чувством дружбы».

Дарья Федоровна сообщает Вяземскому, что часто говорит о нем с общими знакомыми. Дружески прибавляет: «Кого вы обожаете в данный момент? — До свидания, дорогой князь,— не забывайте меня, оставайтесь моим другом и рассчитывайте на мою дружбу».

Подпись уже без титула: «Долли Ф.».

В письме Долли сообщает еще о своей встрече с поэтом И. И. Козловым: «Я говорила о вас с Козловым. Мы кокетничаем, хотя он меня и не видит»[1].

25 декабря Вяземский отвечает из Остафьева длинным письмом, о котором трудно сказать, чего там больше — искреннего чувства или литературного мастерства крупного писателя:

«Повторяю — Вы так же добры, как и прекрасны. Постоянство, с которым Вы уделяете благосклонное внимание отсутствующему, отделенному от остального человечества пропастью в сто лье шириной и заразой, и всегда находите время, чтобы ему написать среди вихря большого света и событий, то оглушающих, то заставляющих задыхаться,— это, действительно, нравственное чудо, которое было Вам дано осуществить. Так как мы больше не живем в век чудес, по крайней мере, благодетельных (но самое большее, в век египетских язв), я признаю больше, чем когда-либо, справедливость того, что Вы говорили — в Вас есть две графини Фикельмон: утренняя

[1] В 1821 году И. И. Козлов окончательно ослеп.

и вечерняя. Ваше письмо — это утренняя эманация, и поэтому оно для меня тем более драгоценно. Действительно, несмотря на все то лестное, что Вы мне говорили, я не настолько ослеплен, чтобы поверить, что мое отсутствие в Вашем салоне *оставляло бы малейшую пустоту* в глазах блистательной победоносной вечерней графини Фикельмон. Но как только Вы вернулись к себе, в часы, когда Вы отрекаетесь от своей власти, в эти спокойные и тихие часы, когда ничто из того, что истинно, не теряется для сердца, мне хочется верить, что воспоминание обо мне может и должно иногда быть с Вами, как память о человеке, который питает к Вам очень искреннюю и очень глубокую привязанность».

Самохарактеристика Фикельмон, которую воспроизводит Вяземский, поэтична и удачна. Она хорошо согласуется со всем, что мы знаем о Долли, но, читая изощренно-сложные фразы писателя, невольно вспоминаешь:

Любовь Элизы и Армана,
Иль переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный...

В этом же письме Вяземский подробно и с откровенной иронией говорит о своем отношении к женщинам: «Вы меня спрашиваете, кого я обожаю в данный момент? Свои воспоминания <...> И хорошо, чтобы Вы знали, что я постоянен в любви — по-своему, разумеется. Мое сердце не похоже на те узкие тропинки, где есть место только для одной. Это широкое, прекрасное шоссе, по которому несколько особ могут идти бок о бок, не толкая друг друга. Раз только дорожная пошлина заплачена, ты уверен в том, что рано или поздно можно будет туда вернуться. Вы видите, что это почти похоже на сердца, подобные многоэтажным дворцам; но что в них неприятно, это то, что иногда, в тот момент, когда вы всего менее этого ожидаете, вас отсылают сверху вниз, чтобы очистить место для новых жильцов. Вы согласитесь с тем, что в моем случае больше равенства. Договоримся, однако,— у моего сердца, как оно ни похоже на шоссе, есть узкий тротуар, нечто вроде священной дороги, которая предназначена только для избранных, в то время как невежественная чернь идет и толпится на большой дороге. Вся эта топографическая часть мужского и, в частности, лично моего сердца, будет разъяснена в романе, который пока является лишь историей и который докажет, что можно быть одновременно влюбленным в четырех особ, быть постоянным в своем непостоянстве, верным в своих неверностях и незыблемым в постоянных изменениях. Одним словом, мой исторический роман[1], если бы таковой вообще существовал, смо-

---

[1] Замысел этого романа Вяземским осуществлен не был.

жет послужить дополнением к книге того аббата, которая имела название «История двадцать седьмой революции вернейшего народа Неаполя» [1].

Возможно, что Долли, одолев эти остроумные, но довольно витиеватые строки, перечла в своем дневнике запись, сделанную на другой день после отъезда Петра Андреевича в Москву (11 августа 1830 года): «Вяземский, несмотря на то, что он крайне некрасив, обладает в полной мере самоуверенностью красавца мужчины (bel homme); он ухаживает за всеми женщинами и всегда с надеждой на успех. Но ему желаешь добра, так как у него приятные манеры и он осторожен, несмотря на некоторый налет педантизма».

Как видно, за немногие месяцы знакомства Д. Ф. Фикельмон изменила свое мнение о том, что Петр Андреевич «человек без всякого педантизма» (дневниковая запись от 30 апреля 1830 года).

Фикельмон не спешила с ответом на это очень длинное послание (всего две с половиной страницы, но почерк мельчайший). Только 25 мая 1831 года она пишет просто и ласково: «Не судите, пожалуйста, дорогой князь, по моему долгому молчанию о дружбе, которую я к вам питаю,— она, уверяю вас, очень искренняя и полна нетерпения вас увидеть! Так как ваша выставка закончена, не приедете ли вы к нам наконец? Мы вас ждем и хотим видеть; ваше место в моей гостиной остается пустым, и еще более оно пусто на маленьких интимных вечерах, которые в этом году бывают чаще. Большой свет почти не существовал зимой и вовсе не существует сейчас. Есть время повидать друзей и насладиться их любезностью. Вот почему я так жалею о вашем отсутствии <...> Приезжайте, дорогой Вяземский, и привезите нам несколько розовых и свежих мыслей, чтобы обновить наши, всецело проникнутые печалью!» [2]

«Привезите с собой все ваше любезное остроумие и, в особенности, вашу дружбу, на которую я рассчитываю и отвечаю на нее от всего сердца».

Вероятно (и даже наверное) это письмо не осталось без ответа, но нам он неизвестен.

Письмо Вяземского от 5 июля 1831 года, всецело посвященное холерным тревогам, содержит настоятельную просьбу писать:

«К кому же мне обратиться, чтобы иметь о Вас известие, но сердце придает храбрости, и, как ни наглы мои претензии в подобный момент, умоляю Вас написать мне Вашей рукой строчку, которая известила бы меня о том, что Вы и все Ваши хорошо себя чувствуете, так хорошо, как только может быть

---

[1] Storia della venti settima revoluzione del fudellisimo populo di Napoli *(итал.)*. Мне не удалось установить, что это за произведение.

[2] Письмо послано во время холерной эпидемии и одновременно войны в Польше.

в теперешнее время. Хочу верить, что Вы мне не откажете в этом благодеянии...»

Фикельмон ответила сейчас же (13 июля). Ее длинное письмо также полно тревоги и грустных рассуждений по поводу эпидемии, но содержит все же несколько ласковых фраз по адресу Вяземского:

«Я была очень тронута, дорогой князь, вашим письмом, таким добрым и сердечным. Я, однако, достаточно полагалась на вашу дружбу, чтобы быть уверенной в том, что вы за нас беспокоитесь <...>

Мы о вас очень сожалеем. Какое удовольствие доставило бы нам ваше присутствие здесь! В особенности сейчас, когда живешь в очень сузившемся кругу и имеешь возможность видеть только своих друзей.

Какой эгоисткой вы меня сочтете за то, что я отваживаюсь желать вашего присутствия здесь, когда мы все находимся на поле битвы?

<...> Я остановлюсь только на мысли о вашей дружбе, дорогой князь, которую люблю, которой дорожу и на которую рассчитываю. Примите уверение в вашей привязанности и скажите мне, что скоро мы вас увидим».

26 июня Долли сообщает Вяземскому ряд петербургских и заграничных новостей, но в плане личных отношений интересны только последние строки: «Если бы я дала себе волю, я бы беседовала с вами часами. Вы знаете, дорогой князь, что у меня всегда была эта слабость. Не скрою от вас, что для меня очень досадно ваше такое долгое отсутствие».

«Я сожалею о вас, как о любезном и остроумном человеке и, в особенности, как о друге, так как я очень на вас рассчитываю в этом отношении».

Письмо Вяземского от 4 августа и ответ Фикельмон, датированный 10 августа 1831 года, содержит немало политических и личных новостей, к которым мы вернемся, но только у Вяземского вкраплены отдельные фразы, говорящие о его отношении к Долли. Он пишет: «Я был очень счастлив получить два Ваших любезных письма, написанных на поле битвы, и в этом отношении вдвойне драгоценных — во-первых, как удостоверение о том, что Вы живы и здоровы, и затем, как проявление сердечной памяти, которую не колеблют шумные развлечения, памяти, неизменной среди бурь и потрясений нашего времени. О петербургских новостях, действительно, можно сказать, что они полны *захватывающего интереса в данный момент*, а те, которые я получил от Вас, в моих глазах, полны вечного интереса, так как таково и мое чувство к Вам».

В краткой записке от 13 августа, пересланной с кем-то в Москву, Фикельмон просит: «Покиньте, ради бога, вашу Москву и приезжайте.

Я приберегаю для вас наши самые интимные домашние вечеринки — у *говоруньи* (parleuse) их не было ни одной».

Свой ответ от 24 августа Вяземский начинает с резкого на вид, но по существу шутливого упрека. Дело идет о каком-то письме Долли к молодому атташе австрийского посольства графу Литта, который ненадолго приехал в Москву. Фикельмон просила Петра Андреевича позаботиться об этом ее протеже: «Кстати, я счастлив, что гадкие вещи, спрыснутые розовой водицей, которые Вы ему выложили на мой счет в Вашем письме, дошли до него лишь за несколько часов до отъезда: немного раньше они испортили бы его мнение обо мне, и он смотрел бы на меня только Вашими глазами, тогда как сейчас он ускользнул из-под Вашего влияния, и я взываю к его беспристрастию, чтобы заставить Вас покраснеть за Вашу клевету или отказаться от Ваших предубеждений, если Вы не ошибаетесь».

Вяземский был довольно обидчив, но в данном случае перед нами только дружеская пикировка. В конце письма есть строки достаточно интимные и несколько рискованные, поскольку они обращены к замужней женщине и к тому же жене посла:

«Почему Вы уговариваете меня вернуться в Петербург *ради бога* (pour l'amour du Ciel)? Для меня это слишком аскетическое приглашение. Нет,— если бы Вы мне сказали — ради меня (pour l'amour de moi)! [1] — призыв был бы *безусловным* и все препятствия были бы преодолены».

Я уже упоминал, что к романтическим фразам того времени нельзя подходить с современной мерой. На мой взгляд, этот риторический вопрос Вяземского — всего лишь «изящная словесность». По всей вероятности, его так и поняла Долли.

Гораздо искренне и теплее заключительные строки письма Вяземского:

«Я на самом деле не сумею Вам достаточно выразить мою горячую благодарность за пользу, которую мне приносят Ваши письма. Они так напоминают *Вас,* что я не устаю ими восхищаться и их любить: иногда мне кажется, что я вижу, как они зевают, но эта зевота не переходчива, не заразительна; наоборот, мое сердце при виде их расцветает, и улыбается, и благодарит провидение за то, что оно однажды поставило меня на Вашем пути, потому что я рассчитываю на Вашу дружбу, а дружба, такая, как Ваша, это, несомненно одна из радостей жизни».

Здесь у Вяземского не замысловатое литературное построение, а простое, искреннее чувство...

---

[1] Дословно — «из любви ко мне». В переводе я не употребил слова «любовь», так как по-французски здесь лишь игра слов, впрочем, довольно смелая.

Письмо Фикельмон от 13 октября — одно из самых интересных. Мы будем к нему возвращаться, но пока приведем лишь заключительные строки: «До свидания, дорогой Вяземский, с тех пор, как началась наша переписка, мне кажется, что я вас знаю с детства! Думаю также, что иногда я вам говорю немало глупостей! По своей дружбе сохраните их в тайне и не открывайте даже мне самой. Я, быть может, сама себе покажусь слишком экстравагантной <...> Возвращайтесь поскорее, больше я вам не напишу ни строчки!

Долли».

Последнее письмо Вяземского из Москвы от 23 ноября 1831 года подводит итог всем его размышлениям о Фикельмон. Вяземский сам назвал его «исповеданьем веры».

«Только Вы умеете сохранять спокойствие и свежесть одиночества среди жизни, сплошь состоящей из движения, среди треска и толкотни, которые ее окружают. Вы принадлежите к этому свету или к этому большому *рауту* только в силу очарования, которое Вы там проявляете, но сфера Вашего интимного существования находится в более Возвышенной области, недоступной для мелких интересов, которые клубятся внизу. Это не фразы и не так называемая поэзия, которую я здесь сочиняю. Это исповеданье веры. Это то, чем я больше всего восхищаюсь в Вас, даже больше, чем Вашим божественным правом на звание прелестной женщины, звание, в моих глазах всемогущее и такое, которое имеет во мне самого крайнего, самого меттернихоподобного, самого абсолютного ревнителя. Именно это необычайное свойство, которое преобладает в Вас в высшей степени, придает Вам аромат простоты, добродушия, который так привлекателен в Вас и так заметен среди тех ярких красок, которыми расписано Ваше общественное бытие. Больше чем когда-либо я ценю и люблю в Вас это свойство, потому что ему я обязан Вашей ободряющей и драгоценной дружбой. Именно оно инстинктивно послужило Вам для того, чтобы узнать меня, различить в толпе и привлечь к себе. Без него я прошел бы незамеченным, и если бы остановился перед Вами, что, впрочем, наверное бы произошло, я смог бы лишь любоваться Вами издали и молча, тогда как сейчас я имею счастье Вам это сказать и надеюсь, что Вы мне не откажете поверить в то, насколько мои чувства к Вам исполнены уважения, привязанности и преданности».

Транскрибируя и переводя это «исповеданье веры», я снова подумал — слов нет, умеет князь Петр Андреевич владеть французской фразой, отлично умеет... Очень сложные конструкции хорошо уравновешены, ясны, логичны, но как жаль, что свои мысли и чувства он почему-то счел нужным изложить здесь языком, напоминающим рассуждения даже не XVIII, а XVII века. Вероятно, это наследие его учителей —

эмигрантов, воспитанных на классической французской прозе времени Людовика XIV...

Долли ответила 12 декабря, по обыкновению, просто и искренне: «Но прежде всего тысячу раз благодарю вас, дорогой Вяземский, за все милые и добрые вещи, которые вы мне говорите. Хотя я вполне сознаю, что вы судите обо мне лишь сквозь *снисходительную* призму дружбы, и что я далеко не то, что вы думаете, тем не менее мне было чрезвычайно приятно прочесть ваше письмо!

Не думайте, однако, что инстинкт побудил меня сблизится с вами и искать в вас друга! Это мой добрый Гений, я твердо в это верю, так как всегда считала даром провидения дружбу с выдающимся человеком. Теперь я разрешаю вам предпочитать мне всех хорошеньких женщин, ухаживать за ними всеми, вовсе не замечать меня даже в моей гостиной, потому что я рассчитываю на хороший уголок в вашем сердце, откуда я не хочу, чтобы меня выжили и где я останусь вопреки вам самому»[1].

В двух последних письмах Вяземский и Фикельмон как бы подводят итог своим отношениям того времени.

Попытаемся подвести его и мы.

Что перед нами? Переписка влюбленных? «Роман классический, старинный» сорокалетнего поэта и молодой жены стареющего посла?

С полной уверенностью можно ответить — нет. Это не любовь — ни с той, ни с другой стороны. Достаточно вспомнить иронические слова Вяземского о том, что его сердце подобно широкому шоссе, где есть место для многих. Женщине, которую любят, таких слов не говорят.

Нет оснований сомневаться и в искренности Фикельмон, которая множество раз повторяет слово «дружба». Да, большая, настоящая дружба с умным, талантливым человеком, который ее заинтересовал. Дружба, но — как и у Вяземского — не любовь. Вспомним дневниковую запись графини о том, что Вяземский, хотя он и очень некрасив, обладает самоуверенностью «красавца мужчины» — «ухаживает за всеми дамами и всегда с надеждой на успех». О любимом человеке так тоже не пишут — даже для себя...

Итак, дружба, но все же необычно близкая, необычно глубокая — особенно со стороны графини Долли (Вяземский, несмотря на все свои нежные слова, суше и рассудочнее). От такой дружбы недалеко и до любви. «Amitié amoureuse» — «влюбленная дружба», — говорят французы, и я думаю, что таковы именно были в это время отношения Фикельмон и Вяземского.

---

[1] За основу перевода настоящего отрывка взят ставший традиционным текст П. П. Вяземского («Русский архив», 1884, кн. II, с. 419). Перевод сына Вяземского мною несколько уточнен.

Перейдем теперь к другим «лейтмотивам» их переписки 1830—1831 гг.

Cholera morbus... Этим научным термином, принятым медициной того времени, страшную болезнь, проникшую в Россию с Востока, обозначали тогда и в частных письмах.

Я уже цитировал тревожные упоминания о холере в письме Фикельмон от 11 октября 1830 года и Вяземского от 23 октября. В конце года поблизости от Остафьева, куда Вяземский уехал вместе с семьей, холеры еще нет, и 25 декабря он упоминает об эпидемии только вскользь. В свою очередь, 25 мая 1831 года Фикельмон сообщает лишь, что зимой совсем не было больших светских собраний (очевидно, из-за опасности заражения, а также из-за войны в Польше). 26 июля Долли посвящает холере немало строк, но, быть может, не желая волновать своего приятеля, умалчивает о самом главном — холерном бунте на Сенной площади. Живя в Петербурге, она не могла о нем не знать[1]. Дарья Федоровна сообщает Вяземскому, что она посылает ему это письмо с графом Литта «для того, чтобы у вас были вести о нас и чтобы вы знали, что мы живем, сохраняя мужество и здоровье среди холеры, которая, впрочем, хвала богу, со дня на день уменьшается. Но так как нам, по-видимому, назначена судьбой длительная пора меланхолии, то, по мере того, как устраняется одна причина, рождаются другие — волнения в поселениях и, дальше, в Кенигсберге, которые доказывают, что эпидемия холеры влечет за собой для народов новую *нравственную*[2] эпидемию — все это размышления, которые стремительно прогоняют все радостные мысли, готовые возродиться. У нас еще нет подробностей о Кенигсберге кроме того, что там произошло восстание из-за карантинов, и в возмутившихся граждан стреляли картечью».

Уже по этому письму мы видим, что и в молодые годы (в это время ей было 27 лет) Долли, как и впоследствии, интересовали и волновали вопросы, связанные с возникновением народных возмущений. Однако для Дарьи Федоровны эти события — пока лишь материя для историко-философских размышлений. Вяземский и особенно Елизавета Михайловна Хитрово воспринимают их гораздо непосредственнее.

5 июня Петр Андреевич пишет:

«Вы должны в какой-то мере воздать мне должное, чтобы не сомневаться в том, что прискорбные и ужасные новости, которые приходят из Петербурга, еще чаще, чем когда-либо, направляют мои мысли и интересы моего сердца к Вам и ко всем, кто Вам дороги. Я горячо желаю, чтобы эти испы-

---

[1] В дневнике краткие записки о петербургских событиях есть за 23 и 26 июня (*Дневник Фикельмон*, с. 164—165).

[2] Курсивом напечатано подчеркнутое Д. Ф. Фикельмон.

тания и потрясения не принесли ни малейшего вреда Вашему здоровью. Что касается самой холеры, не бойтесь ее: она поражает только тех, кто ею слишком бравирует или слишком ее боится. Это враг, с которым надо поступать без фанфаронства и без малодушия, как, впрочем, всегда разумно поступать со своими врагами. Оградите себя благородной безопасностью и пассивной храбростью. Но в бурных и сложных обстоятельствах, среди которых мы находимся, следовало бы не иметь ни сердца, ни нутра, ни нервов, чтобы быть защищенной от всех неожиданностей. Я бы хотел знать, что против этих натисков Вы вооружены безропотностью и достаточным запасом физических сил, чтобы быть ко всему готовой. Как тягостно среди этой бури пребывать еще в тумане неизвестности, и это как раз моя участь».

Что можно сказать об этом длинном абзаце письма Вяземского?.. Конечно, он искренне взволнован бунтом на Сенной площади. Вероятно, видит в нем призрак новой пугачевщины, которой князь опасался в молодости. Взволнован и эпидемией, которая может не пощадить его приятельницу и ее близких.

Все это верно, но как много неисправимой риторики в рассуждениях Вяземского!

Через неделю (12 июля) Е. М. Хитрово написала ему трагическое и довольное сумбурное письмо — одно из самых трагических в ее небольшом эпистолярном наследии. Писала она вообще много, но друзья Елизаветы Михайловны, в том числе и Пушкин, лишь изредка сохраняли ее письма, а семейная переписка Хитрово неизвестна. Привожу поэтому остафьевский документ почти полностью:

«Вы меня достаточно знаете, дорогой князь, чтобы не сомневаться в том, что мое молчание должно иметь очень серьезные основания. Смерть великого князя *Константина*, холера, которая нас жестоко удручала (первое время мы теряли до восьмисот человек в день), и больше всего этого — *три дня бунта*, которые *привели меня в негодование*,— так подействовали на мои нервы, что я была совершенно неспособна думать и после нескольких дней борьбы с собой заболела судорожной лихорадкой (fièvre des crampes). Я пролежала в постели неделю, и от этого осталась нервозность, столь же неприятная для меня, как и для моих друзей.

Но каково это было для такой впечатлительной особы, как я,— достаточно трех дней, какие мы пережили, чтобы болеть от этого годами.

Не желать подчиниться очевидности,— верить в яд — когда он находится в воздухе, убивать врачей, когда их нам не хватает, нападать на несчастных, безобидных поляков — все это так жестоко, что можно лишь плакать над столь отсталым народом и действительно можно только удивляться терпению государя. Я увидела предел всех наших несчастий, дорогой

князь,— это прелестное платье, эта ваша память[1], было, я думаю, надолго моей последней приятной мыслью.

Болезнь является здесь чисто аристократической — бедный граф *Ланжерон*[2] заразился ею несмотря на все принятые им (вполне бесполезные) меры предосторожности. Но среди *обскурантов* (?)[3] не проходит дня, чтобы не оплакивали кого-нибудь из знакомых.

Впрочем, болезнь уменьшается, и благодаря этому все [неразборчиво] мы заняты платьями, и бывают моменты, когда забывают о том, что даже вдыхать воздух для нас опасно!»

В эти же дни (13 июля) Фикельмон писала Вяземскому о холере со скорбным мужеством:

«Мы прошли через очень мрачное и горестное время — независимо от ужаса, который внушали народные волнения, это постоянное беспокойство за всех, кого любишь, за всех, кого знаешь, это каждодневная скорбь при известии о смерти кого-либо, кого накануне видели здоровым,— все это вносило в душу тревогу и ни с чем не сравнимую печаль! Мы начинаем понемногу успокаиваться и утихать; болезнь сильно уменьшилась, но нас еще окутывает пелена *меланхолии* — и множество черных одеяний, которые видишь повсюду, печально напоминает обо всех пролитых слезах. Из нашего общества мы потеряли княгиню *Куракину* и бедного господина *Ланжерона,* остроумного, любезного и настоящего друга своих друзей <...> Мы, благодарение богу, очень счастливо прошли через это горестное время — никто из членов семьи и даже из наших слуг не заболел холерой — да поможет бог, чтобы и дальше так продолжалось! Без чрезмерного страха и ничуть не запираясь, мы принимаем большие предосторожности в отношении еды и старательно избегаем простуды — впрочем, в нашем образе жизни ничего не изменилось, и мы даже пытаемся развлекаться и быть веселыми, поскольку сейчас это возможно! Я полна мужества, но иногда меня охватывает род *мучительной тоски,* когда я останавливаюсь на мысли о том, что среди этой ужасной эпидемии находятся все мои сокровища — мама, сестра, муж и моя девочка!»

---

[1] Речь идет, очевидно, о подарке Вяземского. Приходится еще раз повторять, что во второй половине XIX века такой подарок даме «большого света» был бы совершенно невозможен.

[2] Граф Александр Федорович Ланжерон (род. в 1763 году) скончался в Петербурге 4 июля 1831 года. Пушкин встречался с ним в Одессе в 1823—1824 гг., когда Ланжерон уже был уволен от должности новороссийского генерал-губернатора, которую он занимал с 1815 по 1823 год. В Петербург Ланжерон приехал в начале 1831 года. Будучи близким знакомым Хитрово-Фикельмон, он мог встречаться у них с поэтом во время пребывания Пушкина в столице, приехавшего туда с женой из Москвы 18 мая 1831 года и через неделю (25 мая) переехавшего в Царское Село.

[3] П. А. Вяземский, несомненно, знал, кого Е. М. Хитрово называла «обскурантами». Сейчас это место ее письма непонятно.

«У нас прекрасная и постоянно жаркая погода — небо, как кажется, посылает нам свои лучшие улыбки, чтобы нас утешить и сказать, что на этой земле страдания так же преходящи, как и радости. Острова, как никогда, прекрасны, полны цветов, радуют взор. *Граф Станислав Потоцкий*[1] был окружен цветами — вскоре они окружили лишь его гроб. Эта смерть тоже повергла нас в грусть, хотя я и не особенно его жалею — я никогда его близко не знала; но видеть, как умирает человек, который так сильно любил жизнь, и видеть его конец в то время, когда он меньше всего об этом думал,— это настраивает на очень серьезные размышления. Сегодня я не в состоянии заняться ни одной мыслью, которая была бы более спокойной или окрашенной в более радостный цвет».

10 августа Дарья Федоровна с облегчением сообщает:

«Она (эпидемия холеры.— *Н. Р.*), как бы то ни было, начинает нас покидать, хотя еще третьего дня было десять умерших. Но время тревог наконец прошло, и это большое счастье! Можно привыкнуть ко всему, но не к ужасу дрожать 24 часа в сутки за всех, кого любишь».

Теперь тревожная пора наступает для Вяземского.

24 августа он пишет из Остафьева:

«Чтобы вернуться к нашему разговору, или, скорее, к апокалипсическому зверю, скажу Вам, что мы со всех сторон окружены холерой, которая обделывает свои мелкие злые делишки в соседних деревнях. Наша пока, слава богу, не затронута. Однако теперь мы настолько втянулись в боевую жизнь, что, посреди эпидемии, у нас такой вид, точно мы находимся в своей стихии. Я совершенно не могу себе представить, что может со временем заменить на балу достойным образом котильон, и, по его примеру, другие танцы, ни холеру morbus и восстания в наших заботах и газетах».

Петр Андреевич остается верен себе — и среди холерных тревог он не может обойтись без острого словца...

Для семьи Вяземских эпидемия также закончилась благополучно.

Вперемежку с тоскливым лейтмотивом cholera morbus в переписке друзей слышатся грозные раскаты другой тревоги. Польское восстание... Оно началось варшавскими событиями 17, 18 и 19 ноября 1830 года. Первое печатное известие о событиях в Варшаве появилось 28 ноября. В переписке первое упоминание о восстании мы находим в письме Д. Ф. Фикельмон от 7 декабря 1830 года:

«Вот мы мрачнее, печальнее, меланхоличнее, чем когда-либо! Мы горевали по поводу холеры, по поводу событий в Европе и мы поражены событиями в Польше! Вы неко-

---

[1] Граф Станислав Станиславович Потоцкий, обер-церемониймейстер царского двора (1785—1831).

торое время жили в Варшаве и привезли оттуда достаточно воспоминаний, чтобы быть глубоко опечаленным этой прискорбной историей. Здесь, как вы легко себе это представите, нет речи ни о чем другом! Кроме того, во всех умах полностью отсутствуют все иные мысли, кроме политических, так как в этот печальный век политика настолько связана со всеми личными интересами, что она стала для каждого, так сказать, семейным делом и, не будучи ни розовой, ни радостной, уносит последние следы радости».

«Что делает наша M-me Вансович[1], я уверена, что она одна из самых фанатичных?»

25 декабря Вяземский отвечает из Остафьева:

«Вы правы, полагая, что варшавские события должны меня занимать. Они действительно глубоко опечаливают мое сердце. Я нахожу в этой кровавой драме столько знакомых и дружеских имен среди жертв и главных участников, которые не замедлят стать жертвами, что чтение газет заставляет трепетать мое сердце так, как если бы я присутствовал при ужасном спектакле. Я вижу там лишь печальную неизбежность, которая толкает эту столь несчастную страну к окончательной гибели. Очень боюсь, чтобы наша дама (Вансович.— *Н. Р.*) не бросилась в свалку, тем более что я вижу фамилию ее мужа среди участников. Впрочем, это соображение, которое может скорее успокоить, так как наша приятельница не очень-то принадлежит к числу тех, о которых можно сказать: жена и муж составляют одно целое».

Напомним, что взгляды Пушкина в течение всего восстания были очень отличными от настроений Вяземского и Фикельмон.

Мысли Д. Ф. Фикельмон, вызванные польскими событиями, несомненно, близки к взглядам Вяземского. 25 мая 1831 года она пишет Петру Андреевичу:

«У нас май, такой же прекрасный и блестящий в воздухе и в небе, как он печален, беспокоен и тревожен на земле,— я не знаю, разделяете ли вы в вашей спокойной Москве все *болезненное* волнение, которое причиняет здесь эта несчастная и такая длительная польская история; что касается нас, мы всецело ею заняты».

В семье Фикельмон-Хитрово, несомненно, разделяли широко распространенный тогда взгляд на политику великого князя Константина Павловича как на одну из главных причин польского восстания. 24 февраля 1831 года Дарья Федоровна записывает:

«Великий князь Константин, все поведение которого не-

---

[1] Об этой пожилой польской даме Долли Фикельмон пишет в дневнике 2 января 1831 года: «M-me Вансович, фанатичная и экзальтированная, сделает, возможно, много зла, так как женщины во все времена имели в Польше большое влияние».

постижимо, после того как он послужил причиной таких ужасных несчастий, благодаря своему малодушию и отсутствию энергии в момент взрыва, а также благодаря придирчивому и тираническому нраву в течение пятнадцати последовательных лет, присутствует теперь при этих ужасных битвах. Он находится там и видит, как истребляют эту самую польскую армию, его детище и кумир, которую он, однако, столько же мучил, сколько, по его словам, любил! Его присутствие в армии непристойно и оскорбительно во всех отношениях!»[1]

Вряд ли можно сомневаться в том, что Долли в данном случае пересказывает мнение мужа и матери, хотя и не называет их.

Когда Константин Павлович умер, Е. М. Хитрово писала Вяземскому 12 июля 1831 года: «Наш несчастный великий князь за эти последние месяцы искупил все, за что он должен был себя упрекать».

Роль австрийского посла при русском дворе в это время была, конечно, особенно сложной и деликатной, но конкретных данных о ней мы пока знаем очень мало.

Н. Каухчишвили сообщает в своей книге, что в Венском Государственном архиве «одна папка фонда Russland целиком посвящена польскому вопросу и почти вся корреспонденция Фикельмона по этому вопросу извлечена из других папок и собрана здесь»[2]. По словам автора, «во время русско-польского конфликта австрийцы придерживались осторожного нейтралитета; они делали вид, что не знают о присутствии в Галиции многочисленных поляков, несмотря на повторные настояния Нессельроде, требовавшего выдачи «военных преступников»[3], укрывшихся на австро-польской территории. Фикельмон старался при наличии этих требований вести дело с искусной осторожностью, чтобы не нанести ущерба ни той, ни другой стороне».

В своем дневнике Долли Фикельмон польскому восстанию отводит немало страниц, но политических взглядов мужа по этому вопросу ни в дневнике, ни в своих письмах того времени не касается вовсе. То же самое надо сказать и о Е. М. Хитрово.

В Польше войска после многих неудач перешли под начальством нового главнокомандующего, фельдмаршала И. Ф. Паскевича-Эриванского[4] к решительным действиям, и 27 августа после ожесточенного двухдневного штурма Варшава сдалась.

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 156.

[2] Там же, с. 51.

[3] Вполне современный термин «criminali di guerra», взятый в кавычки, несомненно, принадлежит Н. Каухчишвили.

[4] Его предшественник И. И. Дибич-Забалканский скончался от холеры 29 мая.

24 августа Вяземский в осторожной форме (видимо, по почте, а не с оказией) пишет Фикельмон о польской войне, очевидно, в связи с прениями во французской палате депутатов, где ряд ораторов настаивал на вооруженной помощи полякам:

«Вы находитесь на авансцене и знаете уже больше, чем мы, о решениях великих вопросов, вынесенных и разбираемых в последнее время на (французской.— *Н. Р.)* трибуне, которая является ящиком Пандоры или современным храмом Януса[1]. Я думаю, однако, что мир перевесит. Я читаю с дрожью и скорбя душой о том, что делается в Варшаве. Боюсь подтверждения и в то же время нетерпеливо хочу узнать точно, что же там происходит».

Письмо Д. Ф. Фикельмон от 13 октября по поводу «Бородинской годовщины» Пушкина мы рассмотрим в следующем очерке.

Приведем еще те строки Вяземского, в которых он говорит о смерти княгини Лович, вдовы великого князя Константина Павловича. 23 ноября Петр Андреевич пишет Долли:

«Последние празднества (в Москве.— *Н. Р.)*, которые должны были состояться, отменены по случаю кончины княгини Лович. Говорят, что это известие очень огорчило императрицу, и она много плакала. Итак, предназначение судьбы свершилось. Она умерла в годовщину польского восстания. Это античная трагедия по всем правилам. Там были налицо рок, ужас и жалость, и единство времени было соблюдено. Я очень огорчен тем, что не повидал княгиню еще раз на этой земле перед развязкой драмы».

Многочисленные предшествующие упоминания о княгине Лович в переписке Вяземского и Фикельмон я опускаю. Приведу лишь слова его в письме от 4 августа 1831 года:

«Я всегда очень ее уважал и был к ней привязан, а моя жена была с ней в дружеских отношениях, переживших все изменения, которые произошли в ее положении, а также и в нашем по отношению к великому князю»[2].

Косвенно к польским делам относится также упоминание Долли (в записке, пересланной Вяземскому в Москву и датируемой 13 августа 1831 года) об отъезде французского посла: «Мы теряем <...> господина Мортемара, который, к нашему большому сожалению, через два дня уезжает во Францию».

---

[1] Римский храм двуликого божества Януса открывался только во время войны, а в мирное время оставался закрытым.

[2] Графиня Ж. А. Грудзинская вышла замуж за великого князя Константина Павловича, бывшего тогда наследником престола, в 1820 году. Вяземский был выслан из Варшавы в апреле 1821 года. Остается неизвестным, встречалась ли его жена в Варшаве с Жаннетой Антоновной после ее замужества.

Идя навстречу общественному мнению страны, настаивавшему на вмешательстве в пользу повстанцев, король Луи-Филипп отправил в январе 1831 года Мортемара в Петербург со специальной миссией. Он уже состоял в 1828—1830 гг. послом в России и заслужил уважение. Ему было поручено добиваться прекращения военных действий против поляков. Миссия успеха не имела. В половине августа Мортемар уехал во Францию — по некоторым сведениям, вследствие недовольства Николая I его демаршами, воспринятыми как вмешательство во внутренние дела России. Долли Фикельмон, судя по ее записке, считала, что в Петербург Мортемар больше не вернется.

В действительности Мортемар, вернувшись в Россию, оставался послом до 1833 года[1].

По всей вероятности, Мортемар, которому Дарья Федоровна очень симпатизировала, бывая во время польского восстания в ее салоне, поддерживал полонофильские настроения хозяйки, хотя прямых указаний на это в ее дневнике нет. Возможно также, что Пушкин встречался в ее доме с Мортемаром после возвращения Мортемара в Петербург.

Другие внешнеполитические вопросы в переписке Фикельмон и Вяземского за 1830—1831 гг. затрагиваются лишь изредка. Только события, связанные с образованием Бельгии, совсем недавно отделившейся от Голландии, очень интересуют Дарью Федоровну. На это у нее есть личные основания — дружеские отношения семьи Хитрово с первым бельгийским королем Леопольдом I, который, будучи герцогом Саксен-Кобургским, встречался с Елизаветой Михайловной и ее дочерьми. В письмах к ней герцог называл молодых графинь Тизенгаузен «своими милыми приятельницами», а младшую из них — «графиней Доллинькой» (la comtesse Dolline)[2].

26 июля 1831 года Дарья Федоровна сообщает:

«Пока что мы читаем бельгийские сообщения о короле Леопольде и его восшествии на престол. Все было хорошо со стороны нации, равно как и впечатление, которое производит новый монарх; посмотрим, как к этому отнесется Голландия. В былое время мы в нашей семье близко знали этого короля Леопольда — у него красивое, благородное лицо, достойная осанка; он разбирается в больших делах; всегда был очень честолюбив. Что касается остальных черт характера, то трон всегда вызывает в нем такие большие изменения, что трудно заранее судить, каким король станет в будущем. Ему понадобится твердость и удачные замыслы. Пусть бог ему их пошлет, чтобы по крайней мере с одной стороны восстановилось спокойствие!»

---

[1] *Письма к Хитрово*, с. 91—95.

[2] Там же, с. 154, 157.

10 августа Фикельмон снова возвращается к бельгийским событиям, опасаясь, как бы они не вызвали большой европейский пожар:

«Что вы скажете о новых событиях в Европе? О внезапном вторжении Оранского с 50 000 солдат в Бельгию и о еще более быстром марше французов, прибывших, словно по волшебству, на помощь королю Леопольду? В данный момент эта война, возможно, окончена или же она является первой искрой длинной и ужасной серии битв! Все теперь совершается так быстро, и чрезвычайные события следуют одно за другим с такой скоростью, что в самом деле кажется, будто бы и политика превратилась в паровую машину!»

Было бы интересно выяснить, насколько в данном случае самостоятельны политические мысли молодой «посольши», но, к сожалению, мы не знаем, что думал в это время о волнующих ее событиях граф Шарль-Луи.

В письмах Вяземского мы не находим откликов на бельгийские тревоги Долли. В области политики он был тогда всецело занят польскими делами. Петр Андреевич зато живо отозвался на увлечение (можно думать, временное) своей приятельницы идеями аббата де Ламеннэ (1782—1854). Этот французский священник стал главой своеобразного направления в католицизме, сторонники которого, группировавшиеся вокруг газеты «L'Avenir» («Будущее»), выдвинули лозунг «бог и свобода». Принимая революцию, они пытались примирить католическую религию с идеей политической и религиозной свободы.

Движение, возглавляемое Ламеннэ, было тогда заметным явлением в идейной жизни католического Запада. Ламеннэ был известен и Пушкину. Поэт мельком упоминает о нем в письме к Вяземскому от 2 января 1831 года и несколько обстоятельнее в письме к Е. М. Хитрово от 26 марта того же года. С газетой «L'Avenir» Пушкин, находясь в Москве, ознакомиться не смог.

Орган радикально настроенного аббата, пытавшегося совместить идеи утопического социализма с учением Христа, существовал недолго (с октября 1830 года до ноября 1831-го). По требованию папы Григория XIII газета перестала выходить. В 1834 году Ламеннэ порвал с церковью, а в 1848 году был избран в Национальное собрание, где примкнул к крайней левой оппозиции.

Долли Фикельмон, как известно, до конца жизни оставалась православной, но ее симпатии к неокатолицизму не должны нас удивлять, так как догматическим различиям между православием и католичеством она придавала мало значения.

Вернемся теперь к письмам Долли к Вяземскому. 25 мая 1831 года она сообщает:

«Я дам вам прочесть «L'Avenir» — газету, которую редактирует аббат де Ламеннэ и которая является эпохальной. Там совсем молодой Монталамбер, мыслящий, как ангел, и пишущий в замечательном для этой семьи духе[1]. Это вам будет интересно».

10 августа Фикельмон снова возвращается к неокатоликам:

«Приезжайте же, чтобы я дала вам прочесть «L'Avenir», который редактируют очень, очень замечательные люди, красноречивый и мужественный голос которых снимает покровы со всех тайн этого времени, такого бурного, но и такого чреватого будущим! Господа Лакорден и де Монталамбер находят пророческие, глубокие и полные вдохновения слова! Они молоды, и кажется, что провидение избрало их такими для того, чтобы их душа, полная энергии, силы и еще чистая, была лучше способна выражаться правдиво, убежденно и с увлечением.

Вы, несомненно, читали описание празднеств по случаю трех славных июльских дней[2]. Лакордер говорит по поводу празднества в Пантеоне, где было все, кроме религиозных чувств и того, что могло их разбудить: *«шуты, которые желают при помощи небытия изобразить вечность»*.

Не берусь утверждать, что утопический социализм сам по себе некоторое время воодушевлял Долли Фикельмон. Она воспринимала его по Ламеннэ в своем уже утопическом сочетании с католицизмом — получалась своего рода утопия в квадрате. Однако знакомство, хотя бы и поверхностное, с ранним социализмом, несомненно, обогатило ее в интеллектуальном отношении.

На это письмо Вяземский 24 августа ответил довольно подробно, как всегда вежливо, но не без наставительной иронии:

«Я ничего не читал в «L'Avenir», но я знаю талант его редакторов благодаря *процессу* «L'Avenir»[3] и разделяю Ваше восхищение перед их красноречием, не разделяя в то же время их доктрин. Мне кажется, что они приписывают католицизму то, что принадлежит всему христианству, из дела человеческого рода они делают дело Рима. Кроме того, признаюсь Вам, что я не люблю мистицизма в политике.

---

[1] Фикельмон, несомненно, имеет в виду участие в Великой французской революции маркиза Марка-Рене Монталамбера, который отказался эмигрировать и сотрудничал с Карно. «Совсем молодой Монталамбер» — граф Шарль де Монталамбер (1810—1871).

[2] Трехдневное восстание в Париже (27—29 июля 1830 года), которое принудило Карла X отречься от престола. Королем был провозглашен герцог Орлеанский, принявший имя Луи-Филиппа.

[3] В пятой записной книжке Вяземского имеются выписки из речи защитника Ламеннэ на этом процессе (П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963, с. 140—141).

Он вырождается в мистификацию. Мир погубили фразы. «Боже, избави нас от лукавого и от образной речи! Иисусе Спасителю, спаси нас от метафоры!» — говорил добрый виноградарь Поль Луи Курье[1]. Науки, политика, дипломатия, религия, все они создали для себя соответственный жаргон, и народ в нем ровно ничего не понимает. Однако именно он является главным собеседником, и вот почему так часто он отвечает невпопад. Сейчас мы присутствуем при крупном разговоре: диалог ужасающе оживленный, а ответы быстрые и кровавые. Посмотрим, за кем останется последнее слово»[2].

Должно быть, Дарья Федоровна немало размышляла над этим письмом своего друга, где религия поставлена в один ряд с наукой, дипломатией и политикой...

Я остановился подробнее на этом эпистолярном обмене мнениями между Фикельмон и Вяземским, так как он может служить прообразом тех политических споров, которые велись в салоне Долли и ее матери. Об их конкретном содержании мы знаем очень немного, а между тем и для биографии Пушкина эти разговоры представляют несомненный интерес, так как поэт наряду с Вяземским и Александром Ивановичем Тургеневым принимал в них участие в течение ряда лет. Судя по разбираемой нами переписке, диапазон «дискуссий», как мы бы сказали сейчас, был очень широк. Возможно, что завсегдатаи салона говорили порой в экстерриториальном посольстве и о такой небезопасной тогда материи, как утопический социализм...

Временное увлечение Дарьи Федоровны идеями Ламеннэ интересно для нас и в другом отношении. Красноречивый аббат в своей газете не только защищал всеобщее избирательное право, свободу печати, союзов и преподавания, а также считал необходимым отделение церкви от государства.

Вяземскому Фикельмон писала только в общей форме о религиозных и историко-философских взглядах Ламеннэ и его сотрудников. Петр Андреевич, как мы видели, с ними в корне не согласен. К католицизму он относился с интересом и уважением, но все же эта форма христианства оставалась для него идейно чуждой. Несмотря на весь свой европеизм Вяземский прежде всего человек убежденно русский (но не славянофил). Он к тому же знатный барин,

[1] Видный французский писатель (1772—1825), блестящий памфлетист. Занимался садоводством как профессионал.

[2] Вяземский, по всей вероятности, имеет в виду общественное движение во Франции, которое перед падением Варшавы проявлялось особенно бурно. В парламенте ряд депутатов требовал немедленного вооруженного вмешательства в пользу поляков. Воинственное настроение и страх перед «варварской Россией», которая, расправившись с Польшей, будто бы намеревается напасть на Францию, проникло даже в крайне консервативную крестьянскую среду.

коренной москвич. В этом отношении характерно его письмо к Фикельмон от 23 ноября 1831 года — последнее письмо из Москвы:

«У нас здесь был ряд довольно блестящих праздников. В этих случаях Москва принимает торжественный вид. Всегда в таких зрелищах есть нечто национальное и народное. Этот Кремль, который господствует над городом, так же как все воспоминания и впечатления, эти волны народа, которые буквально днем и ночью приливают и отливают, следуя за всеми передвижениями царя и царицы, эта связь с землей, этот русский дух, который всюду чувствуется, уносят зачастую мысль за тесные пределы дворца и салона. Здесь чувствуется, что существует неизменная сила, вовсе не искусственная, не вызванная обстоятельствами, и если придают так много значения тому, что ты русский, то, плохо это или хорошо, но ты себя чувствуешь именно в Москве, а не в ином месте».

Вяземский не любил Николая I. Добиваясь ради семьи принятия на государственную службу, с очень тяжелым чувством писал ему незадолго до этого свою покаянную «Исповедь». Республиканцем он в 1831 году, конечно, не был, как не был им и раньше, но было бы ошибкой в его описании народных толп, стремящихся взглянуть на царя и царицу, видеть внезапный прилив верноподданнических чувств. Петр Андреевич только излагает Долли свои впечатления. Зато его, несомненно, искренние строки о Москве — это «исповеданье веры» русского патриота, участника Бородинского боя. Не знаем, какое впечатление они произвели на адресатку...

Однако для Долли Фикельмон Москва, Кремль, соборы,— наверное, и Иван Великий, а может быть, и царь-колокол и царь-пушка — не были только словами. Все это она однажды видела и, конечно, не забыла.

До сих пор едва ли не единственное упоминание о том, что во время путешествия в Россию в 1823 году Е. М. Хитрово с дочерью побывали в Москве, имелось в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 1 октября 1823 года [1].

21 октября Долли Фикельмон пишет оттуда мужу: [2]

«Мы здесь с позавчера, со дня рождения моей милой бабушки[3]. Мы совершили сюда очень долгое и очень скучное путешествие из Петербурга: долгое, потому что дороги ужасны, а ночи так темны, что продолжать путь нет возможности и приходится ложиться спать. Мы потратили ровно

---

[1] Остафьевский архив князей Вяземских, т. II, с. 355. Дату письма, по всей вероятности, следует читать «1 ноября», а не «1 октября».

[2] *Дневник Фикельмон*, с. 31.

[3] Светлейшая княгиня Екатерина Ильинична Голенищева-Кутузова-Смоленская (1754—1824), урожденная Бибикова, вдова фельдмаршала. Екатерина Ильинична, несмотря на свои годы, проводила дочь и внучек на расстояние полутора суток пути.

неделю на этот печальный путь, потому, что расставание (с родственниками.— *Н. Р.)* было крайне грустным, и мы до сих пор подавлены и удручены».

Таким образом, получилось у Елизаветы Михайловны с дочерьми нечто похожее на путешествие Лариных:

И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

В Петербург, как видно из контекста, путешественницы больше не возвращались. С разрешения своего министра Фикельмон выехал им навстречу в Вену. К сожалению, из России маршрута матери и дочерей мы не знаем (может быть, через Киев?), но ясно одно — Долли Фикельмон однажды все же побывала в Москве, совершила очень большое и не очень комфортабельное путешествие по России...

Вернемся снова к переписке Фикельмон и Вяземского в 1830—1831 гг.

В тревожное для обоих корреспондентов холерное время мы, естественно, находим в их письмах лишь немного упоминаний о том, что они читали в эти печальные месяцы. Некоторые из интересных упоминаний я уже попутно привел.

С окончанием эпидемии, пощадившей ее семью, но унесшей немало знакомых людей, Долли снова принимается за книги. Читает и, по обыкновению, философствует: «Мы поглощаем каждую новость, что касается книг. В данное время я читаю то, чего раньше совсем еще не знала,— письма Курье, которые я нахожу остроумнее и лучше написанные, чем письма M-me де Севинье[1],— эти, надо сказать, легкомысленны, но принято считать, что в наш век можно все читать без стеснения. События нравственного порядка, правда, сейчас настолько серьезны, настолько значительны, что не остается возможности увлечься легким чтением.

Благоразумие укрепилось в тени скорби, потому что какой человек с душой живет сейчас не скорбя» (13 октября 1831 года).

«Знаете ли вы, что *Виктор Гюго* написал премилые стихи, полные прелести, гармонии, религиозного чувства? Это молитва, обращенная к его ребенку; в них глубокая набожность, как у Ламартина, но с оттенком горести земной, светской, отчего они еще трогательнее. Я бы вам их послала, если бы не надеялась увидеть вас вскоре здесь — удивительно,

---

[1] M-me де Севинье — Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626—1696), автор ставших классическими писем, большая часть которых адресована ее дочери, M-me де Гриньян (de Grignan).

что автор, любимый *молодой Францией*[1], говорит о боге, как следует говорить о нем» (12 декабря 1831 года)[2].

Интересен отзыв Фикельмон о романе Бенжамена Констана «Адольф», но он тесно связан с вопросом об изучении Дарьей Федоровной русского языка, к которому мы теперь и обратимся. До сих пор по этому поводу было известно лишь часто цитируемое указание Е. М. Хитрово в письме к Пушкину от 9 мая 1830 года: «Г. Сомов[3] дает уроки послу и его жене <...>». Речь шла, несомненно, об уроках русского языка, незнакомого графу и забытого графиней за долгие годы пребывания в Италии[4].

В письмах 1831 года изучению русского языка Долли посвящено немало строк. 4 августа Вяземский в свое, как всегда, французское письмо вставляет три слова по-русски (*«житье-бытье подмосковное»*). Затем он продолжает — снова по-французски:

«После представленных Вами мне доказательств Ваших успехов в изучении русского языка, о которых я мог судить по стилю надписанного по-русски адреса, я ничуть не раскаиваюсь в том, что позволил себе эту двуязычную смесь, которую Вы отлично поймете. Должен Вас все же предупредить, для неприкосновенности моего родового имени, что я не *Сергеевич*, а *Андреевич*, а для чести нашего квартала, что Тверская — это не переулок, а улица, и притом еще одна из самых нарядных; что же касается моего дома, то он скромно приютился в *Чернышевском переулке*[5]. За исключением этих маленьких ошибок, все остальное — верх изящества и орфографии. Я могу только удивляться рассудительности, с которой Вы употребляете букву «ять», этого сфинкса, недоступного для многих наших писателей и для большинства наших государственных мужей. Воздадим за это хвалу Вашей понятливости и отеческим заботам господина Сомова. Если бы я мог раздавать места, я бы сразу назначил Вас министром народного просвещения, будучи твердо уверен в том, что Вы не скомпрометируете ни наших ученых, ни нашу орфографию, за что я не мог бы поручиться в отношении других. Говорят, что император Александр, чтобы избежать трудностей, самодержавно исключил эту букву из своего императорского алфавита: это также значило разрубить Гордиев узел».

---

[1] «Молодая Франция» («Jeune France») — название, которое около 1830 года было дано группе писателей-романтиков, составивших левое крыло школы и стремившихся «поражать буржуазию» («épater les bourgeois»).

[2] Привожу немного измененный перевод П. П. Вяземского.

[3] Орест Михайлович Сомов (1793—1833), литератор, друг Дельвига, знакомый Пушкина.

[4] Н. В. Измайлов. Пушкин и Е. М. Хитрово. В кн.: *Письма к Хитрово*, с. 187.

[5] Набранное курсивом в данном письме по-русски.

Неисправимый насмешник, князь Вяземский не удержался от искушения пустить шпильку по адресу покойного царя, хотя, несомненно, знал, что Дарья Федоровна, как и ее мать, относится к памяти Александра I с благоговением...

В записке, посланной в Москву 13 августа, она сообщила: «Ваш адрес был неправильно написан благодаря маме, которая неверно сказала ваше отчество». Адрес письма от 12 декабря того же года аккуратно и красиво надписан по-русски с должными нажимами:

Его Сиятельству
Милостивому Государю
Князю Петру Андреевичу
Вяземскому
в Москве
Близ Никитской
Чернышевском Переулок
В собственном доме.

Как видим, с русскими падежами Долли тогда еще не справлялась. Этот адрес — единственный образец ее русского почерка среди более чем двухсот фотокопий, полученных мною из ЦГАЛИ.

Надо, однако, сказать, что уверенное и вполне русское написание букв все же свидетельствует о том, что в детстве Даша Тизенгаузен по-русски писать умела. В отношении ее сестры Кати мы это знаем достоверно — будучи маленькой девочкой, она писала дедушке Кутузову и по-русски[1].

13 октября 1831 года Дарья Федоровна пишет Вяземскому о своем русском языке с некоторыми подробностями:

«Пока что я вас благодарю за *Адольфа,* который всегда был одним из моих любимых произведений, хотя герой создан для того, чтобы заранее *разочароваться* во всех молодых людях на свете. Этот образец для подражания размножился, но следует его знать. Я не стану читать «Адольфа» (разумеется, вашего)[2] с учителем и как урок: это было бы средством тотчас же от него устать — прочту одна, долго размышляя. К тому же я уже давно не нахожусь в руках господина Сомова — и даже не беру русских уроков. Не знаю, почему и как, но мое ухо так хорошо привыкает к русскому языку, что, когда наберусь храбрости, чтобы им заняться, я, надеюсь, быстро его выучу[3]. Но побеждать *трудность* все-

---

[1] «Русская старина», 1874, июнь, с. 342. В публикации год написания соответствующего письма М. И. Кутузова (1807), вероятно, указан неправильно — его внучке было тогда четыре года.

[2] Сделанный Вяземским перевод романа Бенжамена Констана вышел в свет осенью 1831 года.

[3] Судя по этой фразе, можно думать, что Фикельмон не только забыла русский разговорный язык, живя в Италии, но, вероятно, и в детстве плохо им владела.

гда является работой, для которой нужно усилие, и столько их надо делать, чтобы идти вперед в жизни, что в самом деле становишься от этого скупой! Жизнь, действительно, самый тяжелый труд! — для нас, по крайней мере, которые видят и чувствуют ее прекрасной, какой она и есть в действительности <...>».

Мы не знаем, сделала ли Долли Фикельмон нужное усилие, чтобы овладеть русской речью... Во всяком случае, в конце 1831 года она, как видно, уже чувствовала себя в силах приняться за самостоятельное изучение русского перевода французского романа, который она, правда, знала в подлиннике.

9 февраля 1839 года она писала мужу из Рима: «Скажи также маме, что каждое утро я провожу час времени с русской грамматикой в руках: я хочу вернуться в Петербург, лучше зная этот язык, чем я его знала уезжая» [1].

Долли, однако, не суждено было больше вернуться в Россию, и мы не знаем, продолжала ли она впоследствии заниматься по-русски. Вряд ли...

Ее дочь, Елизавета-Александра, по-домашнему Елизалекс или Элька, выросшая в Петербурге, свободно говорила по-русски. Зимой 1838/39 года в Риме красивая тринадцатилетняя девочка часами болтала по-русски с начинающим писателем, будущим знаменитым поэтом А. К. Толстым и его матерью. Долли Фикельмон в письме к мужу назвала Толстого «верным обожателем» дочери. Елизалекс не забыла полуродного языка и много позже. 17 сентября 1844 года княгиня Елизавета-Александра Кляри-и-Альдринген пишет тетке, Е. Ф. Тизенгаузен, из Остенде после того, как в Брюсселе встретилась с бельгийским королем Леопольдом I: «Король так добр и трогателен в своем обращении со мной! Он много рассказывал о тебе и, к моему большому удивлению, очень бегло говорил со мной по-русски...» [2]

Вероятно, в свое время Д. Ф. Фикельмон или ее мать позаботились о том, чтобы Элька знала русский язык, что, конечно, было нетрудно сделать, живя в Петербурге.

Мой обзор «ядра» переписки Фикельмон и Вяземского приходится на этом закончить, хотя я далеко не исчерпал всех материалов, имеющихся в их письмах 1830—1831 гг. [3]. Однако многочисленные встречи и разговоры князя и графини с рядом лиц, большею частью малоизвестных или вовсе неизвестных, сейчас интереса не представляют. Они к тому же потребовали бы обширных и сложных комментариев. Точно

---

[1] *Дневник Фикельмон.*

[2] *Сони,* с. 75. Будучи принцем Саксен-Кобургским, Леопольд I служил некоторое время в русской армии.

[3] Как уже было сказано, все упоминания о Пушкине будут рассмотрены в следующем очерке.

так же в наше время вряд ли для кого-нибудь существенно знать, какие именно поручения Долли по части покупки материй, шарфов и каких-то соломенно-желтых крестьянских юбок, вероятно, предназначенных для маскарада, любезный Петр Андреевич Вяземский выполнял в Москве.

Итак, будем считать «ядро» достаточно исследованным.

Однако переписка Фикельмон с Вяземским после возвращения его в Петербург продолжалась еще много лет, правда, с большими перерывами. К сожалению, за все это время, как уже было упомянуто, мы знаем лишь петербургские записки Долли, часть которых можно датировать, и несколько ее писем из-за границы. Последнее из них помечено 13 декабря 1852 года. Ни одного ответа Вяземского, кроме мною разобранных, пока не известно.

Петр Андреевич вернулся в столицу 25 декабря 1831 года. Уже 27 декабря он пишет жене: «Разумеется, видел и благоприятельницу Элизу и дочку ее»[1].

В свою очередь, Долли Фикельмон отмечает в дневнике 30 декабря 1831 года: «Вяземский также приехал из Москвы. Я очень этому рада; он прелестен как светский собеседник; это умный человек, и я с ним в дружбе».

3 февраля 1832 года она снова вспоминает о князе: «Вяземский ворчун, не знаю почему, но мне это безразлично; я уже обращаюсь с ним как приятельница и не разговариваю, когда он мне надоедает»[2].

Несколько раньше, по-видимому, в первых числах января того же года, Дарья Федоровна пишет князю: «Что касается моего бала, который состоится только около половины января, я предоставляю вам полную свободу в отношении выбора ваших протеже <...> Мое расположение к вам, дорогой Вяземский, стало настоящей и нежной привязанностью сердца. *Долли*».

«Влюбленная дружба» в это время, видимо, еще продолжается... Однако Дарья Федоровна считает порой, что ее приятель чересчур церемонен. Примерно в это же время[3] она пишет ему: «Ваша вчерашняя записка, дорогой Вяземский, *почти что* меня рассердила! Разве нужно между друзьями столько извинений и фраз? Я гораздо более доверчива, так как была уверена в том, что вы не пришли, потому что не *могли!*»

Весь март месяц 1832 года у Вяземского прогостила в

---

[1] *Звенья*. IX, с. 227.

[2] Цитаты из дневника за 1832 и последующие годы приводятся в моем переводе из венской работы А. В. Флоровского «Дневник графини Д. Ф. Фикельмон».

[3] В записке упоминается о присылке газеты «L'Avenir», обещанной Вяземскому еще во время его пребывания в Москве. Последний номер этой газеты вышел 15 ноября 1831 года.

Петербурге его старшая дочь Мария, которой в это время было восемнадцать лет. 10 марта Долли пишет Петру Андреевичу: «...не сможете ли вы привести ко мне вашу дочь сегодня после обеда, между семью и 8 часами». Из писем Вяземского к жене (которые и позволяют датировать эту записку) мы узнаем, что он исполнил просьбу Фикельмон в отношении дочери, а еще раньше, 7 марта, «возил ее к благоприятельнице Елизе. Она очень приласкала ее» [1].

Понемногу, таким образом, начинается знакомство Фикельмон-Хитрово с семьей Вяземского.

Вера Федоровна с тремя дочерьми — Марией, Прасковьей (Полиной) и Надеждой и сыном Павлом переехала на постоянное жительство в Петербург в октябре (после 10-го) того же 1832 года. Вяземские поселились на Гагаринской набережной в доме Баташова (ныне набережная Кутузова, 32),— считая по-современному, метрах в семистах от особняка Салтыковых. «Добрый сосед», как назвала однажды Фикельмон Петра Андреевича, оказался теперь еще более соседом, чем во время своего одинокого житья на Моховой улице.

Однако топографическая близость, по-видимому, не совпадала больше с внутренней. Вяземский был, конечно, рад семье, по которой он тосковал, но переезд жены в Петербург не мог не изменить характера его отношений с Долли.

Он больше не «соломенный вдовец». Женатого светского человека нельзя приглашать без супруги на танцевальные вечера или загородные поездки. Неудобно также то и дело посылать ему записки. Большинство тех, которые хранятся в ЦГАЛИ, несомненно, получены «холостым» Вяземским.

Многочисленные светские условности властно вступили в свои права.

В общем же, насколько можно судить по отрывочным материалам Остафьевского архива, знакомство семей Вяземских и Фикельмон проходило так, как это было принято в высшем обществе того времени.

Нельзя все же не заметить, что в отношении В. Ф. Вяземской наши эпистолярные материалы особенно скудны, и эта бедность, по-видимому, не случайна.

Сохранилась единственная петербургская записка Фикельмон к жене ее приятеля: «Дорогая княгиня, как себя чувствует дорогой Вяземский? Я сама себя хуже чувствую эти дни, и это мне помешало Вас навестить. *Долли Фикельмон*». Иногда Долли осведомлялась у Вяземского о здоровье жены: «Как себя чувствует княгиня, дорогой Вяземский? Надеюсь, что нога у нее больше не болит, и вы успокоились?» В 1836 или 1837 году Фикельмон еще раз упоминает о Вя-

---

[1] *Звенья*. IX, с. 307, 309.

земской: «Если я не увижу вас и княгиню сегодня ночью в церкви, заранее желаю вам, дорогой друг, радостных и счастливых праздников». Речь идет, по-видимому, о пасхальной заутрене, где всегда бывало множество народу и встретиться со знакомыми было нелегко.

Других упоминаний о Вере Федоровне нет за все пять с лишним лет «знакомства домами». Можно, правда, думать, что петербургская переписка «семейного периода» сохранилась в Остафьеве не полностью. Петр Андреевич тщательно берег даже совсем незначительные записки Долли. Возможно, что его жена поступала иначе.

Из записей Фикельмон мы знаем, что Вяземские не раз встречались с Дарьей Федоровной и ее друзьями. А. В. Флоровский, прочитавший весь петербургский дневник, отмечает:[1]

«С переездом в 1833 г.[2] всей семьи Вяземских в Петербург все ее члены[3] вошли в этот круг знакомых и друзей. Графиня Ф. однажды отметила, что в прогулке большого общества с участием Фикельмон в Шлиссельбург на пароходе приняли участие и жена князя и две дочери (26 июля 1833 г.)».

Таким образом, с внешней стороны все как будто обстояло благополучно — Дарья Федоровна с должным вниманием относилась к семье своего друга. Старшую дочь, Марию, она, по-видимому, полюбила. В одной из записок Долли сообщает Вяземскому, что в пятнадцатую годовщину своей свадьбы (3 июня 1836 года) она пойдет в домашнюю часовню Шереметевых помолиться за Марию[4] и за него.

Добрая и внимательная Долли, конечно, так или иначе отозвалась на тяжелое горе Вяземских — смерть княжны Полины (Прасковьи), угасшей в Риме от чахотки 11 марта 1835 года. Однако дневника в этом году Фикельмон систематически не вела, и мы не знаем, в чем проявилось ее участие к их потере. О могиле Пашеньки Вяземской Дарья Федоровна вспомнила в позднейшем письме к Петру Андреевичу из Рима от 7 января 1839 года. Высказав сожаление, что Вяземский, бывший в то время в Германии, не собрался в Рим, она прибавляет: «Впрочем, я понимаю, что Рим, оставаясь священной и святой землей для вашего сердца, тем не менее жестоко бы его взволновал!»

Пора, однако, сказать и о том, что Фикельмон, хорошо относясь к семье Вяземского, невзлюбила — по крайней мере, на первых порах — его жену. 3 ноября 1832 года она записала в дневнике: «...вот три женщины совсем неподходящие

---

[1] *Флоровский. Дневник Фикельмон*, с. 83.

[2] Следует читать — в 1832 году.

[3] В отношении двух младших детей — десятилетней Надежды и двенадцатилетнего Павла это, вероятно, неверно.

[4] Возможно, в связи с выходом замуж за П. А. Валуева.

для нашего кружка: княгиня Вяземская, госпожа Блудова[1] и Виельгорская[2]», «все эти господа любезнее без своих жен»[3].

Почему Вера Федоровна, к которой много лет с такой дружеской симпатией относился Пушкин, почему она не понравилась Долли, неизвестно. Не знаем мы и того, не сблизилась ли Дарья Федоровна с Вяземской, когда узнала ее поближе. Кажется все же, что в Петербурге она встречалась с княгиней лишь в силу светских обязанностей.

У П. А. Вяземского сохранилось и несколько писем Фикельмон 1852 года. Дарье Федоровне 48 лет, она бабушка четырех внучат (старшей, Эдмее-Каролине, будущей итальянской графине Робилант-Цереальо, уже 10 лет), Петру Андреевичу шестьдесят, Вере Федоровне шестьдесят два. Все старые люди... Летом Вяземские отправились за границу — князю нужно было полечиться в Карлсбаде. Узнав, что он в Дрездене, Дарья Федоровна посылает 26 июня старому приятелю очень сердечное письмо. Приглашая супругов приехать в Теплиц, она пишет: «Передайте княгине, что я ее целую, затем я рассчитываю на нее, чтобы завлечь вас сюда, даже если вы проявите в данном отношении как можно менее доброй воли».

15 августа она обращается к самой Вяземской. Сообщает ей ряд новостей, посылает для Петра Андреевича газеты. Тон письма сердечный, и слова «целую вас» звучат искренне... Судя по содержанию этого письма и следующего, в котором Долли настойчиво просит Вяземских заехать в Теплиц перед возвращением в Россию, супруги раз уже там побывали в течение лета.

Читателей старшего поколения, помнящих обычаи дореволюционной России, вероятно, удивит тот факт, что, приглашая Вяземских приехать в Теплиц, Фикельмон советует им остановиться не в отеле «Почта», а в «Принц де Линь», где комнаты и стол лучше. Казалось бы, что в трехэтажном замке могло найтись место для старых друзей...

Светские обычаи на Западе были, правда, несколько иными, чем в России, но в Чехии, например, такое приглашение, несомненно, означало бы, что гости будут жить в замке.

Долли и ее муж, конечно, не желали обидеть Вяземских, но, видимо по каким-то соображениям, не могли их поместить у себя. Возможно также, что Петр Андреевич и Вера Федоровна сами не сочли удобным остановиться в замке, владельца которого, князя Эдмунда Кляри-и-Альдринген, они раньше не знали.

---

[1] Анна Андреевна (урожд. княжна Щербатова; ум. в 1848 году), жена Д. Н. Блудова, бывшего в это время министром внутренних дел.

[2] Луиза Карловна (урожд. принцесса Бирон; 1791—1853), жена М. Ю. Виельгорского.

[3] *Флоровкий. Дневник Фикельмон*, с. 83.

Во всяком случае, неприязненное отношение Долли Фикельмон к княгине Вяземской, «неподходящей для нашего кружка», можно думать, давно стало делом прошлого. Стареющая Дарья Федоровна, по-видимому, была искренне рада повидать петербургскую знакомую, жену своего друга.

21 октября она пишет из Теплица сестре Екатерине: «Вяземские провели с нами вечер, возвращаясь из Карлсбада»[1].

Это было последнее свидание друзей.

Вернемся теперь снова в Петербург тридцатых годов.

«Ядро» переписки Фикельмон и Вяземского позволило нам установить, что в 1830—1831 годах их отношения были не «романом», а лишь «влюбленной дружбой». Естественно спросить, продолжалась ли такая романтическая дружба и в дальнейшем,— ведь после возвращения Петра Андреевича из Москвы Долли прожила в Петербурге еще более шести лет.

Остановимся сначала на внешней стороне их знакомства в эти более поздние годы. Я уже упомянул о том, что с конца 1831 года Вяземские были почти соседями Фикельмон. В 1834 году Вяземский с семьей переселился на Моховую в дом Быченского (ныне Моховая, 32), по-прежнему от посольства недалеко. Однако с начала 1832 и до апреля 1838 года в архиве Вяземского имеются только петербургские записки Дарьи Федоровны, очевидно доставленные слугами, и ни одного ее почтового отправления.

Зная, как Петр Андреевич берег каждую строчку своей приятельницы, следует думать, что писем от нее за эти годы он действительно не получал[2]. Уже одно это заставляет думать, что «влюбленной дружбы» больше не существовало. О причинах некоторого охлаждения, по-видимому взаимного, судить трудно.

Внешне все как будто остается по-старому. Дарья Федоровна, как и раньше, внимательна и любезна по отношению к Вяземскому. Говорит ему немало хороших слов. В конце февраля 1833 года, перед отъездом по санному пути в Дерпт, она пишет ему: «Если вы хотите что-нибудь передать вашей сестре[3], пришлите мне, что нужно, завтра утром. И приходите со мной повидаться и передать ваши словесные поручения сегодня вечером к маме».

В апреле 1834 года Долли сильно обварила себе ногу кипятком и в течение шести недель была привязана к креслу

---

[1] *Сони*, с. 380.

[2] Не дошедшее до нас соболезнование по поводу смерти Пашеньки Вяземской, вероятно, было адресовано ее матери.

[3] Вдова историографа Екатерина Андреевна Карамзина.

и оттоманке. В числе близких друзей, которых она принимала, немного оправившись, был и Вяземский[1]. К этому времени относится следующая записка Фикельмон: «Неловкость моего швейцара, который не догадался, что вы один из тех, кого я всегда вижу с удовольствием, лишила меня возможности повидать вас вчера. Я больна, так как глупым образом обожгла себе ногу,— приходите сегодня повидать меня ненадолго, прошу вас. *Долли Фикельмон*».

Вероятно, как это часто бывает, последствия ожога сказались не сразу, но постепенно развились воспаление и нагноение. Можно поэтому к этим неделям отнести еще две записки. В одной Долли сообщает: «Ваша записка и книга застали меня очень больной, но им я обязана радостным и приятным впечатлениям. Я еще далека от того момента, когда смогу вас увидеть, дорогой друг, но на днях вы будете одним из первых, кого я к себе попрошу».

Во второй записке мы находим уже литературные размышления Фикельмон: «Возвращаю вам вашего ужасного Сент-Бева <...>[2]. Я продолжаю сильно болеть, дорогой Вяземский,— неприятное это время, так как оно лишает меня радости видеть друзей. А вы один из тех, о ком я больше всего сожалею!»

Да, приятельские записки, по-старому приятельские отношения.

Сейчас у нас есть также иконографическое подтверждение того, что в 1834 году Долли интересовал Петр Андреевич.

В своей новой книге Нина Каухчишвили опубликовала карандашный рисунок[3] — портрет Вяземского, обнаруженный ею, по-видимому, во второй тетради дневника Дарьи Федоровны. Судя по очень крупной подписи рукой Фикельмон: «Prince Wiasemsky, 1834», рисунок значительно увеличен. Если это работа самой Долли, что весьма вероятно, то приходится признать, что у нее были немалые художественные способности. Рисунок очень уверенный, можно сказать, профессиональный. Сходство передано отлично. Грустное, серьезное лицо князя, вероятно, отображает его душевное состояние перед отъездом за границу. Болезнь Пашеньки усиливалась...

Около (не позднее) 26 июля 1834 года Пушкин писал жене из Петербурга: «Княгиня (Вяземская.— *Н. Р.*) едет в чужие края, дочь ее больна не на шутку; боятся чахотки.

---

[1] *Флоровский. Дневник Фикельмон*, с. 70.

[2] Сент-Бев Шарль Огюстен (1804—1869). В молодости — видный романтический поэт, писавший под псевдонимом Жозеф Делорм. Постепенно он стал крупнейшим литературным критиком. Пушкин высоко ставил его ранние поэтические произведения и в письме от 19—24 мая 1830 года просил Е. М. Хитрово прислать ему в Москву один из сборников Сент-Бева. В 1834 году этот поэт выпустил сборник «Volupté» («Наслаждение»), который, вероятно, и вызвал резкий отзыв больной Фикельмон.

[3] Между с. 82 и 83.

Дай бог, чтобы юг ей помог. Сегодня видел во сне, что она умерла, и проснулся в ужасе».

3 августа он снова пишет Наталье Николаевне: «Вяземские здесь. Бедная Полина очень слаба и бледна. На отца жалко смотреть. Так он убит. Они все едут за границу. Дай бог, чтобы климат ей помог».

Итак, отношения Фикельмон и Вяземского остались прежними... Нет, перестаешь верить этому, когда читаешь некоторые записки Фикельмон и особенно письма Вяземского к жене, отправленные в начале августа 1832 года.

«Сударь! Сударь! [1] — пишет Фикельмон князю.— Разве для этого нужно было столько доказательств и даже лести! Нужно было, если «дорогой друг, сделайте мне удовольствие и пригласите моих друзей», я бы и так это сделала.

Я вычеркнула Оболенских, потому что народа и так слишком много, но, ради вас, приношу себя в жертву».

Эта записка, видимо, относится к одному из больших балов в австрийском посольстве, скорее всего, зимой 1832/33 или 1833/34 годов[2]. Надо сказать, что такое сердитое послание хозяйки дома было бы неприятно для получателя и в менее избранном кругу. Долли к тому же, вероятно, знала, что Оболенские, за которых просил Вяземский,— его родственники. Напомним, что в начале 1832 года Фикельмон, обрадованная возвращением Петра Андреевича из Москвы, писала ему по тому же поводу совсем иначе: «...предоставляю вам полную свободу в отношении выбора ваших протеже...»

Быть может, приведенная здесь довольно нелюбезная записка — отзвук серьезной размолвки между Фикельмон и Вяземским, которая произошла в августе так дружески начавшегося 1832 года.

Приходится на этом небольшом происшествии остановиться подробнее.

В воскресенье 5 августа Долли прислала Петру Андреевичу следующую записку: «Дорогой Вяземский, сегодня я должна была иметь удовольствие пообедать с вами у нас, но я прошу вас отложить это на вторник. Фикельмон был принужден пригласить на сегодня всех наших австрийских военных, которые завтра уезжают,— для вас это было бы неинтересно, а меня очень бы стеснила невозможность поговорить с вами, как я бы хотела.

---

[1] Monsieur! Monsieur! — единственное обращение к Вяземскому во всей нам известной переписке Фикельмон. Возможно, впрочем, что она решила пошутить.

[2] Зиму 1834/35 года Вяземские провели в Риме, где, как мы знаем, 11 (23) марта 1835 года скончалась их дочь Полина. Следующая зима была для их семьи траурной.

Итак, дорогой друг, приходите во вторник и, так как мы обедаем в пять, приходите на полчаса раньше, чтобы я могла с вами вволю поговорить перед обедом».

Долли, несомненно, не хотела обидеть Вяземского, которого считала близким другом. Объяснила откровенно — неожиданно пришлось в тот день устроить официальный обед австрийских офицеров. Умолчала, конечно, о том, что присутствие на нем постороннего русского гостя могло быть и политически неудобным...

Умный и тонкий человек, Вяземский мог бы это понять и пойти навстречу своей приятельнице, которая попала в довольно неприятное положение. Друзья ведь...

Мог бы понять, но совершенно не понял, жестоко обиделся (хотя и отрицал это) и в письме к жене очень резко и несправедливо отозвался о Фикельмон. 9 августа он пишет Вере Федоровне[1]: «В общежитии есть замашки, которые задевают и наводят тошноту <...> Те самые, которые со мною очень хорошо запросто, там где чин чина почитает, обходятся со мной иначе. Часто видишь себя на месте какого-нибудь домашнего человека, танцмейстера, которого сажают за стол с собой семейно, а когда гости, ему накрывают маленький столик особенно или говорят: приди обедать завтра. Я заметил нечто похожее на то и там, где никак не ожидал, а именно у Долли <...> Я дал почувствовать Долли, что не могу не гнушаться такою подлостью, и дал бы почувствовать более, если не ваши сиятельства, которых ожидаю сюда и которым должен я, однако ж, приготовить несколько гостиных, куда можно будет вам показаться».

Петр Андреевич продолжает по-французски: «Я ожидаю испытания тебе при твоей щепетильности — и ты мне сообщи новости об этом. Приготовься быть часто и чувствительно оскорбляемою. Я тебя уверяю, что здесь вовсе нет умения жить»[2].

Перейдя снова на русский язык, он спешит уверить жену, что с Фикельмон не поссорился: «...сегодня еще утром был у них по-прежнему и опять к ним иду».

Пусть так... Но как далеко от почти благоговейного отношения Вяземского к Долли в его московских посланиях 1831 года до этого обиженно-расчетливого письма! Не поссорился, не порвал отношений, чтобы жене и дочерям было где появиться в «большом свете»...

Не удивительно, если после предупреждения о возможности оскорблений Вера Федоровна на первых порах, а может быть, и во все время петербургского знакомства была сдержанна и довольно суха с графиней Фикельмон.

---

[1] *Звенья*, IX, с. 431—432.

[2] Перевод М. С. Боровковой-Майковой.

Положение ее мужа — не в особняке Салтыковых, а в русском светском и чиновном Петербурге начала тридцатых годов,— можно думать, действительно было довольно ложным. Знатный барин, известный всей читающей России поэт, но состояние расстроено, а надо достойно содержать большую семью. В вольнодумных заблуждениях пришлось раскаяться, но в искренность раскаяния не верят ни власти предержащие, ни сам неисправимый вольнодумец и оппозиционер Вяземский. Пришлось и на скучнейшую службу поступить — не по своему выбору, а по усмотрению царя. И расшитый золотом мундир камергера с положенным ему ключом вряд ли радует бывшего «декабриста без декабря»...

Вероятно, постоянно ущемляемое самолюбие Петра Андреевича и побудило его так болезненно отозваться на совсем, по существу, не обидное письмо Долли. Мне думается, кроме того, что в Вяземском, несмотря на весь его европеизм, заговорил русский аристократ, никогда еще не бывавший за границей. Восхищался, восхищался простотой и даже «простодушием» Фикельмон, а, в конце концов, разобиделся на приятельницу, с одиннадцати лет привыкшую к другим формам общения, чем те, которые были приняты в тогдашней России.

Как отнеслась к этому происшествию сама Дарья Федоровна, мы не знаем. Если в ее дневнике есть соответствующая запись, то до настоящего времени она остается неопубликованной. А. В. Флоровский, ссылаясь на рассмотренные нами письма Вяземского к жене, считает, что «прежняя дружба осталась непотрясенной» [1].

Полностью я с этим согласиться не могу. Петр Андреевич не поссорился с Долли, хотя до разрыва было очень недалеко. Приятельские отношения сохранились — записки Долли, относящиеся к 1834 году, и портрет Вяземского в ее дневнике подтверждают это с несомненностью. Однако о «влюбленной дружбе», на мой взгляд, больше говорить не приходится.

Годы 1829—1831 были для Долли, по крайней мере отчасти, годами Вяземского. Начиная со второй половины 1832 года Петр Андреевич — только один из ее многочисленных русских и иностранных друзей.

Таковы же, по-видимому, примерно с этого времени и чувства Вяземского, по-прежнему дружеские, но уже далекие от тех, о которых он так подробно и красноречиво говорил в своих московских письмах.

Не думаю, чтобы незначительный сам по себе эпизод с обедом в посольстве послужил основной причиной изменения отношений между Вяземским и Фикельмон. Была причина более существенная — два умных, тонких, образованных человека оказались все же людьми очень разными и до

---

[1] *Флоровский. Дневник Фикельмон*, с. 82.

конца друг друга не понимали. Стоит вспомнить, например, отзыв Вяземского о мнимом простодушии Долли...

Кроме того, как мне кажется, «влюбленная дружба», своего рода «балансирование на грани любви», по самой своей природе вообще долго продолжаться не может. Либо она обращается в любовь, либо становится просто дружбой.

С Вяземским и Фикельмон, несомненно, случилось последнее.

Сделав эту эволюционную оговорку, мы можем все же присоединиться к мнению Нины Каухчишвили: «Дружба с Вяземским была одной из самых крепких в годы, проведенные (Долли.— *Н. Р.*) в Петербурге, и оставалась таковой в течение всей жизни»[1].

Мне остается сказать несколько слов о письмах Шарля-Луи Фикельмона к П. А. Вяземскому. В ЦГАЛИ хранятся четыре собственноручных письма графа и одна копия, снятая Д. Ф. Фикельмон. Письма не датированы, но, судя по тому, что о Долли в них не упоминается, эти петербургские послания относятся уже ко времени после отъезда Дарьи Федоровны за границу. Сколько-нибудь существенного интереса они не представляют. Свидетельствуют лишь о том, что Фикельмон любезно и внимательно относился к другу своей жены и поддерживал с ним отношения.

Сохранился целый ряд записок Дарьи Федоровны, в которых она от имени супруга приглашает Вяземского на обеды в интимном кругу. Есть в ее записках просьбы навестить больного мужа и т. д. В свою очередь, граф Фикельмон в первые же дни после несчастного случая с Вяземским побывал у него вместе со многими другими знакомыми Е. М. Хитрово навещала больного ежедневно; Долли была тогда нездорова.

Еще раньше, в первые же недели знакомства, Вяземский, как мы знаем, сообщал жене о ласковом отношении к нему как графини, так и графа Фикельмон[3].

Все же сведения, которыми мы располагаем, позволяют считать Вяземского и Шарля-Луи лишь хорошими знакомыми, но не друзьями. В письмах посла к Петру Андреевичу о дружеских чувствах не упоминается ни прямо, ни косвенно.



---

[1] *Дневник Фикельмон,* с. 70.
[2] Письмо Вяземского к жене от 9 июня 1830 года (*Звенья,* VI, с. 270).
[3] *Звенья,* с. 220.




Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА

I

Долли Фикельмон, несомненно, была женщиной выдающейся. По силе ума и широте интересов мало кто из приятельниц Пушкина мог с ней сравниться. Обладала она и немалой литературной культурой. Сама, как показывают ее дневник и письма, владела пером.

Можно, таким образом, считать что Дарья Федоровна была душевно подготовлена к знакомству с великим поэтом. Неизвестно, однако, читала ли она Пушкина до приезда в Петербург. Вернее все же считать, что только слышала о нем. Жила ведь душа в душу с матерью, живо и горячо интересовавшейся отечественной литературой. Однако, проведя много лет в Италии, Долли, как мы знаем, почти забыла родной язык и вообще оторвалась от России, которую и в детстве знала очень мало. В ее известных нам записках флорентийского и неаполитанского времени ни о Пушкине, ни о других русских писателях не говорится ни слова.

Елизавета Михайловна Хитрово со старшей дочерью вернулись в Россию скорее всего в начале 1826 года[1], и, вероятно, как я уже упомянул, летом следующего года началось ее личное знакомство с поэтом. Приехав в Петербург, Дарья Федоровна не могла не узнать, хотя бы отчасти, какое место Пушкин вскоре занял в душевном мире ее матери. По словам Н. В. Измайлова, «она всею душою отдалась поэту, перенесла на него во всей полноте ту «неизменную, твердую, безусловную дружбу, возвышающуюся до доблести», о которой говорит князь Вяземский. Конечно, здесь была не только дружба — здесь было и поклонение великому поэту, славе и гордости России, со стороны патриотически настроенной наследницы Кутузова, и материнская заботливость о бурном, порывистом,

[1] См. очерк «Фикельмоны», с. 98.

неустоявшемся поэте, бывшем на шестнадцать лет моложе ее, и, наконец,— страстная, глубокая, чисто эмоциональная влюбленность в него как в человека. Последнее — по крайней мере в первые годы — господствовало над остальным»[1].

Есть основание думать, что молодой одинокий поэт не сразу отверг эту страсть стареющей женщины. Впоследствии, до самой смерти, он ценил в Елизавете Михайловне вдумчивого и верного друга, одного из самых верных своих друзей.

В 1925 году в бывшем дворце Юсуповых в Ленинграде, том самом, где девятью годами раньше убили Распутина, было найдено двадцать шесть писем Пушкина к Хитрово и одно письмо к Е. Ф. Тизенгаузен. Эта замечательная находка показала, как высоко ценил Пушкин общение с матерью Фикельмон. В своих письмах к ней поэт обсуждает ряд волновавших его политических и общественных вопросов, делится литературными новостями, откровенно сообщает о своих душевных переживаниях.

Но спокойные, дружеские отношения Пушкина и Хитрово установились уже после его женитьбы. Приехав с мужем в Петербург летом 1829 года, Долли застала еще тот тягостный для поэта период, когда Елизавета Михайловна была в него влюблена и добивалась взаимности.

Останавливаться на этом романе мы не будем, но упомянуть о нем нужно, чтобы яснее представить себе обстановку, в которой началось знакомство Пушкина и Долли Фикельмон.

Благодаря опубликованию дневника Долли Фикельмон можно значительно уточнить время ее первой встречи с поэтом. До относительно недавнего времени пушкинисты считали, что чета Фикельмон прибыла в Петербург во второй половине января 1829 года, а знакомство Пушкина с женой австрийского посла началось еще до его отъезда в Москву (8 марта) и оттуда на Кавказ, то есть между концом января и началом марта. Однако Долли в это время еще не было в Петербурге. В январе состоялось лишь назначение Фикельмона, а приехал с женой он из-за границы в Варшаву, как уже было упомянуто, лишь в ночь с 30 июня на 1 июля. Пушкин в это время был в только что взятом Эрзеруме. В столицу он вернулся в начале ноября и, вероятно, вскоре же познакомился с Дарьей Федоровной. Возможно, что встреча произошла в салоне ее матери, которая в это время жила отдельно от дочери-посольши.

Исследователи считают, что самое раннее упоминание фамилии Фикельмон имеется у Пушкина в т. н. «арзрумской» рабочей тетради[2]. По-видимому, это список лиц (на французском языке), к которым следует съездить и т. п.: «Гурьев

---

[1] *Письма к Хитрово*, с. 173—174.

[2] *ИРЛИ*.

[вероятно, Александр Дмитриевич, сенатор], Ланжерон [генерал граф Александр Федорович], князь С. Голицын [Сергей Михайлович, попечитель Московского учебного округа], Фикельмон».

Судя по положению записи в тетради, пушкинисты относят этот список к ноябрю — декабрю 1829 года. По-видимому, Пушкин в это время еще не знал правильной транскрипции фамилии графа Шарля-Луи и писал ее «Fickelmont». Это подтверждало бы отнесение списка к самому началу знакомства. Возникает, однако, значительное затруднение — граф Ланжерон приехал в Петербург лишь в начале 1831 года[1]. Таким образом, либо датировка записи неверна, либо Ланжерон приезжал в Петербург неоднократно (в 1830 году он некоторое время жил в Москве)[2]. Мне кажется более вероятным последнее предположение.

В другом списке лиц в той же тетради на первом месте стоит: «Дворцовая набережная: Австрийскому посланнику — 2». По весьма правдоподобному предположению М. А. Цявловского этот второй список заключает фамилии лиц, которым Пушкин наметил послать свои визитные карточки к Новому 1830 году. Он датируется, по-видимому, между 23—24 декабря 1829 года и 7 января 1830 года[3]. Прибавим лишь, что если речь действительно идет о визитных карточках, то они, по обычаю, были разосланы за несколько дней перед Новым годом.

Во всяком случае, в начале декабря 1829 года Пушкин, думается, уже был знаком с супругами Фикельмон. Об этом свидетельствует запись в дневнике Долли от 11 декабря этого года. Текст ее, сверенный с фотокопией соответствующей страницы[4], привожу в более полном виде, чем это сделал А. В. Флоровский, так как опубликованная им выдержка, взятая вне контекста, как мне кажется, не вполне точно передает мысли автора дневника: «Вчера, 10-го, у нас был второй большой дипломатический обед. Теперь у нас всегда бывает довольно много гостей на наших вечерних приемах по понедельникам, четвергам и субботам, но петербургское общество мне еще не нравится. *Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра;*[5] *он происходит от африканских предков —*

---

[1] *Письма к Хитрово*, с. 61.

[2] Там же.

[3] М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер-Цявловская. Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 322—323.

[4] Приношу благодарность директору Архивного управления Чехословакии инженеру Ярославу Свобода (Прага), приславшему мне, по просьбе Сильвии Островской, отличный микрофильм части дневника Фикельмон.

[5] Это выражение не оригинально, оно встречается у Вольтера и, повидимому, было ходовым во французском языке.

в цвете его лица заметна еще некоторая чернота и есть что-то дикое в его взгляде[1].

Сейчас один из самых обычных разговоров в салонах — это спор о двойном ребенке, родившемся в Сардинии и умершем в Париже в возрасте 9 месяцев...» (Посетители салонов спорили о том, была ли у сросшихся девочек-близнецов Риты и Христины одна душа или две.)

На мой взгляд, нет оснований считать, что Пушкин присутствовал на обеде, который Фикельмоны дали петербургскому дипломатическому корпусу, тем более что в это время он был еще лицом совершенно не официальным. Судя по контексту записи, отзыв о его очаровательной манере говорить относится ко времени, когда поэт бывал на обычных вечерних приемах у Фикельмонов. Дат их мы не знаем, но во всяком случае, по существовавшим и тогда и позже светским обычаям, прежде чем начать бывать в доме, поэт должен был сделать Фикельмонам дневной визит.

По поводу первой записи Долли о Пушкине хочется привести несколько соображений.

«Смесь наружности обезьяны и тигра...» — Дарья Федоровна, несомненно, не сама додумалась до этой экзотической характеристики. Так поэт однажды назвал себя сам в шуточном протоколе собрания товарищей по Царскосельскому лицею 19 октября 1828 года. Возможно, что это было его давнишнее прозвище, хорошо известное друзьям и через них дошедшее до графини.

Надо сказать, что Фикельмон, по-видимому, преувеличивала некрасивость Пушкина. Некрасивым он был — большинство портретов, можно думать, приукрашены, но голубые глаза поэта были подлинно прекрасны[2].

Однако Дарья Федоровна, резко отозвавшись о наружности Пушкина, верно почувствовала очарование его блестящей беседы. Брат поэта, Лев Сергеевич, говорил, что его разговоры с женщинами «едва ли не пленительнее его стихов»[3]. Хотелось бы нам знать: о чем же Пушкин говорил на приемах у Фикельмонов с таким увлечением и огнем? К сожалению, Долли не записывала его слов. Многое, очень многое могла

---

[1] Курсивом напечатана часть записи, опубликованная А. В. Флоровским и переведенная Н. В. Измайловым (Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон.— *Врем. ПК*. М.—Л., 1963, с. 33).

Дальнейшие упоминания о Пушкине в дневнике Д. Ф. Фикельмон приводятся в переводе Н. В. Измайлова.

[2] Любопытно мнение о наружности Пушкина В. И. Анненковой, урожденной Бухариной. Она считала, что поэт «изысканно и очаровательно некрасив».

[3] П. И. Бартенев. Рецензия на книгу F. de Sonis.— «Русский архив», 1911, сентябрь, 2-я обложка.

она сохранить для истории из бесед поэта, встречаясь с ним в течение семи с лишним лет. Могла, но не сохранила...

Тот факт, что Пушкин познакомился с Фикельмон лишь в ноябре 1829 года, позволяет думать, что между ними быстро установились дружеские отношения.

Давно уже была найдена недатированная записка Дарьи Федоровны к Пушкину, которую предположительно относили к зиме 1829/30 года. Долли писала:

«Решено, что мы отправимся в нашу маскированную поездку завтра вечером. Мы соберемся в 9 часов у матушки. Приезжайте туда с черным домино и с черной маской. Нам не потребуется ваш экипаж, но нужен будет ваш слуга — потому что наших могут узнать. Мы рассчитываем на ваше остроумие, дорогой Пушкин, чтобы все это оживить. Вы поужинаете затем у меня, и я еще раз вас поблагодарю. *Д. Фикельмон.*

Суббота.

Если вы захотите, мама приготовит вам ваше домино».

В петербургском дневнике дата этой поездки приведена точно. 13 января 1830 года Дарья Федоровна записывает:

«Вчера, 12-го, мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин [гр. Е. Ф. Тизенгаузен], г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин [вероятно, Григорий Яковлевич] и Фриц [Лихтенштейн, сотрудник австрийского посольства]. Мы побывали у английской посольши [леди Хейтсбери], у Лудольфов [семейство посланника Обеих Сицилий] и у Олениных [А. Н. и Е. М.]. Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен».

Ряженые, надо думать, по тогдашнему обычаю, ехали все вместе в больших санях-розвальнях. Присмотримся к ним поближе — попробуем узнать на этом примере, с кем Пушкин встречался у австрийского посла.

Трех дам — Елизавету Михайловну и ее дочерей мы знаем достаточно. С фамилией госпожи Мейендорф мы встречались уже в одной из записок Долли к Вяземскому. В последних числах апреля 1830 года она приглашала Петра Андреевича прийти вечером, чтобы попрощаться с Мейендорф, уезжавшей вместе с мужем в Париж. С Елизаветой Васильевной Мейендорф, урожденной д'Оггер (d'Haugeur), Фикельмон была знакома во всяком случае менее года, но, судя по многочисленным упоминаниям в дневнике, несомненно, полюбила эту привлекательную, жизнерадостную женщину.

В зимнюю маскарадную ночь в обществе молодых красавиц поэт, вероятно, был в ударе. Смеялся сам и заставлял смеяться других. Смеялся, конечно, и голландский посланник барон Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард, тот самый

Геккерн[1], который впоследствии сыграл до конца не ясную, но, несомненно, враждебную роль в последней драме поэта. Любопытно, что, познакомившись с ним, Фикельмон со всегдашней своей проницательностью буквально через несколько дней после приезда в Петербург (8. VII. 1829) отзывается о Геккерне весьма отрицательно: «...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь его считают шпионом г-на Нессельрода — такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер». Почему же, однако, через несколько месяцев «личность» попала в эти веселые сани? Сумела, видимо, понемногу понравиться своим остроумием, умением болтать с дамами, житейской уверенной ловкостью. Через неделю после поездки, 22 января 1830 года, Долли записала: «...я очень привыкла к его обществу и нахожу его остроумным и занятным; не могу скрыть от себя, что он зол,— по крайней мере в речах, но я желала бы и надеюсь, что мнение света несправедливо к его характеру».

В дневнике за 1830 год есть и другие записи, благоприятные для голландского посланника. 9 февраля, например, Фикельмон на балу у холостяка Геккерна принимает в качестве хозяйки его гостей, в числе которых были император и императрица. Однако в скором времени она, вероятно, снова переменила свое отношение к Геккерну. В 1830 году он — желанный гость ее салона, а начиная со следующего года и вплоть до гибели Пушкина (за исключением одного малозначительного упоминания в 1832 году) его фамилия совершенно исчезает со страниц дневника Долли. Напомним кстати, что голландский посланник, которого через немного лет некоторые называли «старик Геккерен», в действительности совсем еще не стар: он всего на восемь лет старше Пушкина.

Об атташе австрийского посольства князе Фрице Лихтенштейне (1802—1872), ставшем в Петербурге как бы членом семьи Фикельмонов, можно только сказать, что Пушкин встречался с ним очень недолго — 23 марта 1830 года князь уехал в Австрию. Все же следовало бы когда-нибудь взглянуть на бумаги его потомков. Может быть, молодой дипломат и описал свои, вероятно неоднократные, встречи с русским поэтом[2].

---

[1] Я пользуюсь транскрипцией «Геккерн», принятой в настоящее время Пушкинским домом, сохраняя традиционное написание «Геккерен» в цитатах.

[2] Пушкин, несомненно, встречался и еще с одним чиновником австрийского посольства князем Францем Лобковицем, молодым еще человеком (родился в 1800 году), несколько прикосновенным к литературе. Опубликованные части дневника показывают, что Лобковиц, приехав в Петербург в августе 1829 года, во всяком случае, продолжал служить в посольстве до конца 1832 года.

Незадолго до конца войны я познакомился в Праге с правнуком его брата, Яном Лобковицем, который обещал мне со временем показать хранившиеся у него бумаги дипломата. К сожалению, замок его был реквизирован гитлеровцами, и этот источник, быть может, также интересный, остался для меня недоступным.

Остается офицер кавалергардского полка Скарятин — Григорий Яковлевич или его брат Федор,— сын одного из убийц отца царствующего императора. Надо сказать, что и сам цареубийца, Яков Федорович, шарфом которого задушили Павла, бывал у австрийского посла. Как рассказывает Пушкин в своем дневнике, в 1834 году на балу у Фикельмонов Николай I «застал наставника своего сына (Жуковского) дружелюбно беседующего с убийцей его отца». Посол не знал о прошлом Якова Федоровича Скарятина и удивился странностям русского общества (запись 8 марта).

Григорий Скарятин много лет был близким другом Дарьи Федоровны и ее сестры.

Вернемся, однако, к розвальням с веселой великосветской компанией, которые подъезжают то к одному, то к другому особняку. В санях есть еще двое — неведомый нам возница и слуга Пушкина. Вероятно, это его неизменный Никита Тимофеевич Козлов, который носил когда-то на руках малютку Александра, был при поэте в его южной и северной ссылках, служил ему в Петербурге. Но только однажды, в Кишиневе, поэт мельком упомянул имя своего преданного слуги:

Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.

В посольские особняки мы вслед за ряжеными не пойдем, но к Олениным заглянем. Речь ведь идет о президенте Академии художеств и директоре императорской Публичной библиотеки Алексее Николаевиче Оленине и его жене Елизавете Марковне. В их гостеприимном доме Пушкин часто бывал в послелицейские годы. Оленин, обладавший большими связями, вместе с Жуковским хлопотал за Пушкина, когда в 1820 году ему грозила ссылка в Сибирь. В это время Анна Оленина, младшая дочь Алексея Николаевича, была двенадцатилетней девочкой. Проведя семь лет в изгнании, поэт вернулся наконец в столицу и осенью или ранней зимой 1827 года увидел Анну Алексеевну уже девятнадцатилетней девушкой. Пушкин влюбился в нее. В 1828 году он создал цикл стихов, связанный с Олениной. О ее глазах писал:

Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

Летом 1828 года Пушкин сделал предложение Анне Алексеевне, которая ценила его гений, но к Пушкину-человеку, как кажется, была равнодушна. Подробностей этой попытки мы не знаем. Окончилась она неудачей — предложение было отвергнуто родителями, знавшими, что в это время над Пушки-

ным был учрежден секретный надзор полиции. Видный сановник, член Государственного совета, Оленин не пожелал выдать дочь за «неблагонадежного сочинителя».

Следовало ожидать, что после неудачного сватовства Пушкин, по существовавшему и тогда и много позже обычаю, перестанет бывать у Олениных. Кроме того, по-видимому, в 1829 году до него дошел какой-то обидный отзыв Анны Алексеевны, самолюбие поэта, по крайней мере на время, было задето, и вот в черновиках восьмой главы «Евгения Онегина», написанных в декабре этого года, Оленина выведена под именем Лизы Лосиной, при появлении которой Онегин приходит в ужас. Она

Уж так жеманна, так мала,
Так неопрятна, так писклива,
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость...

Сам Оленин в это время для Пушкина

О двух ногах нулек горбатый...

При таких настроениях поэта совсем уже нельзя было предполагать, что 12 января 1830 года он в домино и маске войдет в дом Алексея Николаевича. Своей, несомненно, точной записью Фикельмон задала нам нелегкую загадку. Впрочем, разгадка, быть может, в том и заключается, что Пушкин был замаскирован. Отказываться от интересной поездки не хотелось. Надеялся, что не узнают, но ошибся.

Тому, что старых знакомых — Елизавету Михайловну и Пушкина — тотчас узнали в доме Олениных, удивляться не приходится. Что касается Хейтсбери и Лудольфов, то, очевидно, в начале 1830 года поэт уже был хорошо знаком с семьями этих дипломатов, о чем раньше сведений не было[1].

Потом вся компания ужинала в австрийском посольстве. Хозяин дома отсутствовал,— он в тот вечер был в гостях у царя. Не будем гадать о том, испортилось ли настроение поэта от того, что его узнали всюду... В малой столовой посольства, наверное, снова было много шуток и смеха и, конечно, немало шампанского.

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино...—

в принятых тогда узких бокалах искрилось, пенилось, помогало забыть разные житейские неприятности. Блестели чу-

---

[1] В публикации А. В. Флоровского, как показывает фотокопия соответствующей страницы дневника, дважды повторенное слово «partout» (всюду) было прочитано неправильно, что несколько изменило смысл отрывка. Можно было предположить, что Пушкина опознали только у Олениных, что я и сделал в книге «Если заговорят портреты».

десные бархатистые глаза Фикельмон. Ничто не говорит о том, что поэт увлекался ею в это время, но не любоваться умной красавицей он вряд ли мог.

Итак, через два месяца после начала знакомства Пушкин для Долли уже свой человек.

Быстрому сближению Фикельмон с Пушкиным удивляться не приходится. Для Долли он прежде всего давнишний приятель ее матери. Замечала ли Долли Фикельмон, что Елизавета Михайловна трогательно влюблена в Пушкина? Вероятно, старалась не замечать.

В жизни поэта к тому же вскоре наступил перелом. Зиму 1829/30 годов, свою последнюю холостую зиму, он проводил шумно, рассеянно и, должно быть, не очень благоразумно. Вероятно, Дарья Федоровна, хотя бы отчасти, разделяла мнение своей матери, писавшей Пушкину 20 марта 1830 года: «Как можно такую прекрасную жизнь бросать за окошко».

Но письмо, из которого приведены эти строки, было отправлено в Москву, куда Пушкин уехал 12 марта именно с целью упорядочить свою мятущуюся жизнь. 6 апреля, в первый день пасхи, судьба его решилась. Поэт вторично сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, и на этот раз оно было принято.

Печатное извещение о помолвке было разослано родным и знакомым лишь в начале следующего месяца. Оно гласило:

«Николай Афонасьевич и Наталья Николаевна Гончаровы имеют честь объявить о помолвке дочери своей Натальи Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным сего Маия 6 дня 1830 года».

Ошибка в отчестве матери невесты, Натальи Ивановны, урожденной Загряжской, осталась неисправленной и в хранящемся в Пушкинском доме экземпляре, который поэт послал своему другу П. В. Нащокину с шуточной надписью на обороте.

Письмо Пушкина к графине Фикельмон, копию которого мне некогда прислал князь Кляри-и-Альдринген, помечено 25-м апреля. Оно является ответом на не дошедшее до нас письмо Долли к поэту. Как светский человек, Пушкин на письмо дамы, можно думать, ответил в тот же день или на следующий. Письма из Петербурга в Москве обычно получали на четвертый-пятый день. Таким образом, письмо Долли, вероятно, было отправлено 19 или 20 апреля. В это время в столице много говорили о предстоящей женитьбе Пушкина, но кроме родителей поэта и шефа корпуса жандармов генерала А. Х. Бенкендорфа, которому 16 апреля он сообщил в официальном письме о состоявшейся помолвке, прося в то же время «сохранить мое обращение к вам в тайне»,— кроме них, в эти дни, по-видимому, никто в Петербурге еще ничего не знал наверное.

Некоторые, в том числе один из ближайших друзей поэта, П. А. Вяземский, долго не хотели верить, что Пушкин женится. Еще 27 марта[1] Петр Андреевич, сообщая жене, что он в этот день обедал вместе с Е. М. Хитрово у Фикельмонов, прибавляет в виде шутки: «Все у меня спрашивают: правда ли, что Пушкин женится? В кого он теперь влюблен, между прочим? Насчитай мне главнейших».

В недатированном письме к Вере Федоровне он называет сообщение о женитьбе поэта мистификацией. 21 апреля снова пишет ей: «Ты все вздор мне пишешь о женитьбе Пушкина; он и не думает жениться, что за продолжительная мистификация? Повторяю, я не Елиза»[2]. Только 26 апреля, побывав на обеде у родителей поэта, он убеждается в том, что Пушкин действительно женится: «Нет, ты меня не обманывала, мы сегодня на обеде у Сергея Львовича выпили две бутылки шампанского, а у него по-пустому пить двух бутылок не будут. Мы пили здоровье женихов»[3].

Эта эпистолярная летопись мартовских и апрельских дней 1830 года показывает, что, отправляя свое письмо, Долли, несомненно, знала — и от матери и от друзей поэта (хотя бы от того же Вяземского),— что Пушкин собирается жениться, но неизвестно пока, верно это или нет.

Обратимся теперь к ответному письму поэта. Я остановлюсь на нем подробнее, так как это письмо, опубликованное впервые в 1949 году[4] по не вполне точной копии князя Кляри, до настоящего времени остается малоизученным. В 1950 году Д. Благой повторил публикацию, сопроводив ее фотокопией подлинника, по-прежнему хранящегося в Чехословакии, и кратким комментарием, который, однако, лишь в небольшой части посвящен самому письму[5]. В современных изданиях произведений Пушкина оно публикуется лишь с очень краткими примечаниями.

Привожу полный текст письма в наиболее близком к французскому подлиннику переводе, который дан в Большом академическом издании[6].

«Графиня

Крайне жестоко с Вашей стороны быть такой любезной и заставлять меня так сильно *скорбеть* от того, что я удален от Вашего салона. Во имя неба, графиня, не подумайте, однако, что мне понадобилось неожиданное счастье получить

---

[1] *Звенья,* VI, с. 220.

[2] Там же, с. 239—240.

[3] Там же, с. 244.

[4] *Акад.,* XVI, с. 429—430.

[5] Д. Благой. Новое письмо А. С. Пушкина.— «Вестник Московского университета». Серия «Общественные науки», 1950, № 1, с. 167—170.

[6] Внесенные мною в перевод изменения отмечены курсивом.

от Вас письмо, чтобы пожалеть о том месте, которое Вы украшаете. Я надеюсь, что недомоганье Вашей матушки не имело последствий и не причиняет Вам *более* беспокойства. Я хотел бы уже быть у Ваших ног и поблагодарить Вас за милую память обо мне, но мое возвращение еще очень сомнительно.

Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей *любезности,* столь непринужденной, Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам.

Благоволите, графиня, принять еще раз выражение моей признательности и моего глубокого уважения.

А. Пушкин
25 апреля
1830 г.
Москва».

Быть может, когда-либо французскому тексту этого письма кто-нибудь из специалистов посвятит обстоятельное филологическое исследование. «Лучший наш стилист лучше бы не написал»,— сказала мне о нем в 1942 году г-жа Мадлен Вокун-Давид (M-me Madelaine Vokoun-David), в то время лектор французского языка в Пражском университете, когда я показал ей только что полученную из Теплица копию. «Хрестоматийный образец письма светского человека к даме высшего общества»,— прибавила она. Тогда же ученая-француженка обратила мое внимание на то, что в письме Пушкина один синтаксически необычный оборот в данном контексте вполне оправдан и свидетельствует о превосходном знании русским поэтом тонкостей французского языка.

К сожалению, я не могу здесь останавливаться на этом великолепном образце французской эпистолярной прозы. Скажу лишь, что в стилистическом отношении он написан не только тщательно, но и в высшей степени изысканно. В то же время простые, прекрасно построенные фразы, которые льются с обычной для Пушкина легкостью, далеки от всякой напыщенности, которую так не любила Долли Фикельмон.

Обратимся теперь к русскому переводу. Как всякий перевод, он, конечно, далеко не передает прелести подлинника, но все же позволяет достаточно точно познакомиться с мыслями и чувствами поэта.

Д. Д. Благой отмечает, что письмо Пушкина выдержано в том же светском духе, что и известная записка Долли поэту с приглашением принять участие в маскарадной поездке. По его мнению, все же «за светской любезностью чувствуется и несомненная симпатия к блистательной адресатке, которая, соединяя в себе ум и красоту с простотой и непри-

нужденностью,— сочетание, столь редко встречающееся в женщинах ее круга,— видимо, в какой-то мере напоминала ему его «милый идеал» — Татьяну последней главы «Евгения Онегина».

И с тем и с другим нельзя не согласиться[1]. Письмо поэта менее всего похоже на спонтанное излияние своих мыслей и чувств. M-me Вокун-Давид, прочтя его в 1942 году, сразу же сказала мне, что Пушкин, надо думать, сначала составил черновик, а затем тщательно обработал его стилистически. Это в высшей степени вероятно,— принимаясь за письмо, поэт нередко набрасывал его сначала начерно, причем порой делал это и тогда, когда форма, казалось бы, не имела значения[2].

Отменная любезность в письмах к женщинам, в особенности в его французских письмах, у Пушкина обычна. Крайне редки исключения вроде совсем не светского окрика по адресу Е. М. Хитрово в одной из не поддающихся датировке записок: «Откуда, черт возьми, Вы взяли, что я рассердился?» («D'où diable prenez-vous que je sois fâché?»). Но и среди любезных писем поэта к дамам письмо к Фикельмон выделяется особой изысканностью выражений.

Остановимся вкратце на некоторых его абзацах — подробный комментарий занял бы слишком много страниц.

Вступительные строки, в которых Пушкин шутливо жалуется на любезность графини, заставившую его скорбеть об изгнании из ее салона, показывает, что уже зимой 1829/30 года поэт был его завсегдатаем. Участие Пушкина в великосветской поездке с ряжеными также говорит в пользу близкого знакомства в это время. Отношения, которые существовали между Пушкиным и Долли весной 1830 года, не давали, однако, поэту права ожидать от нее письма в Москву[3]. Мне кажется, что так именно следует понимать выражение «неожиданное счастье получить от Вас письмо». Сколько-нибудь частой переписки ранее, видимо, не было. В ней, правда, не было и нужды — отъезд Пушкина в Москву в марте 1830 года был первым перерывом в недолгом личном общении жены посла и поэта. Возможно, что он упомянул о «неожиданном счастье» лишь из светской любезности, но инициатива в обмене письмами, несомненно, исходила от Дарьи Федоровны.

В плане романическом Пушкину, во всяком случае, в это время было не до Фикельмон. Всего девятнадцать дней

---

[1] Вопрос о Фикельмон как о прототипе Татьяны-княгини я пока оставляю в стороне.

[2] Сохранился, например, черновик письма Пушкина к «приставу» (коменданту) Военно-Грузинской дороги Б. Г. Чиляеву от 24 мая 1829 года.

[3] По светским обычаям, существовавшим в России, дамы к тому же в подобных случаях обычно не писали первыми. Сам Пушкин, очевидно, не счел ранее нужным написать Фикельмон в Петербург.

тому назад он просил руки Натальи Николаевны Гончаровой, и его предложение было принято. Напомню, кстати, что употребленное поэтом выражение «и я желал бы уже быть у ваших ног» — это лишь очень распространенная в то время формула любезности, и ничего более[1].

Перейдем теперь к наиболее значительному месту письма. Перечтем его еще раз: «Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной, Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам».

Эти пушкинские строки очень интересны. Впервые мы слышим прямой отзыв Пушкина о Долли Фикельмон. Вместе с тем они позволяют предположить, о чем именно Дарья Федоровна писала поэту.

Придется сначала остановиться на некоторых трудностях, которые представляет перевод данного места.

Поэт говорит, что письмо Долли «est séduisante». Дословно «séduisant» значит «обольстительный», но сказать «обольстительное письмо» по-русски нельзя. Переводчику пришлось употребить слово «прелестно», хотя французское прилагательное более выразительно и предполагает желание очаровать. Мы знаем, что Долли, ученица ранних романтиков, такие письма составлять умела.

Еще труднее найти подходящий эквивалент для другого пушкинского выражения: «vos grâces si simples». Я попытался передать этот термин, неправильно переведенный в некоторых изданиях, словом «любезность», но оно значительно суше и банальнее французского. «Vos grâces» заключает в себе оттенок милостивого внимания, как бы снисхождения, оказываемого высокой особой. Из богатого арсенала современного ему французского языка (сейчас «vos grâces» никто не говорит) Пушкин выбрал чрезвычайно изысканное выражение, но смягчил его церемонность прилагательным «simple» (непринужденный, простой).

Недаром в лицее Пушкина прозвали «французом»...

В свидетельствах современников Д. Ф. Фикельмон слово «простая» встречается не раз. Мы находим его, например, у Вяземского и у А. И. Тургенева. Теперь к ним присоединяется и голос Пушкина. Он, как и Вяземский, конечно, говорит о той великолепной простоте обращения, которая дается только избранным.

---

[1] В десятых годах, будучи гимназистом, я видел в Каменец-Подольске, как актер, игравший Чацкого, сказав: «Чуть свет — уж на ногах, и я у ваших ног»,— опустился перед Софьей на одно колено. Очевидно, и он, и провинциальный режиссер понимали трафаретную форму буквально.

Поэт заявляет себя искренним поклонником «Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной». И здесь его голос звучит согласно с тем, что мы находим у Вяземского, А. И. Тургенева, И. И. Козлова. Великий мастер разговора, должно быть, ценил в Долли Фикельмон достойную себя собеседницу. Как и другие, он отмечает приветливость — одно из проявлений ее доброй души.

Заключительные строки пушкинского письма: «...хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам»,— я склонен считать лишь любезной фразой. В своем дневнике за 1829—1831 гг. Долли неоднократно говорит, что она очень счастлива. Мы не знаем также ничьих свидетельств, которые говорили бы об обратном.

В 1829—1831 гг., как мы видели, Фикельмон была очень дружна с Вяземским. В очерке «Переписка друзей» я назвал их отношения в этот период «влюбленной дружбой». Нет, однако, оснований думать, что и дружба Долли с Пушкиным в это время тоже была недалека от любви. Умнейший человек и очаровательный собеседник, несомненно, ее интересовал. Понаслышке Фикельмон знала и о том, что Пушкин — гениальный поэт. Вполне естественно, что она не меньше других интересовалась слухами о предстоящей женитьбе, слухами, которые к тому же глубоко огорчали ее любимую мать. Будучи человеком очень непосредственным, Дарья Федоровна сочла возможным написать Пушкину первой и обратиться к нему с какими-то упреками, от которых поэт почтительно защищался в своем ответном письме. Долли еще не знала о состоявшейся помолвке — иначе она, несомненно, поздравила бы адресата. Столь же несомненна, однако, и связь ее письма с петербургскими слухами о женитьбе.

С большой вероятностью можно предположить, что Фикельмон заранее упрекала Пушкина в том, что он переменит свое отношение к ней. Быть может, станет менее внимательным. Что речь идет именно о перемене ожидаемой, а не происшедшей, видно из употребления поэтом будущего времени — «я всегда останусь самым искренним поклонником».

Вряд ли эти упреки шли дальше тех дружеских и ни к чему, собственно, не обязывающих разговоров о чувствах, которые мы многократно встречали в переписке Долли и Вяземского за 1830—1831 гг.

Однако самая возможность каких бы то ни было упреков в связи с предстоящей женитьбой предполагает не только близкое знакомство, но и немалую степень дружбы. Иначе нельзя себе представить, чтобы светская женщина, какой была Долли, допустила бы неосторожный и грубый промах, вторгаясь в область, которая совсем ее не касалась. Чтобы упрекать, надо чувствовать какое-то право на упреки. Дружба это право дает, и я думаю, что письмо Пушкина позволяет с

уверенностью считать отношения поэта и Долли весной 1830 года дружескими.

В ответе Пушкина, при всей его изысканной любезности и известной задушевности, чувствуется все же, как мне кажется, желание точнее определить отношения в будущем. Пишет жених, как он думал, перед самой свадьбой, и обращается к молодой очаровательной женщине, которая, возможно, была к нему все же несколько неравнодушна. Пушкин, по существу, говорит, что, женившись, он будет по-прежнему ценить любезность Дарьи Федоровны и по-прежнему будет рад с ней беседовать, но больше он ничего не обещает. Круг очерчен. Долли Фикельмон остается для поэта доброй приятельницей, какой была и раньше.

II

О своей помолвке Пушкин сообщил в письмах некоторым близким друзьям еще до того, как родители Н. Н. Гончаровой разослали извещение от «Маия 6 дня». В. Ф. Вяземской он написал, например, о предстоящей свадьбе, прося ее быть посаженой матерью, не позже 28 апреля. 2 мая в письме к П. А. Вяземскому Пушкин спрашивает, сказал ли тот о помолвке своей сестре, Екатерине Андреевне Карамзиной. Около 5 мая он пишет П. А. Плетневу: «Ах, душа моя, какую женку я себе завел!» Вряд ли можно сомневаться в том, что Пушкин счел также себя обязанным известить о предстоящем событии и Елизавету Михайловну Хитрово. Не сделать этого значило бы серьезно ее обидеть, а Пушкин — нельзя этого забывать — был воспитанным человеком, хорошо знавшим светские обычаи.

После отъезда Пушкина в Москву Елизавета Михайловна, догадавшаяся о цели поездки, отправляла ему одно письмо за другим, и эти отчаянные послания наскучили поэту. Уже во второй половине марта он пишет Вяземскому: «...она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи» [1]. Но «Пентефреиха» — это для Петра Андреевича, в расчете на то, что он не разболтает. Для общества — ее превосходительство генерал-майорша Хитрово, теща австрийского посла; для самого себя, несмотря на все ее странности,— умный и преданный друг... Оскорбить ее молчанием Пушкин не мог.

Можно думать, что Елизавета Михайловна, как ни было ей горько, в ответ на извещение поздравила жениха, но это письмо до нас не дошло.

---

[1] Пушкин имеет в виду библейский рассказ о жене египтянина Пентефрия (Петифара), домогавшейся любви молодого Иосифа.

9 мая она писала: «Я не имею для вас никакого значения. Говорите мне о вашей свадьбе и о ваших планах на будущее. Все разъезжаются, а хорошая погода не наступает. Долли и Катрин просят вас рассчитывать на них, чтобы вывозить в свет вашу Натали. Г-н Сомов дает уроки посланнику и его жене,— что же касается меня, то я перевожу на русский язык «Светский брак» и буду его продавать в пользу бедных. *Элиза* — 9-е вечером».

Тон этого письма грустный, но спокойный — Е. М. Хитрово, видимо, примирилась с неизбежным, но, быть может, это спокойствие только кажущееся, нарочитое. Она говорит о женитьбе поэта, которая, конечно, не перестала ее волновать, как-то походя, вперемежку с сообщениями о погоде, уроках Сомова и своих переводческих планах, кстати сказать, неосуществившихся и неосуществимых — по-русски, как и по-французски, Елизавета Михайловна писала очень неправильно.

Пушкин ответил довольно быстро. Письмо Хитрово он должен был получить числа 13—14, а его короткая (всего три строчки) записка датирована 18 мая: «Не знаю еще, приеду ли я в Петербург,— покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как у ваших».

Надо сказать, что одни и те же слова, даже если они точно переведены, зачастую в подлиннике звучат иначе, чем по-русски. «Бедной» в этой фразе по-французски — всего лишь словесное украшение, а «быть у чьих-нибудь ног», как мы знаем — старинная форма вежливости, и только. По существу же из письма Хитрово следует, что обе молодые графини, во-первых, считают себя приятельницами Пушкина, и, во-вторых, очевидно, в свете никто не сплетничает по поводу их дружбы с поэтом. Собственно говоря, «покровительницей» молодой женщины, начинающей выезжать в большой свет, скорее приличествовало стать Елизавете Михайловне, но легко понять, что в светском обществе над этим начали бы смеяться...

В конце мая она пишет Пушкину еще одно письмо — на этот раз очень длинное, очень серьезное и до предела искреннее. Деланного спокойствия в нем нет. Елизавета Михайловна примирилась с тем, что любимый человек женится, но не скрывает того, что ей тяжело: «Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я тем не менее останусь все тем же существом — страстным, кротким и безобидным, которое за вас готово идти в огонь и воду, потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного».

«Благодаря богу, у меня в сердце вовсе нет эгоизма. Я размышляла, я боролась, страдала и наконец достигла того, что сама желаю, чтобы вы поскорее женились. Устройтесь же с вашей прекрасной и очаровательной женой в хорошеньком, маленьком и чистом деревянном домике; по вечерам ходите

к тетушкам составлять им партию и возвращайтесь домой счастливый, спокойный и благодарный провидению за вверенное вам сокровище».

Возможно, что тогда, в мае 1830 года, заочно восхищаясь будущей женой поэта и сочиняя эту идиллию в духе Руссо (не хватает только зеленых ставен у предназначаемого Пушкину деревянного домика),— Хитрово была искренна. Однако из письма Елизаветы Михайловны к Вяземскому от 12 сентября того же года[1] видно, что спустя несколько месяцев ее отношение к невесте поэта, «прекрасной и очаровательной», резко переменилось — по крайней мере на время. Хитрово, по-видимому, только что узнала, что Пушкин уехал (31 августа) из Москвы в Болдино. По этому поводу она разражается упреками по адресу Натальи Николаевны, в которых чувствуется и нескрываемая любовь к поэту, и несомненная ревность: «Как вы отпускаете Пушкина ехать среди всех этих болезней? Однако его невеста создана для того, чтобы позволять ему носиться в одиночку. Так как нужно, чтобы он женился, я хотела бы, чтобы это уже совершилось и чтобы его жена, брат, сестра — все они только бы и думали, как о нем позаботиться! Знаете, если бы они были под властью [его] очарования, как я, они не знали бы покоя ни ночью, ни днем!»[2]

Долли теперь спокойнее и выдержаннее матери. Ее порывистая юность прошла. Тоже тревожится за друзей, которые могут заразиться холерой, но пишет Вяземскому 4 декабря 1830 года строки весьма рассудительные: «К тому же нет ничего менее веселого, чем современный салон,— нет больше любезности, нет больше изящества в выдумках, если только вы и Пушкин вскоре не вернетесь — жизнь в деревне, быть может, предохранила вас обоих от этой роковой заразы»[3].

Фикельмон считает — и она, надо думать, права,— что, оставаясь в своем поместье, легче уберечься от холеры, чем в Москве.

Вернемся теперь немного назад — к лету все того же 1830 года.

Свадьба Пушкина по разным причинам долго откладывалась. На короткое время (конец июня — начало августа) он приехал в Петербург и затем снова вернулся в Москву. Очевидно, повидавшись с поэтом, Фикельмон записывает 11 августа 1830 года: «Вяземский уехал в Москву, и с ним Пушкин, писатель; он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, и теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживле-

---

[1] *ЦГАЛИ.*
[2] Отрывок публикуется впервые в этой книге.
[3] *ЦГАЛИ.*

ния и веселости в разговоре. Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться».

Быть может, поэт вспомнил о том, что в апрельском письме Дарья Федоровна заранее упрекала его в том, что, женившись, он переменит свое отношение к ней. Вспомнил и лишний раз хотел показать, что все остается по-старому.

Долли очень ценила в людях умение вести беседу, и в особенности, способность говорить просто и занимательно. Чувствуется, что именно эта способность Пушкина, оттенявшая его блестящее остроумие и ум, особенно восхищала молодую женщину.

А в Долли он видит умную, блестящую собеседницу. В салоне Фикельмон поэт прост и естествен.

18 февраля 1831 года Пушкин наконец обвенчался с Н. Н. Гончаровой. Первые месяцы молодые прожили в Москве, а в середине мая, не поладив с тещей, поэт приехал с женой в Петербург, намереваясь провести лето и осень в Царском Селе.

Вернемся снова к дневнику Фикельмон. 21 мая она записывает: «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать [в свете]. Я видела ее у маменьки — это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая — лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением,— глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный,— тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым,— он так хорошо говорит, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантства».

Портретов Натальи Николаевны известно немало, но почти все они относятся ко времени ее вдовства или второго замужества с генералом П. П. Ланским[1]. Немало мы знаем и описаний ее внешности в переписке и мемуарах современников. Прелестная, выразительная словесная акварель, набросанная Фикельмон после первой встречи с Натальей Николаевной,— едва ли не лучший ее литературный портрет. Чувство прекрасного, которое было так сильно у Дарьи Федоровны, сказалось здесь в полной мере. Сказалась в ее записи и всегдашняя способность наблюдать людей. Фикельмон сразу заметила, что Пушкин влюблен в свою юную жену, хотя есть ряд свидетельств, что под венец он шел неохотно, почти по обязанности.

За неделю до свадьбы (10 февраля 1831 года) он пишет

---

[1] О самом раннем снимке — дагерротипе 1850—1851 годов см. в первом очерке настоящей книги.

своему приятелю Н. И. Кривцову: «До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастия мне не было <...> Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же женюсь я без упоения, без ребяческого очарования <...> Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».

Но свадьба состоялась, и радостно удивленный Пушкин почувствовал, что к нему в самом деле пришло долго не дававшееся счастье. Через шесть дней после венчания (24 февраля) он пишет П. А. Плетневу: «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через три месяца счастливого, влюбленного поэта увидела у себя Фикельмон. По-прежнему он кажется ей очень некрасивым, даже уродливым человеком, о внешности которого забываешь, когда он начинает говорить. По-прежнему Долли отмечает сверкающий ум поэта. С обычной своей проницательностью она чувствует, что Пушкин счастлив.

Пребывание молодоженов в Петербурге, где они жили в гостинице Демута, продолжалось всего неделю. 25 мая Пушкины уехали в Царское Село, куда вскоре в связи с начавшейся в столице эпидемией холеры переехали царская семья и двор. Вокруг резиденции были установлены карантины, и сообщение с Петербургом прекращено. К этому времени относится еще одно впервые публикуемое сообщение о Пушкине в письме Е. М. Хитрово к Вяземскому от 12 июля 1831 года: «Наш друг в Царском Селе — я не могу для него ничего сделать — за исключением книг» [1].

Таким образом, несмотря на карантинные строгости, заботливая Елизавета Михайловна продолжала снабжать поэта нужными книгами, вероятно, используя при этом возможности своего зятя-посла [2].

Мы видим, что ее отношение к Пушкину после его женитьбы остается прежним. Е. М. Хитрово сумела себя перебороть и, оставаясь другом Пушкина, жизни его больше не осложняла.

Обратимся теперь снова к ее дочери. 25 мая, через четыре дня после того, как Долли писала в дневнике о счастии Пушкина, она в грустном письме к Вяземскому, полном тревоги по поводу холеры и событий в Польше, сообщала ему свои мысли о несчастии, которое она предвидит для четы Пушкиных в будущем...

---

[1] *ЦГАЛИ.*

[2] 19 или 20 июня, очевидно, еще до установления карантинов, Пушкин благодарит в письме Е. М. Хитрово за присылку запрещенной к ввозу в Россию книги Минье.

В письме, опубликованном еще в 1884 году сыном Вяземского[1], имеются такие строки: «Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее; мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на *предчувствие* (pressentiment) несчастия у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину еще только один раз»[2].

Еще определеннее выразились опасения Долли в письме к Вяземскому 12 декабря того же года: «Пушкин у вас в Москве, жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».

Пушкинисты единодушны в оценке этого удивительного предвидения, которое говорит о глубоком уме и совсем исключительной интуиции двадцатисемилетней Дарьи Федоровны. Когда Пушкин женился, многие из его друзей, знавшие непостоянный нрав поэта, не ожидали ничего хорошего от этого брака, но несчастья непоправимого, катастрофы, кроме Фикельмон, не ожидал никто.

Грустные пророчества Долли, несомненно, стоят в связи с тем ее свойством, которое ее родственница по мужу графиня Каролина Латур называла «avoir un oeil au bout du nez»[3]. Дарья Федоровна была вообще чрезвычайно склонна волноваться за людей, так или иначе ей дорогих, и легко видела их будущее в трагическом свете. «Это недуг, которым природа наделила меня в непереносимой степени»,— пишет она сестре 25 апреля 1849 года.

Наталье Николаевне и отношению к ней мужа посвящено еще несколько интересных записей.

25 октября 1831 года поэт с женой присутствовал на большом вечере у Фикельмонов. Это было первое появление Пушкиной в высшем обществе Петербурга. Долли на следующий день записала: «Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете; она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое — ее стан великолепен, черты

---

[1] См. очерк «Переписка друзей», с. 178.

[2] Сверив ставший традиционным перевод П. П. Вяземского с фотокопией подлинника, я добавил пропущенные Павлом Петровичем слова «у такой молодой особы» и «еще» (в последней фразе), а также несколько изменил пунктуацию. Курсивом выделено слово *«предчувствие»*, подчеркнутое Фикельмон.

Точную транскрипцию французского текста письма опубликовала Н. Каухчишвили. *Дневник Фикельмон,* с. 188.

[3] *Сони,* с. 214. Дословно: «Иметь глаз на кончике носа».

лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное: я еще не знаю, как она разговаривает,— ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают,— но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете».

И на этот раз Долли Фикельмон не ошиблась. Впоследствии светские успехи жены стали тяготить Пушкина, и он пережил в связи с этим немало горьких дней. Уже в сентябре 1832 года он пишет жене: «Я только завидую тем из них (друзей.— *Н. Р.*), у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc, etc. Знаешь русскую песню —

Не дай бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут.

А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит».

Позднее это похмелье стало еще сильнее, но, надо сказать правду, наступило оно далеко не сразу. Привезя жену в столицу, поэт первое время, несомненно, сам увлекался и гордился ее светскими успехами.

А зоркая, наблюдательная Фикельмон не расставалась с мыслью о несчастном будущем четы Пушкиных. 12 ноября 1831 года после бала у председателя Государственного совета Кочубея и за месяц до письма Вяземскому, о котором уже говорилось, она пишет в дневнике: «Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь ее облик как будто говорит: «я страдаю»! Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!»

Что сказать об этих задушевных строках? В подлиннике в них еще больше литературного блеска, но самое главное — еще и еще раз Дарья Федоровна Фикельмон оправдывает прозвание «Сивиллы флорентийской» — предсказательницы будущего.

Личность Натальи Николаевны, жены великого поэта, продолжала интересовать Долли. Год спустя, 22 ноября 1832 года, она записывает: «Вчера мы дали наш первый большой раут <...> Общество еще лишено своего лучшего украшения, так как все почти молодые женщины еще остаются дома. Однако самая красивая вчера там была — Пушкина, которую

мы прозвали поэтической как из-за мужа, так из-за ее небесной и несравненной красоты. Это образ, перед которым можно оставаться часами как перед совершеннейшим созданием творца» [1].

По-видимому, в этот день, 22 ноября, имя поэта упоминается Долли в последний раз и затем внезапно исчезает со страниц ее дневника вплоть до записи о дуэльной драме. Однако факт этот нуждается в проверке (напомню, что за 1832—1836 гг. дневник не опубликован, кроме небольших отрывков), но, по словам А. В. Флоровского, прочитавшего весь документ в подлиннике, «приведенными записями, к сожалению, и ограничивается — кроме рассказа о смерти <...> — находящийся в дневнике гр. Ф. материал непосредственно о Пушкине и его жене» [2].

Я не рассмотрел еще одной записи, относящейся к Наталье Николаевне, хотя она сделана несколькими месяцами раньше последней. Ее содержание показывает, что, по-прежнему восхищаясь красотой Пушкиной, «совершеннейшего создания творца», Фикельмон с некоторого времени начала очень скептически относиться к ее уму. В сентябре 1832 года, когда у Пушкина уже началось «похмелье» от всеобщего увлечения внешностью его жены, в дневнике наблюдательницы, в связи с вечером у князей Белосельских-Белозерских на Крестовском острове, появляется такая запись:

«Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем у нее не много ума и даже, кажется, мало воображения» [3].

Впоследствии, как мы увидим, в связи с дуэльной драмой Фикельмон отзывается об уме Натальи Николаевны тоже довольно резко.

Права ли она? Такой вопрос поставил я в первом издании книги «Портреты заговорили» и предпринял попытку коротко ответить на него. В некоторых своих суждениях я, видимо, был не прав. Личность Натальи Николаевны, как выясняется, была гораздо сложнее. И поскольку она продолжает волновать не только исследователей-пушкинистов, но и широкого читателя, необходимо рассмотреть ее более подробно.

О жене поэта сейчас пишут многие, и это понятно. Как сказала еще современница Гончаровой Н. М. Еропкина*, «Наталья Николаевна сыграла слишком видную роль в жизни Пушкина, чтобы можно было обойти ее молчанием».

Сведения о жене Пушкина до недавнего времени были очень неполными и носили большей частью весьма пристраст-

---

[1] Дополненный мною перевод сличен с фотокопией с. 106—107 второй тетради дневника.

[2] *Флоровский: Пушкин на страницах дневника*, с. 570.

[3] Там же, с. 565. Фотокопии этой записи я не получил.

ный характер. Отзывы современников, которым, казалось бы, необходимо доверять больше, чем кому-либо другому, на деле оказываются малоубедительными, так как они не были объективными.

Трудно понять, почему так случилось, но травля Натальи Николаевны началась еще при жизни Пушкина.

«Вообрази, что на нее, бедную, напали...— писала мужу сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева еще в 1835 году.— Почему у нее ложа в спектакле, почему она так элегантна, когда родители ее мужа в такой крайности,— словом, нашли пикантным ее бранить...»

Судя по всему, Пушкина очень огорчало это несправедливое отношение света к его жене. Возвратясь из Михайловского, он жаловался Осиповой: «В этом печальном положении я еще с огорчением вижу, что моя бедная Натали стала мишенью для ненависти света».

Бурный всплеск «ненависти света» произошел после смерти Пушкина, как он и предвидел: «Бедная! Ее заедят...» — сокрушался умирающий поэт. И затем новая волна враждебных Наталье Николаевне выступлений в печати поднялась в 1878 году, спустя почти 30 лет после ее смерти, когда переданные Тургеневу младшей дочерью Пушкина Натальей Александровной Меренберг письма Пушкина к жене были опубликованы в «Вестнике Европы» (кн. I).

И теперь, спустя сто лет, отдадим должное вдове поэта — кроме А. П. Керн, кажется, никто из женщин, корреспонденток Пушкина, не имел мужества полностью сохранить его письма. Некоторые, как, например, баронесса Вревская («кристалл души моей») перед смертью, несмотря на мольбы ее дочери, уничтожила письма Пушкина полностью. Между тем в письмах к жене поэт порой не стеснялся в выражениях, и некоторые из этих выражений не могли быть приятны вдове поэта и она не могла не понимать, что впоследствии их могут использовать для очернения ее личности. В какой-то мере в этом случае нельзя не согласиться с Араповой, когда она говорит: «... только женщина, убежденная в своей безусловной невинности, могла сохранить (при сознании, что рано или поздно оно попадет в печать) то орудие, которое в предубежденных глазах могло обратиться в ее осуждение»[1].

Скептическое отношение к духовному облику жены поэта, как мы уже сказали, было предопределено ее современниками. Насколько оно соответствует истине, мы увидим по ходу изложения и анализа различных источников. Что же касается первых исследователей дуэльной истории, то здесь случилась довольно странная вещь: многие отрицательные отзывы современников о личности жены поэта принимались

---

[1] А. П. Арапова. Приложение к «Новому времени», 1907—1908 гг.

на веру без всякой осторожности (положительные при этом зачастую отсеивались), в то же самое время совершенно игнорировалось мнение самого Пушкина о своей жене, в которой он видел «чистейшей прелести чистейший образец».

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Жуковский, познакомившись поближе с Натальей Николаевной, находил, что она — «милое творение».

«Женка Пушкина очень милое творение. C'est le mot[1]. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше»[2].

Обратим особое внимание на фразу из письма Жуковского: «И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше» и прислушаемся, как она созвучна признаниям самого Пушкина: «Женка моя прелесть не по одной наружности»[3].

И, наконец, посмотрим, как отзывается о Наталье Николаевне поэт в своих письмах к ней.

«Какая ты умненькая, какая ты миленькая! Какое длинное письмо! как оно дельно! благодарствуй, женка! Продолжай, как начала, и я век за тебя буду бога молить» (25 сентября 1832 года).

«Гляделась ли ты в зеркало,— писал он ей спустя два с половиной года после женитьбы,— и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — *а душу твою люблю я еще более твоего лица*»[4] (подчеркнуто мною.— *Н. Р.*).

В одном из писем Пушкина к жене мы читаем до предела откровенное признание: «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив».

Перечитывая то ласковые, то сердитые, но всегда задушевные письма Пушкина к жене, нельзя не заметить, что они полны любви и искренней заботы о ней. В свое время они глубоко взволновали большого русского писателя А. И. Куприна. Он писал:

«Я хотел бы тронуть в личности Пушкина ту сторону, которую, кажется, у нас еще никогда не трогали. В его переписке так мучительно трогательно и так чудесно раскрыта его семейная жизнь, его любовь к жене, что почти нельзя читать это без умиления. Сколько пленительной ласки в его словах и прозвищах, с какими он обращается к жене! Сколько заботы о том, чтобы она не оступилась, беременная,— была здорова, счастлива! Мне хотелось бы когда-нибудь на-

---

[1] Лучше не скажешь *(франц.)*.

[2] Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. Изд-во Русского архива, 1895, с. 256.

[3] Письмо от 26 марта 1831 года.

[4] Письмо от 21 августа 1833 года.

писать об этом <...> Ведь надо только представить себе, какая бездна красоты была в его чувстве, которым он мог согревать любимую женщину, как он, при своем мастерстве слова, мог быть нежен, ласков, обаятелен в шутке, трогателен в признаниях! <...> Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком» [1].

Волею судьбы Наталья Николаевна Гончарова стала женою гениального поэта. Трудно сказать с уверенностью, был ли этот брак счастливым (вспомним слова Долли Фикельмон о том, что трудно быть женою поэта, в особенности такого поэта, как Пушкин). Одно является несомненным: именно браку с великим поэтом Наталья Николаевна обязана тем, что имя ее повторяется на все лады вот уже второе столетие. Потомков продолжает волновать вопрос о том, каков же был подлинный духовный облик этой горячо любимой Пушкиным женщины?

Предки Натальи Николаевны, как я уже упомянул, были дворянами, но дворянами недавними. Ведя жизнь богатых дворян, в то же время Гончаровы по существу оставались купцами и промышленниками. Надо сказать, что эта деловая жилка в какой-то мере была свойственна и Наталье Николаевне, несмотря на ее внешность «Российской Психеи». Но об этом я буду говорить позднее.

Мы располагаем лишь очень отрывочными сведениями о детстве и юности Натальи Николаевны. Совсем мало мы знаем и внешность будущей знаменитой красавицы в детском возрасте. Сохранился лишь один-единственный портрет 8- или 9-летней Таши Гончаровой, задумчивой и несколько грустной девочки. Такое же впечатление производят и несколько сохранившихся ее детских писем к деду. Они искренни, не банальны и говорят, между прочим, о любви девочки к цветам, которые она сама разводила.

Барышни Гончаровы, в том числе Таша, получили не худшее, а может быть, в некотором отношении лучшее образование, чем большинство их сверстниц. Когда Наталья Николаевна стала девушкой, ее кавалерами и, наверное, поклонниками были образованные молодые люди — студенты Московского университета.

Домашняя обстановка в семье Гончаровых в пору детства и юности Натальи Николаевны, еще раз повторим, была тяжелая и не могла не отзываться на психике девочки. Однако духовный облик ее, видимо, оставался необычайно привлекательным. Об этом говорят интересные воспоминания Еропкиной, одной из немногих рисующей Наталью Николаевну вне всякой связи с дуэльной трагедией. Она пишет: «...Я хорошо

---

[1] *Врем. ПК*, 1972, с. 113—114.

знала Наташу Гончарову, но более дружна она была с сестрой моей Дарьей Михайловной. Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Участвовала она и в прелестных живых картинах, поставленных у генерал-губернатора кн. Голицына, и вызывала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы осталось за нею.

Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. Но главную прелесть Натали составляло отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо.

Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех. Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Все в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Все было comme il faut[1] — без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках. Сестры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своем уме, никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна... Поэтому Наталья Николаевна явилась в этой семье удивительным самородком. Пушкина пленили ее необычная красота, и не менее вероятно, и прелестная манера держать себя, которую он так ценил».

Однако, надо сказать, что порой Пушкин все же находил в жене недостаток comme il faut, в чем ее и упрекал. 30 октября 1833 года он писал жене: «...ты знаешь, как я не люблю все, что не comme il faut, все что vulgar»[2].

Думается, однако, что в Наталье Николаевне временами чувствовалось не так ее московское прошлое, как прочная душевная связь с очень провинциальной жизнью Калужской губернии, где находилось поместье Гончаровых Полотняный Завод и где прошло ее детство.

---

[1] Безупречно.

[2] Отзывается невоспитанностью... вульгарно.

Недаром в письме Пушкина к Наталье Николаевне от 3 августа 1834 года есть такие строки: «Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернию губернский фейворок, когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных и никаким фейвороком тебя в карету не заманишь. Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура».

Характерно также письмо вдовы Пушкина к Александру Ивановичу Тургеневу от 10 марта 1843 года[1]. Этот любопытный документ опубликован давно и частью воспроизведен фототипически, но почему-то не привлек внимания исследователей и, насколько я знаю, до сих пор не был даже переведен. Приведу из него несколько строк.

Тридцатилетняя Наталья Николаевна пишет пятидесятидевятилетнему Тургеневу впервые,— по ее словам, он не знает ее почерка, не встречались они ряд лет, но тон дружеской болтовни Пушкиной чрезвычайно фамильярный, а некоторые фразы граничат с пошлостью. «Я не требую от вас полной правды, я только смиренно спрашиваю имя того цветка, который в данное время остановил полет[2] нашей желанной бабочки. Увы, все те, кого вы покинули здесь (в Тригорском.— *Н. Р.*), вянут, ожидая вас. Не говорю вам, чтобы годы были здесь ни при чем, но приезжайте наконец поскорее собрать их последние ароматы[3]. Теперь прощайте, самое ясное, что я должна вам сказать на свой счет, это то, что я сохраню о вас самое нежное воспоминание, всецело основанное на дружбе, не прочтите на любви.

Натали Пушкина.

Моя сестра просит напомнить вам о себе — шушечка <...>» (последнее слово по-русски.— *Н. Р.*).

В письме чувствуется добрая, внимательная к друзьям мужа женщина, какой и была Наталья Николаевна. Письмо это даже довольно литературно, но трудно признать в его авторе даму большого света.

Мне думается, что в свое время Н. Н. Пушкина, быть может, чувствовала себя привольнее и веселее в гостях у

---

[1] А. А. Фомин. Петр Николаевич Тургенев и его дар русской науке.— «Отчет Отделения русского языка и словесности». СПб., 1912. Приложения, с. 60—65.

[2] Публикатор неправильно прочел «rol» (хоботок бабочки) вместо «vol» (полет), как это видно из приложенного факсимиле части письма.

[3] Вероятно, это намек на известное стихотворение «Цветы осенние милей...», которое Пушкин посвятил П. А. Осиповой.

калужских купеческих дочек, чем, скажем, в малой столовой Фикельмонов в тот день, когда кроме блистательной хозяйки там были умная приятельница Пушкина Александра Осиповна Смирнова-Россет и блестящая пианистка Лебцельтерн.

При изучении источников, и в особенности писем сестер Гончаровых к брату Дмитрию, чувствуется порой, что и Наталья Николаевна, и ее сестры, выросшие главным образом в Калужских поместьях, мало были подготовлены к вступлению в большой петербургский свет. Кроме того, их, несомненно, угнетала постоянная материальная необеспеченность, которую они должны были остро испытывать, вращаясь преимущественно в кругу богатых людей.

В смысле отношений высшего петербургского общества к только что появившимся там сестрам Гончаровым характерно письмо Екатерины Николаевны от 16 октября 1834 года, в котором имеется такая фраза: «Мы делаем множество визитов, что нас не очень-то забавляет, а на нас смотрят как на белых медведей — что это за сестры мадам Пушкиной, так как именно так графиня Фикельмон представила нас на своем рауте некоторым дамам».

Однако, на удивление, Гончаровы очень быстро (по тому времени) освоились в обществе, которое поначалу отнеслось к ним весьма сдержанно. Обратимся снова к письмам Екатерины Николаевны к брату.

«Нет ничего ужаснее,— пишет она в ноябре 1835 года,— чем первая зима в Петербурге,— но вторая — совсем другое дело. Теперь, когда мы уже заняли свое место, никто не осмеливается наступать нам на ноги, а самые гордые дамы, которые в прошлом году едва отвечали нам на поклон, теперь здороваются с нами первые, что также влияет на наших кавалеров. Лишь бы все шло как сейчас, и мы будем довольны, потому что годы испытания здесь длятся не одну зиму, а мы уже сейчас чувствуем себя совершенно свободно в самом начале второй зимы, слава богу, и я тебе признаюсь, что если мне случается увидеть во сне, что я уезжаю из Петербурга, я просыпаюсь вся в слезах и чувствую себя такой счастливой, видя, что это только сон». Не прошло и года, сестры Гончаровы стали украшением высшего света. «Мы здесь слывем превосходными наездницами; когда мы проезжаем верхами, со всех сторон и на всех языках, какие только можно себе представить, все восторгаются прекрасными амазонками» (14 июля 1836 г.). «...Мы были здесь в большой моде, так как ты должен знать, что наши таланты в искусстве верховой езды наделали много шуму, что нас очень смущает» (15 сентября 1836 г.).

Кому же провинциальные барышни Гончаровы были обязаны тем, что они быстро заняли прочное и блестящее положение в большом петербургском свете? Не приходится сомне-

ваться, прежде всего, конечно, доброте и трогательной заботливости их младшей сестры. Пушкин, как известно, поначалу противился желанию жены приблизить сестер к большому свету и двору и даже предсказывал возможность неудачи в этом. «Охота тебе думать,— писал Пушкин жене,— о помещении сестер во дворец. Во-первых, вероятно, откажут; а во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы. Погоди, овдовеешь, постареешь — тогда, пожалуй, будь салопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора; в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться» (11 июня 1834 г.).

Однако Наталья Николаевна, кажется, без большого труда добилась того, чего желала, не без помощи, конечно, богатой и влиятельной тетки, старой фрейлины Загряжской, о которой упоминает Пушкин в только что цитированном письме. Не последнюю роль в устройстве судьбы сестер сыграла, как мне думается, свойственная Наталье Николаевне напористость, когда дело касалось ее близких, родных и знакомых, которую трудно было ожидать у молодой, светски не очень опытной и внешне застенчивой женщины («совсем не глупа, но еще несколько застенчива»,— писала о ней в свое время сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева). С этим качеством жены Пушкина нам придется еще неоднократно встречаться.

Нелегкое было положение Натальи Николаевны, жены первого поэта России, поэта, который для одних был гордостью страны, а для других весьма неприятным, неуживчивым человеком, обладавшим острым и язвительным языком. И тогда, как первые вольно или невольно видели в Наталье Николаевне прежде всего жену гения, а не просто очень красивую светскую женщину и ожидали найти в ней собрание всевозможных совершенств, другие, завидовавшие гению поэта и не любившие его как человека, намеренно искали в его жене недостатки, которые могли бы унизить самолюбивого поэта. Однако и те и другие, по-разному относясь к Пушкину, не прощали даже небольших промахов его жене. Да и в том, что царственная красота Пушкиной сама по себе наряду с восхищением вызывала и жгучую зависть у некоторых не столь блестящих красавиц, видимо, не приходится сомневаться. Зависть рождала злословие, заставляла искать в Наталье Николаевне духовные несовершенства, раз физических найти было нельзя. Искать духовные недостатки было легче, ведь их можно было и придумать. В этой связи многозначительно звучит фраза из воспоминаний Еропкиной: «Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо».

Эта атмосфера напряженного и не всегда благожелатель-

ного внимания, окружавшая Пушкину, не могла не быть для нее тягостной, особенно на первых порах. Уверенность в себе развилась лишь постепенно, но и в более зрелые годы Наталья Николаевна, по-видимому, оставалась сдержанной и до известной степени замкнутой в себе натурой. Уже будучи Ланской, она писала о себе:

«...Несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве... Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность и в ней меня упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца» [1].

Не приходится сомневаться в том, что пока Наталья Николаевна не встретилась с Дантесом, она умела хорошо владеть собой и обостренному вниманию светского общества противопоставляла любезную, но сдержанную манеру обхождения с окружающими, а в особенности — со своими бесчисленными поклонниками. Лишних слов, быть может, за редким исключением, они от нее не слышали. В то же время она сохраняла умную и привлекательную естественность, которая нравилась всем, кто знал ее более или менее близко.

Если я не ошибаюсь, одним из первых, кто обратил внимание на эту черту характера Натальи Николаевны, был парижский пушкинист, автор обширного очерка «Невеста и жена Пушкина» М. Л. Гофман. Он писал:

«Жена Пушкина по природе своей не была кокеткой и в своих манерах (по крайней мере, до 1834 года) была сдержанна и неприступна и скорее отпугивала от себя своих ревностных поклонников, чем приманивала их. До появления на горизонте Пушкиных барона Дантеса никто не связывал ее имени ни с чьим другим именем, хотя в свете и старались пустить клевету об ее близости с государем Николаем Павловичем» [2].

Спустя несколько лет после смерти Пушкина Наталью Николаевну посетил П. А. Плетнев. О своих впечатлениях от встречи с вдовой поэта он писал:

«Вечер с семи почти до двенадцати я просидел у Пушкиной жены и ее сестры. Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески. Никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна.

В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то

---

[1] Архив Араповой — *ИРЛИ*.

[2] «Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой». Париж, 1936, издание Сергея Лифаря.

трогательное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого высказывать».

М. Яшин, исследуя духовный облик Н. Н. Пушкиной-Ланской, обратил внимание на такую немаловажную подробность. После близкого общения с Натальей Николаевной различные лица, поначалу недоброжелательно или скептически к ней настроенные, заметно меняют затем к ней свое отношение. Баронесса Е. Н. Вревская после встречи с Натальей Николаевной писала мужу:

«Я видела госпожу Пушкину, она так старалась быть со мной любезной, что совершенно восхитила меня. Это очаровательное существо».

А незадолго до этого та же Вревская рассказывала брату: «Она [Н. Н.] просит у Маменьки позволения приехать отдать последний долг бедному Пуш.— так она его называет. Какова?»

Сергей Львович Пушкин, после кончины сына относившийся к снохе с понятной неприязнью, совершенно переменил свое мнение о ней, когда провел десять дней в Полотняном Заводе. После этого свидания он писал Вяземскому такие прочувствованные строки: «Нужды нет описывать вам наше свидание. Я простился с нею как с дочерью любимой без надежды ее еще раз увидеть или, лучше сказать, в неизвестности, когда и где я ее увижу».

Но как бы там ни было, многие из современников Натальи Николаевны передали следующим поколениям, как мы теперь видим, ложные представления о скудости ума и духовного облика жены Пушкина. Это, в свою очередь, дало повод известному литературоведу П. Е. Щеголеву сделать свой безапелляционный вывод, надолго предопределивший наше отношение к жене Пушкина: «Наталья Николаевна была так красива, что могла позволить себе роскошь не иметь никаких других достоинств». Он мог бы быть в своих оценках и выводах не столь односторонним. Здесь я должен оговориться, в своей документальной части монография Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» имеет непреходящее значение. Иначе обстоит дело с созданными им образами главных протагонистов жизненной трагедии Пушкина. Из них образ Натальи Николаевны нужно признать наименее удавшимся. Потребовалось время и дальнейшие поиски документов, чтобы этот образ в значительной степени прояснился и предстал перед нами во всем своем обаянии, которое так сильно пленило Пушкина при первой же встрече с Натали Гончаровой. Со временем появились работы, без предвзятости исследующие духовный облик жены поэта. Среди них выделяется своей обстоятельностью книга И. Ободовской и М. Дементьева «Вокруг Пушкина» (М., 1975).

Однако и в настоящее время появляются работы, принадлежащие перу авторитетных исследователей, которые в той или иной степени продолжают в отношении Натальи Николаевны линию Щеголева. Среди них в особенности выделяется статья знаменитой поэтессы Анны Ахматовой.

Не думаю, что было бы правильно вступать в полемику с покойным автором хотя бы потому, что сама Анна Ахматова воздержалась от публикации своей работы. Но и совсем не принимать во внимание соображения поэтессы, мне кажется, также было бы неверным.

Работа Анны Ахматовой напечатана в журнале «Вопросы литературы» в публикации Э. Герштейн, снабдившей ее рядом подробных примечаний.

Замечу сразу же, что статья знаменитой поэтессы, вероятно, звучала бы иначе в окончательной редакции, которой нам, увы, не суждено прочесть.

Ахматова не сомневается, что роковой диплом составлен если не непосредственно посланником Геккерном, то во всяком случае по его инициативе или при его возможном участии.

Наряду с тонкими, хорошо продуманными мыслями, например, впервые поставленным вопросом, почему злосчастный диплом был разослан друзьям Пушкина, а не его врагам, что было бы более логичным (еще одна загадка дуэльной истории, и Анна Ахматова находит для нее очень оригинальное объяснение), наряду с такими глубокими мыслями в статье имеется много чрезвычайно спорных и необоснованных предположений.

Местами Анну Андреевну, на мой взгляд, подводит ее излюбленный интуитивный метод, которым она руководствуется в разработке поставленной темы, и ее построения зачастую приобретают фантастический характер. В этом отношении особенно показательна созданная ею картина того, как в голландском посольстве якобы мог вырабатываться текст злополучного пасквиля.

Со многими положениями автора я ни в какой мере не могу согласиться. И прежде всего считаю, что нас не может удовлетворить, особенно теперь, когда появились новые источники, характеризующие Наталью Николаевну Пушкину-Ланскую, чрезвычайно необъективное, я бы даже сказал, местами явно враждебное отношение к Наталье Николаевне. Среди современных, довольно многочисленных работ, в которых выявляется роль Натальи Николаевны в дуэльной истории, статья Ахматовой выделяется своим беспощадно резким осуждением жены поэта. Помимо многого дурного, что Ахматова находит в Наталье Николаевне, она считает, что жена Пушкина, так же как и ее сестра Екатерина, являлись если не сознательными, то невольными пособницами, «агентками», как она выра-

жается, Геккерна-старшего в осуществлении его коварных планов.

Вот что она пишет о роли Натальи Николаевны в преддуэльные дни: «Пушкин спас репутацию жены. Его завещание хранить ее честь было свято выполнено. Но мы, отдаленные потомки, живущие во время, когда от пушкинского общества не осталось камня на камне, должны быть объективны. Мы имеем право смотреть на Наталью Николаевну как на *сообщницу* (курсив мой — *Н. Р.*) Геккернов в преддуэльной истории. Без ее активной помощи Геккерны были бы бессильны». И в другом месте: «...что она, как мы знаем, и делала, становясь, таким образом, агенткой Геккерна» («Вопросы литературы», 1973, № 3, с. 195, 212).

Скажу от себя только одно: эти умозрительные построения настолько искусственны, что не требуют опровержения.

Анна Ахматова совершенно определенно обвиняет жену Пушкина и в том, что, будучи в гостях у Фризенгофов и встретясь там с убийцей своего мужа, она будто бы помирилась с ним.

Между тем, как я уже упомянул в первом очерке, не существует никаких доказательств этой истории с примирением. Зато из только что опубликованных писем Екатерины Николаевны из-за границы старшему брату Дмитрию видно, что Наталья Николаевна, как и ее сестра Александрина, навсегда порвала отношения со старшей сестрой, что, естественно, исключает всякую возможность примирения с ее мужем. Таким образом, не только не виделась с убийцей своего мужа Наталья Николаевна, но и прервала всякую связь с сестрой. Вначале Екатерина Николаевна тщетно пыталась завязать переписку с сестрами и своей теткой Загряжской,— эти письма неизменно оставались без ответа. В дальнейшем о судьбе сестер она узнает лишь через третьих лиц, так как, по-видимому, и брат Дмитрий, и мать избегают всякого упоминания о сестрах Екатерины. Постепенно в письмах Екатерины Николаевны к брату чувствуется нарастающее раздражение против сестер и тетки. Прямых указаний в письмах Екатерины Николаевны нет, но нельзя не почувствовать неутихающую враждебность семьи Гончаровых к убийце Пушкина, враждебность, которая объясняется не только мелочностью и бесцеремонностью Дантеса, который, будучи обеспеченным человеком, упорно добивается получения обещанной помощи при заключении брака с Екатериной.

А что мы можем сказать о Наталье Николаевне на основании ее писем к брату Дмитрию? Скажем прежде всего о том, что они окончательно разрушают представление о Наталье Николаевне как о бездушной светской красавице, для которой главным содержанием жизни являлись ее успехи в большом свете.

Перед нами предстает не пустозвонная светская красавица, каких немало было в тогдашнем великосветском Петербурге, а женщина очень деловая, чрезвычайно деликатная в отношениях с людьми, хорошая хозяйка, заботливая жена, мать и сестра.

Вопреки общепринятому мнению, ни в одном ее письме мы не встречаем ни единой строчки о ее светских успехах, о желании затмевать всех своей красотой. Зато сообщениями такого характера изобилуют письма ее сестер — Екатерины и в особенности Александры, вопреки общепринятому мнению, что Александра, в отличие от своей сестры Натальи, была равнодушна к светским удовольствиям.

После знакомства с письмами сестер Гончаровых, свидетельств самых верных, у меня произошла неизбежная переоценка характеров всех трех сестер. Не могу не согласиться с Д. Благим, когда он пишет: «Письма сестер помогли взглянуть по-новому и на их личность. И вот взамен ходячих представлений о них, окрашенных то сплошь черным (в отношении Екатерины), то, наоборот, розово-голубым цветом (в отношении Александры), перед нами предстают живые человеческие лица, в которых смыты как односторонне обличительные, так и односторонне идеализирующие краски» [1].

Признаюсь, что я не без сожаления расстался, в частности, с образом той Александрины, которая по приезде своем в дом Пушкина взяла на себя все заботы о детях и доме поэта. Никакого подтверждения этих домашних заслуг Александрины в письмах сестер и, в первую очередь, ее собственных письмах мы не находим. Напротив, мы видим, что все заботы по дому и по воспитанию детей берет на себя Наталья Николаевна и справляется со своими обязанностями так деловито и умно, как трудно было ожидать от совсем еще юной женщины. И по-другому звучит для нас сейчас письмо Пушкина к жене от 25 сентября 1832 года в ответ на подробное письмо Натальи Николаевны, содержащее рассказ о домашних хлопотах [2].

«Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Айда хват баба! что хорошо, то хорошо» (около 3 октября 1832 года).

«Ты умна, ты здорова — ты детей кашей кормишь — ты под Москвой. — Все это меня очень порадовало и успокоило; а то я был сам не свой» (24 апреля 1834 года).

Конечно, подобными косвенными доказательствами, что жизнь Натальи Николаевны не была полностью заполнена только светскими удовольствиями, что много внимания она

---

[1] «Вокруг Пушкина», с. 7.

[2] М. Яшин. Пушкин и Гончаровы.— «Звезда», 1964, № 8, с. 169—189.

уделяла детям, дому, наконец, литературным делам мужа, в особенности в тот период, когда Пушкин затеял издание собственного журнала, изобилуют письма Пушкина к жене, изданные очень давно. И все же, повторяю, только в наше время они стали фоном, на котором вырисовывается живой образ жены поэта.

Трудно было, например, предположить, что совсем еще молодая женщина, «мадонна», «психея», «поэтическая Пушкина» и т. д. может размышлять о том — дать ли взятку, чтобы соответствующим образом повлиять на решение в пользу Гончаровых очень важного для них процесса с арендатором их фабрик купцом И. Г. Усачевым. Между тем 1 октября 1835 года она пишет брату: «Второе, что я хотела бы знать: является ли правая рука Лонгинова[1], т. е. человек, занимающийся нашим делом, честным человеком, или он из таких, которых надо подмазать? В этом случае надо соответственно действовать. Как только я это узнаю точно, я дам тебе знать об этом».

В отсутствие мужа, уехавшего в Михайловское, Наталья Николаевна настойчиво обихаживает сановников, от которых зависит решение по данному делу[2]. Сенатор Бутурлин советует ей самой обратиться к царю, взяв обратно прошение, поданное Дмитрием Николаевичем. Пушкина решает последовать этому совету и пишет брату: «Прости, но он (Бутурлин.— *Н. Р.*) говорит, что мое имя и моя личность более известны Его Величеству, чем твои». Только вежливое, но настоятельное письмо Лонгинова от 31 октября 1832 года, указавшего на полную неуместность такого шага, заставляет Наталью Николаевну от него отказаться.

Быстро и умело Наталья Николаевна исполнила просьбу Пушкина, которому летом 1835 года понадобилась бумага для задуманного им альманаха[3]. Как видно из ее письма к брату от 18 августа, она приняла эту просьбу близко к сердцу: «Мой муж поручает мне, дорогой Дмитрий, просить тебя оказать любезность — приготовить ему 85 стоп бумаги по образцу, который я прилагаю к этому письму <...> Я прошу не отказать нам, дорогой брат, если наша просьба не затруднит и не создаст тебе неудобств».

Ряд писем к жене во время его последней поездки в Москву в мае 1836 года показывает, что в это время она фактически исполняла обязанности секретаря редакции «Современника». Исполняла старательно, хотя, кажется, спутала

---

[1] Николай Михайлович Лонгинов, статс-секретарь по принятию прошений на высочайшее имя, член Государственного совета.

[2] Судя по письму Натальи Николаевны, Пушкин намеревался хлопотать по делу Гончаровых перед своим давнишним знакомым, с 1832 года министром юстиции, Д. В. Дашковым.

[3] Это издание не было осуществлено.

Гоголя и Кольцова. «Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской?» «Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть»,— наказывает Пушкин 11 мая.

Вопреки ранее существующему убеждению в том, что Пушкина была невнимательна к душевному состоянию своего мужа и плохо понимала трудности, с которыми он сталкивался в своей литературной деятельности, недавно обнаруженные письма Натальи Николаевны к брату Дмитрию заставляют изменить взгляд и на эту черту ее духовного склада. Приведем выдержку из письма, посланного брату в июле 1836 года, которое, кстати сказать, показывает, насколько трудно было в последние годы жизни поэта материальное положение его семьи.

«Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится; несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам, и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе, будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе».

Сопоставляя, таким образом, разрозненные факты из

различных источников: свидетельств современников, писем Пушкина к жене, писем самой Натальи Николаевны к брату Дмитрию, — можно с уверенностью сказать, что образ Натали Пушкиной — блистательной и легкомысленной красавицы, сущность которой проявлялась единственно в ее страсти к светским развлечениям, оказывается эфемерным.

Однако в заключение о Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской мне бы хотелось сказать, что в настоящее время в пушкиноведении, как кажется, наметилась другая крайность — чересчур идеализировать жену Пушкина, делать из нее чуть ли не ангела. А она таковой не была, она была живым человеком, были у нее и свои недостатки, и свои достоинства.

Перечитывая письма поэта к жене, нельзя, например, не заметить, что очень редко он упоминает в них о прочитанных книгах, о виденных картинах. Отвлеченных вопросов, политических новостей, даже таких, о которых можно было говорить, не опасаясь перлюстраций, не касается совсем. Не беседует Пушкин с женой и о собственном творчестве. Если и говорит о своих произведениях и журнальных планах, то только как об источниках дохода.

Приходится поэтому предположить, что при всех своих несомненных достоинствах жена поэта все же оставалась целиком на земле. Оторваться от нее, приблизиться к тем духовным вершинам, где царил ее гениальный муж, ей очень трудно. Есть некоторые сведения о том, что Наталья Николаевна сама пыталась писать стихи. Сведения эти, однако, пока не подтвердились, хотя, по-видимому, не лишены основания, так как в одном из писем к жене Пушкин говорит — «стихов твоих не читаю». Предположение о том, что речь в данном случае идет о чьих-то чужих стихах, посланных Наталье Николаевне, вряд ли соответствует истине. Судя по контексту, речь идет все же именно о стихах самой Натальи Николаевны.

Видеть в Наталье Николаевне только жертву людской клеветы, отравлявшей и жизнь, и память Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской, было бы, на мой взгляд, не верно. Эта житейски умная, добрая и привлекательная женщина, к несчастью ее самой, несчастью России и всего человечества, полюбила кавалергарда Дантеса и не сумела преодолеть этой любви. Самой трагической ее ошибкой было согласие на роковое свидание с Дантесом в кавалергардских казармах уже после его женитьбы на Екатерине Николаевне. Не могла она не понимать, скажем вернее — не имела права не понимать, к каким последствиям может привести это свидание при столь крайне напряженных и непримиримых отношениях ее мужа и ее поклонника.

В книге Ободовской и Дементьева мы, как и можно было ожидать, не находим ничего нового по этому вопросу. Однако он существует и будет продолжать существовать в своей трагической обнаженности.

III

Жена поэта встречалась с Долли Фикельмон главным образом в обществе, на многолюдных балах и приемах, но от времени до времени, несомненно, бывали и встречи «запросто», в тесном кругу друзей. Об одном из таких обедов у Фикельмон мы узнаем из недатированной записки Долли к Вяземскому:[1] «Дорогой Вяземский, вы должны сегодня достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы пообедать у нас. Зинаида приедет в последний раз, Пушкины (поэт)[2], Смирновы обедают у меня. Итак, приезжайте в 5 ч.— я вам дам бульон для больного! *Долли*».

Прошу читателя вместе со мной всмотреться в текст этой дружеской записки, так как она содержит хотя и очень малозначительный, но все же новый факт из жизни поэта.

Среди близких знакомых Фикельмон мы знаем только одну Зинаиду — графиню Зинаиду Ивановну Лебцельтерн, урожденную графиню Лаваль. Ее муж был предшественником Фикельмона на посту посла в Петербурге. Лебцельтерн приехала в столицу на пароходе около 10 мая 1832 года[3], надо думать, для свидания с родными. Долли Фикельмон упоминает о ней в записях 15 мая и 20 августа того же года[4]. По-видимому, во второй половине августа ее новая приятельница собиралась уезжать или уже уехала обратно за границу. С другой стороны, именно в это время в письмах Вяземского к жене есть ряд упоминаний о его довольно упорном желудочном заболевании. 14 августа Петр Андреевич еще болен и его навещает графиня Долли вместе с матерью, а 17-го он уже принимается подыскивать квартиру для семьи[5].

Таким образом, можно считать, что Пушкин был приглашен с женой пообедать у Фикельмон в тесном кругу в половине августа 1832 года.

В бальных залах Наталья Николаевна Пушкина была одной из самых ярких звезд. Красотой могла соперничать

---

[1] *ЦГАЛИ.*

[2] Упоминая о Пушкине, Фикельмон часто прибавляет «писатель» или «поэт» — вероятно, чтобы отличить его от своих знакомых графов Мусиных-Пушкиных.

[3] *Звенья,* IX, с. 357.

[4] *Флоровский. Дневник Фикельмон,* с. 87. Содержание записей не приведено.

[5] *Звенья,*IX, с. 437—438.

с кем угодно — в том числе и с Фикельмон. Вероятно, она научилась также довольно умело поддерживать легкий, «салонный» разговор, хотя с этой стороны мы знаем ее очень мало.

Пушкина не могла не понимать, что соперничать ей с «посольшей» трудно. Она, несомненно, ревновала мужа к Дарье Федоровне — справедливо или нет, об этом мы скажем дальше. Вообще же хорошо известно, что, нежно любя жену, Пушкин увлекался и другими женщинами. В письмах к Наталье Николаевне ему не раз приходилось оправдываться против ее подозрений. Кроме Долли она ставила ему в укор Александру Осиповну Смирнову, графиню Надежду Львовну Соллогуб, по мужу Свистунову, Софью Николаевну Карамзину и многих других. Еще будучи невестой, Таша Гончарова вообразила, что жених ее неравнодушен к некой княгине Голицыной, к которой он заезжал по делам. Потом, в Петербурге, в число предполагаемых увлечений мужа попала Полина Шишкова.

С последней, однако, дело обстоит сложнее. Положившись на указание П. Е. Щеголева[1], я назвал ее в книге «Если заговорят портреты» «никому не известной», но, несомненно, ошибся. Речь идет о фрейлине Прасковье (Полине) Дмитриевне Шишковой, относительно которой Пушкин писал жене 30 июня 1834 года: «Твоя Шишкова ошиблась: я за ее дочкой Полиной не волочился[2] потому, что не видывал <...>». Вряд ли важно и нужно выяснять, правда это или нет, тем более что, судя по контексту письма, имеется в виду одно из увлечений холостого Пушкина.

Среди предметов ревности Натальи Николаевны фигурируют, надо сказать, и женщины, вовсе поэта не знавшие.

Но не будем удивляться чрезмерной ревности жены Пушкина — можно сказать с уверенностью, что женское чутье редко ее обманывало...

Долли Фикельмон связывает с Пушкиным еще одно имя. Это графиня Мусина-Пушкина. Запись 17 ноября 1832 года гласит: «Графиня Пушкина очень хороша в этом году, она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает Пушкин-поэт»[3].

Было высказано предположение о том, что речь идет о графине Марии Александровне Мусиной-Пушкиной, урожденной княжне Урусовой. Пушкин был влюблен в нее в 1827 году и изобразил графиню в чудесном стихотворении «Кто знает край, где небо блещет...».

---

[1] *Щеголев*, с. 53.

[2] «Волочиться» в то время не очень резало слух и почти соответствовало вполне благопристойному глаголу «ухаживать».

[3] *Флоровский. Пушкин на страницах дневника*, с. 566. Фотокопией этой записки я не располагаю.

Более вероятно считать, что запись Фикельмон относится к знаменитой красавице Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной, урожденной Шернваль, которую воспевал Лермонтов («Графиня Эмилия белее чем лилия»). Об этом увлечении Пушкина в 1832 году, насколько я знаю, никто, кроме Дарьи Федоровны, не сообщает.

Обширную запись, посвященную дуэли и смерти поэта, мы рассмотрим в особом очерке.

До сих пор мы занимались отзывами Долли Фикельмон о Пушкине и его жене. Как мы видели, они красочны и интересны, но опять приходится повторять: к сожалению, их немного.

Что же говорит сам поэт о чете Фикельмон?

В письмах к Е. М. Хитрово он несколько раз в очень церемонной форме передает поклоны обеим ее дочерям. В серии писем к Елизавете Михайловне последнее упоминание о Дарье Федоровне имеется в записке, датируемой концом января 1832 года: «Конечно, я не забуду про бал у посланницы и прошу вашего разрешения представить на нем моего шурина Гончарова».

В письмах к жене Пушкин говорит о графине Фикельмон несколько подробнее. 8 декабря 1831 года, будучи в Москве, поэт спрашивает Наталью Николаевну: Брюллов пишет ли твой портрет? была ли у тебя Хитрово или Фикельмон?»

8 октября 1833 года он пишет ей из Болдина: «Так Фикельмон приехали? Радуюсь за тебя; как-то, мой ангел, удадутся тебе балы?»

Возможно, таким образом, что в это время Дарья Федоровна наряду с теткой Натальи Николаевны, фрейлиной Е. И. Загряжской, все еще немного опекала молодую Пушкину, два года тому назад вступившую в большой петербургский свет. Вероятно, поэт был ей за это благодарен, но сам он об этом ничего не говорит.

Наиболее интересны упоминания о Долли в письмах 1834 года.

15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми к родным, и Пушкин прожил в Петербурге один до середины августа. Описывая свое времяпрепровождение, он неоднократно упоминает о семье Фикельмон и лично о Дарье Федоровне.

Около 5 мая он пишет: «Летний сад полон. Все гуляют. Графиня Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда. За Соллогуб я не ухаживаю, вот те Христос, и за Смирновой тоже». В конце письма Пушкин прибавляет: «Я не поехал к Фикельмон, а остался дома, перечел твое письмо и ложусь спать».

8 июня поэт сообщает: «Фикельмон болен и в ужасной хандре».

28—29 июня он уверяет жену, что никуда не ездит: «Говорят, что свет живет на Петергофской дороге. На Черной речке только Бобринская да Фикельмон. Принимают — а никто не едет. Будут большие праздники после Петергофа. Но я уже никуда не поеду».

Несмотря на эти уверения, а может быть и позабыв о них, Пушкин 11 июля описывает бал у Фикельмонов: «Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я вошел в освещенную залу, с нарядными дамами, то я смутился, как немецкий профессор; насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал это запросто, а не раут <...> Вот, наелся я мороженого и приехал к себе домой — в час. Кажется, не за что меня бранить».

Это последнее упоминание о Фикельмон в переписке Пушкина[1]. Неизвестно, поверила ли Наталья Николаевна искренности мужниного письма. Вряд ли... Опытный светский человек, блестящий собеседник, давний уже приятель Долли вдруг теряется, как застенчивый немецкий педант. Очень уж ясна стилизация в этих строках. Перед нами сочинение Александра Пушкина, написанное с оправдательной целью, а не откровенная беседа мужа с женой. Интересно отметить, что и князю Вяземскому приходилось писать своей умной и неревнивой жене, что ревновать его к «мадам ламбассадрис» (посольше) не стоит. По-видимому, очарование графини Фикельмон пугало жен ее друзей...

В единственной сохранившейся тетради дневника Пушкина (специалисты спорят, существовала ли вообще еще одна) есть около десятка записей, так или иначе касающихся графини и ее мужа, но для нас они малоинтересны. Выводы, которые можно сделать из писем Пушкина и этих записей в отношении знакомства поэта с Д. Ф. Фикельмон и ее мужем, довольно скудны. Он был, как видно, исправным посетителем официальных приемов — балов, раутов, обедов в доме австрийского посла. Об этой парадной стороне знакомства Пушкин главным образом и пишет. Недоволен собою, когда случайно нарушает светские обычаи. 17 марта 1834

---

[1] Наталья Николаевна, по-видимому, сохранила все письма мужа, несмотря на то, что в некоторых из них наряду с большой любовью и лаской есть и крайне резкие отзывы о ее кокетстве. Это, несомненно, делает честь ее правдивости и мужеству.

Что касается остальных писем поэта, то, по мнению некоторых исследователей, до нас дошла лишь примерно треть их. Вполне возможно поэтому, что мы не знаем и некоторых высказываний Пушкина о Фикельмон.

года записывает, например: «Третьего дня обед у австрийского посланника. Я сделал несколько промахов: 1) приехал в 5 часов вместо $5^{1}/_{2}$, и ждал несколько времени хозяйку; 2) приехал в сапогах, что сердило меня во все время». Попутно отмечает кое-какие заинтересовавшие его разговоры с самим Фикельмоном и его гостями. О Долли, своей, несомненно, близкой знакомой, он не говорит почти ничего. Дружеская шпилька в письме к Вяземскому относительно его предполагаемого увлечения графиней — одно из редких исключений.

При самом внимательном чтении всех упоминаний о хозяйке дома невозможно сказать, как же относится к ней сам поэт и что он о ней думает. О других женщинах, несравненно более заурядных, чем Фикельмон, у Пушкина отзывов немало — вплоть до наименования графини Соллогуб «шкуркой» в письме к жене от 21 октября 1833 года. О своем отношении к Дарье Федоровне поэт упорно молчит. Не будем пока пытаться выяснить, в чем же тут дело, но запомним этот несомненный факт.

Свидетельств современников об отношениях Пушкина и Д. Ф. Фикельмон известно очень мало. Можно думать, что до весны 1830 года поэт во всяком случае не увлекался Дарьей Федоровной. Вяземский в письме к жене от 26 апреля этого года, охарактеризовав Долли Фикельмон, спрашивает: «Как Пушкин не был влюблен в нее, он, который такой аристократ в любви? Или боялся он inceste[1] и ревности между матерью и дочерью?»[2]

Последнюю фразу вряд ли следует принимать всерьез. Как только речь заходила о Е. М. Хитрово и Пушкине, без шутки дело не обходилось и у Вяземского и у многих других.

Знаем мы и еще одну дату отрицательного характера. 25 июля 1833 года тот же Вяземский сообщает жене: «Вчера был вечер у Фикельмон <...> было довольно вяло. Один Пушкин palpitoit de l'intérêt du moment[3], краснея, взглядывал на Крюднершу[4], и несколько увиваясь вокруг нее»[5]. Можно, следовательно, думать, что в этот момент отношения поэта с хозяйкой дома дальше дружбы, несомненно, не шли. Иначе Пушкин в гостях у Фикельмон, вероятно, был бы сдержаннее.

Очень существенные сообщения П. И. Бартенева, основанные на рассказах современников поэта, приведены ниже.

---

[1] Кровосмешения.

[2] *Звенья*, VI, с. 242.

[3] Был весь захвачен переживаемым им моментом *(франц.)*.

[4] Баронесса Амалия Максимилиановна Крюднер, внебрачная дочь баварского посланника графа Лерхенфельда.

[5] В. Нечаева. Пушкин в письмах П. А. Вяземского к жене (1830—1838).— «Литературное наследство», т. 16-18, с. 807.

Совершенно особняком стоит рассказ племянника поэта Л. Н. Павлищева. В своих воспоминаниях он категорически утверждает, что его дядя и графиня Фикельмон относились друг к другу крайне враждебно[1]. Автор цитирует письмо своей матери, сестры поэта, от конца декабря 1831 года, в котором последняя сообщает мужу, что госпожа Фикельмон «не терпит, однако, моего брата — один бог знает почему». В свою очередь, мать Пушкина пишет дочери в конце 1834 года, что поэт был с женой у Фикельмон, «которую, впрочем, терпеть не может». Наконец Павлищев утверждает, что после женитьбы Дантес «продолжал танцевать и разговаривать исключительно со свояченицей на вечерах, устраиваемых «не без злостного намерения людьми добрыми» (Ольга Сергеевна называет Фикельмоншу, возненавидевшую поэта, уже гораздо прежде)».

Источник, казалось бы, бесспорный, и, значит, наше представление об отношениях поэта и Долли в корне ошибочно. Оказалось, однако, что все цитаты, на которые ссылается Павлищев, сочинены им самим. В подлинных письмах родных Пушкина, которые, к счастью, сохранились и были опубликованы, этих фраз нет. Для чего понадобилось Л. Н. Павлищеву совершить подобный литературный подлог, в свое время введший в заблуждение некоторых пушкинистов, остается непонятным.

Оставим теперь на время вопрос о личных отношениях поэта и Долли и взглянем на Пушкина, посетителя не официальных приемов, а гостеприимного салона посольши. Вряд ли ему были приятны встречи с некоторыми особами императорской фамилии, которые бывали там запросто[2]. Но там же в дружеской беседе проводили время дипломаты, придворные, дамы большого света, гвардейские офицеры, заезжие иностранцы, некоторые из русских друзей поэта — Вяземский, Жуковский, Тургенев. Пушкин всегда мог выбрать людей, с которыми ему было интересно поговорить.

Долли Фикельмон, судя по всему, отличная, заботливая хозяйка. Из дневника Дарьи Федоровны мы узнаем, что ее личные комнаты выходили на юг и там было много цветов. Она любила свою красную гостиную и кабинет, в котором цвели нарядные камелии,— от себя добавим: модные цветы эпохи романтизма. Там часто пили чай, а ужинали в зеленом салоне. Фикельмон принимала по вечерам. Приемы ее матери, жившей, не забудем, в том же особняке, считались «утрами», хотя продолжались от часу до четырех. Бывали, впрочем,

---

[1] Л. Н. Павлищев. Воспоминания о Пушкине. М., 1890, с. 242, 271, 380, 426.

[2] Император и императрица, согласно этикету, появлялись в домах послов только в официальных случаях.

у Елизаветы Михайловны и домашние вечера. О них тоже есть упоминание в дневнике дочери.

Прекрасную характеристику такого рода собраний оставил в «Старой записной книжке» постоянный гость и матери и дочери П. А. Вяземский[1]: «Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в этих двух салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; была и передовая статья с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь! А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок — система свободной торговли, приложенная к разговору. Не то что в других обществах, в которых задирчиво и стеснительно господствует запретительная система: прежде чем выпустить свой товар, свою мысль, справляться с тарифом; везде заставы и таможни».

Пушкин, хотя он об этом и умалчивает, несомненно, был частым гостем в доме Фикельмонов. Тот же Вяземский говорит, что «их салон был также европейско-русский. В нем и дипломаты и Пушкин были дома»[2].

Как известно, отношения поэта с высшим обществом столицы, так называемым «большим светом»,— это одна из болезненных сторон его биографии. А. С. Хомяков, по всей вероятности, преувеличивает, говоря, что Пушкина принимали в великосветских домах из милости[3]. Однако права гениального человека тогдашние русские верхи понимали плохо, а права старинного, но небогатого и нечиновного дворянина казались им, надо думать, недостаточными. Много дверей

[1] Впервые напечатано (без подписи автора) в журнале «Русский архив», 1877, кн. I, № 4, с. 513—514. Многократно перепечатывалось.

[2] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 220.

[3] А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1900, с. 89—90 (письмо к Н. М. Языкову, февраль 1837 года).

открывалось не перед первым поэтом России, а перед мужем блистательно красивой жены.

На Западе сто с лишним лет тому назад у гения было больше прав, чем в России, а экстерриториальный особняк австрийского посла и в юридическом и в переносном смысле слова находился на западно-европейской территории. Пушкин входил в него желанным, почетным и, можно думать, любимым гостем.

Поэт был в большей или меньшей степени знаком со всем дипломатическим корпусом. Некоторые из послов и посланников (французский — барон Барант, баварский — граф Лерхенфельдь, вертембергский — князь Гогенлоэ-Кирхберг, саксонский — барон Лютцероде) хорошо знали Пушкина и высоко ценили его как поэта. В особенности это надо сказать о Лютцероде, прекрасно овладевшем русским языком и даже переводившем Пушкина. Однако, вне всякого сомнения, именно салоны Фикельмон и ее матери были для поэта главным источником сведений о западно-европейской жизни, источником, который не могла закрыть царская цензура. Там он имел даже возможность получать книги, не допускаемые к ввозу в Россию. Известно, например, что граф Фикельмон в 1835 году подарил поэту два тома «контрабанды», как он сам назвал в приложенной записке,— запрещенные стихотворения Генриха Гейне. Посол иногда оказывал своим русским знакомым и более серьезные услуги — некоторые письма А. И. Тургенева Вяземскому, как оказывается, привозили из-за границы курьеры австрийского посольства.

Всего интереснее было бы узнать, какие же именно политические разговоры с участием Пушкина происходили в салоне Долли Фикельмон. Она ведь интересовалась политикой, особенно иностранной, так же горячо, как и поэт. К сожалению, пока мы этого не знаем. Однако переписка Дарьи Федоровны с Вяземским показывает, что круг вопросов, интересовавших их обоих, был очень широк — от текущей иностранной политики до христианского социализма Ламеннэ и Лакордера[1]. Повторю еще раз, что эта переписка, по всей вероятности,— прообраз тех бесед, которые велись в салоне Фикельмон зачастую с участием Пушкина.

Как мы видели, польский вопрос в переписке друзей — одна из очень волнующих тем. В дневнике Долли ему также посвящено большое число записей.

Во время польского восстания 1830—1831 годов Пушкин мог говорить о нем с Дарьей Федоровной только во время своего короткого (всего одна неделя) пребывания в Петербурге в мае 1831 года. Зато, начиная со второй половины октября

---

[1] О внутренней российской политике в письмах, большею частью посылавшихся по почте, естественно, не говорится.

того же года, когда поэт вернулся с женой в столицу, он, бывая в салоне Фикельмон, можно думать, не раз говорил о только что закончившейся трагедии. По всей вероятности, Пушкин и Долли немало спорили. Они оказались в противоположных лагерях. Хорошо известно, что поэт, исходя из «высших» государственных интересов, как он их понимал, убежденно и страстно желал победы над поляками. Об этом вопросе как у нас, так и за рубежом (особенно в славянских странах) существует огромная литература. Надо сказать, что и среди русских его современников отношение к этим стихам было далеко не единодушным. Пожалуй, всех резче отзывается о них один из ближайших друзей Пушкина, убежденный западник и полонофил Вяземский. В своей дневниковой записи 14 сентября 1831 года он назвал «шинельными стихами» «Старую песню на новый лад» Жуковского, напечатанную вместе с обоими стихотворениями[1] Пушкина в брошюре «На взятие Варшавы». Вяземский сам объяснил в дневнике значение этого выражения — «стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами». В длинном рассуждении о выигранной русскими войне он прибавляет: «Наши действия в Польше откинут нас на 50 лет от просвещения Европейского. Что мы усмирили Польшу, что нет — все равно: тяжба наша проиграна.— Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или в Вологду гораздо более предмет для поэзии нежели взятие Варшавы»[2].

22 сентября Вяземский в том же дневнике обрушивается на Пушкина: «Пушкин в стихах своих: *Клеветникам России* кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на *вопросы*, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. *Народные витии*, если бы удалось им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим <...> В «Бородинской годовщине» опять те же мысли, или же безмыслие. Никогда народ-

---

[1] Обширное исследование об откликах на эти стихотворения в России и за рубежом опубликовал В. А. Францев («Пушкин и польское восстание 1830—1831 года. Опыт исторического комментария к стихотворениям «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».— В кн.: «Пушкинский сборник». Прага, 1929, с. 65—208).

[2] П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963, с. 211—213.

ные витии не говорили и не думали, что 4 миллиона могут пересилить 40 миллионов, а видели, что эта борьба обнаружила немощи *больного, измученного колосса.* Вот и все: в этом весь вопрос. <...> И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою?* Россия вопиет против этого беззакония»[1].

Елизавете Михайловне Хитрово Вяземский писал 7 октября 1831 года, вероятно, с оказией: «Что делается в Петербурге после взятия Варшавы? Именем бога (если он есть) и человечности (если она есть), умоляю вас, распространяйте чувства прощения, великодушия и сострадания. Мир жертвам! <...> Будем снова европейцами, чтобы искупить стихи совсем не европейского свойства. Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности; но у Поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать <...> Все это должно быть сказано между нами, но я не в силах, говоря с вами, сдерживать свою скорбь и негодование. Я очень боюсь, как бы мне <...> не остаться виноватым перед вами в этом вопросе; <...> но в защиту от вас прибегаю к вашему великодушию и уверен, что найду оправдание. Во всяком случае, взываю о помощи к прекрасной и доброй посланнице. Нет, говорите, что хотите, но не в наши дни искать благородных откровений в поэзии штыков и пушек <...>»[2].

Стихотворения Пушкина, о которых идет речь, вызвали совершенно различные отзывы его друзей. А. И. Тургенев, как и Вяземский, отнесся к ним резко отрицательно. П. Я. Чаадаев 18 сентября, наоборот, написал поэту восторженные строки: «Вот, наконец, вы национальный поэт; вы, наконец, нашли свое призвание. Особенно изумительны стихи к врагам России; я вам это говорю. В них мыслей больше, чем было сказано и создано у нас в целый век».

Многие известные и малоизвестные лица, близкие друзья Пушкина и просто знакомые сочли нужным высказаться по поводу стихотворений Пушкина, так оглушительно прозвучавших в то тревожное время.

Полемика была жаркая, и, что самое примечательное, она, на разных языках, продолжается иногда и в наши дни.

Вернемся, однако, к «прекрасной и доброй посланнице», к помощи которой взывал Вяземский.

Можно было ожидать, что графиня Фикельмон, так ратовавшая впоследствии против всех национальных восстаний в Австрийской империи, сойдется во взглядах с поэтом. В действительности все оказалось иначе. 13 октября 1831 года Дарья

---

[1] П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—1848. М., 1963, с. 214—215.

[2] «Русский архив», 1895, кн. II, с. 110—113. В публикации приведен также французский текст подлинника. Перевод оказался точным.

Федоровна пишет Вяземскому: «Если бы вы были для меня чужим, безразличным, если бы я не имела к вам тени дружбы, дорогой князь, все это исчезло бы с тех пор, как я прочла ваше письмо к мама по поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы. Все, что вы говорите, я думала с первого мгновения, как я прочла эти стихи. Ваши мысли были до такой степени моими в этом случае, что благодаря одному этому я вижу, что между нами непременно есть сочувствие. Но это было даже излишним, потому что издавна я восхищаюсь в вас еще в тысячу раз больше, чем вашим умом — благородной душой, горячим сердцем и пониманием всего, что справедливо и прекрасно. Когда вы вернетесь, мы вволю поговорим обо всем, что это неожиданное стихотворение внушило вам!»[1]

Резкое недовольство, даже негодование по поводу «Бородинской годовщины», надо сказать, вполне согласуются с тем, что Фикельмон писала Вяземскому во время польского восстания и с ее дневниковыми записями.

Дарья Федоровна, несомненно, сочувствовала полякам, хотя в рядах сражавшихся с ними русских войск были ее родственники Тизенгаузены и многочисленные знакомые — гвардейские офицеры. Событиям в Польше посвящено множество записей. Польские события глубоко ее волновали, но больше с моральной, чем с политической стороны. Долли прежде всего тяжело переживала пролитие крови. На поляков, среди которых у нее тоже было немало великосветских друзей и знакомых, Фикельмон смотрела как на угнетенную героическую нацию, которая доблестно ведет безнадежную, по существу, борьбу.

В возможность успеха восстания она, вероятно отражая мнение мужа, с самого начала не верила. Еще 25 января 1831 года Долли записывает: «Если они будут хорошо драться, они прольют много русской крови, но исход борьбы несомненен!»

«Нельзя без боли присутствовать при этой агонии народа! В особенности сейчас, когда они сражаются, как герои, разве можно отказать им в симпатии, в восхищении» (16 февраля).

«Целая нация в агонии, тысячи героев умирают со славой, а остальные гибнут от холеры и голода. Вот состояние этой несчастной Польши, о душераздирающей и ужасной катастрофе которой в истории никогда не будут читать без слез! <...> Кончится все это, без всякого сомнения, полным триумфом России, но каким триумфом, великий боже!» (20 апреля).

Но, восхищаясь отчаянным сопротивлением поляков,

---

[1] Перевод мой — *Н. Р.* Письмо опубликовано в «Литературном наследстве», т. 58, с. 106.

Дарья Федоровна отдавала порой должное и геройству русских войск. Флигель-адъютант ротмистр князь Суворов, внук великого полководца, примчался в Царское Село с известием о взятии Варшавы 4 сентября, а десять дней спустя Фикельмон записывает: «Варшава была взята и оккупирована (prise et occupée) фельдмаршалом Паскевичем после блестящего дела (un fait d'armes brillant); три линии окопов, прикрывающих город, были взяты штыковой атакой. Русские войска проявили высокую доблесть и покрыли себя славой в этом ожесточенном сражении, которое продолжалось сорок восемь часов; в этом положении, имея противника у ворот города и в таких превосходных силах, поляки во время начатых переговоров требовали еще старых границ. Наконец, возможно для того, чтобы избежать разграбления, Варшава сдалась, армия заключила род *капитуляции,* но не *безусловной;* она вышла через Прагу, направляясь в Плоцк <...> Фельдмаршалу Паскевичу пожалован титул князя Варшавского, и один этот титул увековечивает память об этой гражданской войне и делает из нее войну завоевательную».

Очень мрачно смотрит Фикельмон на будущее русско-польских отношений. «И какая польская душа теперешнего поколения и того, которое за ним последует, сможет желать примирения с Россией»,— записывает Дарья Федоровна в тот же день, 14 сентября 1831 года. И снова, в который уже раз, приходится сказать, что прозорливость не обманула сивиллу — теперь уже петербургскую. «Следующим поколением» были повстанцы 1863 года...

Враждебности к русским в ее записях нет, но государственные интересы России, которые так волновали поэта в связи с польской войной, Долли Фикельмон в это время, видимо, совершенно чужды.

За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва? —

эта патриотическая тревога поэта, которую разделяли и ссыльные декабристы, для молодой «посольши» была непонятна.

Мы не знаем, что говорила она о «неожиданном стихотворении» Вяземскому, который приехал из Москвы только 25 декабря. С Пушкиным она встретилась много раньше. 26 октября поэт был с женой у Фикельмонов на большом вечере, но, вероятно, он навестил свою приятельницу несколькими днями раньше — сейчас же после возвращения из Царского Села.

Пушкин и Долли, вероятно, горячо спорили о «Бородинской годовщине». Спорили, но не поссорились — в салоне Фикельмон, как мы знаем, свобода мнений была традицией.

Военные действия уже закончились — друзья-противники, скорее всего, вместе возмущались тем, что творилось в Польше. Пушкин ведь надеялся на великодушие победителей.

В бореньe падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали...

Великодушия проявлено не было. Началась царская расправа с поляками, которой поэт, конечно, никак не сочувствовал.

Долли Фикельмон сразу нашла для Николая I в дневнике жестокие слова: «... я даже скажу здесь — мой независимый ум видит в нем деспота и, как такового, я его сурово осуждаю без всякого ослепления...» (28 сентября). Дальше, правда, следует ряд оговорок, но слово «деспот» произнесено, и оно осталось в недоступной для царских жандармов тетради.

Итак, в своем отношении к преследованиям поляков после окончания военных действий друзья-противники, несомненно, были заодно. Однако Пушкин и Дарья Федоровна Фикельмон, быть может, самая незаурядная женщина из всех его приятельниц, резко расходились в отношении к самой русско-польской войне.

Было бы, однако, крупной ошибкой понимать это расхождение слишком упрощенно. Пушкин горячо желал победы русских войск над вооруженными силами восставшей Польши, но врагом поляков он не был. В плане идеальном он вообще не был врагом какого бы то ни было народа. Дружил с великим польским поэтом Мицкевичем. В стихотворении «Он между нами жил...», написанном в 1834 году, когда Мицкевич, находясь в эмиграции, выпустил книгу стихотворений, часть которых содержала едкие нападки на Россию и русских, Пушкин с грустью вспоминает о вдохновенной петербургской импровизации Мицкевича, возвещавшего будущее братство народов:

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта...

Пушкин, несомненно, разделял мечты своего польского собрата, видя в них отдаленный, но все же осуществимый идеал. Не чужда была поэту, живо интересовавшемуся славянскими делами, и более конкретная мысль о возможности объединения всех славян. «Славянские ручьи сольются ль в русском море?»

Пушкин думал, конечно, не о том, что славянские народы могут когда-нибудь добровольно подчиниться русскому самодержавию. Думал о судьбах грядущей освобожденной России...

Но эти думы были в плане идеальном. В плане реальном Пушкин видел, что польские повстанцы борются не только за свободу своей родины, но в то же время намереваются снова отторгнуть исконные русские земли, некогда порабощенные Польшей. Руководители польского восстания претендовали на включение в состав Польши не только литовских, но также и украинских и белорусских земель вплоть до Днепра. К победившей Польше должен был отойти и Киев... С подобной мыслью Пушкин примириться не мог, и, оставаясь другом свободы, он желал решительной победы русской армии.

Александр Сергеевич в этом отношении не был одинок. Ближайшие друзья поэта — Вяземский и А. И. Тургенев пораженцами не были, но можно думать, что сокрушительного успеха русскому оружию они не желали. Вероятно, удовлетворились бы компромиссным миром... Наоборот, философ и писатель П. Я. Чаадаев, адресат пламенных стихов Пушкина:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена! —

Чаадаев, прочтя «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», написал, как мы знаем, автору восторженное письмо, именуя его «национальным поэтом». Взгляды Пушкина разделяли и многие другие друзья свободы, в том числе сосланные в Сибирь декабристы.

Итак, Пушкин, горячо защищая государственные интересы России, как он их понимал, отнюдь не стал, говоря современным языком, шовинистом, ура-патриотом. Достаточно напомнить стихи «Бородинской годовщины», в которых поэт говорил о своем отношении к побежденным:

Мы не сожжем Варшавы их,
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Было бы также ошибкой принимать несомненные симпатии Долли Фикельмон к полякам за приверженность к идеям политической свободы. Дарья Федоровна, особенно в позднейшие годы, обладала сильно выраженным чувством реальности в политических вопросах. Она, в частности, очень ясно сознавала необходимость многих политических процессов. Одно время ее привлекали идеи католического социализма. Однако по своим личным убеждениям она прежде всего была аристократкой, как правило, враждебно относившейся к освободительным национальным движениям. Во время революции 1848 года она, например, ни в малой степени не сочувство-

вала ни чехам, ни венграм, боровшимся против австрийского централизма.

Чем же в таком случае объяснить ее полонофильские симпатии?

Пока не опубликованы петербургские депеши посла Фикельмона и его частные письма к канцлеру Меттерниху, нельзя поэтому сказать, в какой мере он мог влиять на взгляды молодой жены во время польского восстания. Фикельмон был последовательным русофилом, и это привело в конце концов к краху его политической карьеры.

На мой взгляд, источники полонофильских настроений Долли Фикельмон надо искать не здесь.

Нельзя забывать, что патриотическая тревога Пушкина была ей совершенно чужда. Впоследствии она постепенно сама стала мыслить как русская патриотка, но это произошло много позже и ярче всего сказалось во время Крымской войны. В 1830—1831 гг. Фикельмон — образованная, очень культурная европейская женщина, но ее духовная связь с родиной, которую она почти не знает, очень слаба. Почти совсем забыла она и родной язык.

О несчастиях поляков, в успех которых Фикельмон с самого начала не верила, скорбит не русская женщина-патриотка, а просто добрая женщина, «всецело женщина», как Дарья Федоровна назвала императрицу Александру Федоровну, с которой у нее были дружеские отношения. Обе они ужасались пролитию крови независимо от того, кто и во имя чего ее лил. То же чувство ужаса перед кровопролитием разделяла с ними и Елизавета Михайловна Хитрово, в отличие от дочери всегда бывшая убежденной русской патриоткой. В данном случае и она «всецело женщина».

Прибавим еще, что Долли Фикельмон — женщина, настроенная весьма романтически (начало тридцатых годов — время расцвета романтизма), не может она не восхищаться героизмом небольшой нации, которая поднялась против огромной, мощной Российской империи. Говоря в целом, симпатии Дарьи Федоровны к полякам носят не политический, а, скорее, этический характер. Некоторую роль играют в ее настроениях и личные дружеские связи с рядом знатных польских семей, прочно вошедших в высшее петербургское общество.

Сложность натуры Долли Фикельмон, о которой я уже не раз упоминал в этой книге, проявилась, однако, и во время русско-польской войны,— жалея поляков и восхищаясь их героизмом, она не питает вражды и к русской армии, которая ведет с ними жестокую борьбу. Было бы, конечно, трудно ожидать иного отношения к русским воинам со стороны дочери Елизаветы Михайловны Хитрово и внучки Кутузова. Однако в своих дневниковых записях она идет много дальше. С восхищением пишет о доблести русских войск, которые

при взятии Варшавы «покрыли себя славой в этом сражении». Романтически настроенная Фикельмон умеет ценить воинскую доблесть и поляков и русских.

Можно, таким образом, думать, что в спорах по поводу «Бородинской годовщины» Пушкин и Долли Фикельмон кое в чем и сходились.

В конце сентября — начале октября 1831 года Пушкин писал Е. М. Хитрово из Царского Села в Петербург (как всегда, по-французски): «Спасибо, сударыня, за изящный перевод оды — я заметил в нем две неточности и одну описку переписчика. (Иссякнуть)[1] — означает tarir; (скрижали) — tables chroniques. (Измаильский штык) — штык Измаила, а не Измайлова».

По мнению комментатора этого письма, «предположение, невольно возникающее при первом взгляде,— что переводчиком была сама Е. М. Хитрово,— маловероятно: слишком краток, небрежен и сух отзыв Пушкина о переводе». Комментатор считает, однако, возможным, «что Е. М. Хитрово сообщила его Пушкину как анонимный — и тогда не исключается предположение об ее авторстве»[2].

Н. Каухчишвили, изучившая, как уже было упомянуто, донесения Фикельмона Меттерниху, которые хранятся в Государственном архиве в Вене, обнаружила там интересное частное письмо Шарля-Луи к канцлеру от 2(14) ноября 1831 года. Фикельмон приводит в нем слова графа А. Ф. Орлова, сказанные им царю в начале польского восстания: «Не забудьте, государь, что за вами сорок миллионов русских, которые веками воевали с поляками и имеют перед вами больше прав, чем четыре миллиона поляков». Эти свои слова Орлов повторил Фикельмону. По мнению Н. Каухчишвили, «чтобы подчеркнуть, что мнение Орлова не является изолированным фактом, посол прибегает к авторитету Пушкина». Далее исследовательница приводит выдержку из письма Фикельмона к Меттерниху: «Такая же мысль отразилась в стихах Пушкина, верный перевод которых я здесь присоединяю. Они были написаны в Царском Селе и были одобрены императором. Благодаря этому они еще более привлекают внимание»[3].

В приложении к своей книге Н. Каухчишвили опубликовала упомянутый ею перевод «Клеветникам России», который сделан прозой и озаглавлен «Aux calomniateurs de la Russie»[4].

---

[1] Набранное в скобках — в подлиннике по-русски.

[2] *Письма к Хитрово*, с. 133.

[3] *Дневник Фикельмон*, с. 51—52. Перевод М. И. Гиллельсона.

Посол не ошибается — обе оды Пушкина и стихотворение Жуковского «Старая песня на новый лад» были представлены Николаю 1—5 сентября 1831 года. 14 сентября они уже вышли в свет в виде брошюры «На взятие Варшавы».

[4] *Дневник Фикельмон*, с. 202—203.

По ее мнению, этот гладкий перевод «не представляет особой литературной ценности. Он переписан не рукой Фикельмона (по всей вероятности, кем-либо из чиновников посольства.— *Н. Р.*)». Имя переводчика не указано, но Н. Каухчишвили считает, что это и есть перевод, сделанный некогда Е. М. Хитрово и исправленный Пушкиным.

Находка неутомимой исследовательницы, несомненно, интересна, так как посланный Пушкину в 1831 году текст оставался до наших дней неизвестным. Остановимся поэтому на ней несколько подробнее.

Что можно сказать о французском тексте, посланном канцлеру Меттерниху?

Он, действительно, не представляет литературного интереса — гладкий, но бесцветный, скучный стиль, и отдаленно не передающий пафоса и блеска пушкинской оды... Однако литературно бездарный перевод почти безупречен в отношении формальной точности. В нем есть, правда, одна весьма грубая ошибка, но, по всей вероятности, налицо лишь незамеченная опечатка[1]. В стихе «От потрясенного Кремля» пропущено трудное в данном случае для перевода прилагательное «потрясенного».

В остальном, на мой взгляд, текст формально точен и грамматически правилен, но как раз эта правильность говорит против авторства Е. М. Хитрово. Так писать она не умела — темпераментные французские фразы Елизаветы Михайловны зачастую далеки от грамматических норм... Скорее можно предположить, что автором перевода является кто-либо из литераторов — друзей Хитрово, к которому она обратилась за помощью. Очень зато вероятно предположение Н. Каухчишвили о том, что перевод сделан по инициативе Ш.-Л. Фикельмона, желавшего представить Меттерниху как можно более точный текст одобренного царем стихотворения. Вполне возможно, что посол обратился с этим делом к своей теще Елизавете Михайловне Хитрово, литературные связи которой были ему хорошо известны.

Н. Каухчишвили приводит также убедительное доказательство в пользу того, что найденный ею перевод идентичен с тем, который Хитрово некогда послала Пушкину. Отмеченные им неточности исправлены в венском тексте именно так, как посоветовал поэт.

Можно считать, что вопрос об авторе перевода, в конце концов, является второстепенным. Несомненно и существенно то, что знаменитая пушкинская ода «Клеветникам России»

---

[1] Стих «Вопрос, которого не разрешите вы» переведен: «Ce n'est pas à nous à décider cette question» («Не нам разрешить этот вопрос»). Достаточно, однако, в слове «nous» вместо «n» поставить «v», и перевод станет правильным.

была сообщена австрийским послом одному из тогдашних руководителей европейской политики, канцлеру Меттерниху.

Прибавлю еще, что, вопреки мнению Н. Каухчишвили, на мой взгляд, так взволновавшую Долли Фикельмон оду «Бородинская годовщина» она могла все же прочесть (вероятно, с помощью матери) не в неизвестном нам переводе, а в подлиннике. Вспомним о том, что в это самое время она собиралась, без помощи учителя, читать по-русски «Адольфа» Бенжамена Констана, а ведь страницы этого психологического романа никак не легче четких и ясных стихов оды...

В салонах Хитрово и Фикельмон наряду с обсуждением политических событий разговоры о литературе (скорее, правда, европейской, чем отечественной), несомненно, велись очень часто. К сожалению, конкретных сведений об этих беседах у нас нет. Даже поэт, литератор и мемуарист П. А. Вяземский говорит о них лишь в общей форме. Тем ценнее несколько строк из письма близкого друга Долли, бывшего секретаря Нидерландской миссии О'Сюлливана де Грасса, найденного Н. Каухчишвили в архиве Фикельмонов в Дечине[1]. Узнав о смерти поэта, он пишет Долли 9 апреля 1837 года: «Несколько месяцев тому назад мне вспомнилась небольшая история, которую Пушкин мне рассказал как-то вечером в Вашем салоне; я решил развить ее и положить в основу новеллы, в которой мог бы запечатлеть некоторые воспоминания о России. Когда-нибудь, любезная графиня, я надеюсь прочесть Вам этот маленький роман, если я его закончу, и он составит пару с тем, заглавие которого Вы мне дали. Этот же будет назван: *Политика и поэзия,* предмет достаточно широкий, как Вы видите»[2].

Итак, в какой-то вечер, быть может, в красной гостиной, где всегда было много цветов, Пушкин беседовал с О'Сюлливаном и рассказал ему некую историю, которую молодой тогда дипломат намеревался впоследствии развернуть в повесть. Попытаемся установить, когда же мог состояться этот разговор.

После отделения Бельгии от Голландии О'Сюлливан не пожелал оставаться на голландской службе и 14 августа 1831 года уехал в Бельгию, к большому огорчению Долли Фикельмон. По ее словам, «в течение целого года мы видели его ежедневно <...>»[3]. В 1831 году Пушкин мог встретиться у Фикельмонов с Сюлливаном только в течение одной недели (18—25 мая). Гораздо вероятнее, что их разговор произошел в 1830 году либо в январе — феврале, либо

---

[1] Н. Каухчишвили обнаружила там ряд весьма интересных писем этого дипломата.

[2] *Дневник Фикельмон,* с. 58. Перевод М. И. Гиллельсона.

[3] Там же, с. 168.

во время короткого летнего пребывания поэта в Петербурге (19 июля — 10 августа).

Было бы, конечно, очень интересно разыскать архив О'Сюлливана или, по крайней мере, его повесть, основанную на рассказе Пушкина. Зарубежные литературоведы (особенно бельгийцы или французы), вероятно, смогли бы предпринять такие поиски с немалой надеждой на успех[1].

IV

Постоянными посетителями салона Фикельмон были В. А. Жуковский и А. И. Тургенев.

А. В. Флоровский указывает в своей работе[2], что «в дневнике графини Долли при ряде упоминаний о Вяземском лишь однажды говорится о А. И. Тургеневе, совсем нет упоминаний о Жуковском <...>». Последнее неверно,— как мы увидим, Дарья Федоровна говорит о Жуковском в связи с кончиной Пушкина, но о характере ее отношений и с ним и с Тургеневым документальных данных мы до сих пор имеем не много.

Среди неопубликованных материалов ИРЛИ (Пушкинского дома) имеется 2 письма Фикельмон к В. А. Жуковскому, 6 писем к А. И. Тургеневу и печатное приглашение от Фикельмонов, адресованное ему же. Кроме того, Сильвия Островская опубликовала в подлиннике и чешском переводе два письма Жуковского к Д. Ф. Фикельмон[3], пока не использованных советскими литературоведами. Эти документы, по-видимому, являются лишь фрагментами переписки Фикельмон с обоими писателями — ряд писем до нас, несомненно, не дошел.

К петербургскому периоду жизни Фикельмон относится только одна ее недатированная записка к Жуковскому:

«Дорогой Жуковский

В среду вечером у меня будет 200 человек, среди кото-

---

[1] А. О'Сюлливан де Грасс (1798—1866) при содействии графа Фикельмона, рекомендовавшего его Меттерниху, в 1834 году был назначен бельгийским поверенным в делах в Вене (позднее получил ранг посланника). Он оставался на этом посту в течение ряда лет. Д. Ф. Фикельмон в письмах к сестре не раз упоминает о встречах с О'Сюлливаном. 26 апреля 1848 года она с большой грустью сообщает о смерти его жены, с которой была в дружеских отношениях.

О'Сюлливан писал и стихи. По словам Н. Каухчишвили, в тетради Долли 1831 года имеются два его стихотворения, посвященных Фикельмон. Известно также его стихотворение (конечно, французское) «Волосы Вероники», прочитанное на костюмированном балу у великой княгини Елены Павловны 4 января 1830 года.

[2] *Флоровский. Дневник Фикельмон,* с. 80.

[3] Sylvie Ostrovská. Dopisy V. A. Žukovského a P. A. Viazemskeho v čechach (Письма В. А. Жуковского и П. А. Вяземского в Чехии).— «Československá Rusistika», 1961, № 1, с. 162—167.

рых я очень хотела видеть также и вас. Но ввиду того, что там я вас почти не увижу, то это, если вам угодно, будет только задатком посещения, которое вы мне обещали! Могу я вас об этом просить?

Долли Фикельмон.
Понедельник.
Его Превосходительству Господину Жуковскому».

Записка, вероятно, относится к началу знакомства, но и тон ее и подпись уменьшительным именем говорят за то, что в это время Жуковский и графиня Фикельмон были, по крайней мере, хорошими знакомыми.

Письмо Жуковского, найденное Сильвией Островской в Дечине и ею опубликованное, позволяет уже говорить об их дружбе. Подписи Василия Андреевича почему-то нет, но, по утверждению публикатора, почерк его. На письме имеется отметка «От Ж. из Крыма 1832».

«Ваше прелестное письмо, графиня,— пишет Жуковский,— я получил в Севастополе. Оно было мне вручено в тот момент, когда я уезжал в монастырь св. Георгия. Это здание, замечательное по своему расположению и связанными с ним античными воспоминаниями, приобрело в последнее время роковую известность, так как император Александр схватил там простуду, которая привела его к смерти. Ведущая туда дорога проходит по безлюдной пустыне, почти плоской и густо поросшей выжженной солнцем травой; ничто там не радует глаз и даже не привлекает внимания. Но благодаря вашему письму и очаровательной Griseldis (Гризельде?) [1] эта пустыня показалась мне зачарованной; и, дойдя до цели пути, я почувствовал себя вдвойне подготовленным к созерцанию величественной картины пенящегося моря у подножия утеса, на вершине которого некогда стоял храм Дианы, замененный теперь скромной христианской церковью. Благодарю вас, графиня, за то, что вы были со мной среди этих прекрасных сценариев. Ваш образ создан для того, чтобы их одушевлять. И ваша дружба, доказательство которой я вижу в присланных вами мне строках, создана для того, чтобы быть довольным жизнью. Сохраните эту дружбу для меня, так как я знаю ей цену».

Не берусь судить о том, что сказал бы француз об этих строках Жуковского. Мне лично они и в подлиннике кажутся очень уж изощренным выражением искреннего, дружеского чувства.

Остальная часть письма носит деловой характер.

Графиня Фикельмон и Жуковский встречались и после

---

[1] Лицо не установленное.

отъезда Дарьи Федоровны из России. Жуковский в своем дневнике упоминает о том, что он несколько раз посещал Долли во время пребывания в Риме в конце 1838 и начале 1839 года. 14—26 января 1839 года он записывает: «У графини Фикельмон. Опять больна и не говорит» [1].

Сама Дарья Федоровна пишет об этих встречах Вяземскому из Рима 7 января 1839 года: [2] «*Жуковский* настолько влюблен в Рим, что ему от этого двадцать лет или того меньше, если такое возможно. Он ходит туда и сюда, он в постоянном восхищении, никогда не устает и забывает обо всем, но не может утешиться от того, что нужно так скоро уезжать. Великий князь отбывает 14 января, едет на две недели в Неаполь, возвращается сюда на неделю, переезжает через Альпы в начале марта и продолжает остальную часть своего большого путешествия в Англию чрезвычайно быстро, как перелетная птица. Жуковский считает это варварством и очень опечален» [3].

В 1841 году Жуковский, разочаровавшись в великом князе, своем воспитаннике, ушел в отставку и уехал за границу. В том же году он женился на дочери немецкого художника Герхарда Рейтерна и поселился в Дюссельдорфе [4].

В августе 1844 года Долли Фикельмон встретилась с поэтом во Франкфурте и познакомилась с его молодой женой (в это время ей было всего 22 года). 29 августа она пишет сестре: «Его жена прелестна, ангел Гольбейна, один из этих средневековых образов, белокурая, строгая и нежная, задумчивая и столь чистосердечная, что она как бы и не принадлежит к здешнему миру» [5].

В той же тональности, через несколько месяцев после свидания (16/28 января 1845 года) пишет и Жуковский [6]. Поблагодарив Фикельмон за письмо (оно до нас не дошло), он, в очень патетических выражениях, сообщает ей о рождении своего сына, «который, как звезда с неба, появился на свет в первый день года (1/13 января)». Следует ряд подробностей о состоянии здоровья новорожденного и матери, после чего Жуковский прибавляет, что его жена, как только сможет держать перо в руках, «сама выразит вам радость, которую доставило ей ваше прелестное письмо, живо напомнившее нам

---

[1] Дневник В. А. Жуковского с примечаниями И. А. Бычкова. С.-Петербург, 1903, с. 462.

[2] *ЦГАЛИ.*

[3] В. А. Жуковский сопровождал своего воспитанника великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II). Как видно, он относился с полным доверием к своей приятельнице Долли Фикельмон, так как позволил себе критиковать план путешествия, утвержденный царем.

[4] М. И. Гиллельсон. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969, с. 293.

[5] *Сони,* с. 73—74.

[6] Второе письмо Жуковского, опубликованное С. Островской.

обоим и вашу душу, такую добрую и ласковую, и черты вашего лица, и звук вашего голоса. Мы оба с радостью узнали, что ваши страдания уменьшились <...>».

Свое письмо Жуковский заканчивает еще одним патетическим обращением: «Моя жена просит вас принять уверение в ее признательной дружбе: вы были для нее мгновенным видением, но видением, которое можно назвать откровением <...>».

Желая уточнить смысл последнего слова, поэт пишет его не по-французски, а по-немецки — «Offenbarung». Оказывается, Долли Фикельмон можно было назвать посланницей бога...

В архиве Пушкинского дома хранится еще одно письмо Долли к Жуковскому. Оно, по-видимому, не является запоздалым ответом на предыдущее письмо поэта:

«Карлсбад, 1 июля 1845 г.

Мой дорогой Жуковский

Андрей Муравьев, должно быть, уехал куда-то на Рейн,— если вы о нем услышите, перешлите ему, пожалуйста, прилагаемое письмо. Это ответ, который я ему должна».

Из дальнейшего текста письма следует, что Жуковский недавно встретился с графом Фикельмоном. Упомянув о слабом здоровье мужа, Дарья Федоровна продолжает: «Напишите мне о вашей милой и симпатичной жене, о ваших милых маленьких детках — поцелуйте их нежно за меня. Часто думаю о вашем красивом счастье, о котором рада была узнать. Не забывайте меня, дорогой Жуковский, у меня к вам нежная дружба! <...>»

В данном письме интересно упоминание Долли о ее переписке с Андреем Муравьевым. Это, несомненно, поэт и писатель по религиозным вопросам — Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874), знакомый Пушкина. Вероятно, Фикельмон знала его еще в Петербурге, где Муравьев служил сначала в азиатском департаменте министерства иностранных дел, затем в синоде. В дневнике Долли его фамилия не упоминается.

Это письмо — последний известный пока фрагмент переписки Фикельмон и Жуковского. Узнав о смерти старого поэта, Долли написала о ней сестре 6 мая 1852 года всего две строчки: «Смерть Жуковского меня очень огорчила, и я понимаю, что императрица скорбит о ней»[1].

Письма, которые я привел, несомненно, говорят о том, что Фикельмон считала Жуковского своим другом. По всей вероятности, однако, права Н. Каухчишвили, по мнению которой это не была та близкая, задушевная дружба, которая установилась у Дарьи Федоровны с Вяземским и Пушкиным[2].

---

[1] *Сони*, с. 368.
[2] *Дневник Фикельмон*, с. 72.

В печатных источниках сведений о знакомстве Д. Ф. Фикельмон с Александром Ивановичем Тургеневым, за исключением их встреч в 1837 году, имеется не много. Представляют поэтому интерес шесть писем и записок Долли к Тургеневу, хранящихся в Пушкинском доме, хотя содержание их и малозначительно. Остаются, к сожалению, неизвестными ее «поэтические строки» в письме «о поэтической Италии», которыми восхищался Александр Иванович в письме к Вяземскому. Были, по всей вероятности, и другие не дошедшие до нас послания Д. Ф. Фикельмон к просвещенному путешественнику А. И. Тургеневу, который провел за границей значительную часть своей жизни, всюду разыскивая исторические материалы, касающиеся России. Он же, поскольку это было возможно в условиях николаевской России, широко и умело знакомил в своих письмах русских читателей с жизнью Запада. Будучи разносторонне образованным и очень общительным человеком, Тургенев завязал там множество знакомств с самыми выдающимися людьми своего времени. Нельзя также забывать, что Александр Иванович был одним из ближайших друзей Пушкина, хотя до самой смерти поэта они не перешли «на ты» — должно быть, мешала разница в летах. Однако уже 9 июля 1819 года двадцатилетний Пушкин пишет тридцатипятилетнему Тургеневу, в то время важному чиновнику[1], как доброму приятелю, с которым можно и пошутить: «Препоручаю себя вашим молитвам и прошу камергера Don Basile[2] забыть меня по крайней мере на три месяца». Позже, 7 мая 1821 года, поэт писал Александру Ивановичу из Кишинева: «Верьте, что, где бы я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам и тем, которых умел я любить».

Яркая личность А. И. Тургенева не могла не заинтересовать Фикельмон. Александр Иванович был к тому же, как и Пушкин, блестящим собеседником, а графиня Долли, как видно из ее дневника и писем, особенно ценила это качество в своих друзьях и знакомых.

В те годы, когда Фикельмон состоял послом в России, А. И. Тургенев бывал в Петербурге только наездами. После отозвания Шарля-Луи Фикельмона из России Александр Иванович неоднократно ездил в Германию и во Францию, но в Австрии, по-видимому, бывал только проездом. Сведений о его встречах с супругами Фикельмон за границей нет. Таким

[1] В 1824 году Тургенев за свои либеральные взгляды был уволен в отставку и до конца жизни находился в полуопальном положении. К движению декабристов он не примкнул, но являлся убежденным противником крепостного права.

[2] Именем Дон Базилио, хитрого и фальшиво-набожного персонажа из знаменитой комедии Бомарше «Севильский цирюльник», Пушкин, по мнению комментаторов, обозначил, вероятно, тогдашнего министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына. А. И. Тургенев состоял в это время директором департамента этого министерства.

образом, непосредственное общение Тургенева с Долли ограничивается только Петербургом. В эти годы он приезжал на некоторое время в столицу четыре раза[1]. Перечислим его наезды в последовательном порядке.

1) В 1831 году, возвращаясь из Англии, Тургенев короткое время пробыл в Петербурге в июне месяце. 27 июня он уже в Москве.

2) 4 апреля 1832 года выехал из Москвы в Петербург. 18 июня, прожив в столице два с половиной месяца, уехал на пароходе за границу. После короткого пребывания в Германии и Австрии провел десять месяцев в Италии.

3) В середине мая 1834 года Александр Иванович вернулся в Россию (не через Петербург). Туда он приехал в начале октября и 11 декабря снова вернулся в Москву. На этот раз он снова пробыл в Петербурге два с половиной месяца. В конце января 1835 года Тургенев уехал в очередное заграничное путешествие.

4) После длительного пребывания в Италии, Франции и Англии Тургенев лишь летом 1836 года возвращается в родную Москву. 26 ноября этого года, незадолго до гибели Пушкина, он приезжает в Петербург и остается там до конца июня 1837 года. Это было его самое долгое пребывание в столице в те годы, когда Фикельмон состоял послом в России. Оно продолжалось целых семь месяцев.

В общей сложности его встречи с Долли продолжались всего один год (не считая короткого, как полагают биографы, пребывания в столице в 1831 году).

Я привел эту схему петербургских наездов А. И. Тургенева, так как она, до известной степени, поможет нам разобраться в неопубликованных письмах Фикельмон к Александру Ивановичу, хранящихся в Пушкинском доме.

Начнем с французского пригласительного билета, который сохранил неутомимый путешественник[2]. Текст печатный (гравированный), слова, набранные курсивом, вписаны от руки:

«Граф и графиня Фикельмон просят
господина Тургенева

сделать им честь *провести* у них вечер в следующее воскресенье 24 апреля в 10 часов.

RSVP[3]».

---

[1] Сведения о наездах А. И. Тургенева в Петербург и его заграничных путешествиях заимствованы мною преимущественно из статьи М. Гиллельсона «А. И. Тургенев и его литературное наследие». (в кн.: А. И. Тургенев. Хроника Русского. Дневник (1825—1826). М.—Л., 1964, с. 441—504).

[2] *ИРЛИ*.

[3] Réponse s'il vous plaît — просим ответить (общепринятая и в настоящее время на Западе светская формула).

На первый взгляд, этот пригласительный билет не представляет никакого интереса. Работая в архиве, я даже сомневался, стоит ли его переписывать. Решил все же выяснить, в какой свой приезд А. И. Тургенев получил это приглашение,— иногда и мелочи бывают полезны. Выбор казался простым — 24 апреля Тургенев был в Петербурге в 1832 и 1837 годах. Оказалось, однако, что в 1832 году соответствующее число апреля пришлось на вторник, а в 1837 году — на понедельник. На всякий случай я обратился и к 1831 году. Выяснилось, что именно в этом году 24 апреля было воскресенье.

Предположить ошибку в тексте приглашения вряд ли возможно, тем более что 24 июня 1831 года Александр Иванович уже находился в пути — ехал в Москву. Приходится, таким образом, считать, что он прибыл в Петербург не в июне, а около апреля, и его пребывание в столице продолжалось не несколько дней, а около двух месяцев.

Д. Ф. Фикельмон, во всяком случае, познакомилась с А. И. Тургеневым еще в 1831 году. В письме к ней из Остафьева от 5 июля П. А. Вяземский сообщает: «Александр Тургенев, который приехал провести со мной несколько дней в деревне, поручает мне Вам кланяться и передать Вашей матушке, что он всецело занят неким письмом о воспитании»[1].

О том, что А. И. Тургенев и Долли Фикельмон встречались еще в 1831 году, свидетельствует и одно из недатированных писем графини:[2] «Вот, дорогой Тургенев, письма Курье, прошу прощения за то, что задержала так долго. Сегодня я переезжаю на Острова, но надеюсь, что вы не уедете, не навестив хотя бы ненадолго. Вы должны были бы также съездить к маме, которая все еще состоит сиделкой[3].

Среда.

Графиня Фикельмон».

В письме к Вяземскому от 13 октября 1831 года Дарья Федоровна упоминает о том, что она читает «в данное время письма Курье», которые она, очевидно, получила от Тургенева в июне или раньше. Вернула она их Александру Ивановичу только в следующий его приезд — в 1832 году. Фикельмоны обычно переезжали на дачу в начале июня.

---

[1] По всей вероятности, Вяземский имеет в виду записку «О народном воспитании», составленную Пушкиным по заданию Николая I в 1826 году. Тургенев не мог с ней ознакомиться раньше, так как с середины июля этого года он непрерывно жил за границей, а поручение царя было передано Пушкину шефом жандармов А. Х. Бенкендорфом 30 сентября 1826 года.

[2] *ИРЛИ.*

[3] По всей вероятности, Е. М. Хитрово ухаживала за дочерью Екатериной, у которой в это время было длительное заболевание легких.

Тургенев уехал за границу 18 июня. Приведенное выше письмо можно, следовательно, датировать первой половиной июня 1832 года.

Вероятно, к тому же времени относится следующая записка Фикельмон: «Прошу вас, сударь, сделать нам удовольствие отобедать у нас в следующую *пятницу в пять с половиной.*

Буду вам признательна, если вы не откажете в моей просьбе, так как вы намерены вскоре нас покинуть, и я хочу видеть вас почаще, пока вы будете среди нас.

Понедельник. *Графиня Фикельмон».*

Единственная, по словам А. В. Флоровского, запись в дневнике Дарьи Федоровны, посвященная А. И. Тургеневу, сделана 2 апреля того же года. По мнению графини, у него несомненно «много ума», «он в высшей степени культурен и вполне европеец» [1]. Надо сказать, что и на этот раз обычная наблюдательность Долли ей не изменила. Оставаясь вполне русским человеком, А. И. Тургенев действительно был «европейцем до мозга костей»,— на мой взгляд, значительно более европейцем, чем, например князь Вяземский, несмотря на все его тяготение к Западу.

Мы видим, что еще в 1831 году А. И. Тургенев счел возможным сообщить Е. М. Хитрово, а значит, и Д. Ф. Фикельмон, что он занят таким важным вопросом, как записка Пушкина «О народном воспитании», предназначенная для личного сведения царя. В 1832 году он и графиня Фикельмон, несомненно, близкие знакомые, но вряд ли Дарья Федоровна в это время считает Тургенева своим другом. Характерно, что и письмо и записка подписаны «графиня Фикельмон». В переписке с друзьями своего титула она не употребляла почти никогда.

Можно думать, что десятимесячное пребывание Александра Ивановича в Италии (сентябрь 1832 — июнь 1833), откуда он, вероятно, не раз писал графине, душевно сблизило ее с Тургеневым. Ведь он побывал в ее любимом Неаполе, был и во Флоренции...

Во всяком случае, вот письмо Фикельмон, подписанное уже по-дружески «Долли Ф.»: [2]

«Посылаю вам Луизу Строцци [3], которую прочла с удовольствием, беспрестанно переносясь под прекрасное небо Тосканы, которую я так люблю.

Я так рада, дорогой Тургенев, узнав, что вы выздорове-

---

[1] *Флоровский. Дневник Фикельмон,* с. 80.
[2] *ИРЛИ.*
[3] Роман Джовани Розини.

ли — эта гадкая нога долго лишала нас удовольствия вас видеть, а теперь, когда вы можете выходить, я не знаю, когда я смогу попросить вас ко мне прийти, так как Фикельмон по-прежнему болен. Надеюсь все же, что вскоре я смогу вас попросить уделить мне немного времени для вашей доброй и любезной беседы. В ожидании этого шлю дружеский привет.

Пятница. *Долли Ф.*

Господину Тургеневу».

Упоминание о «Луизе Строцци» позволяет довольно точно датировать и это послание. Из письма Тургенева к Вяземскому от 23 октября 1834 года[1] мы узнаем, что Долли Фикельмон прочла этот роман и нашла его длинным и скучным. Таким образом, письмо Дарьи Федоровны датируется октябрем этого года, так как в 1834 году Тургенев приехал в Петербург в начале данного месяца. Из вежливости Дарья Федоровна, видимо, не захотела сообщить приятелю, который привез ей итальянскую книжку, свое откровенное мнение о романе Розини. Ограничилась тем, что роман напомнил ей любимую Тоскану, где, как мы знаем, кончилось ее детство и началась юность.

В архиве братьев Тургеневых есть еще две пригласительные записки с обращением «Дорогой Тургенев» и подписью «Долли Фикельмон». Вероятно, они также относятся к пребыванию Александра Ивановича в Петербурге в 1834 году.

Итак, — скажем еще раз, — уже в 1831 году А. И. Тургенев счел возможным сообщить Е. М. Хитрово, а следовательно, и Д. Ф. Фикельмон, что он занят запиской Пушкина «О народном воспитании», предназначенной для царя, в 1832 году его и Дарью Федоровну следует считать близкими знакомыми. В 1834 году — они друзья.

Часть дневника А. И. Тургенева, связанная с преддуэльными месяцами, дуэлью и смертью Пушкина (с 25 ноября 1836 по 19 марта 1837) давно уже опубликована П. Е. Щеголевым[2]. Очень краткие, в большинстве случаев, записи Александра Ивановича показывают, что в это время в доме Фикельмонов он — свой, близкий человек. Приехав в столицу 25 октября, 27-го он уже отмечает: «У Хитровой. Фикельмон <...>». В течение шести недель (с 27 ноября 1836 года по 12 января 1837) Тургенев восемь раз упоминает о встречах и разговорах с супругами Фикельмон и Е. М. Хитрово. По-видимому, из всех друзей Дарьи Федоровны, не исключая и Пушкина, «европеизированный» («européisé») Александр Иванович, как его называла Долли, ближе всего сошелся с ее мужем. Послу

---

[1] Остафьевский архив князей Вяземских, т. III, с. 262.
[2] *Щеголев*, с. 272—300.

было о чем поговорить с русским человеком, уже двенадцать лет странствующим по государствам Западной Европы и жившим там годами. Приходится сожалеть, что почти все записи Тургенева так лаконичны. 8 «генваря» он отмечает, например: «Фикельмон; с ней и сестрой ее о многом; во дворце все больны <...>». Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, о чем в тот вечер говорили Тургенев, Долли Фикельмон и ее сестра,— говорили, вероятно, наедине. В 1837 году Долли дневника почти не вела — только дуэль и смерть Пушкина заставили ее взяться за перо[1].

Проводив к месту последнего упокоения тело великого друга, Тургенев оказал трогательную услугу Елизавете Михайловне Хитрово. 15 февраля рокового 1837 года он записывает: «Перед обедом у Хитрово <...> отдал Хитровой земли с могилы и веточку из сада Пушкина».

Благодаря записи А. И. Тургенева, на этот раз довольно подробной, мы знаем, как поэт провел в гостях у Фикельмонов один из последних вечеров своей жизни — 6 января 1837 года. Еще подробнее он рассказывает об этом вечере в письме к А. Я. Булгакову[2] от 9 января 1837 года: «Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер у австрийского посланника: этот вечер напомнил мне интимнейшие парижские салоны. Образовался маленький кружок, состоявший из Баранта, Пушкина, Вяземского, прусского посла и вашего покорного слуги <...> Разговор был разнообразный, блестящий и полный большого интереса, так как Барант нам рассказывал пикантные вещи о его (Талейрана) мемуарах, первые части которых он читал. Вяземский со своей стороны отпускал словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты из жизни Петра I, Екатерины II <...> Повесть Пушкина «Капитанская дочка» так здесь прославилась, что Барант предлагал автору при мне перевести ее на французский язык с его помощью <...>»[3].

Возможно, что читатель подумал сейчас: вечер 6 января 1837 года — скоро поединок. Значит, больше об отношениях Пушкина и Фикельмон говорить нечего, кроме обещанного автором разбора записи графини о его дуэли и смерти.

---

[1] Возможно, что существовал когда-то и дневник Екатерины Федоровны Тизенгаузен, прожившей долгую и неспокойную жизнь (1803—1888). Быть может, он и в данное время где-нибудь хранится «под спудом», но о судьбе ее бумаг сейчас мы ничего не знаем.

[2] Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863), московский почт-директор.

[3] Е. Н. Коншина. Из писем А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову. «Московский пушкинист», I, с. 34.

Нам предстоит, однако, еще вернуться назад и заняться эпизодом совершенно неожиданным и, на первый взгляд, невероятным.

Я не раз уже ссылался на записи первого по времени пушкиниста П. И. Бартенева, лично знавшего многих друзей и знакомых поэта. Есть у Бартенева в разных его работах несколько высказываний об отношениях поэта и Долли, высказываний, надо сказать, не вполне ясных.

Уже в примечаниях к отрывку из воспоминаний графа В. А. Соллогуба, опубликованному в 1865 году, мы читаем: «Вероятно, он [Пушкин] много о нем [Дантесе] наслышался от гр. Фикельмон, с которою тоже был дружен»[1]. По поводу донесения графа Фикельмона Меттерниху о дуэли и смерти поэта Бартенев замечает: «Обе они [Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон] любили и почитали Пушкина, который бывал очень близок с графиней Д. Ф. Фикельмон»[2]. Позднее, вспоминая о пророческом письме Долли, видевшей в лице Натальи Николаевны предчувствие грядущего горя, Бартенев говорит: «Может быть, тут действовала и бессознательная ревность, так как она, по примеру матери своей, высоко ценила и горячо любила гениального поэта и, как сообщил мне Нащокин, не в силах была устоять против чарующего влияния его».

Эти не до конца понятные строки не раз цитировались пушкинистами, но никто ими ближе не занимался, хотя замечания Бартенева заслуживали самого серьезного внимания — и Нащокин и он относились к памяти поэта с благоговением. Слова свои взвешивали тщательно. Не привлекло ничьего внимания и совсем уже загадочное упоминание Петра Ивановича Бартенева, сделанное по случайному поводу, о том, что в «Пиковой даме» «есть целая автобиографическая сцена»[3].

V

Перейдем теперь к рассказу П. В. Нащокина, ставшему известным лишь в 1922 году. Опубликование его одним из авторитетнейших пушкинистов, ныне покойным М. А. Цявловским[4], стало одной из сенсаций раннего советского пушки-

---

[1] Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба.—«Русский архив», 1865, с. 751.

[2] П. И. Бартенев. Рецензия на книгу III «Старины и новизны».— «Русский архив», 1901, август, 1-я обложка.

[3] П. И. Бартенев. Пушкин и Великопольский.— «Русский архив», 1884, кн. I, с. 465.

[4] М. А. Цявловский. Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон.— «Голос минувшего», 1922, № 2, с. 108—123. Рассказ был снова опубликован Цявловским с подробным комментарием в кн. «Рассказы о Пушкине», с. 36—37, 98—101. С сокращениями неоднократно перепечатывался.

новедения и дало начало полемике, которая и сейчас, полвека спустя, от времени до времени возобновляется.

Оказалось, что П. И. Бартенев знал об отношениях Пушкина и графини Фикельмон гораздо больше, чем счел возможным сообщить в печати.

В одной из его черновых тетрадей были обнаружены среди других материалов записи бесед биографа с другом Пушкина П. В. Нащокиным, происходивших осенью 1851 года.

Приходится и сейчас считаться с тем, что некоторые подробности рассказа Нащокина — Бартенева чересчур интимны и, кроме того, возможно, не совсем соответствуют действительности. За давностью времени П. В. Нащокин, вероятно, кое-что забыл, кое-что перепутал. Тем не менее Павел Воинович, свято храня память своего великого друга, несомненно, не выдумал небылицу. То же самое надо сказать и о П. И. Бартеневе. Мы приводим их рассказ преимущественно в изложении, сохраняя его суть, но опуская ряд подробностей.

Начало записи таково: «Следующий рассказ относится уже к совершенно другой эпохе жизни Пушкина. Пушкин сообщил его за тайну Нащокину и даже не хотел первый раз сказать имя действующего лица, обещая открыть его после». Далее приводится характеристика некоей блестящей светской дамы, однажды назначившей поэту свидание в своем роскошном доме. «Пушкин рассказал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени».

Вечером Пушкину удалось войти незамеченным в дом и, как было условлено, расположиться в гостиной. «Наконец, после долгих ожиданий, он слышит: подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную <...> Хозяйка осталась одна <...>».

Дальнейший рассказ в передаче Бартенева звучит слишком пошло. Касаться его мы не будем. Существенно то, что свидание затянулось и, «когда Пушкин наконец приподнял штору, оказалось, что на дворе белый день».

Положение было крайне опасным. Прибавим от себя — все, чем жила Долли, могло рухнуть в одно мгновение... Она попыталась сама вывести Пушкина из особняка, но у стеклянных дверей выхода встретила дворецкого. Вот тут-то, по словам Нащокина, «Пушкин сжал ей крепко руку, умоляя ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя».

На полях тетради есть заметки, сделанные не рукой Бартенева. В них говорится о тождестве героини приключения с графиней Фикельмон, что, впрочем, и так ясно из

содержания записи. Еще одна пометка гласит: «ожидание Германна в «Пиковой даме».

На первый взгляд все это приключение кажется совершенно неправдоподобным. Умная, житейски опытная женщина вдруг назначает интимное свидание у себя в посольском особняке, полном прислуги, и в ту ночь, когда муж дома. Поэт проникает туда, никем не замеченный, ждет хозяйку, потом проводит всю ночь в ее спальне... Все это очень уж похоже на веселую, затейливую и не очень пристойную выдумку в духе новелл итальянского Возрождения.

Не удивительно, что опубликование записи Бартенева вызвало ожесточенные споры между пушкинистами, которые время от времени возобновляются и в наши дни*, хотя исследователи не сомневаются в том, что рассказ о приключении с Долли действительно восходит к Пушкину.

Вопрос ставится иначе: не сочинил ли эту историю сам поэт? Так именно посмотрел на рассказ друга Пушкина Л. П. Гроссман[1]. По его мнению, «Пушкин художественно мистифицировал Нащокина, так же, как он увлекательно сочинял о себе небылицы дамам, или, по примеру Дельвига, сообщал приятелям «отчаянные анекдоты» о своих похождениях». Написанная с немалым блеском статья Гроссмана «Устная новелла Пушкина» в свое время имела успех, и до сих пор еще некоторые исследователи разделяют мнение автора.

На мой взгляд, однако, прав в высшей степени осторожный и точный М. А. Цявловский, считавший, что нет никаких оснований приписывать поэту подобную выдумку.

М. А. Цявловский, кроме того, справедливо напоминает об очень существенном факте. Тетрадь Бартенева целиком прочел один из близких приятелей Пушкина С. А. Соболевский. На полях он отметил ряд даже совсем незначительных неточностей, но запись о любовном приключении в посольстве не вызвала с его стороны никаких возражений. Очевидно, Соболевский знал, что эта история — не вымысел.

Есть и еще одно прямое доказательство ее подлинности. Автор первой научной биографии Пушкина П. В. Анненков, собирая свои материалы, записал с чьих-то слов: «Жаркая история с женой австрийского посланника»[2]. Нащокина в это время уже не было в живых. Очевидно, о приключении поэта знали не только Павел Воинович и Соболевский[3].

Итак, записи Бартенева приходится верить.

---

[1] Л. П. Гроссман. Устная новелла Пушкина.— В кн.: «Этюды о Пушкине». М., 1923, с. 111.

[2] Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, с. 341.

[3] Возможно, однако, что А. В. Флоровский прав, выдвигая другое предположение,— запись Анненкова, быть может основана на ранее им слышанном рассказе того же П. В. Нащокина (*Флоровский. Пушкин на страницах дневника,* с. 568).

Совершенно того не подозревая, мы еще с детских лет знали начало этого приключения,— как поэт проник в особняк и ожидал возвращения хозяйки.

Помните, читатель, эти места «Пиковой дамы»? «Сегодня бал у ...ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется один швейцар, но и он, обыкновенно, уходит в свою коморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет,— и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но вероятно вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни <...>».

« <...> Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню <...> Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать — и все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,— и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились <...>».

Как видим, между рассказом Нащокина и текстом «Пиковой дамы» действительно есть большое сходство. Возможно, правда, что Нащокин, передавая рассказ Пушкина, еще несколько усилил его. Вряд ли, например, забыв многое существенное, он действительно помнил такую подробность, как стук подъезжавшей кареты. Скорее всего, Павел Воинович невольно заимствовал ее из пушкинской повести. Тем не менее сходство между обоими повествованиями остается несомненным.

Картина проникновения Германна во дворец графини полна конкретных подробностей и вполне правдоподобна. Возможно, что Пушкин и в самом деле здесь точно описал начало своего собственного приключения. Нащокин эти подробности запамятовал и ограничился мало что говорящей

фразой: «Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец...»

Истории романа Пушкина и Долли Фикельмон мы пока совершенно не знаем. Уцелела от него лишь одна глава. Остальные вряд ли когда-нибудь отыщутся. Само собою разумеется, что письма этого времени, если они и были, сразу же уничтожались. Но не о своих ли письмах к графине Пушкин говорит в той же «Пиковой даме»?

«Германн их писал, вдохновленный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать,— и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее».

Это, конечно, только предположение, но раз в знаменитой повести в самом деле есть автобиографическая сцена, то могут найтись и другие подробности, взятые поэтом из собственной жизни...

Интересно также отметить, что в 1917 году вдумчивый пушкинист Н. О. Лернер[1] обратил внимание на странное несоответствие мыслей Германна, уходившего из дома графини, с только что разыгравшейся по его вине драмой: «По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal[2], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...»

Комментатор «Пиковой дамы» считает, что «психологически недопустимыми кажутся нам мысли, с которыми Германн покидает на рассвете дом умершей графини. Думать о том, кто прокрадывался в спальню молодой красавицы шестьдесят лет назад, мог в данном случае автор, а не Германн, потрясенный «невозвратной потерей тайны, от которой ожидал обогащения». С таким настроением не вяжутся эти мысли, полные спокойной грусти».

Н. О. Лернеру рассказ Нащокина в 1917 году был неизвестен, но, зная его, нельзя, мне кажется, не согласиться с мнением этого пушкиниста, что в данном случае так мог думать автор, а не Германн... Возможно, что перед нами еще одна автобиографическая подробность — благополучно уйдя из посольского особняка, поэт мог спросить себя, может быть, и с ревнивой грустью: не было ли у него предшественников на этом пути?..

---

[1] А. С. Пушкин. Пиковая дама. Пг., Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1917, с. XX.

[2] Королевской птицей *(франц.)*.

Надо сказать, что образ Долли Фикельмон, героини любовного приключения с Пушкиным, решительно не вяжется со всем тем, что мы знали о ней до недавнего времени. Как совместить ее несомненную любовь к мужу, религиозность, сильно развитое чувство долга, наконец, ее душевную опрятность с этой, пусть недолгой, связью?

Однако уже в 1965 году я обратил внимание на то, что даже в ее поздних письмах чувствуется, что графиня Долли — человек увлекающийся и страстный, хотя и сдержанно страстный. Должно быть, в облагороженной и смягченной форме она все же унаследовала темперамент матери, женщины, порой совершенно не умевшей справляться со своими переживаниями.

Великий дед Дарьи Федоровны Михаил Илларионович Кутузов, как известно, также любил все радости жизни и до конца своих дней бывал порой неравнодушен к женщинам. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его письма к любимой дочери, Елизавете Михайловне Хитрово[1].

Став взрослой, Долли Фикельмон всегда выдержанна и ровна. Лишних слов она и любимой сестре не говорит. Ее чувства отливаются в достойную и изящную форму, но они не потухли, совсем не потухли, несмотря на годы и внучат. Один за другим проходят в ее письмах образы мужчин, которые в данное время так или иначе интересуют немолодую уже графиню. Сильнее всего, кажется, ее привязанность к молодому генералу Григорию Скарятину, который приезжал и в Теплиц. Смерть генерала во время Венгерского похода — большое личное горе для Фикельмон. «Я только что узнала, что ты и я потеряли один из предметов нашей самой нежной привязанности. Григорий Скарятин умер, как герой»[2]. «Увы, ужас войны чувствуешь тогда, когда ты потеряла кого-нибудь, кто тебе дорог»[3].

Несколько неравнодушна Дарья Федоровна и к своему ровеснику хорватскому бану (генерал-губернатору) Елачичу, о котором она опять осторожно пишет сестре: «твой и мой герой»[4].

Очень романтичны ее чувства к австрийскому императору Францу-Иосифу. По отношению к нему пиетет переплетается с переживаниями, похожими на материнские, и с явственным, хотя, возможно, неосознанным увлечением красивым юношей.

Думаю, что этих немногих примеров достаточно. Они показывают, что жизнь сердца и на склоне лет не всецело

---

[1] «Русская старина», 1874, июль, с. 337—377.
[2] *Сони*, с. 229.
[3] Там же, с. 232.
[4] Там же, с. 224.

замкнулась у Долли в дорогом ей превыше всего домашнем кругу. Чувствуется, что и в

...науке страсти нежной,
Которую воспел Назон,—

она далеко не невежда.

«Женщины в этом отношении не ошибаются, они быстро распознают по тому, как на них смотрит мужчина, новичок он или нет в искусстве их любить» [1] — эту фразу написала, во всяком случае, женщина, много жившая сердцем.

В дневнике молодой графини, несмотря на всю его сдержанность, сердечные переживания порой проступают ясно. О том же Григории Скарятине она говорит, что была «привязана к нему всей душой» и чувствовала к нему «нежную дружбу» [2]. У Василия Толстого Долли находит «ангельское сердце» [3]. Александр Строганов является «одним из ее любимцев» [4]. Своему поклоннику Вяземскому, как мы знаем, она писала 12 декабря 1831 года: «...я рассчитываю на хороший уголок в вашем сердце, откуда я не хочу, чтобы меня выжили и где я останусь вопреки вам самому».

Надо снова сделать оговорку: по-французски, особенно в романтическую эпоху, когда с друзьями почти обязательно полагалось беседовать о чувствах, многие выражения звучали менее интимно, чем соответствующие русские, но все же интимность в них есть немалая.

А записывая маскарадный разговор со своим приятелем, атташе английского посольства Медженисом, Долли приводит весьма любопытный отзыв о самой себе. Молодой дипломат ее не узнал (или сделал вид, что не узнал,— это тоже практиковалось). Во всяком случае, он сказал, что Фикельмон — «это фразерка и лед, который я не дал себе труда растопить» [5]. Против несправедливого эпитета «фразерка» она протестует, а сравнение со льдом, который при желании можно растопить, ее, видимо, не задело. Внутренне правдивая женщина свою страстную натуру знала...

Все это я писал в 1964 году, еще не зная, что в Пушкинском доме хранятся три папки с бледно-голубыми листками и надписью на обложке «Александр I, император».

Из писем Долли Фикельмон к П. А. Вяземскому мне, как и всем, были известны тогда только два, в свое время небрежно переведенные сыном князя, и выдержка из третьего, опубликованная в «Литературном наследстве». 14 писем и 67 записок графини к Петру Андреевичу лежали в Остафьев-

---

[1] *Сони*, с. 396.
[2] *Флоровский. Дневник Фикельмон*, с. 77—78.
[3] Там же, с. 78.
[4] Там же, с. 127.
[5] Там же, с. 85.

ском архиве и, кроме работников ЦГАЛИ и очень немногих специалистов, о них не знал никто.

Я получил возможность ознакомить с ними читателей в больших выдержках. Подробно рассказал о двух нам известных платонических увлечениях Дарьи Федоровны — ее совсем юной «влюбленной дружбе» с царем Александром и такой же дружбе с Вяземским. Думаю, что образ Долли, страстной по натуре женщины, любившей своего старого мужа, но, видимо, любившей и свою молодую жизнь, не покажется теперь столь уж несовместимым с возможностью увлечения и более опасного. Нельзя забывать и о ее склонности к «эскападам», порой довольно рискованным.

Когда же Пушкину удалось «растопить лед»? Когда разыгралась история с женой австрийского посла?

В биографическом плане этот вопрос далеко не праздный. Связь с графиней, если она имела место до женитьбы Пушкина, осложнить его семейной жизни не могла. Наталья Николаевна, конечно, знала немало о прошлых увлечениях мужа. Россказни о них, обычно приукрашенные, шли по всей России. Недаром она начала ревновать, еще будучи невестой. Дело обстоит иначе, если этот роман — одна из любовных провинностей женатого поэта. В очень запутанной под конец семейной жизни Пушкина она могла стать своего рода лишней гирей на домашних весах.

В первые годы после опубликования рассказа Нащокина среди пушкинистов, вообще относящихся с сомнением к истинности этой истории, существовало мнение, что ее, во всяком случае, следует отнести к ранней поре знакомства поэта и графини — возможно, к зиме 1829/30 года[1].

В настоящее время, после опубликования письма Пушкина к Дарье Федоровне от 25 апреля 1830 года, это мнение вряд ли можно считать обоснованным. За изысканно любезными, великолепно отшлифованными фразами поэта совершенно не чувствуется интимной близости с адресаткой, будто бы имевшей место всего несколькими месяцами ранее. Мы знаем, кроме того, что тогда же П. А. Вяземский удивлялся тому, что Пушкин не был влюблен в графиню Фикельмон. Петр Андреевич — наблюдатель очень внимательный. Он к тому же в это время сам сильно увлекался Долли и, наверное, почувствовал бы в Пушкине соперника, если бы поэт был таковым.

Из переписки Дарьи Федоровны мы знаем теперь, что в 1830—1831 годах, несмотря на несомненный интерес и симпатию к Пушкину, Петр Андреевич, ее усердный поклонник,

---

[1] *Письма к Хитрово*, с. 56—57.

занимал Долли гораздо больше. Вяземский, кроме того, ее единомышленник в сильно волновавшем Фикельмон польском вопросе. Можно думать, что с автором «Бородинской годовщины» она некоторое время была «на ножах». Только осенью 1832 года, как я старался показать, дружба Долли с Вяземским перестала быть «влюбленной».

Эпизод, о котором идет речь, приходится, во всяком случае, отнести к тем годам, когда Пушкин был уже женат.

Даты приключения в особняке австрийского посольства установить, конечно, невозможно. Попытаемся все же выяснить, когда приблизительно оно могло произойти.

В августе или ноябре 1833 года Пушкин уже читал Нащокину рукопись «Пиковой дамы», в которую, как мы видели, включен биографический эпизод. В выпущенной мною части рассказа Нащокина есть упоминание о том, что поэт проник в посольство в холодное время года (топили печи). Если Павел Воинович не ошибся, то, значит, эпизод произошел самое позднее в 1832—1833 годах. М. А. Цявловский считает наиболее вероятной либо эту зиму, либо предыдущую.

На мой взгляд, приходится остановиться именно на этой последней зиме, хотя, казалось бы, Пушкин не мог ввести в повесть эпизод, который произошел совсем недавно[1].

Никто из исследователей, если не ошибаюсь, не обратил, однако, внимания на тот факт, что в 1830—1831 годах графиня Фикельмон неоднократно упоминает о Пушкине и его жене в дневнике и в письмах. Упоминает о них и в 1832 году — в последний раз 22 ноября, но затем фамилия поэта внезапно исчезает из дневника на ряд лет — вплоть до записи о дуэли и смерти. Не упоминается она больше и в письмах Дарьи Федоровны. Ссоры между ними не произошло — Пушкин, как видно из его дневника, продолжал бывать на обедах и приемах в австрийском посольстве. Нет сведений и о том, чтобы он прекратил посещения салона Хитрово-Фикельмон. Нельзя, наконец, объяснить молчание Долли ее болезнью — в 1833 году она, во всяком случае, как и раньше, регулярно вела дневник, много выезжала и принимала у себя. Ее записи становятся нерегулярными только с 1834 года.

Таким образом, ссоры не было, но перо графини почему-то перестало писать фамилию поэта...

Мне кажется вероятным, что именно 22 ноября 1832 года можно считать той датой, после которой произошло незабываемое для Долли Фикельмон событие. Это число — «terminus post quem» на языке науки.

---

[1] Основываясь на этом именно соображении, Н. В. Измайлов в свое время полагал, что романтический эпизод, если он на самом деле был, следует отнести ко времени до женитьбы (*Письма к Хитрово*, с. 56—57).

Когда будет опубликована (надо надеяться) и вторая тетрадь дневника, промежуток времени, в течение которого могла произойти интимная встреча графини и поэта, быть может, удастся сократить. В конце февраля 1833 года (запись 23 марта) Дарья Федоровна уже уехала в Дерпт (Юрьев, Тарту) [1]. Если мы узнаем, что она вернулась в столицу, когда в Петербурге печей уже не топят, «автобиографическую сцену» надо будет отнести к декабрю 1832 — февралю 1833 года [2].

Впоследствии, в день серебряной свадьбы (3 июня 1846 года) Дарья Федоровна писала сестре, что ее пришли поздравить внучата, одетые ангелами, с цветочными цифрами на груди — «на одном 2, на другом 5 — двадцать пять лет счастья...».

Вероятно, она искренна, или почти искренна... Можно поверить, что счастье супругов было безоблачным в юные и пожилые годы графини. Но между неаполитанской жизненной весной и венской осенью было еще петербургское лето. Фикельмон, несомненно, любила стареющего мужа и в эти северные годы, но была ли она тогда до конца счастлива? Можно в этом усомниться, несмотря на ее многократные дневниковые уверения в противном...

Думается, однако, что роман с Пушкиным был все же лишь коротким эпизодом в ее жизни. Вероятно, для Долли, человека душевно чистого и совестливого, после памятной ночи наступили дни раскаянья. Не верится, чтобы она могла легко простить себе то, что сделала, не справившись со страстью, разбуженной поэтом.

Трудно предположить, чтобы интимные свидания повторялись. Короткая предельная близость с Пушкиным скорее оттолкнула от него графиню. После пережитого потрясения душевные тормоза опять окрепли. Дарье Федоровне первое время было тяжело принимать поэта в своем доме. Потом это чувство прошло, но надолго, может быть, и навсегда, осталась некоторая неловкость, настороженность, нарочитая сдержанность, которая, как мы увидим, чувствуется в высказываниях Д. Ф. Фикельмон о Пушкине после его смерти.

Предельно осторожен и сдержан в своих высказываниях сам поэт. Ни одного лишнего слова о Дарье Федоровне у него нет. Не будь его неосторожного разговора с Нащокиным (может быть, и еще с кем-нибудь из близких друзей?), мы бы вряд ли вообще что-либо узнали об этом тщательно скрываемом романе.

Нелегко себе представить, что переживала Долли, читая «Пиковую даму», напечатанную в 1834 году, и слушая разго-

---

[1] *Флоровский. Дневник Фикельмон,* с. 58.

[2] Приходится, однако, не забывать, что слабеющая память П. В. Нащокина могла его обмануть и в отношении топки печей.

воры о знаменитой повести в своем салоне[1]. Ее чувства, можно думать, были сложными и смешанными. Однако у Фикельмон не было никаких оснований предполагать, что кто-либо из читателей «Пиковой дамы» сможет догадаться, о чем там местами идет речь.

Возможно, что она узнала кое-какие свои черты и в образе Татьяны-княгини:

К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех.
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней...

Предположение о том, что Фикельмон отчасти послужила прототипом любимой героини Пушкина, ставшей дамой большого света, высказывалось многими. Неоднократно литературоведы указывали и на то, что в описании гостиной Татьяны-княгини есть сходство с салоном графини Долли, где Пушкин, по словам Вяземского, был «дома».

Беру на себя смелость высказать еще одно предположение. Образ графини Фикельмон запечатлен и в «Египетских ночах». Вспомним то место, где импровизатор-итальянец предлагает присутствующим вынуть из вазы жребий — одну из предложенных ему тем. «Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: «Кому угодно будет вынуть тему?» Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке: он с живостью оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

— Извольте развернуть и прочитать,— сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:

— Cleopatra e i suoi amanti (Клеопатра и ее любовники).

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки».

---

[1] Можно думать, что в 1834 году Дарья Федоровна уже достаточно освоила русский язык, чтобы прочесть «Пиковую даму»,— возможно, с помощью матери.

Кто же эта молодая красавица аристократка, величавая на вид и в то же время так не похожая на чопорных, всего боящихся петербургских дам? Красавица, видимо, уверенно читает по-итальянски. Мне думается, что на вечер импровизатора-итальянца Пушкин привел графиню Фикельмон, так любившую Италию...

Н. Каухчишвили нашла мое предположение «заслуживающим внимания» («degno di attenzione»). По ее словам, «является вероятным, что гипотеза близка к истине» («si avvicini al vero»)[1]. Автор указывает далее, что графиня покровительствовала в Петербурге одному импровизатору, и приводит ее дневниковую запись от 20 октября 1832 года: «...на днях мы слушали немца-импровизатора Лангеншварца. Я несколько раз видела этого молодого человека и стараюсь быть ему полезной, впрочем, без большой удачи. Он очень молод, особенно в умственном отношении, но у него благочестивая душа, чистая и сердечная, как у молодой девушки. Его фигура вовсе не примечательна, но глаза прекрасны, часто полны вдохновения»[2].

Автор полагает, что Фикельмон, возможно, пригласила Пушкина послушать импровизатора у себя в особняке, и поэт, подобно Чарскому, был поражен его горящими глазами. Предположение Каухчишвили, несомненно, интересно и не расходится с летописью жизни поэта. Пушкин выехал из Москвы в Петербург 10 октября и, следовательно, мог побывать у Фикельмон за несколько дней до двадцатого.

Супруги Фикельмон продолжали покровительствовать этому импровизатору и позднее. Посол рекомендовал его княгине Мелании Меттерних, и та устроила у себя в Вене многолюдный вечер. Одна из тем, предложенных артисту («Разрушение Помпеи»), как отмечает Каухчишвили, точно совпадает с заданной импровизатору на петербургском вечере, описанном в «Египетских ночах». Лангеншварц удивил княгиню Меттерних, но ей не понравился. Впоследствии (в 1836 году), вспоминая о нем, княгиня назвала его в дневнике «неспособным и смешным импровизатором»[3].

Н. Каухчишвили указывает, кроме того, на одно действительно странное совпадение. В 1827 году в Неаполе выступал знаменитый итальянский импровизатор Томмазо Сгриччи (Tommaso Sgricci), который, по желанию короля, продекламировал современную поэму «Смерть Клеопатры». Долли Фикельмон, по-видимому, присутствовала на этом представлении и, по предположению автора, ее рассказ о выступлении Сгрич-

---

[1] *Дневник Фикельмон*, с. 56.

[2] Там же, с. 57. Перевод М. И. Гиллельсона.

Приходится лишний раз пожалеть о том, что из второй тетради дневника мы знаем пока лишь отдельные цитаты.

[3] *Дневник Фикельмон*, с. 57.

чи мог побудить Пушкина включить в текст «Египетских ночей» давно написанные им стихи о Клеопатре.

Верно это или не верно, пусть решают специалисты-пушкинисты, но нельзя не приветствовать рвение исследовательницы русско-итальянских литературных отношений, которая имеет возможность обращаться к источникам, очень труднодоступным для советских ученых[1].

Н. Каухчишвили полагает также, что «молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции», это гвардейский офицер Василий Васильевич Сабуров (1805—1879). Автор основывается на том, что в той же записи (20 октября), в которой Д. Ф. Фикельмон говорит об импровизаторе Лангеншварце, она упоминает и о Сабурове, вернувшемся из Италии. Он привез оттуда «отражение светлой жизни Юга, так как долго прожил среди итальянцев и страстно любит их страну». «При нем находился маленький художник-сицилианец, истинное выражение южной непосредственности»[2]. По мнению Каухчишвили, этот персонаж, возможно, побудил Пушкина сделать своего импровизатора «итальянским художником».

Если не все предположения Н. Каухчишвили окажутся обоснованными, все же я склонен считать несомненным, что «Египетские ночи», написанные, вероятно, в Михайловском осенью 1835 года, как-то связаны с рассказами графини Фикельмон о ее неаполитанских годах и о ее покровительстве немецкому импровизатору.

Быть может, именно поэтому Пушкин и увековечил ее в образе «молодой величавой красавицы», которая пришла на помощь бедному итальянцу...

Незаконченная повесть была напечатана в 1837 году, уже после смерти поэта.

Высказав впервые в 1935 году предположение о том, что прототипом «молодой величавой красавицы» в «Египетских ночах» является Д. Ф. Фикельмон, я вместе с тем считал, что «это последнее (и, собственно говоря, единственное) появление графини Долли в творчестве Пушкина»[3].

В настоящее время я, однако, присоединяюсь к мнению М. И. Гиллельсона, предположившего, что прототипом «княгини Д.» в наброске «Мы проводили вечер на даче» также является графиня Фикельмон[4].

В пользу аргументации Гиллельсона можно, как мне ка-

---

[1] Итальянские газеты пушкинского времени в ленинградских книгохранилищах, например, отсутствуют.

[2] *Дневник Фикельмон*, с. 57. Перевод М. И. Гиллельсон.

[3] Н. Раевский. Если заговорят портреты. Алма-Ата, 1965, с. 133—134.

[4] М. И. Гиллельсон. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон. *Врем. ПК*. 1967—1968. Л., 1970, с. 15—17.

жется, привести и сходство между высказываниями «княгини Д.», протестующей против преувеличенной стыдливости при выборе чтения, и отзывом Фикельмон о письмах Курье: «... они, надо сказать, легкомысленны, но принято считать, что в наш век можно все читать без стеснения».

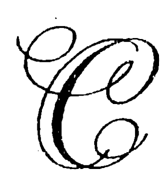
Как мы видим, и в жизни и в творчестве Пушкина Дарья Федоровна Фикельмон, вероятно, сыграла значительно большую роль, чем можно было предполагать до недавнего времени.

Выяснению ее жизненного пути я посвятил уже немало страниц, но снова вернусь к судьбе Долли в двух следующих очерках.





ОСОБНЯК НА ДВОРЦОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ



емнадцатого сентября 1829 года графиня Фикельмон записала в дневнике: «С 12-го мы поселились в доме Салтыкова — он красив, обширен, приятен для житья. У меня прелестный малиновый кабинет (un cabinet amarante)[1], такой удобный, что из него не хотелось бы уходить. Мои комнаты выходят на юг, там цветы — наконец все, что я люблю. Я начала с того, что три дня проболела, но это все ничего, у меня хорошее предчувствие, и я думаю, что полюблю свое новое жилище.

Ничего столь не *забавно,* как устроиться на широкую ногу и с блеском, когда знаешь, что состояния нет, и, если судьба лишит вас места, то жить придется более чем скромно. Это совсем как в театре! На сцене вы в королевском одеянии — потушите кинкеты, уйдите за кулисы и вы, надев старый домашний халат, тихо поужинаете при свете сальных свечей! Но от этого мне постоянно хочется смеяться, и ничто меня так не забавляет, как мысль о том, что я играю на сцене собственной жизни. Но, как я однажды сказала маме,— вот разница между *мнимым и подлинным* счастьем,— женщина, счастливая лишь положением, которое муж дает ей в свете, думала бы с содроганием о том, что подобная пьеса может кончиться. Для меня, счастливой *Фикельмоном,* а не всеми преимуществами, которые мне дает его положение в свете,— для меня это вполне безразлично, я над этим смеюсь, и, если бы завтра весь блеск исчез, я не стала бы ни менее веселой, ни менее довольной. Только бы быть с ним и с Elизалекс, и я, уезжая, буду смеяться с тем же легким сердцем!»

---

[1] В других записях Долли именует эту комнату «красной гостиной» (salon rouge). В переводе я всюду привожу это последнее название.

Остальную часть 112-й страницы первого тома дневника, на которой заканчивается эта запись, графиня Долли оставила незаполненной. Должно быть, смотрела на нее как на своего рода введение к предстоящему повествованию о своей жизни в особняке Салтыковых.

Этот дом, где Дарья Федоровна Фикельмон в течение девяти лет то весело, то грустно играла сложную пьесу своей жизни, где часто бывал Пушкин, куда он привел своего Германна,— этот дом существует и сейчас.

В рабочие дни подойти к дому № 4 по Дворцовой набережной со стороны Суворовской площади не так-то просто. Быстрой и почти непрерывной вереницей идут мимо его бокового фасада бесконечные машины, спешащие с Марсова поля на Кировский мост. По утрам, когда светофоры на время останавливают автомобильный поток, к бывшему особняку австрийского посольства устремляются торопливые стайки юношей и девушек. Они входят — о некоторых хочется сказать — влетают — в главный подъезд на набережной Невы. Со времен Пушкина здесь почти ничто не изменилось. По-прежнему на фронтоне лазурно-зеленого особняка виднеется белый герб Салтыковых, увенчанный княжеской короной. Под ним, на уровне третьего этажа, находится открытый балкон с гранитными балясинами и фигурной чугунной решеткой. Над самым входом смотрит на прохожих степенная львиная голова с кольцом в пасти.

Но архитектуру особняка рассматривают лишь немногие посторонние посетители. Торопящимся юношам и девушкам некогда. Они спешат в свои аудитории и кабинеты. С середины 1946 года все здание занимает Ленинградский государственный библиотечный институт имени Н. К. Крупской, который в настоящее время носит название Института культуры.

Сейчас в его основном, вечернем и заочном отделениях состоит около 6000 студентов.

Пожелаем им, будущим специалистам библиотечного дела и других отраслей культуры, успехов в учении и труде!

Займемся вкратце прошлым их «красивого, обширного, приятного для житья» здания, часть которого неразрывно связана с именем Пушкина[1].

На месте будущего дома Салтыковых Петр I 26 августа 1724 года по случаю Полтавской победы «изволил веселиться в галерее большой, что в еловой перспективе»[2]. Во времена

---

[1] Исторические сведения о доме Салтыковых заимствованы из работы С. А. Рейсера «Дворцовая набережная, 4» («Труды Ленинградского библиотечного института имени Н. К. Крупской», т. IV, 1958, с. 33—47).

[2] «Старые годы», 1915, № 10, с. 58.

императрицы Анны Иоанновны будущее Марсово поле представляло собою болотистый остров, поросший кустарником. Императрица не раз там охотилась. Нева протекала тогда по той стороне домов нынешней улицы Халтурина (бывшей Миллионной), где Эрмитаж, и подступала к самому месту, где много лет спустя был построен особняк Салтыковых. Впоследствии «в результате сложных и долгих, по условиям техники того времени, усилий была создана свайная набережная — примерно от Фонтанки до нынешней Адмиралтейской набережной — вынесенная в русло многоводной реки; тем самым, береговая линия была искусственно отодвинута.

Благоустройство этого района началось в конце первой половины XVIII века»[1]. В 1764—1767 годах, уже при Екатерине II, «в гранит оделася Нева». Позже, в 1784 году, берег реки от Лебяжьего канала, прорытого еще при Петре I, до служебного корпуса Мраморного дворца[2] был разбит на три участка, предназначенных для застройки. Средний из них, где находится нынешний Институт культуры, приобрел в 1787 году санкт-петербургский купец Ф. И. Гротен, построивший здесь обширный дом, проект которого создал знаменитый архитектор Джакомо Кваренги.

По каким-то причинам заказчик своим огромным особняком, законченным в 1790 году, не воспользовался. В том же году он продал его некоему Т. Т. Сиверсу. Последний три года спустя перепродал особняк княгине Екатерине Петровне Барятинской. Однако и на этот раз создание Кваренги недолго оставалось в руках нового владельца. В 1796 году в «Санкт-петербургских ведомостях» появилось объявление о сдаче особняка в аренду, а через два дня его купила императрица.

Екатерина II подарила дом генерал-фельдмаршалу светлейшему князю Николаю Ивановичу Салтыкову. С тех пор и до Великой Октябрьской социалистической революции особняком на Дворцовой набережной владели его потомки. Владеть — владели, но предпочитали сдавать обширное здание иностранным посольствам. В 1829 году, как мы знаем, его хозяином стал граф Фикельмон. Резиденцией австрийского, потом австро-венгерского посольства дом Салтыковых оставался до 1855 года. Затем некоторое время часть дома занимал датский посланник (арендовать все здание маленькой Дании, видимо, было не по средствам), а после 1863 года особняк арендовало посольство Великобритании. 7 января 1918 года посол сэр Джордж Бьюкенен последний раз спустился по парадной лестнице и через Финляндию уехал в Соединенное Королевство.

---

[1] С. А. Рейсер. Дворцовая набережная, 4, с. 33.

[2] В настоящее время Северо-западный заочный политехнический институт.

Многих людей и много событий видел дом-дворец*, построенный любимым зодчим Екатерины II...

В течение ряда лет, почти до конца XIX столетия, здание подвергалось внутри многочисленным переделкам. Постепенно изменялся и его внешний вид: «...к настоящему времени фасады со стороны Суворовской площади и Марсова поля очень существенно изменились, неизменным остался только фасад со стороны Невы. В остальном Кваренги не узнал бы своего творения»[1].

Для нас существенно, по возможности, выяснить, какой же вид имел особняк в те годы, когда там бывал Пушкин (1829—1837).

Как и сейчас, здание представляло собою замкнутый вытянутый прямоугольник[2]. По набережной и наполовину по Суворовской площади оно имело четыре этажа, все крыло, параллельное соседнему дворцу Ольденбургских, было двухэтажным. Со стороны Марсова поля во времена Пушкина особняк имел не четыре, как сейчас, а три этажа. Тесный в настоящее время двор был гораздо просторнее, так как пересекающей его сейчас галереи с проездом посередине не существовало.

В дни праздников кареты въезжали в ворота и, обогнув двор, останавливались у подъезда. Стояли они, как предполагает С. А. Рейсер, на Марсовом поле, так как на относительно узкой набережной места было недостаточно. К входу со стороны Невы, можно думать, в торжественных случаях подъезжали лишь наиболее важные гости, и в том числе, конечно, особы императорской фамилии. В «почетном дворе» их каретам пришлось бы ждать очереди. В обычные приемные дни все посетители, Пушкин в том числе, вероятно, пользовались главным входом с набережной или же поднимались в квартиру посла по лестнице с Марсова поля.

Длинный фасад со стороны Суворовской площади первоначально был почти глухой стеной; окна соответствующих комнат выходили во двор. Уже при Фикельмонах, в 1832 году, был пробит ряд окон на площадь. В то время на нее выходило три двери. Средняя из них, обслуживавшая и внутренние части здания, сохранилась до наших дней, и ею пользовались во время Великой Отечественной войны. Сейчас эта дверь, находящаяся на линии четырнадцатого окна, как раз напротив памятника Суворову, закрыта. Когда-то она служила выходом в сад, существовавший на месте нынешней Суворовской площади. При Пушкине площадь уже имела совре-

---

[1] С. А. Рейсер. Дворцовая набережная, 4, с. 37.

[2] Первоначально особняк, построенный Кваренги, имел лишь три фасада, между которыми находился обширный «почетный двор» (cour d'honneur). С четвертой стороны его ограничивала глухая стена соседнего роскошного дома Бецкого (впоследствии дворца Ольденбургских).

менный вид. Сад уничтожили в 1818 году, и памятник Суворову, находившийся в глубине Марсова поля, был перенесен на то место, где стоит и в настоящее время.

Наконец, в 1825 году снесли ограду, тянувшуюся от угла особняка Салтыковых до служебного корпуса Мраморного дворца. Таким образом открылся проезд через площадь.

Просим читателя не забывать о существовании во времена Пушкина в боковом фасаде особняка Салтыковых, на линии современного четырнадцатого окна, двери, выходящей на Суворовскую площадь. К этой двери нам придется еще вернуться.

Мне давно — с тех пор как я впервые познакомился с записью беседы П. И. Бартенева с П. В. Нащокиным, состоявшейся 10 октября 1851 года,— хотелось побывать в особняке на Дворцовой набережной.

Мое желание впервые осуществилось в 1965 году. Из далекой Алма-Аты я прилетел в Ленинград. 15 июля, перечитав еще раз «Пиковую даму», по улице Халтурина дошел до Института культуры имени Н. К. Крупской. Отворив тяжелую дверь, вошел в нарядный вестибюль с дорическими колоннами. Осматривать его не стал. Хотелось поскорее проделать путь Германна.

Близился вечер, и, благодаря каникулярному времени, людей в здании было очень немного. Мыслям о прошлом старинного дома не мешала обычная дневная суматоха учебного заведения.

Я стал подниматься по парадной лестнице особняка. Вы помните — Германн взбежал по ней... Я не попытался подражать молодому инженеру. На Тяньшаньские перевалы, собирая высокогорные растения, я понемногу взбираюсь, но бегать по лестницам возраст уже не позволяет. Шел медленно. Хотелось к тому же полюбоваться необыкновенно красивой лестницей. Она совсем не грандиозна; широк только нижний марш, который начинается из вестибюля. Затем, начиная с площадки перед зеркалом, лестница раздваивается. Боковые изогнутые марши ведут на третий этаж.

Перед началом первой мировой войны орган великосветских эстетов «Столица и усадьба», именовавшийся в подзаголовке «Журналом красивой жизни», опубликовал несколько снимков интерьеров английского посольства[1]. Фотографию лестницы мне показали в альбоме одной ныне умершей русской пражанки[2].

Теперь я вижу творение Кваренги воочию. Все по-прежнему, только нет в нише копии античной статуи. На уровне

---

[1] «Столица и усадьба», 1914, № 2, с. 20.

[2] Впоследствии я получил эту фотографию в свое распоряжение.

двух с половиной этажей старинное зеркало в широкой белой раме, в котором отражались входившие гости.

И сразу приходит мысль о том, что когда-то зеркало отразило и фигуру взбегавшего по главному маршу Германна. Он спешил в спальню старой графини, надеясь выведать тайну трех карт. Но по этим же маршам с фигурными перилами из кованого железа, вдоль ныне светло-зеленых стен с белыми коринфскими полуколоннами много раз поднимался в покои австрийского посла и сам поэт. Может быть, иногда и взбегал, подобно своему герою. Но перед зеркалом на площадке, особенно в дни балов и парадных приемов, Пушкин, наверное, останавливался. Поправлял волосы, смотрел, не сбился ли на сторону бант шейного платка. А с тех пор как женился, он чинно шел в таких случаях под руку с Натальей Николаевной. Зеркало отражало невысокую фигуру поэта и его жену, которая многим, в том числе и многоопытной хозяйке дома, казалась поэтичнее, чем была на самом деле.

Оба марша выводят в обширный передний зал, кажется, неперестроенный. Теперь его бы называли холлом. Передо мной ряд запертых дверей. Куда же идти дальше?.. Мысленно опять возвращаюсь к Германну. Путь его в «Пиковой даме», как известно, Пушкин описал подробно. Портфель мне пришлось сдать в швейцарской, но изящно переплетенный коричневый с черным том я не забыл из него вынуть. На нужном месте закладка. Еще раз просматриваю третью главу.

Лизавета Ивановна, назначая Германну свидание в доме графини, писала: «Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату <...>».

«Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню».

. . . .

«Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет».

В нем он и ожидал приезда графини, «прислонясь к холодной печке».

Итак, нужно идти налево. Прохожу мимо ряда сейчас закрытых высоких дверей. Над ними современные номера

помещений[1] — иначе не разобраться в огромном здании. В прошлом здесь, видимо, были парадные комнаты Фикельмонов. О том, что их квартира находилась на третьем этаже особняка, мне еще в вестибюле сказал кто-то из сотрудников Института. Речь, правда, шла об апартаментах Бьюкенена, но, вероятно, англичане держались установившейся посольской традиции.

Из передней большой залы снова сворачиваю налево в узкий, очень узкий коридор. Иду, как Германн,— все прямо. Здесь двери низкие, должно быть, и комнаты небольшие. Где-то тут была и спальня графини Долли, но как ее найти?.. Коридор пуст. Двое молодых людей, вероятно, студентов, которые попались мне навстречу, знают, в какие аудитории и кабинеты ведут некоторые из нумерованных дверей, но спрашивать их о том, что там было во времена Пушкина, я не пытаюсь. Приходится повернуть обратно. Надо будет поискать другие пути...

Я ничего по-настоящему не видел, но все же кое-какое представление об особняке Салтыковых создалось сразу. Здание огромное, но холодного дворцового великолепия в нем нет и следа. Очень уютное строение, и, вероятно, права графиня Долли — жить в нем было приятно.

На следующее утро я беру с собой паспорт и несколько экземпляров книжки «Если заговорят портреты». Прошу доложить о себе ректору института. Предъявив документ, рассказываю о цели посещения. Прием любезный и, что важнее, внимательный. Ректор дал мне для ознакомления экземпляр четвертого тома «Трудов Ленинградского библиотечного института имени Н. К. Крупской» за 1958 год со статьей профессора Соломона Абрамовича Рейсера, которую я уже не раз цитировал. Издание это малотиражное (1000 экз.) и вне Ленинграда и Москвы его мало где можно найти.

Начинаем с парадных комнат, выходящих в переднюю залу — холл. Вхожу в помещение № 303 — великолепный белый зал с замысловатыми лепными украшениями на стенах и прекрасными хрустальными люстрами, изготовленными в советское время по типу старинных. Он сохранился в том же виде, как был в английском посольстве,— Джордж Бьюкенен в свое время, очевидно, разрешил его сфотографировать, и снимок помещен в номере «Столицы и усадьбы», о котором я уже упоминал. Однако Пушкин видел «танцевальное зало» особняка не таким. Оно было, к сожалению, перестроено архитектором Г. И. Боссе, вероятно, в 1844 году. В разное время были перестроены и многие другие помещения особняка.

---

[1] Аудитории и кабинеты Института культуры имеют трехзначные номера, причем первая цифра обозначает этаж. Всего в особняке около ста помещений различной величины.

Вспомнив замок Бродяны, в котором, как и во всей одноименной деревне, и в 1938 году все еще не было электричества, я старался представить себе, как выглядел зал № 303 во время вечерних приемов при Пушкине. Не очень яркие, но живые огоньки сотен восковых свечей, наверное, создавали тогда — как и стеариновые свечи в скромном замке Александры Николаевны сто лет спустя — тот веселый уют, который исчез при неподвижном электрическом свете.

Хотя и перестроенное, но все же то самое «танцевальное зало», в котором много раз бывал Пушкин... Вряд ли он участвовал в танцах — считал себя слишком немолодым. Стоял в стороне, чтобы на него поменьше обращали внимания многочисленные гости посла. Наблюдал. Супруги Фикельмон умели и на официальных приемах создавать атмосферу изящной непринужденности. Императорская чета бывала в австрийском особняке не часто, но охотно. Ее появление на балу в иностранном посольстве сопровождалось, можно думать, принятым в Петербурге церемониалом. Хозяин и хозяйка, вероятно, встречали царскую чету на средней площадке лестницы. При входе монарха в зал дамы и барышни делали глубокий реверанс. Мужчины низко кланялись. И быть может, именно здесь Пушкин наблюдал сцену, описанную им в одной из опущенных строф восьмой главы «Евгения Онегина»:

И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший, тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется и скользит
Звезда — харита меж харит,
И взор смешенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя...

В библиотеке Пушкинского дома я прочел в письме фрейлины Анны Сергеевны Шереметевой упоминание о бале у Фикельмонов 28 февраля 1834 года, на котором на этот раз Пушкин, по-видимому, не присутствовал:** «После обеда мне пришлось сойти к императрице, чтобы пойти с ней к графине, у которой она переодевалась <...> Бал был блестящий и оживленный, танцевали в двух комнатах, а после ужина танцевали попурри и галоп почти до пяти часов утра»[1].

Побывав в белом зале Института культуры, я заодно с письмом фрейлины Шереметевой перечитал то место воспоминаний графа Соллогуба, где он рассказывает об объяснении Пушкина с Дантесом на приеме у Фикельмонов 16 ноября 1836 года уже после получения поэтом анонимного пасквиля

---

[1] Архив села Михайловского, т. II, вып. I. СПб., 1902, с. 33—34.

и вызова им Дантеса на поединок: «Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С нею любезничал Дантес-Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревоженным, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов» [1].

В особняке Института культуры бытует представление о том, что этот разговор произошел именно в белом зале. Мне кажется, однако, маловероятным, чтобы Пушкин выбрал для объяснения с Дантесом такое неподходящее место, как «танцевальное зало» [2]. Вероятно, разговор, если он действительно и произошел (мы знаем о нем только со слов Соллогуба), то, во всяком случае, в каком-либо другом, менее людном помещении посольства.

Возвращаюсь к дню 16 июля 1965 года, когда я впервые подробно осматривал особняк Салтыковых.

Мне показывали одно за другим помещения, которые когда-то были парадными комнатами австрийского, а позднее английского посольства.

Как полагает С. А. Рейсер на основании одного старинного документа, их можно довольно уверенно идентифицировать с некоторыми современными аудиториями и кабинетами. Непосредственно к белому залу примыкала большая столовая (302) и «вечернее зало» (301). С другой стороны расположена большая гостиная (304), малая и угловая гостиные (305 и 306). Помещения 301—305 выходят окнами на север. Одна сторона угловой гостиной также обращена на север, другая и остальные комнаты (307—310), вплоть до внутренней лестницы, ведущей в нижние этажи, имеют окна на Неву. Помещения, повидимому, сохранили свои размеры, но аудитории, естественно, отделены друг от друга.

Путями сообщения во всем здании служат сейчас преимущественно очень узкие коридоры. В старое время было иначе. По коридорам ходили главным образом слуги. Хозяева и гости, по крайней мере в парадных покоях, пользовались дверьми, расположенными строго по одной линии и соединявшими комнаты в анфиладные ряды. Одна из таких линий шла от белого зала до угловой гостиной и затем, повернув под прямым углом, продолжалась до спальни графини (308).

---

[1] Граф В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.—Л., 1931, с. 363.

[2] Тем не менее описание столкновения в воспоминаниях Соллогуба изложено так, что возможность разговора «на публике» нельзя считать исключенной.

Теперь здесь помещается кабинет литературы. Входят в него из коридора через очень низкую дверь. Осматриваю это помещение с особым интересом. Довольно большая, красивая и светлая комната с двумя колоннами, по всему судя, не была перестроена с основания особняка. Такой видел ее и Пушкин. Потолок с нарядной отделкой по карнизу, как мне сказали, вполне в духе построек Кваренги. Два окна выходят на Суворовскую площадь. В левое виден только служебный корпус Мраморного дворца, в правое — то же здание, но справа от него — Нева и часть Петропавловской крепости. Между окнами — большое зеркало в старинной широкой раме. Под ним находился мраморный камин, который перенесен в музей — последнюю квартиру А. С. Пушкина (Набережная Мойки, 12).

Этот кабинет литературы, конечно, совсем не похож на спальню старой графини в том виде, как ее изображают в опере, — огромное помещение, в котором хватает места для целого хора прислужниц, поющих «Благодетельница наша...». Однако в «Пиковой даме» описана обычная спальня старой барыни, а вовсе не зал, вроде опочивальни Людовика XIV в Версальском дворце.

Рядом с теперешним кабинетом литературы находится аудитория № 307, которую С. А. Рейсер считает большим посольским кабинетом. Здесь, или в одной из соседних гостиных (305 и 306), Германн и мог ожидать возвращения старой графини с бала. Вероятнее, однако, что он стоял именно в помещении № 307, так как отсюда, чуть приотворив дверь, он мог видеть то, что происходило в спальне. С другой стороны, дверь из нее ведет в маленькую соседнюю комнату, где в наши дни помещается секретарь декана библиотечного факультета. В день моего посещения она была заперта, так же как и следующая комната № 310. Из той и из другой низкие двери выходят в коридор. Пройдя по нему всего 6—7 шагов, Германн попал бы на внутреннюю довольно широкую лестницу и по ней мог выйти на площадь. Однако в повести его путь описан иначе: после смерти графини он, повидавшись с Лизой, спустился затем по винтовой лестнице, размышляя о тех, которые, быть может, поднимались по ней в спальню графини много, много лет назад.

Фактическая топография этой части бывшей квартиры Фикельмонов*, в общем, очень напоминала соответствующие строки «Пиковой дамы» и переданный Бартеневым рассказ Нащокина (надо заметить, что ни тот, ни другой в доме Салтыковых, несомненно, не бывали). Не хватало, однако, одной существенной подробности. Я тщательно спрашивал сотрудников института, нет ли где-нибудь поблизости от кабинета литературы винтовой лестницы. Ответ получал один и тот же: нигде нет.

В следующий мой приезд в Ленинград нашлось, однако, и это недостающее звено. Я познакомился с профессором С. А. Рейсером, подробно изучившим историю особняка, и он сказал мне, что еще сравнительно недавно лестница существовала. Когда Соломон Абрамович в 1944 году начал работать в институте, старые служащие говорили ему, что винтовую лестницу вниз убрали на их памяти. Профессор провел меня в небольшую комнату № 309, рядом со спальней. Здесь, вероятно, была туалетная или находилась горничная графини. Из этого помещения дверь ведет в кабинет декана — совсем маленькую комнатку № 310, назначение которой в прошлом остается неизвестным. На месте письменного стола ясно видно заделанное отверстие в полу. Подобный же симметричный след снятой лестницы имеется во втором этаже (комната № 219) и в первом. Незначительные размеры заделанных отверстий говорят за то, что лестница, несомненно, была винтовой.

Итак, загадочная лестница существовала. Путь Германна из спальни старой графини, не пожелавшей открыть ему тайны трех карт, выяснен. Становится теперь ясным и очень туманное место рассказа Нащокина, запамятовавшего, как Пушкин поутру вышел из особняка Фикельмонов. Поэт мог, в сопровождении Долли, из помещения № 308 пройти в 309, дальше в 310, а оттуда по винтовой лестнице сойти вниз. Мог также выйти из № 310, сделать несколько шагов по коридору и по внутренней лестнице опять-таки пройти к выходу на площадь через дверь против памятника Суворову.

Путь этот, по существу, прост, но провожатый необходим, так как без него легко по коридорам попасть не туда, куда нужно.

Так и случилось со мной, когда в 1965 году я попытался без посторонней помощи разыскать закрытую теперь дверь на площадь, которой сотрудники института пользовались во время Великой Отечественной войны.

В нижнем этаже находились при Пушкине комнаты прислуги, и, видимо, здесь, близ самого выхода, и произошла встреча графини Фикельмон с дворецким, которая едва не вызвала ее обморока.

Для меня, однако, по-прежнему оставалось неясным, где же находились личные комнаты посольши — ее любимая красная гостиная, зеленая гостиная и другие апартаменты, в которых она принимала своих друзей, в том числе и Пушкина. Парадные покои посольства для этих дружеских встреч в узком кругу явно не подходили.

Никаких данных на этот счет известно не было, но в цитированной уже записи Дарьи Федоровны от 14 сентября 1829 года имелось вполне определенное указание: «...мои комнаты выходят на юг».

Южный фасад дома Салтыковых обращен на Марсово поле. До революции оно было огромной площадью, где проходили парады войск Гвардейского корпуса. За ней виднелся мрачный Инженерный замок со своим золоченым шпилем. Сейчас здание полузакрыто старыми деревьями. В пушкинские времена им было всего десятка три лет.

Фасад посольского особняка еще не был испорчен позднейшей надстройкой четвертого этажа.

На Марсово поле выходят восемь окон бывшей квартиры посла, одно из которых заложено; крайние окна справа и слева тройные. Посередине этажа стеклянная дверь ведет на балкон, «выдержанный в строгих пропорциях александровского ампира»[1].

Очень красива его массивная чугунная решетка. Балкон был поставлен, вероятно, в 1819 году, одновременно со всем третьим этажом со стороны Марсова поля.

Получив в 1967 году от пражского Управления архивов микрофильм с небольшой частью дневника Д. Ф. Фикельмон, я прочел страницу, с которой начинается настоящий очерк, и, в июне следующего года прилетев в Ленинград, попросил разрешения осмотреть южную часть третьего этажа Института культуры.

Теперь здесь, в основном, помещается его библиотека. Книжным богатствам (в настоящее время более трехсот тысяч томов) уже тесно в анфиладе бывших комнат графини Долли. Они носят сейчас номера от 318 до 322.

Помещения, видимо, не перестроены. Хорошо сохранилась нарядная отделка стен и потолков в виде золоченых узоров того же типа, что в некоторых залах Зимнего дворца. Трудно, однако, сказать, такой ли вид имели эти салоны при Пушкине. Большое угловое помещение № 318 занято одной аудиторией. Что там было в прошлом — неизвестно. Зато абонемент библиотеки (№ 319) — это бывший «salon rouge» графини, который она так любила. Такая же гостиная была здесь у леди Бьюкенен. Вероятно, к тому времени относится старинное большое зеркало, которое только недавно отсюда убрали. Фотография красной гостиной английского посольства имеется в «Столице и усадьбе». Однако убранство «salon rouge» Д. Ф. Фикельмон было, конечно, совершенно иным. Из большой центральной комнаты № 320, заставленной теперь, как и другие, книжными стеллажами, можно было выходить на балкон. Через небольшое библиотечное помещение 321 мы попадаем в обширный апартамент 322, оттуда ход идет на лестницу, выходившую на Марсово поле рядом с въездом в парадный двор.

Читальный зал библиотеки помещается в громадной быв-

---

[1] С. А. Рейсер. Дворцовая набережная, 4, с. 38.

шей столовой великобританского посольства (№ 323). Для отдела каталогизации использована примыкающая к ней буфетная. Можно, как мне кажется, предположить, что при англичанах в этой части посольской квартиры была произведена перестройка. Нарядная столовая выдержана совсем в ином стиле, чем бывшие комнаты графини. К тому же большая столовая австрийского посольства помещалась, как мы знаем, в другой части здания, а для семейных приемов этот зал чересчур велик.

Пять апартаментов, выходящих на Марсово поле,— светлые и неизменно теплые помещения. И в самые сильные морозы здесь никогда не бывает свежо.

Любимые камелии графини и другие ее цветы, вероятно, чувствовали себя неплохо в этих комнатах даже в пасмурные петербургские зимы. Было там уютно и Дарье Федоровне, которая, как мы знаем, в некоторых отношениях сама походила на оранжерейный цветок.

Прожив много лет в Италии, по крайней мере в первые годы после приезда в Петербург она с трудом переносила отечественные морозы. Угнетал ее и самый приход северной зимы.

Поселившись в доме Салтыковых, она записывает 1 октября того же 1829 года: «Сегодня выпал первый снег — зима, которая будет продолжаться у нас семь месяцев, заставила слегка сжаться мое сердце: очень сильно должно быть влияние севера на настроение человека, потому что среди такого счастливого существования, как мое, мне все время приходится бороться со своей грустью и меланхолией. Я себя за это упрекаю, но ничего не могу тут поделать — виновата в этом прекрасная Италия, радостная, сверкающая, теплая, превратившая мою первую молодость в картину, полную цветов, уюта и гармонии. Она набросила как бы покрывало на всю мою остальную жизнь, которая пройдет вне ее! Немногие люди поняли бы меня в этом отношении,— но только человек, воспитанный и развившийся на *юге,* по-настоящему чувствует, что такое жизнь, и знает всю ее прелесть».

Слов нет, Долли Фикельмон, как немногие, умела чувствовать и любить жизнь. Только чувствовала ее — повторим еще раз — односторонне. Так было и раньше, в Италии, и в красной гостиной Салтыковского дома, где, вероятно, она и заполняла страницы своего дневника. Из ее окон графиня видела лишь Марсово поле и замок, в котором не так давно задушили Павла I, но из правого окна ее уютной спальни хорошо была видна часть Петропавловской крепости.

Вряд ли Дарья Федоровна когда-нибудь всерьез о ней думала. Она обладала своеобразной способностью почти не замечать мрачных сторон жизни...

Но по бывшим ее личным комнатам трудно ходить без

волнения. Вероятно, они не меньше, чем парадные апартаменты посольства, являлись тем, что издавна уже принято называть «салоном графини Фикельмон», где, по словам П. А. Вяземского, «и дипломаты и Пушкин были дома».

Вот здесь, в бывшей красной гостиной, где сейчас стоят в очереди за книгами студенты и студентки Института культуры, несомненно, много раз сиживал поэт. Здесь беседовали с хозяйкой ее близкие друзья — князь Вяземский, Александр Иванович Тургенев, Жуковский, возможно, и слепец поэт Иван Иванович Козлов. И, может быть, именно дверь этой комнаты имеет в виду графиня Долли в записке, посланной Вяземскому во время великопостного говения 1832 года: «Но, в качестве доброго соседа, вы всегда можете попробовать постучать в мою дверь,— быть может, она для вас и откроется».

Я имел до сих пор в виду те комнаты, в которых принимала своих друзей и знакомых графиня Фикельмон. Нельзя, однако, забывать, что в особняке австрийского посольства жила и ее мать Елизавета Михайловна Хитрово, переселившаяся туда из дома Межуевой на Моховой улице, по-видимому, весной 1831 года[1]. Вместе с ней жила и старшая дочь, графиня Екатерина, но в мае 1833 года фрейлина Тизенгаузен переселилась в Зимний дворец. Елизавета Михайловна оставалась в доме Салтыковых до самой смерти (3 мая 1839 года).

Со слов П. А. Вяземского мы знаем, что приемы Е. М. Хитрово именовались «утрами», хотя продолжались от часу до четырех полудня[2].

Д. Ф. Фикельмон в письмах к Вяземскому неизменно упоминает о своих вечерних приемах. Сам П. А. Вяземский и другие мемуаристы также говорят о вечерах у графини. Таким образом, собрания у матери и дочери происходили в разные часы.

Однако Елизавета Михайловна, несомненно, принимала своих гостей не в апартаментах Фикельмона. Тот же Вяземский упоминает о «двух родственных салонах». Пространственно они были разделены, хотя и находились в одном и том же особняке на Дворцовой набережной.

Пока, к сожалению, нельзя установить местонахождение комнат Елизаветы Михайловны. Они, несомненно, составляли более или менее изолированный комплекс. В недатированных записках графини Долли к Вяземскому много раз повторяется приглашение побывать «у мамы»: «Приходите сегодня вечером дать ваш ответ к маме, где я буду в 10 часов». «Пока

---

[1] Письмо Пушкина к Хитрово от 8 или 9 февраля 1831 года адресовано «В С.-Петербург в доме Австрийского посланника», но 26 марта того же года поэт пишет ей снова в дом Межуевой, а 19 или 20 июня 1831 года опять адресует письмо в австрийское посольство.

[2] «Русский архив», 1877, кн. I, с. 513.

приходите сегодня вечером к маме — я так люблю слушать, как вы говорите», и т. д.[1].

Квартира Е. М. Хитрово и ее старшей дочери, по-видимому, находилась не в непосредственной близости с апартаментами младшей.

В одной из записок Дарья Федоровна сообщает Вяземскому: «Так как Елизалекс больна гриппом, я не выхожу из дому и покидаю мою девочку только для того, чтобы пойти к маме, которая не хочет больше лежать в постели, хотя еще очень больна»[2].

По всей вероятности, квартира Е. М. Хитрово находилась во втором этаже особняка, и гости входили в нее с той же лестницы, которая с Марсова поля вела в квартиру Фикельмонов. Чтобы попасть к матери и сестре, Дарье Федоровне достаточно было из своих гостиных спуститься этажом ниже.

Мы не знаем пока, где была расположена спальня графа Шарля-Луи. Через несколько лет после отъезда из Петербурга в Вену его личные покои — служебный и рабочий кабинеты, спальня и комната камердинера помещались в стороне от комнат графини[3]. Возможно, что так было и в Петербурге. Впоследствии спальня великобританского посла находилась во втором этаже. Быть может, снова приходится повторить, в размещении комнат семья Бьюкенен следовала старинной традиции посольского дома.

Начиная с 1965 года, я побывал в бывшем доме Салтыковых много раз, и почти каждый год — в период экзаменов в Институте культуры. В вестибюле с дорическими колоннами, на лестнице Германна-Пушкина, в узких коридорах, перед дверью кабинета литературы, в великолепном белом зале, в бывшей красной гостиной графини Фикельмон — всюду шли, стояли, сидели, толпились юноши и девушки — одни с тревожными, беспокойными лицами, другие с радостно-взволнованными. Грустных я видел мало... И каждый раз, когда я, зачастую среди молодого потока, входил в подъезд со степенной львиной головой над дверью, я думал одно и то же: как хорошо, что именно этим юношам и девушкам отведено здание, так прочно связанное с памятью о Пушкине.

«Племя младое, незнакомое», как и их старшие собратья, хочется думать, сумеет быть достойным этой памяти.



---

[1] Все эти записки на французском языке хранятся в *ЦГАЛИ*.

[2] Судя по упоминанию в данной записке журнала «Le Monde», выходившего в 1835—1837 гг., она относится к этому времени.

[3] Подробное описание венской квартиры Фикельмонов, более скромной, но весьма обширной (12 комнат), имеется в письме Долли к сестре от 22 октября 1844 года *(Сони,* с. 78).



Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН О ДУЭЛИ И СМЕРТИ ПУШКИНА

В истории русской культуры вряд ли есть событие, равное по своему трагизму смерти Пушкина. Столько лет прошло с тех пор, но и сейчас тяжело и горько думать о безвременном уходе нашего гениального поэта.

В его последней драме и поныне многое остается невыясненным, темным, непонятным. Вероятно, многое никогда и не будет объяснено до конца. Действующие лица давно в могиле. То, что они в свое время скрыли, не занеся на бумагу, скрытым и останется.

Есть, однако, материалы, до сих пор просто не разысканные, и почти каждый год приносит в этом отношении что-либо новое.

Наиболее полным исследованием о гибели поэта по-прежнему является труд П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». В настоящее время оно уже несколько устарело. Некоторые выводы автора являются спорными, но богатейшее собрание документов, разысканных Щеголевым, имеет непреходящую ценность.

В предисловии к первому изданию своей книги (1916 год) он писал: «Думается, что, после систематически веденных мною в различных направлениях розысков, в будущем вряд ли можно будет разыскать много документального материала в дополнение к настоящему собранию». Однако Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая исследователям доступ к ряду ранее засекреченных архивов, позволила автору значительно пополнить собранные им ранее обширные материалы. Последнее прижизненное издание книги, третье, вышедшее в 1928 году[1], дает, кроме того, новый взгляд на историю возникновения дуэли и, по-видимому, уличает ав-

[1] Все цитаты, приведенные в настоящей работе, относятся к этому изданию и обозначены фамилией автора книги с указанием страницы.

тора анонимного пасквиля, послужившего поводом к поединку. Им, согласно заключения эксперта, оказался князь Петр Владимирович Долгоруков*.

После выхода в свет переработанной книги Щеголева прошло более сорока лет, и за это время был сделан ряд находок, среди которых по своему значению для истории гибели поэта наиболее важны письма членов семьи историка Н. М. Карамзина к его сыну Андрею Николаевичу. Эта ныне широко известная «Тагильская находка» была впервые опубликована (в выдержках) И. Л. Андрониковым в 1956 году[1]. В 1960 году Институт русской литературы (Пушкинский дом) выпустил полное научное издание писем[2].

На желательность отыскания писем Карамзиных указывал еще Щеголев. Он надеялся также на опубликование писем Натальи Николаевны Пушкиной к мужу, которые, по его сведениям, в 1916 году хранились в Румянцевском музее. Версия о том, что эти ценнейшие документы находятся за рубежом у потомков графини Н. А. Меренберг, должна быть, по-видимому, отвергнута[3]. Надо считать, что судьба писем Натальи Николаевны пока остается неизвестной.

Есть также источники давно известные, но полузабытые. К числу их, на мой взгляд, следует отнести и французское письмо барона Густава Фризенгофа, мужа Александры Николаевны Гончаровой, от 14/26 марта 1887 года, о котором я упомянул в первом очерке. Оно написано со слов Александры Николаевны и проверено ею. В печати письмо было известно лишь в неполном и, как уже было сказано, местами неточном переводе. Я получил возможность прочесть его целиком по фотокопии, любезно предоставленной мне Пушкинским домом. Пользоваться этим поздним и далеко не откровенным повествованием, составленным по просьбе племянницы Фризенгоф-Гончаровой писательницы А. П. Араповой[4], надо очень осторожно, но в нем есть все же интересные и ценные сведения, которым можно поверить. Я обозначаю этот источник как «письмо Фризенгоф».

О существовании дневника Д. Ф. Фикельмон с обширной записью о дуэли и смерти поэта знал до 1943 года только его последний владелец князь Альфонс Кляри-и-Альдринген. Я уже рассказал о том, как дальний потомок Кутузова пошел навстречу автору этих строк.

---

[1] «Новый мир», 1956, № 1, январь, с. 153—209.

[2] «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов». М.—Л., 1960 В дальнейшем — *Карамзины*.

[3] «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М.—Л., 1966, с. 616.

[4] Дочери Н. Н. Пушкиной-Ланской от второго брака. Ее неточные, но все же ценные воспоминания о матери я уже неоднократно цитировал. По сведениям, сообщенным мне бывшим архангельским вице-губернатором Брянчаниновым (имени и отчества не помню), хорошо знавшим А. П. Арапову, она является также автором нескольких французских романов.

Я попытаюсь в дальнейшем прокомментировать дневниковую запись Д. Ф. Фикельмон. Этот документ уже прочно вошел в научный оборот, но, насколько я знаю, до настоящего времени мало привлекал внимание исследователей.

Д. Ф. Фикельмон довольно подробно и, в общем, добросовестно излагает историю последней дуэли Пушкина. Однако о многом она умалчивает, несмотря на хорошую осведомленность. Прежде чем приводить текст ее записи, будет небесполезно восстановить в памяти читателей ряд дат и фактов, относящихся к последней драме поэта.

I

Значительная и притом наиболее существенная часть записи Д. Ф. Фикельмон посвящена Дантесу и его отношениям с Н. Н. Пушкиной.

Остановимся поэтому подробнее на личности убийцы поэта.

Барон Жорж-Шарль Дантес [1] родился в Кольмаре 5 февраля 1812 года. Таким образом, он почти ровесник Натальи Николаевны Пушкиной, которая появилась на свет на следующий день после Бородинского сражения — 27 августа 1812 года. Дантес — французский дворянин родом из Эльзаса, сильно онемеченной области Франции [2].

Как и Гончаровы, Дантесы были дворянами недавними. Предок барона Жоржа, крупный земельный собственник и промышленник, получил дворянство лишь в 1731 году. Наполеон пожаловал отцу Дантеса Жозефу-Конраду баронский титул. Через сто лет дворянства благосостояние Дантесов оказалось сильно подорванным. В 1833 году барон Жозеф-Конрад, обремененный большой семьей, располагал лишь доходом в 18—20 тысяч франков и намеревался посылать сыну в Петербург всего 200 франков в месяц. Таким образом, молодой человек принадлежал, собственно говоря, к весьма скромной дворянской семье*, пользовавшейся, правда, некоторой известностью в Эльзасе. У Дантесов были, однако, очень большие родственные связи — главным образом по материнской линии.

Убийцу Пушкина принято считать французом; таковым он всегда считал себя и сам. По крови он, однако, больше немец, чем француз. Мать Дантеса, графиня Мария-Анна-Луиза Гацфельд, была чисто немецкого происхождения. Ее родной брат состоял прусским послом во Франции в пер-

---

[1] Правильнее д'Антес, но я сохраняю принятую в России транскрипцию. Д. Ф. Фикельмон также писала «Danthès».

[2] Деревенское население Эльзаса и сейчас говорит на одном из немецких диалектов.

вые годы Второй Империи. Немкой была и бабушка Дантеса по отцу баронесса Райтнер фон Вейль[1]. Ее брат в конце XVIII века числился командором Тевтонского ордена. Германская кровь, несомненно, сказалась также в физическом облике Дантеса, высокого, атлетически сложенного блондина с голубыми глазами. Следует, наконец, отметить, что сын немки, барон Жорж-Шарль, как и большинство уроженцев Эльзаса, по-видимому, отлично владел немецким языком. Немецкая языковая стихия повлияла и на его французскую речь. Никто из русских не упоминает о его немецком акценте, но французское ухо его, видимо, улавливало. Через много лет после петербургской драмы Проспер Мериме, как мы увидим, отметил немецкий акцент барона. Есть полное основание думать, что так же он говорил и в молодые годы.

Тем не менее — повторяю еще раз,— хотя по происхождению Дантес больше немец, чем француз, но и сам он, и окружающие считали его французом.

По установившейся традиции принято считать Дантеса исключительно красивым мужчиной. Если ограничиться отзывами женщин, знавших его в молодости, то традицию придется признать отвечающей истине. Бароном восхищались женщины всех возрастов и положений. Влюбленная в мужа Екатерина Николаевна с умилением пишет ему сейчас же после высылки Дантеса из Петербурга: «Одна горничная (русская) восторгается твоим умом и всей твоей особой, говорит, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке»[2]. Светская барышня М. К. Мердер, любовавшаяся им на балах, отметила в своем дневнике: «Он удивительно красив». Даже престарелая девяностолетняя Наталья Кирилловна Загряжская, к которой Дантес явился представиться перед свадьбой, по его собственному рассказу, переданному внуком барона Луи Метманом, спросила его: «Говорят, что вы очень красивы, дайте на себя поглядеть <...>» и велела принести две свечи, чтобы получше его рассмотреть. «En effet vous êtes très beau»[3] — сказала она, закончив осмотр»[4].

---

[1] Во французских источниках немецкая дворянская частица «von» заменена принятой во Франции «de».

[2] *Щеголев*, с. 338.

[3] Действительно, вы очень красивы *(франц.)*.

[4] Я. Полонский. Дантес (Неизвестные материалы).— «Последние новости», 1930, 15 мая. Автор приводит этот рассказ, называя фрейлину Загряжскую (без указания инициалов) тетушкой Е. Н. Гончаровой. В действительности речь идет о тетке ее матери, кавалерственной даме Наталье Кирилловне Загряжской (1747—19 марта 1837 года), рассказы которой любил слушать Пушкин.

Мужчины отзываются о внешности Дантеса менее единодушно. Польский врач Станислав Моравский, бывший в приятельских отношениях с бароном, описывает его наружность весьма критически. По словам мемуариста, «это был молодой человек ни дурной, ни красивый, довольно высокого роста, неуклюжий в движениях, блондин, с небольшими белокурыми усами. В вицмундире он был еще ничего себе, но рядом с русскими офицерами, в особенности когда надевал парадный мундир и ботфорты, мало кто завидовал его наружности». Моравский замечает, правда, что «постепенно Дантес становился все более салонным и ловким»[1].

Описание Моравского вполне, как мне кажется, согласуется с рисунком В. Райта, впервые воспроизведенным в книге Щеголева[2]. На нем изображен в профиль молодой офицер очень привлекательной внешности с правильными, крупными чертами лица. Обращает на себя внимание большой тяжелый подбородок Дантеса. Барон выглядит уверенным в себе, несколько высокомерным человеком. Он красив, но, по крайней мере на мужской глаз, далеко не красавец. Обычно воспроизводимый портрет Дантеса в парадной кавалергардской форме, вероятно, порядком идеализирует его внешность.

Думается, что восторженные отзывы современниц о внешних данных Дантеса и его успех у женщин объясняются не так его красотой, как способностью нравиться. Молодой француз, несомненно, обладал в очень большой степени этим житейским ценным качеством. Нравился он не только женщинам, но и товарищам по полку, и другим офицерам гвардии (среди его приятелей был и сын историка Андрей Николаевич Карамзин), нравился многочисленным светским знакомым, и молодым и старикам.

Пушкин долгое время относился к одному из многочисленных поклонников своей жены далеко не враждебно. В ноябре 1836 года он вызвал Дантеса на дуэль, но после того, как столкновение на время было улажено, поэт в конце декабря писал отцу:[3] «Моя свояченица Екатерина выходит за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника Голландского короля. Это очень красивый и славный[4]

---

[1] П. Д. Эттингер. Станислав Моравский о Пушкине.— «Московский пушкинист», II, с. 259—261.

[2] *Щеголев*, с. 29. В настоящее время изящный рисунок Райта находится в экспозиции Всесоюзного музея А. С. Пушкина.

[3] Подлинник по-французски.

[4] В ряде авторитетных изданий слово «bon» переведено как «добрый». Мне представляется более правильным в данном контексте передать его прилагательным «славный».

В искренности этого отзыва Пушкина о Дантесе можно сомневаться — как известно, поэт заявил, что после свадьбы принимать у себя «доброго» или «славного» малого он не будет.

малый (un très beau et bon garçon), он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной».

Выяснить, что за человек был Дантес в молодые годы, нелегко. В русских источниках мы большею частью находим лишь весьма отрывочные данные о молодом, фатоватом офицере гвардии, ничем не выдававшемся, кроме своей наружности.

Надо сказать, что и сейчас, несмотря на ряд вновь опубликованных материалов, многое в отношении Дантеса остается неясным.

До сих пор неясен вопрос о его образовании. Основным источником сведений о Дантесе (за исключением русского периода его жизни и отношений с Гончаровыми) попрежнему является биографический очерк, составленный для Щеголева внуком барона Луи Метманом[1]. По его словам, получив первоначальное образование в Эльзасе, Жорж-Шарль Дантес учился затем в Бурбонском лицее в Париже. Если он окончил его (в биографическом очерке этого не сказано), то пришлось бы считать, что молодой человек получил довольно основательное классическое образование.

По уверению его отца барона Жозефа-Конрада, Дантес был принят в известную Сен-Сирскую военную школу будто бы четвертым из ста пятидесяти[2]. Даже если конкурсный экзамен тогда был менее труден, чем впоследствии, все же это крупный учебный успех. Мы, однако, не знаем, правду ли говорит отец Дантеса. Быть может, барон д'Антес оказался четвертым в алфавитном списке принятых — и только. Школы он, как известно, не кончил и пробыл в Сен-Сире всего десять месяцев. Не желая служить королю Людовику-Филиппу, юный легитимист[3] уволился оттуда по собственному желанию. Несколько недель, по-видимому, состоял в контрреволюционных военных отрядах герцогини Беррийской, собранных в Вандее, затем вернулся в имение отца близ Сульца.

Таким образом, сколько-нибудь основательной военной выучки у него быть не могло.

Отзывы об общем образовании Дантеса противоречивы. Его товарищ по полку князь А. В. Трубецкой считал, что барон «был пообразованнее нас, пажей»[4], но этот аргумент неубедителен — Пажеский корпус того времени давал своим воспитанникам очень неважное образование. Бывший французский лицеист[5] и юнкер мог, пожалуй, при случае блеснуть своими познаниями в среде русских товарищей-офицеров, учившихся еще меньше его. В противоположность Трубецкому

---

[1] *Щеголев*, с. 354—370.

[2] Там же, с. 332.

[3] Сторонник «законного» короля, свергнутого Карла X.

[4] *Щеголев*, с. 420.

[5] Лицеи во Франции приблизительно соответствовали русским дореволюционным гимназиям.

лицейский товарищ и секундант Пушкина К. К. Данзас считал Дантеса человеком весьма скудно образованным [1].

Еще показательнее опубликованный в 1930 году дополнительный рассказ Луи Метмана. В свое время он составил биографию деда в духе семейной почтительности*. Через много лет в беседе с русским журналистом Л. Метман высказался значительно откровеннее [2]. По словам внука Дантеса, его дед «леностью <...> отличался еще в детстве. Этим в семье объясняли и пробелы его посредственного образования (les vides de sa médiocre instruction). Даже французский литературный язык давался Дантесу не так легко. Ему приходилось уже много лет спустя обращаться к помощи воспитателя своего внука Луи при составлении некоторых писем и документов. Домашние не припоминают Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного произведения. Единственные книги этого рода, которые внук видел у него в комнате, были французские издания «Войны и мира» и «Севастопольских рассказов». Обе были переведены его знакомым Гованом де Траншером, который их ему и прислал».

Таким образом, по достоверным семейным воспоминаниям образование барона Дантеса было посредственным (французский термин «médiocre» к тому же выразительнее русского), а литературой он почти совершенно не интересовался**.

Моральные качества Дантеса... В Петербурге он был, приходится это признать, почти всеобщим любимцем — «славного малого» обожали женщины, любили, как уже было сказано, товарищи по полку. К нему благоволили начальники всех рангов, хотя недоучившийся французский юнкер оказался очень плохим служакой. Вероятно, здесь сказалось и то обстоятельство, что, прожив до приезда в Россию три с половиной года на положении молодого французского барича-помещика, он совершенно отвык от военной дисциплины. Во всяком случае, за три года службы в Кавалергардском полку Дантес подвергался дисциплинарным взысканиям (выговоры в приказе, дежурства вне очереди) 44 раза [3]. Объяснить все его многочисленные проступки только незнанием и неумением нельзя. Каждый из них в отдельности более или менее извинителен, но в совокупности они производят впечатление изрядной наглости.

---

[1] А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов его лицейского товарища и секунданта К. К. Данзаса. СПб., 1863, с. 5. В дальнейшем — *Аммосов*.

[2] Я. Полонский. Дантес (Неизвестные материалы).— «Последние новости», 1930, 15 мая.

[3] Там же.

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы...—

сказал впоследствии Лермонтов о кавалергарде Дантесе.

Избалованный молодой человек, видимо, чувствовал, что ему, модному иностранцу, протеже «высоких» и «высочайших» особ, в конце концов все сойдет с рук.

Та же наглость, которую Дантес обнаруживал при несении службы, чувствуется и в его отношениях с женщинами. П. В. Нащокин рассказал в 1851 году П. И. Бартеневу, что «Дантес был принят в лучшее общество, где на него смотрели как на дитя и потому многое ему позволяли, например, он прыгал на стол, на диваны, облокачивался головой на плечи дам и пр.»[1].

Эти сведения о Дантесе Нащокин, по всей вероятности, узнал в свое время от Пушкина. В тетради Бартенева С. А. Соболевский надписал сбоку строк, посвященных проказам кавалергарда: «Пушкину чрезвычайно нравился Дантес за его детские шалости».

Однако барон Жорж и в очень молодые годы был далеко не наивен. Сын Вяземского Павел Петрович, родившийся в 1820 году, был еще совсем юн, когда встречался с Пушкиным. Вероятно, впоследствии, вспоминая о Дантесе, он излагал впечатления родителей: «...человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур, вовсе не Ловелас, не Дон-Жуан, а приехавший в Россию делать карьеру»[2].

Можно думать, что там, где это было нужно, он держал себя подобающим образом. Во всяком случае, остроумного, веселого кавалергарда принимали всюду — не исключая и тех домов, где красивой внешности было недостаточно, чтобы иметь успех. У Карамзиных он стал, например, своим человеком, бывал нередко и у Вяземских.

Всмотримся, однако, ближе в нравственный облик Дантеса. Допустим, что весьма неблаговидные слухи (а также определенные утверждения близко его знавшего и очень к нему расположенного А. В. Трубецкого) о противоестественных отношениях между Дантесом и Геккерном ложны... Дело это очень неясное, как неясен и ряд других обстоятельств, касающихся убийцы Пушкина.

Пойдем дальше — не оправдаем, но поймем, почему этот иностранец не поступил на дуэли так, как, быть может, поступил бы русский противник поэта,— не выстрелил в воздух, рискуя через мгновение сам умереть. Ожидать такого самоотвержения от Дантеса было невозможно.

Но несчастье свершилось. Пушкин убит. Дантес разжа-

---

[1] *Рассказы о Пушкине,* с. 38.

[2] П. П. Вяземский. А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям.— «Русский архив», 1884, кн. II, с. 436.

лован в солдаты и, как иностранец, выслан из России. Это, конечно, самый благополучный для него исход дуэльной истории...

Долгое время в России многие думали, что убийцу Пушкина всю жизнь мучили угрызения совести. На известной картине А. Наумова Дантес уходит с места поединка, понуро опустив голову. Такой авторитетный пушкинист, как Б. Л. Модзалевский, еще в 1924 году считал, что он «всю дальнейшую жизнь ощущал на себе упрек лучшей части русского общества, выразителем настроений которого явился Лермонтов в своих пламенных строфах на смерть Пушкина. Всякая встреча с новым русским человеком в течение всей долгой жизни Дантеса была для него, без сомнения, тяжела и заставляла его насторожиться и чувствовать новое угрызение совести»[1].

В действительности Дантес, когда ему изредка случалось говорить с русскими о дуэли, старался — не всегда, впрочем, удачно — приспособиться к собеседнику. Энтузиаста-пушкиноведа А. Ф. Онегина он уверял, что «не подозревал даже, на кого он поднимал руку, что, будучи вынужден к поединку, он все же не желал убивать противника и целил ему в ноги, что невольно причиненная им смерть великому поэту тяготит его <...>»[2]. Однако, по совершенно достоверному свидетельству А. В. Никитенко, в 1876 году Дантес представился одной русской даме следующим образом: «барон Геккерен (Дантес), который убил вашего поэта Пушкина». «И если бы вы видели, с каким самодовольством он это сказал,— прибавила М. А. С.,— не могу вам передать, до чего он мне противен»[3].

Однако его подлинные чувства яснее всего видны из позднего рассказа Л. Метмана, как мы знаем, значительно более откровенного, чем составленный им биографический очерк: «Дед был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой, что, не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами».

Запомним также, что, по свидетельству Метмана, петербургская драма была для его деда *лишь одним из приключений молодости* («avantures de sa jeunesse»), которому он «отводил, однако, незначительное место» («une place assez médiocre»)[4].

---

[1] Б. Л. Модзалевский, Ю. Г. Оксман, М. А. Цявловский. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924, с. 14.

[2] Отчет о речи Онегина.— «Известия книжных магазинов» т-ва М. О. Вольф», 1912, № 5, с. 68. Цит. в кн.: В. В. Вересаев. Пушкин в жизни, изд. 6-е, т. II. М., 1937, с. 474.

[3] А. В. Никитенко. Записки и дневник, изд. 2-е, т. II. СПб., 1905, с. 560.

[4] Я. Полонский. Дантес (Неизданные материалы).— «Последние новости», 1930, 15 мая. (Курсив мой.— *Н. Р.)*

И, наконец, подлинную суть своей мелочной и черствой натуры Дантес в полной мере обнаружил, затеяв против родных убитого им поэта долго длившуюся судебную тяжбу.

Женившись на Екатерине Николаевне, он сумел добиться от опекуна, Дмитрия Николаевича Гончарова, обещания выдавать сестре ежегодно 5000 рублей ассигнациями. Сверх того, 10 000 рублей было выдано единовременно в качестве приданого. Суммы, конечно, по тогдашним масштабам русских верхов, весьма скромные, но для почти разоренных Гончаровых и они были немалым бременем. Однако Дантес этим не ограничился. Уже после дуэли, в феврале 1837 года, он получил от братьев жены так называемую «запись». Этим полуофициальным документом обеспечивался переход к Екатерине Николаевне причитающейся ей доли наследства душевнобольного отца[1].

В скором времени дела Гончаровых пришли в такое состояние, что выплата содержания Екатерине Николаевне сначала стала неаккуратной, а в 1841 году вовсе прекратилась.

Дантес, конечно, отлично знает, что денег у его шурьев Гончаровых действительно нет, но упорно стоит на своем.

«В письмах из-за границы» мы находим новые подтверждения мелочной торгашеской натуры как самого Дантеса, так и его приемного отца. Будучи, несомненно, состоятельными людьми, Дантес и Геккерн с упорством, граничащим с наглостью, требовали от почти разоренных Гончаровых выплаты обещанного Екатерине Николаевне ежегодного содержания.

Весьма подробное письмо Дантеса, написанное еще при жизни жены, содержит ряд издевательских выпадов в адрес Дмитрия Николаевича, якобы не умеющего вести дела. Дантес позволяет себе давать шурину ряд финансовых наставлений с целью во что бы то ни стало выжать причитающуюся Екатерине Николаевне сумму. Обращает внимание неприличное заявление, что положение Екатерины Николаевны совершенно плачевно. Вот что он пишет:

«...у вашей сестры даже не на что купить себе шпилек! А так как я прекрасно знаю, что вы слишком справедливы, чтобы не понимать, насколько обоснованны мои требования, я вам предлагаю соглашение, которое могло бы устроить всех. Что помешало бы вам, например, в обмен за официальную бумагу от вашей сестры, по которой она бы отказалась от отцовского наследства, признать за нею сумму <...> как спорную между вами, а затем включить ее в число ваших кредиторов. Таким образом *вы обеспечите будущее Катрин, что я в настоящее время не могу ей гарантировать»*[2].

---

[1] В. Нечаева. Дантес (По материалам гончаровского архива).— «Московский пушкинист», I, с. 68—98.

[2] Курсив мой.— *Н. Р.*

Еще более поразительны по своему откровенному цинизму и бездушию два письма Луи Геккерна из Вены Дмитрию Николаевичу, написанных во время предсмертной болезни невестки. Эти письма настолько ярко показывают подлинную натуру Луи Геккерна, что представляется необходимым процитировать их.

В письме от 14 октября 1843 года Луи Геккерн пишет:

«Я должен вам сказать всю правду, любезный Дмитрий, вот что мне пишет откровенно врач: «Причины болезни г-жи Геккерн следующие <...> тяжелый конец беременности, трудные роды, моральные причины, о которых я не должен распространяться, но которые оказывают огромное влияние на роженицу». А знаете ли вы, что это за моральные причины? Это огорчение, которое вы ей причиняете, не сдерживая ни одного обязательства, взятого вами в отношении ее. Пожалуйста, милостивый государь, напишите ей хорошее письмо и успокойте ее в отношении будущности ее семейства, постарайтесь, на конец этого года вы уже должны ей 20 тысяч рублей. Будьте добрым братом и не оставляйте мать, которая является вашей сестрой и имеет четверых детей». Это письмо написано за день до смерти невестки.

Видимо, не зная еще, что Екатерины Николаевны уже нет в живых, а может быть, и зная (от этого человека всего можно ожидать), Геккерн не унимается и 18 октября вновь напоминает Дмитрию Николаевичу о его обязательствах: «Заверяю вас, что я продолжаю выполнять свой долг в отношении вашей сестры, позвольте мне, любезный Дмитрий, побудить вас выполнить ваш».

Мы не знаем, какие денежные разговоры происходили у Дантеса и его приемного отца с Екатериной Николаевной, но, видимо, они оба требовали от нее соответствующих писем к брату. Просьбы, больше похожие на мольбы, повторяются во всех ее письмах.

В 1848 году, уже после смерти жены, Дантес начинает формальный судебный процесс о взыскании причитающихся ему с Гончаровых сумм и жениной доли наследства. Мало того — по этому совершенно частному гражданскому делу он позволяет себе просить заступничества Николая I.

В течение двух лет его письма к царю остаются без ответа, но Дантес не унимается. 14 октября 1851 года член законодательного собрания настойчиво просит императора об ответе. Ссылается при этом на «благоволение, которым его величество удостаивал отмечать автора письма во всех случаях». О том, что Николай I как-никак утвердил приговор о разжаловании его в рядовые и выслал Дантеса из России, самоуверенный и наглый барон как будто и не помнит... Просит, во всяком случае, «не отказать об отдаче приказа,

чтобы мои шурья <...> были принуждены оплатить мне сумму 25 000 <...>»[1].

Обращение Дантеса, в это время уже вполне обеспеченного человека, было тем более неприлично, что, желая во что бы то ни стало получить с Гончаровых деньги, он нарушил интересы жены и детей убитого им поэта.

Николай I совершенно незаконного «приказа уплатить» не отдал, но все же препроводил просьбу барона Геккерна шефу жандармов Бенкендорфу «для принятия возможных мер, чтобы склонить братьев Гончаровых к миролюбивому с ним соглашению». На наследственное дело было обращено внимание министра юстиции.

«Склонить» Гончаровых, очевидно, не удалось, так как в последующие годы французские послы еще дважды обращались к русскому правительству по делу Геккерна с Гончаровыми. Только в 1858 году, уже в царствование Александра II и через 21 год после дуэли, опека над детьми Пушкина решила, что «претензия Геккерна в данное время в уважение принята быть не может».

Итак, Дантес, став богатым человеком, так и не отступился от теперь уже совсем для него незначительной суммы. Эта совершенно неприличная тяжба с Гончаровыми рисует его человеком расчетливым и сухим до крайности. Таков был Дантес в зрелые годы, таков, надо думать, был и в молодости. Веселый нрав, общительность и остроумие кавалергарда обманули многих. По-видимому, на некоторое время обманули и Пушкина...

II

Следует признать, что, вопреки очень распространенному мнению, убийца поэта, несмотря на все его отрицательные свойства, ничтожной личностью не был. Об этом свидетельствует французская карьера Дантеса, выяснением которой исследователи занялись лишь сравнительно недавно.

Дантеса, современника Пушкина, мы, собственно говоря, знаем лишь односторонне и неполно, так как русские источники, естественно, так или иначе связаны главным образом с трагически закончившейся дуэлью. В свои 24—25 лет он, несомненно, был уже вполне сложившимся человеком, и изучение его дальнейшей жизни на французской родине (формально у него была и вторая — голландская) позволяет составить более ясное представление и о любимце петербургских салонов. Мы уже видели, что ознакомление с судебной тяжбой

[1] Л. Гроссман. Дантес и Николай I.—В кн.: «Вокруг Пушкина». М., 1928, с. 29.

Дантеса с Гончаровыми, тянувшейся целые десятилетия, обнаружило не замеченные петербургскими знакомыми свойства барона Жоржа — его мелочность и скаредность. Кроме того, в этом же процессе лишний раз проявилась и его незаурядная наглость.

Возможно, эти его качества сыграли свою роль в становлении дальнейшей его карьеры. Чем он занимался первые восемь лет после отъезда из России, неизвестно. С 1845 года он состоял членом Генерального совета департамента Верхнего Рейна. 28 апреля 1848 года барона избирают депутатом по округу Верхний Рейн — Кольмар. Из двенадцати депутатов округа он, надо сказать, получил наименьшее число голосов[1]. К этому времени Дантес, очевидно, основательно забыл свои не столь давние убеждения легитимиста. Иначе он не стал бы баллотироваться в законодательный орган, возникший в результате революции 1848 года.

Через год Дантес был переизбран в учредительное собрание и снова небольшим числом голосов. В конце сороковых годов он уже был у себя в Эльзасе человеком заметным.

Крупную роль далеко не случайно Дантес сыграл в 1852 году. После государственного переворота, произведенного Людовиком-Наполеоном 2 декабря 1851 года, французская республика фактически уже не существовала. В самом перевороте барону очень хотелось участвовать, но, по-видимому, в это время принц-президент не принимал Дантеса всерьез и его услугами не воспользовался.

Тем не менее в мае следующего, 1852, года Людовик-Наполеон, подготовлявший провозглашение империи, возлагает на сорокалетнего барона неофициальное, но очень ответственное дипломатическое поручение. Он должен был лично ознакомить с намерениями будущего Наполеона III русского и австрийского императоров, а также прусского короля и, как говорит Л. Метман, «привезти в Париж уверения в том, что восшествие на императорский престол принца-президента будет принято дворами Северных Держав»[2].

Людовик-Наполеон и его приближенные, очевидно, считали Дантеса достаточно умным, ловким и тактичным, чтобы вести переговоры с монархами о вопросе большой государственной важности. Из трех государей двое — русский император и прусский король — к тому же знали Дантеса лично. С нашей теперешней точки зрения было, правда, величайшей бестактностью посылать убийцу Пушкина для переговоров с русским царем, но современники смотрели и на людей и на события не нашими глазами. Возможно также, что в осведомленных

---

[1] М. Алданов. Французская карьера Дантеса.— «Последние новости», 1937, 10 февраля.

[2] *Щеголев*, с. 364.

французских кругах было известно подлинное отношение Николая I к «пресловутому Пушкину»*.

Весьма вероятно, что в тех же кругах знали и о связи барона Дантеса-Геккерна с русским посольством в Париже**.

Николай I принял бывшего кавалергарда в Потсдаме 10/22 мая 1852 года и имел с ним продолжительный разговор [1]. К сожалению, подробностей этого знаменательного свидания мы не знаем. М. Алданов, основываясь, видимо, на французских источниках, упоминает о том, что «царь был очень любезен и полушутливо называл своего бывшего офицера «господин посол».

Можно поверить, что Николай I через 15 лет после дуэли был весьма любезен с убийцей «пресловутого Пушкина»...

Историческое приличие было, однако, соблюдено. Во французской депеше канцлера послу в Париже Киселеву от 15/27 мая 1852 года указывалось, что император, соглашаясь дать Геккерну аудиенцию, приказал «предупредить, что он не может принять его в качестве представителя иностранной державы вследствие решения военного суда, по которому он был удален с императорской службы. Если же он хотел бы явиться как бывший офицер гвардии, осужденный и помилованный (condamné et gracié), то его величество был бы готов выслушать то, что он желал бы ему сказать от имени главы французской Республики» [2]. На подлиннике депеши имеется надпись царя: «быть по сему».

Как бы то ни было, Дантес успешно выполнил возложенное на него поручение, получив аудиенцию у всех трех монархов. В награду Людовик-Наполеон назначил его сенатором. Таким образом, сорока лет от роду, будучи моложе всех своих коллег, барон Жорж-Шарль Геккерн-Дантес получил почетную и прекрасно оплачиваемую должность [3]. Дальше он, однако, не пошел и никаких видных постов не занимал. Тем не менее, оставаясь, собственно говоря, в тени, Дантес был все же человеком влиятельным и близким к правящим кругам Второй Империи.

Политическим да и житейским успехам барона, несомненно, помогало умение говорить. Из былого краснобая петербургских гостиных выработался отличный политический оратор. Большой французский писатель, прекрасный стилист Проспер Мериме, услышав его выступление в сенате, писал 28 февраля 1861 года своему другу, библиотекарю Британского Музея Паницци, что убийца Пушкина «атлетически сложенный человек, с немецким акцентом, на вид хмурый, но тонкий.

---

[1] М. Алданов. Французская карьера Дантеса.— «Последние новости», 1937, 10 февраля.

[2] А. М. Зайончковский. Восточная война 1853—1856 гг., т. I. Приложения. СПб., 1908, с. 228.

[3] Сенаторы были несменяемы и получали 30 000 франков содержания.

Это очень хитрый малый. Не знаю, приготовил ли он свою речь, но произнес он ее великолепно (merveilleusement), с сдержанной силой, которая произвела впечатление <...>»[1].

Кроме большой политики Дантес деятельно занимался и местными эльзасскими делами. В конце империи состоял председателем Генерального совета Верхнего Рейна и мэром Сульца.

Не следует, однако, преувеличивать значительность политической карьеры Дантеса. Должности, которые он занимал у себя в Эльзасе, почетны, но имеют чисто местное значение. Достаточно сказать, что в городке Сульце и в тридцатых годах нашего века было немногим больше 4000 жителей. Гораздо значительнее было кресло сенатора, но в истории Второй Империи барон Геккерн, в конце концов, оставил мало следов.

Кроме того, став несменяемым сенатором, он вообще сильно охладел к политике. Вместо государственных дел Геккерн-Дантес, используя свое привилегированное положение, предпочитал заниматься своими собственными делами. Стал крупным и на этом поприще действительно удачливым дельцом. По словам Л. Метмана, «благодаря его близости к братьям Перейр, он был в числе первых учредителей некоторых кредитных банков, железнодорожных компаний, обществ морских транспортов, промышленных и страховых обществ, которые возникли во Франции между 1850 и 1870 годами».

Л. Метман объясняет финансовые успехи деда «практическим чувством действительности». Если не ошибаюсь, В. Нечаева первая придала этому выражению более общий смысл. Дантес на протяжении всей своей жизни обладал необыкновенно развитой способностью приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать из них возможную пользу. Шел в этом отношении так далеко, что современники порой весьма удивлялись. В зависимости от обстановки барон с большой ловкостью примыкал во Франции к очень разным течениям и очень разным людям. Цель у него всегда оставалась одна и та же — преуспеть, ничем не гнушаясь.

Неизвестно, какое он оставил состояние,— вероятно, очень значительное[2]. Об этом свидетельствует, между прочим, трехэтажный особняк, построенный им для себя и своей семьи на улице Монтель рядом с нынешним театром Елисейских Полей.

Итак, исполнитель дипломатических поручений, беспринципный и ловкий политик, отличный оратор, местный — хочется сказать по-русски «земский» — деятель, крупный и

---

[1] P. Mérimée, Lettres à M. Panizzi (Письма к г. Паницци). 1850—1870, v. 1, 1881, p. 178—186.

[2] Сведения о том, что в конце жизни Геккерн-Дантес почти разорился, по-видимому, не соответствуют действительности.

удачливый предприниматель... убийца Пушкина, очевидно, и в молодости не был лишь рядовым офицером гвардейской конницы.

Он прожил очень долго. Скончался 2 ноября 1895 года в возрасте 83-х лет.

Приемный отец Дантеса барон Геккерн де Беверваард умер 27 сентября 1884 года, не дожив двух месяцев до 94-х лет. Своего отношения к приемному сыну он не изменил до самой смерти. Могилы обоих стариков находятся на кладбище города Сульца.

Вернемся теперь снова к Дантесу, который 8 октября 1833 года прибыл в Кронштадт на пароходе «Николай I» вместе с королевским нидерландским посланником бароном Геккерном.

Основные факты его русской карьеры общеизвестны. Я изложу их лишь очень кратко, но на некоторых из них все же придется остановиться подробнее.

Во Франции «короля-мещанина» Людовика-Филиппа Дантесу, не имевшему никакой гражданской специальности и скомпрометировавшему себя участием в контрреволюционном движении, устроиться где-либо трудно*. Молодой человек пытался поступить на военную службу в Пруссии, но, несмотря на большие родственные связи и мощное покровительство лично его знавшего принца Вильгельма Прусского (1797—1888)[1], там ему пришлось бы сначала поступить в полк унтер-офицером. Дантесу этого было мало, и, по совету принца, он в 1833 году отправился искать счастья в далекую Россию на правах французского легитимиста, пострадавшего за верность низвергнутому королю Карлу X. Располагая рекомендательным письмом сына прусского короля, женатого к тому же на племяннице Николая I, трудно было потерпеть в Петербурге неудачу. Принц рекомендовал Дантеса вниманию одного из наиболее приближенных к царю лиц, генерал-адъютанту В. Ф. Адлербергу, состоявшему в то время директором канцелярии военного министерства.

Мне кажется оправданным предположение о том, что кроме этого письма к Адлербергу принц Вильгельм мог написать о Дантесе и непосредственно своему родственнику Николаю I.

П. Е. Щеголев справедливо замечает, что русская карьера Дантеса объясняется, таким образом, гораздо проще, чем думали современники, много по этому поводу фантазировавшие. А может, и дальнейшая его карьера также объясняется просто.

Помимо принца Вильгельма молодой барон, по-видимому, совершенно случайно приобрел еще одного покровителя, который потом сыграл в его жизни огромную роль. Общеизвестно,

---

[1] С 1861 года — король прусский, с 1870-го — император германский Вильгельм I.

что по пути в Россию он встретился с голландским посланником бароном Геккерном*, возвращавшимся из отпуска, очень ему понравился и прибыл в Петербург уже в качестве протеже влиятельного дипломата.

Не буду останавливаться на истории поступления Дантеса на русскую службу. Я уже упомянул о том, что потерпеть неудачу он, собственно говоря, не мог. Зато удача оказалась из ряда вон выходящей. После облегченного офицерского экзамена[1] Дантес высочайшим приказом от 8 февраля 1834 года был произведен в корнеты с зачислением в Кавалергардский полк. По рассказу А. В. Трубецкого, Николай I лично представил кавалергардам их нового товарища.

Итак, неродовитый, никому не ведомый французский барон, к тому же не прослуживший в России ни одного дня, сразу стал офицером самого блестящего полка империи, доступ в который был исключительно труден. Через полстолетия, при Александре III, брат сербского короля принц Арсений был принят в кавалергарды лишь солдатом — вольноопределяющимся.

Объяснение необыкновенной удачи Дантеса мы находим у Аммосова. По его словам, «императрице было угодно, чтобы Дантес служил в ее полку <...>». Тот же автор утверждает, что, «во внимание к его бедности, государь назначил ему от себя ежегодное негласное пособие»[2]. Надо думать, что и то и другое сообщение соответствуют истине,— в противном случае цензура в 1863 году не разрешила бы опубликовать эти сведения.

Служить в Кавалергардском полку, не имея крупных личных средств, было нельзя, а отец Дантеса мог ему высылать лишь совершенно ничтожную по русским масштабам сумму.

По всей вероятности, на первых порах в аристократическом полку на Дантеса несколько косились, несмотря на «высочайшее» покровительство. Еще до зачисления его в кавалергарды Пушкин записал в дневнике (26 января 1834 года): «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана[3], будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Однако кавалергарды быстро успокоились. Как мы видели, в полку Дантеса, несомненно, полюбили, хотя офицер он был весьма нерадивый.

Мы уже знаем, что в житейской карьере Дантеса загадок оказалось меньше, чем думали его современники. Есть в ней, однако, одно обстоятельство, которое и сейчас остается странным и не до конца объясненным. Я имею в виду всем извест-

---

[1] Дантес был освобожден от экзаменов по русской словесности, уставам и военному судопроизводству.

[2] *Аммосов*, с. 7.

[3] Так называли участников контрреволюционных восстаний 1793—1799 годов, а также контрреволюционеров 1832 года.

ный факт усыновления Дантеса нидерландским посланником бароном Геккерном. В свое время министр иностранных дел Голландии Верстолк в своем отзыве (lettre d'avis) доносил королю, что весь этот случай, по существу, «странен» и «необычен во многих своих частностях»[1].

Можно считать, что таким же он остается и до настоящего времени.

Мать барона Жоржа скончалась в 1832 году, но отец был жив и, по всему судя, поддерживал с сыном вполне нормальные отношения. Между тем в начале 1836 года посланник, очень полюбивший Дантеса и поселивший офицера в своей квартире, предложил барону Жозефу-Конраду дать согласие на усыновление им, Геккерном, его сына. Отец Жоржа-Шарля с благодарностью принял это совершенно необычное предложение. Он писал: «Много доказательств дружбы, которую Вы не переставали высказывать мне столько лет, было дано мне Вами, г. барон, и это последнее как бы завершает их; ибо этот великодушный план, открывающий перед моим сыном судьбу, которой я не в силах был создать ему, делает меня счастливым в лице того, кто для меня на свете всех дороже»[2].

По словам П. Е. Щеголева, «5 мая (н. ст.) 1836 года формальности усыновления были завершены королевским актом,— и барон Жорж Дантес превратился в барона Геккерена. 4 июня генерал-адъютант Адлерберг довел до сведения вице-канцлера о соизволении, данном Николаем Павловичем на просьбу посланника барона Геккерена об усыновлении им поручика барона Дантеса, «с тем, чтобы он именуем был впредь вместо нынешней фамилии бароном Георгом-Карлом Геккереном». Соответствующие указания на этот счет были даны правительствующему сенату и командиру Отдельного гвардейского корпуса. Высочайший указ о разрешении поручику барону Дантесу именоваться бароном Геккерном последовал 15 июня 1836 года.

Казалось бы, все ясно... Неясно только, был ли внесен приемный сын посланника в число лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью, трудно совместимой с его служебным положением русского офицера. По-видимому, этого сделано не было, так как в противном случае ни арестовать, ни судить Дантеса было бы нельзя.

До сравнительно недавнего времени все считали, что усыновление, официально признанное в России, действительно состоялось. Однако подлинные документы, опубликованные в

[1] J. Baak et P. Gruys. Les deux barons de Heeckeren (Ж. Баак и П. Грюис. Два барона Геккерна).— «Revue des études slaves», 1937, XVII, p. 41.

[2] *Щеголев*, с. 31.

памятном 1937 году голландскими исследователями Бааком и Грюисом, показали, что Геккерн и Дантес добросовестно заблуждались. Отношений приемного отца и сына между ними никогда не существовало, так как, по формальным причинам, усыновление было невозможно. Королевский декрет 1836 года предоставил Дантесу лишь голландское подданство, включил его в голландское дворянство и разрешил именоваться бароном ван Геккерном. Впоследствии, однако, оказалось, что подданства Дантес, опять-таки по формальным основаниям, так и не получил, хотя голландского дворянства при этом не утратил. Министр иностранных дел Голландии долго пытался распутать этот совершенно необычный случай.

Юридическая его природа для нас теперь неинтересна. Чтобы не нарушать давнишней традиции, советские и зарубежные пушкинисты по-прежнему пользуются привычным термином «усыновление».

Усыновление молодого кавалергарда иностранным посланником, в то время как было известно, что отец Дантеса здравствует, вызвало большое удивление в светском обществе Петербурга и усилило слухи об их близком родстве. Впоследствии в течение всего XIX века это мнение не раз высказывалось в русской литературе.

Некоторые из современников Дантеса считали его просто побочным сыном Геккерна. В известном письме Пушкина к посланнику, которое послужило непосредственной причиной дуэли, поэт среди ряда других эпитетов, которыми он награждает как «отца», так и «сына», называет Дантеса batard, то есть побочным сыном. По-французски, надо сказать, слово batard звучит в значительной мере оскорбительно.

Щеголев, изучив родословную барона Жоржа, показал, что никакого доказуемого родства, даже очень отдаленного, между ними не существовало. Нет и никаких фактических данных, чтобы считать Дантеса побочным сыном Геккерна.

Наталья Николаевна Пушкина и Дантес познакомились не позже осени 1834 года. Это роковое знакомство быстро перешло во взаимное увлечение. Начались настойчивые ухаживания Дантеса, которые привлекли пристальное внимание высшего общества столицы, а слух о них распространился далеко за ее пределы. Поклонников у Натальи Николаевны и прежде было множество. К числу их, несомненно, принадлежал и сам император Николай Павлович, 30 декабря 1833 года давший Пушкину не соответствовавшее его годам и общественному положению звание камер-юнкера. Эта «милость», как считал и сам поэт, была вызвана желанием царя открыть его жене доступ на придворные балы.

Судя по всему, что мы знаем, Наталье Николаевне доставляло удовольствие кокетничать с самодержцем, весьма известным ловеласом. Пушкину это крайне не нравилось.

Рассказов о любовных приключениях Николая Павловича сохранилось очень много. Есть неодобрительные упоминания о «высочайших» романах и в дневнике Фикельмон.

Никто, однако, ни в России, ни, что еще существеннее, за границей, где многие ненавидели царя-реакционера, не назвал его нарушителем семейного счастья поэта. Надо, кроме того, сказать, что в 1836 году, когда увлечение ее и Дантеса стало особенно заметным, Наталья Николаевна почти не встречалась с царем. Светское злословие было всецело занято ее отношениями с Дантесом, а вовсе не прежним кокетничанием с Николаем I.

Наступило роковое 4 ноября 1836 года. Утром сам Пушкин и ряд его друзей получили по городской почте анонимный диплом-пасквиль следующего содержания: «Кавалеры Большого, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев[1], собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором[2] великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена.

Непременный секретарь граф *И. Борх*».

В 1927 году Б. В. Казанским и, независимо от него, П. Е. Рейнботом было высказано предположение о том, что авторы пасквиля (их было не менее двух) намекали на связь Натальи Николаевны не с Дантесом, а с царем. Доказательство исследователи видели в том, что в дипломе Пушкин именуется заместителем Нарышкина, мужа долголетней любовницы Александра I. Предположение о намеке по «царственной линии», впервые опубликованное Щеголевым в журнале «Огонек»[3] и затем подробно обоснованное в третьем издании его книги, и сейчас разделяют многие видные пушкинисты.

Доказанным его все же считать нельзя. Авторы пасквиля просто могли воспользоваться фамилией всем известного рогоносца Нарышкина, присвоив ему звание «великого магистра» ордена, в который зачислялся Пушкин в качестве обманутого мужа.

Так, видимо, понял диплом и Пушкин. Во всяком случае, четвертого ноября он послал Дантесу немотивированный вызов

---

[1] Обманутых мужей.
[2] Заместителем.
[3] Очерк «Смерть Пушкина» («Огонек», 1927, № 7 (203), 13 февраля).

на дуэль[1]. Поэт, очевидно, считал, что кавалергард и так поймет, почему его зовут к барьеру.

Вызов, посланный по почте (текст его неизвестен), попал в тот же день в руки посланника Геккерна, и тот, ничего не говоря сыну, бросился к Пушкину. Он заявил поэту, что принимает вызов за барона Жоржа, но просит отсрочки на 24 часа. Геккерн, видимо, надеялся, что Пушкин, обсудив дело спокойнее, не будет настаивать на поединке. Шестого ноября посланник снова был у Пушкина. Как писал впоследствии П. А. Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, поэт, тронутый волнением и слезами Геккерна, сам предложил отсрочить дуэль на две недели.

Волнение Геккерна понять легко. Весьма возможно, что он знал об умении поэта мастерски владеть оружием. Пушкин был превосходным фехтовальщиком и из пистолета стрелял отлично[2]. Его противнику грозила смертельная опасность.

Труднее понять согласие Пушкина на отсрочку. Похоже на то, что, несколько успокоившись, он подумал о том, что неизвестно кем нанесенное оскорбление в конце концов не основание для дуэли, которая при любом исходе тяжело скомпрометирует Наталью Николаевну.

Во всяком случае, отсрочка была дана. Начались длительные и очень сложные переговоры, в которых участвовали посланник Геккерн, В. А. Жуковский и тетка Натальи Николаевны фрейлина Е. И. Загряжская. Все они старались предотвратить дуэль. Вскоре выяснилось совершенно новое обстоятельство: Дантес собирается жениться на сестре Натальи Николаевны — Екатерине Николаевне.

К этой загадочной главе дуэльной истории мы еще вернемся. Пока скажем, что посредникам удалось в конце концов добиться от Пушкина письма от 17 ноября 1836 года на имя своего секунданта графа В. А. Соллогуба, в котором поэт заявил: «Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккерна на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов как не имевший места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадмуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.

---

[1] Дата посылки вызова установлена М. Яшиным («Хроника преддуэльных дней».— «Звезда», 1963, № 8, с. 161). П. Е. Щеголев и другие исследователи считали, что Пушкин послал вызов 5 ноября.

[2] Коллега Геккерна, датский посланник О. Бломе, в донесении своему правительству о дуэли упомянул о том, что оба противника — искусные стрелки.

Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным»[1].

Виконт д'Аршиак, секундант Дантеса, искренне стремившийся предотвратить поединок, не показывая письма барону Жоржу, сказал: «Этого достаточно».

Крайне удивившая светское общество свадьба была объявлена на балу у С. В. Салтыкова 17 ноября. Она состоялась 10 января 1837 года.

Я остановился подробнее на некоторых существенных сторонах истории дуэли, которые в дневнике Фикельмон или обойдены молчанием, или изложены неверно.

Поведение Дантеса после свадьбы, его возобновившиеся, ставшие наглыми ухаживания за женой Пушкина описаны графиней достоверно и точно. Указывает она и на непосредственный повод к поединку.

Выведенный из себя, Пушкин отправил посланнику 25 января предельно грубое и оскорбительное письмо, которое сделало поединок неизбежным. 26 января атташе французского посольства виконт Огюст д'Аршиак передал поэту вызов Дантеса. Дуэль состоялась на другой день.

29 января в 2 часа 45 минут пополудни смертельно раненный поэт после тяжких двухдневных страданий отошел в вечность.

III

Перейдем теперь к тексту записи Д. Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина, который в ее дневнике занимает 11 страниц (350—360) второй тетради.

Установить его удалось не сразу. Как сообщил мне в свое время князь А. Кляри-и-Альдринген, по обстоятельствам военного времени сам он не имел возможности заняться снятием копии и был принужден поручить ее изготовление лицу, недостаточно знавшему французский язык. Полученная мною машинопись изобиловала ошибками, которых Дарья Федоровна, несомненно, сделать не могла.

Оставив в неприкосновенности этот исходный документ, лишь отчасти исправленный кн. Кляри, я совместно с моей помощницей ученым-француженкой попытался восстановить текст записи Фикельмон, который был затем перепечатан на машинке в нескольких экземплярах.

Один из них поступил впоследствии в Пушкинский дом и был опубликован Е. М. Хмелевской вместе с переводом, сделанным Е. П. Мясоедовой[2]. По сложившимся обстоятельст-

---

[1] Подлинник — по-французски.

[2] Е. М. Хмелевская. Из дневника графини Д. Ф. Фикельмон (Новый документ о дуэли и смерти Пушкина).— «Пушкин. Исследования и материалы», т. I. М.—Л., 1956, с. 343—350.

вам я не мог принять участия в этой публикации и ознакомился с ней лишь позднее.

Вскоре А. В. Флоровский опубликовал в пражском издании «Slavia» французский текст записи по подлиннику дневника. К сожалению, из печати он вышел в совершенно искаженном виде[1]. Авторской корректуры, по-видимому, сделано не было.

Н. В. Измайлов указал на ряд расхождений между текстами, опубликованными в Пушкинском сборнике и в «Slavia». Он дал также перевод той части записи, которая вовсе отсутствовала в копии Кляри[2].

Не решаясь вносить изменения в перевод Е. П. Мясоедовой на основании крайне неисправного текста «Slavia», я в своей книге снова воспроизвел в 1965 году текст Пушкинского сборника, но присоединил к нему отрывок, переведенный Н. В. Измайловым[3].

Благодаря тому, что из Праги мне была прислана позднее фотокопия записи, явилась наконец возможность установить надежный текст документа. Я счел излишним переводить его заново, так как перевод Е. П. Мясоедовой уже вошел в научный оборот. Ознакомившись с фотокопией, я внес в него лишь те изменения и дополнения, которые, на мой взгляд, являлись совершенно необходимыми. После этой правки русский перевод записи принял следующий вид:

«29 января 1837 г.

Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина, этот прекрасный талант, полный творческого духа и силы! И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный, сияющий светоч, которому как будто предназначено было все сильнее и сильнее освещать все, что его окружало, и который, казалось, имел перед собой еще долгие годы!

Александр Пушкин[4], вопреки советам всех своих друзей, пять лет тому назад вступил в брак, женившись на Наталье Гончаровой, совсем юной, без состояния и необыкновенно красивой. С очень поэтической внешностью, но с заурядным умом и характером, она с самого начала заняла в свете место, подобавшее такой неоспоримой красавице. Многие несли к ее ногам дань своего восхищения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от души и без всякого кокетства, пока один француз по фамилии

---

[1] *Флоровский. Пушкин на страницах дневника*, с. 574—577.

[2] *Врем. ПК*. 1962. М.—Л., 1963, с. 36—37.

[3] Н. Раевский. Если заговорят портреты. Алма-Ата, 1965, с. 145—152.

[4] В подлиннике этой записки, как почти всюду в дневнике, все фамилии подчеркнуты. Я обозначил курсивом только другие, подчеркнутые Д. Ф. Фикельмон места текста, на которые она, очевидно, хотела обратить внимание.

Дантес, кавалергардский офицер, усыновленный голландским посланником Геккерном, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь. Одна из сестер госпожи Пушкиной, к несчастью, влюбилась в него и, быть может, увлеченная своей любовью, забыла обо всем том, что могло из-за этого произойти для ее сестры; эта молодая особа учащала возможности встреч с Дантесом; наконец, все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза! То ли тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце,— как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать проявления этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине. Казалось при этом, что она бледнеет и трепещет под его взглядами, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека, и он был решителен в намерении довести ее до крайности. Пушкин тогда совершил большую ошибку, разрешая своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него. Его доверие к ней было безгранично, тем более что она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса — большая, ужасная неосторожность! Семейное счастье уже начало нарушаться, когда чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи, и имена его жены и Дантеса были соединены с самой едкой, самой жестокой иронией. Пушкин, глубоко оскорбленный, понял, что, как бы он лично ни был уверен и убежден в невинности своей жены, она была виновна в глазах общества, в особенности того общества, которому его имя дорого и ценно. Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья. Он написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения. Единственный ответ, который он получил, заключался в том, что он ошибается, так же, как и другие, и что все стремления Дантеса направлены только к девице Гончаровой, свояченице Пушкина. Геккерн сам приехал просить ее руки для своего приемного сына. Так как молодая особа сразу приняла это предложение, Пуш-

кину нечего было больше сказать, но он решительно заявил, что никогда не примет у себя в доме мужа своей свояченицы. Общество с удивлением и недоверием узнало об этом неожиданном браке. Сразу стали заключаться пари в том, что вряд ли он состоится и что это не что иное, как увертка. Однако Пушкин казался очень довольным и удовлетворенным. Он всюду вывозил свою жену: на балы, в театр, ко двору, и теперь бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении. Не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаза, наблюдаемая всем обществом, она постоянно трепетала; не желая верить, что Дантес предпочел ей сестру, она по наивности или, скорее, по своей удивительной простоте *спорила с мужем* о возможности такой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного *тщеславия.* Пушкин не хотел присутствовать на свадьбе своей свояченицы, ни видеть их после нее, но общие друзья, *весьма неосторожные,* надеясь привести их к примирению или хотя бы к сближению, почти ежедневно сводили их вместе. Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования. Наконец на одном балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина было с тех пор принято окончательно. Чаша переполнилась, больше не было никакого средства остановить несчастие. На следующий же день он написал Геккерну-отцу, обвиняя его в сообщничестве, и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях. Ответил ему Дантес, приняв на себя вызов за своего приемного отца. Этого-то и хотел Пушкин. В несколько часов все было устроено: г. д'Аршиак из французского посольства стал секундантом Дантеса, а бывший школьный товарищ Пушкина по фамилии Данзас — его секундантом. Все четверо поехали на острова, и там, среди глубокого снега, в пять часов пополудни состоялась эта ужасная дуэль. Дантес выстрелил первый, Пушкин, смертельно раненный, упал, но все же имел силы целиться в течение нескольких секунд и выстрелить в него. Он ранил Дантеса в руку, видел, как тот пошатнулся, и спросил: «Он убит?» — «Нет»,— ответили ему. «Ну, тогда придется начать все снова». Его перевезли домой, куда он прибыл, чувствуя себя еще довольно крепким. Он попросил жену, которая подошла к двери, оставить его ненадолго одного. Послали за докторами. Когда они прозондировали рану, он захотел узнать, смертельна ли она. Ему сказали, что на сохранение его жизни очень мало надежды. Тогда он послал за своими близкими друзьями: Жуковским, Вяземским, Тургеневым и некоторыми другими. Он написал императору, поручая ему свою жену и детей. После этого он разрешил войти своей глубоко несчастной жене, которая не хотела ни поверить своему горю, ни понять его. Он повторял ей тысячу раз, и все с возрастающей неж-

ностью, что считает ее чистой и невинной, что должен был отомстить за свою поруганную честь, но что он сам никогда не сомневался ни в ее любви, ни в ее добродетели. Когда пришел священник, он исповедался и исполнил все, что полагалось».

Далее в записи следует панегирик Николаю I, который мы опускаем. Затем Фикельмон продолжает:

«Агония продолжалась 36 часов. В течение этих ужасных часов он ни на минуту не терял сознания. Его ум оставался светлым, ясным, спокойным. Он говорил о дуэли только для того, чтобы получить от своего секунданта обещание не мстить за него и чтобы передать своим отсутствующим шурьям запрещение драться с Дантесом. К тому же все, что он сказал своей жене, было ласково, нежно, утешительно. Он ни от кого ничего не принимал, кроме как из ее рук. Обернувшись к своим книгам, он им сказал: «Прощайте, друзья!» Наконец он как бы заснул, произнеся слово «Кончина!» [1] — «Все кончено». Жуковский, который любил его, как отец, и все эти часы сидел около него, рассказывает, что в это последнее мгновение лицо Пушкина как бы озарилось новым светом, а в серьезном выражении его лица было словно удивление, точно он увидел нечто великое, неожиданное и прекрасное. Эта очень поэтическая мысль достойна чистой, невинной, глубоко верующей, ясной души Жуковского!

Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние.

Дантес, после того как его долго судили, был разжалован в солдаты и выслан за границу; его приемный отец, которого общественное мнение осыпало упреками и проклятиями, просил отозвать его и покинул Россию — вероятно, навсегда. Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили,— все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру! Мы видели, как эта роковая история начиналась среди нас, подобно стольким другим кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, делалась такой горестной,— она должна была бы стать большим и сильным уроком несчастий, к которым могут привести непоследовательность, легкомыслие, светские толки и неосто-

[1] Слово «Кончина» написано Д. Ф. Фикельмон по-русски; затем по-французски «C'est fini».

рожные поступки друзей, но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму!

Печальна эта зима 1837 года, похитившая у нас Пушкина, друга сердца маменьки, и затем у меня Ричарда Артура (?)[1], друга, брата моей молодости, моей счастливой и прекрасной неаполитанской молодости! Он скончался в Париже от последствий гриппа, оставив молодую прелестную жену, двухлетнего сына и бедную безутешную мать! Он был провидением своей многочисленной семьи и всех своих друзей — благородное и большое сердце, рыцарский и чистый характер, способный на редкую и драгоценную дружбу, характер, какой можно встретить только по особой милости бога! Его место в моем сердце останется пустым — так же, как и место Адели![2] Это два листа книги моей жизни, которые закрылись навсегда!»

Запись Фикельмон состоит из трех частей, которые графиня отделила чертами. Написаны они разновременно и разными перьями. Первая, самая обширная, занимает в подлиннике девять страниц, вторая и третья являются небольшими приписками.

Основная часть записи датирована днем смерти поэта. Н. В. Измайлов, вероятно, прав, допуская, что 29 января графиня, возможно, начала черновик своего рассказа о дуэли и смерти поэта. Однако текст обработан очень тщательно, и, на мой взгляд, трудно допустить, чтобы Дарья Федоровна, несомненно, взволнованная смертью Пушкина, могла 29 января писать о его трагедии такими гладкими литературными фразами. О том же говорит ее почерк, как всегда ровный и четкий. Слова выписаны тщательно, и повествование о дуэли и смерти поэта разбирать легче, чем некоторые другие страницы дневника, несомненно, написанные прямо набело. Помарок почти нет. Только описывая поединок и, в особенности, поведение смертельно раненного Пушкина, когда его привезли домой, Долли Фикельмон, по-видимому, сильно волновалась. Слова «Тогда он послал за ближайшими друзьями: Жуковским, Вяземским, Тургеневым и некоторыми другими»[3] и т. д. написаны с необычными для нее нажимами, некоторые буквы расплываются. Вряд ли тут виновато перо...

---

[1] Ричард Артур (?) — лицо неустановленное. Фамилия написана неразборчиво.

[2] Кузина Д. Ф. Фикельмон графиня Аделаида Павловна Штакельберг, урожденная Тизенгаузен.

[3] См. выше, с. 304.

Короткая вторая часть (одна страница), несомненно, написана значительно позже, так как в ней упоминается об отъезде из Петербурга посланника Геккерна, покинувшего столицу 18 апреля.

Третья часть — это еще более короткая приписка (всего две трети страницы), снова сделанная другим пером. А. В. Флоровский в своей публикации ее опустил, приведя лишь начальную фразу.

Общий тон записи, за исключением начала и, в особенности, второй части, чрезвычайно сдержанный. О своих личных переживаниях в связи со смертью поэта Дарья Федоровна не говорит ничего, хотя, конечно, она о многом передумала и многое перечувствовала в те траурные дни. Семь с лишним лет знакомства, долгая дружба, пусть короткое, но все же увлечение гениальным человеком...

Ее мать могла войти в кабинет Пушкина и при всех опуститься на колени перед умирающим гением. Жена австрийского посла не могла себе этого позволить... На отпевании она была вместе с мужем, который явился в Конюшенную церковь в полной парадной форме фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии, но об этом мы знаем из других источников. Сама графиня Долли о прощании с прахом великого друга не сказала ничего.

Донесение ее мужа канцлеру Меттерниху о дуэли и смерти Пушкина[1] проникнуто сочувствием к погибшему поэту, но очень кратко и также весьма сдержанно, хотя граф Фикельмон знал покойного ближе, чем кто-либо из дипломатов, аккредитованных в Петербурге. Возможно, что он считался с реакционными настроениями своего начальника*. 2—14 февраля посол писал ему: «Вчера здесь хоронили г. Александра Пушкина, выдающегося писателя и первого поэта России. Император приказал ему поселиться в Петербурге, поручив ему написать историю Петра Великого; для этой цели в его распоряжение были предоставлены архивы империи.

Г. Пушкин был убит на дуэли офицером Кавалергардского полка бароном Дантесом, покинувшим Францию вследствие революции 1830 года. Это обстоятельство вместе с солидными рекомендациями обеспечили ему благосклонный прием; император отнесся к нему милостиво. Геккерн привязался к молодому человеку; есть какая-то тайна в поводах, побудивших его усыновить молодого человека, передать ему свое имя и состояние.

У г. Пушкина была молодая, необыкновенно красивая жена, которая подарила ему уже четверых детей. Раздражение против Дантеса за то, что преследовал молодую женщину своими ухаживаниями, привело к вызову на дуэль, жертвою

---

[1] *Щеголев*, с. 374—376.

которой пал г. Пушкин. Он прожил 36 часов после того, как был смертельно ранен»[1].

Остальная часть донесения посвящена «благодеяниям» Николая I и интереса не представляет.

Начало записи графини Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина, взволнованное и искреннее, отличается по своему тону от остального текста. Можно думать, что именно эти строки, по крайней мере начерно, графиня написала тотчас же по получении известия о смерти поэта. Прекрасно сравнение Пушкина с сияющим светочем, который озарял все окружающее. Но уже самые первые слова дают тон всему дальнейшему содержанию. «Сегодня Россия потеряла Пушкина...» Россия, а не Дарья Федоровна Фикельмон... Только по контексту можно понять, что угасший светоч озарял и ее.

Днем позже вдова Карамзина, Екатерина Андреевна, написала сыну замечательное по глубине и искренности письмо (против обыкновения по-русски): «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию: закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина!»[2]

И у нее ощущение погасшего источника света, и она говорит о великой потере для родины, но не скрывает и своих слез, своего личного горя.

Мы не знаем, плакала ли тайком от всех Долли Фикельмон. На людях, наверное, нет, а в дневнике, как я уже упомянул, нет ни слова о том, как она лично переживала кончину поэта. В целом полтораста примерно строк основной части ее повествования — это своего рода памятная записка о дуэли и смерти Пушкина, предназначенная для потомства, может быть, и для истории, но не интимная запись для себя.

Эта записка распадается на две далеко не равноценные части. Весь преддуэльный период графиня излагает в основном как непосредственная свидетельница. И Пушкина, и Наталью Николаевну, и Дантеса она знала близко, постоянно с ними встречалась и своими глазами наблюдала все развитие драмы. Каждое ее замечание, каждое слово ценно, а порой и драгоценно.

О самой дуэли и о кончине поэта Фикельмон пишет с чужих слов, главным образом, по-видимому, со слов Жуковского. Новых данных в этой части записи почти нет, но мы лишний раз узнаем от достоверной свидетельницы о том, что именно говорил Василий Андреевич о последних днях и часах своего друга вскоре после того, как Пушкина не стало.

---

[1] *Щеголев*, с. 374—376.
[2] *Карамзины*, с. 166.

Тщательно обработанная запись графини Долли содержит в сжатой форме многочисленные высказывания о людях и событиях.

Несмотря на сдержанный тон повествования, искреннее сочувствие к погибшему поэту ощущается от начала до конца записи. Но даже в скорби интеллект Дарьи Федоровны, как всегда, ясен и точен. Фикельмон, повторяю, всей душой на стороне Пушкина, но это не мешает ей видеть его житейские ошибки.

Самая большая из них — это женитьба. Не женитьба на Наталье Николаевне Гончаровой, а женитьба вообще. Графиня упоминает о том, что Пушкин женился вопреки мнению всех своих друзей. Если не все, то многие из них действительно считали его человеком, не созданным для семейной жизни. Как мы знаем, П. А. Вяземский, например, долго не хотел верить, что Пушкин собирается жениться. Мать графини Фикельмон, Елизавета Михайловна Хитрово, находила, в свою очередь, что женитьба поэта мешает его творчеству. «Я опасаюсь для вас прозаической стороны супружества...» — писала она.

Д. Ф. Фикельмон, можно думать, разделяла мнение матери, Вяземского и других верных друзей Пушкина о том, что жениться ему не следовало. Она вспомнила о былых разговорах и опасениях в те дни, когда семейная драма поэта закончилась его смертью.

Графиня, как и раньше, говорит об исключительной красоте Натальи Пушкиной. Считает естественным, что жена поэта заняла блестящее положение в обществе.

Зато к духовным качествам Натальи Николаевны она относится очень критически. Я привел уже ее мнение о том, что у Пушкиной не много ума. Оно было высказано еще в сентябре 1832 года. В дуэльной записи отзыв графини об уме и характере жены поэта тоже довольно пренебрежителен: она считает слабым и тот и другой.

Ряд других современников в связи с ролью Натальи Николаевны в дуэльной истории отозвался об ее умственных способностях гораздо резче.

Хотя отзыв Фикельмон не так суров, но и он несправедлив. Мы видели, что жена поэта была неглупой женщиной. Что же касается характера Натальи Николаевны, то, быть может, Долли Фикельмон и здесь не совсем права. Судя по всем данным, Наталья Николаевна была очень мягка в обращении с людьми, но эта мягкость сочеталась у нее с весьма настойчивым и энергичным характером.

Об Александре Николаевне Гончаровой Фикельмон вовсе не упоминает. К старшей Гончаровой, Екатерине Николаевне, у автора записи отношение насмешливое и слегка презрительное. Мастерски владея французской фразой, Дарья Фе-

доровна находит для немолодой уже барышни[1] слова и обороты, в которых немало тонкого яда (в переводе он чувствуется не так ясно). В безответной, слепой влюбленности Екатерины Николаевны никакой романтической красоты она не находит. Французскому слову «s'engouer», которым Фикельмон определяет чувство старшей Гончаровой к Дантесу, довольно точно соответствует грубоватое русское «втюриться». В другом месте, рассказывая о предложении Дантеса, Дарья Федоровна говорит, что «молодая особа» сразу его приняла. По-французски, особенно на языке того времени, в выражении «молодая особа» тоже есть насмешливая ирония, когда речь идет о девице без малого тридцатилетней. (Интересно отметить, что в метрической книге Исаакиевского собора в записи о бракосочетании Гончаровой и Дантеса лета невесты уменьшены на два года.)

В общем, строки, посвященные Екатерине Николаевне, позволяют думать, что для Фикельмон она была комическим персонажем трагедии. Однако в данном случае с Дарьей Федоровной Фикельмон мы согласиться не можем. Несмотря на свою замечательную наблюдательность и умение разбираться в людях и событиях, умения, граничившего с прозорливостью, на этот раз она сильнейшим образом ошиблась.

Письма Екатерины Николаевны к брату Дмитрию за то время, когда развивался роман Натальи Николаевны с Дантесом, показывают, что в развертывающейся трагедии старшая Гончарова играла, правда, жалкую, но, несомненно, трагическую роль.

10 ноября, когда Пушкину уже стало известно от Жуковского со слов посланника Геккерна, что Дантес намерен жениться на Екатерине Николаевне, она пишет брату Дмитрию:

«...счастье мое уже безвозвратно утеряно, я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у бога, это положить конец жизни столь мало полезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю всевышнего».

Если бы содержание этого письма стало известно графине Фикельмон, она, вероятно, написала бы о предельно несчастной Екатерине Николаевне другие строки.

Глубоко драматичны по существу и ее письма из-за границы, хотя она тщетно старается дать понять родным, что счастлива и довольна своей новой жизнью. В действительности, оказавшись на чужбине, Екатерина Николаевна искренне тоскует по Родине, от которой оторвана навсегда, несомненно тоскует по своей гончаровской семье, отвернувшейся к тому

[1] Е. Н. Гончарова родилась в 1809 году (точная дата неизвестна).

же от нее из-за мужа — убийцы Пушкина. Почти в каждом письме Екатерины Николаевны брату Дмитрию эта тоска чувствуется очень сильно.

«Я иногда переношусь мысленно к вам,— писала Екатерина Николаевна брату,— и мне совсем не трудно представить, как вы проводите время, я думаю, на Заводе изменились только его обитатели. Уверяю тебя, дорогой друг, все это меня очень интересует, может быть, больше, чем ты думаешь, я по-прежнему очень люблю Завод».

«...Если наша переписка будет идти так, как сейчас, то в конце концов мы совсем перестанем писать друг другу, а это меня очень опечалило бы. Ты — совсем другое дело, так как ты живешь среди того, что тебе дорого, а я так оторвана от моей семьи, что если кто-либо из вас хоть иногда не смилостивится надо мной и не напишет, я и совсем не буду знать, живы вы или нет, а ведь не так легко отказаться от всего того, чем так привыкла дорожить с раннего детства».

«...Я в особенности хочу, чтобы ты был глубоко уверен, что все то, что мне приходит из России, всегда мне чрезвычайно дорого и что я берегу к ней и ко всем вам самую большую любовь. Voila une profession de foi!» [1]

Несомненно и, вероятно, сильнее всего ее тяготило сознание того, что она нелюбима человеком, которого сама горячо любит. Свою семью она потеряла, в семью Дантесов вошла как чужая,— невольно посочувствуешь судьбе этой женщины. О том, как мучительно умирала Екатерина Николаевна, которую, помимо тяжкой болезни, мучили какие-то «моральные причины», мы уже упоминали. И на смертном одре ее, вероятно, терзала мысль о тяжелом положении Гончаровых, и прежде всего любимого брата Дмитрия, мысль, которая не позволяла умирающей выдать мужу какой-либо документ, связывающий брата. Это, конечно, лишь предположение. В данном случае я разделяю мнение Ободовской и Дементьева, которые пишут: «О каких моральных причинах, так повлиявших на течение болезни Екатерины Николаевны, умалчивает врач — мы не знаем и, вероятно, не узнаем никогда. Требовали ли Дантесы от умирающей какого-нибудь документа или письма, связанного с задолженностью брата? Или хотели заставить ее принять католичество? Кто знает?» «Она принесла в жертву свою жизнь вполне сознательно,— говорит Метман.— Ни одной жалобы не слетело с ее уст во время агонии».

В первом издании книги «Портреты заговорили» я привел широко распространенное мнение о том, что Екатерина Николаевна приняла католичество. Письмо Луи Геккерна

---

[1] Вот мое исповедание веры! *(франц.)*

Дмитрию Николаевичу Гончарову от 21 октября 1843 года, в котором он извещает последнего о смерти его сестры, показывает, что Екатерина Николаевна до конца жизни оставалась православной: «Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее вероисповеданию».

Из трех сестер Гончаровых до самого последнего времени наименее ясным представлялся нам облик старшей Гончаровой. Обнаруженные письма сестер к брату Дмитрию, а также письма из-за границы дают много нового для понимания личности Екатерины Николаевны.

Старшая Гончарова, несомненно, была так же, как и ее сестры, духовно привлекательным человеком, остроумной, наблюдательной, склонной к тонкой иронии.

Кроме того, у нее, несомненно, были ярко выраженные литературные интересы. В свое время полной неожиданностью явилось обнаружение в архиве Дантесов в г. Сульце двух альбомов Екатерины Николаевны, заполненных стихами русских поэтов, которые она собственноручно переписала. По словам французского пушкиниста Андре Менье (André Meynieux), опубликовавшего предварительное сообщение об этой находке[1], теперешний владелец архива барон Клод Геккерн-Дантес дружески предоставил в распоряжение автора «часть реликвий, оставленных его прабабкой, реликвий, которые представляют несомненный интерес для историка литературного общества этой эпохи»[2]. В антологиях Е. Н. Гончаровой, составленных ею, по-видимому, целиком в Полотняном Заводе еще до переезда в Петербург, произведений Пушкина имеется только четыре. Полностью переписан «Домик в Коломне». Приведены три стихотворения — «Письмо к Лиде» (у Гончаровой «К Лиденьке»), «Желание славы» и не указанная Менье «Епиграмма». Надо заметить, что «Письмо к Лиде» при жизни Пушкина не печаталось.

В одном из альбомов 132 страницы мелкого почерка заняты «Горем от ума». В свои сборники Екатерина Николаевна включила стихотворения почти всех знаменитых и крупных поэтов того времени, в том числе четыре произведения казненного Рылеева.

Нельзя не согласиться с мнением А. Менье, который считает, что, судя по ее альбомам, Екатерина Гончарова представляется «без всякого сомнения девушкой культурной, хорошо разбирающейся в поэзии и далеко не лишенной вкуса».

---

[1] André Meynieux. Les albums de Catherine Gontcharova (Андре Менье. Альбом Екатерины Гончаровой).— «Revue des études Slaves», v. 46. Paris, 1967, p. 22—25.

[2] А. Менье предполагал посвятить ей подробное исследование, но, к сожалению, вскоре скончался, не успев осуществить своего намерения.

Кто знает, быть может, она вела дневник, и он также найдется в Сульце...

Некоторые места ее писем говорят, что ум у этой барышни был весьма самостоятелен, а убеждения фрейлины Гончаровой не особо верноподданнические. Рассказывая в одном из писем о последних новостях, она тонко иронизирует по поводу рождения «еще одного бесполезного украшения для гостиных» — дочери великого князя Михаила Павловича.

Приходится пожалеть о том, что Екатерина Николаевна, как и ее сестры, писала свои письма по-французски, только иногда вкрапляя в них русские, довольно образные и остроумные фразы. Тем не менее, родной язык эта барышня, получившая по преимуществу французское образование, видимо, знала превосходно. Переписать вполне грамотно такой длинный и сложный текст, как «Горе от ума», в то время еще не изданный, не обладая сильно развитым чувством языка, было бы невозможно*.

Екатерина Николаевна, несомненно, не принадлежала к тем женщинам, о которых Пушкин сказал, что они,

...русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

Нам остается сказать несколько слов о внешности Екатерины Николаевны. К сожалению, портретов ее опубликовано совсем немного, а сведения современников очень противоречивы. На известном портрете Екатерины Николаевны во весь рост она выглядит умной, но несколько суховатой — такой она, по-видимому, была и в действительности. Екатерина Николаевна далеко не обладала той душевной щедростью, которой так богато была наделена младшая Гончарова.

Не была она и так красива, как Натали,— быть может, она казалась бы красивой, не будь у нее такой красавицы сестры. В данном случае можно понять довольно злоязычный отзыв Софи Карамзиной, которая писала о них так: «...кто смотрит на посредственную живопись, если рядом Мадонна Рафаэля?»[1]

Однако у той же Софи Карамзиной не было устоявшегося мнения о внешности трех сестер Гончаровых. В одном из писем она говорит о них так: «...среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровы (все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями)»[2].

Мне кажется, что ближе всего к истине мнение сестры

---

[1] *Карамзины*, с. 139.
[2] *Карамзины*, с. 108.

поэта О. С. Павлищевой: «Они красивы, эти невестки, но ничто в сравнении с Наташей»[1].

Как и все светские барышни, Екатерина Николаевна бывала на балах, но не особенно их любила. Ей больше нравилось бывать в доме Вяземских или Карамзиных, что, возможно, больше отвечало ее литературным интересам. Своей гувернантке Нине она пишет: «...здесь дают балы решительно каждый день, и ты видишь, что если бы мы хотели, мы могли бы это делать, но, право, это очень утомительно и скучно, потому что если нет какой-нибудь личной заинтересованности, нет ничего более пошлого, чем бал. Поэтому я несравненно больше люблю наше интимное общество у Вяземских и Карамзиных, так как если мы не на балу или в театре, мы отправляемся в один из этих домов и никогда не возвращаемся раньше часу»[2].

Все, что мы сказали о Екатерине Николаевне, еще раз заставляет нас повторить, что с ироническим отношением Долли Фикельмон к ней согласиться никак нельзя.

...Остаются еще Дантес и Геккерн. К барону Жоржу Фикельмон, несомненно, враждебна, гораздо более враждебна, чем большинство людей ее круга. В ее записи, когда речь идет о Дантесе, чувствуется и огорчение и большая личная антипатия. Мы увидим в дальнейшем, что и ряд лет спустя графиня не переменила своего отношения к убийце Пушкина.

В дневниковой записи Дарья Федоровна ни словом не упоминает о своих прошлых добрых отношениях с молодым кавалергардом. Бывал ли он в салоне Фикельмон в последние преддуэльные годы, мы не знаем. Похоже на то, что не бывал[3]. Однако в первой по времени книжке о дуэли и смерти Пушкина, составленной, как известно, со слов секунданта поэта К. К. Данзаса, есть упоминание о том, что Дантес приехал в Россию, «снабженный множеством рекомендательных писем». «В числе этих писем было одно к графине Фикельмон, пользовавшейся особенным расположением покойной императрицы. Этой-то даме Дантес обязан началом своих успехов в России. На одном из своих вечеров она представила его государыне, и Дантес имел счастье обратить на себя внимание ее величества»[4].

Далеко не все сведения, приведенные Аммосовым, достоверны. Непосредственно за цитированными строками следует, например, рассказ о первой встрече будущего убийцы Пушкина с императором Николаем I в мастерской художника

---

[1] «Литературное наследство», т. 16-18. М., 1934, с. 794.

[2] И. Ободовская, М. Дементьев. Вокруг Пушкина, с. 201—202.

[3] В опубликованных отрывках из второй тетради дневника графини до 29 января 1837 года фамилия Дантеса не встречается.

[4] *Аммосов*, с. 5—6.

Ладюрнера (Ladurnère), но этой истории пушкинисты веры не придают.

Можно, однако, думать, что в отношении покровительства Дантесу рассказчик не ошибся. Дневник и письма Дарьи Федоровны показывают, что она сама и ее сестра любили опекать молодых людей, начинавших светскую карьеру.

Кроме того, сестра Долли, камер-фрейлина графиня Е. Ф. Тизенгаузен, которой в это время было всего 60 лет, несомненно, прочла наделавшую много шума брошюру Аммосова. Если бы его рассказ о покровительстве Дарьи Федоровны Дантесу был напраслиной, Тизенгаузен, вероятно, так или иначе бы опровергла.

Опровержения не последовало — ни тогда, ни впоследствии.

Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что лицо, снабдившее барона Жоржа письмом к Д. Ф. Фикельмон,— это все тот же покровитель Дантеса принц Вильгельм Прусский. Его отец, король Фридрих-Вильгельм III (1770—1840), был издавна близок к семейству Хитрово-Тизенгаузен и, по некоторым сведениям, в 1824 году даже собирался жениться на сестре графини Долли.

Сам принц Вильгельм, по-видимому, передал в 1825 году Е. М. Хитрово на воспитание своего внебрачного сына, которого она привезла в Россию*.

Очень поэтому вероятно, что, направляя Дантеса в Россию, принц рекомендовал его не только генералу Адлербергу, но и своей доброй знакомой, графине Фикельмон, а та действительно в какой-то мере помогла его первым светским успехам.

Ничего предосудительного в этом, конечно, не было. Не могла же Фикельмон в самом деле предвидеть в конце 1833 или начале 1834 года, что Дантес станет убийцей Пушкина. Винить себя графине было не в чем, но все же, вероятно, она с тяжелым чувством вспомнила о своих хлопотах.

О посланнике Геккерне в связи с дуэльной историей Дарья Федоровна упоминает очень глухо. По ее словам, Пушкин обвинил Геккерна в сообщничестве с Дантесом «и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях». Последнее, как мы знаем, неверно. Письмо Пушкина действительно было такое, что кровавая развязка стала неизбежной, но вызова оно не содержало. Во второй части записи, составленной не раньше, чем через два с половиной месяца после основного текста, Дарья Федоровна говорит о том, что общественное мнение осыпало Геккерна-отца «упреками и проклятиями», и он, попросив об отозвании, «покинул Россию — вероятно, навсегда»

Вот и все — ни слова о подлинной роли Геккерна-отца в дуэльной истории, о своем отношении к нему. Снова досадное умолчание, причины которого объяснить не берусь. Ведь

не постеснялась же графиня Фикельмон, как уже было упомянуто, назвать в том же дневнике Геккерна шпионом министра иностранных дел Нессельроде, а царя — деспотом за его расправу с побежденными поляками.

Между тем о подлинной роли Геккерна Фикельмон, несомненно, знала многое, а эта роль и до сих пор остается одной из загадок дуэльной драмы.

Дарье Федоровне не могло не быть известно, почему общественное мнение осыпало голландского посланника «упреками и проклятиями». Его обвиняли, как обвинял и Пушкин, в составлении диплома-пасквиля и в сводничестве. Геккерн энергично защищался в письмах к министру иностранных дел Нессельроде, доказывал нелепость этих обвинений.

Надо сказать, что в отношении диплома он, судя по всему, был прав. Пасквиль в то время был понят многими как намек на связь Пушкиной с Дантесом, и не мог же Геккерн не сознавать, что рассылка его неизбежно приведет к дуэли.

Вряд ли можно согласиться и с предположением Щеголева о том, что Геккерн мог быть причастен к составлению диплома, направленного по «царственной линии». Опытный дипломат, к тому же очень дороживший своим местом, никогда бы не решился на подобную проделку, оскорбительную для монарха, при котором он был аккредитован. Об отличной осведомленности русского Третьего отделения он, прожив в Петербурге четырнадцать лет (с 1823 года), надо думать, тоже имел ясное представление.

Судя по всем данным, Геккерн — человек злой, аморальный, но, несомненно, умный. Подлость он сделать мог, вопиющую глупость — нет...

И все же в результате дуэли он лишился своего насиженного места, лишился с большим скандалом. Оставаться посланником в России после гибели Пушкина приемный отец убийцы, конечно, не мог. Так считали и его коллеги по дипломатическому корпусу.

Однако, будь он лично ни в чем не виноват, ему бы предоставили возможность уехать с почетом. Между тем Николай I, который, конечно, был очень хорошо осведомлен обо всем этом деле, нанес голландскому посланнику несомненное оскорбление. Он отказался дать ему аудиенцию и прислал табакерку, положенную, по обычаю, послам, окончательно покидающим свой пост, хотя официально барон уезжал только в отпуск. Этим дело не ограничилось.

В письме к принцу Вильгельму Оранскому, в то время наследнику нидерландского престола (он был женат на сестре Николая I великой княжне Ольге Павловне), царь, очевидно, так отозвался о посланнике, что, вернувшись на родину, Геккерн не получил никакого нового назначения и пять лет находился не у дел.

К сожалению, несмотря на содействие русского министерства иностранных дел, П. Е. Щеголеву не удалось разыскать этого чрезвычайно важного документа, отправленного с курьером в Гаагу 22 февраля 1837 года[1]. Содержание его остается неизвестным и до настоящего времени.

В своем позднем (1887 года) письме к А. П. Араповой — дочери Натальи Николаевны от второго брака,— составленном совместно с Александрой Николаевной, барон Фризенгоф сообщает:

«Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александрина вспоминает, что ваша мать отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это устно или письменно»[2].

Через 50 лет после событий А. Н. Фризенгоф-Гончарова, видимо, вспомнила о том, что Геккерн-отец пытался помочь любовным домогательствам приемного сына, но потерпел неудачу. Однако упоминание о письме посланника, в котором он якобы убеждал Наталью Николаевну оставить мужа и выйти замуж за Дантеса,— это упоминание, можно думать, является одной из ошибок памяти старой баронессы. Умный и хитрый дипломат мог быть сводником, но во всяком случае не написал бы такого тяжко компрометирующего его письма.

После дуэли в неофициальном обращении к министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде от 1/13 марта 1837 года Геккерн не только категорически отвергал клеветнические, по его словам, слухи о пособничестве Дантесу, но и предлагал обратиться по этому поводу к самой Н. Н. Пушкиной. «Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся». Геккерн утверждает также, что он потребовал от сына «письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких-либо видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы показать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей»[3].

Комиссия военного суда по делу Дантеса не сочла нужным обращаться с какими бы то ни было вопросами к

---

[1] *Щеголев*, с. 305.

[2] Перевод этой цитаты, данный Л. Гроссманом, проверен мною по фотокопии письма.

[3] *Щеголев*, с. 322.

Н. Н. Пушкиной, но ведь она могла поступить и иначе... Пожелание Геккерна о том, чтобы Наталья Николаевна была допрошена, является одной из загадок истории дуэли.

Нельзя также забывать, что обвинения Геккерна в сводничестве фактически всецело основаны на том, что говорила по этому поводу Наталья Николаевна. Никто, например, кроме нее, не мог слышать слов приемного отца Дантеса: «Верните мне моего сына!»

Исследователям приходится верить в то, что женщина и в данном случае сказала правду...

Переходим теперь к роману Пушкиной и Дантеса в изображении Фикельмон.

По словам Дарьи Федоровны, «он [Дантес] был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме». Период такой «приличной влюбленности» Дантеса, по-видимому, примерно совпадает с календарным 1835 годом.

Барон Фризенгоф сообщил впоследствии племяннице, что «Дантес... вошел в салон вашей матери, как многие другие офицеры гвардии, которые в нем бывали». Вряд ли это верно. Есть и другие поздние упоминания о том, что Дантес бывал гостем Пушкиных, но они мало надежны. Поверим скорее записи Фикельмон, сделанной, во всяком случае, вскоре после дуэли, а не полвека спустя.

В дальнейшем, по словам Фикельмон, «он... постоянно встречал ее в свете и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь <...> Наконец, все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза! То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце,— как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать этой необузданной любви».

Если графиня пишет искренне (в чем, на мой взгляд, можно сомневаться), то чувства Натальи Николаевны для нее неясны — то ли... то ли...

Однако уже 5 февраля 1836 года светская барышня фрейлина М. К. Мердер (1815—1870), видевшая Пушкину и Дантеса на балу у княгини Бутера, записывает в дневнике: «...они безумно влюблены друг в друга» [1]. Вряд ли превосходная наблюдательница Фикельмон не замечала того же самого.

В данное время мы располагаем первоклассной важности документами, которые вносят полную ясность в вопрос об отношениях Пушкиной и Дантеса.

---

[1] Листки из дневника М. К. Мердер («Русская старина», 1900, август, с. 382—385).

В 1946 году талантливый французский писатель Анри Труайа [1] опубликовал в своей двухтомной книге о Пушкине [2] найденные им в архиве Дантеса-Геккерна два письма барона Жоржа к своему приемному отцу, находившемуся в то время в отпуске за границей. Советский читатель может с ними ознакомиться по работе М. А. Цявловского (французский текст и перевод) [3]. Письма датированы 20 января и 14 февраля 1836 года. Подлинность их не подлежит сомнению.

В первом письме Дантес впервые признался приемному отцу в том, что он «безумно влюблен». Фамилии Пушкиной он не называет, боясь, что письмо «может затеряться», но прибавляет: «...вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив <...>». Дантес умоляет Геккерна не делать «никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, а я буду безутешен».

Тщетная предосторожность влюбленного! Как раз в это время фрейлина Мердер делает свою запись и, конечно, не она одна догадывается о чувствах влюбленной пары.

Еще интереснее второе письмо. Дантес рассказывает о своем объяснении с Пушкиной, которую он, судя по контексту письма, уговаривал «нарушить ради него свой долг». Наталья Николаевна ответила: «...я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой <...>».

Я вас люблю (к чему лукавить?).
Но я другому отдана...

Легкомысленная, как все считали, Наталья Николаевна в роли Татьяны-княгини... Неизвестно, выдержала ли она эту роль до конца, но в начале 1836 года, несомненно, хотела выдержать.

Находка Труайа показывает, сколько еще неожиданностей таит дуэльная история. Весьма возможно, что, если со временем будут опубликованы дальнейшие новые материа-

---

[1] Псевдоним русского выходца, армянина по национальности, Тарасова. После революции он был вывезен мальчиком во Францию и сделал там большую литературную карьеру. Не так давно Анри Труайа был избран в число сорока «бессмертных», как называют членов Французской академии.

[2] Henri Troyat. Pouchkine. Paris, v. I—II, 1946.

Второго издания этого труда мне не пришлось видеть.

[3] М. А. Цявловский. Новые материалы для биографии Пушкина.— «Звенья», IX, с. 172—177.

лы, исследователям придется отказаться от ряда, казалось бы, прочно установленных взглядов. И, несомненно, прав М. А. Цявловский, говоря: «В искренности и глубине чувства Дантеса к Наталии Николаевне на основании приведенных писем, конечно, нельзя сомневаться. Больше того, ответное чувство Наталии Николаевны к Дантесу теперь тоже не может подвергаться никакому сомнению».

Дантес действительно «тронул и смутил ее сердце», как с оговорками допускала Фикельмон, но и чувства Дантеса были гораздо серьезнее, чем считалось до сих пор...

Итак, в январе — феврале 1836 года, за год до дуэли, влюбленный кавалергард вел себя очень осторожно (ему, по крайней мере, так казалось) и даже в письмах к отцу боялся назвать имя любимой им женщины. Не совсем понятно, почему осмотрительный и как будто до поры до времени весьма деликатный барон Жорж через несколько месяцев резко изменил свою линию поведения. По словам Фикельмон, он «стал более открыто проявлять свою любовь».

Посмотрим, что кроется за этим дипломатическим выражением жены дипломата.

Необходимо предварительно немного остановиться на хронологии событий и топографии местности. Лето 1836 года Пушкины провели на даче на Каменном Острове (с середины мая и до второй половины августа). 23 мая Наталья Николаевна родила дочь Наталью. Кавалергарды летом стояли в лагере в Новой Деревне и вернулись в казармы 11 сентября.

От дачи до Новой Деревни очень недалеко. Нужно было только переправиться через самый северный проток дельты Невы — Большую Невку. Если верить позднему (1887 года) рассказу князя А. В. Трубецкого, Лиза, горничная Пушкиных, часто приносила Дантесу записки Натальи Николаевны. Сам кавалергард будто бы ездил на дачу к Пушкиным, а все подробности своего романа с женой поэта разбалтывал товарищам-офицерам.

Рассказ старика Трубецкого о событиях полувековой давности полон неточностей и анахронизмов, но зерно правды в нем есть. Поведение Дантеса в это время было далеко не рыцарским. Его товарищи по полку, по-видимому, искренне считали Наталью Николаевну любовницей своего однополчанина (сам Трубецкой этого не говорит).

Д. Ф. Фикельмон подтверждает давно известные рассказы о том, что влюбленная в Дантеса Екатерина Николаевна «учащала возможности встреч с Дантесом», «забывая о всем том, что может из-за этого произойти для ее сестры». По другим сведениям, ее не раз видели вместе с Натальей Николаевной и Дантесом в аллеях Летнего Сада, что, конечно, обращало на себя внимание. Письма Дантеса к приемному отцу показывают, что до 1836 года о таких прогулках втроем

не могло быть и речи. Вряд ли беременная Наталья Николаевна появлялась в Летнем Саду весной 1836 года, незадолго до родов. Скорее эти неосторожные встречи происходили в сентябре, после возвращения кавалергардов из лагеря. В это время Летний Сад чудесно красив, а погода обычно стоит хорошая.

О роли Екатерины Николаевны в преддуэльные месяцы крайне резко отзывается Александр Николаевич Карамзин в письме к брату Андрею от 13/25 марта 1837 года:[1] «...та, которая так долго играла роль сводницы[2], стала, в свою очередь, возлюбленной, а затем и супругой. Конечно, она от этого выиграла, потому-то она — единственная, кто торжествует до сего времени, и так поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а может быть, и душу своей сестры, госпожи Пушкиной, и вызвав смерть ее мужа, она в день отъезда последней послала сказать ей, что готова забыть прошлое и все ей простить!!!»

Как далеко зашли отношения Пушкиной и Дантеса — сказать невозможно. С другой стороны, некоторые веские соображения, о которых речь будет впереди, говорят за то, что своей цели в отношении Пушкиной Дантес не добился.

Придется все же по этому поводу сделать некоторое отступление.

Недавно выяснилось, что князь А. В. Трубецкой был не только полковым товарищем Дантеса, но и очень близким другом императрицы Александры Федоровны (и только ли другом?..). В ее интимной переписке с ближайшей приятельницей графиней С. А. Бобринской он «засекречен» и именуется «Бархатом».

4 февраля 1837 года царица пишет: «Итак, длинный разговор с Бархатом о Жорже. Я бы хотела, чтобы они уехали, отец и сын.— Я знаю теперь все анонимное письмо, подлое и вместе с тем отчасти верное»[3].

Эмма Герштейн, опубликовавшая этот документ[4], дает ему весьма многозначительное объяснение по «царственной линии».

---

[1] *Карамзины*, с. 190—191.

[2] В издании Пушкинского дома перевод слова «entremetteuse» смягчен, и оно передано как «посредница». Однако в данном контексте речь идет, несомненно, о «сводница».

[3] Возможно, что императрица (как и графиня Д. Ф. Фикельмон) имеет в виду не диплом, а какое-то анонимное письмо, текст которого нам неизвестен.

[4] Эмма Герштейн. Вокруг гибели Пушкина (По новым материалам).— «Новый мир», 1962, № 2, с. 211—226.

На мой взгляд, дело обстоит много проще. Кавалергард рассказал своей коронованной приятельнице (будем скромны), что отношения Дантеса и Натальи Николаевны зашли далеко, но в связи они не были.

В конце концов важно то, что оба влюбленных вели себя в последние преддуэльные месяцы крайне неосторожно. В записи Фикельмон речь, несомненно, идет об осени и зиме 1836 года. По ее словам, поведение Дантеса (еще до женитьбы на Е. Н. Гончаровой) было нарушением всех светских приличий, причем казалось, что Наталья Николаевна «бледнеет и трепещет под его взглядами».

Я склонен думать, что не обладавшая сильной волей женщина, в начале года искренне хотевшая подражать Татьяне, теперь не могла подáвить в себе страстного увлечения кавалергардом.

Фикельмон считает, что Пушкин в это время совершал большую ошибку, позволяя красавице жене одной бывать в свете, а Наталья Николаевна допускала «большую, ужасную неосторожность», давая мужу во всем отчет и пересказывая слова Дантеса.

Можно, однако, усомниться в том, что Наталья Николаевна действительно передала Пушкину все. И вряд ли, например, он знал, что в своих записках его жена обращается к кавалергарду на «ты» (надо заметить к тому же, что по-французски «ты» звучит много интимнее, чем по-русски) [1].

Неладно было в семье Пушкиных в 1836 году. Это замечали многие. Графиня Долли вместе с другими друзьями поэта всячески выгораживает Наталью Николаевну. Уверяет даже, что, по крайней мере раньше, она «веселилась без всякого кокетства». В этом отношении она, несомненно, исполняет предсмертный завет Пушкина, желавшего, чтобы современники и потомки считали его жену невинной жертвой.

И — снова приходится повторить, к сожалению, она лишь очень глухо говорит о времени непосредственно перед получением пасквиля: «...семейное счастье уже начало нарушаться...»

В чем же выражалось это нарушение?

Когда-то, в самом начале семейной жизни, Пушкин, рассорившись с тещей, писал ей 26 июня 1831 года: «...обязанность моей жены — подчиняться тому, что я себе позволю. Не восемнадцатилетней женщине управлять мужчиной, которому 32 года» (XIV, 182).

---

[1] Нельзя забывать, что сведения об обращении Натальи Николаевны к Дантесу на «ты» исходят от престарелого А. В. Трубецкого (*Щеголев*, с. 423) и, возможно, не заслуживают доверия.

Теперь о подчинении и речи нет. Пушкин стал как бы наблюдателем своей собственной драмы. В чем же причина этой странной пассивности? Почему Наталья Николаевна может не считаться с волей мужа?

IV

Об отношениях супругов Пушкиных в преддуэльные месяцы мы знаем очень немного. Думаю поэтому, что будет небезынтересно привести здесь запись моего разговора с покойной княгиней Антониной Михайловной Долгоруковой, женой бывшего члена Государственной думы Петра Дмитриевича Долгорукова, запись, сделанную в Праге через несколько часов после нашей беседы.

С А. М. Долгоруковой я был знаком почти двадцать лет и знал ее благоговейное отношение к памяти Пушкина. Она, несомненно, ничего не выдумала. Вот текст записи, оригинал которой хранится в рукописном отделе Пушкинского дома.

«31 мая 1944 княгиня Антонина Михайловна Долгорукова сообщила мне, Николаю Алексеевичу Раевскому, что в 1908 году в Москве к ней явился внук П. В. Нащокина, тогда еще молодой человек, и предложил ей купить пачку писем Пушкина к его деду[1]. Княгиня Долгорукова видела письма, но не прочла их. Из чувства щепетильности не хотела покупать чужой интимной переписки.

По словам внука Нащокина:

1. Александра Николаевна Гончарова сыграла большую роль в семейных неурядицах поэта.

2. Она была в связи с Пушкиным.

3. Наталья Николаевна знала о связи, и у нее не раз происходили бурные сцены с мужем. С Пушкиным при этом случались истерики и он плакал.

4. Александра Николаевна будто бы открывала глаза поэту на отношения Натальи Николаевны с Дантесом.

5. Когда Пушкин умирал, у Александры Николаевны происходили якобы резкие столкновения с сестрой. Она почти не подпускала ее к мужу, сама ухаживала за ним и вообще держала себя хозяйкой (все до сих пор известные материалы говорят обратное.— *Н. Р.).*

Княгиня А. М. Долгорукова оставляет рассказ всецело на ответственности внука Нащокина, но уверена в том, что суть его передана правильно.

Н. Раевский».

---

[1] В 1917 году известные письма Пушкина к его другу Павлу Воиновичу Нащокину принадлежали графу С. Д. Шереметеву.

Пункт пятый записи, несомненно, неверен в отношении ухода за раненым Пушкиным. Зато Александра Николаевна, надо думать, действительно всем распоряжалась, так как жена поэта была в состоянии, близком к безумию. Все остальное содержание рассказа очень похоже на правду.

Сведения, сообщенные внуком Павла Воиновича, являлись семейным преданием. В 1908 году оно, надо заметить, было очень свежим, так как вдова Нащокина, Вера Александровна, хорошо знакомая с Пушкиным в течение последних лет его жизни, скончалась всего лишь восемью годами раньше — в 1900 году.

Недавно М. Яшин подверг подробной критике вопрос о взаимоотношениях Пушкина и Александры Николаевны [1]. Он старается доказать, что все свидетельства современников по данному вопросу не заслуживают доверия. Думаю, однако, что это не так. Рассказ внука Нащокина показывает, что и ближайший друг поэта, возможно, знал о последнем увлечении Пушкина.

Надо, однако, заметить, что об этом потомок П. В. Нащокина в 1908 году мог узнать из воспоминаний А. П. Араповой,— соответствующая глава была опубликована в иллюстрированных приложениях к газете «Новое время», 1907, № 11413, 19 декабря [2]. Приходится поэтому ко всему рассказу внука Нащокина отнестись с большой осторожностью. Несомненным остается лишь тот факт, что он предложил А. М. Долгоруковой купить письма Пушкина, которые он ей показал*.

Путем переписки с ныне здравствующими потомками П. В. Нащокина, живущими в Советском Союзе, я попытался выяснить, кто именно из внуков Павла Воиновича мог посетить А. М. Долгорукову в 1908 году.

У Нащокина было два сына — старший Александр и младший Андрей. Взрослого сына у Андрея Павловича в 1908 году не было. С наибольшей вероятностью можно предположить, что у Долгоруковой побывал один из многочисленных сыновей Александра Павловича, человек, который пользовался хорошей репутацией, но зачастую нуждался в деньгах. Намечается и довольно правдоподобный путь, которым к нему могли попасть письма поэта. Уточнять эти сведения в печати по ряду причин является преждевременным.

Вернемся теперь к записи Фикельмон. Текст пасквильного диплома, вероятно, остался ей неизвестен, но о его получении она, надо думать, узнала. Один из экземпляров пасквиля (в запечатанном конверте, адресованном Пушкину и вложенном в другой с адресом получателя) был прислан и Елиза-

---

[1] М. Яшин. Пушкин и Гончаровы.— «Звезда», 1964, № 8, с. 184—189.

[2] На это обстоятельство обратила мое внимание Т. Г. Цявловская.

вете Михайловне Хитрово. Ничего не подозревая, она переслала диплом поэту.

Другие его друзья были осторожнее — вскрыли конверты с пасквилем и уничтожили его. Однако граф В. А. Соллогуб, которому такой конверт передала его тетка А. И. Васильчикова, решил, что он, быть может, имеет какое-то отношение к его несостоявшейся дуэли с Пушкиным. Поэтому Соллогуб не счел себя вправе вскрыть конверт и также отвез его к поэту.

По словам Соллогуба, Пушкин распечатал конверт и тотчас сказал: «Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмам я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово.

Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами <...>» [1].

Соллогуб обладал отличной памятью. Вероятно, и слова Пушкина он передал достаточно точно.

Письмо поэта до нас не дошло. Зато сохранилось ответное письмо Е. М. Хитрово к Пушкину, которое совсем недавно опубликовала Т. Г. Цявловская [2]. Елизавета Михайловна, умная женщина, верный друг поэта, отозвалась на его письмо с сообщением о пасквиле совершенно неожиданным образом: «Нет, дорогой друг мой, для меня это настоящий *позор* — уверяю вас, что я вся в слезах,— мне казалось, что я достаточно сделала добра в жизни, чтобы не быть впутанной в столь ужасную *клевету!* — На коленях прошу вас не говорить никому об этом глупом происшествии». Е. М. Хитрово вообразила, что на Наталью Николаевну «напали лишь для того, чтобы заставить меня сыграть роль посредника и этим ранить в самое сердце».

Т. Г. Цявловская справедливо прибавляет, что эгоцентризм Хитрово производит тяжелое впечатление. Действительно, Елизавета Михайловна совершенно не думает о переживаниях Пушкина. Думает только о себе. Но вряд ли можно сомневаться в том, что, обидевшись и разволновавшись, она сейчас же рассказала об этом происшествии дочери. Вероятно, дала ей прочесть письмо Пушкина, может быть, и свое...

Трудно поэтому понять, почему в своей «исторической

---

[1] В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.—Л., «Academia», 1931, с. 358.

[2] Т. Г. Цявловская. Неизвестное письмо Е. М. Хитрово Пушкину.— «Пушкинский праздник» (специальный выпуск «Литературной газеты» и «Литературной России»), 1970, 3—10 июля, с. 12—13.

записке» графиня Долли говорит не о дипломе, а о том, что «чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи и имена его жены и Дантеса были соединены с самой едкой, самой жестокой иронией».

Возможно, что наряду с дипломом Пушкин действительно получал такие письма, и Дарье Федоровне стало известно их содержание, но в пасквиле, кроме намека на супружескую измену Пушкиной, никаких подробностей нет. Имена Натальи Николаевны и Дантеса не упоминаются в нем вовсе. Приходится снова повторить, что дуэльную историю графиня Долли, к сожалению, излагает очень неоткровенно и местами, кажется, сознательно искажает ее ход. Вряд ли, например, она могла не знать, что Пушкин, получив пасквиль, не «написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения», а без всяких объяснений в тот же день вызвал кавалергарда на дуэль.

Несравненно интереснее непосредственные наблюдения и оценки Дарьи Федоровны. В ее глазах дуэльная история — чисто семейная драма Пушкина, которая, однако, получила большое общественное значение благодаря огромной популярности поэта. О враждебном отношении к нему значительной части высшего общества, которое она порой жестоко критиковала в своих дневниках, Фикельмон предпочла умолчать. Поведение Дантеса она резко порицает, но в то же время утверждает, что в глазах большого света оно «было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной».

Надо сказать, что к этому соображению графини Долли приходится отнестись со всей серьезностью. Осенью 1836 года Дантес действительно вел себя скорее как потерявший голову влюбленный, а не как осторожный любовник. Жена Пушкина, по-видимому, повинна лишь в духовной измене мужу, но она своего супружеского долга не нарушила, несмотря на страстное увлечение Дантесом...

Однако — и это лишний раз свидетельствует о проницательном уме графини — Фикельмон утверждает, что для Пушкина было важно не мнение высшего общества, а то, что «десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья».

Дарья Федоровна лишь кратко упоминает о том, что неожиданное сватовство Дантеса, внезапно сделавшего предложение Екатерине Николаевне Гончаровой, чрезвычайно удивило светское общество. О причине, побудившей барона Жоржа жениться на сестре Пушкиной, она не говорит ничего.

Густав Фризенгоф в письме племяннице сообщает со слов Александры Николаевны:

«Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за своей будущей женой, вашей теткой Катериной; он хотел сделать из нее ширму, за которой старался достигнуть своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами сразу. Но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство». По словам Фризенгофа, Пушкин в конце концов заявил Дантесу: либо тот женится на Катерине, либо будут драться.

Рассказ Фризенгофа о притворном ухаживании Дантеса очень правдоподобен, но относительно угрозы поэта этого сказать нельзя: считать Дантеса трусом нет оснований, а подобная угроза неминуемо привела бы к поединку.

Женился он, во всяком случае, не из страха перед пистолетом Пушкина.

Что же в действительности заставило его пойти на этот шаг? Пока мы этого не знаем, женитьба Дантеса — одно из загадочных глав дуэльной истории.

Неясно, каковы были отношения Екатерины Николаевны и Дантеса до свадьбы. По словам Густава Фризенгофа, он «притворно ухаживал за своей будущей женой». В русском письме Е. И. Загряжской к В. А. Жуковскому, посланном сейчас же после того, как «жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением», говорится также: «К большому счастью, за четверть часа перед ними приехал старший Гончаров[1], и он объявил им родительское согласие, и *так все концы в воду*»[2].

Очень интимное и совершенно личное дело, насколько теперь известно, приобрело широкую огласку в петербургском высшем обществе и настоятельно требовало быстрого решения.

Графиня София Александровна Бобринская*, прекрасно осведомленная в делах светского Петербурга, писала, например, своему мужу 25 ноября 1836 года:

«Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустную молву. Да, он женится, и мадам де Севинье[3] обрушила бы на него целый поток эпитетов, каким она удостоила некогда громкой памяти [Лемюзо]! Да, это решенный брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гонча-

---

[1] Дмитрий Николаевич (1808—1860).

[2] *Щеголев*, с. 315 (курсив мой.— *Н. Р.*).

[3] Де Севинье (1626—1696) — французская писательница, прославившаяся своими письмами, главным образом к дочери, многократно переиздававшимися.

ровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина.

Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно... Под сенью мансарды Зимнего дворца тетушка плачет, делая приготовления к свадьбе. Среди глубокого траура по Карлу X видно одно лишь белое платье, и это непорочное одеяние невесты кажется обманом! Во всяком случае, ее вуаль прячет слезы, которых хватило бы, чтобы заполнить Балтийское море. Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни»[1].

Как известно, наблюдая взаимное увлечение Натальи Николаевны и Дантеса, многие их знакомые и даже ближайшие друзья поэта склонны были видеть в происходящем лишь занимательную главу в великосветской хронике. А некоторые, например София Николаевна Карамзина, находили в этом материал для изощренного зубоскальства.

До сих пор считалось, что одна лишь графиня Долли Фикельмон воспринимала все происходящее как нарастающую драму. Того же взгляда придерживался и я. Сейчас приходится признать, что внимательная наблюдательница Фикельмон в своем прогнозе не была одинокой. Об этом же с полной определенностью говорит София Александровна Бобринская: «Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни».

Приходится признать, что в среде близких знакомых и друзей семьи Пушкина эта странная женитьба вызвала не только недоумение, но и настороженность. Вот что писала по этому поводу сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева:

«... По словам Пашковой, которая пишет отцу, эта новость удивляет весь город и пригород не потому, что один из самых красивых кавалергардов и один из наиболее модных мужчин, имеющий 70 000 рублей ренты, женится на мадемуазель Гончаровой,— она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана,— но потому, что его страсть к Наташе не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я довольно потешалась по этому поводу; поверьте мне, что тут должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места».

---

[1] Н. Б. Востокова. Пушкин по архиву Бобринских.— «Прометей», т. 10. М., 1974, с. 266—268.

В последние годы в широких читательских кругах стала весьма популярной выдвинутая ленинградским исследователем М. И. Яшиным гипотеза, согласно которой Дантес женился на Екатерине Николаевне Гончаровой, исполняя желание Николая I[1]. Прямых свидетельств, подтверждающих это предположение, у автора не было, и большинство специалистов отнеслось к его гипотезе отрицательно.

Подлинной сенсацией пушкиноведения явилось, однако, опубликование в Париже русского перевода записок дочери Николая I — Ольги Николаевны. В этой книге, вскоре ставшей известной и в Советском Союзе, имеется следующее место: «Папа <имеется в виду император Николай I>... поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу *было приказано* (курсив мой.— *Я. Л.*) жениться на старшей сестре Наталии Пушкиной, довольно заурядной особе. Но было уже поздно: раз пробудившаяся ревность продолжала развиваться. Некоторое время спустя <...> Дантес стрелялся с Пушкиным на дуэли, и наш великий поэт умер, смертельно раненный его рукой» [2].

Казалось, что свидетельство дочери царя неопровержимо. Я. Л. Левкович с полным основанием заметила в своей статье: «Теперь загадка женитьбы Дантеса перестала быть загадкой».

Автор этих строк также нимало не сомневался в решающем значении опубликованного в Париже текста.

Представлялось все же совершенно необходимым, чтобы для большей точности он был сверен непосредственно с не опубликованным до сих пор французским подлинником «Записок», хранящимся в настоящее время в Штутгартском архиве. В печати был известен лишь немецкий перевод этого источника, выпущенный в Германии еще в 1955 году [3]. С него и был сделан опубликованный в Париже русский перевод.

Подлинный французский текст недавно сообщил в Ленинград живущий в Париже праправнук Пушкина Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов [4]. По словам Я. Л. Левкович, «от двойного перевода всегда можно ждать неожиданностей». И действительно, при проверке оказалось, что во французском подлиннике речь идет не о вмешательстве царя, а об активности друзей поэта, которые «нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения» — принудить Дантеса жениться.

---

[1] М. Яшин. Хроника преддуэльных дней.— «Звезда», 1963, № 8, с. 159—184; № 9, с. 166—187.

[2] Я. Л. Левкович. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963—1966 гг.— «Пушкин. Исследования и материалы», т. V. Л., 1967, с. 374*.

[3] Я. Л. Левкович. Две работы о дуэли Пушкина.— «Русская литература», 1970, № 2, с. 211—212.

[4] Г. М. Воронцов-Вельяминов. Пушкин в воспоминаниях дочери Николая I.— *Врем. ПК*, 1970. Л., 1972, с. 24—29.

Нельзя не согласиться с мнением автора статьи, подчеркнувшей, что, «таким образом, предположение Яшина о женитьбе по приказу царя снова превратилось в неподтвержденную документами гипотезу».

Попытки установить истинную причину загадочного поступка Дантеса, надо думать, будут продолжаться. Однако менее всего вероятно, что они подтвердят утверждения Геккерна-старшего, писавшего 30 января 1837 года министру иностранных дел Голландии барону Верстолку: «Сын мой, понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре жены Пушкина <...>» [1].

Трусом Дантес не был, но вся его жизнь показывает, что рыцарем он также не был.

Очень интересно упоминание Фикельмон о том, что Наталья Николаевна ревновала сестру к Дантесу и отважилась говорить об этом с мужем. В письме С. Н. Карамзиной к брату от 20—21 ноября 1836 года тоже есть многозначительные строки: «Натали нервна, замкнута, и, когда говорит о замужестве сестры, голос ее прерывается» [2].

Повествуя о романе Пушкиной и Дантеса, Дарья Федоровна говорит: «...все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза!» Все видели, но далеко не все понимали, как понимала Фикельмон, что перед ними разыгрывается драма поэта. Семья Карамзиных — давние и близкие друзья поэта. Все они любят Пушкина как человека и чтут его гений, но к его семейным делам Карамзины относятся совершенно иначе, чем Долли Фикельмон.

В особенности характерны письма дочери историка, Софьи Николаевны. Приведу из них несколько выдержек:

«Вяземский говорит, что он [Пушкин] выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает».

«...Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь каждому новому слушателю. Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения» [3].

«Словом, это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понятен; вот почему Жуковский

---

[1] *Щеголев*, с. 324.

[2] *Карамзины*, с. 139.

[3] Там же, с. 139, 148.

так смеялся твоему старанию разгадать его, попивая кофе в Бадене».

Александр Николаевич Карамзин, бывший шафером Е. Н. Гончаровой, писал: «Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой <...> Таким образом кончился сей роман à la Balzac [1] к большой досаде петербургских сплетников и сплетниц» [2].

Тирадам насмешливой барышни можно было бы не придавать серьезного значения, но из ее писем мы узнаем, что смеялась не одна она. Подтрунивал над Пушкиным Вяземский, и даже Василий Андреевич Жуковский, только что с великим трудом уладивший дело с первым вызовом, находил повод к смеху. Насмешливое отношение к этой странной истории чувствуется и в письме Александра Николаевича Карамзина.

Глубоко и искренне было горе друзей Пушкина. Но все это было после катастрофы, а когда она готовилась, многие и многие близкие Пушкину люди, в противоположность прозорливой Фикельмон, видели в том, что происходило, не трагедию, а комедию или, в лучшем случае, трагикомедию...

Еще до рассылки диплома, наблюдая обращение Дантеса с Натальей Николаевной на светских собраниях, графиня заметила, что барон решил «довести ее до крайности». Надо сказать, что французское выражение, которое она употребила, применяется охотниками в смысле «загнать», «довести до изнеможения» свою жертву.

Позднее, перед самым поединком, странное и тяжелое впечатление производило в обществе поведение всех главных действующих лиц дуэльной драмы. С. Н. Карамзина потом сожалела о том, что так легко отнеслась к «этой горестной драме», но для нас все же ценны ее наблюдения в один из вечеров жизни поэта (24 января):

«В воскресенье у Катрин [3] было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза под жарким и долгим взглядом зятя,— это начинает становиться чем-то бо̀льшим обыкновенной безнравственности; Катрин (Екатерина Николаевна Геккерн.— *Н. Р.*) направляет на них свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей доли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверж-

[1] В стиле Бальзака.
[2] *Карамзины*, с. 154.
[3] Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, урожденная Карамзина.

дает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных)» [1].

В записи Фикельмон мы не находим таких зарисовок, но она считает, что именно наглое поведение Дантеса послужило непосредственным поводом к дуэли.

Дарья Федоровна лишь описывает факты, но не дает их объяснения. Его мы находим в письме барона Фризенгофа, причем на этот раз он говорит лично от своего имени (не надо, однако, забывать, что письмо было целиком проверено и одобрено Александрой Николаевной): «...Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей новой свояченицей; он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого» [2].

Это объяснение очень правдоподобно. Своей непонятной женитьбой Дантес поставил себя в глазах общества в ложное и унизительное положение. Вероятно, многие подозревали, что блестящий кавалергард действительно струсил и женился, чтобы избежать поединка.

К сожалению, и Пушкин, как показывает его письмо к посланнику Геккерну, вызвавшее дуэль, держался того же взгляда и вряд ли хранил его в тайне. «...Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, а то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном»,— писал он Геккерну-отцу.

Развязка приближалась.

Бал, о котором упоминает Фикельмон, состоялся у обер-церемониймейстера графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова 23 января накануне приема у Мещерских. Барон Фризенгоф описал то же происшествие в следующих выражениях: «В свое время мне рассказывали, что поводом послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все присутствовали; там был буфет, и Геккерн, унося тарелку, которую он основательно наполнил, будто бы сказал, напирая на последнее слово: это для моей *законной*. Слово это, переданное Пушкину с комментариями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу» [3].

26 января поэт послал голландскому посланнику роковое письмо.

---

[1] *Карамзины,* с. 165.
[2] «Красная нива», 1924, № 24, 9 июня, с. 10—12.
[3] Там же.

Существует и другая версия «последнего толчка», которую принимает П. Е. Щеголев. Она восходит к самой Наталье Николаевне и впервые была изложена в воспоминаниях А. П. Араповой. По ее словам, года за три перед смертью Н. Н. Ланская «рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам <...>».

Поводом к дуэли послужило свидание, которое Дантес, угрожая в случае отказа покончить с собой, выпросил у Натальи Николаевны, уже будучи женатым. Свидание состоялось в кавалергардских казармах на квартире приятельницы и свойственницы Пушкиной Идалии Григорьевны Полетики, внебрачной дочери графа Г. А. Строганова[1].

«...Дойдя до этого эпизода, мать, со слезами на глазах, сказала: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я — счастьем и покоем всей своей жизни...»

«Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же корреспондента о состоявшейся встрече»[2].

По уверению А. П. Араповой, Пушкин «прямо понес письмо к жене». «Оно не смутило ее. Она не только не отперлась, но, с присущим ей прямодушием, поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека».

Опытная писательница А. П. Арапова умело сочиняет диалоги (как русские, так и французские) и сводит концы с концами, повествуя о том, как «тихо, без гневной вспышки ревности» обошлось объяснение супругов.

«Он нежным прощающим поцелуем осушил ее влажные глаза и, сосредоточенно задумавшись, промолвил как бы про себя: «Всему этому надо положить конец!»

«Приведенное выше объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерна, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения».

---

[1] Ее муж, полковник А. М. Полетика, был офицером Кавалергардского полка.

[2] Иллюстр. приложение к «Новому времени», 1908, № 11425, 2 января, с. 5—6.

В подробном рассказе Араповой о дуэльной истории есть ряд фактических ошибок (вызов на поединок был, например, сделан Дантесом, а не Пушкиным). Многое в этом рассказе, несомненно, относится к области беллетристики, а не мемуарной литературы. Нельзя, однако, не согласиться с мнением Щеголева о том, что, по существу, рассказу Араповой «можно и должно поверить, ибо это говорит дочь о матери».

«Да, на квартире у Идалии Григорьевны Полетики состоялось свидание Дантеса с Натальей Николаевной» [1].

Прибавлю от себя — легкомысленное согласие на такое свидание, даже если оно, в самом деле, было «столько же кратко, сколько невинно» — это согласие является тяжким житейским грехом жены Пушкина, за который она, по-видимому, не переставала себя упрекать до конца своих дней.

Факт свидания не подлежит сомнению, но дата его остается неизвестной. Возможно, что Пушкин узнал о нем непосредственно перед балом у Воронцовых-Дашковых. Тогда обе версии друг другу не противоречат — поведение Дантеса 23 января только усилило разгоравшийся гнев Пушкина. Во всяком случае рассказ Фикельмон, непосредственной свидетельницы, несомненно, ценен и заслуживает внимательного исследования, как и все ее повествование о преддуэльных месяцах.

Наоборот, как справедливо указывает Е. М. Хмелевская, вторая часть «записи, где говорится о дуэли и смерти Пушкина, не представляет большого интереса». Дарья Федоровна, как я уже упоминал, говорит с чужих слов, причем главным ее информатором, говоря современным языком, является В. А. Жуковский. Краткое описание поединка, которое она дает, в общем, соответствует истине, но ничего нового не содержит. Рассказывая о последних днях и часах поэта, Дарья Федоровна старательно, но порой не вполне точно повторяет легенду, созданную Жуковским и другими друзьями Пушкина в интересах его жены и детей. Нового здесь почти ничего нет, за исключением сообщения о том, что умирающий попросил своего секунданта Данзаса обещать не мстить за него и передать своим отсутствующим шуринам запрещение драться с Дантесом. Кроме Дарьи Федоровны, никто об этих словах Пушкина не упоминает.

Я не буду комментировать второй части записи. Сделаю исключение только для упоминания Фикельмон о том, что «несчастную жену с трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, влекло мрачное и глубокое отчаяние».

Приведу по этому поводу выдержку из черновика малоиз-

---

[1] *Щеголев*, с. 125—126.

вестного письма В. Ф. Вяземской, адресованного, по-видимому, Е. Н. Орловой[1]. Вяземская почти не покидала квартиры Пушкиных в те дни, когда поэт умирал. Ее наблюдения, несомненно, точны и правдивы. Описывая трагические минуты сейчас же после кончины, Вяземская говорит: «Она (Пушкина) просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. «Простите!» — вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина, которая, в сущности, могла винить себя только в легкомыслии, легкомыслии, без сомнения, весьма преступном».

Горе Натальи Николаевны не было лишь кратким приступом отчаяния. Она долго и тяжко переносила смерть мужа. Наблюдательная Долли Фикельмон, по-видимому, была права, считая, что Наталья Николаевна была недалека от безумия.

Вот что мы читаем в воспоминаниях ближайших друзей Пушкина.

П. А. Вяземский: «Это были душу раздирающие два дня, Пушкин страдал ужасно, он переносил страдания мужественно, спокойно и самоотверженно и высказывал только одно беспокойство, как бы не испугать жены. «Бедная жена, бедная жена!» — восклицал он, когда мучения заставляли его невольно кричать»[2].

А. И. Тургенев: «...1 час. Пушкин слабее и слабее... Надежды нет. Смерть быстро приближается, но умирающий сильно не страждет, он покойнее. Жена подле него... Александрина плачет, но еще на ногах. Жена — сила любви дает ей веру — когда уже нет надежды! Она повторяет ему: «Tu vivras» («Ты будешь жить!)»[3].

С. Н. Карамзина: «...Мещерский понес эти стихи[4] Александрине Гончаровой, которая попросила их для сестры, жаждущей прочесть все, что касается ее мужа, жаждущей говорить о нем, обвинять себя и плакать. На нее по-прежнему тяжело смотреть, но она стала спокойней и нет более безумного взгляда. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина»[5].

Ее мольбы о прощении словно обращены в века...

Я уже упомянул о том, что короткая, вторая, часть записи отделена чертой от основного текста, который в целом носит характер исторической справки. Ее содержание гораздо более

[1] «Новый мир», 1931, № 12, с. 188—193. Письмо собственноручное с поправками князя Петра Андреевича.

[2] *Щеголев*, с. 263—264.

[3] «Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 51—52.

[4] М. Ю. Лермонтова «На смерть поэта».

[5] *Карамзины*, с. 175.

интимно, и, может быть, именно по этой причине правнук графини не счел уместным включить ее в присланную мне копию.

Графиня Фикельмон больше не историк драмы Пушкина. Она внезапно становится откровенной и спрашивает себя: «Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину?» Тут же Дарья Федоровна дает ответ, который похож на полупризнание в том, что она тщательно скрывает: «Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили, все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру».

Строки, несомненно, и очень искренние, и очень личные. Праведницей графиня Долли себя не чувствует... По ее мнению, «роковая история» Дантеса и Натальи Николаевны должна была бы послужить хорошим уроком для светского общества, но этого не случилось. Все осталось по-старому: «Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму!»

В совсем короткой заключительной приписке, также отделенной чертой, графиня Долли как бы хочет сказать будущим читателям дневника — и своим потомкам и посторонним людям: «... эта печальная зима отняла у нас Пушкина, я скорблю о нем, как и все, но не подумайте, что он был другом моего сердца. Это все мама... Я потеряла в эту зиму другого человека, действительно мне дорогого, «друга, брата моей молодости, моей счастливой и прекрасной неаполитанской молодости!»

Трудно решить, правдиво ли говорит Дарья Федоровна о своих тогдашних чувствах или все это лишь маскировка ее былого увлечения поэтом.

Упоминания о Пушкине в связи с тем, что он был другом покойной матери, есть и в поздних письмах Дарьи Федоровны к сестре. Вскоре после отъезда из Петербурга она пишет: «Я хотела бы иметь гравированный портрет Пушкина в память привязанности, которую питала к нему мама» (22 октября 1840 года). «Мне показали вчера портрет Пушкина: он возбудил во мне большую нежность, напомнив мне всю его историю, сочувствие, с которым к ней отнеслась мама, и как она любила Пушкина» (3 декабря 1842 года).

«Пришли мне, пожалуйста, автографы для Вильнев-Транса и для меня. Прежде всего императора Николая, императора Александра, Петра Великого, Екатерины II, Марьи Федоровны, Пушкина — словом, все, что ты найдешь наиболее интерес-

ного для моего кузена[1] и для меня <...>» (13 мая 1843 года).

В письмах к сестре за 1840—1854 годы Долли Фикельмон постоянно вспоминает о своих многочисленных русских друзьях и знакомых, но только раз она упомянула о Наталье Николаевне, и притом неодобрительно: «...Пушкина, как кажется, снова появляется на балах. Не находишь ли ты, что она могла бы воздержаться от этого; она стала вдовой вследствие такой ужасной трагедии, причиной которой, хотя и невинной, как-никак явилась она» (17 января 1843 года).

К Дантесу Дарья Федоровна осталась непримиримо враждебна. Он приезжал в 1842 году в гости к своему приемному отцу, назначенному в конце концов посланником в Вену. 28 ноября этого года графиня пишет: «Мы не увидим госпожи Дантес, она не будет бывать в свете, и в особенности у меня, так как она знает, что я смотрела бы на ее мужа с отвращением. Геккерн также не появляется, его даже редко видим среди его товарищей. Он носит теперь имя барона Жоржа де Геккерна».

А у русской знати, проживавшей летом 1837 года в излюбленном тогда Бадене, не было и тени отвращения к убийце Пушкина; всего через несколько месяцев после дуэли свидетели недавней трагедии превесело проводили время вместе с высланным из России бароном Жоржем. Даже Андрей Николаевич Карамзин, с таким гневом писавший близким о дуэльной истории, помирился с Дантесом и принимал участие в этих увеселениях.

Мне остается исправить одно старинное недоразумение. В 1911 году П. И. Бартенев в рецензии на книгу писем графа и графини Фикельмон упомянул о том, что Дарья Федоровна принимала в Вене госпожу Геккерн, то есть Екатерину Николаевну. Однако соответствующее письмо помечено 20 декабря 1850 года, когда последней уже давно не было в живых (умерла в 1843 году). Видимо, публикатор неверно прочел во французском подлиннике «madame» вместо «monsieur», или же в текст вкралась опечатка. Речь, несомненно, идет о посланнике Геккерне, который оказался соседом Фикельмонов по дому и сделал графине визит. Она пишет: «...я была взволнована, снова увидев эту личность, которая мне так много напомнила. Я приняла его так, будто все время продолжала с ним видеться, и у него был гораздо более смущенный вид, чем у меня»[2].

---

[1] По-видимому, речь идет о племяннике графа Фикельмона (сыне его сестры) маркизе де Трансе, умершем в 1850 году в Нанси, где скончался и его отец. Следовало бы попытаться разыскать во Франции потомков этого маркиза, так как у них мог сохраниться пушкинский автограф.

[2] *Сони*, с. 298.

Больше фамилия Геккерна в письмах не упоминается. Видимо, эта первая встреча через тринадцать лет после дуэли была и последней. В другом месте графиня Долли упоминает о том, что единственный человек в Вене, с которым она может говорить о Петербурге,— это Медженис [1].

* * *

Я попытался в трех очерках дать характеристику Дарьи Федоровны Фикельмон и выяснить ее роль в жизни и творчестве Пушкина. Отдельный очерк посвящен переписке друзей поэта — Долли Фикельмон и П. А. Вяземского. В последнем очерке я разобрал дневниковую запись Д. Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина.

Расставаясь теперь с этой, несомненно, выдающейся женщиной, сохраним о ней благодарную память. Если она и поведала нам о Пушкине много меньше, чем могла бы, то все же ее записи о поэте и его жене умны, достоверны и ценны.

Прах Д. Ф. Фикельмон [2] покоится в семейном склепе князей Кляри-и-Альдринген в небольшом селении Дуби (Dubi) близ Теплица (Чехословакия), где ее внук Карлос построил небольшую церковь в стиле флорентийской готики. Вход в усыпальницу находится прямо в церкви. Гробы замурованы в нишах, прикрытых плитами с надписями. Побывавшая в усыпальнице Сильвия Островская сообщила мне, что она содержится в порядке. Надпись на надгробной плите внучки Кутузова гласит:

DOROTHEA GRAFIN FICQUELMONT
GEB. GRAFIN TIESENHAUSEN.
PALAST DAME
14. X. 1804—10. IV. 1863 [3].

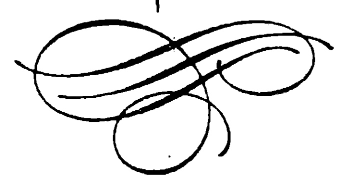


[1] Артур К. Медженис (Magenus), английский дипломат, близкий приятель Фикельмон, которого Пушкин приглашал в секунданты, но тот отказался.

[2] По непроверенным пока сведениям, Дарья Федоровна скончалась не в Вене, а в Венеции, где она провела последние годы своей жизни.

[3] Доротея графиня Фикельмон урожд. графиня Тизенгаузен. Придворная дама, 14.X.1804.—10.IV.1863.

ДРУГ ПУШКИНА ПАВЕЛ ВОИНОВИЧ НАЩОКИН






Неожиданному случаю я был обязан началом моих пушкиноведческих изысканий в Чехословакии, описанных в книгах «Если заговорят портреты» (1965) и «Портреты заговорили» (1974).

Неожиданным было и начало переписки, которая дала мне возможность подготовить настоящую работу.

В конце 1966 года, когда у меня оставалось всего несколько экземпляров уже полностью разошедшейся книги «Если заговорят портреты», я получил письмо из одного подмосковного поселка. На конверте незнакомый женский почерк. Отправительница обозначена инициалами — «В. А. Н.».

Вскрываю письмо, и тотчас у меня начинается приступ исследовательской лихорадки. Вы поймете мои чувства, читатель, при чтении следующих слов: «Я родная внучка Павла Воиновича Нащокина, дочь его младшего сына Андрея Павловича, Вера Андреевна Нащокина-Зызина <...> Моя бабушка, жена Павла Воиновича Нащокина, Вера Александровна Нащокина (Нарская) жила и умерла в нашей семье. Вот почему мне особенно дорого все, что написано о Пушкине и его семье».

Внучке одного из самых близких друзей поэта (а в последние годы его жизни — самого близкого) я, конечно, сейчас же послал свою книжку. Завязалась оживленная переписка. Уговаривать мою новую корреспондентку не приходилось. Во втором же письме, полном новых и интересных сообщений о ее предках, Вера Андреевна меня предупредила: «На все интересующие Вас вопросы ко мне я с удовольствием отвечу».

Вопросов было много. Подробные и точные ответы я получал очень быстро, несмотря на то что преклонный возраст и слабое здоровье внучки Павла Воиновича, несомненно, делали

для нее нелегкой эту переписку, требовавшую постоянных разысканий в семейном архиве, к счастью, уцелевшем во время войны. Почтальоны в течение ряда месяцев приносили мне различные по объему и формату заказные пакеты.

Сейчас в моих папках хранится основательная пачка писем, фотокопии портретов, отлично изготовленные снимки ряда документов.

Легко было бы заниматься литературными изысканиями, если бы у всех потомков людей пушкинского времени были такие же внимание и готовность помочь исследователям, что и у Веры Андреевны Нащокиной-Зызиной.

Ознакомившись с присланными ею материалами, я убедился в том, что в довольно обширной литературе о Павле Воиновиче, его жене и их потомках приводится немало неточных, а частью и неверных сведений[1]. Ряд биографических подробностей нуждается в переисследовании. В частности, очень неясны и запутанны вопросы о происхождении Веры Александровны Нащокиной-Нарской и о личности упоминаемого в письме Пушкина к Нащокину «Леленьки», которого поэт в 1833 году привез из Москвы в Петербург. Надо также сказать, что и постоянно цитируемые рассказы Нащокиной о Пушкине остаются, по существу, недостаточно изученными.

Как мы увидим, впервые публикуемые материалы В. А. Нащокиной-Зызиной позволяют многое уточнить и дают окончательное решение нескольких биографических загадок.

Излагая эти новые данные, мне по неизбежности придется коснуться ряда известных фактов и событий, относящихся к семейству Нащокиных, необходимых для более полного представления как о личности самого Павла Воиновича (или «Войныча», как иногда называл своего друга Пушкин), так и о характере его взаимоотношений с поэтом.

* * *

После смерти Дельвига вряд ли к кому-нибудь из друзей-мужчин — кроме, может быть, Жуковского и порой Плетнева[2] — поэт относился с такой нежностью, как к Нащокину.

Прочной и глубокой была, например, дружба Пушкина с Вяземским, длилась она тоже много лет, но и с той и с

---

[1] Даже в «Русском биографическом словаре» (Пг., 1914, с. 158) ошибочно сказано, что «фамилия Нащокиных в настоящее время ... угасает». В действительности в это время в России проживали многочисленные представители рода Нащокиных.

[2] В письме к жене от 12 сентября 1833 г. Пушкин, упоминая о встрече с Петром Михайловичем Языковым, старшим братом поэта Н. М. Языкова, пишет: «Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрезвычайно замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плетнева или Нащокина» (XV, 80).

другой стороны это была скорее дружба умов, а не сердец. В их обширной переписке чувствуются несомненная взаимная симпатия, общность литературных интересов, житейское понимание друг друга, но подлинной душевной теплоты и откровенности в их письмах все же нет.

У Пушкина, правда, встречаются порой ласковые и добродушно-шутливые обращения к Петру Андреевичу: «Прощай, моя радость» (письмо от 15 июля 1824 г.), «Улыбнись, мой милый» (20-е числа апреля 1825 г.), «Ангел мой Вяземский или пряник мой Вяземский» (1 декабря 1826 г.) (XIII, 104, 165, 310) и т. д.

Никогда, однако, поэт не писал Вяземскому и о Вяземском так, как он писал Нащокину и о Нащокине: «Мы с женой тебя всякий день поминаем» (1 июня 1831 г.), «Но кто, зная тебя, не поверит тебе на слово своего имения, тот сам не стоит никакой доверенности» (7 октября 1831 г.), «Обнимаю тебя от сердца» (22 октября 1831 г.) (XIV, 168, 231, 237) и т. п.

С большой нежностью и теплотой отзывается Пушкин о друге в письмах к жене из Москвы: «Нащокин здесь одна моя отрада» (11 мая 1836 г.), «Любит меня один Нащокин» (14 и 16 мая того же года) (XIV, 114, 116).

Наталья Николаевна, познакомившись с Павлом Воиновичем в Москве, отнеслась к другу своего мужа с большой симпатией. 11 июня 1831 года Пушкин пишет: «Жена тебя очень любит и очень тебе кланяется» (XIV, 174). В письме поэта от 3 августа того же года юная Наталья Николаевна к словам мужа «жена тебе кланяется» даже сделала приписку: «И целует» (XIV, 204).

Из обращений самого Нащокина к его великому другу приведем лишь два: «Прощай, воскресение нравственного бытья моего...» (10 января 1833 г.), «Прощай еще раз, утешитель мой, радость моя» (конец ноября 1833 г.) (XV, 41, 97).

Многолетняя переписка Пушкина и Нащокина свидетельствует об их исключительной привязанности друг к другу и полной дружеской откровенности. Поэт поверял ему свои мысли и переживания, делился с ним литературными и жизненными планами, огорчениями и надеждами.

Да, это была подлинная «дружба сердец», хотя в переписке Пушкина и Нащокина очень много места занимают и денежные вопросы. Обоим друзьям жилось подчас очень нелегко, оба не умели обращаться с деньгами и вдобавок оба, к несчастью, любили карточную игру. В 1829 году Пушкин проиграл известному картежнику, богатому помещику В. С. Огонь-Догановскому огромную сумму — 24 800 рублей. Этот долг поэт с большим трудом уплатил в 1831 году, причем ему отчасти помог П. В. Нащокин. Пришлось, кроме того, на время заложить бриллианты Натальи Николаевны. 15 января 1832 года Пушкин писал М. О. Судиенке: «От карт и

костей отстал я более двух лет; на беду мою, я забастовал, будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатою карточных долгов, расстроили дела мои» (XV, 4). Однако женатый Пушкин играл в общем редко и разорительных сумм не проигрывал. Нащокин, к сожалению, до конца дней оставался рьяным игроком.

Помимо дружеской любви и общих житейских интересов, Пушкина и Нащокина, по-видимому, больше всего связывали интересы литературные. Как мы увидим, школьное образование Павла Воиновича было недостаточным, но он много читал, общался со множеством выдающихся людей и обладал несомненным литературным вкусом. Близкий знакомый Нащокина, актер, режиссер и драматург Н. И. Куликов (1812—1891), известный под псевдонимом Н. Крестовского, писал о нем: «...благодаря огромной начитанности он знал хорошо французскую и русскую литературу, а через французские переводы знакомился и с литературой других народов. При его знании жизни, при его вкусе и любви ко всем отраслям изящных искусств он обладал критическим чутьем и стоял в этом отношении выше своего времени, так что его литературные приговоры можно справедливо назвать критикой чистого разума.

Когда Россия зачитывалась сочинениями Марлинского, Нащокин хохотал над фантастическим вычурным изложением и словоигранием автора, предсказывая поклонникам его, что скоро они и сами посмеются над своим увлечением. А сам, зачитываясь Бальзаком, заставляя нас, молодых людей, читать его, кричал об нем и дома, и в гостях, и в клубе... Конечно, Пушкин сумел оценить критический талант друга молодости и ему первому читал свои сочинения, совершенно соглашаясь с его взглядом, вкусом и тонкими психологическими замечаниями» [1].

Павел Воинович не только восхищался творениями Пушкина, но кое-что и порицал, причем довольно резко: «Пленника» назвал Нащокин нелепым барином, не стоящим жертвы драматической Черкешенки, а восхищаясь вместе с поэтом стихами, описаниями и, так сказать, этнографической частью поэмы, он сказал: «Приличнее бы назвать поэму «Кавказ и горцы» [2].

Находил он недостатки и в «Цыганах», считая образ Алеко «фантастическим», с чем, впрочем, по уверению Куликова, соглашался и Пушкин.

Достоверность воспоминаний Куликова подвергалась сомнению, но, по-видимому, это не совсем справедливо. Тщательно записанные П. И. Бартеневым рассказы Павла Воиновича о

---

[1] Н. И. Куликов. Александр Сергеевич Пушкин и Павел Воинович Нащокин.— «Русская старина», 1881, август, с. 599—600.

[2] Там же.

Пушкине[1] показывают, что Нащокин отлично знал многие произведения своего друга и был посвящен в его творческие планы.

Сохранились многочисленные свидетельства современников об удивительном мастерстве Нащокина-рассказчика. Интересный собеседник, многое видевший и многих знавший, Нащокин восхищал своими рассказами Пушкина, который неоднократно признавался в том, что «забалтывается с Нащокиным». Давно известно, что Павел Воинович рассказал поэту о небогатом белорусском дворянине Островском, который судился с соседом из-за земли и, проиграв процесс, стал разбойником. Этот Островский послужил Пушкину прототипом Дубровского[2]. Здесь перед нами один из многочисленных примеров творческого претворения поэтом действительных лиц и событий.

С именем Нащокина нередко связывают еще одно произведение Пушкина. «Существует предание,— замечает в своей работе «Друг Пушкина Нащокин» М. Гершензон,— что сюжетом «Домика в Коломне» послужил Пушкину рассказ Нащокина о том, как, будучи влюблен в актрису Асенкову, он облекся в женский наряд и прожил у нее в качестве горничной более месяца»[3]. Если даже подобный факт и имел место, то его следует связывать не с В. Н. Асенковой, дебютировавшей лишь в 1835 г., а скорее с ее матерью А. Е. Асенковой (1796—1841). Однако для нас существеннее другое — несомненная причастность Нащокина к ряду творческих замыслов и литературных проектов Пушкина.

Друзья, несомненно, говорили о многом, что не предназначалось для посторонних ушей: следы откровенных политических разговоров хранят записанные П. И. Бартеневым «Рассказы П. В. Нащокина о Пушкине». Показательна в этом отношении, например, такая запись, относящаяся к Пушкину: «Жженку называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок»[4].

Пожалуй, наиболее часто предметом дружеских бесед служили семейные воспоминания Нащокина, принадлежавшего к старинному дворянскому роду и хорошо знавшего многочисленные семейные предания. Ценя эти рассказы Нащокина, Пушкин советовал ему писать свои мемуары. История создания «Записок Нащокина», начатых по настоянию поэта, со-

---

[1] «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей в 1851—1860 годах». Вступит. статья и прим. М. Цявловского. М., 1925, с. 24—49.

[2] Там же, с. 27. Достоверность этого рассказа подтверждается позднейшими документальными разысканиями. См.: И. Степонин. Прототип пушкинского Дубровского.— «Неман», 1968, № 8, с. 180—184.

[3] М. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, с. 63.

[4] *Рассказы о Пушкине*, с. 49.

ставляет особую, важнейшую сторону во взаимоотношениях Пушкина и Нащокина.

Как известно, поэт высоко ценил мемуарный жанр, увлекался мемуарной литературой, внимательно штудировал мемуары Дидро, Казановы, с карандашом в руках читал «Записки кн. Е. Р. Дашковой», имел список находящихся под строгим запретом «Записок Екатерины»[1]. Сетуя на то, что замечательные люди исчезают в России, «не оставляя по себе следов» (XII, 462), Пушкин принял прямое участие в создании ряда произведений мемуарного жанра (А. О. Смирновой, М. С. Щепкина, Н. А. Дуровой). Что же касается «Записок Нащокина», то ими он интересовался особенно и на протяжении целого ряда лет активно содействовал их написанию.

Еще в 1830 году поэт начал записывать со слов Нащокина его рассказы о первых детских годах, содержавшие яркие, колоритные подробности о «старинном русском бытье». «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве», едва начатые, читаются с большим интересом, но надо заметить, что только содержание их восходит к Павлу Воиновичу. В литературном отношении это — произведение самого Пушкина.

На мой взгляд, нельзя не согласиться с мнением А. В. Чичерина, считающего, что «в слоге этой «Записки» нет никаких признаков устного рассказа и, конечно, «Записки» отнюдь не буквальная запись того, что говорил Нащокин. Они написаны сжатым, точным, ясным слогом автора «Повестей Белкина»[2].

Наоборот, другое утверждение Чичерина, подчеркивающего, что «эти записи — замыслы будущего романа», кажется мне спорным. Можно скорее думать, что Пушкин просто хотел обработать в художественной форме воспоминания своего друга, жизнь которого временами действительно походила на роман, нельзя сказать, чтобы нравоучительный, но во всяком случае весьма интересный.

Не довольствуясь записью устных рассказов Нащокина, Пушкин побуждал его самого писать «мемории». 2 декабря 1832 года он спрашивает: «Что твои мемории? Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там поглядишь — и другой» (XV, 37).

Около 25 февраля следующего года он высказывает надежду на то, что Павел Воинович, устроив свои дела, заживет «припеваючи и пишучи свои записки» (XV, 50).

---

[1] См.: М. И. Гиллельсон. Пушкин и «Записки» Е. Р. Дашковой.— «Прометей», т. X. М., 1974, с. 132—144.

[2] А. В. Чичерин. Пушкинские замыслы прозаического романа.— В кн.: А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975, с. 101.

Воспоминания, однако, писались медленно. Непривычный к усидчивому труду, Нащокин работал от случая к случаю, уступая нажиму со стороны поэта, и, к сожалению, так и не довел свои мемуары до конца, хотя работал над ними на протяжении ряда лет. Написанная им начальная глава этих «мемориий» посвящена главным образом детским воспоминаниям. Воспользовавшись советом Пушкина, Нащокин придал своим запискам форму мемуарного письма, обращенного «к любезному Александру Сергеевичу».

До недавнего времени в печати был известен лишь один фрагмент этих записок Нащокина, сохранившийся среди бумаг Пушкина в собрании А. Ф. Онегина-Отто и впервые опубликованный в издании «Рукою Пушкина». «Подлинник записок,— указывают публикаторы,— писан чернилами неизвестною рукой в виде письма П. В. Нащокина Пушкину и, кроме поправок последнего, имеет одну поправку чернилами П. В. Нащокина»[1]. Это те самые «Записки», которые запрашивал Пушкин у Нащокина в письме от 27 мая 1836 года: «Я забыл взять с собою твои Записки; перешли их, сделай милость, поскорее» (XVI, 121). То, что Нащокин отправил Пушкину не оригинал, а копию своих «Записок», комментаторы справедливо объясняют тем, что «Нащокин, вероятно, хотел продолжать их и по мере написания копировать и отсылать к Пушкину»[2]. Теперь обнаружен и самый оригинал «Записок», писанный рукой Нащокина и его жены в особой тетради, принадлежащей ныне Е. П. Подъяпольской. По весьма убедительному заключению Н. Я. Эйдельмана, подготовившего научную публикацию этих «Записок» и снабдившего их подробным комментарием, рукопись Нащокина представляет собой первоначальный, более пространный авторский вариант «мемориий»[3]. Однако для целей настоящей работы, посвященной взаимоотношениям Пушкина и Нащокина, особое значение имеет второй, пушкинский вариант этих «Записок», имеющий поправки и пометы самого поэта, видимо предполагавшего напечатать их в «Современнике». В дальнейшем мы будем пользоваться именно этим текстом нащокинских «мемориий»[4].

Своеобразная и яркая личность Нащокина в последнее время вызывает все более широкий интерес, привлекает к себе

---

[1] «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты». М.—Л., 1935, с. 124.

[2] Там же, с. 125.

[3] «Воспоминания Павла Воиновича Нащокина, написанные в форме письма к А. С. Пушкину». (Публикация Н. Я. Эйдельмана.) — «Прометей», т. X. М., 1974, с. 275—292.

[4] Все цитаты из этих «Записок» даются по тексту «большого» академического Собрания сочинений Пушкина, где они озаглавлены следующим образом: «Воспоминания П. В. Нащокина с поправками Пушкина» (XII, 287—292).

внимание современных исследователей[1]. В настоящем очерке, который, повторяю, не претендует на всестороннее освещение биографии Нащокина, я коснусь главным образом тех вопросов, которые все еще остаются неясными для исследователей творчества Пушкина. Опираясь на некоторые новые документальные материалы, я попытаюсь заполнить ряд «белых пятен» в биографии Нащокина.

* * *

Потомок старинного русского боярства, Нащокин живо интересовался своей родословной, проявлял повышенный интерес к истории своих предков, гордился своим отцом, генерал-поручиком В. В. Нащокиным, который, по его словам, принадлежал к числу «замечательнейших лиц екатерининского века» (XI, 189).

Основанные на семейных преданиях и личных, детских воспоминаниях и вобравшие в себя богатый бытовой и исторический материал, мемуары П. В. Нащокина при всей своей фактической ценности содержат немало неточностей. Вот один из примеров: «В 1800 ли, 801, 802 ли году я родился, утвердительно не знаю; причина впоследствии откроется; но знаю верно, что это было с 14 на 15 декабря за полночь» (XII, 288). Впоследствии Нащокин так и не объяснил, почему он не знает точно года своего рождения. Уточнить и скорректировать подобного рода неточности, дополнить биографию Нащокина новыми важными сведениями позволяют документы, присланные В. А. Нащокиной-Зызиной. Н. Н. Белянчиков, предпринявший ряд розысков в московских архивах, также любезно предоставил в мое распоряжение несколько своих неопубликованных работ, в том числе и обширную рукопись «Пушкин, Гоголь, Белинский и Нащокины. (Из истории их отношений)», в которой приведен ряд новых сведений, уточняющих биографию П. В. Нащокина[2]. В Государственном историческом архиве Московской области (ГИАМО) исследователь среди прочих документов обнаружил и свидетельство Московской духовной консистории за № 5953 от 15 сентября 1847 года[3]. Текст его следующий: «В метрической книге Замоскворецкого Сорока Космодамианской церкви, что в Каташеве, 1801 года, в статье о родившихся под № 38 написано: «Декаб-

---

[1] См.: «Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837». Л., 1969, с. 432; Н. Белянчиков. Литературная загадка.— «Вопросы литературы», 1965, № 2, с. 255—256; Г. И. Назарова. 1) Нащокинский домик. Л., 1971, с. 9—22; 2) Неизвестные портреты Нащокиных.— *Врем. ПК.* 1973. Л., 1975, с. 98—103; «Прометей», т. X. М., 1974, с. 275—292; «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1974, с. 439—447.

[2] Хранится в Рукописном отделе Пушкинского дома *(ИРЛИ).*

[3] *ГИАМО.*

ря восьмого у генерал-майора Воина Васильевича Нащокина родился сын Павел, крещен декабря 16 дня. Восприемником был премьер-майор Яков Михайлович Маслов, восприемницею была помянутого генерала Нащокина дочь девица Настасья Воиновна. Таинство святого крещения совершил приходский священник Алексей Саввин с причтом»[1].

Таким образом, вопрос о годе рождения П. В. Нащокина решается абсолютно точно: он родился 8 декабря 1801 года. Для биографа Нащокина представляет значительный интерес и присланная мне В. А. Нащокиной-Зызиной «Копия о дворянстве П. В. Нащокина», выданная Московским дворянским депутатским собранием «по указу его императорского величества» 19 мая 1850 года «Екатерине Павловне Нащокиной, внесенной в 6-ю часть Дворянской родословной книги Московской губернии о ее дворянстве, вследствие прошения родителя ее поручика Павла Воиновича Нащокина и состоявшейся на оное марта 17 дня 1850 года резолюции. Правительствующего Сената Департаменту Герольдии донесено 21 апреля 1850 года за № 949»[2].

Документ, таким образом, совершенно официальный. Подписан он «депутатом дворянства» князем Василием Оболенским. В дальнейшем я для краткости буду называть этот документ «копией о дворянстве» или просто «копией». «Копия» содержит сведения о происхождении рода Нащокиных, многочисленные выписки из их родословной, ряд справок о прошениях, поданных в разное время Павлом Воиновичем в Московское дворянское депутатское собрание, данных о прохождении им военной службы и т. д.

Написана «копия» тяжелым канцелярским языком, и читать ее довольно утомительно. Извлечем из этого документа лишь наиболее интересные для нас данные.

Начнем с происхождения древнего рода Нащокиных. Эти сведения давно известны, но опубликованы они в трудно доступных сейчас изданиях[3].

По примеру многих старинных русских фамилий, Нащокины считали своим родоначальником некоего знатного иностранца. Согласно копии с «Общего гербовника», выданной из департамента герольдии одному из родственников (двоюродному дяде) Павла Воиновича — статскому советнику Петру Федоровичу Нащокину 24 сентября 1799 года, «к великому

---

[1] *ИРЛИ.*

[2] Текст «копии» занимает 7 больших страниц гербовой бумаги. Я пользовался присланной мне В. А. Нащокиной-Зызиной фотокопией этого документа (как и при работе с другими материалами из архива Нащокиных).

[3] Я пользовался данными, приведенными в «Русской родословной книге», изданной редакцией «Русской старины» (СПб., 1873, с. 251—263), и в «Русской родословной книге» А. Б. Лобанова-Ростовского (т. II, изд. 2-е, СПб., 1895, с. 21—27).

князю Александру Михайловичу Тверскому[1] выехал из Итальянские земли князь и владетель Дукс, которому по крещению наречено имя Дмитрий, по прозванию Красной; у него был сын Дмитрий же Нащока, сие наименование получивший потому, что на щеке имел рану от татар; потомки его, Нащокины, многие российскому престолу служили в боярах, наместниками, стольниками и в иных знатных чинах, а некоторые посылались в иностранные государства посланниками и жалованы были от государей поместьями»[2].

Можно усомниться в том, чтобы родоначальник Нащокиных в самом деле был герцог (по-латыни dux, по-итальянски duca). Звучит это импозантно, но вряд ли в XIV столетии итальянский герцог отправился бы служить в далекую и почти неизвестную Русь. Сам Павел Воинович предполагал, что его предок («какой-то выходец из Италии Дукс и владетельный князь») прибыл туда, «вероятно, в гости, к какому-нибудь удельному князю» (XII, 290). Скорее, однако, итальянский выходец, если он действительно существовал[3], был просто храбрым искателем приключений, почему-либо не ужившимся у себя на родине.

Сын его, во всяком случае, лицо вполне историческое, Дмитрий Дмитриевич Нащока имел сан боярина. Он был ранен в 1327 году во время возмущения тверитян против татар. Впоследствии боярин Нащока выехал из Твери в Москву и служил великому князю Симеону Гордому. Среди его потомков мы находим многочисленных посланников и воевод. Назовем Василия Федоровича, посланника в Польше (1553 г.); Семена Федоровича, голову в большом полку по разряду 1556 года; Афанасия Федоровича Злобу, наместника в Изборске, взятого в плен ливонцами (1559 г.); Григория Афанасьевича, посланца в Константинополе (1592—1593 гг.); Ивана Афанасьевича, посла в Грузии (умер в 1601 г.). Как это нередко бывает в многочисленных дворянских родах, среди Нащокиных встречались и лица, которыми потомки отнюдь не могли гордиться. Так, Федор Андреевич, которому летопись присвоила мудреный эпитет «волкохищенной собаки», при Лжедимитрии участвовал в грабеже с литовскими людьми и был убит в Вологде в 1608 году.

Мы видим в родословной и прадеда Павла Воиновича, стольника Александра Федоровича Нащокина, умершего в царствование Петра I (в 1721 г.). От него пошли две интере-

---

[1] Великий князь Александр Михайлович Тверской княжил дважды — в 1324—1327 гг. и затем в 1337—1339 гг.

[2] Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, ч. III. СПб., 1803, с. 14.

[3] Составитель родословной Нащокиных («Русская родословная книга». СПб., 1873, с. 251—263) считает их родоначальником Дмитрия Дмитриевича Нащоку, но об отце его, выходце из Италии, все же упоминает.

сующие нас линии рода Нащокиных, к младшей из которых принадлежал и Павел Воинович. Дед его, генерал-поручик Василий Александрович (1707—1760), оставил записки, изданные лишь в 1842 году. Отец, Воин (Доримедонт) Васильевич (1742—1804), также имел чин генерал-поручика. В «Записках» красочно рассказывается о его гордости, вспыльчивости и многих чудачествах (XI, 189—190).

Воин Васильевич был женат на Клеопатре Петровне Нелидовой (1767—1828), принадлежавшей к не титулованному, но знатному и богатому дворянскому роду. О своей матери друг Пушкина говорит: «Мать моя была в своем роде столь же замечательна, как и мой отец <...> Отец, заблудившись на охоте, приехал в дом [к] Нелидову, влюбился в его дочь, и свадьба совершилась на другой же день. Она была женщина необыкновенного ума и способностей. Она знала многие языки, между прочим греческий. Английскому выучилась она шестидесяти лет» (XI, 191).

Сам Павел Воинович — потомок боярина Дмитрия Нащоки в 14-м колене. Как мы видим, род его был весьма старинным, он существовал уже пятьсот лет. Особо выдающихся личностей не дал, но людей незаурядных среди предков Нащокина все же было немало.

После смерти в 1721 году стольника Александра Федоровича все родовое недвижимое имущество Нащокиных, согласно закону, перешло к его старшему сыну Федору, но и младший сын, дед Павла Воиновича, тем не менее, несомненно, был богат. Рассказ Нащокина о первых годах своего детства, записанный Пушкиным, рисует нам быт богатой барской семьи, еще тесно связанный с предыдущим, XVIII веком. Вот как образно и красочно описывает он, например, отъезд отца в Петербург и саму поездку: «На дворе собирается огромный обоз — крыльцо усеяно народом — гусарами, егерями, ливрейными лакеями, карликами, арапами, отставными маиорами в старинных мундирах и проч. Отец мой между ими в зеленом плаще <...> Собираясь куда-нибудь в дорогу, подымался он всем домом. Впереди на рослой испанской лошади ехал поляк Куликовской с валторною <...> должность его в доме состояла в том, что в базарные дни обязан он был выезжать на верблюде и показывать мужикам lanterne magique[1]. В дороге же подавал он валторною сигнал привалу и походу. За ним ехала одноколка отца моего, за одноколкою — двуместная карета про случай дождя; под козлами находилось место любимого его шута Ивана Степаныча. Вслед тянулись кареты, наполненные нами, нашими мадамами, учителями, нянькам и проч. За ними ехала длинная решетчатая фура с дураками, арапами, карлами, всего 13 человек. Вслед за

---

[1] Волшебный фонарь (*франц.*).

нею точно такая же фура с больными борзыми собаками» (XI, 189—190).

Умный и наблюдательный автор, воссоздавая красочные картины старинного русского быта, безусловно, видит и его смешные стороны, но юмор, который окрашивает описание, добродушен, лишен обличительного пафоса. Ничего странного он не усматривает в привычках своего отца. По словам Нащокина, «он был человек достойный в полной силе слова» (XII, 291).

За рассказами Нащокина о родителях, о знаменитых предках, в число которых он включает и известного боярина Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина («царственныя большия печати и государственных великих дел оберегатель» — XII, 290—291), стоит человек, несомненно любящий свое сословие, свой род и весь уклад старинной дворянской жизни.

Быть может, читатель спросит: какое отношение к творчеству Пушкина имеет родословная его друга — «Дукс земли Италийской», все эти бояре, послы, наместники, стольники, и «волкохищенная собака» (сторонник Лжедимитрия), и А. Л. Ордын-Нащокин (состоявший, впрочем, в весьма отдаленном родстве с предками Павла Воиновича)[1], и генерал-поручик екатерининского времени В. В. Нащокин?

Все эти исторические лица, безусловно, интересовали Пушкина; именно по его настоятельной просьбе П. В. Нащокин занялся описанием происхождения «некоторых предков» и познакомил поэта с личностью своего отца (XII, 290). Подобно Нащокину Пушкин дорожил своим дворянским достоинством, проявлял особое внимание к прошлому своего рода и также был склонен несколько преувеличивать его знатность.

Поэт выводит Пушкиных в «Борисе Годунове», в «Моей родословной» и других произведениях. В отрывке, носящем редакторское название «Начало автобиографии», он пишет: «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории <...> Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, *сделал честно свое дело*. Четверо[2] Пушкиных подписались под грамотою о избрании на царство Романовых» (XII, 311).

Все это соответствует истине, но надо сказать, что эти исторически известные Пушкины — лишь отдаленные родственники поэта по боковым линиям.

При таком интересе и Пушкина, и Нащокина к своим

---

[1] Род Ордын-Нащокиных, впоследствии угасший, отделился от потомков Дмитрия Дмитриевича Нащоки еще в начале XV в.

[2] В действительности семеро.

родословным вряд ли можно сомневаться в том, что друзья не раз говорили о предках и того, и другого. Им было что о них порассказать, так как оба они не принадлежали к числу дворян, давно «отрекшихся» от своих отцов и их «древней славы», о которых поэт с тонкой иронией писал в великолепных строках «Езерского» (V, 99). Так, по имени главного героя, редакторы сочинений Пушкина назвали его второй роман в стихах, который, к сожалению, остался неоконченным, вернее, только начатым. Поэт работал над ним в 1832—1833 гг.

Это произведение до некоторой степени загадочно. Никаких планов его не сохранилось. Авторского названия нет, и даже сюжет романа неизвестен. Начинается он с подробной родословной героя, которая вместе с рассуждениями автора о старом и новом дворянстве занимает более двухсот стихов. По существу, весь почти зачин романа посвящен родословной Езерских.

Невольно возникает мысль о том, нельзя ли обнаружить прототип этой дворянской родословной.

На мой взгляд, собственное родословие Пушкина вряд ли послужило единственным образцом родословной Езерского.

В 1830 году, в ответ на выпад Фаддея Булгарина, издевавшегося над африканским предком поэта, Пушкин написал резко полемическую «Мою родословную». В ней поэт исторически точно перечислил многих своих предков, близких и далеких, противопоставляя их, древних дворян, «аристократии» карьеристов и выскочек, народившейся во время последних царствований. В «Езерском» Пушкин, изложив родословную героя, вновь возвращается к прежней теме о старом и новом дворянстве и снова иронически называет себя «мещанином»:

Я сам — хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трунят —
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ.
(V, 99)

Однако, несмотря на эти повторения, сама по себе родословная Езерских — не сколок с пушкинской. У нее есть и какой-то другой прототип. Возможно, что им послужила родословная Нащокиных, по-видимому хорошо известная поэту.

В века старинной нашей славы,
Как и в худые времена,
Крамол и смуты в дни кровавы,
Блестят Езерских имена.
Они и в войске и в совете,
На воеводстве и в ответе[1]
Служили князям и царям.
(V, 98)

---

[1] «Ответом» в Московской Руси называлась посольская служба.

Последние три стиха перекликаются с тем, что сказано в «Российском гербовнике» о предках Павла Воиновича: «...потомки его, Нащокины, многие Российскому престолу служили в боярах, наместниками, стольниками и в иных знатных чинах, а некоторые посылались в иностранные государства посланниками».

Есть в повествовании о предках Езерского и другие места, которые, быть может, также внушены родословной пушкинского друга:

...Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей дух воинственный и зверский
Был древле ужасом морей.
Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода,
Гласит Софийский хронограф.
(V, 97)

Родоначальник Нащокиных не был варягом, и «гласит» о нем лишь «Российский гербовник», но он, по преданию, итальянский герцог и, подобно пушкинскому предку Радше («прусскому выходцу» — XII, 311), является основателем грозного и воинственного рода.

Ондрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью.
Он в лавре схимился Печерской.
Отсель фамилию свою
Ведут Езерские.
(V, 98)

Ивана и Илью с родословной Нащокиных, по-видимому, связать нельзя, но сына исторически достоверного основателя их рода, боярина Дмитрия Дмитриевича Нащоки, звали Андреем. Принятие схимы «Ондреем» Езерским, быть может, навеяно судьбой боярина Ордын-Нащокина, которого Павел Воинович считал в числе своих предков. В 1672 году этот выдающийся государственный деятель принял монашество в Крыпецком монастыре с именем Антония.

Возможно также, что с родословной друга Пушкина связан и еще один эпизод:

Другой Езерский, Елизар,
Упился кровию татар
Между Непрядвою и Доном.
(V, 98)

Боярин Дмитрий Дмитриевич Нащока в Куликовской битве (1380) участвовать не мог, но ранен он был, как известно, в Твери во время жестокой расправы этого города с татарами, когда ханский посланник Шевкал был сожжен заживо.

В сохранившихся вариантах начальных строф «Езерско-

го» герой романа представлен то богатым барином (Рулиным или Волиным), то никак не названным бедным чиновником, который живет «в конурке пятого жилья» (т. е. на пятом этаже).

С. М. Бонди было высказано предположение о том, что по ходу романа богатый молодой человек «должен был разориться и превратиться в бедняка»[1]. Если это предположение — автором, надо сказать, недостаточно обоснованное — все же верно, то, на мой взгляд, задуманное Пушкиным превращение является еще одним доказательством, что Павел Воинович отчасти послужил Пушкину прототипом Езерского. Нащокин, правда, разорился, казалось безнадежно, уже после смерти поэта, но и при его жизни Павел Воинович то вел жизнь богатого человека, то бедствовал.

При жизни Пушкина Павел Воинович, по-видимому, не обращался ни с какими просьбами в дворянские учреждения. Не было в этом нужды. Когда же стали подрастать дети, Нащокин для обеспечения их будущего вынужден был заняться подтверждением дворянских прав своей семьи, восстановлением ее родословной. Воспоминаний было мало, требовались документы.

«Копия о дворянстве» показывает, что начиная с 1843 и вплоть до 1850 года он неоднократно обращался в Московское дворянское депутатское собрание с различного рода прошениями. Излагать их подробно мы не будем, отметим лишь, что в 1843 году отставной поручик «Павел Воинов сын Нащокин с детьми» — сыном Александром, дочерьми Натальей, Екатериной и Софьей был внесен в четвертую часть дворянской родословной книги Московской губернии. Четвертая книга — это роды иностранного происхождения.

Павел Воинович этим не удовлетворился. В 1850 году, представив родословную и ряд документов, свидетельствующих о принадлежности рода Нащокиных к «древнему дворянству», он ходатайствовал о перенесении себя и детей из четвертой книги в шестую, которая считалась наиболее почетной. В нее вносились «древние благородные дворянские роды», т. е. те дворянские роды, которые могли доказать свою принадлежность к дворянскому сословию в течение ста лет до момента издания Екатериной II жалованной грамоты дворянству (21 апреля 1785 г.). Ходатайство Нащокина было удовлетворено Дворянским депутатским собранием, решение которого утвердил департамент герольдии правительствующего сената.

«Копия о дворянстве», таким образом, ставит на более твердую фактическую почву вопрос о генеалогии Нащокина.

Есть все основания думать, что не только родословная

---

[1] А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. III. М., Гослитиздат, 1960, с. 536.

Нащокина, но и собственная его жизнь, насыщенная яркими и драматическими событиями, также дала Пушкину интереснейший материал для его художественного творчества. И может быть, именно в этом заключается одна из причин, заставляющих особенно подробно останавливаться на тех периодах жизни Нащокина, непосредственным свидетелем которых был Пушкин.

* * *

Сведения о первых годах знакомства Пушкина и Нащокина, начавшегося еще в Царском Селе, очень скудны. Поэт, как известно, поступил в Лицей при его основании (19 октября 1811 г.). В апреле 1814 года мальчик Павел Нащокин, которому шел тринадцатый год, был определен матерью в Благородный пансион при Лицее, где некоторое время учился и брат Пушкина — Левушка.

Со слов Павла Воиновича П. И. Бартенев записал в 1851 году: «Они часто видались и скоро подружились. Пушкин полюбил его (Нащокина.— *Н. Р.*) за живость и остроту характера <...> Хотя у Пушкина в пансионе был брат (Лев), но он хаживал в пансион более для свидания с Нащокиным, чем с братом» [1].

Установить, когда именно происходили эти царскосельские встречи, можно лишь приблизительно, так как даты выхода из пансиона Нащокина мы не знаем.

Левушка Пушкин, родившийся 17 апреля 1805 года, выдержал приемный экзамен в пансион одновременно с Нащокиным — 8 апреля 1814 года [2]. Ему было всего девять лет. В 1817 году Лев Сергеевич, в Лицей не перешедший, был определен в Благородный пансион при Главном педагогическом институте [3]. Таким образом, его пребывание в Царском Селе продолжалось три года. Поэту в 1814—1817 гг. было уже 15—18 лет, Нащокину — 13—16. Можно думать, что старший брат действительно охотнее проводил время с Нащокиным, почти своим ровесником (полтора года разницы), чем с Левушкой, который в эти годы был 9—12-летним мальчиком.

Как и Лев Пушкин, Нащокин не кончил Благородный пансион при Лицее. Согласно версии В. И. Саитова, какое-то время Павел Воинович также обучался в пансионе при Главном педагогическом институте и являлся одним из ближайших пансионных приятелей С. А. Соболевского, что якобы видно

[1] *Рассказы о Пушкине*, с. 26.

[2] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., 1951, с. 56.

[3] *Письма к Хитрово*, с. 50.

из сохранившихся писем последнего[1]. Однако это предположение Саитова спорно и ничем не подтверждается; по крайней мере, в опубликованных письмах Соболевского к Нащокину об их пансионной дружбе нет ни одного слова.

Точного года, когда кончилось обучение Нащокина, мы не знаем. Одно можно сказать — оно было недолгим и, как уже говорилось, явно недостаточным. Слишком уж безграмотны живые и интересные письма Павла Воиновича на русском языке. Будучи взрослым, он обладал большими и разносторонними знаниями, но русской грамотой этот умный и начитанный человек так и не овладел. По-русски он писал, не соблюдая никакой орфографии. Писем Нащокина на французском языке до нас не дошло, но несомненно, что этим языком он владел в совершенстве. Судя по «Запискам», в детстве у него с братом «было множество учителей, гувернеров и дядек», в том числе «один пудреный, чопорный француз, очень образованный, бывший приятель Фридриха II». По всей вероятности, именно этому учителю мальчик был обязан хорошим знанием разговорного языка и любовью к французской литературе. Я уже упоминал о том, что, по словам Н. И. Куликова, Нащокин хорошо ее знал.

Где находился Нащокин после выхода из пансиона и до поступления на военную службу, неизвестно. Во всяком случае, часто цитируемое указание П. И. Бартенева о том, что «Нащокин поступил в ополчение и потом в измайловцы, не кончив курса в пансионе»[2], несомненно, неверно. Павел Воинович вышел из пансиона, когда ополчение, собранное в 1812 году, уже было распущено.

Можно было думать, что сообщение о службе Нащокина в ополчении (кроме П. И. Бартенева никто об этом не упоминает) всецело основано на каком-то недоразумении. Однако Вера Андреевна Нащокина-Зызина 19 сентября 1968 года сообщила мне следующее: «До войны у меня была целая пачка документов, и я прекрасно помню, что там была бумага о том, что Павел Воинович Нащокин вступил в ополчение в 1813 году».

Таким образом, дворянский сын Павел Нащокин был записан в ополчение не после выхода из учебного заведения, а еще за год до поступления в Благородный пансион при Лицее. Мальчику шел двенадцатый год, и служба, конечно, была чисто формальной. Быть может, в имении матери он

---

[1] В. И. Саитов. С. А. Соболевский.— В кн.: Соболевский — друг Пушкина. Пг., 1922, с. 5—6.

[2] См. вступительную заметку П. И. Бартенева к публикации писем Пушкина к Нащокину в кн.: «Девятнадцатый век», кн. I. М., 1872, с. 383. Под «пансионом» автор, по-видимому, понимает Благородный пансион при Лицее. О пребывании П. В. Нащокина в Главном педагогическом институте Бартенев нигде не упоминает.

все же щеголял тогда в форме ополченца. Возможно, и баталии устраивал, командуя крестьянскими ребятишками. Не забудем, что речь идет о временах весьма давних, а Нащокин был сыном генерал-поручика.

До последнего времени отсутствовали сколько-нибудь точные сведения и о годах военной службы Нащокина.

В старинном очерке В. В. Толбина «Павел Воинович», помещенном в «Искре» В. Курочкина[1], Нащокин назван «гвардейским кавалерийским офицером». М. Гершензон перепечатал очерк в своей известной статье «Друг Пушкина Нащокин», но, видимо, не придал веры свидетельству этого автора. О военной службе Нащокина Гершензон, как и другие, говорит лишь, что «он некоторое время прослужил в Измайловском полку, потом вышел в отставку и, вероятно, в половине 20-х годов переселился в Москву»[2]. Хорошо знавший Нащокина Н. И. Куликов также упоминает о том, что Павел Воинович начал службу «в каком-то гвардейском конном полку», но прибавляет при этом, что он «вышел в отставку с чином прапорщика и в этом чине остался всю остальную жизнь»[3]. Последнее не соответствует действительности.

В «копии о дворянстве» сказано, что в 1848 году отставной поручик Павел Воинович Нащокин в числе других документов представил в Дворянское депутатское собрание указ об отставке. Текст указа приведен в «копии» не вполне точно. Я поэтому снова воспользуюсь цитированною уже рукописью Н. Н. Белянчикова[4], который воспроизвел указ на основании архивного документа[5].

«По Указу его величества государя императора Александра Павловича самодержца всероссийского и прочая и прочая и прочая. Предъявитель сего поручик Павел Воинов сын Нащокин, 23 лет, из дворян. В службу вступил подпрапорщиком 1819 года марта 25 дня лейб-гвардии в Измайловский полк, из оного переведен в Кавалергардский полк с переименованием в юнкера 1820 июля 28, корнетом в Лейб-Кирасирский ея императорского величества полк 1821 ноября 18, в котором поручиком 1823 марта 13. В походах, домовых отпусках, штрафах и под судом не бывал, холост. К повышениям аттестовался достойным. 1823 года ноября в 29 день по высочайшему его императорского величества приказу уволен от службы по домашним обстоятельствам. Во свидетельство чего по высочайше предоставленному мне уполномочию

---

[1] В. В. Толбин. Московские оригиналы былых времен (Заметки старожила), III. Павел Воинович.— «Искра», 1866, № 47, с. 624—626.

[2] М. О. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, с. 52.

[3] Н. И. Куликов. Александр Сергеевич Пушкин и Павел Воинович Нащокин.— «Русская старина», 1880, декабрь, с. 990.

[4] *ИРЛИ.*

[5] *ГИАМО.*

дан сей Указ ему, поручику Нащокину, за моим подписанием и приложением герба моего печати, в главной квартире в г. Могилеве на Днепре 18 ноября 1825 года, № 1526. Подлинный подписали: Главнокомандующий 1-ю армиею граф Сакен. Дежурный генерал (*подпись*)».

Согласно указанию Н. Н. Белянчикова, указ этот в деле имеется в копии. На ней собственноручная расписка Нащокина без даты: «Подлинный Указ обратно получил отставной поручик Павел Войнов сын Нащокин».

Немногие строки указа позволяют, однако, значительно точнее, чем прежде, увидеть военный отрезок жизни Павла Воиновича. Вместо весьма туманных воспоминаний перед нами ряд не подлежащих сомнению дат.

Нащокин, как и многие юноши-дворяне, именовавшиеся тогда «недорослями», рано начал службу — ему было 17 лет и 3 месяца. Его зачислили в гвардейский пехотный полк в звании подпрапорщика, что соответствовало юнкеру в кавалерии. В Измайловском полку он пробыл год и четыре месяца, после чего был переведен в самый аристократический полк гвардейской кавалерии — Кавалергардский. Там он прослужил также на правах юнкера, т. е. кандидата в офицеры, 16 месяцев, но при производстве в первый офицерский чин (корнета) Нащокин был переведен в Лейб-Кирасирский ее и. в. полк.

Полк этот, имевший с 1733 года в наименовании почетную приставку «лейб», гвардейским не назывался. Он был переименован в лейб-гвардии Кирасирский ее и. в. полк с присвоением ему прав и преимуществ молодой гвардии гораздо позже — 26 июля 1856 года.

Таким образом, «гвардейским кавалерийским офицером» Павел Воинович не стал. Быть может, в Кавалергардском полку он не остался по денежным соображениям. И для службы в кирасирах офицеру нужно было иметь значительные личные средства, но все же меньше, чем в кавалергардах. Однако юнкером Кавалергардского полка Нащокин прослужил более года, офицером близкого к гвардии Кирасирского — ровно два, и обошлось это ему, несомненно, очень дорого.

Доверяя в целом повествованию о Павле Воиновиче «старожила» В. В. Толбина, необходимо учитывать, что он был человеком, по всей вероятности, не военным и в силу этого допускал терминологические неточности.

Мемуарист пишет: «Петербургская[1] молодая жизнь Пав-

---

[1] Павел Воинович, вероятно, имел возможность часто бывать в столице, но его полк был расквартирован не в Петербурге, а в пригородных населенных пунктах. В «Истории л.-гв. Кирасирского полка» полковника Маркова (СПб., 1884) нет хронологически привязанных квартир полка в 1820—1825 гг. В тексте упоминаются Красное Село, Ижора, Пелла, Гатчина, позднее — более удаленные Великие Луки, Старая Русса. За эту справку благодарю Л. А. Черейского.

ла Воиновича была завидною жизнию! Наследник громадного родового имения, гвардейский кавалерийский офицер, принятый в лучшем обществе, он удивлял многих обстановкою своей холостой квартиры, и своими рысаками, и своими экипажами, выписанными прямо из Вены, и своими вечерами, на которых собирались литераторы, художники, артисты и французские актрисы <...> Деньги ему были нипочем. Умный, образованный, человек со вкусом, он бросал их, желая покровительствовать художникам и артистам. Он любил жить и давал жить другим <...> Он покупал все, что попадало ему на глаза и останавливало чем-нибудь его внимание: мраморные вазы, китайские безделушки, фарфор, бронзу — что ни попало и сколько бы ни стоило; в особенности дорого ему обходились бенефисные подарки актрисам. Причудам его не было конца, так что однажды за маленький восковой огарок, пред которым Асенкова[1] учила свою лучшую роль, он заплатил ее горничной шальную цену и обделал в серебряный футляр, который вскоре подарил кому-то из знакомых»[2].

Как мы знаем, родовое имущество Нащокиных давно перешло к наследникам по старшей линии. Наследовать его Павел Воинович не мог, но автор, вероятно, имеет в виду «ростовскую вотчину», которая перешла к Нащокину после смерти отца (размеров ее мы не знаем). То, что В. В. Толбин сообщает о дружбе молодого кирасира с писателями, артистами и художниками, хорошо согласуется со сведениями о позднейшей жизни Павла Воиновича в Москве.

Н. В. Гоголь, близко знавший Нащокина, в обширном письме к Павлу Воиновичу от 20 (8) июля 1842 года из Гастейна[3] добавляет новые подробности петербургской жизни бывшего кавалергарда и кирасира, давая ей иное, чем В. В. Толбин, освещение: «Вы провели, по примеру многих, бешено и шумно вашу первую молодость, оставив за собой в свете название повесы. Свет остается навсегда при раз установленном от него же названии. Ему нет нужды, что у повесы была прекрасная душа, что в минуты самых повесничеств сквозили его благородные движения, что ни одного бесчестного дела им не было сделано». Гоголь стремился помочь Павлу Воиновичу, сильно бедствовавшему в 1842 году, по-новому устроить свою жизнь. Он считал в то же время, что сложившееся в свете неблагоприятное мнение о Нащокине «заграждает ему путь к казенным местам».

Гоголь обратился поэтому не к официальным лицам, а к

---

[1] Здесь, по-видимому (так же как и в случае, описанном выше), В. Н. Асенкова упоминается ошибочно. Она дебютировала на сцене (1835), когда Нащокин уже жил в Москве.

[2] В. В. Толбин. Московские оригиналы былых времен, с. 625.

[3] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. XII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, с. 72—78.

известному петербургскому миллионеру и откупщику Д. Е. Бенардаки, которого он просил предоставить Павлу Воиновичу какое-либо место, где нужен «честнейший и благороднейший человек».

«Я ему рассказал все, ничего не скрывая: что вы промотали все свое состояние, что провели безрасчетно и шумно вашу молодость, что были в обществе знатных повес и игроков и что среди всего этого вы не потерялись ни разу душою, не изменили ни разу ее благородным движениям, умели приобрести невольное уважение достойных и умных людей и, с тем вместе, самую искреннюю дружбу Пушкина, питавшего ее к вам преимущественно перед другими до конца жизни».

К немалому удивлению Гоголя, петербургский богач, заинтересовавшись личностью Нащокина, предложил ему принять участие в воспитании его сына. Гоголь в свою очередь принял близко к сердцу этот неожиданный проект и в длинном послании старался убедить Павла Воиновича «совершить подвиг, угодный богу», так как молодой Бенардаки сможет, мол, со временем сделать много добра людям. Неизвестно, что Нащокин ответил великому писателю, но воспитателем будущего «прекрасного человека» Павел Воинович так и не стал.

Давно уже возникло предположение о том, что, создавая образ Хлобуева во II томе «Мертвых душ», Гоголь творчески использовал некоторые стороны личности Нащокина и ряд обстоятельств его жизни.

Сто лет тому назад В. В. Толбин писал о Павле Воиновиче: «Человеку этому Гоголь посвятил несколько лучших глав во втором томе своих «Мертвых душ»[1]. Много позже Алексей Веселовский указывал: «В фигурах богатого откупщика Бенардаки, которого Гоголь очень ценил за деловитость и вместе с тем за гуманность, и бывшего приятеля Пушкина, промотавшегося вивера[2] Нащокина, следует, на наш взгляд, видеть оригиналы Муразова <...> и Хлобуева, как в этом убеждает оглашенная теперь переписка Гоголя, сводившего их в надежде спасти Нащокина»[3].

В настоящее время, когда мы значительно лучше, чем прежде, знаем биографию Павла Воиновича и яснее представляем себе его личность, вряд ли можно усомниться в том, что во многих отношениях он действительно послужил прототипом Хлобуева. Чтобы в этом убедиться, достаточно привести хотя бы несколько цитат из IV главы II тома «Мертвых душ».

«Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже

---

[1] В. В. Толбин. Московские оригиналы былых времен, с. 624.

[2] Прожигателя жизни (от *франц.* viveur).

[3] Алексей Веселовский. Этюды и характеристики, т. II. М., 1912, с. 224.

оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если [бы] кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в ризах служил там молебен. Завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь, неизвестный никому почти в дому, поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не смущало и не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме. Иногда же задавался в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гастронома <...> Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой давно бы, на его месте, повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнью <...> И, странное дело! — почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь» [1].

Гоголевский Хлобуев, несомненно, живет по образу и подобию Нащокина. «Я человек хоть и дрянной, и картежник, и все, что хотите,— говорит он,— но взятков брать я не стану» [2].

Хлобуеву было предложено место управляющего, но он отказался, заявив: «Да кто же мне поверит имение: я промотал свое...» Распив с Чичиковым и Платоновым бутылку шампанского, Хлобуев «развязался, стал умен и мил. Остроты и анекдоты сыпались у него беспрерывно. В речах его оказалось столько познанья людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи!» [3].

Четвертая глава «Мертвых душ» писалась, по-видимому, в Москве в 1848—1849 годах, когда Нащокин жил там с семьей в очень тяжелых условиях.

Нельзя, однако, не согласиться с А. Н. Веселовским, который считал, что Хлобуев, конечно, не просто копия Нащокина: «...все эти ссылки имеют значение лишь потому, что могут определить ближайший повод к созданию характера, который затем свободно осложнялся и видоизменялся» [4].

Есть основания думать, что Павел Воинович был не только прототипом гоголевского Хлобуева, но и одного из героев Пушкина. Яркая и самобытная личность Нащокина, его жизнь, богатая бурными и драматическими событиями, нашли отражение в одном из интереснейших творческих замыслов Пушкина.

Автор первой научной биографии поэта П. В. Анненков посвятил подробную статью задуманному Пушкиным большо-

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954, с. 219—220.

[2] Там же, с. 240.

[3] Там же, с. 211, 217.

[4] Алексей Веселовский. Этюды и характеристики, т. II, с. 224.

му роману в прозе[1]. Замысел его возник в связи с появившимся в 1828 году романом английского писателя Э. Бульвера-Литтона «Пельгам, или Приключения одного благородного господина» (Pelham, or the Adventures of gentelman, by Edward Bulver-Lytton). По аналогии с произведением Бульвера Пушкин намеревался назвать свой роман из современной ему жизни «Русский Пелам». Замысел не был осуществлен. Пушкин составил ряд довольно подробных планов этого произведения, но написал лишь короткий набросок первой главы и начало второй. Предполагают, что планы «Русского Пелама» относятся к 1835 году, а возможно, и к 1836 году[2].

П. А. Анненков первый высказал предположение о том, что под именем главного героя Пелымова поэт собирался вывести Нащокина. По мнению Анненкова, в планах пушкинского романа нашли отражение занимавшие поэта рассказы Павла Воиновича «о своей родне и фамильных преданиях своей семьи».

Охарактеризовав бульверовского Пельгама, Анненков замечает: «Конечно, мудрено было Пушкину найти вокруг себя на Руси что-либо подобное этому английскому типу (разве вздумалось бы ему поискать некоторые задатки его в себе самом), но взамен дальнее ослабленное подобие его находилось, так сказать, под рукой у поэта. Более мягкое и даже более понятное отражение честно-шумной, благородно-странной, беспокойной жизни Пельгама представлялось в лице верного друга Пушкина, детски-доброго, доверчивого и впечатлительного П. В. Нащокина, о котором уже упоминали. С него, по нашему мнению, и намеревался Пушкин взять главные, основные черты лица и фигуры «русского Пельгама». Действительно, по количеству необычных похождений, по числу связей, знакомств всякого рода, по ряду неожиданных столкновений с людьми, катастроф и семейных переворотов, испытанных им,— друг Пушкина, насколько можно судить по преданиям и слухам о нем, очень близко подходит к типу «бывалого человека» Бульвера, уступая ему в стойкости характера, в дельности и полноте внутреннего содержания. Зато он еще лучше отвечал намерению Пушкина — олицетворить идею о человеке, нравственно, так сказать, из чистого золота, который не теряет ценности, куда бы ни попал, где бы ни очутился. Редкие умели бы так сберечь человеческое достоинство, прямоту души, благородство характера, чистую совесть и неизменную доброту сердца, как этот друг Пушкина в самых критических обстоятельствах жизни, на краю гибели, в омуте

---

[1] П. Анненков. Литературные проекты Пушкина. Планы социального романа и фантастической повести.— «Вестник Европы», 1881, № 7, с. 29—60.

[2] «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М.— Л., 1966, с. 485.

слепых страстей и увлечений и под ударами судьбы и несчастий, большею частию им самим и накликанных на себя»[1].

Очень вероятная догадка Анненкова, насколько я знаю, вплоть до последнего времени никем не оспаривалась. Сейчас, однако, П. М. Казанцевым выдвинуто предположение о том, что прототипом Пелымова, возможно, является учредитель близкого к декабристам общества «Зеленая лампа» Никита Всеволодович Всеволожский (1799—1862)[2]. По мнению П. М. Казанцева, «нельзя не усмотреть многих точек соприкосновения в судьбе героя пушкинского романа Пелымова и Никиты Всеволожского».

Доводы П. М. Казанцева кажутся убедительными, но, на мой взгляд, давнишней догадке Анненкова они не противоречат. Приходится только признать, что Пушкин, намереваясь создать своего Пелымова, предполагал наделить его некоторыми чертами и ближайшего своего друга — Нащокина, и друга молодости, не столь, правда, близкого, но все же любимого поэтом, — Никиты Всеволожского. Безусловно, было нечто общее в облике этих незаурядных людей.

* * *

Пушкин, несомненно, встречался с Нащокиным в Петербурге после окончания Лицея. Установить, когда именно начались эти петербургские встречи, пока нельзя, — как я уже упомянул, период перед поступлением в гвардию представляет одно из многочисленных «белых пятен» в биографии Нащокина. Юный чиновник коллегии иностранных дел и уже известный поэт Александр Пушкин во всяком случае мог встречаться с еще более юным подпрапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка, вскоре ставшим юнкером Кавалергардского, начиная с 25 марта 1819 года. Видеть друга в гвардейской форме Пушкин мог в течение года с небольшим — в мае 1820 года вольнодумного поэта, как известно, сослали служить в Бессарабию. К сожалению, мы не знаем о том, был ли уже в это время Нащокин приобщен к духовной жизни Пушкина.

В молодых же, порой буйных и для строгого моралиста огорчительных забавах Павла Воиновича Пушкин, несомненно, участвовал не раз. М. А. Цявловский говорит о периоде петербургских встреч: «Общение Пушкина с П. В. Нащокиным, живущим очень широко и беспутно. Пушкин в компании приятелей Нащокина принимает участие в драке с немцами в загородном ресторане «Красный кабачок» и в других развле-

---

[1] П. Анненков. Литературные проекты Пушкина, с. 48.

[2] П. М. Казанцев. К изучению «Русского Пелама» А. С. Пушкина.— *Врем. ПК*, 1964, Л., 1967, с. 21—33.

чениях такого рода»[1]. Много лет спустя, 18 мая 1836 года, поэт писал жене об этой ресторанной баталии: «Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки?» (XVI, 117).

«Дней Александровых прекрасное начало» давно сменилось аракчеевщиной, но нравы были еще довольно вольные — при Николае I за подобное времяпрепровождение состоявшие на службе друзья могли бы понести серьезное наказание...

Военная служба Нащокина протекала в преддекабристские годы, когда гвардия была не только средоточием наиболее образованных, прогрессивно мыслящих слоев русского общества, но и центром широкого оппозиционного движения. В ней зарождались и формировались первые тайные общества, закладывались основы декабризма. Трудно представить, что столь характерная для этой эпохи атмосфера горячих политических споров, резкого осуждения аракчеевщины не оказала никакого воздействия на Нащокина. Однако политическая борьба, по-видимому, была ему внутренне чуждой. Во всяком случае у нас нет никаких данных на этот счет. И все же мы вправе предположить, что умный и наблюдательный Нащокин, не разделяя убеждений радикально настроенной части русского офицерства, не остался вполне равнодушным и к политическим вопросам.

Южная и михайловская ссылки на целых шесть лет разлучили поэта с Нащокиным. Долгое время не было оснований не соглашаться с П. И. Бартеневым, считавшим, что «с отъездом Пушкина на юг прекратились их сношения»[2]. Не было действительно никаких указаний на то, что друзья в 1820—1826 годах переписывались. Однако в 1929 году Н. О. Лернер опубликовал отысканный им в одном старинном журнале[3] отрывок из письма Пушкина к Нащокину из Бессарабии, которое публикатор относит к 1821 году. Привожу полностью этот небольшой отрывок — единственный пока след кишиневской переписки Пушкина с Павлом Воиновичем: «Я живу в стране, в которой долго бродил Назон. Ему бы не должно было так скучать в ней, как говорит предание. Все хорошенькие женщины имеют здесь мужей, кроме мужей — чичисбеев, а кроме их — еще кого-нибудь, чтобы не скучать <...> »[4].

---

[1] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, с. 199—200.

[2] См.: «Девятнадцатый век», кн. I. М., 1872, с. 383.

[3] «Северное обозрение», 1849, т. I, отдел «Смесь», с. 867—868.

[4] Н. О. Лернер. Новооткрытые строки Пушкина.— «Красная нива», 1929, № 24, 9 июня, с. 14.

Редакторы академического издания сочинений Пушкина поместили отрывок в разделе «Dubia» (XIII, 352), но Н. О. Лернер не сомневался в его подлинности. По мнению этого автора, «кроме южной природы, юношу-поэта пленяли и южные женщины. Его остроумная характеристика хорошеньких бессарабок переносит нас в ту атмосферу легких любовных отношений, которая закреплена в его письмах, и его сатирическими стихами, и воспоминаниями современников о тогдашнем Кишиневе и тогдашнем Пушкине»[1].

Анонимный автор заметки, найденной Лернером, упомянув о том, что некий «автографофил» недавно купил за дорогую цену (50 руб. серебром) записку Пушкина, содержавшую всего несколько слов, прибавляет затем: «Спрашивается, что же бы после этого дал такой любитель знаменитых автографов за письма, которые покойный поэт писал к Н*** из Бессарабии[2] и из которых одно начинается так <...> » (следует текст отрывка). Таким образом, в конце 40-х годов, возможно, где-то хранилось не одно, а несколько кишиневских писем Пушкина к Нащокину. Однако вопрос об этих письмах до сих пор остается неясным.

Друзья встретились лишь через шесть лет, в сентябре 1826 года, в Москве, куда прибыл поэт, вызванный царем из михайловской ссылки. Встретились они много испытавшими, но все же молодыми людьми — Пушкину было 27 лет, Нащокину — 25.

О жизни Нащокина в Москве после выхода в отставку, к сожалению, мы знаем очень мало. Пока в нашем распоряжении нет новых документальных данных и сколько-нибудь подробных известий. В сохранившихся воспоминаниях и письмах современников проскальзывают случайные упоминания о «московском существовании» Нащокина. О том, как оно протекало, мы можем во многом лишь догадываться.

По очень вероятному утверждению В. В. Толбина, после гвардейской службы Нащокин оказался в Москве «втрое беднее». П. И. Бартенев сообщает, правда, что «мать его Клеопатра Петровна, урожд. Нелидова, умерла в 1828 году, оставив ему богатое наследство»[3]. Однако Н. Н. Белянчиков весьма убедительно доказывает, что Клеопатра Петровна, скончавшаяся 20 августа 1828 года, все свое недвижимое имущество (дом в Москве и имение в Воронежской губернии) оставила дочери Анастасии Воиновне, по мужу Окуловой, и старшему сыну Василию Воиновичу, обойдя по каким-то соображениям младшего — Павла[4]. Судя по тому, что Павел Воинович уже

[1] «Северное обозрение», 1849, т. I, отдел «Смесь», с. 867.

[2] В другом месте заметки адресат писем назван определеннее: «короткий приятель Пушкина, П. В. Н***».

[3] «Письма П. В. Нащокина к А. С. Пушкину».— «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 433.

[4] *ИРЛИ.*

через несколько месяцев после смерти матери принужден был делать долги, Клеопатра Петровна ему вообще ничего не завещала.

Несмотря на это, Нащокин, по-видимому, продолжал и в Москве вести прежний, широкий образ жизни. «Старожил» В. В. Толбин, причисляя Павла Воиновича к «московским оригиналам», писал: «С ним было близко все, что считалось в двадцатых годах лучшего и замечательного в художественном, артистическом и музыкальном мире»[1].

Не доверять в этом отношении мемуаристу нет оснований, хотя надежных данных об общении Нащокина с лучшими представителями образованного московского общества в 20-х годах известно немного. Многочисленные письма самых выдающихся людей России (не говоря уже о Пушкине и Гоголе) к П. В. Нащокину и упоминания о нем в их переписке относятся главным образом к концу 30-х и 40-м годам. Можно все же отметить, например, его знакомство — по-видимому, уже довольно близкое — с П. А. Вяземским. Следует также назвать знаменитого художника-портретиста П. Ф. Соколова, который, приезжая в Москву, останавливался у Нащокина и подолгу живал в его доме. Во Всесоюзном музее А. С. Пушкина хранится акварель 1824 года, на которой художник изобразил комнату, отведенную ему Павлом Воиновичем, и самого себя за письменным столом[2] (эта акварель, кстати сказать, свидетельствует о том, что в 1824 году Нащокин уже жил в Москве).

Во многом случайны и отрывочны и сведения о встречах Нащокина с Пушкиным во второй половине 20-х годов, хотя они, несомненно, были. Сохранилось лишь одно упоминание — М. П. Погодин записал в своем дневнике 31 декабря 1826 года «Утро у Пушкина с Нащокиным»[3].

Это тем более досадно, что именно в московские годы давнее и близкое знакомство Пушкина и Нащокина переходит в теснейшую дружбу, которая кончится лишь со смертью поэта. Отношения их к началу 30-х годов характеризуются предельной дружеской откровенностью, полным взаимопониманием и горячей привязанностью друг к другу. В эти же годы начинается и их интенсивная регулярная переписка, хорошо сохранившаяся, но дошедшая до нас не полностью. В настоящее время известны 26 писем Пушкина к Нащокину (1830—1836) и 23 письма Нащокина к Пушкину (1831—1836). Во время своих ежегодных приездов в Москву Пушкин, как

---

[1] В. В. Толбин. Московские оригиналы былых времен, с. 625.

[2] Т. В. Буевская. Комната художника П. Ф. Соколова в доме П. В. Нащокина.— В кн.: «Пушкин и его время», вып. I. Л., 1962, с. 511—515.

[3] М. А. Цявловский. Пушкин по документам Погодинского архива. Дневник М. П. Погодина.— В кн.: «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX. СПб., 1914, с. 84.

правило, останавливается у Нащокина. К Нащокину же, как к человеку, «больше него опытному в житейском деле»[1], Пушкин обращается за советом, собираясь жениться на Наталье Николаевне. В июле 1833 года Павел Воинович специально приезжает в Петербург крестить старшего сына поэта — Александра.

* * *

Искренне любя и ценя Нащокина за его редкие душевные качества, бескорыстие, готовность прийти на помощь, Пушкин вместе с тем в ряде писем, относящихся к началу 30-х годов, выражает глубокое недовольство тем, как протекает жизнь его друга. 16 декабря 1831 года Пушкин пишет жене из Москвы:[2] «Нащокин занят делами, а дом его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыгане, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход; всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, пьет, пляшет; угла нет свободного — что делать? Между тем денег у него нет, кредита нет... Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит» (XIV, 249).

25 сентября следующего года Пушкин в письме к Наталье Николаевне говорит, что «Нащокин мил до чрезвычайности», но о его окружении отзывается еще резче, чем год назад, прибавляя: «...не понимаю, как можно жить окруженным такой сволочью» (XIV, 32).

Действительно, что-то неладное делалось с Нащокиным в эти годы. Его издавна неупорядоченная жизнь стала уже совсем беспорядочной. Причин этого переживаемого им душевного срыва мы не знаем. Возможно, их надо искать в печальных событиях 1828 года.

Нащокин в этом году потерял мать, о которой он отзывался как о «женщине необыкновенного ума и способностей». Клеопатра Петровна, живя вместе с сыном в Петербурге в годы его недолгой военной службы, по-видимому, не умела полностью обуздывать его мятущуюся натуру, баловала его свыше всякой меры; но все же присутствие матери, которую не хотелось слишком огорчать, было в известной мере сдерживающим началом.

И в том же 1828 году умерла женщина, которой, быть может, удавалось то, с чем не могла совладать мать. 5 ав-

[1] *Рассказы о Пушкине*, с. 35.
[2] Пушкин в этот приезд прожил у Нащокина около трех недель.

густа этого года П. А. Вяземский пишет своему приятелю Николаю Алексеевичу Муханову: «Я совершенно ничего не знал о несчастии Нащокина. Известие ваше поразило меня нечаянностью и плачевностью. Я почти только раз видел покойницу и очень полюбил ее за миловидность и милое обращение. Расскажите мне, каким случаем умерла она так скоропостижно»[1]. Тогда же, 24 августа, Александр Алексеевич Муханов пишет брату с театра военных действий: «Кланяйся Нащокину; я вполне разделяю его живое и огромное горе»[2].

Мы ничего не знаем об этой подруге Нащокина, и вряд ли когда-нибудь станет известно, кто она; скорее всего, это была молодая женщина «из простых». Но знакомые Павла Воиновича, несомненно, знали, что она была ему очень дорога. «Несчастие Нащокина», «его живое и огромное горе»... Для этого доброго и привязчивого человека оно не могло пройти бесследно. Быть может, именно внезапная смерть подруги и была, по крайней мере отчасти, одной из причин, еще больше спутавшей и без того путаную жизнь Нащокина. В начале 30-х годов он, видимо, проживал остатки отцовского наследства. Имелась еще, правда, деревня, быть может та «ростовская вотчина», о которой мы уже упоминали. О ней же, вероятно, Нащокин писал Пушкину 2 сентября 1831 года: «На будущее лето — предлагаю вам мою деревеньку на житье, которая состоит в 160 верстах от Москвы; я в ней жить не могу, а мог бы приехать дня на три» (XIV, 218). При усадьбе находились дворовые люди «числом до тридцати»[3]. Судя по числу дворни, барский дом был не малый.

Жить можно было бы неплохо, но владельца одолевали долги. Карточные проигрыши (правда, чередовавшиеся с выигрышами) не позволяли как следует наладить жизнь. Но хуже всего было то, что Нащокин, видимо, постепенно отрывался в эти годы от той культурной среды, к которой раньше принадлежал. В письмах Павла Воиновича к Пушкину за 1831—1833 годы и в воспоминаниях о Нащокине, относящихся к этому времени, мало упоминаний о людях сколько-нибудь выдающихся. Близость с ними либо в прошлом, либо еще в будущем.

У самого Нащокина порой чувствуется сильная неудовлетворенность своим существованием. 26 мая 1831 года он пишет, например: «Живу я как в чаду и не весело — ты жи-

---

[1] Письма Петра Андреевича Вяземского братьям Мухановым, 1827 и 1828 гг.— В кн.: «Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина», ч. IX. М., 1901, с. 193.

[2] Дневник и письма Александра Алексеевича Муханова.— В кн.: Щукинский сборник, вып. III. М., 1904, с. 194.

[3] См. письмо Нащокина к Пушкину, посланное после 3 мая — в июне 1834 г. из Тулы (XV, 168—169).

вешь как в деревне, говоришь ты, а я как в городской кузнице» (XIV, 178).

То же самое сообщает Павел Воинович и 10 января 1833 года, давая очень образную зарисовку царящего в его доме быта: «Народу у меня очень много собираются, со всякими надо заниматься, а для чего, так богу *угодно:* ни читать, ни писать время нет — только и разговору — *здравствуйте, подай трубку, чаю. Прощайте* — очень редко — ибо у меня опять ночуют и поутру, не простясь, уходят» (XV, 41).

Характерно также, что при встречах с таким выдающимся человеком, как П. Я. Чаадаев, у Нащокина, по-видимому, впервые появляется состояние некоторой неуверенности. Павел Воинович с Чаадаевым знаком, часто видит его в клубе, но, подойти к нему не отваживается: «...я об нем такого высокого мнения, что не знаю, как спросить или чем начать разговор» (XIV, 210).

Но и в период временного душевного спада Нащокин продолжает горячо интересоваться искусством и литературой, оказывает помощь нуждающимся артистам. В доме его в начале 30-х годов бывает несомненно талантливый композитор, музыкант и дирижер Андрей Петрович Есаулов. Не только бывает, но и подолгу живет в его доме, пользуясь щедрой поддержкой Павла Воиновича. По всей вероятности, он же познакомил Есаулова с Пушкиным. Когда состоялось это знакомство, мы не знаем, но во всяком случае уже 20 июня 1831 года Нащокин пишет поэту: «Андрей Петрович свидетельствует тебе почтение, он почти столько же тебя знает и любит, как и я, что доказывает, что он не дурак, тебя знать — не безделица» (XIV, 179).

И Пушкин, и Нащокин принимают большое участие в сложной и в общем несчастной судьбе композитора. Фамилия Есаулова не раз встречается в письмах и того, и другого. Поэту нравился его романс «Расставание» (или «Прощание»), написанный на слова пушкинского стихотворения «В последний раз твой образ милый...», обращенного к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой.

В июне 1833 года Нащокин, отправляясь в Петербург, взял с собой оставшегося без места Есаулова и в июле того же года через своего приятеля, директора театров А. М. Гедеонова, устроил его в оркестр императорских театров. Уезжая в Москву, Нащокин, видимо, поручил Есаулова заботам Пушкина и Соболевского. Однако крайне неуживчивый, неизменно ссорившийся с начальством композитор не удержался и здесь.

В середине марта 1834 года Пушкин пишет Павлу Воиновичу: «Андрей Петрович в ужасном положении. Он умирал с голоду и сходил с ума. Соболевский и я, мы помогали ему деньгами скупо, увещаниями щедро. Теперь думаю отправить его в полк капельмейстером. Он художник в душе и в

привычках, то есть беспечен, нерешителен, ленив, горд и легкомыслен; предпочитает всему независимость; но ведь и нищий независимее поденщика. Я ему ставлю в пример немецких гениев, преодолевших столько горя, дабы добиться славы и куска хлеба» (XV, 117).

В натуре Есаулова, как кажется, при всей его неуживчивости было много общего с мягким, бесхарактерным Нащокиным. Может быть, потому они и сблизились в самый неустроенный период жизни последнего.

* * *

О личной жизни Павла Воиновича до 1830 года мы знаем очень мало. Как уже говорилось, в 1828 году умирает его московская подруга, о которой с таким теплым чувством писал П. А. Вяземский.

Года через два начинается в жизни Павла Воиновича период «цыганский». 26 июня 1831 года Пушкин пишет ему из Царского Села: «Еще кланяюсь Ольге Андреевне, Татьяне Демьяновне, Матрене Сергеевне и всей компании» (XIV, 181). «Компания» — это знаменитый московский цыганский хор Ильи Соколова, который близко знали оба друга.

В одну из тамошних певиц, Ольгу Андреевну Солдатову, страстный по натуре Нащокин влюбился, можно сказать, неистово. Об этом увлечении в 70-х годах рассказывала писателю Б. М. Маркевичу старушка цыганка Татьяна («Татьяна Демьяновна» пушкинского письма)[1]. Когда-то она сама была знаменитой исполнительницей цыганских песен в том же хоре, что и Солдатова. «Нащокин,— по словам Татьяны,— пропадал в ту пору из-за нее, из-за Ольги. Красавица она была и втора чудесная. Только она на любовь с ним не соглашалась, потому у ней свой предмет был — казак гвардейский, Орлов, богатейший человек; от него ребеночек у нее был».

Ольга Андреевна, по-видимому, была достаточно расчетливой особой. На степную Земфиру эта московская цыганка совсем не походила. На уговоры влюбленного Нащокина она не соглашалась, пока дела Павла Воиновича были плохи. «Однако тут он вскорости поправился как-то, и Ольга, так и не дождавшись Орлова, склонилась к нему (Нащокину.— *Н. Р.)* и переехала с ним на Садовую. Жили они там очень хорошо, в довольстве»[2].

В общем этот дворянско-цыганский роман Павла Воиновича весьма баналей, и, вероятно, он более или менее быстро закончился бы, не стань Солдатова матерью.

---

[1] В действительности ее звали Татьяной Дмитриевной Демьяновой (Л. А. Черейский. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 129).

[2] Б. М. Маркевич. Полн. собр. соч., т. XI. СПб., 1912, с. 129.

Впервые Пушкин упоминает о ней около 20 мая 1831 года, спрашивая в письме Павла Воиновича: «...что твоя хозяйка?» (XIV, 166), но Ольга Андреевна, несомненно, стала фактической женой Нащокина много раньше — вероятно, еще в 1829 году. В половине 1831 года у Солдатовой уже двое детей от Нащокина — сын и дочь, которую крестил Пушкин. В разгар холерной эпидемии, 15 июля этого года, Нащокин дает другу ряд деловых поручений на случай своей смерти: «...а проценты половину на воспитание сына, если не умрет, ибо твоей крестницы уже нет, а другую на содержание матери» (XIV, 132). Пушкин тотчас же (21 июля) отзывается на это письмо: «Бедная моя крестница! вперед не буду крестить у тебя, любезный Павел Воинович; у меня не легка рука» (XIV, 196).

К малютке — сыну Нащокина, которого назвали Павлом, поэт относится внимательно и любовно. 7 октября 1831 года Пушкин заканчивает письмо словами: «Кланяюсь Ольге Андреевне и твоему наследнику» (XIV, 231). В письмах Пушкин упоминает о нем еще дважды. 2 декабря 1832 года он пишет: «...целую Павла» (XV, 37); в 10-х числах декабря (после 12-го) 1833 года поэт сообщает: «С Плетневым о Павле еще не говорил, потому что дело не к спеху» (XV, 99). По-видимому, Нащокин, у которого в это время намечался жизненный перелом, хотел устроить своего ребенка.

Еще одно упоминание о сыне Павла Воиновича имеется в «Дневнике» Пушкина в записи от 19 июля 1834 года: «19 числа послал 1000 Нащокину. Слава богу! слухи о смерти его сына ложны» (XII, 331).

Пушкин не раз передавал в письмах поклоны Ольге Андреевне. Судя по всему, он был к ней внимателен, гостя в Москве, обещал даже по ее просьбе прислать из Петербурга фуляры (шейные платки) и действительно их прислал. Поэт, однако, не скрывал от Павла Воиновича, что желает ему поскорее покончить с этой связью, безусловно, ощущая, что она постепенно стала для Нащокина безрадостной. Страсть к красивой певунье-цыганке прошла. Павел Воинович больше не «пропадал из-за Ольги». Куликов говорит, что «милая, беспечная, добродушная девушка» искренне любила Нащокина[1]. Может быть, до поры до времени и любила — было за что его любить, но, конечно, не понимала никогда. А Павла Воиновича, видимо, начала тяготить каждодневная близость с совсем малокультурной женщиной (читать она, вероятно, умела, как и некоторые другие цыганки хора, знавшие «цыганскую» поэму Пушкина). Ольга Андреевна к тому же оказалась весьма капризной, о чем Нащокин упоминает в письме к поэту от 9 июня 1831 года (XIV, 173).

---

[1] «Русская старина», 1880, декабрь, с. 993.

Существовал, видимо, план выдать О. А. Солдатову замуж. 11 июня 1831 года Пушкин, обращаясь к Павлу Воиновичу, писал: «Ольгу Андреевну сосватай да приезжай к нам без хлопот» (XIV, 174).

Павла Воиновича Нащокина знало в Москве множество людей. Не была, конечно, тайной и его связь с О. А. Солдатовой. П. И. Бартенев сообщает даже, что «в одном водевиле представлена была жизнь его с цыганкой Ольгою, и, сидя в креслах московского театра, Нащокин глядел на собственное изображение»[1]. Автором этого водевиля был не кто иной, как приятель Павла Воиновича, Н. И. Куликов, о чем он сам рассказывает в своих воспоминаниях: «Ценя милый нрав Оли, я сочинил комедийку с пением «Цыганка» из их жизни, только, по тогдашнему благонравному времени, женив Поля на предмете его любви»[2].

Я уже упоминал о том, что не только Пушкин горячо любил Нащокина, но и его юная жена (в это время Наталье Николаевне еще не было 19 лет) очень хорошо относилась к Павлу Воиновичу. Несомненно, знала, что в свое время Нащокин поддержал намерение друга жениться на ней.

Судя по письму Пушкина к жене от 22 сентября 1832 года, цыганка, доставлявшая Павлу Воиновичу столько неприятностей, вдобавок ко всему стала ему изменять. Поэт «нашел его по-прежнему озабоченным домашними обстоятельствами, но уже спокойнее в отношениях со своею Сарою[3]. Он кокю[4], и увидит, что это состояние приятное и независимое» (XV, 30).

Казалось бы, что у Нащокина полное основание разойтись с Солдатовой, но нудная связь продолжается, и около 25 февраля 1833 года Пушкин, выразив надежду заработать побольше денег, прибавляет: «Тогда авось разведем тебя с сожительницей» (XV, 50). 24 ноября того же года поэт называет ее имя в последний раз: «Ольге Андреевне мое почтение» (XV, 96).

В этом письме есть, однако, и еще одна фраза, которая, по всей вероятности, относится к той же О. А. Солдатовой,— фраза, для нее весьма нелестная. Рассказав о том, как, возвращаясь из Москвы, он среди дороги ссадил с козел своего пьяного слугу Гаврилу, Пушкин прибавляет: «...я подумал о тебе... Вели-ка своему Гавриле в юбке и в кацавейке слезть с козел — полно ему воевать» (XV, 96).

Итак, несмотря на постоянные советы Пушкина, долгое время ничто не изменялось. Умный, добрый, образованный

---

[1] «Русский архив», 1878, кн. I, с. 76.

[2] «Русская старина», 1880, декабрь, с. 993.

[3] Поэт имеет в виду библейский персонаж — олицетворение ревнивой жены.

[4] От французского слова cocu — обманутый муж.

человек по-прежнему оставался во власти малокультурной, ревнивой и взбалмошной женщины, к которой он давно охладел и которая к тому же была ему неверна. Твердости характера у Павла Воиновича не было. Можно, кроме того, думать, что в Солдатовой он видел прежде всего мать своего сына, которого очень любил.

По-видимому, поэт хотел не только «развести» его с Ольгой Андреевной, но и совсем увезти друга из Москвы, подальше от той совершенно недостойной компании, в которую Павел Воинович там втянулся. Характерно, что при всей своей привязанности к Нащокину он, приехав в Москву в 1832 году, у него не остановился.

И все же дорогому, но порядком беспутному другу Пушкин и в денежных делах доверял как никому другому. 16 февраля 1831 года он, например, сообщает П. А. Плетневу: «Через несколько дней я женюсь: и представлю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38 000 — и вот им распределение <...> 10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные» (XIV, 152).

Пушкин знает, что делает. Знает, что его безалаберный Войныч — прежде всего человек предельно честный. Будут деньги (а они у Нащокина все же бывают — то неожиданное наследство, то крупный выигрыш) — отдаст непременно. Не только отдаст, но и сам даст взаймы. 7 октября 1831 года, в письме из Царского Села, поэт просит Павла Воиновича заплатить за него 15 тысяч московским игрокам в счет его 20-тысячного долга. Остальные 5 тысяч обещает уплатить сам в течение трех месяцев.

По совести говоря, трудно решить, кто из двух друзей хуже умел обращаться со своими средствами; кажется, все же Нащокин. Женившись и став отцом семейства, Пушкин, как уже было сказано, по-прежнему любя карты, прекратил все же крупную игру. Огромный проигрыш в 20 с лишним тысяч, с которым так трудно было расквитаться, он имел неосторожность сделать, еще будучи холостым. Павел Воинович, как мы знаем, так и не перестал быть игроком.

В этом отношении все осталось по-старому, но только в этом. В остальном его жизнь, мятущаяся, путаная, какая-то ненастоящая, жизнь, в которой до этого, по-видимому, почти не было личного счастья, в конце 1833 года изменилась светло и радостно.

* * *

Пришла большая, подлинная любовь...

В письме Павла Воиновича к Пушкину от 17—18 ноября 1833 года впервые названо имя любимой. Описав тяжелую сцену ревности, которую устроила его цыганская подруга,

Нащокин продолжает: «На вопрос — пишу ли я к Вере Александровне, я сказал нет — и что пишу к тебе с твоего отъезда; я более сего слово не сказал» (XV, 95).

Пушкин, только что уехавший из Москвы, где он провел несколько дней в половине ноября, продолжал и заочно принимать самое близкое участие в сердечных делах друга. Едва вернувшись в Петербург, он пишет ему 24 ноября: «Что, Павел Воинович, каковы домашние обстоятельства? решено ли? мочи нет, хочется узнать развязку: я твой роман оставил на самом занимательном месте. Не смею надеяться, а можно надеяться. Vous êtes un homme de passion[1] — и в страстном состоянии духа ты в состоянии сделать то, о чем и не осмелился бы подумать в трезвом виде; как некогда пьяный переплыл ты реку, не умея плавать. Нынешнее дело на то же похоже — сыми рубашку, перекрестись и бух с берега» (XV, 95).

«Ты человек в высшей степени страстный...» — следующее письмо Павла Воиновича (конец ноября 1833 г.) как нельзя лучше подтверждает это мнение поэта. Страстное, отчаянное, сумбурное письмо: «Ах, любезный Александр Сергеевич, ты не можешь вообразить мое мучение и нет от него спасения... Ей-ей мочи нет, и не знаю, что делать... Хочу отдохнуть — не могу, все у меня кипит, пляшет, мнительность — ревность — досада, жалость — нерешительность — и тут же упрямство — про любовь я не говорю, ибо это все любовь, дух замирает, голова горит,— рассказывать я не в состоянии ни коротко, ни подробно». И далее: «...одним словом вот что я заключил — и как я представляю себя,— оно все мое *сердце*, мое предоброе, премягкое и препламенное, ум мой пренедоверчивый, и преотчетливый, и занятный» (XV, 96—97).

Прочтя эти до предела искренние строки, нетрудно понять, что доброму, очень совестливому человеку трудно разорвать с совершенно неподходящей, надоевшей ему женщиной, матерью его сына.

Но решение все же принято. Как и советовал Пушкин, Павел Воинович сделал над собой усилие и «бух с берега». Не позднее 26 января 1834 года он пишет из села Тюфили:[2] «Выехал я из Москвы в Тюфили с тем, чтобы не возвращаться; не знаю, куда и далеко ли заеду. Олинька не знает, что я ее оставляю,— и воображение мое насчет ее в грустном положении; возок уже заложенный, и еду я в одну подмосковну (так! — *Н. Р.),* где думаю жениться — на ком, тебе

---

[1] Ты человек в высшей степени страстный *(франц.).*

[2] Имение А. Д. Балашова близ Симонова монастыря под Москвой, которое намеревался приобрести Нащокин. Пушкин был посредником в этом деле.

известно, но не знаю еще, как удастся, ибо покуда, кроме будущей и ее матери, никто не знает о моем решительном намерении» (XV, 105).

Почему-то Павел Воинович не сообщил Пушкину название подмосковной, в которую он ехал с надеждой жениться. Быть может, хотел оставить все в тайне на случай, если надежда не осуществится.

Сейчас мы можем сказать, что речь идет о селе Воскресенском [1], которое располагалось в 46 верстах к югу от Москвы. Воскресенское принадлежало тогда князю Ивану Алексеевичу Трубецкому.

Благодаря любезному содействию московского исследователя Юрия Борисовича Шмарова я получил копию чрезвычайно интересного документа о венчании Павла Воиновича, который включен в «Дело Московского дворянского депутатского собрания о дворянстве поручика П. В. Нащокина». Привожу текст документа полностью:

Выписка

из метрических книг Воскресенской церкви Бронницкого у. за 1834 год

л. д. 1

Книга, данная из Московской Духовной консистории, Бронницкого уезда, церкви Воскресения Христова, что в селе Воскресенском, причту для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших

Часть вторая	
Когда и кто именно венчаны	Кто были поручители

Число В Генваре

28. По учинении надлежащего обыска венчан Лейб-Гвардии Кирасирского Его Величества полка[2] отставной поручик Павел Воинович Нащокин, первым браком с московской мещанской дочерью девицей Верой Александровной Нагаевой.

Поручителями были по женихе: князь Иван Алексеевич Трубецкой и отставной копиист Лев Александрович Нарской.

По невесте: тайный советник, действительный камергер и разных орденов кавалер Александр Петрович Нащокин.

[1] При первой публикации моей работы о Нащокиных я ошибочно принял это село за современный город Воскресенск («Простор», 1969, № 4, с. 82).

[2] Почему-то в церковном документе неправильно указано название полка, в котором служил до отставки жених. Лейб-гвардии Кирасирский его и. в. полк действительно существовал и был причислен к составу гвардии еще в 1813 г., но Павел Воинович, как видно из указа об отставке, служил в другом полку — Лейб-Кирасирском ее и. в. В тексте записи есть еще одна неточность — Лев Александрович, как и его брат, писался Нарский, а не Нарской.

Венчал села Воскресенского, Воскресенской церкви священник Иван Васильевич Крылов.

При бракосочетании был той же церкви дьячок Михаил Иванов Людмилов, пономарь Леонтий Иванов Рождественский.

(ГИАМО)

Итак, свадьба Павла Воиновича Нащокина состоялась 2 января 1834 года[1]. К сожалению, как мне сообщил Ю. Б. Шмаров, «книги обысков», в которых подробно указывались подтвержденные документами сведения о происхождении невесты и жениха, по Воскресенской церкви не сохранились. Из метрической выписки мы узнаем лишь, что невеста принадлежала к мещанскому сословию и что ее девичья фамилия — Нагаева. Что касается поручителей (шаферов), то князь И. А. Трубецкой, вероятно, был одним из близких знакомых Павла Воиновича, Александр Петрович Нащокин — его троюродный брат, о котором, так же как и об отставном копиисте Л. А. Нарском, речь пойдет ниже.

В подлинности документа о венчании сомневаться не приходится, но в не менее подлинной «копии о дворянстве», к которой мы уже много раз обращались, упомянуто о том, что, согласно «Списку о семействе и состоянии», представленному в Московское дворянское депутатское собрание в 1848 году, «Павел Воинович Нащокин был женат тогда на Вере Александровне Нарской».

В чем же причина разногласия официальных источников?

Жена ближайшего друга Пушкина, Вера Александровна Нащокина, ставшая таким же другом поэта и пронесшая память о нем через всю свою жизнь, уже давно привлекала внимание мемуаристов и исследователей. Написано о ней немало. Немало строк посвящено и не столь уж важному вопросу о ее происхождении, но в этом отношении сведения крайне противоречивы. Ясно лишь одно: Вера Александровна — внебрачная дочь, но кто ее отец, это оставалось невыясненным вплоть до нашего времени.

Почти сто лет тому назад Н. И. Куликов писал: «В это время Павел Воинович влюбился в прехорошенькую барышню-однофамилицу — Веру Александровну Нащокину, женился на ней и на некоторое время исчез из Москвы: жил в деревне у тестя, потом, кажется, в Туле»[2].

Этим сведениям позднейшие авторы, по-видимому, не придали веры.

---

[1] Если в выписке, приобщенной к делу о дворянстве П. В. Нащокина, нет описки в дате венчания, приходится считать, что в академическом издании (XV, 105) письмо Нащокина из села Тюфили датировано неправильно («Январь (не позднее 26) 1834»; нужно: «конец декабря 1833»).

[2] Н. И. Куликов. Александр Сергеевич Пушкин и Павел Воинович Нащокин. Очерки и воспоминания.— «Русская старина», 1880, декабрь, с. 993.

А. Б. Лобанов-Ростовский наряду с Нарской[1] приводит и иную девичью фамилию Веры Александровны — Нашева[2].

По свидетельству П. И. Бартенева, который познакомился с Верой Александровной в 1851 году, она — незаконная дочь Петра Александровича Нащокина[3]; девичья же фамилия жены Павла Воиновича — Нарская. Таким образом, Бартенев полагал, что Нащокин женился на дочери своего троюродного племянника.

В. В. Вересаев считал, что девичья фамилия Веры Александровны — Снарская[4].

В наши дни Н. Н. Белянчиков, возвращаясь к вопросу об отце Нащокиной, упоминает о том, что, «по некоторым сведениям, это был священник Покровской церкви на Кудринской улице. Он умер в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Нащокина». Приведя эту версию, автор в дальнейшем утверждает, однако, что отцом Веры Александровны является «какой-то богатый домовладелец Александр Нарский, имевший дом под № 100 по Б. Покровской улице»[5].

Не будем утомлять читателя дальнейшими поисками отца В. А. Нащокиной. В настоящее время благодаря сведениям, сообщенным В. А. Нащокиной-Зызиной, со всей этой путаницей можно навсегда покончить. В письме от 8 декабря 1966 года она сообщает: «По рассказам матери и старших сестер, Вера Александровна была внебрачной дочерью Александра Петровича Нащокина и крепостной крестьянки. Она родилась в имении Рай-Семеновское, на реке Наре, и потому получили она и ее два брата, Федор и Лев, фамилию Нарских, по названию реки».

Скептики, конечно, могут усомниться в достоверности семейного предания[6], особенно когда речь идет о таком запутанном вопросе, как происхождение Веры Александровны. К счастью, помимо предания, есть и документы — два письма Александра Петровича к дочери от 13 марта и 16 апреля 1834 года, фотокопии которых лежат в моей папке.

Первое из них обстоятельно и занимает более трех страниц. В конце его длинная собственноручная приписка матери Нащокиной. Александр Петрович в это время, видимо, уже очень больной человек. Сам он писать почти не мог. Только

---

[1] А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга, т. II, изд. 2-е. СПб., 1895, с. 27.

[2] Там же, с. 465.

[3] «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 446. Внебрачные дети в дореволюционное время носили, как общее правило, фамилию матери. Отчество им присваивалось по крестному, а не по фактическому отцу.

[4] В. В. Вересаев. Спутники Пушкина, т. 2. М., 1937, с. 246.

[5] Н. Белянчиков. Литературная загадка.— «Вопросы литературы», 1965, № 2, с. 256.

[6] В. А. Нащокина-Зызина родилась уже после смерти своей бабушки.

обращение, один абзац и подпись собственноручные, весь же остальной текст написан, несомненно, под диктовку аккуратным писарским почерком.

«Друг мой милый, родной, сердечный, бесценное мое сокровище Верочка»,— обращается старик к дочери. «...Я самый несчастный и тяжко болезненный человек»,— диктует он через несколько строк.

Последняя страница почти целиком занята очень трудно читаемой припиской матери. Вера Александровна, можно думать, хорошо разбирала эти малопонятные каракули крестьянки, родившейся в XVIII в. Я с ними справиться не смог. Благодарю писательницу и палеографа Анну Борисовну Никольскую за прочтение этой страницы (ряд слов все же разббрать не удалось).

Приведу выдержку из приписки с сохранением орфографии[1]. «Милая моя родная сокровища Верочка прекрасная дочка моя дай бог штоба ты с своим мужем были здоровы с почты письмо твое получила ищо с каким-то барином как мы были рады особена тому што в милова друга (т. е. А. П. Нащокина.— *Н. Р.*) рожденья письмо твое пришло <...> Мы все вас к себе ждали к ехтому дни молодые вы люди а сюрпризов неумеити делать <...> Парашку к тебе пришлю непримена <...> Прощай родная моя поцалуй Павла Воиновича очень жилеим што он все нездоров».

Письмо, по-видимому, послано из Москвы. Мать Нащокиной упоминает о том, что некой княгине Трубецкой, заболевшей тяжелой водянкой, врачи советуют ехать в Москву. Князя сейчас здесь нет, и его жена «теперь <...> прискачет верно к нам». Кроме того, Александр Петрович упоминает в своем письме о том, что они с новобрачными «в 2-х стах верстах» живут «друг от друга». Двести верст — это примерно расстояние по грунтовой дороге от Москвы до Тулы, где в это время жили Вера Александровна с Павлом Воиновичем, и почти вдвое больше, чем от столицы до Рай-Семеновского.

* * *

Итак, мы знаем теперь, кто были родители Веры Александровны. Скажем несколько подробнее о ее отце — А. П. Нащокине (1758—1838), московском знакомом Пушкина.

Отец Александра Петровича, почетный опекун Московского воспитательного дома, скончавшийся в 1809 году, и отец Павла Воиновича были двоюродными братьями, а их сыновья, следовательно, троюродными. Знатный и в начале XIX в. очень богатый барин, А. П. Нащокин при Павле I имел придворное звание гофмаршала; в 1822 году он тайный совет-

[1] Знаки препинания в приписке отсутствуют.

ник и действительный камергер. В торжественных случаях ему полагалось надевать расшитый золотом мундир с укрепленным на нем камергерским ключом. Женат он был на Елизавете Семеновне Хвостовой, от которой имел пятерых детей — четырех сыновей и одну дочь. Нам придется говорить более подробно о его сыновьях Петре и Павле. Павлу Воиновичу они приходились троюродными племянниками.

По словам Д. Н. Свербеева, о жене А. П. Нащокина рассказывали, что она «была одною из первых петербургских красавиц, необыкновенно любезная и умная»[1]. Тот же автор говорит, что Александр Петрович овдовел в начале царствования Александра I. В «копии о дворянстве» он показан вдовым в 1822 году. Более ранних упоминаний о его семейном положении в этом документе нет, но Е. С. Нащокина скончалась, по-видимому, до 1810 года (в родословных книгах год ее смерти не указан).

Как старшему представителю старшей линии Нащокиных, ему принадлежало великолепное родовое имение Рай-Семеновское[2], расположенное на реке Наре в 103 км к югу от Москвы (б. Серпуховской уезд Московской губернии).

Рай-Семеновское — одно из самых живописных подмосковных имений. Александр Петрович, поселившийся там после смерти жены, очень его любил. В архиве Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР хранится написанный его рукой листок со стихотворением одного из его гостей — вероятно, Ф. Ф. Кокошкина, известного театрального деятеля, драматурга и поэта:

Семеновское Рай! Ты Райское селенье,
Хозяин — друг добра, приветный хлебосол.
Источники твои — источники целенья,
Здоровый и больной здесь верно рай нашел.

Под этими стихами А. П. Нащокин написал собственные вирши:

Когда здесь гости дорогие, тогда Семеновское Рай,
Тогда хозяин рад и счастливым себя считает,
Когда же он гостей, друзей из Рая провожает,
Тогда ему уныл и скучен здешний край[3].

Д. Н. Свербеев, бывавший в Рай-Семеновском и лично знавший его владельца, сообщает, что «архитектура барского дома была подражанием одной из итальянских вилл. Впоследствии были пристроены к главному дому две огромные залы для балов и спектаклей. Пристройка не нарушала симметрии, но в этом доме негде было жить удобно самому хозяину, который,

---

[1] «Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826)», т. II. М., 1899, с. 131.

[2] М. А. Ильин. Подмосковье. М., 1966, с. 141, 143—144.

[3] Архив Д. П. Ознобишина — *ИРЛИ*.

впрочем, и жил только напоказ, для эффекта. Чего только у него не было? И очень порядочный оркестр из крепостных, с капельмейстером из немцев, понимавшим музыку, и домашняя капелла с удовлетворительными певчими, целая труппа своих же актеров с двумя очень красивыми и талантливыми актрисами и примадоннами»[1].

Судя по сохранившимся изображениям дома Нащокиных в его первоначальном виде, обширное трехэтажное строение, увенчанное башенкой (бельведером), действительно напоминало старинную итальянскую виллу. По обеим сторонам входа в ограду находились статуи вздыбленных коней без всадников. Впоследствии дом был перестроен, и в настоящее время он имеет совершенно иной вид (сейчас в нем помещается детский санаторий).

На высоком, но пологом холме над рекой Нарой и поныне стоит великолепная, хотя сейчас и обветшавшая, усадебная церковь, творение зодчего М. Ф. Казакова, который, по некоторым сведениям, построил и дом владельца поместья. Постройка церкви была начата в 1765 году, очевидно еще при отце Александра Петровича, и закончена лишь в 1783 году[2].

Рай-семеновские «источники целенья», о которых упомянул в своем стихотворении Ф. Ф. Кокошкин, это железистый ключ в соседнем овраге, открытый в 1810—1811 годах. По словам Свербеева, «московский профессор химик Рейс подверг эту воду химическому анализу, а некоторые из врачей определили [ее] минеральную целительность». На время село стало модным подмосковным курортом, в который съезжались окрестные помещики и жители столицы. В изданной в 1817 году (без указания имени автора) брошюре «Чудесное исцеление, или Путешествие к водам спасителя в село Рай-Семеновское, принадлежащее г. тайному советнику, действительному камергеру и кавалеру А. П. Нащокину», написанной цветистым языком XVIII в., содержится подробное описание этого своеобразного, отлично организованного курорта. Владельцем вод в нем были построены многочисленные отдельные дома для приезжающих, гостиница, трактир, театр (летний), больница для неимущих на 25 мест, аптека, роскошно обставленное ванное заведение.

Конечно, создание такого курорта оказалось очень убыточным. Поездки в «райское селение», кажется, вообще были зачастую лишь предлогом для того, чтобы повеселиться в доме гостеприимного помещика и побывать в его театре. На посетителей вод владелец Рай-Семеновского смотрел как на своих личных гостей и старался всячески их развлекать. Не приходится сомневаться в том, что это обходилось ему очень дорого.

---

[1] «Записки Д. Н. Свербеева», с. 133.
[2] М. А. Ильин. Подмосковье, с. 141—144.

Автор брошюры 1817 года подробно описывает театральные представления, о которых упоминает и Свербеев, всевозможные праздники, многочисленные барские затеи, на которые А. П. Нащокин, видимо, в самом деле был большой мастер.

Не приходится удивляться тому, что все эти барские причуды сильно подорвали состояние А. П. Нащокина. В начале 20-х годов Рай-семеновские воды навсегда прекратили свое существование. В год свадьбы дочери с Павлом Воиновичем Александр Петрович — 76-летний немощный разорившийся старик, вероятно состоявший под опекой. Он прожил все же еще четыре года и скончался в 1838 году.

Можно было ожидать, что место захоронения этого носителя старинной дворянской фамилии, имевшего к тому же высокий чин и придворное звание, будет указано в одном из изданных вел. кн. Николаем Михайловичем «Некрополей» — «Московском» или «Провинциальном». В действительности же имя А. П. Нащокина в этих справочниках не упоминается. До последнего времени считалось, что местонахождение его могилы остается неизвестным. Однако местный старожил краевед Н. Столяров в ответ на мой запрос сообщил мне, что «Александр Петрович Нащокин похоронен в своем семейном склепе, который был пристроен с двух сторон <...> церкви в селе Рай-Семеновском». До 1930 года надгробные плиты на могилах Александра Петровича и его близких находились на своих местах, но затем, с закрытием церкви, они постепенно исчезли. Сообщение Н. Столярова никаких сомнений не вызывает.

Мать Веры Александровны Нащокиной — бывшая крепостная Дарья Нестеровна Нагаева, получившая до этого вольную и в год рождения дочери состоявшая, как видно из записи в метрической книге, в мещанском сословии[1]. Трудно сказать, была ли она русской или принадлежала к какой-либо восточной народности. Как видно из ее приписки, эта добрая женщина, полюбившая, видимо, и зятя, уже несколько приобщилась к дворянской культуре. Она знает и даже пишет правильно совсем не крестьянское слово «сюрприз». По-крестьянски называет человека, доставившего ей письмо, «барином», но о княгине Трубецкой пишет как о знакомой. «Парашку к тебе пришлю» — тоже звучит вполне по-господски. Мы не можем сказать, сколько лет было этой барыне-крестьянке, но, вероятно, мать Веры Александровны была гораздо моложе «милова друга», как она звала Александра Петровича.

Прожила она, однако, недолго и скончалась раньше старика мужа — вероятно, не позже 1836 года. «Как мне рассказывала сестра, мать Веры Александровны рано умерла, и ее сестра Груня (Агриппина.— *Н. Р.*), замечательно красивая девушка, заменила двум братьям мать. И как я помню, в пись-

---

[1] Н. Н. Белянчиков первый установил ее имя и отчество *(ИРЛИ)*.

мах только и было разговору о Левиньке и Фединьке, и подписаны они были большею частью не отцом, а этой Груней»,— сообщила В. А. Нащокина-Зызина в письме от 22 апреля 1968 года.

И по происхождению, и по образованию родители Веры Александровны — люди очень разные, но любили они друг друга нежно. Бывшая крепостная называет своего бывшего барина другом, и то же хорошее, теплое слово мы читаем в письме Александра Петровича. Он сообщает дочери, что после пасхи, когда просохнут дороги, надеется навестить ее с Дарьей Нестеровной («с другом моим, а с твоею маменькой»).

* * *

Веру Александровну — скажем теперь же, одну из самых душевно привлекательных женщин, которых знал Пушкин,— можно думать, с детства окружала дружная любовь родителей.

Дата ее свадьбы нам теперь известна. Сколько же ей было лет в 1834 году?

Год рождения жены Павла Воиновича в литературе о Пушкине нигде не приводится. По сообщению В. А. Нащокиной-Зызиной, он не указан и в имеющихся у нее материалах. Приходится поэтому, едва упомянув о свадьбе Веры Александровны, сразу же обратиться к документу о ее смерти. Дата кончины известна давно, но возраст умершей исследователи называют по-разному.

И здесь нам окажет помощь все та же «копия о дворянстве». На 6-й странице старинного документа имеется позднейшая запись: «Означенная в сем документе вдова поручика из дворян Вера Александровна Нащокина сего 1900 г. ноября 16 дня скончалась от роду 89 лет. В оном удостоверяю, с приложением казенной печати, рождественский, на Бутырках протоиерей Михаил Невский. 1900 года ноября 17 дня».

На основании этой церковной справки можно, таким образом, считать, что Вера Александровна родилась скорее всего в 1818 году.

Она вышла замуж в возрасте около 23 лет — по понятиям того времени, относительно поздно. Павлу Воиновичу было тогда 32 года.

Пока нельзя с уверенностью сказать, почему венчание происходило именно в селе Воскресенском. Из Москвы Павел Воинович уехал по необходимости — скрылся от своей ревнивой подруги, оставив ей все, что было в квартире, и, кроме того, некоторую сумму денег. С молодым князем И. А. Трубецким (ему было тогда 29 лет) Нащокин, надо думать, сговорился заранее.

Предполагать, что родители невесты в это время жили в поместье князя — селе Воскресенском, оснований нет. С другой

стороны, если бы Александр Петрович по-прежнему проживал в своем родовом гнезде, Рай-Семеновском, то венчание дочери, наверное, состоялось бы не в церкви чужого села, а в усадебном храме, построенном Казаковым.

В церковной книге Вера Александровна, как мы знаем, записана под фамилией Нагаевой,— очевидно, на основании метрического свидетельства, выданного при ее крещении. По всей вероятности, в 1834 году у нее не было на руках документа, удостоверяющего право именоваться Нарской[1]. Такой документ все же должен был существовать, так как внебрачным детям А. П. Нащокина эта фамилия, которую они носили на законном основании, могла быть присвоена лишь официальным путем.

Вряд ли Павла Воиновича особенно интересовали бумаги девушки, которую он полюбил так, что у него «дух захватывает, голова горит». Есть документ, на основании которого можно обвенчаться, и хорошо... Сословные чувства жениха, можно думать, покорно замолчали, когда заговорила любовь. Отставному поручику Лейб-Кирасирского полка к тому же ничьего разрешения на сословно неравный, но совершенно законный брак не требовалось.

Какие-то знакомые (или, быть может, родные) все же отговаривали его «на разные манеры», но Павел Воинович в конце декабря 1833 года сообщил Пушкину: «...мне кажется, коли что я захочу, того бог хочет» (XV, 105).

Как уже отмечалось, Н. И. Куликов писал, что «Павел Воинович влюбился в прехорошенькую барышню». Да, она была прелестна, эта «барышня-крестьянка» по происхождению, не походившая ни на «девушку из народа», ни на молодую поповну. На сохранившихся портретах мы видим изящную барышню, каких немало было в дворянских культурных семьях пушкинского времени. Нельзя назвать ее блестящей красавицей, но тонкие, очень правильные черты лица полны скромной, одухотворенной прелести.

Существует акварель, идентифицированная и описанная Анной Лазаревной Вейнберг[2]. В настоящее время она экспонирована на стене 27-го зала во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. По мнению Вейнберг, «такой, должно быть, видел ее Пушкин в последний свой приезд в мае 1836 года». Портрет не датирован, но нарисован он во всяком случае в самые первые годы замужества В. А. Нащокиной. Приходится согласиться с автором статьи, что «Вера Александровна юная, цветущая». Она вышла замуж, как мы знаем, около 23 лет,

---

[1] Иначе бы ее брат, Лев Александрович Нарский, не мог бы быть по церковным установлениям поручителем на ее свадьбе (А. П. Нащокин формально являлся посторонним лицом).

[2] А. Вейнберг. О портретах П. В. и В. А. Нащокиных.— «Литературное наследство», т. 16-18. М., 1934, с. 756—757.

но выглядит моложе. Портрет, несомненно, сделан в один из материально благополучных периодов жизни Павла Воиновича. Он одел молодую жену, можно сказать, роскошно. А. Л. Вейнберг так описывает ее убор: «Вокруг головы золотой, украшенный аметистами обруч, или фероньера, как это украшение тогда называлось во Франции. Ее пунцовая бархатная кацавейка богато украшена собольим мехом. Поверх нее большой кружевной белый воротник, заколотый брошью из гранатов, которые тогда сильно были в моде. Из таких же камней длинные висячие серьги. Красный цвет, по-видимому, любимый цвет Веры Александровны, так как на других известных нам портретах повсюду встречается красное пятно <...>».

В молодости, как это видно на портретах, у Веры Александровны были прекрасные черные волосы. Забегая вперед, упомянем о том, что в 1835 году Наталья Николаевна заказала ей в Петербурге шляпу. Сообщая об этом Нащокину (20 января этого года), Пушкин прибавляет: «Жена говорит, что comme M-me Нащокина est brune et qu'elle a un beau teint[1], то выбрала она для нее шляпу такого-то цвета, а не другого. Впрочем, это дело дамское» (XVI, 6). Мы не знаем, на каком цвете остановилась жена поэта, но красный, наверное, очень шел к брюнетке восточного типа. Вейнберг находит у нее «тонкие, строгие черты с едва уловимым восточным оттенком». На мой взгляд, судя по акварели, этот ориентальный оттенок был выражен очень явственно. У Веры Александровны лицо скорее красивой тюркской, чем русской женщины.

Быть может, ее мать, Нагаева, действительно была обрусевшей татаркой или турчанкой, как мать Жуковского. Возможно также, что своим явно восточным обликом Нащокина обязана какой-нибудь далекой бабушке со стороны отца, о которой мы ничего не знаем.

О том, как проходила жизнь Нащокиной до замужества, сведений в литературе до настоящего времени не было. Ее внучка сообщила мне, что Вера Александровна была «обожаемой» дочерью. Отец «дал ей прекрасное воспитание и образование, она совершенно грамотно писала по-русски, что было редкостью среди дворянских женщин» (письмо от 8 декабря 1966 г.).

Ознакомившись с подлинниками нескольких писем Веры Александровны, я могу в полной мере подтвердить сообщение ее внучки: не только вполне грамотные, но и стилистически выдержанные, написанные хорошим слогом письма.

---

[1] «...так как г-жа Нащокина брюнетка и у нее прекрасный цвет лица» *(франц.)*. «Прекрасный», вероятно, надо понимать как нежно-розовый. Нередкий у брюнеток (особенно восточного происхождения) смуглый цвет кожи в то время красивым не считался.

Жена Нащокина в свое время, несомненно, училась и музыке. Т. Г. Цявловская сообщила мне, что на полях книги «Рассказы о Пушкине» рядом со словами П. И. Бартенева, что Вера Александровна «часто играла на гитаре, пела», М. А. Цявловский записал карандашом: «Сын Нащокина, Андрей Павлович Нащокин, говорил мне, что мать его никогда не играла на гитаре. Она была ученица Фильда[1] и играла на рояле»[2]. Возможно, что Андрей Павлович, помнивший свою мать уже немолодой женщиной (в год его рождения В. А. Нащокиной было 43—44 года), не ошибался, говоря М. А. Цявловскому, что она никогда не играла на гитаре, а только на рояле. В молодости же она, скорее всего, играла, как и многие барышни того времени. По воспоминаниям современников, Вера Александровна, пользуясь тонкими палочками или вязальными спицами, играла и на крошечном рояле высотой в 18 сантиметров, который и сейчас стоит в знаменитом «Нащокинском домике»[3]. Анонимный автор, повидимому лично знавший В. А. Нащокину в последние годы ее жизни, утверждает, что «она исполняла камерную музыку с знаменитейшими артистами того времени»[4].

О горячей любви Александра Петровича к дочери говорит и его письмо от 13 марта 1834 года, начало которого я уже привел. В нем жалобы на свое горестное состояние, на будто бы очень обидное отношение родственников и знакомых, резкие слова по адресу «законных» сыновей чередуются с полными нежности строками, обращенными к «незаконной»: «Ах! мой друг, пожалей обо мне, несчастнейшем старике. На свете одна ты, моя прелестная красавица, обо мне несчастном вспомнила[5] <...> Затем прости, моя душа, прелестное сокровище. Господь с тобою, ангел-хранитель. Несчетно раз тебя целую и пребуду по гроб мой вернейший друг твой».

Во втором (очень коротком) письме от 16 апреля 1834 года, где Александр Петрович поздравляет живущих в Туле молодоженов с наступающим праздником пасхи, он находит теплые слова для них обоих: «Затем прощайте, друзья мои родные <...> Несчетно раз вас обоих целую. Что вы зажились в Туле, бог вас знает. Какая разница бы была и для вас и для меня, если бы мы были вместе <...> Прощайте, друзья мои милые, родные».

Все сказанное позволяет думать, что от своего положения

---

[1] Джон Фильд (1782—1837) — знаменитый ирландский пианист, композитор и музыкальный педагог, с 1802 г. и до конца жизни живший в России.

[2] *Рассказы о Пушкине*, с. 46.

[3] Г. И. Назарова. Нащокинский домик. Л., 1971, с. 13.

[4] «Друг Пушкина Вера Александровна Нащокина».— «Семья», 1899, № 24, с. 7.

[5] Речь идет о дне рождения Александра Петровича, с которым многие, в том числе и Павел Воинович, забыли его поздравить.

внебрачной, незаконной дочери Вера Александровна вряд ли страдала. Александр Петрович свою любимую дочь в обиду, конечно, никому не давал. Я уже упоминал о том, что А. П. Нащокин, по словам Д. Н. Свербеева, овдовел в начале царствования Александра I. Если это сообщение верно, то Вера Александровна появилась на свет уже после смерти его жены. Во всяком случае, Елизаветы Семеновны не было в живых в 1817 году, когда девочке было лет 6—7.

Мы не знаем, когда Александр Петрович окончательно заболел и перестал распоряжаться своим имуществом, но из письма А. Я. Булгакова к брату от 14 ноября 1831 года[1] видно, что в конце этого года он еще состоял уездным предводителем дворянства и иногда, на правах камергера, появлялся при дворе. Вера Александровна, несомненно, успела получить к этому времени хорошее домашнее образование — она совершенно взрослая барышня лет двадцати.

К сожалению, Александр Петрович вовремя ее достаточно не обеспечил. В 1834 году его возможности были уже крайне ограничены. Даже послать в Тулу карету за молодоженами для него затруднительно. «Дорого просят — 75 рублей. Однако как-нибудь да постараюсь отправить»,— пишет Александр Петрович дочери 16 апреля 1834 года. Своих лошадей у бывшего богатого помещика, очевидно, уже нет.

Все же совсем небольшое именьице для Веры Александровны он приобрел заранее, но, видимо, в 1834 году не мог уже полноправно им распорядиться. 13 марта он диктует: «Купленное мною имение в Тверской губернии, в Новоторжском уезде, сельцо Глебово, назначенное мною тебе в приданое, я требовал от детей моих, чтобы они сие имение вам отдали, состоящие по 7-й ревизии 22 души, а что по 8-й налицо окажется, неизвестно[2]. Петр Александрович хотел к вам писать, чтобы вы сие имение, сельцо Глебово, им продали. Итак, я спешу вас предостеречь: 1-е, лучше всего не продавать, ибо деревенька прекрасная, мужики, покаместь я владел, были в самом лучшем состоянии, лесу и земли очень довольно, то остережитесь, бога ради, не торопитесь продавать, а если вздумаете, то просите 20-ть тысяч, меньше 14-ти тысяч ни под каким видом не отдавайте, без чего вы большую ошибку сделаете. Впрочем, если станете продавать, то перепишитесь со мною, я по сущей совести души и сердца моего дурного совета вам не дам; пожалуйста, остерегитесь и спишитесь со мною».

К сожалению, настоятельный совет Александра Петровича не продавать сельцо Глебово оказался бесполезным. Старик

---

[1] «Русский архив», 1902, кн. I, с. 140.

[2] Ревизия — перепись крепостных крестьян мужского пола; 7-я ревизия была объявлена в 1815 г., 8-я производилась в 1833 г. Перепись шла, как и при предыдущих ревизиях, весьма медленно, и весной 1834 г. результаты, видимо, еще не были известны.

не предвидел того, что случилось после его смерти. Сводные братья, унаследовавшие Рай-Семеновское поместье, как сообщает Нащокина-Зызина в письме от 8 мая 1967 года, оттягали у ее бабушки по суду деревеньку с 22 ревизскими душами.

Нащокин не только уговаривает дочь и зятя остерегаться своих сыновей. Его чувства по отношению к ним, и особенно к старшему, Петру Александровичу, исполнены болезненной ненависти. Обидевшись на сына, не приехавшего поздравить его с днем рождения, отец диктует писарю предельно злые, сумбурные слова, называет сына «разбойником» и «злодеем».

Надо, однако, сказать, что у Петра Александровича (1793—1864), так разгневавшего отца, была репутация действительно очень незавидная. Он служил в гвардии, в Отечественную войну 1812 года был адъютантом генерала Д. С. Дохтурова. Из л.-гв. Кирасирского полка корнета Нащокина исключили за карточную игру, что в те времена случалось не часто. Хотя обстоятельства этого исключения из гвардии неизвестны, сам факт все же заставляет усомниться в порядочности Петра Александровича. Некоторое время он прослужил на Кавказе и вышел в отставку в том же чине. Современники знали Петра Нащокина как гуляку, дуэлянта, участника скандальных похождений графа Ф. И. Толстого, прозванного «Американцем». Некая г-жа Новосильцева рассказывает о безобразном поведении обоих друзей: «В продолжение многих лет они жили почти неразлучно, кутили вместе, попадали вместе в тюрьму и устраивали охоты, о которых их близкие и дальние соседи хранили долго воспоминание. Друзья в сопровождении сотни охотников и огромной стаи собак являлись к незнакомым помещикам, разбивали палатки в саду или среди двора, и начинался шумный, хмельной пир. Хозяева дома и их прислуга молили бога о помощи и не смели попасться на глаза непрошеным гостям»[1].

Тяжба с сестрой из-за ее маленького именьица тоже никак не говорит в пользу обоих законных сыновей Александра Петровича. Вероятно, жестоко ругая их в письме, отец в немалой степени был прав.

К этому следует прибавить, что, по сообщению краеведа Н. Столярова, в Рай-Семеновском среди потомков бывших крепостных Петра Александровича и сейчас бытуют о нем крайне мрачные предания, несомненно основанные на каких-то подлинных фактах. По их рассказам, это был изверг и садист, зачастую собственноручно поровший своих крепостных, как мужчин, так и женщин. Некоторые из его жертв умирали. В свое время он присвоил себе право первой ночи с выхо-

[1] «Рассказы из прошлого. Сообщила г-жа Новосильцева».— «Русская старина», 1878, март, с. 538—540.

дившими замуж крестьянскими девушками и широко им пользовался. Отправляясь ночью на свидание с одной из своих подневольных любовниц, Петр Александрович упал в погреб и сломал ногу, после чего его прозвали «хромым барином». Ярый крепостник, П. А. Нащокин, по-видимому, продолжал эти истязания до самой отмены крепостного права. Реформа 19 февраля 1861 года повергла его в отчаяние, и он разразился проклятиями и угрозами по адресу царя.

Младший брат, Павел Александрович (1798—1843), вероятно, был менее отталкивающей личностью, не вызывавшей столько негодования со стороны окружающих. В «Русской родословной книге» А. Б. Лобанова-Ростовского о нем сказано: «...адъютант вел. кн. Михаила Павловича, гвардии полковник, потом действительный статский советник»[1].

Братья Нащокины интересуют нас не только в силу своих родственных связей с Верой Александровной, но еще и потому, что входят в число лиц, несомненно знакомых Пушкину. В письме к поэту от второй половины (после 16 декабря) 1836 года Павел Воинович спрашивает: «Я к тебе писал с П. А. Нащокиным; не знаю, получил ли ты мое письмо или нет» (XVI, 212). Комментаторы безоговорочно относят инициалы «П. А.» к Петру Александровичу.

Младший брат в литературе о Пушкине до последнего времени не упоминался (или упоминание сопровождалось вопросительным знаком — XVII, 297). Однако знакомство с послужными списками обоих братьев позволяет внести ясность в этот вопрос. Долгое время считалось бесспорным, что Пушкин, советуя брату Льву в письме от 1—10 ноября 1824 года из Тригорского отвыкнуть «со временем от Нащокина, от Сабурова, от вина и от Воейковой» (XIII, 119), имеет в виду Павла Воиновича.

Сейчас же, когда мы знаем, что последний вышел «по домашним обстоятельствам» в отставку из Лейб-Кирасирского полка 29 ноября 1823 года, а в 1824 году, несомненно, жил в Москве, где у него гостил художник П. Ф. Соколов[2], можно считать доказанным, что в данном случае речь может идти только о Павле Александровиче Нащокине, служившем в л.-гв. Гусарском полку. Именно о Павле Александровиче писал, по-видимому, и М. В. Юзефович в своих воспоминаниях, отмечая, что Пушкин еще в Лицее «попал в среду стоявшей в Царском Селе лейб-гусарской молодежи. Там бывали и философы, вроде Чаадаева, и эпикурейцы, вроде Нащокина»[3].

---

[1] А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга, т. II, изд. 2-е. СПб., 1895, с. 27.

[2] Т. В. Буевская. Комната художника П. Ф. Соколова в доме П. В. Нащокина, с. 511—515.

[3] М. В. Юзефович. Памяти Пушкина.— «Русский архив», 1880, III, с. 433.

В Государственном Историческом музее в Москве хранятся портреты Петра и Павла Нащокиных, а также их старшего брата Федора, скончавшегося в Дрездене в 1813 году[1].

Облик Петра Александровича вполне соответствует его репутации: у него лицо жестокого, своевольного человека. Он изображен в белой расстегнутой рубашке, поверх которой выпущен большой нательный крест на необычно длинной цепочке. Судя по преданиям, сохранившимся в Рай-Семеновском, жестокий «хромой барин» был в то же время ханжой. Рассказывают, например, что однажды он, стоя на коленях, молился у гроба запоротой им девушки. Совсем не похож на него любезный, подтянутый гвардии полковник Павел Александрович, нарисованный П. Ф. Соколовым (?).

* * *

Вера Александровна Нащокина родилась, как было уже указано, в Рай-Семеновском, когда Александр Петрович обладал еще очень крупными средствами. Нужды его любимая дочь во всяком случае не знала. Вряд ли она знала ее и тогда, когда отец, как я думаю, попал под опеку. Опекуны все же были обязаны приличным образом его содержать, а Александр Петрович, конечно, делал, что мог, для своей любимицы.

Но вот она замужем за помещиком, еще молодым, у которого есть и вотчина, и «души». Есть у В. А. Нащокиной пока и собственная деревенька. По закону дворянство мужа «сообщено» и жене. Казалось бы, все обстоит благополучно...

Если не ошибается Н. И. Куликов, Павел Воинович после свадьбы некоторое время прожил с женой в деревне у тестя. Прибавим только — не в Рай-Семеновском, а, вероятно, в одной из принадлежавших А. П. Нащокину деревень поблизости от этого села. Затем молодые уехали в Тулу. Последнее не подлежит сомнению: уже 13 марта, через шесть недель после свадьбы, их нет у Александра Петровича, а в письме от 16 апреля он спрашивает дочь: «Что вы зажились в Туле, бог вас знает».

Причина задержки, о которой отец, очевидно, не догадывался, была простая — не на что было выехать, не на что жить... Павел Воинович надеялся, что Пушкин вот-вот вышлет ему долг, и тогда можно будет отправиться в свою деревню. Из Тулы он написал другу шесть писем. Пять из них сохранились и давно опубликованы. К сожалению, до нас не дошло первое и самое интересное, в котором Павел Воинович извещал Пушкина о женитьбе. Поэт отозвался на него длинным

---

[1] Всего у А. П. Нащокина было пятеро законных детей — четверо сыновей (Федор, Петр, Семен и Павел) и одна дочь, Дарья Александровна, в замужестве Бахметьева.

письмом из Петербурга, посланным между 23 и 30 марта. В нем он сообщает: «Ты не можешь вообразить, милый друг, как обрадовался я твоему письму. Во-первых, получаю от тебя тетрадку: доказательство, что у тебя и лишнее время, и лишняя бумага, и спокойствие, и охота со мною болтать. С первых строк вижу, что ты спокоен и счастлив. Каждое слово уничтожает сплетни, половине коих я не верил, но коих другая половина сильно меня тревожила... Нат[алья] Ник[олаевна] нетерпеливо желает познакомиться с твоею Верою Александровною и просит тебя заочно их подружить. Она сердечно тебя любит и поздравляет... Говорят, что несчастие хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному, какова твоя, мой друг; какова и моя, как тебе известно. Конечно, мы квиты, если ты мне обязан женитьбою своей — и надеюсь, что Вера Ал[ександровна] будет меня любить, как любит тебя Наталья Николаевна» (XV, 117).

Должно быть, эти задушевные строки своего друга Павел Воинович читал с теплым и радостным чувством. Зато деловая часть письма его, наверное, огорчила. Поэт напомнил Нащокину: «Когда ты отправил меня из Москвы, ты помнишь, что мы думали, что ты без моих денег обойдешься; от того-то я моих распоряжений и не сделал». Пушкин предупредил друга: «До октября денег у меня не будет — но твои 3000 доставлю тебе в непродолжительном времени, по срокам, которые назначу, сообразуясь с моими обстоятельствами» (XV, 116—117).

Обстоятельства были трудные. Недавно найденное письмо Пушкина к брату жены, Дмитрию Николаевичу Гончарову, который после смерти деда, Афанасия Николаевича, и в связи с душевным заболеванием отца, Николая Афанасьевича, стал главой семьи Гончаровых, показывает, что уже в первой половине 1833 года материальное положение Пушкина было крайне тяжелым. Тревожные мысли о будущем семьи лишали поэта душевного покоя и радости творчества.

«Я не богат,— писал он своему шурину,— а мои теперешние дела не позволяют мне заниматься литературным трудом, который давал мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние»[1].

Вероятно, с очень тяжелым чувством Пушкин был вынужден откладывать уплату своего долга Павлу Воиновичу. Лишь частично он смог его погасить в январе 1835 года.

По-видимому, остальных пяти тульских писем поэт во-

---

[1] М. Дементьев, И. Ободовская. Редчайшая находка — неизвестное письмо Пушкина.— «Литературная газета», 1970, № 50, 9 декабря.

время не получил[1], а они — поскольку речь шла о деньгах — были одно отчаяннее другого. Молодожены испытывали в незнакомом городе жестокую нужду. Уже 24 марта Нащокин пишет: «Ради бога, займи да пришли, у меня всего 5 рублей» (XV, 120). Вскоре после 22 апреля он уверяет друга: «...жена моя ничего не знает — и не замечает — ибо я наружно очень весел и спокоен». В конце письма Павел Воинович прибавляет: «...хотя мне и очень плохо — но все лучше того, что бы было — если бы не жена моя... Она ей-ей премилая и прекроткая — только бы не сглазить» (XV, 131).

В следующем письме (конец апреля 1834 г.) Нащокин, продолжая описывать свое горестное положение, сообщает: «Жена моя брюхата,— без причуд, только не любит табаку,— знать, будет старовер. Я желаю дочь — она будет сестрою Павлу Павловичу. Сын же — того и гляди — вместо брата сделается ему барином, чего я не хочу. Что мне приятно, что жена моя в большой дружбе с моим сыном» (XV, 135).

«Премилой и прекроткой» Вера Александровна оставалась на протяжении всей своей долгой и трудной жизни. Очень трогательным было отношение этой молодой женщины, дворянской барышни по воспитанию, к внебрачному ребенку мужа и к тому же сыну цыганки. То же самое надо сказать и о взглядах самого Павла Воиновича, старинного дворянина и бывшего кирасира. И муж, и жена прежде всего люди без предрассудков...

Полюбив Веру Александровну, но, видимо, еще мало ее зная, Нащокин, правда, подумывал, как я уже упоминал, о том, что сына придется куда-то пристроить. Боялся, очевидно, что ребенок может помешать задуманной женитьбе. Был рад тому, что ошибся.

Судьба этого мальчика, которого знал Пушкин, после 1834 года неизвестна. Она остается неясной и сейчас, но все же В. А. Нащокина-Зызина со слов старшей сестры смогла сообщить (в письме от 15 февраля 1967 г.), что Павел вырос и, будучи взрослым, посещал Веру Александровну. В свою очередь, П. И. Бартенев указывает, что сын Павла Воиновича пережил отца[2]. Сведения о нем, по всей вероятности, рано или поздно отыщутся, но фамилии Нащокина он, не будучи, насколько известно, усыновленным, носить не мог.

Во время пребывания молодых супругов в Туле Вера Александровна вряд ли не догадывалась о том, что у мужа

---

[1] Нащокин, вероятно, не знал нового адреса Пушкина, переехавшего на другую квартиру, и посылал их на имя известного книгопродавца и издателя А. Ф. Смирдина, который, по словам поэта, «держит <...> письма по целым месяцам, а иногда, вероятно, их и затеривает» (XVI, 4; письмо написано не позднее 8 января 1835 г.).

[2] «Письма П. В. Нащокина к А. С. Пушкину».— «Русский архив». 1904, кн. III, № 11, с. 438.

денег нет и он достает их с великим трудом. Скорее, не хотела огорчать Павла Воиновича и делала вид, что не замечает... Во всяком случае, уже ко времени отправления шестого письма Нащокина Пушкину (после 3 мая — в июне) отчаянное положение мужа не могло оставаться для нее тайной. «По пятому уже я все продал, что только можно продать, вчетверо дешевле настоящей цены, должен с лишком тысячу рублей, и вниз не смею сходить — как в комнатах ни душно, потому что хозяин по-прежнему суров — и вдобавок и пьян»,— писал Нащокин (XV, 169).

Итак, только что выйдя замуж, Вера Александровна, вероятно, впервые в жизни испытала хотя и временную, но жестокую и обидную нужду. Милая и кроткая женщина, как видим, сносила ее терпеливо.

Почему же, однако, Павел Воинович не попросил помочь тестя? Ведь как ни стеснен был в средствах Александр Петрович, а несколько сот рублей для любимой дочери он бы, вероятно, достал. «Мне совестно перед тобою, мне совестно перед Тулою,— и совестно перед собою описывать нужду, которую я терплю, мне оскорбительно, я никак не могу»,— писал Павел Воинович Пушкину 3 мая (XV, 139). Об обращении к тестю, конечно, и речи быть не могло, мешал стыд. Приходилось терпеть...

Из петербургского письма Пушкина, посланного Нащокину около (не позднее) 8 января 1835 года, мы узнаем, что Павлу Воиновичу пришлось покинуть Тулу из-за пожаров. Отъезд стал возможен, вероятно, благодаря тому, что Пушкин, несмотря на свое тяжелое материальное положение в это время, все же послал, как уже было упомянуто, Павлу Воиновичу тысячу рублей в счет своего долга. Деньги, отправленные из Петербурга 19 июня, были получены в Туле в последних числах этого месяца. Лето 1834 года Нащокин, видимо, как и хотел раньше, провел в своей деревне, а затем, вероятно в ноябре, вместе с женой вернулся наконец в Москву.

Около (не позднее) 12 декабря он пишет Пушкину уже из столицы: «Теперь я в Москве... Слава богу, здоров, но все не так, как в деревне» (XV, 202—203).

Для нас существенно вспомнить, когда же Вера Александровна, выйдя замуж, могла видеться с Пушкиным. Она познакомилась с ним в ноябре 1833 года в Москве, будучи еще невестой Нащокина. Как мы знаем, свадьба их состоялась в январе 1834 года. Поэт в это время жил в Петербурге. В цитированном письме от 8 января 1835 года он сетует: «Все лето рыскал я по России и нигде тебя не заставал; из Тулы выгнан ты был пожарами; в Москве не застал я тебя неделью; в Торжке никто не мог о тебе мне дать известия <...>

Когда бы нам с тобой увидеться! много бы я тебе наговорил» (XVI, 4).

В 1834 году Вере Александровне встретиться с поэтом, несомненно, не пришлось. Не видела она его и в 1835 году, так как Пушкин, против обыкновения, весь этот год не был в Москве. Таким образом, будучи замужем, Вера Александровна виделась с Пушкиным лишь в 1836 году, когда он, приехав в Москву в последний раз, провел у Нащокиных восемнадцать дней.

Не видя воочию поженившихся Нащокиных, Пушкин очень интересовался тем, как же складывается семейная жизнь друга. «С любопытством взглянул бы я на твою семейственную и деревенскую жизнь,— писал он Нащокину в начале января 1835 года.— Я знал тебя всегда под бурею и в качке. Какое действие имеет на тебя спокойствие? видал ли ты лошадей, выгруженных на Петербургской бирже? Они шатаются и не могут ходить. Не то ли и с тобою?» (XVI, 4).

Переписка друзей в это время становится более интенсивной. Они спешат поделиться друг с другом последними семейными новостями, сообщают о рождении детей, здоровье членов семьи. Так, около (не позднее) 12 декабря 1834 года Нащокин писал Пушкину: «Теперь я в Москве. Жена моя родила мне дочь Катерину» (XV, 202). Поэт ответил ему около (не позднее) 8 января 1835 года: «Поздравляю тебя с дочкою Катериной Павловной; желаю роженице здоровья. (Ты не пишешь, когда она родила)» (XVI, 4)[1].

Из членов семейства Нащокиных в число пушкинских «знакомых» следует ввести и вторую дочь Павла Воиновича — Софью Павловну, родившуюся, как это следует из «копии», 12 января 1836 года. В работах о Нащокине, насколько я знаю, нет вообще указаний, что у него была такая дочь. Между тем поэт ее, несомненно, знал. В мае 1836 года приехав в Москву и остановившись в доме Нащокиных, Пушкин должен был видеть ее и слышать ее плач: «знакомой» было четыре месяца[2].

---

[1] Дата рождения этой девочки — 19 ноября 1834 г.— не всегда приводится комментаторами писем Пушкина или дается неправильно (неверно указана она, например, в издании: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X. М.—Л., 1962, с. 456). В письме от 22 апреля 1968 г. В. А. Нащокина-Зызина сообщила: «О ее рождении и крещении у меня есть бумага, где указывается, что она родилась на Знаменке в доме Дорошевича и крестили ее генерал-майор Федор Федорович Гагарин и привилегированная бабка Пелагея Ивановна». Согласно этому документу, Екатерина Павловна родилась не 19-го, а 2 ноября. К сожалению, никаких сведений о дальнейшей судьбе Екатерины Павловны в архиве В. А. Нащокиной-Зызиной нет. Неизвестен даже год ее смерти, но около 1893 г. она, по-видимому, была еще жива.

[2] Согласно имеющемуся у В. А. Нащокиной-Зызиной свидетельству, которое подписано священником Петропавловской церкви при Павловском женском институте в Петербурге, Софья Павловна скончалась 28 марта 1859 г., в возрасте 23-х лет, от острого ревматизма.

В конце октября — начале ноября 1836 года Павел Воинович сообщил Пушкину о новой беременности жены (XVI, 181), но поэт уже не увидел родившегося ребенка. Наталья Павловна Нащокина родилась 2 мая 1837 года, уже после смерти Пушкина.

Теплое, сердечное отношение Пушкина к Вере Александровне, с которой, по его совету, соединил свою жизнь Нащокин, ощущается во многих письмах поэта, не забывавшего передавать ласковые приветы жене друга: «...целую ручки у твоей роженицы» (около 8 января 1835 г.); «Жена кланяется сердечно твоей Вере Александровне»; «...обняв тебя от всего сердца и поцеловав ручку Вере Александровне, отправляюсь на почту» (20 января 1835 г.) (XVI, 4, 6).

В свою очередь, Нащокины посылали поклоны Наталье Николаевне. Около 12 декабря 1834 года Павел Воинович, сообщая поэту, что Вера Александровна просит Наталью Николаевну «купить <...> для выезда шляпку и модной материи на платья четыре — всего рублей на 400» (в счет долга Пушкина), прибавляет в шутку: «Жена же моя и я будем век бога молить — за Наталью Николаевну» (XV, 202—203). 21 января 1835 года он пишет: «Наше с женой почтение Наталье Николаевне, а ты будь здоров и весел» (XVI, 6).

Однако вскоре в интенсивной переписке друзей произошел некоторый перерыв. За весь 1835 год нам вообще известно одно лишь письмо Нащокина к поэту. Вероятно, кое-что до нас не дошло, но в 10-х числах января 1836 года Павел Воинович сообщает: «...долго я тебе не писал — давно и от тебя ничего не получал» (XVI, 74). Он прав — Пушкин прислал два письма в январе 1835 года, а затем, по-видимому, прервал на время переписку. В первом из этих писем (около 8 января) он предупреждает: «О себе говорить я тебе не хочу, потому что не намерен в наперсники брать московскую почту, которая нынешний год делала со мной удивительные свинства; буду писать тебе по оказии» (XVI, 4). Через год (в 10-х числах января 1836 г.) Пушкин еще раз объясняет причину долгого молчания: «Я не писал к тебе потому, что в ссоре с московскою почтою» (XVI, 73).

Из-за бесцеремонной перлюстрации писем поэт был «в ссоре» не только с почтой. Еще 10 мая 1834 года он записал в дневнике: «Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене[1] и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том

[1] Московским почт-директором А. Я. Булгаковым было перехвачено письмо Пушкина к жене от 20 и 22 апреля, в котором поэт между прочим писал: «К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать» (XV, 129).

признаться — и давать ход интриге, достойной Видока[1] и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодержавным» (XII, 329).

Переписка друзей сошла почти на нет, но Пушкину и Нащокину очень хотелось повидаться.

Поздней осенью 1835 года Павел Воинович совсем было собрался навестить поэта в Михайловском. Поездка не состоялась, так как, судя по письму Нащокина от 10-х чисел января 1836 года (XVI, 74), полиция взяла с него подписку о невыезде из Москвы. Эта неприятность произошла в связи с крупным выигрышем Павла Воиновича, когда враги этого честнейшего человека распустили порочащие его слухи. Эти слухи дошли и до Пушкина, который сообщал другу в письме: «...все в голос оправдывали тебя, и тебя одного» (10-е числа января 1836 г.). О предполагавшейся поездке Нащокина в Михайловское он тогда же писал: «Радуюсь, что не собрался, потому что там меня бы ты не застал. Болезнь матери моей заставила меня воротиться в город» (XVI, 73).

Несмотря на препятствия, друзья все же надеялись вскоре свидеться. Нащокин рассчитывал приехать к Пушкину весной 1836 года, а поэт, в свою очередь, писал ему в 10-х числах января этого года: «Думаю побывать в Москве, коли не околею на дороге. Есть ли у тебя угол для меня? То-то бы наболтались! а здесь не с кем... Желал бы я взглянуть на твою семейственную жизнь и ею порадоваться. Ведь и я тут участвовал, и я имел влияние на решительный переворот твоей жизни» (XVI, 73).

Сейчас мы читаем эти письма с тяжелым чувством. Готовилось последнее свидание... Конечно, ни Пушкин, ни Нащокин об этом не думали, но невольно ощущаешь какое-то мрачное предчувствие в шутливых словах поэта о смерти: «...коли не околею на дороге».

29 марта 1836 года, проболев несколько месяцев, скончалась мать Пушкина Надежда Осиповна. Поэт отвез ее тело в Святогорский монастырь. Похороны состоялись 13 апреля. 29 апреля Пушкин выехал из Петербурга в Москву и 2 мая ночью постучался к Нащокиным.

Когда-то, в 1831 году, поэт жаловался жене, что в квартире Павла Воиновича постоянно «толкутся разные народы» и там «угла свободного нет». Теперь все по-иному. Едва приехав, Пушкин пишет Наталье Николаевне 4 мая 1836 года: «Я остановился у Нащокина. Il est logé en petite maîtresse»[2]. (XVI, 110).

---

[1] Начальник парижской сыскной полиции, бывший уголовный преступник.

[2] Он обставился щегольски (*франц.* petite maîtresse — франтиха, щеголиха).

Поэт гостил у друга в один из его благополучных периодов. Тульских злоключений словно и не было. Нащокин квартировал тогда против одной из московских церквей — «противу Старого Пимена», занимая дом «г-жи Ивановой». Дом сохранился до нашего времени и, по-видимому, не был капитально перестроен (ныне Воротниковский переулок, д. 12). Дом этот двухэтажный, непритязательной архитектуры, довольно большой — по фасаду в нем девять окон. Господские комнаты, должно быть, находились в бельэтаже, в первом этаже помещались слуги.

Вся «щегольская квартира», надо думать, была обставлена с необыкновенным изяществом. Павел Воинович обладал отличным художественным вкусом[1].

Одну из комнат в квартире Нащокина — гостиную — мы видим на картине художника Н. И. Подклюшникова, тщательно выписавшего всю ее обстановку. Большая светлая комната с двумя окнами; много несомненно дорогих, умело расставленных вещей. Мебель александровских времен. Рояль с раскрытыми нотами. По углам гостиной парные, вероятно фарфоровые, вазы под стеклянными колпаками на круглых колоннообразных постаментах. На консоли большие, скорее всего бронзовые часы с какой-то мифологической группой. Огромный ковер с вытканными на нем по углам гирляндами цветов занимает почти половину пола. На боковых стенах гостиной висят друг против друга большие парные портреты в широких рамах. Кто изображен на левом из них, не видно; справа же портрет какой-то дамы в нарядном туалете тридцатых годов.

Рядом с роялем высокая массивная этажерка для книг; на ней бюст Пушкина в лавровом венке, который после смерти поэта изваял под наблюдением Павла Воиновича известный скульптор И. П. Витали[2].

Картина Подклюшникова впервые была воспроизведена по случаю столетия со дня рождения Пушкина с подписью «П. В. Нащокин с семьей (в начале 40-х годов)»[3]. Время ее написания можно, однако, установить значительно точнее. Художник изобразил в гостиной Павла Воиновича, Веру Александровну и двух их маленьких девочек. Одна из них играет

---

[1] О глубоком понимании искусства свидетельствует, например, его письмо к Пушкину от 10-х чисел января 1836 г., почти целиком посвященное К. П. Брюллову (XVI, 74—75).

[2] М. Беляев, П. Рейнбот. Бюсты Пушкина работы Витали и Гальберга.— В кн.: «Пушкин и его современники», вып. XXXVII. Л., 1928, с. 202.

[3] Альбом Пушкинской выставки в Москве. 29 мая — 13 июня 1899 г. М., 1899, табл. 86.

на ковре с какой-то взрослой особой [1], другая сидит на диване между матерью и отцом. Возраст девочек можно определить только приблизительно. Дверь в соседнюю комнату открыта. Мы видим там женщину в традиционном кокошнике русских кормилиц. На коленях у нее сидит ребенок, в возрасте примерно девяти месяцев. Это, несомненно, третий ребенок Нащокиных — дочь Наталья, родившаяся 2 мая 1837 года. Зная ее возраст, мы можем с уверенностью сказать, что Н. И. Подключников написал свою картину или эскиз для нее в первой половине 1838 года. Она, несомненно, изображает гостиную в доме Ивановой, так как Нащокины, поселившись в нем не ранее ноября 1834 года, прожили там, по словам Веры Александровны, семь лет [2].

Таким образом, Пушкин, гостя у Нащокиных в мае 1836 года, сиживал именно в этой уютной гостиной, которую вполне можно назвать «щегольской».

Неспособности Павла Воиновича Нащокина беречь деньги, его любви к вещам и отличному вкусу мы обязаны тем, что сейчас посетители Всесоюзного музея А. С. Пушкина видят перед собой сильно уменьшенную, но воспроизведенную с величайшей точностью копию внутреннего убранства барской квартиры тридцатых годов прошлого столетия, известную под условным названием «нащокинского домика». Подлинная архитектурная модель дома (прямоугольный футляр красного дерева с раздвижными стеклами), которую видел Пушкин, до нас не дошла. Судя по описанию «старожила» В. Толбина [3], она была двухэтажной, причем в первом этаже помещались роскошно обставленные жилые комнаты, а верхний был целиком занят танцевальным залом, посредине которого стоял стол, сервированный на шестьдесят кувертов. Имелся, кроме того, подвальный этаж со всевозможными хозяйственными помещениями.

Если мемуарист не ошибается, то Павел Воинович начал создавать «домик» еще в петербургский период своей жизни. По его словам, «на этот домик <...> съезжалось любоваться все лучшее тогда петербургское общество, впрочем, и было чем полюбоваться».

Никакими описаниями нельзя заменить эти крошечные предметы, сделанные замечательными мастерами того време-

---

[1] В первоначальном тексте работы о Нащокиных («Простор», 1969, № 4, с. 90—91) я допустил ошибку: считая, что на ковре играют две девочки, я принял грудного ребенка в соседней комнате за сына Нащокиных Александра, родившегося, согласно «копии о дворянстве» и сообщению В. А. Нащокиной-Зызиной, 2 февраля 1839 г., и отнес картину к концу 1839 г. Свою ошибку я обнаружил, ознакомившись с неопубликованной работой Н. Н. Белянчикова «Пушкин, Гоголь, Белинский и Нащокин» *(ИРЛИ)*.

[2] «Пушкин в воспоминаниях современников», т. II. М., 1974, с. 198.

[3] «Искра», 1866, № 47, с. 625.

ни. Все тут есть — мебель от Гамбса, того самого мебельщика, который посылал Пушкину в Петербурге свои дорогие счета, обеденный стол-сороконожка, карточные столики с зеленым сукном, рояль красного дерева, о котором я уже упоминал. Уцелела, однако, лишь часть первоначально имевшейся обстановки, которая насчитывала около 600 миниатюрных предметов. До нашего времени дошло более половины этих уникальных экспонатов, дающих наглядное представление об обстановке, в которой друзья встречались в Москве.

«Нащокинскому домику», занимающему особое место среди реликвий, хранящих черты пушкинской эпохи, посвящен ряд работ. Наиболее ценными из них являются современные исследования Г. И. Назаровой.

Пушкин не раз видел «домик» во время своих приездов в Москву, и его весьма забавляла эта очаровательная игрушка, на которую Павел Воинович затратил очень большие деньги — по словам хорошо осведомленного П. И. Бартенева, «несколько тысяч рублей»[1]. В опубликованном отрывке письма Нащокина к профессору М. П. Погодину, которое относится, по-видимому, к началу 40-х годов, названа гораздо бóльшая цифра[2]. Павел Воинович сообщает, что на «маленький домик», предлагаемый Погодину в залог, он истратил 40 тысяч (ассигнациями) — сумма, за которую можно было в то время купить порядочную деревню вместе с крестьянами. Судя по описаниям «нащокинского домика» и по частично сохранившимся предметам обстановки, Нащокин не преувеличил его стоимости.

Еще 8 декабря 1831 года поэт писал жене: «Дом его (помнишь?) отделывается; что за подсвечники, что за сервиз! он заказал фортепьяно, на котором играть можно будет пауку» (XIV, 245).

Около 30 сентября 1832 года Пушкин снова возвращается к нащокинской модели: «У него *в домике* был пир: подали на стол мышонка в сметане под хреном в виде поросенка. Жаль, не было гостей. По своей духовной домик этот отказывает он тебе» (XV, 33). Однако Н. Н. Пушкина этого посмертного подарка Павла Воиновича не получила, так как домик был заложен и не выкуплен. Как справедливо писал П. И. Бартенев, «жизнь Нащокина состояла из переходов от «разливанного моря» (с постройкою кукольного домика в несколько тысяч рублей) к полной скудости, доходившей до того, что приходилось топить печи мебелью красного дерева. Он прожил несколько больших наследств»[3].

---

[1] «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 433.

[2] Г. И. Назарова. Нащокинский домик.— В кн.: «Пушкин и его время», вып. I. Л., 1962, с. 502.

[3] «Письма П. В. Нащокина к А. С. Пушкину».— «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 433.

* * *

Еще раз упоминает Пушкин «нащокинский домик» во время своего последнего свидания с Нащокиным. В 1836 году поэт, как мы знаем, приехал в Москву вскоре после похорон матери. Всю жизнь она с непонятной холодностью относилась к гениальному сыну и только в последние месяцы поняла и оценила его, впервые стала по-настоящему близкой. Смерть ее была тяжелым горем, а кроме него, было и в 1836 году, и в предыдущем немало неприятностей, тревог и огорчений. В свете заговорили о настойчивых ухаживаниях Дантеса за Натальей Николаевной. Одолевали долги, притесняла цензура, много было хлопот и неприятностей в связи с изданием «Современника». Пушкин нервничал, терял терпение. Одна за другой назревали (к счастью, не состоявшиеся) дуэли — с С. С. Хлюстиным, с графом В. А. Соллогубом, с князем Н. Г. Репниным (из-за оды «На выздоровление Лукулла»).

И все же, когда поэт очутился в доме дорогого ему Павла Воиновича, он сразу душевно оттаял. Захотелось поболтать с женой и о любимой затее друга: «Домик Нащокина доведен до совершенства — недостает только живых человечиков. Как бы Маша им радовалась!» (XVI, 111),— сообщает он в первом же письме, от 4 мая. Маше, старшей дочери поэта, в это время было уже четыре года.

Итак, поэт в гостях у Нащокиных. Мы знаем теперь и его душевное состояние, и тот уютный «угол», в котором на этот раз принял друга Павел Воинович.

Как же провел Пушкин свои последние восемнадцать московских дней? Много лет спустя о них подробно поведала Вера Александровна, но, прежде чем обратиться к ее рассказам, послушаем, что же говорит об этом времени сам поэт.

Из Москвы Пушкин послал Наталье Николаевне целых шесть писем — 4, 6, 10, 11, 14 — 16 и 18 мая. Жена ему ответила двумя, которых мы не знаем, так же как и других ее писем к мужу.

Как известно, поэт очень хотел взглянуть на «семейственную жизнь» Павла Воиновича «и ею порадоваться». Гостя в Москве, он, конечно, пристально присматривался к отношениям супругов, которых в этом качестве видел впервые. Впервые он встретился с Верой Александровной как женой и молодой матерью, как хозяйкой недавно свитого гнезда. Можно было думать, что и в письмах к жене Пушкин подробно расскажет о том, что он нашел и узнал в квартире «у Старого Пимена». Однако в шести письмах поэта мы находим лишь одно, да и то очень краткое, упоминание о жене друга: «Жена его очень мила. Он счастлив и потолстел. Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались и целый вчерашний день проболтали бог знает о чем» (письмо от 4 мая — XVI, 111).

Пушкин ведет в письмах серьезную беседу с женой о занимающих и волнующих его делах — о своем журнале «Современник», который, как надеялся поэт, будет давать 80 тысяч прибыли (6 мая)[1], о будущей работе в московских архивах, где придется «зарыться» месяцев на шесть (14 мая), о делах домашних — маленьких, но важных...

Он шутливо бранит жену за кокетство с царем, о котором сплетничают в Москве (6 мая): «И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако ж видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола» (XVI, 112—113).

Возможно, он намекает на кавалергарда Жоржа Дантеса, когда пишет Наталье Николаевне 18 мая: «По мне драка Киреева[2] гораздо простительнее, нежели славный обед ваших кавалергардов и благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут» (XVI, 117).

И вполне серьезно поэт предупреждает жену, сообщая ей о своем намерении полгода проработать в московских архивах (14 мая): «А я тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму» (XVI, 116).

Горько и желчно Пушкин жалуется жене на невыносимое положение литератора, зависящего от полиции. Последнее письмо (18 мая) заканчивается скорбным выкриком: «...чөрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!» (XVI, 117—118). Можно было бы думать, что камер-юнкер Пушкин послал это письмо с оказией, но это не так. На подлиннике имеются почтовые штемпеля: «Москва 1836 майя 18» и «Получено 1836 май 21 утро» (XVI, 320).

Но наряду с беспокойными, грустными, трагическими мыслями в этих шести письмах мы находим немало забавных историй, московских сплетен, как называет их Пушкин. Тут и Александр Карамзин, сын историка, который будто бы стрелялся из-за несчастной любви, но пуля только выбила передний зуб; тут и дочь «свата нашего Толстого»[3], которая «почти сумасшедшая, живет в мечтательном мире, окруженная видениями, переводит с греческого Анакреона и лечится омео-

---

[1] В действительности издание этого журнала оказалось убыточным и еще более ухудшило материальное положение Пушкина.

[2] Гусарский офицер, побивший в пьяном виде хозяина известного ресторана «Яр».

[3] Речь идет о юной поэтессе Сарре Толстой, дочери графа Федора Ивановича Толстого, прозванного «Американцем».

патически» (XVI, 111); здесь же и веселые россказни о ряде других московских женщин.

Пушкин, видимо, хочет развлечь Наталью Николаевну, которая со дня на день должна родить.

Почему же о жене любимого друга, женщине, на которой он недавно советовал Павлу Воиновичу жениться, он не сообщает почти ничего?

Возможно, что Пушкин не решился писать подробнее о молодой и красивой женщине, чтобы не вызывать ревности Натальи Николаевны, упоминания о которой встречаются в воспоминаниях современников. По этой же причине он вообще избегал писать жене о своих приятельницах-женщинах, а иногда писал не то, что думал.

И лишь в единственной строке, посвященной Вере Александровне, поэт запечатлел ее основное качество: «...очень мила». Да, прежде всего милый, добрый человек была жена Павла Воиновича.

О самом Нащокине поэт говорит много подробнее, и в его словах, как всегда, чувствуется теплая, дружеская привязанность. Только распорядок дня Павла Воиновича огорчает гостя: «Нащокин встает поздно, я с ним забалтываюсь — глядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать — и день прошел» (6 мая); «Нащокин здесь одна моя отрада. Но он спит до полудня, а вечером едет в клоб, где играет до света» (11 мая); «Любит меня один Нащокин. Но тинтере[1] мой соперник, и меня приносят ему в жертву» (14 мая) (XVI, 112, 114, 116).

Читая эти строки, мы невольно думаем, мог бы Павел Воинович и не ездить в «клоб» (Английский клуб), пока у него гостит друг. Но это мы знаем, что поэту остается жить восемь месяцев, для Нащокина же этот приезд Пушкина — лишь очередная встреча. Много раз виделись и еще много раз увидятся. Обоим нет и сорока...

Дни Пушкина в Москве проходили по-разному. То он пишет, конечно шутя (11 мая): «Жизнь моя пребеспутная. Дома не сижу — в Архиве не роюсь... Вчера ужинал у кн[язя] Фед[ора] Гагарина и возвратился в 4 часа утра — в таком добром расположении, как бы с бала» (XVI, 114). Через три дня он описывает свое времяпрепровождение иначе: «Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Сижу дома — вижу только мужеск пол» (XVI, 116).

Судя по письмам Пушкина, было и то, и другое. Жил он, конечно, не «беспутно» — кроме ужина у Гагарина, затянувшегося до утра, других «всенощных бдений», вероятно, не было. Гостя в семейном доме, поэт, наверное, возвращался вовремя, но уходил он из дому часто.

Пушкин упоминает об очень многих лицах, у которых

[1] Карточная игра.

успел побывать за неполных три недели, проведенных в Москве. Кого тут только нет... Тетка поэта Елизавета Львовна Сонцова. Старинный друг — опальный философ, бывший лейб-гусар П. Я. Чаадаев, о котором Пушкин пишет: «Чаадаева видел всего раз» (11 мая). Отставной генерал-майор М. Ф. Орлов, декабрист, избежавший суда благодаря заступничеству брата — графа Алексея Федоровича, чьи конногвардейские эскадроны атаковали восставших 14 декабря. У него поэт был на обеде. Бывший друг, а потом, скорее, недруг Александр Николаевич Раевский. С ним Пушкин виделся, но, кажется, его не навестил. Посетил знаменитого художника К. П. Брюллова, прославленного актера М. С. Щепкина, старого поэта И. И. Дмитриева, писателя А. А. Перовского (Антония Погорельского). Обедал у историка и археолога А. Д. Черткова, дважды был у начальника московского архива министерства иностранных дел А. Ф. Малиновского.

О Ф. И. Толстом — «Американце» и князе Ф. Ф. Гагарине уже упоминалось. Был поэт и у родственника Нащокина — Матвея Алексеевича Окулова, мужа его сестры Анастасии Воиновны. Сидя у него, Пушкин написал 7 мая записку Вяземскому. Ездил хлопотать по делам «Современника». Возможно также, что поэт виделся и с кем-либо из родных Веры Александровны.

Словом, дни его в Москве были очень загружены — значительно больше, чем в Петербурге. Недаром Пушкин пишет жене 11 мая: «Письмо мое похоже на тургеневское». Наталья Николаевна, очевидно, читала письма Александра Ивановича Тургенева, которые издатель «Современника» напечатал в первом томе своего журнала под названием «Хроника русского в Париже». Неутомимый путешественник и наблюдатель, Тургенев сообщает там о великом множестве лиц и событий. Сам Пушкин обычно так не писал.

Но как ни много ездил и ходил Пушкин по Москве в свой последний приезд, все же он проводил долгие часы с Павлом Воиновичем и его женой. Вероятно, бывали дни, когда поэт, утомленный сумятицей московского времяпрепровождения, и совсем не выходил из дома «у Старого Пимена». Ведь он стремился в Москву и для того, чтобы повидаться с Нащокиным и посмотреть, как наладилась его жизнь.

В один из этих московских дней Павел Воинович оказал поэту последнюю свою услугу. В доме Нащокина и при его участии, как секунданта, была улажена тянувшаяся несколько месяцев дуэльная история с графом В. А. Соллогубом, которого Пушкин вызвал за якобы неуважительное обращение к Наталье Николаевне. Вызов был послан по почте, но письмо затерялось (или было перехвачено), и Соллогуб узнал о нем, уже уехав из Петербурга. По ряду причин ему долго не удавалось встретиться с Пушкиным. В конце концов, опасаясь

подозрений в трусости, он поспешил в Москву и рано утром явился к Нащокину, зная, что поэт остановился у него.

В своих «Воспоминаниях» Соллогуб описывает весьма необычное объяснение между дуэлянтами, которые почти сразу начали говорить... об издании пушкинского журнала «Современник».

«Павел Воинович явился, в свою очередь, заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на мирный его лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки и что дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Воинович тотчас приступил к роли примирителя» [1].

На этот раз очередная дуэльная история поэта была улажена легко. В следующей, предпоследней, В. А. Соллогуб участвовал уже в качестве секунданта Пушкина. Как известно, ее уладили с большим трудом. Последняя же оказалась роковой.

20 мая ночью Пушкин простился с Нащокиным и его женой, простился, как оказалось, навеки. Уехал обратно, в Петербург.

29 января 1837 года их великого друга не стало.

В начале следующего года Павел Воинович писал С. А. Соболевскому, вернувшемуся в Петербург из Швейцарии и сетовавшему на Нащокина за то, что тот не написал ему о смерти поэта: «Смерть Пушкина — для меня — уморила всех — я всех забыл — и тебя — и мои дела и все — я должен был опомниться, имея жену и детей,— без них я бы вполне предался с наслаждением печали — и к моему плохому здоровью, вероятно, отправился туда же, куда и всем путь — непременный. Ты не знаешь, что я потерял с его смертью и судить не можешь — о моей потере. По смерти его и сам растерялся — упал духом, расслаб телом. Я все время болен» [2].

* * *

Годы шли. Многое пришлось испытать семейству Нащокиных после смерти поэта. Благодаря карточной игре Павел Воинович постепенно разорялся. Уже в его воспоминаниях 1836 года ростовская вотчина значится проданной — вероятно, для покрытия сделанных долгов. Однако первые послепушкинские годы, по-видимому, были еще относительно благополучны-

---

[1] В. А. Соллогуб. Из «Воспоминаний».— В кн.: «Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1974, с. 311.

[2] Пушкин по документам архива С. А. Соболевского.— «Литературное наследство», т. 16-18. М., 1934, с. 754.

ми в материальном отношении. Жили Нащокины по-прежнему в доме «у Старого Пимена». В 1839 году шведский художник Карл Петер Мазер (K. P. Mazer) пишет для Павла Воиновича портрет Пушкина в красном с зелеными клетками архалуке (халате). Долгое время этот портрет считался прижизненным[1], однако в действительности художник никогда не видел Пушкина и писал его лицо по сохранившимся изображениям; позировал же ему Нащокин в архалуке поэта, подаренном Натальей Николаевной после смерти мужа. Тогда же Мазером был написан очень удачный портрет самого Павла Воиновича, который ныне хранится в шведском городе Гетеборге. В своих рукописных воспоминаниях художник упоминает о том, что он гостил в доме Нащокина «в течение двух лет и был связан с ним тесными дружескими отношениями»[2]. Как видим, Нащокин по-прежнему продолжает оказывать помощь и гостеприимство начинающим художникам.

Во Всесоюзном музее А. С. Пушкина имеется еще одна картина Н. И. Подключникова, изображающая семейство Нащокиных на фоне летнего сельского пейзажа. Три девочки (Наталья, Екатерина и Софья) занимают вместе с родителями первый план. В глубине картины видна фигурка кормилицы или няни с ребенком на руках. Это, несомненно, Александр Павлович Нащокин, родившийся, согласно «копии о дворянстве» и сообщению В. А. Нащокиной-Зызиной, 2 февраля 1839 года. Лобанов-Ростовский приводит более позднюю дату — 3 февраля 1841 года, но она, по-видимому, неверна. Таким образом, картину приходится отнести к лету 1839 или 1840 года. Последнее мне кажется более вероятным, так как и в этом случае изображенной в центре картины девочке Екатерине нет еще 7 лет (родилась, как говорилось, 2 ноября 1834 г.), а выглядит она значительно старше.

Прекрасный мраморный бюст Пушкина работы И. П. Витали[3], по-видимому приобретенный Нащокиным у этого скульптора, картины Н. И. Подключникова — все это, несомненно, вызывало крупные расходы.

Однако дела Павла Воиновича все ухудшались. В 1848 году, согласно «копии о дворянстве», «имения за ним никакого не числилось». Когда наступило окончательное, как можно было думать, разорение, мы не знаем, но в 1851 году Нащокин снимал уже бедную квартиру у церкви Неопалимой Купины, близ Девичьего Поля[4].

---

[1] Пушкин. Летописи Государственного Литературного музея, кн. I. М., 1936, с. 565—566.

[2] Г. И. Назарова. Из иконографии Нащокиных.— В кн.: «Пушкин и его время. Исследования и материалы». Л., 1962, с. 419.

[3] М. Беляев, П. Рейнбот. Бюсты Пушкина работы Витали и Гальберга, с. 202—204.

[4] *Рассказы о Пушкине*, с. 9.

В этом именно году, осенью, с ним, вероятно через профессора и писателя М. П. Погодина, познакомился один из зачинателей науки о Пушкине — Петр Иванович Бартенев. Молодому энтузиасту, еще состоявшему студентом историко-филологического факультета Московского университета, было едва 22 года. Биография Пушкина в то время была совершенно не изучена. Имя Павла Воиновича вовсе не появлялось в печати, и, познакомившись с ним, Бартенев «имел весьма неясное представление о том, с кем он беседует». Не знал он, конечно, ничего и о Вере Александровне Нащокиной. В ноябре и декабре 1851 года начинающий исследователь посетил супругов Нащокиных восемь раз. В 1852 году он был у них дважды. Последнее свидание, во время которого производились записи, состоялось в марте 1853 года.

П. И. Бартенев вскоре понял, что на его долю выпало большое счастье — записывать никому еще не известные рассказы ближайшего друга Пушкина, и притом человека, который ничего не выдумывает. 8 октября 1851 года он отметил в своей рабочей тетради: «Вообще степень доверия к показаниям Нащокина во мне все увеличивается, и теперь доверие мое переходит в уверенность. Он дорожит священной памятью и сообщает свои сведения осторожно, боясь ошибиться, всегда оговариваясь, если он нетвердо помнит что-либо» [1].

Надо сказать, что и Павел Воинович, вообще отлично разбиравшийся в людях, видимо, сразу же оценил добросовестность совсем еще юного исследователя, которого к нему направили. Делился с ним своими драгоценными сведениями охотно и, по-видимому, ничего от него не утаил из того, что осталось в слабеющей уже памяти.

Впоследствии многие из сделанных им записей Бартенев использовал в своих работах — многие, но далеко не все. Уже в советское время Л. Э. Бухгейм, тогдашний владелец его рабочей тетради, содержавшей в общем записи рассказов 21 лица, лично знавших Пушкина, предоставил ее в распоряжение Мстислава Александровича Цявловского. Последний, изучив эти ценнейшие материалы, снабдил их подробными комментариями и опубликовал в 1925 году в виде отдельной книги — «Рассказы о Пушкине», на которую я уже много раз ссылался. Сейчас она является библиографической редкостью, недоступной большинству читателей.

Хотя Вера Александровна присутствовала почти при всех беседах мужа с Бартеневым, последний обращался к ней лишь изредка. Бартенева интересовал — и это вполне понятно — прежде всего сам Павел Воинович, близкий друг Пушкина, знавший его в течение многих лет. Тем не менее несколько

---

[1] *Рассказы о Пушкине*, с. 35.

записей со слов его жены также существенны и за одним-единственным исключением вполне достоверны.

Для нас они особенно интересны тем, что это наиболее ранние и потому, надо думать, наиболее точные рассказы В. А. Нащокиной о Пушкине. Ведь Бартенев расспрашивал о нем не ветхую старушку, к которой ездили журналисты конца столетия, а сорокалетнюю женщину, хорошо помнившую свои относительно недавние встречи с поэтом.

В своих записях Бартенев отметил совместный рассказ супругов Нащокиных: «Нащокин и жена его с восторгом вспоминают о том удовольствии, какое они испытывали в сообществе и в беседах Пушкина. Он был душа, оживитель всякого разговора. Они вспоминают, как любил домоседничать, проводил целые часы на диване между ними; как они учили его играть в вист и как просиживали за вистом по целым дням; четвертым партнером была одна родственница Нащокина, невзрачная собою; над ней Пушкин любил подшучивать»[1].

С горьким чувством Вера Александровна и ее муж рассказывали Бартеневу о том, как небрежно они относились к письмам Пушкина: «...много писем у них распропало, раздарено и пр. Одно письмо она даже раз встретила на сальной свечке». Эта беседа происходила 8 октября 1851 года. Тогда же Бартенев отметил: «Она же говорит, что недавно в одном журнале было напечатано известие: некто продал письмо Пушкина к Нащокину за 50 рублей серебром и содержание письма тоже напечатано»[2].

Бартенев записал также довольно подробно совместные рассказы Нащокиных о суеверии поэта: «По словам Нащокина и жены его, Пушкин был исполнен предрассудков суеверия, исполнен веры в разные приметы. Засветить три свечки, пролить прованское масло (что раз он и сделал за обедом у Нащокина и сам смутился этою дурною приметою) и проч.— для него предвещало несчастие»[3].

Непосредственно со слов Веры Александровны Бартенев записал слышанный ею от Данзаса рассказ о том, как последний ехал с Пушкиным к месту дуэли: «Отправляясь на дуэль за Новой Деревней на Черную речку, Пушкин встретил на Каменном мосту Данзаса, посадил его к себе в экипаж и на вопрос: куда? зачем? отвечал, что после узнает. Данзас догадался. Он хотел как-нибудь дать знать проходящим о цели их поездки (выронял пули, чтобы увидали и остановили). Дорогою они встретили Наталью Николаевну, которая возвращалась с гулянья. Всю дорогу Пушкин молчал»[4].

---

[1] *Рассказы о Пушкине*, с. 33.
[2] Там же, с. 34.
[3] Там же, с. 40.
[4] Там же, с. 41.

По поводу этой записи М. А. Цявловский замечает: «Рассказ К. К. Данзаса здесь неточно передан: спутаны две поездки Данзаса с Пушкиным. Встретившись 27 января с Данзасом на Пантелеймоновской улице, Пушкин повез его не на место дуэли, а во французское посольство к секунданту Д'антеса д'Аршиаку, где и были выработаны условия поединка. На дуэль Пушкин с Данзасом поехали из кондитерской Вульфа»[1].

В данном случае несомненна ошибка памяти Веры Александровны — Данзас ее сделать не мог. В рассказе, записанном со слов Нащокиной, есть еще одна совершенно неправдоподобная деталь, на которую, если я не ошибаюсь, комментаторы до сих пор не обращали внимания. Какой смысл был Данзасу «выронять» в снег пистолетные пули? Если даже кое-где снега и не было, кто бы обратил внимание на маленький шарик, оброненный проезжающим офицером? Пули к тому же надо было сначала вынуть из ящика с дуэльными пистолетами, в котором помещался весь набор, а на глазах у Пушкина этого сделать было нельзя. Вероятно, не зная обращения с пистолетами, Вера Александровна позднее неточно передала (без умысла, конечно) рассказ секунданта.

Вторая часть той же записи содержит продолжение рассказа Данзаса о дуэли Пушкина: «Когда потом он был привезен в карете раненый, Данзас тотчас прямо пошел в спальню к жене. Та удивилась, что он зашел к ней в эту комнату. «Александр Сергеевич нездоров!» — отвечал он. Жена вскрикнула: «Верно, он умер!» — и бросилась к нему»[2].

Еще одна запись со слов жены Павла Воиновича содержит незначительные, но милые подробности жизни поэта в доме «у Старого Пимена»: «Когда Пушкин жил у них (в последний приезд его в Москву), она часто играла на гитаре, пела. К ним ходил тогда шут Еким Кириллович Загряцкий. Он певал песню, которая начиналась так:

Двое сани с подрезами,
Одни писанные;
Дай балалайку, дай гудок.

Пушкину очень понравилась эта песня; он переписал ее всю для себя своею рукою и хотя вообще мало пел, но эту песню тянул с утра до вечера»[3].

Приведем еще одну, последнюю запись, сделанную несомненно со слов Веры Александровны. Она интересна и тем, что позволит нам сравнить ее рассказ 8 марта 1853 года с тем, что она говорила 45 лет спустя.

---

[1] *Рассказы о Пушкине*, с. 109.
[2] Там же, с. 41.
[3] Там же, с. 46.

«Весною 1836 года Пушкин приехал в Москву из деревни[1]. Нащокина не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин, между прочим, сказал, что, когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным, сухим грунтом, вспомнил о Войныче (так он звал его иногда): «Если он умрет, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать». Жена Нащокина очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался ее успокоить, подавал воды и проч.»[2].

Таким образом, П. И. Бартеневу в 1851—1853 годах Вера Александровна, кроме своего разговора с Данзасом о дуэли, сообщала главным образом бытовые подробности, относящиеся к Пушкину. Творчества поэта она не касалась. Предоставляла говорить о нем мужу.

* * *

Жизнь Павла Воиновича клонилась к преждевременному концу, но Нащокин не был бы Нащокиным, если бы так и умер в бедности.

Все тот же П. И. Бартенев, который продолжал с ним видеться и по окончании биографических записей, сообщает: «Пишущий эти строки довольно близко знал Нащокина, бывал у него в бедной его обстановке (у Неопалимой Купины) и потом в богатом доме на Плющихе, где происходили крестины последнего сына его, крестным отцом которого был позван попечитель учебного округа Назимов»[3].

Последний сын Нащокина, Андрей Павлович, согласно сообщению Веры Андреевны Нащокиной-Зызиной, родился 2 февраля 1854 года. Таким образом, Павел Воинович еще раз разбогател, можно думать, во второй половине 1853 года[4]. Н. Н. Белянчиков выяснил, что он получил значительное наследство после смерти своей родной сестры — бездетной помещицы Александры Воиновны, по мужу Статковской, которая скончалась 18 мая 1852 года. Автор объясняет поздний переезд Нащокина в дом на Плющихе тем, что оформление прав на наследство носило тогда вообще затяжной характер[5].

---

[1] В действительности из Петербурга, куда он ненадолго вернулся после похорон матери.

[2] *Рассказы о Пушкине*, с. 49.

[3] «Письма П. В. Нащокина к А. С. Пушкину».— «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 433.

[4] В марте этого года он вместе с семьей жил еще в очень стесненных условиях.

[5] *ИРЛИ.*

С этими данными хорошо согласуются и сведения, сообщенные мне В. А. Нащокиной-Зызиной. В письме от 8 июля 1967 года она излагает по памяти содержание несохранившегося письма[1] Веры Александровны к Павлу Воиновичу из Петербурга, «куда она ездила навещать детей: сын Александр был в Пажеском корпусе, дочери в институте. Как она писала, остановились у Демута, вечером был Данзас, который целый вечер рассказывал какие-то истории».

Внучка Александра Павловича — Елена Алексеевна Нащокина (Ленинград) внесла в это сообщение небольшую поправку. По ее словам, дед учился не в Пажеском корпусе, а в Училище правоведения, что, по ряду соображений, представляется мне более вероятным.

В Училище правоведения мальчиков принимали с 14-ти лет. Александр Павлович Нащокин родился 2 февраля 1839 года. Таким образом, поездка Веры Александровны могла состояться не ранее 1853 года и не позже следующего, когда Павел Воинович скончался. Более вероятна вторая половина 1853 года, так как 2 февраля 1854 года у Веры Александровны родился последний ребенок, и вряд ли бы она оставила младенца на попечение мамки.

Петербургский адрес Нащокиной свидетельствует о тогдашнем достатке семьи. Гостиница Демута («Демутов трактир», как его именует Пушкин) долгое время считалась лучшей в Петербурге. Наряду с апартаментами, в которых останавливались прибывавшие в столицу посланники и другие знатные иностранцы, там имелись, правда, и недорогие номера, но все же люди бедные у Демута не жили.

В Петербург Вера Александровна приехала не одна («остановились»). Может быть, ее сопровождала старшая дочь, 19-летняя Екатерина. В одном из институтов благородных девиц учились, по всей вероятности, Наталья и Анастасия. впоследствии вышедшая замуж за князя Трубецкого. Первой из них в 1853 году было 16 лет, второй — 12.

Бывший секундант Пушкина, боевой офицер Константин Карлович Данзас (1801—1871) мог о многом рассказать Вере Александровне. В 1838—1839 годах он участвовал в военных операциях на Черноморском побережье Кавказа, причем его начальником был друг Пушкина, генерал-майор Николай Николаевич Раевский — младший.

К сожалению, мы вряд ли когда-либо узнаем, какие именно истории Данзас рассказывал целый вечер Вере Александровне Нащокиной в гостинице Демута...

---

[1] По словам В. А. Нащокиной-Зызиной, ее мать незадолго до своей смерти в 1937 г. продала это письмо Государственному Историческому музею в Москве. В настоящее время письма Веры Александровны такого содержания там нет.

Павел Воинович, как видно, не напрасно заботился о внесении своих детей в дворянскую родословную. Недаром хлопотал и о том, чтобы род его был перенесен из четвертой в шестую, наиболее почетную ее часть.

По всей вероятности, ему удалось, пользуясь родственными связями и знакомствами, устроить детей на казенные вакансии, так как плата за учение в привилегированных учебных заведениях для своекоштных воспитанников и воспитанниц была очень высокой. В отношении одной из его дочерей мы можем сказать это с уверенностью. В письме от 3/15 марта (год не проставлен) композитор граф М. Ю. Виельгорский, очень близкий к придворным кругам, сообщает Нащокину: «С удовольствием извещаю вас, любезнейший Павел Воинович, что дочь ваша помещена пенсионеркою е. и. в.»[1]. В тексте упоминается далее о важных событиях во Франции, которые уже отражаются в Германии, что позволяет с уверенностью отнести письмо к революционному 1848 году. По-видимому, в письме идет речь о зачислении в приготовительный класс одного из институтов дочери Нащокиных Анастасии, будущей княгини Трубецкой, которой в это время шел восьмой год. Те же лица, можно думать, помогли Павлу Воиновичу определить сына в Училище правоведения, также привилегированное и для своекоштных воспитанников дорогое учебное заведение.

* * *

Я уже не раз упоминал о том, что Павел Воинович Нащокин, кроме двух гениев — Пушкина и Гоголя, знал очень многих выдающихся людей своего времени — поэтов, писателей, литераторов, ученых, а с некоторыми из них был и в близких дружеских отношениях. С ним в разное время встречались, а частью и переписывались В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, В. Г. Белинский, А. Ф. Вельтман, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, С. А. Соболевский и многие другие. Он знал композитора А. Н. Верстовского, музыкантов и композиторов — графа М. Ю. Виельгорского и А. П. Есаулова, знаменитого художника К. П. Брюллова, великого актера М. С. Щепкина. К сожалению, письменных свидетельств о его знакомствах 20-х и 30-х годов почти не сохранилось. Своей переписки, пока его жизнь в 1834 году, после женитьбы, не упорядочилась, Нащокин, по-видимому, не сохранял. Мы не знаем, например, ни одного письма его матери, а они, конечно, существовали.

Хотя в невнимательном отношении к письмам Пушкина и других лиц повинны были оба супруга, Вера Александровна

---

[1] *ИРЛИ.*

все же сберегла многое, хорошо понимая значение оставшихся у нее после смерти мужа бумаг. Достаточно сказать, что, посылая впоследствии Л. И. Поливанову записку Н. В. Гоголя, Вера Александровна писала: «Разбирая на днях старые письма, которых у меня масса, я случайно нашла посылаемую при этом письме записку Н. В. Гоголя к моему покойному мужу. Как ни пустячно ее содержание, но я думаю, что и подобная мелочь, раз она касается такого гения, как Гоголь, может иметь известный интерес»[1].

Бо́льшая часть сохранившихся писем Нащокина и к Нащокину относится (переписку Павла Воиновича с Пушкиным мы теперь оставляем в стороне) к 40-м и 50-м годам. Поэта уже давно нет в живых, но круг знакомых его друга, по-видимому, состоит главным образом из тех же лиц, что и при жизни Пушкина (о «народах», когда-то наполнявших холостую квартиру Нащокина, давно, конечно, нет и речи).

В архиве журнала «Русская старина» сохранилась рукописная «Заметка о Павле Воиновиче Нащокине», составленная Ф. Б. Миллером и датированная 8 декабря 1880 года[2]. Автор пишет: «Я мало знал П. В. Нащокина, но часто видел его в сороковых годах у Ф. Н. Глинки[3], на вечерах его по понедельникам, где обыкновенно собирались московские литераторы, ученые, артисты и художники <...> Я в течение пяти лет не пропускал почти ни одного из них и вспоминаю о них с удовольствием. Чаще других бывали у Глинки М. А. Дмитриев, С. Е. Раич, К. И. Рабус, Садовский, Федотов, Лихонин, Чаадаев, Завьялов (академик), Вельтман, Н. В. Берг (тогда еще студент), С. А. Юрьев и многие другие. Нащокин в то время, как видно, очень нуждался».

Сведений обо всех этих гостях Ф. Н. Глинки не приводим — они заняли бы слишком много места. Скажем лишь, что в доме, где своими людьми были философ П. Я. Чаадаев, литературный критик М. А. Дмитриев, поэт и критик С. Е. Раич, писатель и археолог А. Ф. Вельтман, художник, академик живописи К. И. Рабус,— в этом доме, очевидно, и Павел Воинович был «своим».

Прошло еще несколько лет. Нащокин совершенно обеднел, потом, совсем незадолго до смерти, снова разбогател, но, бедный или богатый, он по-прежнему общался с наиболее выдающимися людьми тогдашней культурной Москвы.

---

[1] Ив. Поливанов. Автографы из собрания Л. И. Поливанова.— «Искусство». 1923, № 1, с. 330.

[2] *ИРЛИ.*

[3] Федор Николаевич Глинка (1786—1880) — участник Отечественной войны, декабрист, поэт и публицист. Пушкин, хотя и относился к части его стихов иронически, ценил гражданскую позицию его творчества, восхищался самобытностью некоторых произведений.

10 мая 1853 года в саду при доме приятеля Пушкина и Нащокина, профессора М. П. Погодина чествовали парадным обедом прославленного актера М. С. Щепкина, уезжавшего за границу. Журнал «Москвитянин» поместил подробное сообщение об этом торжестве, в котором перечислены некоторые участники чествования[1]. П. В. Нащокин назван здесь наряду с А. Ф. Вельтманом, П. Я. Чаадаевым, А. Н. Островским, А. С. Хомяковым, братьями И. В. и П. В. Киреевскими, С. А. Соболевским, С. П. Шевыревым, Т. Н. Грановским и многими другими. Среди гостей есть люди, известные всей читающей России того времени, стоящие во главе ее духовной жизни, есть и лица менее заметные, но в целом это собрание наиболее культурных людей тогдашней Москвы, и для них, повторим еще раз, Павел Воинович — издавна свой.

Проследить отношения Нащокина со всеми лицами, которые упоминают о нем в своих воспоминаниях, изучить подробно их письма к Павлу Воиновичу (его собственных писем, кроме обращенных к Пушкину, известно очень немного) в этой книге нет возможности. Для этого потребовалось бы специальное обширное исследование.

Я приведу лишь несколько примеров общения Нащокина с выдающимися, а частью и знаменитыми людьми тогдашней России. Остановлюсь главным образом на материалах или вовсе не опубликованных, или помещенных в труднодоступных в настоящее время изданиях.

Хотя с перепиской Павла Воиновича с Гоголем ознакомиться легко, широко известно, однако, лишь цитированное уже мною длиннейшее, «программное» и нравоучительное письмо великого писателя от 20(8) июля 1842 года из Гастейна. Совсем короткую недатированную записку Гоголя к Нащокину, сохраненную Верой Александровной, знают сравнительно немногие, хотя она лучше отображает взаимные отношения корреспондентов, чем послание из Германии. Приведу поэтому полностью текст записки: «Не знаю, как Мих[аил] Петрович [Погодин], который еще спит, а что до меня с сестрами, то буду непременно. Только просьба прежняя и старая: ради бога, не обкармливайте. Закажите равиоли[2], да и только, дабы после обеда мы были хоть сколько-нибудь похожи на двуногих. А до того времени обнимаю вас заочно. Ваш Г.»[3]. Комментаторы записки датируют ее периодом между второй половиной декабря 1839 года и началом мая 1840

[1] Т. С. Гриц. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966, с. 492.

[2] Любимое Гоголем итальянское блюдо.

[3] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 268.

года, основываясь на том, что обе сестры Гоголя находились в это время в Москве.

Вера Александровна, конечно, права, называя ее содержание «пустяковым». Для нас интересен, однако, приятельский тон Гоголя — так пишут только близко знакомому человеку, которого можно попросить заказать своему повару любимое блюдо.

Не менее характерен в этом отношении и черновик письма Нащокина к Гоголю, которое, по мнению публикатора, возможно, относится к тому же времени, что и записка. Содержание черновика сейчас мало понятно. Речь в нем идет о 25 рублях, присланных Гоголем Нащокину неизвестно для кого и для чего. Интересны вступительные, дружески фамильярные строки, которые я приведу, заменив зачеркнутые слова многоточием: «Если вы птица[1], Николай Васильевич,— то точно небесная... Если и я тоже птица... то земноводная, обжорливая утка, чем бы мне га! га! не хотелось быть относительно вас»[2].

Познакомившись с Гоголем у Аксаковых еще до первого отъезда писателя за границу (июнь 1836 г.), Павел Воинович, несомненно, не раз потом встречался с ним в Москве, на что есть намек и в записке («просьба прежняя и старая»). Об одной знаменательной встрече мы знаем благодаря письму Константина Сергеевича Аксакова к его братьям Г. С. и И. С. Аксаковым (Москва, 24—25 октября 1839 г.): «У нас обедало несколько гостей, в том числе Панаев. Вечером приезжала Е. В. Погодина, которая сказала нам, что Гоголь у Нащокина. «Не будет ли он читать у него?» — спросил я. «Нет, [но] не будет ли он здесь читать?» — отвечала Е. В. Я почти закричал. Наконец приехал Гоголь, с ним Нащокин и М. С. [Щепкин]. Через несколько времени все уселись в гостиной, и Гоголь начал читать нам. Я и все прерывали его часто хохотом»[3].

Павел Воинович, таким образом, присутствовал при чтении Гоголем отрывков из «Мертвых душ» по рукописи, привезенной из-за границы. Пользуясь своими знакомствами, Нащокин, в свою очередь, старался доставить удовольствие матери Николая Васильевича, гостившей в Москве. 4 января 1840 года Надежда Сергеевна Аксакова пишет матери: «Верстовский отдал ложу Нащокину, который хочет повести матерь Гоголя в театр»[4].

---

[1] Нащокин имеет в виду народное название одного из видов дикой утки — нырка — «гоголь».

[2] Ив. Поливанов. Автографы из собрания Л. И. Поливанова.— «Искусство», 1923, № 1, с. 330.

[3] «Гоголь в неизданной переписке современников».— «Литературное наследство», т. 58. М., 1952, с. 570.

[4] Там же, с. 582.

Интересные сведения о знакомстве Нащокиных с матерью и сестрами Гоголя есть в поздних воспоминаниях Веры Александровны, записанных в 1898 году:[1] «У Гоголя была прекрасная семья. Мать кроткая, чудная и в молодости, вероятно, была красавица собой. Гоголь относился к ней с глубокой почтительностью и любовью. Я это знаю потому, что мать и две его сестры прожили у меня в доме около года[2]. Старшая из сестер была очень недурна собой, и Николай Васильевич был с ней особенно дружен; меньшая, Анна Васильевна, лицом поразительно походила на брата. Гоголь, обожавший музыку, очень хотел, чтобы хоть одна из его сестер играла на фортепьяно, и, желая ему сделать приятное, мы пригласили для Анны Васильевны учителя музыки — знаменитого тогда Гурилева[3]. Но Анна Васильевна не отличалась музыкальными способностями, уроки шли неуспешно и вскоре прекратились».

«Мне очень хотелось повеселить девочек, а для этого надо было повезти их в Благородное собрание на бал. В те времена доступ туда имели исключительно баре, членских билетов было весьма ограниченное количество, да и стоили они довольно дорого. Тогда я устроила такую штуку: из картона вырезала два билета такой величины и формы, как настоящий, и каждой из сестер Гоголя приколола по одному на грудь, а свой настоящий билет взяла с собой. Швейцар знал меня в лицо, как постоянного члена, и вместе со мной пропустили мнимых новых членов».

«Гоголь, когда мы собирались на бал, говорил моему мужу: «Посадят твою жену, Павел Воинович, непременно посадят с фальшивыми билетами-то!» И на самом деле наши мужчины были несколько в тревожном настроении, ожидая нас дома с чаем... «Молодец, Вера Александровна, вот молодец-то!» — говорил довольный Гоголь, когда мы, натанцевавшись, возвратились из Собрания».

Рассказ об этой забавной проделке, имевшей место зимой 1839/40 года, в памяти потомков Нащокиной сохранился в несколько иной версии, но это, конечно, дела не меняет.

Воспоминания В. А. Нащокиной лишний раз свидетельствуют о том, что отношения Нащокина и Гоголя были дружескими. К сожалению, они остаются и малоизвестными, и

---

[1] «Воспоминания о Пушкине и Гоголе (Рассказы В. А. Нащокиной, записаны И. Р.)».— Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1898, № 8129, 11 октября.

[2] В действительности около пяти месяцев — одна из ошибок памяти В. А. Нащокиной.

[3] Вероятно, речь идет не об известном композиторе и скрипаче Александре Львовиче Гурилеве (1803—1853), а, скорее, о его отце Льве Степановиче (1770—1844), московском преподавателе музыки. Бытующее среди потомков Нащокиной предание о том, что Вера Александровна давала уроки музыки одной из сестер Гоголя, вряд ли достоверно. Быть может, она помогала Анне Васильевне готовить уроки, задаваемые Гурилевым.

недостаточно изученными. Не опубликовано пока и хранящееся в архиве М. П. Погодина письмо Павла Воиновича с откликами на статью последнего «Кончина Гоголя» [1].

В. А. Жуковский не принадлежал к числу друзей или хотя бы близких знакомых Нащокина, но все же они изредка встречались, и знаменитый поэт дружелюбно относился к другу Пушкина. О начале знакомства рассказывает сам Павел Воинович в письме к Жуковскому из Москвы от 16 ноября 1849 года: [2] «Частые мои воспоминания об единственном и истинном друге моем Алекс[андре] Серг[еевиче] Пушкине необходимо сливаются с воспоминанием первого нашего знакомства, когда вы, вскоре после его смерти, вместе с графом Михайлом Юрьевичем Виельгорским с высоких степеней ваших снизошли в мой темный угол к неизвестному для вас дотоле человеку. Посещение ваше и в то время меня не удивило: оно свойственно высокой вашей душе и даже достойно назначения, тогда вами выполняемого. Цель посещения вашего была тоже христиански достигнута, ибо ничего не может быть утешительнее, как находиться с теми, которые равно делят скорбь и одинаково чувствуют важность потери... Впоследствии, при каждом свидании (что случалось редко, ибо вы с нами не живете), вы всегда оказывали особенное внимание и даже душевное участие ко мне — все приписываю памяти Пушкина и радуюсь тому, и смело убеждаюсь, что именем его путь к вашему сердцу открыт».

Далее Нащокин очень подробно излагает свое ходатайство за А. Ф. Рахманова, которому грозило совершенное разорение в связи с требованиями заимодавцев немедленно уплатить долги его сына, поручика Кавалергардского полка. Чтобы спасти от разорения Рахманова, являвшегося в свое время доверенным лицом Пушкина и Нащокина в различных денежных делах, Павел Воинович и обращается к бывшему воспитателю наследника с неожиданной просьбой: «...надобно испросить у в[еликого] к[нязя] наследника милости принять Рахманова (сына.— *Н. Р.*) в свою свиту».

Это письмо Нащокина, по всей вероятности, продиктовано им Вере Александровне, которая привела витиеватые фразы мужа в соответствие с синтаксическими правилами. Торжест-

---

[1] «Гоголь в неизданной переписке современников», с. 752.

[2] *ИРЛИ*. Встречи Нащокина с Жуковским, о которых он пишет в этом письме, состоялись во время пребывания поэта в Москве летом 1837 г. в составе свиты наследника Александра Николаевича, совершавшего путешествие по России. Точную дату знакомства Нащокина с Жуковским (3 августа 1837 г.) позволяют установить «Дневники Жуковского» (СПб., 1903, с. 346). Через несколько дней (6 августа) Жуковский побывал у Нащокина дома (т а м ж е, с. 347).

венный стиль Павлу Воиновичу не очень удавался. Нельзя, например, не заметить, что название «мой темный угол» совсем не приложимо к щегольской квартире в доме «у Старого Пимена», где, как видно из содержания письма, Жуковский и Виельгорский побывали вскоре после смерти Пушкина.

Как и следовало ожидать, Жуковский ответил вежливым, но категорическим отказом. 6—18 декабря 1849 года он пишет Нащокину из Баден-Бадена:[1] «Для меня было и весьма приятно, и весьма огорчительно получить письмо ваше, любезнейший Павел Воинович. Приятно потому, что из него я увидел, что вы сохранили мне ваше дружеское благоволение. Огорчительно же, и очень огорчительно тем, что я не вижу никакой возможности исполнить просьбу вашу, которую бы я исполнил с двойным усердием, во-первых, потому, что мне было бы весьма радостно вас порадовать, во-вторых, и потому, что ваше письмо возбудило во мне живое участие к судьбе Рахманова». Жуковский терпеливо и наставительно объясняет затем, почему он не может исполнить просьбы Павла Воиновича, которая, можно думать, его и удивила, и раздосадовала.

Через три месяца (22 февраля — 5 марта 1850 г.) Жуковский снова пишет из того же Баден-Бадена:[2] «...мне было тяжело приняться за перо для ответа, дабы только сказать в этом ответе человеку, мне любезному и которому мне так бы приятно было оказать услугу, что я не могу исполнить его желания».

Что касается новых просьб Павла Воиновича, Жуковский обещает содействие только в отношении одной (содержания ее мы не знаем), но свое письмо он заканчивает строками, которые несомненно были приятны Нащокину: «Но вы обяжете меня много, если по времени будете ко мне писать; мне весело будет слушать на чуже ваш дружеский отечественный голос. С истинным уважением преданный вам Жуковский»[3].

Нет основания сомневаться в том, что Жуковский действительно искренне уважал Павла Воиновича, зная, какова была его роль в жизни Пушкина.

В неопубликованной записке Нащокина к Жуковскому от 12 января 1850 года по поводу недавно вышедшего его перевода «Одиссеи» говорится: «...скажу вам теперь вкратце, с надеждою впредь о нем более распространиться, что сколько есть у нас в Москве образованных и мыслящих людей, у всех он лежит открытый на столе, из числа их мне известны многие бедные люди»[4].

Подробный отзыв о знаменитом переводе гомеровской поэ-

---

[1] Письмо В. А. Жуковского см.: П. Загарин. Жуковский и его произведения, изд. 2-е. М., 1883, Прил. VIII, с. LXVIII—LXX.

[2] «Искусство», 1923, № 1, с. 333—334.

[3] Там же.

[4] *ГПБ.*

мы, если он и был послан Жуковскому, до нас не дошел, но записка во всяком случае показывает, что и в это очень тяжелое для него время Павел Воинович не переставал интересоваться литературными новостями. Как видим, к Жуковскому он обращался не только с бытовыми просьбами.

П. А. Вяземский — давнишний, хотя и не близкий знакомый Нащокина. 25 августа 1829 года Петр Андреевич упоминает в своем дневнике о дружеской встрече, состоявшейся за несколько дней до этого в Москве: «Одно утро собрались у нас с Пушкиным: Бартенев-Костромской, Сергей Глинка, Сибилев, Нащокин Павел Воинович»[1]. Это, однако, не начало знакомства. Из письма Вяземского к Н. А. Муханову от 5 августа 1828 года, которое я цитировал, упоминая о смерти тогдашней подруги Павла Воиновича, видно, что Петр Андреевич в это время (по крайней мере один раз) побывал у Нащокина.

Опубликованные в «Литературном наследстве» отрывки писем Вяземского к Нащокину малозначительны, но все же свидетельствуют о том, что их знакомство не прервалось и со смертью Пушкина. 24 мая 1837 года Петр Андреевич пишет: «Вы, говорят, имеете прекрасный бюст назабвенного нашего друга. Если поступили уже в продажу слепки с него, то пришлите сюда их несколько, а в особенности один на мое имя»[2].

30 декабря 1841 года Вяземский сообщает: «Н. Н. Пушкина сказала мне, что на днях писала к вам. Она вам сердечно предана, и часто с нею говорим об вас»[3].

В этом письме Наталья Николаевна между прочим сообщает: «Князь Вяземский усердно взялся за ваше дело. Общая ваша дружба к Пушкину, не говоря уже о собственных ваших достоинствах, побуждает его употребить все старания к успешному исполнению вашего желания»[4].

Тем не менее о сколько-нибудь близком общении Вяземского и Нащокина во время наездов Петра Андреевича в Москву в 40—50-х годах вряд ли можно говорить. Круг знакомых Павла Воиновича мы знаем — это верхи московской интеллигенции, за малыми исключениями далекой от придворного и бюрократического мира. Вяземский, аристократ по происхождению, чем дальше, тем больше сближался с кругами официальными. Он еще не занимает больших государственных и придворных должностей — пока жив Николай I, князь Петр

[1] П. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 193.

[2] «Пушкин в неизданной переписке современников».— «Литературное наследство», т. 58, с. 146.

[3] Там же, с. 154.

[4] «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 602.

Андреевич по-прежнему не в чести. Товарищем министра народного просвещения, сенатором, членом Государственного совета, обер-шенком двора он становится уже позднее, после смерти Нащокина, при Александре II. Однако в московских домах, где друг Пушкина Нащокин был своим человеком, другой близкий друг поэта, Вяземский, в 40—50-х годах, по-видимому, не бывал вовсе.

К числу друзей Нащокина принадлежал также выдающийся поэт пушкинской плеяды Евгений Абрамович Баратынский (1800—1844). Павел Воинович называет его одним из друзей их «беспечной и добросовестной молодости». Вероятно, совсем еще юный Нащокин встречался с начинающим поэтом (Баратынский впервые выступил в печати в 1818 г.) в тот период, когда Баратынский, исключенный в 1816 году из Пажеского корпуса за мальчишескую проделку, жил в Петербурге и через только что окончившего Лицей Дельвига познакомился с Пушкиным, Кюхельбекером и П. А. Плетневым. В 1819 году он поступил рядовым в один из гвардейских полков. Как мы знаем, в это же время подпрапорщик Нащокин начал свою службу в Измайловском полку и вскоре перешел в Кавалергардский. В 1820 году произведенный в унтер-офицеры Баратынский был отправлен в Финляндию, оставался там пять долгих лет и только в 1825 году, получив первый офицерский чин, вышел в отставку.

Таким образом, Нащокин и Баратынский были хорошо знакомы, будучи еще совсем молодыми людьми. Павел Воинович вел в это время очень рассеянный образ жизни и, как я уже упоминал, своих бумаг, видимо, не сохранял. Единственным опубликованным свидетельством его отношений с Баратынским является письмо к поэту и переводчику, бывшему артиллерийскому офицеру, Николаю Михайловичу Коншину[1]. Письмо это, датированное 21 августа 1844 года, опубликовано давно[2], но оно настолько характерно для тогдашнего умонастроения Нащокина, что я приведу из него большую выдержку, опустив только малоинтересные религиозные размышления Павла Воиновича: «Истинно добрый и почтенный Николай Михайлович, прежде чем тебя благодарить за твое ко мне внимание, погорюем о Баратынском — и его не стало. Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: «Ну, Войныч, держись: в наши ряды постреливать стали». Многих

[1] По ходатайству Пушкина и Жуковского Н. М. Коншин был назначен директором тверской гимназии и училищ Тверской губернии.

[2] Письмо П. В. Нащокина к Н. М. Коншину о смерти Баратынского («Русская старина», 1908, декабрь, с. 762—763).

из товарищей твоих и общих наших уже нет на свете, о которых не говорят и говорить не будут; *слава же, известность* и *некрология* не умолкнут повторять имен Пушкина, Дельвига и Баратынского в дальнейшее время потомства; но много ли людей осталось, которые бы могли помянуть их как товарищей и друзей по сердцу и по душе; все трое были нам близки, но ты был ближе всех к Баратынскому, и, можно сказать, в единственную интереснейшую эпоху его жизни. Итак, любезный друг Коншин, оставим журналистам, газетчикам и лексиконистам славословить или поминать их лихом... а мы с тобою помянем их, во-первых, как христиане... а во-вторых, помянем их как друзей и товарищей нашей беспечной и добросовестной молодости: спасибо им, что пожили с нами и любили нас. Станем, любезный Николай Михайлович, доживать век наш в суетах и заботах и помогать друг другу».

По всей вероятности, и это письмо было продиктовано Вере Александровне или же она отредактировала составленный Нащокиным текст. Сам Нащокин так гладко писать не умел.

Друзья Павла Воиновича, по всей вероятности, знали, что в его переписке немалое участие принимает жена. С. А. Соболевский писал, например, Нащокину из Цюриха 11 декабря 1836 года: «Намарай мне побольше сплетен, а если тебе лень держать перо в руках, то заставь жену»[1].

Среди выдающихся людей, которых Нащокин знал более или менее близко, был и революционный демократ, великий критик Виссарион Григорьевич Белинский.

Когда Нащокин с ним познакомился, мы не знаем. Белинский прожил в Москве 10 лет (1829—1839). Вероятно, знакомство состоялось после того, как молодой Виссарион Григорьевич напечатал в 1834 году свою первую большую статью — «Литературные мечтания».

Весной 1836 года Павел Воинович уже несомненно знаком с Белинским, причем знаком не «шапочно». Об этом свидетельствует письмо Пушкина к Нащокину от 27 мая 1836 года. Отправляясь в Москву, поэт предполагал увидеться и с Белинским, но встреча почему-то не состоялась, и, едва вернувшись в Петербург, он пишет: «Теперь поговорим о деле. Я оставил у тебя два порожних экземпляра «Современника». Один отдай князю Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому (тихонько от Наблюдателей[2] №В и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться». Поручение, таким обра-

---

[1] *ИРЛИ.*

[2] Пушкин имеет в виду редакцию и сотрудников журнала «Московский наблюдатель».

зом, является конфиденциальным, и Пушкину, очевидно, известно, что Нащокин достаточно знаком с Белинским, чтобы его выполнить.

По-видимому, поэт поручал другу и более существенные переговоры.

В конце октября — начале ноября 1836 года Павел Воинович пишет: «Любезный друг Александр Сергеевич, много бы было об чем писать, да некогда. Что ты не аккуратен, это дело известное. Несмотря что известно — надо тебе это сказать, и коли можно, и помочь. Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, 3 т[ысячи]. Наблюдатель предлагал ему 5.— Греч тоже его звал.— Теперь, коли хочешь, он к твоим услугам — я его не видал — но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать.— Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю» (XVI, 181).

И. В. Сергиевский, посвятивший свою кандидатскую диссертацию несостоявшейся встрече Пушкина с Белинским в Москве, считает, что письмо Нащокина свидетельствует о намерении Пушкина привлечь Белинского к работе в «Современнике»[1]. Мнение Сергиевского разделяют и другие исследователи.

Прибавлю от себя, что слова Нащокина: «Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю» — позволяют думать, что в конце 1836 года Павел Воинович был уже близко знаком с Белинским.

19 февраля 1840 года Белинский в письме к В. П. Боткину поручает своему родственнику Д. И. Иванову получить от московского книгопродавца и издателя Ширяева 1300 рублей ассигнациями и из этой суммы вернуть 200 рублей П. В. Нащокину[2].

Нащокину, не забудем, самому живется не легко. Он часто нуждается в деньгах. Все же Павел Воинович помог этим небольшим займом Белинскому, который в 1839 году временно остался без заработка. 21 февраля 1840 года последний снова пишет непосредственно Д. И. Иванову: «О жительстве Нащокина узнай через Щепкиных и деньги (200 руб.) сам отнеси. Скажи ему, что прошу у него извинения за просрочку и что как скоро узнаю от тебя о получении денег, то буду сейчас же писать к нему. Да скажи ему, что я жду от него сочинений графини Сарры Толстой. Нельзя ли тебе их переслать? Нащокин добрый и прекрасный человек, он примет тебя ласково»[3].

[1] И. Сергиевский. Пушкин и Белинский.— В кн.: И. Сергиевский. Избранные работы. М., 1961, с. 215—216.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 459—460.

[3] Там же, т. XII, с. 11.

Книга юной одаренной поэтессы Сарры Толстой, дочери Ф. И. Толстого — «Американца», отпечатанная в очень ограниченном числе экземпляров и не поступившая в продажу, продолжает интересовать Белинского. В письме к В. П. Боткину от 15 января 1841 года он снова упоминает о Павле Воиновиче: «Нащокин, говорят, передал для меня экземпляр Константину Аксакову, а тот, бог знает, что сделал с ним. Не можешь ли ты похлопотать об этом деле?»[1]

Пушкина нет... Нет больше и его просьб и поручений, но умный и отзывчивый Павел Воинович оказывает помощь другим,— думается, не одному только Белинскому. Вероятно, до конца жизни он остается советником и помощником литераторов. Мы мало об этом знаем, потому что очень мало сохранилось документов.

Как уже говорилось, Нащокин был дружен со многими деятелями искусств.

Близким знакомым Нащокина был выдающийся композитор и театральный деятель Алексей Николаевич Верстовский (1799—1862). Почти сорок лет его жизни прошли в Москве, куда он был переведен на службу в 1823 году. Верстовский последовательно занимал ряд руководящих должностей в Московской конторе императорских театров и с 1848 по 1860 год состоял управляющим этой конторой. Он был талантливым композитором, автором многих музыкальных произведений, но наибольшим успехом пользовалась его опера «Аскольдова могила» (1835), которая не только удержалась в репертуаре провинциальных театров до начала нашего столетия, но в эти годы шла и на сцене Народного дома в Петербурге[2].

Подобно Евгению Онегину, Нащокин был «почетным гражданином кулис» и, вероятно, еще в 20-х годах познакомился с А. Н. Верстовским, который с 1825 года состоял инспектором музыки, а с 1830 года — инспектором репертуара. Отношения Павла Воиновича с Верстовским, видимо, были дружескими. Биограф композитора Н. Финдейзен приводит любопытную цитату из «Театральных воспоминаний» Н. И. Куликова:[3] «Недаром П. В. Нащокин, смеясь, говорил артистам: «У вас, в театре, ламповщик и лампы не зажжет без дозволения Алексея Николаевича»[4]. От себя Н. Финдейзен прибавляет, что это воспоминание ни в коем случае «не заключает в себе ничего позорящего тень покойного автора «Аскольдовой мо-

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 11.

[2] «Очерки истории Ленинграда», т. III. М.—Л., 1956, с. 809.

[3] «Искусство», 1883, № 5, с. 55.

[4] Н. Финдейзен. Алексей Николаевич Верстовский.— Ежегодник имп. театров, сезон 1896/97 гг., Приложения, кн. 2, с. 98.

гилы»; оно только подтверждает его близкие отношения к семейству Нащокиных»[1].

О том же говорит и единственное известное письмо Пушкина к Верстовскому. Давнишний знакомый композитора, Пушкин был с ним на «ты». Во второй половине ноября 1830 года, во время холеры, поэт пишет ему из Болдина в Москву: «Скажи Нащокину, чтоб он непременно был жив, во-первых, потому, что он мне должен; 2) потому, что я надеюсь быть ему должен; 3) что если он умрет, не с кем мне будет в Москве молвить слова живого, то есть умного и дружеского» (XIV, 129).

Н. Финдейзен опубликовал четыре недатированных коротких письма, вернее, записки, Верстовского к супругам Нащокиным. Две из них адресованы Павлу Воиновичу, две других — Вере Александровне (мы рассмотрим последние в дальнейшем).

В одной из записок Верстовский объясняет, почему Павлу Воиновичу не могли предоставить ложи (очевидно, бесплатной): «Мне самому хотелось и хочется вас видеть и поговорить, почему и прошу вас нынче вечером заехать ко мне, в ложу № 11. Дома я не бывал, потому что я на несколько минут приезжал в Москву из деревни, а домой приезжаю только переночевать. В теперешнее время из Петербурга приехали ревизующие, почему и в конторе не смел никого принять; а ложи особенной потому не отпускали, чтобы эти господа не подумали, что дирекция раздает места даром по произволу. Надеюсь, что скоро ревизия сия окончится и я буду свободен. До свидания. Весь ваш *В.*»[2].

В письмах Нащокина к Пушкину есть упоминания о встречах с Верстовским у родственников и знакомых. В 10-х числах января 1836 года он сообщает, например, о том, что на обеде у мужа сестры Павла Воиновича, М. А. Окулова, вместе с знаменитым художником К. П. Брюлловым присутствовали писатель М. Н. Загоскин, А. Н. Верстовский и др. (XVI, 75).

До настоящего времени мы знали очень мало о знакомстве Нащокина с композитором и музыкальным деятелем графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским (1788—1856). Его отец, польский аристократ, посланник при дворе Екатерины II, перешел впоследствии на русскую службу и был назначен сенатором. Виельгорский — близкий приятель ряда русских писателей, в том числе Карамзина, Жуковского, Вяземского и Пушкина.

---

[1] Н. Финдейзен. Алексей Николаевич Верстовский, с. 101.
[2] Там же, с. 101—102.

Три года (с 1823 по 1826 г.) он прожил в Москве на положении опального, а бóльшую часть взрослой жизни (тридцать лет) провел в Петербурге. В пору знакомства с Нащокиным Виельгорский имел чин действительного статского советника и придворное звание гофмейстера. Общеизвестна его роль как организатора музыкальных собраний, происходивших в течение трех десятилетий в его гостеприимном петербургском доме (ныне пл. Искусств, д. 3); участвовал в них и его брат — знаменитый виолончелист, граф Матвей Юрьевич.

Талантливый, широкообразованный человек, Виельгорский был хорошо известен и на Западе. Композитор Россини отзывался о нем как о первом музыкальном знатоке мира.

Из письма Нащокина к Жуковскому от 16 ноября 1849 года мы знаем, что вскоре после смерти Пушкина Виельгорский побывал у Павла Воиновича вместе с Жуковским[1]. Это единственное упоминание о композиторе в дошедших до нас письмах Нащокина.

Их отношения тем не менее несомненно были длительными и близкими. Об этом свидетельствуют многочисленные, большею частью краткие, письма Виельгорского, которые хранятся в Институте русской литературы АН СССР (12 писем) и Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (6 писем). Всего в рукописных отделах этих учреждений зарегистрировано, таким образом, 18 писем (среди писем есть и краткие записки). К сожалению, ни в одном из них не проставлен год, что во многих случаях делает невозможным сколько-нибудь точную датировку. Содержание писем зачастую (но не всегда) малозначительное, чем, вероятно, и объясняется тот факт, что до сих пор они не были опубликованы, хотя об их существовании литературоведы знали давно.

Тем не менее одно лишь наличие 18 обращений графа Виельгорского к Нащокину говорит о том, что они были по меньшей мере хорошими знакомыми. Возможно, со временем эти письма будут полностью опубликованы и основательно изучены; я дам лишь краткий их обзор и приведу несколько цитат.

Судя по содержанию, письма Виельгорского относятся к концу 40-х — началу 50-х годов. Все они целиком написаны по-русски и лишь в одном приведены французские названия медицинских терминов.

При первом же ознакомлении с поблекшими листками, хранящимися в архивных папках, нельзя не обратить внима-

---

[1] И В. А. Жуковский, и М. Ю. Виельгорский были членами опекунства над детьми и имуществом Пушкина. Возможно, что их совместный визит к Нащокину был связан с литературным наследием поэта.

ния на сердечный тон обращений Виельгорского. В одном из писем (без даты) он высказывает, например, сожаление о том, что, приехав в Москву по поводу операции брата, «не мог доселе» «обнять» «любезнейшего Павла Воиновича»[1].

6 февраля 1853 года скончалась жена Виельгорского Луиза Карловна. Видимо, в связи с ее смертью Михаил Юрьевич пишет 29 марта того же года: «Угодно было господу посетить меня. Крест для меня тяжкий — с помощью пославшего несу его с терпением <...> Не увидим ли вас к празднику? т. е. не приедете ли за сыном?[2] <...> Мысленно вас обнимаю. Скажите усердный и дружественный поклон вашим дамам[3]. Дети мои благодаря богу здоровы и служат мне большим утешением»[4].

Следующее письмо того же фонда на бумаге с траурной каймой, вероятно, также связано с недавней семейной утратой и может быть отнесено к 1853 году. Оно датировано «майя 26». «Вы вчера, мой любезнейший,— пишет Виельгорский,— ушли, не простившись со мной: хоть и не охотник я до проводов, но сожалею, что не могу приехать на чугунку[5] еще раз вас обнять»[6].

В одном из писем Виельгорский обращается к Нащокину с деликатной просьбой (перед текстом подчеркнутая надпись *«секретно»*): «Любезнейший Павел Воинович, пишу вам по делу, близкому моему сердцу и которое приводит наш семейный круг в немалое смущение: у моего брата оказался камень — несмотря на огромную репутацию *Пирогова*, наши друзья (по *медицинской* части) советуют ехать в Москву для операции»[7]. Виельгорский просит узнать, кто лучший хирург в Москве и какова смертность по каждому из двух практиковавшихся тогда хирургических методов.

Композитор не только обращается с просьбами к своему приятелю Нащокину (думается, что адресата 18 дошедших до нас писем мы вправе так называть), но и сам готов оказать ему существенную услугу — советует Павлу Воиновичу устроиться управляющим домом князя Воронцова в Петербурге. «Управляющий,— по словам Виельгорского,— получает

---

[1] *ГПБ.*

[2] Александру Павловичу Нащокину в это время было 14 лет. Он, как мы знаем, был принят в Училище правоведения.

[3] Виельгорский, кроме Веры Александровны, вероятно, имеет в виду двух старших дочерей Нащокина — Екатерину и Софью, которые в 50-х годах были уже взрослыми барышнями.

[4] *ГПБ.*

[5] Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога была открыта в 1851 г. Нащокин, видимо, побывал в Петербурге, навестил Виельгорского и возвращался в Москву.

[6] *ГПБ.*

[7] *ИРЛИ.*

1000 рублей серебром и квартиру в доме. Мне кажется, что это место для вас клад»[1].

Ни одного ответного письма Нащокина к Виельгорскому не известно, но, очевидно, он, зная себя еще лучше, чем благожелательный приятель, отказался от управления графским домом, так же как, несмотря на совет Гоголя, не пожелал заняться образованием сына откупщика Бенардаки.

Я уже упомянул о том, что очень близкий к придворным кругам Виельгорский, судя по его письму, помог определить дочь Нащокина Анастасию в один из институтов в качестве пансионерки императрицы. В том же письме обсуждается, как уже было упомянуто, наиболее злободневная тема тех дней — революция 1848 года, начавшаяся во Франции 22 февраля: «Здесь все исчезает при важных событиях во Франции и уже в Германии отражающихся. Только об этом и толкуют от почты до почты. Как будто замирает внимание и все живут и дышат одним ожиданием новостей». Отметки Виельгорского на полях: «Получены известия о том, что начинают уже нападать на *(нрзб)* правление Франции»; «Каждая почта приносит изменение в состоянии гражданском западных государств. Одна Россия как бы благословенный оазис, где можно еще найти спокойное прибежище — надолго ли? — о сем следует подумать каждому истинному русскому»[2].

К сожалению, мы не знаем, как отнесся Павел Воинович к рассуждениям просвещенного европейца и богатого российского помещика относительно спокойствия «благословенного оазиса». Виельгорский, впрочем, как видно из его письма, не очень верит в надежность оазиса. Опасаясь «любопытства почты», Нащокин, возможно, вообще не ответил или же воспользовался для ответа оказией (письмо самого Виельгорского было переслано в Москву именно таким путем).

В одном из писем граф обращается к другу Пушкина с интересной литературной просьбой: «Напишите мне об Онегине в отношении историческом. Недавно был спор, после рассказа или сцен Татьяниных и пр.— при дворе»[3]. Излишне говорить о том, насколько было бы интересно прочесть ответ Павла Воиновича «об Онегине в отношении историческом».

В каком году П. В. Нащокин познакомился с реформатором русского драматического искусства, великим актером Михаилом Семеновичем Щепкиным, мы также не знаем. Щепкин переселился из Тулы в Москву в конце февраля или в начале марта 1823 года. Нащокин, выйдя в отставку в нояб-

---

[1] *ИРЛИ*.
[2] Там же.
[3] Там же.

ре этого года, в следующем уже несомненно жил в Москве. Очень вероятно, что, любя театр, он сразу же начал бывать в Малом, а с января 1825 года — во вновь построенном императорском Большом театре. Репертуар государственных театров в то время был по преимуществу развлекательным. Щепкину приходилось играть главным образом в переделках французских комедий, таких как «Воспитание, или Вот приданое!», «Игнаша-дурачок, или Нечаянное сумасшествие», «Бот, или Английский купец» и т. д.[1]. Ставились на императорской сцене и многочисленные «оперы-водевили», как переведенные с французского, так и отечественные, например опера-водевиль в одном действии «Удача от неудачи, или Приключение в жидовской корчме» (текст П. Н. Семенова, музыка Ю. Э. Леонгарда). А. А. Шаховской, переделавший множество французских комедий, а также Мольера и Шекспира, тоже сочинил в свое время довольно популярную оперу-водевиль «Казак-стихотворец» (музыка К. А. Кавоса).

М. С. Щепкину приходилось зачастую выступать в подобных водевилях с пением, а порой и в настоящих операх, таких как «Москаль-чаривник», малороссийская опера в одном действии И. П. Котляревского. Артист тщетно доказывал, что петь он не умеет, нот не знает, да и голос у него не оперный. Директор театров назначал специального музыканта, который приходил к Щепкину на дом и проигрывал ему нужные партии. Благодаря хорошему слуху, природной музыкальности и большой настойчивости Михаил Семенович справлялся и с пением. Голос у него был небольшого диапазона, но приятный.

Просмотр огромного репертуара М. С. Щепкина показывает, что в комедии с пением «Цыганка», где Н. И. Куликов вывел Павла Воиновича Нащокина и его подругу Ольгу Солдатову, великий актер не участвовал.

Но постепенно репертуар Щепкина становится содержательнее и серьезнее. Уже в 20-х годах наряду со множеством чисто развлекательных спектаклей он выступал в «Ябеде» В. В. Капниста и «Модной лавке» И. А. Крылова.

На сцене московских театров ставились тогда и некоторые пьесы Мольера («Мизантроп», «Мещанин во дворянстве», «Скапиновы обманы»). Первое время Мольера уродовали, переделывая его комедии применительно «к русскому быту». Постепенно их сменили более или менее тщательные и полные переводы. Всего за московский период своей жизни Щепкин выступал в семи пьесах Мольера.

В начале 30-х годов Нащокин мог видеть его в «Скупом» (перевод С. Т. Аксакова), «Школе женщин» (перевод

---

[1] Сведения о репертуаре Щепкина заимствованы мною из кн.: Т. С. Гриц. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966.

Н. И. Хмельницкого), а также в «Горе от ума» (Фамусов был одной из лучших и любимейших ролей Щепкина). Но наряду с этими пьесами прославленному артисту по-прежнему приходилось выступать и в незначительных, малохудожественных произведениях.

В 30-х годах М. С. Щепкину было уже сорок с лишним лет (он родился в 1788 г.). Бывший крепостной графа Г. С. Волькенштейна стал одним из лучших актеров России. Своего происхождения Щепкин не стыдился, оставался демократом по духу. Тот образ жизни, который Нащокин вел в Москве в начале 30-х годов до женитьбы на Вере Александровне, несомненно, был ему глубоко чужд. Бывал ли в эти годы Щепкин у Нащокина, мы не знаем, но трудно представить себе этого степенного человека среди «народов», наполнявших тогда квартиру Павла Воиновича. Однако сохранившееся одно весьма интересное свидетельство (Н. И. Куликова) об их беседе позволяет, на мой взгляд, думать, что разговаривали люди, уже близко знавшие друг друга.

В апреле (?) 1835 года М. С. Щепкин и П. В. Нащокин вели спор о двух трагиках — В. А. Каратыгине и П. С. Мочалове. Нащокин отдавал предпочтение первому из них, Щепкин — второму. Павел Воинович считал, что Мочалов, не обращающий внимания на свою пластику, «за пренебрежение дарами природы — достоин осуждения, а Каратыгин за старание и усердные труды — уважения».

«Ваш взгляд, Павел Воинович,— снова возразил он (Щепкин.—*Н. Р.*),—взгляд барина из Английского клуба... Вы, вероятно, случайно видели Мочалова в какой-нибудь неважной роли и не видали его в лучших ролях, когда он, как говорится у нас, был в ударе! Вот что я вам скажу, чтобы покончить спор: кто раз в жизни увидит истинно гениальную игру нашего трагика, тот уж никогда ее не забудет и простит ему все!» [1]

В этом споре нас интересует довольно резкая реплика вообще очень деликатного Щепкина. Назвать «барином из Английского клуба» можно было только хорошо знакомого собеседника.

О долголетнем знакомстве Павла Воиновича с Щепкиным говорят и другие сведения, приведенные в труде Т. С. Грица.

Во время последнего пребывания Пушкина в Москве, в мае 1836 года, Щепкин встречался (по-видимому, несколько раз) с поэтом в известном нам доме Нащокина «у Старого Пимена». Об одной из этих встреч артист рассказывал в 1858 году Д. А. Смирнову [2].

---

[1] П. С. Мочалов. Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953, с. 355.

[2] «Два утра у Щепкина. Из неизданных материалов Д. А. Смирнова».— Ежегодник имп. театров, сезон 1907/08 гг., с. 173—180.

Во второй половине (после 16) декабря 1836 года Павел Воинович пишет Пушкину: «Еще попрошу у тебя для Щепкина — он тоже человек хороший и с семейством, и тоже небогатый — и нужны деньги. В феврале месяце у него бенефис — и Гоголь ему обещал пьесу.— Но Гоголя нет — и может статься, и пьесы не будет — ему же нужен сбор и потому нужна такого рода пьеса, которая бы привлекла публику» (XVI, 212; в дальнейшей части письма Павел Воинович просит Пушкина помочь преодолеть цензурные препятствия, связанные с постановкой пьесы, которую Щепкин выбрал для своего бенефиса).

Н. И. Куликов в своих воспоминаниях рассказывает: «...когда в начале февраля дошла до Москвы роковая весть о дуэли Пушкина, мы в ту же минуту с М. С. Щепкиным бросились к Павлу Воиновичу! Нащокин был в отчаянии» [1].

Есть сведения о встречах Нащокина со Щепкиным и в позднейшие годы. 9 мая 1842 года оба они, по-видимому, присутствовали на именинах Гоголя в саду при доме М. П. Погодина [2].

10 мая 1853 года Павел Воинович, как я уже упоминал, был участником торжественного обеда, устроенного в том же саду в честь уезжавшего за границу Щепкина [3].

Наши сведения о знакомстве Павла Воиновича с знаменитым актером немногочисленны, но не приходится сомневаться в том, что оно продолжалось много лет и было довольно близким, а может быть, и очень близким.

В числе приятелей Нащокина был и профессор истории Московского университета, литератор и журналист М. П. Погодин (1800—1875). 31 августа 1827 года Пушкин писал ему: «Вы, издатель европейского журнала в азиатской Москве, вы, честный литератор между лавочниками литературы»; «Вестник Московский по моему беспристрастному, совестному мнению — лучший из русских журналов» (XIII, 340—341).

В 40-х годах взгляды Погодина, однако, в корне изменились. Он стал видным деятелем правого крыла славянофильства. Эта политическая эволюция Погодина на его отношениях с Нащокиным не отразилась — они продолжали оставаться приятелями. В 50-х годах у друга Пушкина и ученого-историка появилось к тому же общее, весьма распространенное в те времена увлечение.

Павел Воинович и при жизни поэта, несмотря на весь свой здравый ум, был, как известно, весьма суеверен. В конце жизни, уже тяжело больной, он стал к тому же стра-

---

[1] «Русская старина», 1881, август, с. 615.

[2] Т. С. Гриц. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества, с. 291 и 729.

[3] Там же, с. 492—494.

стным спиритом. Увлечение мужа захватило и Веру Александровну. Она также принимала участие в столоверчении и вызывании духов. Это было своего рода моровое поветрие, пришедшее с Запада и захватившее тогда значительную часть московской (и не только московской) интеллигенции. В числе «заразившихся» были не одни супруги Нащокины, но и ряд ученых, в том числе профессор Погодин и известный автор ценнейшего «Толкового словаря живого великорусского языка», врач по образованию, Владимир Иванович Даль (1801—1872).

Погодин, по-видимому, не перестал увлекаться спиритизмом до конца своих дней. За год до его смерти, в 1874 году, вышла вторым изданием сейчас совершенно забытая книга, в которой он собрал обширную коллекцию всевозможных таинственных случаев[1]. Имеется там и описание малозначительных, но, по мнению автора, необъяснимых случаев, которые в разное время приключались с Павлом Воиновичем и были им рассказаны Погодину.

Спиритическим увлечения Даля и Нащокина посвящена статья Н. В. Берга[2]. Автор описывает в ней «опыты», производившиеся в доме Павла Воиновича «в эпоху общего верчения столов», в том числе один из сеансов, в апреле 1854 года, когда собравшиеся ожидали появления тени Пушкина.

Сейчас нам трудно себе представить это нелепое и кощунственное сборище культурных москвичей. Однако здравый ум взял верх у Павла Воиновича, и, осознав всю нелепость спиритических сеансов, он в конце концов навсегда их прекратил и вместе с женой сжег все написанное во время этих сеансов.

* * *

В конце жизни Нащокин, раньше не отличавшийся особой религиозностью, по-видимому, стал набожным. «В это последнее мое посещение,— пишет Н. И. Куликов,— я заметил — не замечаемое мною прежде — религиозное направление Павла Воиновича. В углу спальной комнаты, за занавеской, большая картина, писанная масляными красками, изображающая Христа распятого, по сторонам образа и все принадлежности молитвы»[3].

По всей вероятности, Нащокин думал в это время о приближающейся смерти. Он далеко не был стар (приходится

---

[1] М. Погодин. Простая речь о мудреных вещах, изд. 2-е. М., 1874.

[2] Н. В. Берг. В. И. Даль и П. В. Нащокин.— «Русская старина», 1880, июль, с. 613—616.

[3] «Русская старина», 1881, август, с. 621.

повторять — по крайней мере по понятиям нашего времени), но издавна некрепкое здоровье все более и более сдавало. Бессонные ночи за карточным столом, несомненно, подрывали его много лет подряд. На портрете Мазера Нащокин, которому в это время было 38 лет, выглядит уже не совсем здоровым человеком: у него болезненное, отечное лицо.

Еще более показателен портрет маслом работы Э. А. Дмитриева-Мамонова, хранящийся в Государственном Историческом музее в Москве. Он датируется концом 40-х — началом 50-х годов. По словам Г. И. Назаровой, «нельзя не заметить разницы в выражении лица Нащокина. На ранних портретах — очень пристальный, живой взгляд; на портрете Дмитриева-Мамонова Нащокин — человек, уже во многом изменившийся не только внешне, но и внутренне. В задумчивом взгляде его умиротворенность и печаль» [1].

Прибавлю от себя — у Павла Воиновича на этом портрете лицо преждевременно состарившегося, понурого, несомненно больного человека...

6 ноября 1854 года Веру Александровну и ее детей постигло тяжкое горе — Павел Воинович скончался, по словам П. И. Бартенева, «коленопреклоненный, стоя на молитве» [2].

Просмотрев московские газеты того времени («Московские ведомости» и «Ведомости московской городской полиции»), я не нашел в них откликов на смерть П. В. Нащокина. Отсутствуют и траурные объявления — в царствование Николая I они еще не были в обычае.

Павел Воинович не дожил и до 53 лет...

* * *

Жена Нащокина осталась 43—44-летней вдовой. Две старшие дочери — Екатерина и София были уже взрослыми барышнями (20 и 18 лет). Жили они, по-видимому, с матерью. Младшие дочери, как и сын, учились в Петербурге. Младший Андрей остался на руках у матери.

Вера Александровна была совсем еще не стара, могла иначе устроить свою нелегкую жизнь.

Внучка ее сообщает (8 декабря 1966 г.): «Мои старшие сестры [3], а также моя мать много рассказывали в свое время о ней. Это была добрая, чуткая женщина, с большой стой-

---

[1] Г. И. Назарова. Из иконографии Нащокиных.— В кн.: «Пушкин и его время», вып. I. Л., 1962, с. 420.

[2] «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 433.

[3] Из трех старших сестер В. А. Нащокиной-Зызиной бабушку, несомненно, помнили Валентина Андреевна (1886—1959) и Екатерина Андреевна (1889—1962).

костью переносившая раннее вдовство и всевозможные материальные лишения. Она была верна памяти Павла Воиновича и решительно отвергла предложение Данзаса, о чем рассказывала моя мать. Всю остальную свою жизнь после смерти Павла Воиновича она посвятила своему младшему сыну Андрею, оставшемуся после отца десятимесячным ребенком».

На мою просьбу сообщить подробнее о сватовстве Данзаса к вдове П. В. Нащокина моя корреспондентка ответила 8 июля 1967 года: «Все, что я вам сообщала о Нащокиных, я старалась при этом быть как можно более достоверной и подтверждать документами. Единственно, что я не могу подтвердить документально, это в отношении Данзаса, о чем рассказывала моя мать. Холост ли он был, вдов ли».

Будучи вдовой, Вера Александровна, по-видимому, сохраняла дружеские отношения с давнишним знакомым К. К. Данзасом. В недатированном письме к Вере Александровне композитор А. Н. Верстовский просит ее разговеться у них в первый же день праздника «с милейшим Костюшкой». Судя по тому, что о Павле Воиновиче в письме не упоминается, его уже не было в живых. «Милейший Костюшка» — вероятно, Константин Карлович Данзас, которого Верстовский, друживший с Нащокиным, не считал неудобным пригласить вместе с Верой Александровной[1].

Генеральшей Данзас[2] вдова Нащокина, однако, не стала.

Жилось ей очень трудно. После мужа остались, вероятно, большие долги, сводившие на нет доход от наследства. Материальное благополучие семьи в последние месяцы жизни Нащокина было скорее кажущимся... Можно думать, что родные Павла Воиновича, когда его не стало, мало или вовсе не интересовались делами его жены. Петр Александрович Нащокин (его брат Павел скончался в 1849 г.), владелец Рай-Семеновского, обобрав по суду незаконную сестру, держался, конечно, от нее подальше. Родной брат, пехотный офицер Федор Александрович, о котором речь будет впереди, в 50-х, да и в начале 60-х годов состоял еще в небольших чинах и вряд ли мог помогать сестре.

После смерти Павла Воиновича, как сообщает его внучка (19 августа 1967 г.), «бабенька долгое время жила в меблированных комнатах»[3]. Далее она пишет: «Вера Александровна, оставшись вдовой, всю себя посвятила моему отцу. Не желая с ним расставаться, она отдала его учиться в московскую

---

[1] Ежегодник имп. театров, сезон 1896/97 гг., Приложения, кн. 2, с. 101.

[2] К. К. Данзас вышел в отставку в 1856 г. в чине генерал-майора.

[3] В 1880 г. адрес В. А. Нащокиной был: «Близ Сущевской части, дом Коломенских, меблированные комнаты № 4».

гимназию, после гимназии он поступил в университет, но, по-моему, его не кончил».

В письме от 20 ноября 1970 года В. А. Нащокина-Зызина сообщила мне, что ее отец учился во 2-й Московской гимназии вместе с Н. А. Морозовым, впоследствии узником-шлиссельбуржцем, «с которым переписывался после освобождения последнего из тюрьмы».

Временами вдова П. В. Нащокина жестоко бедствовала. 29 марта 1860 года М. П. Погодин писал князю П. А. Вяземскому: «Я так развлечен был в Петербурге, милостивый государь князь Петр Андреевич, что не успел переговорить о самом нужном.

1. Семейство Нащокина в крайности: сейчас была у меня оттуда старуха, которая сказывала, что вчера купили они на пять коп. картофеля, а хлеба не было. Нельзя ли обратиться к Обществу для пособия неимущим литераторам, по связи его с Пушкиным и прочим отношениям к сочинениям Пушкина?

Если Вы находитесь в непосредственной связи с Обществом, то благоволите передать это предложение П. В. Анненкову, как издателю Пушкина. Или напишите бумагу в Общество. Или напишем бумагу в Общество втроем: Вы, Анненков и я. Ланская[1], казалось бы, должна войти в положение несчастного семейства»[2].

Двадцать лет спустя, в 1880 году, Вера Александровна, почти в тех же выражениях, что в письме Погодина Вяземскому, писала московскому губернатору, члену Государственного совета Федору Петровичу Корнилову (1809—1895): «Позвольте обратиться к Вам как к старому добрейшему другу[3] моего покойного мужа, Павла Воиновича Нащокина». Упомянув о дружбе Пушкина с Нащокиным, она продолжает: «Во имя их коротких отношений умоляю Вас, не можете ли Вы замолвить Ваше словечко в Комиссии по сооружению памятника Александра Сергеевича Пушкина, в которой Вы председатель, о оказании мне какой-либо помощи из суммы оставшейся. Я нахожусь более чем в бедственном состоянии, поверьте, что другой день не знаю, на что купить хлеба. Утешьте меня для Нового года»[4].

Дало ли какой-нибудь результат это горестное послание, мы не знаем...

---

[1] Наталья Николаевна, вдова Пушкина, в 1844 г. вышла замуж за П. П. Ланского.

[2] «Письма М. П. Погодина к князю П. А. Вяземскому».— «Старина и новизна», кн. IV, 1901, с. 65—66.

[3] Сохранилось недатированное деловое письмо Нащокина к Ф. П. Корнилову *(ГПБ)*. Судя по правильному языку и орфографии, оно, вероятно, также составлено при участии Веры Александровны.

[4] Из бумаг Я. К. Грота *(ИРЛИ)*.

Тяжелейшее материальное положение Веры Александровны не улучшилось до конца ее жизни. В архивах хранится немало ее писем к разным лицам с просьбами, порой с мольбами о помощи; нельзя читать их без чувства обиды за эту достойную женщину, память которой дорога всем почитателям Пушкина.

Остается пока невыясненным, почему же Вера Александровна через несколько лет после смерти мужа осталась без всяких средств к существованию. Необходимость рассчитаться с долгами Павла Воиновича — только мое предположение.

Текста завещания Нащокина мы не знаем, но из «Списка о семействе и состоянии вдовы поручицы Веры Александровны Нащокиной 1855 года» видно, что в этом году за нею «имения состоит неразделенного с наследниками (т. е. с детьми.— *Р. Н.*) Саратовской губернии Сердобского уезда 300 душ»[1].

На доходы с имения с таким числом крестьян, находившегося к тому же в плодороднейшей части черноземной Саратовской губернии, можно было жить безбедно. Однако в 1860 году Вера Александровна сердобским имением уже не владела — Н. Н. Белянчиков выяснил, что «в списках помещиков по этому уезду на 1860 год фамилии Нащокиных не значится»[2]. Как мы знаем, вдове Павла Воиновича в это время в самом буквальном смысле слова не на что было купить хлеба.

Казалось бы, что в ближайшие годы положение должно было измениться. 28 февраля 1860 года скончалась сестра П. В. Нащокина Анна Воиновна, и ее имение перешло к племянникам. Н. Н. Белянчиковым был обнаружен посемейный список Александра Павловича Нащокина за 1863 год, из которого видно, что он «обще с родным братом», т. е. девятилетним Андреем Павловичем, «владеет населенным имением Старицы в Себежском уезде Витебской губернии, в коем заключается 2799 десятин»[3].

Таким образом, старшему сыну бедствовавшей Веры Александровны принадлежало в 1863 году крупное поместье, площадью примерно в 27 кв. верст. Совладельцем его являлся малолетний Андрей Павлович. Каково было состояние этого поместья, мы не знаем, но во всяком случае Александр Павлович Нащокин владел им до конца жизни и, по сообщению его внучки Е. А. Нащокиной, там же скончался в начале 1906 года.

В. А. Нащокина-Зызина сообщила мне 19 августа 1967 года: «Имение, которое Павел Воинович оставил двум своим сыновьям, старший сын целиком присвоил себе». К саратовскому имению П. В. Нащокина это сообщение относиться не

---

[1] *ИРЛИ.*
[2] Там же.
[3] Там же.

может. В год его смерти старшему сыну было всего 15 лет, а когда он «пришел в возраст», имение в Сердобском уезде уже не принадлежало Нащокиным. Речь, видимо, идет о витебском поместье, завещанном племянникам Анной Воиновной Нащокиной.

В царствование Александра II оттягать у брата причитавшуюся ему долю наследства Александр Павлович мог, только выиграв судебный процесс. Какие основания для этого нашлись у бывшего правоведа, мы не знаем. Несомненно одно — Вера Александровна в какой-то момент навсегда прервала отношения со своим первенцем[1]. В тяжелой судьбе матери он никакого участия не принимал. Не помогал он и брату Андрею. 3 февраля 1970 года Е. А. Нащокина сообщила мне: «Почему дед не общался с братом, мы не знаем, да и никогда не вспоминали его, как будто он и не существовал»[2].

В письмах В. А. Нащокиной-Зызиной часто повторяется ласковое, очень русское слово «бабенька». Так звали близкие Веру Александровну, когда она состарилась. Так потомки зовут ее и сейчас. Не будем, однако, забывать, что в то время, когда вдова Павла Воиновича растила маленького Андрея, она не была еще «бабенькой» — снова и снова приходится повторить: по крайней мере по понятиям нашего века.

Но годы шли, быстро текущие, неумолимые годы...

Гимназист Андрей стал Андреем Павловичем. Служил. Долгое время не мог наладить свою жизнь.

Женился Андрей Павлович сравнительно поздно — в середине 80-х годов. Вере Александровне шел тогда уже восьмой десяток. Предоставим опять слово ее внучке, хранительнице нащокинских семейных преданий: «Еще один пример необыкновенной доброты Веры Александровны. Ведь ее самый младший сын Андрей женился на простой крестьянской девушке, мать ее была кормилицей в семье кн. Гагариных. Девочка (моя мать) осталась сиротой 9 лет, и княжны Гагарины взяли ее к себе в Москву. Но, кроме как читать и писать, ничему не обучили, отдали в белошвейную мастерскую. Мой отец женился на ней, ей было 19 лет. И если бы вы знали, как сердечно приняла ее бабенька, как они любили друг друга,

---

[1] С семьей своего внука, Алексея Александровича Нащокина, как сообщила мне дочь последнего Е. А. Нащокина (письмо от 3 февраля 1970), Вера Александровна была в хороших отношениях. Около 1893 г. она продолжительное время гостила в принадлежавшем матери Е. А. Нащокиной имении «Могильно» (15 верст от Стариц).

[2] Правнучка Павла Воиновича Е. А. Нащокина впервые узнала об этих грустных страницах семейной хроники из первоначального текста работы «Нащокины», опубликованной в журнале «Простор» (1969, №№ 3, 4, 5).

как много рассказывала ей Вера Александровна» (8 июля 1967 г.).

Может быть, старушка Нащокина, целуя любимую невестку, вспоминала и свою мать-крестьянку, писавшую ей трогательными каракулями: «Милая моя родная сокровища Верочка прекрасная дочка моя <...>».

Кончался XIX век. Жизнь Веры Александровны уже едва теплилась. Она родилась, как мы знаем, при Александре I, за год или два до Отечественной войны. Пережила четырех царей. Будь у нее побольше сил, могла бы посмотреть в 1896 году на коронационное шествие в честь пятого. Процессию снимали операторы фирмы Люмьер Перелон и Дубине — это была первая киносъемка в России.

В дни молодости Веры Александровны по шоссе из Москвы в Санкт-Петербург ходили спешные дилижансы. В конце 90-х годов между обеими столицами проносились, сияя электрическими огнями, курьерские поезда. Русские пассажирские вагоны считались лучшими в Европе. Если не сама старушка Нащокина, то ее близкие в случае надобности могли уже вертеть ручки желтых эриксоновских телефонов. По сравнению с первой четвертью века жизнь изменилась неузнаваемо.

Всеми почти забытая, Вера Александровна Нащокина зиму и лето жила в селе Всехсвятском под Москвой. Давно умер ее брат, Лев Александрович. Одна за другой умерли и все четыре дочери.

В конце 90-х годов бедность Веры Александровны была постоянной, гнетущей, беспросветной. С ней, правда, жил тогда горячо ее любящий сын Андрей Павлович с женой и четырьмя детьми, но этот способный, разносторонне образованный человек долгое время не мог наладить свою жизнь. Относительный достаток пришел лишь через несколько лет после смерти матери.

Вере Александровне было бы еще тяжелее, не помогай ей младший брат, Федор Александрович Нарский, дослужившийся в 1881 году до чина генерал-майора, а еще через десять лет — произведенный в генерал-лейтенанты. В. А. Нащокина-Зызина сообщила: «...он очень много помогал материально Вере Александровне, почти каждый месяц присылал ей деньги, которые бабенька отдавала моей матери на хозяйство, прося оставлять для нее небольшую сумму на покупку духов и носовых платочков. Это было ее страстью. Будучи совсем старенькой, она, почти слепая, целыми днями вязала и, отдыхая, перекладывала флакончики и платочки» (21 января 1967 г.).

П. И. Бартенев утверждает, что Вере Александровне помогали посторонние лица. Скажем от себя: хотя и помогали, но недостаточно. Ведь мы знаем, что временами ей не на что было хлеба купить...

По словам издателя «Русского архива», «человек ума необыкновенного и душевной доброты несказанной, Нащокин оставил по себе такую память, что вдова его могла пользоваться ею в течение с лишком полувека»[1].

Несколько позже, вероятно, вспомнив о том, что В. А. Нащокина вдовела 46 лет (1854—1900), а не более полувека, он уточняет: П. В. Нащокин «так много делал добра, что вдова его долгие годы могла жить пособиями лиц, им облагодетельствованных»[2].

Итак, Вере Александровне во все время ее вдовства якобы постоянно помогали какие-то не названные автором лица. Мы не знаем, насколько это утверждение соответствует истине. В многочисленных заметках Бартенева о Нащокиных есть несомненные ошибки.

Нужда действительно заставляла Веру Александровну, как уже было упомянуто, просить о помощи многих лиц. Как мне сообщила 19 августа 1967 года ее внучка, в Государственном историческом архиве Московской области хранятся одно письмо такого содержания и два, в которых она благодарит за поддержку. Некоторые из адресатов отвечали отказом, в том числе поэт А. Н. Плещеев, письмо которого имелось у отца Веры Андреевны.

Пока мне удалось установить лишь один случай более или менее систематической поддержки — со стороны Аркадия Аркадьевича Журавлева, известного коллекционера, сына дочери лицейского товарища Пушкина С. Д. Комовского. Недатированное письмо к нему хранится в Рукописном отделе Пушкинского дома[3]. Грустно читать эти отчаянные строки, написанные четким красивым почерком Веры Александровны: «Добрейший несравненный Аркадий Аркадьевич! Обращаюсь к вам с настоящим моим письмом, в котором выскажу мою не просьбу, а мольбу к вам!» Упомянув о том, что она получала от Журавлева поддержку в течение шести месяцев, Нащокина прибавляет: «...со слезами прошу вас сжалиться надо мной и, хотя немного, продолжите вашу добрую помощь мне <...> буду ждать вашего ответа, как своего приговора»[4].

Выяснилось также, что В. А. Нащокиной неоднократно оказывал денежную и иную помощь П. А. Вяземский.

В Государственной публичной библиотеке хранятся две

---

[1] «Русский архив», 1904, кн. III, № 11, с. 433.

[2] Там же, 1908, кн. I, № 4, 3-я страница обложки.

[3] *ИРЛИ.*

[4] Вероятно, к помощи, которую оказывал В. А. Нащокиной А. А. Журавлев, относится следующее указание в редакционной заметке журнала «Семья» (1899, № 14, с. 7): «Теперь больная, 86-летняя В. А. Нащокина — вот уже три года — ютится на окрайне с. Всехсвятского <...> существуя на ежемесячное пособие в 25 р. от неизвестного благотворителя».

до сих пор не опубликованные записки Вяземского: «К сердечному сожалению моему, не могу на этот раз послать Вам более 30 руб. сер[ебром], которые при сем прилагаю. 1 ноября»; «Я говорил о сыне Вашем генералу Левшину, попечителю Московского учебного округа. Побывайте у него от моего имени и объяснитесь с ним. Он живет <...>»[1].

Архивные работники отнесли эти записки к 40—50-м годам и сочли их адресованными Павлу Воиновичу Нащокину. Однако упомянутый во второй из них генерал Д. С. Левшин был назначен попечителем Московского учебного округа лишь в 1863 году. Таким образом, эти записки, несомненно, обращены к Вере Александровне.

Кроме того, Е. В. Муза сообщила мне 27 мая 1969 года, что в Московском музее А. С. Пушкина «имеются письма П. А. Вяземского, свидетельствующие о его близости с Павлом Воиновичем и, главное, о его неустанном внимании к Вере Александровне». В 1885 году В. А. Нащокина обратилась с письмом к графу С. Д. Шереметеву (мужу внучки Вяземского) с просьбой о помощи. Описав свою нищету и бедственное положение, вдова Нащокина упомянула о том, что после смерти Павла Воиновича она жила «помощью его друзей, но со смертью кн. Петра Андреевича Вяземского <...> лишилась последнего из них».

Таким образом, сообщения П. И. Бартенева неверны только в том отношении, что Вере Александровне помогали, видимо, не «облагодетельствованные» П. В. Нащокиным лица, а в основном друзья Пушкина.

Вере Александровне приходилось постепенно продавать коллекционерам оставшиеся у нее письма и бумаги Павла Воиновича. Ряд очень ценных автографов приобрел у нее Л. И. Поливанов[2]. Им, между прочим, были куплены следующие материалы: большое письмо Павла Воиновича к Пушкину, отправленное из Тулы около 22 апреля 1834 года; письмо кн. В. Ф. Одоевского к Н. Н. Пушкиной, из которого видно, что Пушкин, уезжая в 1836 году в Москву, поручил, по существу, жене обязанности секретаря редакции «Современника»; записка Гоголя к Нащокину; письма к нему вдовы поэта и пр.

Можно только порадоваться тому, что эти ценнейшие материалы, умело выбранные Верой Александровной из бумаг покойного мужа, попали в надежные руки и сохранились для потомства.

Очень неясен вопрос о том, почему крайне нуждавшаяся Вера Александровна не получила вознаграждения за принад-

---

[1] *ГПБ.*

[2] Ив. Поливанов. Автографы из собрания Л. И. Поливанова.— «Искусство», 1923, № 1, с. 315—316 и сл.

лежавшие ей письма Пушкина к ее мужу. Эти драгоценные для науки листки постепенно становились и крупной материальной ценностью. С разрешения Нащокиной Бартенев опубликовал письма полностью в сборнике «Девятнадцатый век»[1] и, вероятно, уплатил Вере Александровне небольшой гонорар. Права собственности на них, как мы увидим, Нащокина, а впоследствии и ее потомки никому, однако, не уступали. Между тем пушкинские письма, как известно, оказались в Остафьевском архиве князей Вяземских, принадлежавшем графу С. Д. Шереметеву. Поступили они туда, конечно, не бесплатно, но от кого, мы не знаем.

Приближался пушкинский юбилей — столетие со дня рождения поэта. О Вере Александровне все же иногда вспоминали в 80-е и в 90-е годы. В газетах изредка появлялись короткие хроникерские заметки. Перед юбилеем о последней остававшейся в живых современнице Пушкина[2], по-видимому, вспомнили многие. В село Всехсвятское несколько раз приезжали журналисты.

В 1898 году Нащокину посетил (вероятно, несколько раз) сотрудник «Нового времени» И. Родионов, опубликовавший свои записи в иллюстрированных приложениях к этой весьма распространенной реакционной газете[3].

В следующем году, перед самым юбилеем, у Нащокиной побывал сотрудник той же газеты Н. Ежов[4], в своей статье указавший точный адрес Веры Александровны («Москва, за Тверской заставой, село Всехсвятское, дом Полякова»).

Тогда же ее навестил (по-видимому, в сопровождении Ежова) московский корреспондент петербургской газеты «Россия», довольно известный писатель В. А. Гиляровский. Его рассказ о посещении вдовы Павла Воиновича был напечатан в этом издании в юбилейный день 26 мая 1899 года. Впоследствии автор сообщил также, что, помимо корреспонденции в «Россию», он послал сообщение о Нащокиной в Пушкинскую комиссию Академии наук[5].

---

[1] «Девятнадцатый век», кн. I. М., 1872, с. 383—402.

[2] В действительности дольше всех современниц Пушкина прожили Аврора Карловна Карамзина, урожденная Шернваль (ум. 30 апреля 1902) и Вера Ивановна Анненкова (ум. 9 мая 1902).

[3] «Воспоминания о Пушкине и Гоголе (Рассказы В. А. Нащокиной, записаны И. Р.)».— Иллюстрированные приложения к «Новому времени», 1898, №№ 8115, 8122, 8125, 8129. Рассказы Нащокиной неоднократно перепечатывались в виде отдельной статьи. Я цитирую их по книге: «Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1974, с. 197—208.

[4] Н. Ежов. У современницы Пушкина.— «Новое время», 1899, № 8343, 21 мая; перепечатано в кн.: М. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, с. 312—325.

[5] В. Гиляровский. Собр. соч., т. III. М., 1967, с. 236—237.

Этим литераторам мы обязаны довольно подробными записями поздних рассказов В. А. Нащокиной о Пушкине и описанием обстановки, в которой она жила в последние свои годы. Наиболее содержательны четыре корреспонденции И. Родионова, но облик Веры Александровны в глубокой старости и характерные бытовые подробности ее жизни удачнее всего запечатлел Н. Ежов.

Приведу поэтому несколько отрывков из его сейчас малодоступной статьи.

«Дом-дача выходит окнами к забору; в теплые дни выходит на крылечко маленькая, худощавая старушка и, греясь на солнце, смотрит на свой узенький переулок <...> Это Вера Александровна Нащокина, жена друга Пушкина и сама друг великого поэта <...>»

«Ввиду того что на этих днях должно состояться всероссийское торжество — юбилей Пушкина, я счел не лишним побывать у В. А. Нащокиной. Я еще раньше слышал, что В. А. живет одиноко, бедно; но то, что я увидел, превосходило мои ожидания. Бывшая аристократка, красавица, в доме которой перебывало множество знаменитых «людей сороковых годов», та женщина, с которой Пушкин находил интерес разговаривать по целым часам и которую Гоголь считал своим добрым ангелом, доканчивает свои дни в убогой даче, где по случаю крайней бедности В. А. приходится жить и зимой. Вся эта дача имеет две комнаты, кухню и террасу; одну комнату занимает В. А. со своей компаньонкой, а другую сдает какому-то многосемейному бедняку».

Статья Н. Ежова была опубликована почти восемьдесят лет тому назад, но только сейчас, благодаря сообщению Веры Андреевны Нащокиной-Зызиной (19 августа 1967 г.), можно внести в нее существенную поправку: «В воспоминаниях Ежова есть неточности: при такой бедности у бабеньки компаньонки быть не могло, это, по-видимому, была моя мать, а бедняк с семьей в соседней комнате был мой отец с детьми».

Таким образом, старушка Нащокина доживала свои последние годы хотя и в большой нужде, но вовсе не в одиночестве — с ней были любящие сын и невестка. Должно быть, радовали ее и внучата — старшей, Валентине, в юбилейном 1899 году было уже 13 лет, Екатерине — 10, Льву — 7, Владимиру — 4, а самая младшая, Наталья, появилась на свет только в предыдущем году.

«Обстановка жилища В. А. более чем скромная,— сообщает Н. Ежов,— ветхие стулья, простой стол, железная, с длинной трубой печка, которую всю зиму беспрерывно топят коксом (иначе в комнате образуется стужа), большое старое кресло; на этом кресле все время сидит В. А. (ходит она мало, ноги ее болят, и не мудрено — простудиться в таком жилье возможно в любой холодный день). Никаких самых обычных

признаков достатка вы не найдете. На комоде стоит зеркальце в кисейных бантиках,— единственный след кокетливой женщины».

«В. А. Нащокина — маленькая, очень худощавая старушка, хотя на ее прекрасном лице нет тяжелых морщин; преклонные годы положили на него отпечаток, но сразу видно, что эта женщина была замечательной красавицей; ее светлые глаза светлы и теперь, профиль изящен, улыбка крайне симпатичная, голос слаб, дрожит, но приятен. Когда В. А. говорит, ее лицо слегка дрожит. Во всей ее старческой и тщедушной фигуре, в каждом жесте что-то необыкновенно милое и врожденно благородное. Когда она узнала, что цель нашего визита — поговорить о Пушкине, она вздрогнула, как птица, лицо задрожало и затряслись ее бледные, высохшие, как тонкие палочки, руки <...>

— Ах, вы представить себе не можете, как я и мой муж любили Пушкина. Это был наш друг в полном смысле этого слова... Я могу рассказать вам много, много...».

Вера Александровна повторила Н. Ежову примерно то же самое, что она рассказала менее года тому назад И. Родионову. Рассмотрим поэтому несколько подробнее это наиболее известное ее повествование о Пушкине, но попутно будем возвращаться и к статье Ежова.

Начало рассказа В. А. Нащокиной в записи И. Родионова, вероятно, вызовет недоумение у читателей этой книги. «Познакомилась я с Пушкиным в Москве, в доме отца моего, А. Нарского. Это было в 1834 году, когда я была объявлена невестой Павла Воиновича Нащокина, впоследствии моего мужа. Привез его к нам в дом мой жених».

Как же так? Значит, все наше повествование неверно! Ведь Вера Александровна сказала ясно — она дочь А. Нарского и впервые встретилась с Пушкиным в 1834 году.

Вопрос о времени первой встречи с поэтом, как мы увидим, решается легко, но сначала нам придется остановиться подробнее на загадочных словах Нащокиной о своем отце.

В том, что Вера Александровна действительно сказала то, что записал И. Родионов, до сих пор, по-видимому, никто не сомневался. Совсем еще недавно Н. Н. Белянчиков привел версию, согласно которой отец Веры Александровны — священник Петровской церкви на Кудринской улице, похороненный рядом с могилой П. В. Нащокина. Сам автор, как я уже упоминал, был, однако, уверен в том, что отец Нащокиной — «какой-то богатый домовладелец Александр Нарский»[1]. Кто

[1] Н. Белянчиков. Литературная загадка.— «Вопросы литературы», 1965, № 2, с. 256. В настоящее время Н. Н. Белянчиков, как показывает его неоднократно уже цитированная рукопись *(ИРЛИ)*, не сомневается в том, что отец Веры Александровны — А. П. Нащокин.

был этот домовладелец, остается неизвестным[1]. О месте его захоронения Белянчиков не упоминает.

Среди потомков Павла Воиновича бытовало предание о том, что отец Веры Александровны, Александр Петрович Нащокин, также был похоронен на Ваганьковском кладбище. В. А. Нащокина-Зызина мне сообщила: «Когда была жива и здорова моя сестра Валентина Андреевна Стрельникова[2], мы часто ходили на кладбище, и вот тут она многое рассказывала... И вот как-то она мне рассказала, что отец бабеньки был Александр Петрович Нащокин и что он похоронен на этом же самом месте, где стоит наша ограда, что раньше на этом месте был склеп» (22 апреля 1968 г.)[3].

Следовательно, вопрос этот можно считать окончательно решенным.

Как же быть, однако, со словами Веры Александровны, будто бы сказанными ею сотруднику «Нового времени»: «... в доме отца моего, А. Нарского»?

Работая над книгой о Нащокиных, я склонен был считать, что они вообще не были сказаны. Фамилии своего отца вдова Павла Воиновича не назвала. Ее добавил от себя И. Родионов. Можно было предполагать, что он добросовестно заблуждался. Быть может, знал даже, что его собеседница — сестра заслуженного кавказского генерала Федора Александровича Нарского.

Рукописи своей статьи Родионов, несомненно, Вере Александровне не прочел. По всей вероятности, не хотел лишний раз ее утомлять. Она ознакомилась с записями своих рассказов уже по тексту «Нового времени» — кто-то из близких прочел их Вере Александровне.

Через несколько месяцев Н. Ежов спросил ее, довольна ли она статьей Родионова.

«— И да, и нет,— ответила В. А.— Видите ли, тот мой знакомый, который записал и напечатал мои рассказы о Пушкине и Гоголе, не совсем точно исполнил мое намерение <...>». Вера Александровна упрекнула Родионова: «...моя особа представлена как бы на первый план, а великий Пушкин и Гоголь — как бы на втором». Она считала также, что «о На-

---

[1] Ю. Б. Шмаров (Москва) сообщил мне о существовании московской купеческой фамилии Нарских, которые писались «Нарской», а не «Нарский». В «Московском некрополе» перечислены могилы многих лиц, носивших эту фамилию. По-видимому, смешение сходных транскрипций и повело к генеалогической путанице.

[2] В. А. Стрельникова (1886—1959) в молодости работала в редакции журнала «Русская мысль». Была близка к семье редактора этого органа В. А. Гольцева.

[3] В отношении места погребения Александра Петровича это семейное предание, несомненно, ошибочно. Как мы знаем, до сравнительно недавнего времени его могила была цела; она находилась в семейном склепе Нащокиных старшей линии в с. Рай-Семеновском.

щокине совсем забыли, отодвинули его на задний план». Упомянула и о нескольких ошибках, замеченных ею в «Воспоминаниях». Сказала между прочим, что поэта похоронили не в «нащокинском» фраке, как полагал Родионов[1].

Думается, что Вера Александровна не могла не заметить ошибки, для нее гораздо более существенной, чем нащокинский фрак,— неверно названной фамилии ее отца. Заметила, но промолчала. Для незаконной, по тогдашней терминологии, дочери тайного советника Нащокина и в 1899 году вопрос о ее происхождении оставался по-прежнему деликатным...

Казалось, что объяснение найдено. Священник Нарский представлялся мне личностью, созданной благодаря ошибке журналиста, неким подобием поручика Киже в одноименной повести Ю. Н. Тынянова.

Предположение оказалось ошибочным. Священник Нарский (Нарской?) — быть может, именно иерей Петровской церкви на Кудринской улице,— не был, конечно, фактическим отцом В. А. Нарской, но он существовал.

Ознакомившись со статьей Н. Белянчикова, В. А. Нащокина-Зызина организовала поиски его могилы: «...мы все были на кладбище, и если бы вы знали, как мы все кругом облазили, чтобы удостовериться, есть ли поблизости от нашей ограды могила священника А. Нарского. Таковой не оказалось» (22 апреля 1968 г.).

Могила загадочного священника не найдена. Возможно, что сейчас она не существует, но это не значит, конечно, что ее вообще не было[2].

У моей неутомимой корреспондентки были основания предпринять эти кладбищенские поиски. Оказалось, что в семье Нащокиных ранее имелись какие-то, забытые теперь сведения об интересующем нас священнике. «...Все-таки, как я смутно припоминаю, какая-то связь с именем священника А. Нарского была, мне сестра тогда объясняла, но это было так давно, что я совершенно забыла»,— сообщила мне В. А. Нащокина-Зызина.

Быть может, дальнейшие находки архивных материалов позволят выяснить, какое же отношение этот священник имел к Вере Александровне и ее братьям.

Мне представляется вероятным, что при крещении всех троих внебрачных детей Александра Петровича их крестным отцом, по каким-то соображениям, неизменно записывали свя-

---

[1] М. А. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, с. 315—316.

[2] Навести в настоящее время соответствующую справку невозможно. На Ваганьковском кладбище, как и всюду, имелись книги захоронений, но во время Великой Отечественной войны они были сожжены.

щенника Александра Нарского (правила православной церкви, как мне было разъяснено сведущими лицами, это допускали и допускают). Возможно, что А. П. Нащокин хотел, чтобы его незаконным детям на законном основании присваивалось отчество «Александровичей».

В этом случае престарелая Вера Александровна не очень уклонилась от истины, назвав Нарского «отцом».

Фамилии крестного отца внебрачные дети, однако, не получали. Дочь и двое сыновей Нащокина могли стать Нарскими — повторим еще раз — лишь на основании соответствующего юридического акта.

Напрашивается мысль о том, не были ли они в каком-то году — вероятно, все трое одновременно — усыновлены священником, носившим эту фамилию. Для Александра Петровича Нащокина, несмотря на его высокий чин и придворное звание, вероятно, было все же легче подыскать для внебрачных детей подходящего приемного отца, чем, скажем, «испросить высочайшее повеление» о присвоении им фамилии по названию реки Нары.

Что за человек был священник Нарский, мы не знаем — возможно, хороший, добрый человек. С другой стороны, для недостаточно обеспеченного приходского священника оказать столь существенную услугу богатому барину могло быть и выгодно. Расходов на детей он, конечно, не нес никаких, а доходы, вероятно, имел. Кроме того, отцом он, надо думать, лишь числился на все выносящей казенной бумаге. Вряд ли, например, Павел Воинович в самом деле возил Пушкина знакомиться с невестой в дом священника Нарского, а не Александра Петровича Нащокина. Не велик был грех для старушки, Веры Александровны, через шестьдесят с лишним лет рассказать журналисту не совсем то, что было.

Само собой разумеется, что все это лишь моя рабочая гипотеза. Чтобы ее проверить, нужны документы, а их пока нет.

Однако в том, что Нащокин возил Пушкина знакомиться с невестой к ее фактическому отцу, сейчас вряд ли можно сомневаться. Н. Н. Белянчиков установил на основании материалов Архива планового управления Москвы (АПУ), что в 1826 году Александру Петровичу Нащокину принадлежало домовладение (современный дом № 2/7) на углу Мерзляковского и Скатертного переулков, состоявшее из двух деревянных двухэтажных и одного одноэтажного также деревянного дома[1].

На «плане дому», составленном 30 марта 1832 года, имеется подпись: «Изъмерение утьверждаю московская мещанка Дарья Нестерова дочь Нагаева».

---

[1] *ИРЛИ.*

Таким образом, Н. Н. Белянчикову, как говорилось выше, первому удалось установить до того неизвестные имя и отчество матери Веры Александровны. По-видимому, А. П. Нащокин, желая обеспечить свою фактическую жену, заранее передал ей один из домов (или все домовладение?). В 1836 году дом принадлежал другому лицу. Н. Н. Белянчиков, вероятно, прав, предполагая, что к этому времени Дарья Нестеровна уже умерла.

Упоминание Веры Александровны о том, что она впервые встретилась с Пушкиным в 1834 году, как я уже сказал, сложных пояснений не требует. В этом, как и в ряде других случаев, рассказчице изменила память; нельзя забывать, что в год беседы с Родионовым ей было около 88 лет.

В 1834 году, как известно, поэт вовсе не виделся с Нащокиным. Встреча, о которой идет речь, произошла, несомненно, на год раньше. В 1833 году Пушкин дважды прожил по нескольку дней в Москве. 25 августа он приехал туда по пути в Оренбург. Поэт пробыл в Москве четверо суток, жил в доме Гончаровых. Судя по письмам к жене (27 августа и 2 сентября), Пушкин тогда несколько раз виделся с Нащокиным, проводил у него время весьма весело, но сердечными делами друга, по-видимому, не занимался. Павел Воинович свозил его к будущему своему тестю и представил Вере Александровне, очевидно, в середине ноября, когда Пушкин, возвращаясь из Болдина в Петербург, прогостил у Нащокина несколько дней (точные даты неизвестны).

Согласно записи Родионова, Вера Александровна сказала ему: «Во второй раз я имела счастие принимать Александра Сергеевича у себя дома, будучи уже женой Нащокина. Мы с мужем квартировали тогда в Пименовском переулке, в доме Ивановой». Это совершенно верно — вторая встреча произошла «у Старого Пимена» в мае 1836 года, но далее Вера Александровна говорит: «[Пушкин] остановился тогда у нас и впоследствии во время приездов в Москву до самой своей смерти останавливался у нас. Для него была даже особая комната в верхнем этаже, рядом с кабинетом мужа. Она так и называлась «Пушкинской».

Память снова изменила старушке. Эта вторая встреча была и последней. Больше Вера Александровна Пушкина не видела...

Следует, однако, сказать, что в общем память у Веры Александровны, несмотря на глубокую старость, была еще сравнительно неплохой. О суеверии поэта, например, она говорила в 1898 году почти то же самое, что и в 1851 году. Точно так же, почти без изменений, она сообщила целый ряд бытовых подробностей, касающихся Пушкина. Продиктовала даже

ту самую понравившуюся поэту песенку шута Загряжского (Загряцкого), которая была уже записана с ее слов П. И. Бартеневым почти полвека тому назад.

Эти сведения о Пушкине, переданные вдовой Павла Воиновича через шестьдесят лет после смерти поэта, следует считать вполне надежными. Повторю снова, что в ее добросовестности сомневаться невозможно. Тем не менее вряд ли было так, как сказала Вера Александровна И. Родионову: «...часто между моим мужем и Пушкиным совершенно серьезно происходил «разговор о том, чтобы по смерти их похоронили на одном кладбище». На мой взгляд, в данном случае следует верить ее рассказу 1851 года, записанному тогда же П. И. Бартеневым. Напомню еще раз, что Пушкин, приехав к Нащокиным ночью и не застав дома Павла Воиновича (это было 2 мая 1836 г.), принялся рассказывать его жене о том, как в Святогорском монастыре рыли могилу для недавно умершей Надежды Осиповны. Упомянул при этом, что, умри Нащокин, и его было бы хорошо там похоронить,— земля, мол, прекрасная, червей нет... Молодая женщина, видимо, расплакалась — Пушкину пришлось ей подавать воду.

Раз поддавшись грустному настроению, вызванному смертью матери, и допустив неловкость, поэт, наверное, не стал бы ее повторять и вести при молодой жене друга похоронные разговоры.

При желании в рассказах Нащокиной можно найти еще немало других неточностей и мелких ошибок. На одной из них нам еще придется остановиться, но занимать внимание читателя регистрацией ошибок памяти Веры Александровны я считаю совершенно ненужным. Ясно, что сообщаемые ею факты в каждом отдельном случае необходимо тщательно проверять.

Но непреходящее значение рассказов этой современницы поэта заключается не только в их фактической стороне. Из многочисленных людей, знавших Пушкина годами и десятилетиями, мало кто так сохранил и сумел передать потомству его живой человеческий образ, как эта женщина, видавшая поэта воочию не более одного месяца.

Ее рассказы, записанные И. Родионовым, много раз перепечатывались и часто цитируются, но все же я не могу не привести из них несколько отрывков:

«Конечно, я раньше слышала о Пушкине, любила его дивные творения, знала, что он дружен с моим женихом, и заранее волновалась и радовалась предстоящему знакомству с ним.

И вот приехал Пушкин с Павлом Воиновичем. Волнение мое достигло высшего предела <...> Несколько минут разговора с ним было достаточно, чтобы робость и волнение мое исчезли. Я видела перед собой не великого поэта Пушкина, с которым

говорила тогда вся мыслящая Россия, а простого, милого, доброго знакомого.

Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика — особенно его удивительных глаз.

Это были особые, поэтические, задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых душою великого поэта. Других таких глаз я во всю мою долгую жизнь ни у кого не видела.

Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти.

В первое посещение Пушкин довольно долго просидел у нас и почти все время говорил со мной одной. Когда он уходил, мой жених, с улыбкой кивая на меня, спросил его:

— Ну, что? позволяешь на ней жениться?

— Не позволяю, а приказываю! — ответил Пушкин».

«Да, такого друга, как Пушкин, у нас никогда не было, да таких людей и нет! Для нас с мужем приезд поэта был величайшим праздником и торжеством. В нашей семье он положительно был родной. Я как сейчас помню те счастливые часы, которые мы проводили втроем в бесконечных беседах, сидя вечером у меня в комнате на турецком диване, поджавши под себя ноги. Я помещалась обыкновенно посредине, по обеим сторонам муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками. Я помню частые возгласы поэта: «Как я рад, что я у вас! Я здесь в своей родной семье!»[1]

В «Воспоминаниях» содержится взволнованный и горестный рассказ о том, как Нащокины узнали о дуэли и смерти поэта, как тяжело заболел Павел Воинович, потерявший любимого друга.

К сожалению, статья Н. Ежова, как было уже отмечено, сейчас малодоступна, а между тем и в ней есть интересные места. Некоторые из них я привел выше. Процитирую еще одно — в нем, как я думаю, слышится подлинный голос современницы поэта: «—Ах, Пушкин, Пушкин!—твердила В. А., волнуясь.— Какой это был весельчак, добряк и острослов! Он говорил тенором, очень быстро, каламбурил, и по-русски, и по-французски; он мужа любил больше, чем кого-либо... Меня он любил как брат и друг, шутил со мной, читал мне свои новые стихотворения, целовал мои руки, а в особенности играл

[1] «Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2, с. 197—199.

со мной в карты... Как он звонко хохотал! Я сейчас слышу его смех...»[1]

Вероятно, Вера Александровна говорила именно так или почти так — просто и задушевно, без сравнения зубов Пушкина с «перлами», без «бездны дум и ощущений» в его глазах и других литературных украшений, приписанных ей И. Родионовым.

Записи обоих сотрудников «Нового времени» все же в общем производят впечатление добросовестно изложенных бесед, из которых читатели и исследователи узнали немало интересного. Я никак не могу согласиться с мнением известного литературоведа своего времени М. Гершензона, который достаточно пренебрежительно отозвался о содержании корреспонденций И. Родионова: «...еще в 1898 году кем-то[2] напечатаны с ее слов довольно бессодержательные воспоминания о Пушкине и Гоголе»[3].

О произведениях поэта В. А. Нащокина действительно почти не говорила (за исключением упоминания о чтении Пушкиным черновика «Русалки» в последний его московский вечер), но это, видимо, и не входило в ее намерения. Вера Александровна рассказывала журналистам о Пушкине-человеке, близком друге супругов Нащокиных.

Ни разу, насколько мне известно, не переизданная и совершенно забытая корреспонденция В. А. Гиляровского[4] в части, непосредственно относящейся к Пушкину, не содержит сведений, которых не было бы у Родионова и Ежова. Она тем не менее интересна, поскольку касается самой Веры Александровны.

Автор, видимо, лучше осведомлен об обстоятельствах жизни В. А. Нащокиной в «пыльном и пьяном» селе Всехсвятском, чем Ежов и Родионов. Встретившую посетителей просто одетую женщину он не называет, например, компаньонкой Веры Александровны.

Гиляровский отмечает, между прочим, светские манеры старушки Нащокиной: «Моего товарища она встретила как знакомого, красивым жестом женщины общества. Она предложила мне сесть и сразу сама заговорила о Пушкине.

— Я получила письмо от одного важного лица в Петербурге, пишет, что государь узнал обо мне... О, Пушкин, Пушкин! Все благодаря ему: он до сих пор мне доказывает свою любовь!

---

[1] М. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине, с. 316.

[2] Корреспонденции были подписаны инициалами.

[3] М. Гершензон. Образы прошлого, с. 52.

[4] «Россия», 1899, № 29, 26 мая, с. 3. Корреспонденция не имеет заглавия; помещена в рубрике «Чествование памяти А. С. Пушкина». В собрании сочинений Гиляровского (т. III. М., 1967, с. 236) ее содержание изложено лишь в нескольких строках.

И много, много она рассказывала о Пушкине».

Содержания рассказов Нащокиной Гиляровский почти не касался. По-видимому, считает, что повторение уже известного для читателей не было бы интересно.

Существенна в корреспонденции отмеченная автором жалоба Веры Александровны на П. И. Бартенева, роль которого в судьбе писем Пушкина к Павлу Воиновичу действительно непонятна и сейчас:

«Вдруг лицо ее омрачилось.

— Письма его у меня пропали. 20 писем было, и все пропали. Редактор «Русского архива», г. Бартенев, взял у меня их и напечатал, а оригиналы не возвратил. Уж я посылала-посылала к нему — так и не возвратил»[1].

По поводу слов Веры Александровны относительно письма некоего важного лица, видимо вхожего к царю, позволю себе сделать небольшое отступление.

Не идет ли здесь речь о тогдашнем президенте Академии наук вел. кн. Константине Константиновиче («поэте К. Р.»)? Высокопоставленных знакомых в разное время у Нащокиных было много. В собрании П. И. Бартенева сохранилась любопытная записка: «В 1849 г. апреля 16-го Вера Александровна имела честь представляться Ее Императорскому Высочеству Ольге Николаевне, в Оружейной палате»[2].

Двадцатишестилетняя дочь Николая I в это время была уже замужем за Вюртенбергским кронпринцем Карлом, впоследствии королем и, очевидно, приехала на родину для свидания с родителями. Будучи ученицей Жуковского и Плетнева, Ольга Николаевна заучивала наизусть стихи Пушкина — отрывки из «Полтавы», «Бахчисарайского фонтана» и «Бориса Годунова», «глотала его последнее произведение «Капитанская дочка», которое печаталось в «Современнике»[3]. В 1849 году она, вероятно, расспрашивала Веру Александровну о поэте, но, по всему судя, никакого участия в судьбе бедствовавших тогда Нащокиных не приняла.

Можно было ожидать, что спустя полвека «К. Р.» отнесется иначе к судьбе той, которую считали последней современницей Пушкина, но ничто, надо сказать, не указывает на какое-либо вмешательство тогдашнего президента Академии наук в жизнь Веры Александровны.

---

[1] По словам В. А. Нащокиной-Зызиной, так же неудачны были неоднократные попытки ее отца получить обратно пушкинские письма. Надо сказать, что деловые отношения между Бартеневым и Нащокиными нам неизвестны. Во всяком случае, на высказанный в печати упрек Веры Александровны П. И. Бартенев почему-то не счел нужным ответить.

[2] *ИРЛИ*. Почерк мне неизвестный, во всяком случае не В. А. Нащокиной.

[3] Сон юности. Записки дочери императора Николая I. Париж, 1963, с. 66.

В. А. Нащокина-Зызина считает, что «важным лицом» скорее мог быть военный министр генерал П. С. Ванновский[1]. И она, и ее ленинградская родственница Е. А. Нащокина, независимо одна от другой, сообщили мне об очень близком знакомстве семей Нащокиных и Ванновских. Между ними, по-видимому, существовало также родство. Александр Павлович Нащокин оказал некогда будущему военному министру какую-то очень важную услугу, которую держал в секрете даже от своих сыновей.

Все это делает довольно вероятным обращение Ванновского к Николаю II, но если оно и имело место, то, судя по всему, осталось безрезультатным.

Прежде чем говорить об участии Веры Александровны в пушкинских торжествах 1899 года, приведу еще новый, к сожалению очень краткий, рассказ о ней и ее воспоминаниях о поэте.

Совсем недавно (23 октября 1970 г.) краевед и писатель Ю. М. Курочкин (Свердловск) сообщил мне, что, будучи в Москве, он обнаружил в дневнике артиста и литератора Дмитрия Викторовича Гарина-Виндинга (1869—1917) его запись о посещении в 1894 году Веры Александровны Нащокиной[2]. По моей просьбе неизменно отзывчивая В. А. Нащокина-Зызина сняла и прислала мне копию этого документа.

Д. В. Гарин-Виндинг побывал у Веры Александровны в селе Всехсвятском 18 ноября 1894 года по поручению А. А. Веселовской, сотрудницы газеты «Русские ведомости», в связи с просьбами Нащокиной о помощи. В дневнике он записал: «Был у Веры Александровны Нащокиной. «Печальной ветхости картина» — передо мной предстала Наина, но только с симпатичным лицом. Беседа с нею на меня произвела приятное впечатление. Нищета, ужасная обстановка кричит о голоде и холоде, но нет ноющей ноты, нет угнетенного вида, видно — что где-то, может быть под ногтями, осталось немного барства и достоинство человека. Очень мило излагает мысли, живым словом. Так что письма эти она сама пишет (письмо к Веселовской). С большим воодушевлением говорила о Пушкине. Память старухе не изменяет, и она верно называет имена и фамилии, даже дома[3]. Много говорила о суеверности Пушкина. «Александр Сергеевич был очень оживленного характера, любил очень болтать и смеяться и так смеялся зарази-

---

[1] П. С. Ванновский (1822—1904) занимал пост военного министра с 1881 по 1898 г. Позже, в 1901—1902 гг., он был министром народного просвещения.

[2] *ГИМ.*

[3] В. А. Нащокиной в это время было 83—84 года.

тельно, до упаду! и других увлекал за собой!.. Замечательные глаза, глаза, все говорившие и постоянно менявшие свое выражение, поэтому он мне ни на одном портрете не нравился, все это деланные выражения». Нащокин был товарищ Пушкина по Лицею. В доме Нащокина бывала вся красота русской литературы. У них в доме же Пушкин написал первые строчки [к] воспоминаниям М. С. Щепкина. У ней было много писем, записок от Пушкина, Гоголя <...> но она отдала Бартеневу и все это кануло <...> в лету. Не отдает: самый легкий, но и рискованный способ составлять коллекции».

Найденная Ю. М. Курочкиным запись показывает, что в основном В. А. Нащокина в разные годы рассказывала литераторам одно и то же о внешности и душевных свойствах Пушкина, лишь изредка добавляя новые подробности. На этот раз мы узнаем, что в подаренную Пушкиным М. С. Щепкину тетрадь для будущих записок актера поэт вписал начальные строки в доме Нащокина[1].

В изображении Д. В. Гарина-Виндинга образ старушки Нащокиной, «Наины с симпатичным лицом», передан очень живо и с несомненным сочувствием к собеседнице. Мы видим Веру Александровну еще не очень дряхлой, хорошо помнящей прошлое, относительно бодрой, несмотря на все лишения, которые ей приходилось переносить.

За несколько дней до юбилея 1899 года в село Всехсвятское к В. А. Нащокиной приехали московские журналисты. В заключение беседы присутствовавший при ней Ежов обрадовал Веру Александровну сообщением о том, что «26 мая за ней приедут из университета и повезут ее на заседание».

На следующий день после юбилейного собрания «Россия» поместила следующую телеграмму из Москвы:[2] «Торжественное заседание Московского университета и Общества любителей российской словесности происходило в актовой зале, где среди тропических растений красовался большой слепок с московского памятника поэту. Заседание происходило в присутствии великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Ее высочеству у входа в зал ректор университета Д. П. Зернов поднес роскошный букет. На заседании присутствовали дочь чествуемого поэта М. А. Гартунг, внуки и правнуки поэта и В. А. Нащокина, близко знавшая Пушкина».

Днем позже та же газета сообщила о том, что ректор обратился «с благодарственной речью к почетной гостье Вере Александровне Нащокиной, единственной современнице А. С. Пушкина, который был близким другом ее мужа и ее

---

[1] 17 мая 1836 г. во время своего последнего приезда в Москву, когда он гостил у Нащокиных.

[2] «Россия», 1899, № 30, 27 мая.

самой. Доброе лицо старухи озарилось радостью, и она заплакала»[1].

Должно быть, в эту минуту вся зала смотрела на нее: красивая пожилая дама — дочь поэта, генералы в парадной форме, сановники и старые профессора во фраках с лентами и звездами, иностранные делегаты, студенты — кто в мундире со шпагой и треуголкой в руке, кто в форменном сюртуке, а большинство в серых и черных тужурках.

Больные глаза старушки Нащокиной ничего этого не различали. Но белый монумент, окруженный пальмами и ярко освещенный электричеством, был от нее в немногих шагах. Вера Александровна смотрела на статую поэта, которого в этот день официальная Россия «от финских хладных скал до пламенной Колхиды» торжественно вводила в казенный пантеон, и вспоминала дорогого ей Александра Сергеевича, умевшего так заразительно хохотать...

Вернулась она во Всехсвятское, вероятно, уставшая до крайности — заседание продолжалось два с половиной часа.

В следующие дни многие, сначала московские и петербургские, а затем и провинциальные газеты, имевшие собственных корреспондентов в столице, упомянули в своих отчетах о присутствии на юбилейном заседании последней современницы Пушкина.

Ее тоже ввели в пантеон воспоминаний о поэте, где она пребывает и сейчас.

* * *

Я попытался узнать, нет ли в архиве внучки писем ее бабушки. Их не оказалось. В. А. Нащокина-Зызина прислала мне лишь копию письма, хранящегося в Государственном Историческом музее:[2]

«В Комитет по устройству Пушкинской выставки.

Ввиду тех волнений, которые я пережила в первый день Пушкинских торжеств[3], а равно и во время, предшествовавшее этому дню, я совершенно упустила из вида предложить Комитету по устройству этих Торжеств сохранившийся у меня старинный круглый из карельской березы стол. Этот стол существует чуть не более 100 лет. Он перешел ко мне в числе других вещей моего приданого.

За этим именно столом и происходила наша беседа с Александром Сергеевичем Пушкиным во время его остановок

---

[1] «Россия», 1899, № 31, 28 мая.

[2] *ГИМ.*

[3] На торжества, так взволновавшие (иначе, конечно, и быть не могло) Веру Александровну, ее сопровождала любимая невестка, жена Андрея Павловича

у нас в квартире в доме Ивановой у церкви св. Старого Пимена.

Этот стол особенно дорог для меня, как единственное оставшееся у меня вещественное воспоминание о незабвенном Александре Сергеевиче.

Если Комитет пожелает, то может за ним прислать по адресу: За Тверской Заставой, село Всехсвятское, против убежища, дом Поляковой.

Прошу принять уважение и проч. *Вера Нащокина.* 4 июня 1899».

В. А. Нащокина-Зызина сомневается, однако, чтобы это письмо было собственноручным. Почерк «очень уж уверенный, с сильным нажимом и росчерками». У моей корреспондентки есть фотография, где, как она пишет в письме от 17 февраля 1968 года, «бабенька сидит за этим круглым столом. Снимок этот, вероятно, сделан в 1899 году перед юбилеем поэта. А самое главное, что на этой карточке есть подпись «Вера Нащокина», и я думаю, что это ее рука: слабый и дрожащий почерк».

Комитет, к которому обратилась в 1899 году Вера Александровна, почему-то не пожелал воспользоваться ее предложением. Драгоценная реликвия осталась в семье Нащокиных. Вера Андреевна сообщила мне (в письме от 23 декабря 1967 г.) и о ее дальнейшей судьбе: по ее словам, Андрей Павлович Нащокин «свято берег вещи, оставшиеся после матери. Особенно круглый стол и кресло. Стол у нас назывался пушкинским. По преданию, этот стол стоял в комнате, где останавливался поэт и писал на нем. Но с этими вещами случилось непоправимое. Во время голода и холода в 20-х годах мы все перебрались в мезонин <...> Стол и кресло были спрятаны в чулан под внутренней лестницей».

После того как лица, поселенные в нижнем этаже, уехали, мать Веры Андреевны «с ужасом обнаружила, что вещи были сожжены».

Фотография Веры Александровны, снятая в мае 1899 года, была опубликована в Альбоме Пушкинской выставки в Москве (24 мая — 13 июня 1899 г.). Старушка Нащокина сидит у балкона дачи Поляковой в своем любимом кресле перед «пушкинским» круглым столом.

Тот же портрет Веры Александровны по окончании пушкинских торжеств был помещен в журнале «Семья»[1]. В довольно подробной редакционной заметке наряду с несомненно ошибочными сведениями есть интересное, больше нигде не встречающееся указание на то, что «один из бюстов В. А. работы Витали находится в Академии художеств в Петербурге,

---

[1] «В. А. Нащокина (К портрету)».— «Семья», 1899, № 24, 13 июня, с. 7.

а ее лучший портрет, по ее словам, у бывшего военного министра г. Ванновского».

Заметка заканчивается напоминанием московской интеллигенции о ее обязанности «скрасить своим участием последние дни подруги Пушкина — дни, которых ей, по видимости, и осталось-то немного!.. Речь идет не о единовременном или ежемесячном пособии, а о том ничем не оценимом участии, которое создало бы В. А. сколько-нибудь сносное существование в одном из благотворительных учреждений, коими Москва так богата».

В «благотворительное учреждение» В. А. Нащокина, к счастью, не попала. Если Гиляровский не ошибается, ей в конце концов «устроили пенсию» [1]. Последние месяцы своей жизни совершенно ослепшая Вера Александровна провела не в селе Всехсвятском, а на окраине Москвы. Государственную поддержку она во всяком случае если и получала, то очень недолго — немногим более года.

16 ноября 1900 года В. А. Нащокина скончалась.

В газете «Русское слово» появилось, как было принято — на первой странице, траурное извещение: [2]

«Друг Пушкина Вера Александровна Нащокина волею божею скончалась 16 сего ноября, в 1 час ночи, о чем сын и внучата покойной с душевным прискорбием извещают родных и знакомых. Панихиды совершаются в 10 часов утра и в 6 часов вечера, Новая Бошиловка, д. Боковой. Отпевание в церкви Рождества Богородицы, что на Бутырках, 19 ноября в 8 ч. утра, погребение на Ваганьковском кладбище».

Кончина Веры Александровны не прошла незамеченной, как 46 лет тому назад смерть ее мужа. В некоторых московских газетах были помещены некрологи.

«Русское слово» тогда же, 18 ноября, писало: «Кончина друга Пушкина. На окрайне Москвы, где-то у Бутырской заставы, в скромной, вернее, бедной обстановке скончалась третьего дня современница и лучший друг гениального Пушкина, Вера Александровна Нащокина, в обществе которой и ее мужа так любил проводить свои досуги великий поэт».

«Прошли года — и В. А. Нащокина, пережив гения <...> принуждена была волею судеб влачить на склоне лет жалкое существование. Ютясь где-то в мансарде в селе Всехсвятском, перебиваясь на жалкие крохи, больная и всеми забытая, В. А. лишь ко дню пушкинских торжеств была наконец отыскана <...> На торжественном заседании в день праздника 88-летняя Нащокина явилась центральной фигурой, на кото-

---

[1] В. Гиляровский. Собр. соч., т. III. М., 1967, с. 237. Указа о назначении пенсии В. А. Нащокиной мне разыскать не удалось.

[2] «Русское слово», 1900, № 320, 18 ноября.

рой было сосредоточено общее внимание. Кончились торжества в честь великого поэта, как-то вскользь упомянули о В. А., кажется, выхлопотали ей какую-то крохотную субсидию — и затем о современнице творца волшебных песнопений забыли снова <...> 16 ноября в 1 час ночи 90-летняя современница Пушкина тихо отошла в вечность, унося в могилу благоговейное воспоминание о незабвенном поэте <...>».

«Курьер»[1] в краткой заметке сообщал читателям: «Сегодня в церкви Рождества Богородицы, что в Бутырках, в 9 часов утра состоится отпевание тела скончавшейся в ночь на 17 ноября на 90-м году от рождения вдовы известного современника А. С. Пушкина и его друга Веры Александровны Нащокиной. История жизни В. А. Нащокиной всем известна[2]. Когда-то богатая, блестящая красавица, служившая центром, около которого группировались литераторы, художники, музыканты, она под конец впала в глубокую нужду и проживала в комнатке на окрайне города. Во время пушкинских торжеств В. А. служила предметом особого внимания со стороны всех присутствующих на торжественном заседании»[3].

Андрей Павлович Нащокин был настолько потрясен смертью любимой матери, что все хлопоты по погребению пришлось принять на себя его жене. Велико было и ее горе — с добрейшей свекровью она прожила душа в душу полтора десятка лет.

Покоится Вера Александровна Нащокина в семейной ограде на Ваганьковском кладбище.

* * *

Скажем еще о двух лицах, которых видел Пушкин: речь пойдет о родных братьях Веры Александровны — Федоре и Льве Нарских.

Передо мною фотокопия старинной бумаги из архива Нащокиных — офицерский патент Федора Александровича Нарского.

Вверху на фоне гравированных облаков изображен николаевский двуглавый орел, внизу, под текстом, во всю ширину листа, военные атрибуты того времени — скрещенные знамена и флюгера, кавалерийская сабля, пехотная шпага и много иных предметов, а посредине большой барабан, увенчанный парадной офицерской каской. Справа и слева — лавровые венки, перевитые лентами. Очень торжественный диплом... Текст

---

[1] «Курьер», 1900, № 321, 19 ноября, с. 3.

[2] Автор заметки, вероятно, имел в виду недавние статьи Родионова, Ежова и Гиляровского.

[3] Бо́льшая часть этой заметки дословно включена в краткий некролог, помещенный в «Историческом вестнике» (1901, № 1, с. 416).

его гласит: «Божею милостью Мы, Николай Первый, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая.

Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Федора Нарского, который Нам унтер-офицером служил, за оказанную его в службе Нашей ревность и прилежность, в Наши Прапорщики тысяча восемьсот четыредесять седьмого года Мая девятого дня всемилостивейше пожаловали и учредили; якоже Мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем Нашим подданным оного Федора Нарского за Нашего Прапорщика надлежащим образом признавать и почитать: и Мы надеемся, что он в сем ему от Нас всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму Офицеру надлежит. Во свидетельство чего, Мы сие Инспекторскому Департаменту Военного Министерства подписать и Государственною Нашею печатию укрепить повелели. Дан в Санкт-Петербурге, лета 1847 <...>» (месяц и число, приведенные в тексте, на фотокопии прочесть нельзя).

В архиве В. А. Нащокиной-Зызиной это единственный документ, принадлежавший Федору Александровичу. Из него мы узнаем лишь дату производства унтер-офицера Нарского в первый офицерский чин. Кроме того, патент, выданный от имени царя, показывает, что в 1847 году брат Веры Александровны носил свою фамилию на законном основании.

Мы знаем уже, что, по семейным преданиям Нащокиных, Федор Александрович Нарский был заботливым братом, много помогавшим своей сильно нуждавшейся сестре и ее детям. У нас нет возможности ближе познакомиться с душевным обликом Ф. А. Нарского. Есть только сведения о прохождении им военной службы, достаточно подробные и, несомненно, точные,— в официальном справочнике «Список генералам по старшинству — составлен по 1 сентября 1905 года» (СПб., 1906, с. 167)[1].

Родился Федор Александрович 20 апреля 1826 года и умер между 1 сентября 1905 года и 1 июля 1906 года[2]. Таким образом, он во всяком случае дожил до 79-летнего возраста. Потомки Павла Воиновича Нащокина считают его старшим из двух родных братьев Веры Александровны (письмо Веры Андреевны от 15 февраля 1967 г.), но эта семейная традиция, как я покажу в дальнейшем, несомненно, не верна.

Очень возможно, что Федора Нарского Пушкин видел в ноябре 1833 года семилетним мальчиком, а в последний приезд в Москву в 1836 году — десятилетним. Следовало бы

---

[1] Приношу благодарность пушкинисту Л. А. Черейскому (Ленинград), указавшему мне на это издание.

[2] В следующем выпуске «Списка», где перечислены генералы по состоянию на 1 июля 1906 г., Ф. А. Нарского уже нет.

поэтому отыскать архив генерала Нарского, так как он мог записать впоследствии свои детские впечатления о встречах с поэтом.

Согласно «Списку генералам...», Федор Александрович общее образование получил в «частном учебном заведении», военное — «на службе», вступив в нее 9 сентября 1842 года. Ему было тогда всего 16 лет. Почти 5 лет юноша прослужил унтер офицером — до 9 мая 1847 года. Можно думать, что такой долгий военный искус объясняется тем, что Федор Нарский, как внебрачный сын, не был дворянином. Отец его скончался, когда мальчику было 13 лет, а богатые и знатные родственники не заботились о сыне Александра Петровича от бывшей крепостной.

В дальнейшем он тянул тяжелую лямку пехотного армейского офицера, медленно повышаясь в чинах и подолгу занимая небольшие должности. В 33 года Ф. А. Нарский, правда, уже майор, но чин полковника он получает лишь в 54 года. Батальоном командует целых десять лет. Его служебное продвижение совсем не похоже на блестящие карьеры гвардейских офицеров александровского и николаевского времени.

В молодости Федор Александрович участвует в двух войнах — прапорщиком и подпоручиком в венгерской кампании 1849 года, штабс-капитаном в Крымской войне 1854—1855 годов [1]. В пожилые годы он служит в Сибири, где занимает административные должности.

В 1874 году полковник Нарский командирован на Нерчинский завод и служит там два года. Затем он состоит ряд лет губернским воинским начальником в Томске и Семипалатинске. В возрасте 55 лет Федор Александрович, прослужив 39 лет, получает, наконец, чин генерал-майора. Он командует 35-й местной бригадой. Еще через 10 лет (30 августа 1891 г.) 65-летнего старика производят в генерал-лейтенанты.

С 1893 года и до конца своей долгой жизни он «состоит при войсках Кавказского военного округа сверх штата». Это своего рода военная синекура, которую престарелый генерал, вероятно, получил в награду за участие в героической защите Севастополя. Среди его многочисленных орденов нет офицерского георгиевского креста (ордена св. Георгия), дававшего большие служебные преимущества, но участники севастопольской обороны ими также пользовались. В противном случае старик был бы своевременно уволен в отставку и получал бы не генеральский оклад, а лишь небольшую пенсию.

---

[1] Чин штабс-капитана (произведен 6 июня 1853 г.) Ф. А. Нарский, несомненно, получил за отличие, так как поручиком он прослужил всего один год.

Оказывать более или менее регулярную поддержку сестре Федор Александрович, вероятно, смог не ранее начала 80-х годов, когда он был произведен в генералы. Обер- и штаб-офицеры получали в то время очень небольшие оклады, а Ф. А. Нарский, согласно «Списку генералам...», был женат и имел дочь. Весь 1882 год он, уже будучи генералом, почему-то состоял за штатом.

Портрет этого брата Веры Александровны мне найти не удалось.

О другом брате Веры Александровны, Льве Александровиче Нарском, пока документальных данных нет, но судить о его облике мы можем с помощью портрета, фотокопию которого прислала мне В. А. Нащокина-Зызина. Это датированная 1836 годом акварель известного портретиста П. Ф. Соколова[1], создавшего целую галерею выразительных и точных изображений людей пушкинского времени. Широко известен акварельный портрет самого Пушкина кисти этого художника. Вера Андреевна, кроме фотокопии портрета Л. А. Нарского, прислала его описание и рисунок спинки стула, на котором сидит юноша, так как последняя не вышла на снимке.

Лев Александрович Нарский — темный шатен, с голубыми глазами. На мой взгляд, ему не больше 20 лет. Он, несомненно, похож на сестру — тот же овал лица, тот же изящный рот, правильный, но довольно крупный нос, тонкие восточные брови. Однако восточный облик у брата в общем выражен значительно меньше, чем у сестры.

Л. А. Нарский одет в темно-серый расстегнутый фрак с черным бархатным воротником и черный жилет. Невысокий воротничок повязан пышным серо-сине-красным галстуком, действительно заслуживающим название «шейного платка», как правильно переводили в то время немецкое слово.

Общее впечатление от акварели — очень романтического вида задумчивый юноша. Впрочем, может быть, художник несколько идеализировал барственный облик Льва Нарского, сына крестьянки. Таким, как мы видим его на портрете, можно представить себе Владимира Ленского, «с душою прямо геттингенской».

Возраст юноши, насколько о нем можно судить по акварели, для нас существен, так как никаких бумаг Л. А. Нарского в архиве В. А. Нащокиной-Зызиной нет. Если считать, что ему действительно лет 19—20, то родился он около 1816 года. Во всяком случае, он, несомненно, старший, а не младший брат генерала Ф. А. Нарского, дата рождения которого

---

[1] Впервые этот портрет был опубликован в издающемся в Алма-Ате журнале «Простор» (1969, № 5, с. 104).

(20 апреля 1826 г.) не подлежит сомнению. В противном случае Лев Нарский не мог появиться на свет ранее 1827 года, и в 1836 году он был бы самое большее девятилетним мальчиком.

Нельзя сомневаться в том, что акварель изображает именно Льва Александровича, а не какое-либо другое лицо. На мой запрос В. А. Нащокина-Зызина ответила: «...с самого раннего детства нам говорили в семье, что это портрет бабенькиного брата[1]. Этот портрет был парный с портретом Веры Александровны. На юбилейной выставке в 1937 году я сама видела портрет бабушки, оформленный одинаково с этим портретом и кисти одного и того же художника. На портрете точный год, 1836-й, и портрет подлинно кисти П. Соколова. Это подтвердила научный сотрудник Всесоюзного музея Пушкина, приезжавшая ко мне из Ленинграда» (22 марта 1967 г.).

Итак, документов Л. А. Нарского нет, но есть его подлинный датированный портрет, есть семейные предания о нем, и, самое для нас интересное, в двух своих письмах Пушкин, несомненно, говорит об этом брате Веры Александровны.

Приведу сначала то место «Рассказов о Пушкине и Гоголе», где В. А. Нащокина говорит о брате и его знакомстве с поэтом: «В характере Пушкина была одна удивительная черта — умение душевно привязываться к симпатичным ему людям и привязывать их к себе. В доме моего отца он познакомился с моим меньшим братом, Львом Александровичем Нарским. Это была чистая, нежная, поэтическая натура. Пушкин с первого взгляда очаровался им, положительно не отходил от него и стал упрашивать его ехать к нему гостить в Петербург. Брат, не менее полюбивший поэта, долго колебался. Он сильно был привязан к родной семье, но, наконец, согласился на просьбы Пушкина, и они уехали.

В это путешествие случилось маленькое приключение: Павел Воинович утром другого дня по их отъезде на лестнице нашей квартиры нашел камердинера Пушкина спящим. На вопрос моего мужа: как он здесь очутился? тот объяснил, что Александр Сергеевич, кажется, в селе Всехсвятском, спихнул его с козел за то, что тот был пьян, и приказал ему отправиться к Нащокиным, что тот и исполнил.

По возвращении из Петербурга брат восторженно отзывался о Пушкине и, между прочим, рассказывал, что поэт в путешествиях никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей» [2].

[1] Лев Александрович Нарский очень похож, судя по их портретам, на своих единокровных братьев, законных сыновей Александра Петровича Нащокина.

[2] «Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2, с. 204—205.

Вероятно, кое-что в этом рассказе добавлено журналистом, возможно, знакомым с пушкинианой конца века. В частности, подробности о том, что Пушкин в путешествиях не любил ждать, пока заложат лошадей, и о его разговорах с встречными крестьянами производят впечатление вычитанных из мемуарной литературы. Наоборот, эпизод со слугой Пушкина Гаврилой, надо думать, действительно записан со слов Веры Александровны. В 1898 году она рассказала его почти так же, как Пушкин писал в письме к Павлу Воиновичу от 24 ноября 1833 года. Однако о селе Всехсвятском поэт не упоминает. По его словам, Гавриле было приказано слезть с козел при выезде из Москвы.

Характеристика Льва Александровича как натуры поэтической, несомненно, идет от сестры. О судьбе этого юноши и в наши дни бытует в семье Нащокиных предание весьма романтическое: «По рассказам моей матери, он умер двадцати лет от горячки (неразделенная любовь). Вот все, что я о нем знаю»,— писала В. А. Нащокина-Зызина 21 января 1967 года.

Возможно, что Льва Нарского погубила не поэтическая маловероятная любовная горячка, а, скорее, один из прозаических тифов, которые тогда, как и ряд других болезней, огульно именовались горячками. Но, по-видимому, в жизни юноши действительно была большая неудачная любовь, совпавшая, быть может, по времени с его смертельной болезнью. С тех пор прошло полвека или больше, но в памяти Веры Александровны, нежно любившей брата, по-прежнему жива эта трагедия, и, должно быть, не раз она рассказывала о ней невестке.

Обратимся теперь к письмам Пушкина.

Вернувшись 20 ноября 1833 года из Москвы в Петербург, он пишет (24 ноября) Павлу Воиновичу Нащокину: «Теперь скажу тебе о моем путешествии. Я совершил его благополучно. Леленька мне не мешал, он очень мил, то есть молчалив — все наши сношения ограничивались тем, что когда ночью он прилегал на мое плечо, то я отталкивал его локтем. Я привез его здрава и невредима — и как река еще не стала, а мостов уже нет, то я отправил его ко Льву Сергеевичу, чем, вероятно, одолжил его» (XV, 196).

Недели через три (в десятых числах декабря — после 12) Пушкин снова упоминает о своем спутнике: «Об Леленьке[1] не имею известия; он живет у Эристова;[2] а я на его имя получаю из Москвы письма. Сумасшедший отец его написал мне сумасшедшее письмо, на которое уже мне поздно отвечать; он беспокоится о каллиграфических трудах своего сына и о

---

[1] Первоначально Пушкин написал «Алеше», но зачеркнул это имя.

[2] Князь Дмитрий Алексеевич Эристов (1797—1858), приятель Пушкина, лицеист второго выпуска, автор «Словаря о святых, прославленных в российской церкви», о котором поэт дал хороший отзыв в «Современнике».

том, не плачет ли мальчик и не тоскует ли о своих родных? Успокой старика, как умеешь» (XV, 98—99).

Кто же этот Леленька, которого Пушкин вез из Москвы в Петербург, возвращаясь от Нащокина, в это время собиравшегося жениться на Вере Александровне?

Комментаторы писем поэта считают его то шурином Павла Воиновича[1], то его племянником[2]. Осторожный Л. Б. Модзалевский предпочитает отметить: «Леленька—Алексей, лицо неизвестное»[3]. Недавно Н. Н. Белянчиков подробно осветил в своей статье спорный, по его мнению, вопрос о том, правильно ли прочтено редакторами писем Пушкина имя его ноябрьского спутника. Останавливаться на аргументации Белянчикова я не буду. Существенно то, что автор считает Леленьку, или, как он прочел, «Левиньку», шурином Нащокина, Львом Александровичем Нарским[4].

В данном случае он, несомненно, прав. Напомним лишь, что Леленька, как сын троюродного брата Павла Воиновича, приходился ему в то же время троюродным племянником.

На первый взгляд может показаться непонятным, почему вообще некоторые комментаторы считали пушкинского Леленьку лицом неизвестным. Ведь Вера Александровна подробно рассказала о том, что Пушкин познакомился с ее братом, и они вместе уехали в Петербург.

Однако, сравнивая ее повествование с письмами поэта, нельзя не заметить, что, кроме самого факта совместной поездки, эти два источника расходятся почти во всем.

По словам Веры Александровны, Пушкин, познакомившись с ее братом, «стал упрашивать его ехать к нему гостить в Петербург». В письме Пушкина сказано лишь, что он привез Леленьку в столицу «здрава и невредима». По-видимому, Лев Александрович должен был найти пристанище у кого-то, живущего на правом берегу Невы, но, так как река еще не стала, а мосты уже были сняты, поэту пришлось отправить своего спутника к брату, Льву Сергеевичу. О приглашении погостить нет и речи, да и вряд ли Пушкин вообще мог в это время пригласить постороннего человека остановиться в своей квартире, где был четырехмесячный младенец (старший сын поэта Александр родился 6 июля 1833 г.). Точно так же из письма поэта не видно, чтобы он «с первого взгляда очаровался» братом Веры Александровны, как ей казалось через 65 лет

---

[1] В Справочном томе большого академического издания (XVII, 296) «Леленька» назван Алексеем Александровичем Нарским.

[2] А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. X. М., Гослитиздат, 1962, с. 389—390.

[3] Пушкин. Письма, т. III. Под ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., 1935, с. 659.

[4] Н. Белянчиков. Литературная загадка.— Вопросы литературы», 1965, № 2, с. 255.

после событий. Отношение Пушкина к своему спутнику представляется мне скорее добродушно-ироническим: «Леленька мне не мешал, он очень мил, то есть молчалив». Вероятно, юноша произвел на поэта приятное впечатление, но и только...

Правдивость Веры Александровны несомненна, но — повторю снова — нельзя забывать, что рассказчице было почти девяносто лет. Ее ослабевшая память дорисовала то, чего, по-видимому, не было — подружила две дорогие ей тени — Пушкина и брата...

Мне думается, что поэт просто исполнил просьбу Павла Воиновича взять с собой его дальнего родственника, брата барышни, на которой Нащокин собирался жениться.

Леленьку зачем-то отправляли в Петербург. Мы знаем сейчас, что в 1833 году юноше было 16, а может быть, и 17 лет. Девятью годами позже шестнадцатилетний Федор Нарский начал службу военную. Быть может, Льву Александровичу предстояло стать маленьким чиновником в одной из петербургских канцелярий. Образование он, по-видимому, успел получить для того времени достаточное.

Старик отец уже состоял, как можно предполагать, под опекой. Единокровные братья, фактические владельцы Рай-Семеновского, по всему судя, о внебрачных детях Александра Петровича не заботились вовсе. Надо было самому зарабатывать на жизнь...

У юноши, видимо, был хороший почерк — Пушкин упоминает о том, что отец Леленьки «беспокоится о каллиграфических трудах своего сына». По всей вероятности, Лев Александрович, как и многие его сверстники, начинал службу с переписки казенных бумаг.

Все это, конечно, лишь предположения. Верны они или нет, покажут дальнейшие исследования и находки.

Надо сказать, что строки пушкинских писем, касающиеся Леленьки, были, конечно, ясны для Павла Воиновича, но для нас в них неясно многое. Можно их понять и так, что поэт вез в Петербург молчаливого ребенка, не доставлявшего ему хлопот. «Каллиграфические труды» пришлось бы тогда считать просто упражнениями в чистописании (непонятно, впрочем, почему отец Леленьки беспокоится об его успехах именно в этом предмете). Передаваемые Пушкиным слова «сумасшедшего отца» — «не плачет ли мальчик и не тоскует ли о своих родных?» — на первый взгляд тоже не могут относиться к взрослому.

С другой стороны, ребенка поэт вряд ли отослал бы к своему брату, холостому и весьма бесшабашному человеку. Слова «он живет у князя Эристова» тоже не вяжутся с представлением о маленьком мальчике, который занимается чистописанием.

Я остановился подробнее на этих неясных местах пушкинских писем не потому, что у меня снова возникло сомнение относительно возраста Льва Александровича Нарского. Благодаря датированной акварели Соколова не приходится сомневаться в том, что спутник поэта был взрослым юношей. На этот раз память Вере Александровне не изменила.

Комментаторы писем поэта акварели, хранившейся в семье Нащокиных, однако, не знали. Им были известны лишь два противоречивых источника, но один из них — письма Пушкина — отстоял от его поездки из Петербурга в Москву всего на несколько дней, а другой — рассказ В. А. Нащокиной — на 65 лет. Установить, кого же именно поэт вез в Петербург в 1833 году, было трудно. Наиболее осторожные исследователи решили поэтому, что Леленьку следует полагать лицом неизвестным. Другие соглашались с тем, что он — шурин или племянник Павла Воиновича Нащокина, но «сумасшедшим отцом» считали загадочного Александра Нарского, отчество которого оставалось неизвестным.

Сейчас мы знаем, что отец Леленьки — Александр Петрович Нащокин, лицо далеко не безызвестное. Ознакомились мы и с двумя старческими письмами Александра Петровича к дочери — коротким и длинным. В коротком, по существу, ничего странного нет. Длинное продиктовано человеком, как уже было сказано, хотя и не потерявшим рассудок, но крайне неуравновешенным, болезненно самолюбивым и всюду видящим вражеские козни. По всей вероятности, и то его письмо к Пушкину, которое поэт назвал «сумасшедшим», было такого же рода.

На мой взгляд, и противоречие между воспоминаниями Веры Александровны и письмами Пушкина в отношении возраста Леленьки только кажущееся. Слова поэта о «каллиграфических трудах» и о том, не плачет ли «мальчик» от тоски по дому, как мне кажется, нельзя принимать за чистую монету. Пушкин ведь говорит не от себя. Он передает вопросы Александра Петровича Нащокина, нежно любившего своих внебрачных детей. Для него 16—17-летний юноша, вероятно уже начинавший самостоятельную жизнь, все еще казался ребенком, который и в самом деле мог всплакнуть, вспоминая о родном доме.

Раздел, посвященный Леленьке, я закончил, не получив еще метрической выписки о бракосочетании Павла Воиновича, и изложение оставлено в первоначальном виде. На мой взгляд, небезынтересно проследить, как постепенно выяснялся образ «неизвестного лица».

Сейчас пора сказать, что этот документ дает, наконец, кой-какие вполне надежные сведения о Льве Александровиче Нарском. 2 января 1834 года он в качестве «поручителя по женихе» (шафера) присутствовал на свадьбе сестры. Юноше

не могло быть меньше 16 лет. В метрической выписке он значится «отставным копиистом». Очевидно, в Петербурге он действительно очень короткое время (не больше двух месяцев) служил в каком-то учреждении в качестве переписчика казенных бумаг, но почему-то почти сразу оттуда ушел и вернулся в Москву.

Чем занимался в ближайшие годы Лев Александрович, мы не знаем. В нашем распоряжении имеется лишь акварельный портрет Соколова, созданный в 1836 году.

К тому же 1836 году относится мимолетное, но очень интересное упоминание о любимом брате Веры Александровны в письме П. В. Нащокина к Пушкину, посвященном К. П. Брюллову и посланном в десятых числах января. Сообщая об обеде по подписке, который московские артисты собираются дать знаменитому художнику, Павел Воинович прибавляет: «...хочется и мне в число артистов попасть, думаю, что буду — не так, как артист, но как шурин артиста, все равно, лишь бы быть!» (XVI, 75).

У Нащокина был только один взрослый шурин — Лев Нарский. Его брату Федору, будущему генералу, в это время не было еще десяти лет.

Итак, художник П. Ф. Соколов рисовал юного артиста, не знаем пока, какого театра — вероятно, драматического. Внешность у него очень сценическая... Больше ничего нельзя сейчас сказать о его судьбе.

Правда, еще одно упоминание — уже последнее — имеется в «Московском некрополе»: «Нарский Лев Александрович (Ваганьково)» [1].

Нарских, писавшихся «Нарской», как я уже упоминал, в этом томе «Некрополя» много, «Нарский» — только один. Почти наверное, это пушкинский Леленька. Даты, к сожалению, не указаны. Потомки его сестры этой могилы не знают. Вероятно, сейчас она не существует.

* * *

За долгие годы, отделяющие нас от того времени, когда на страницах русских изданий впервые появилось имя П. В. Нащокина, усилиями многих людей (писателей, мемуаристов, ученых) облик одного из ближайших друзей Пушкина раскрылся до мельчайших подробностей.

На бурной, исполненной взлетов и падений жизни Нащокина лежит отсвет сердечной привязанности к нему великого поэта. Судьбы Нащокина и его близких, любивших и

---

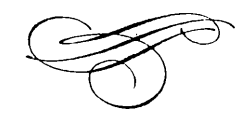
[1] Вел. кн. Николай Михайлович. Московский некрополь, т. II. К.—П. СПб., 1908, с. 312.

знавших Пушкина, история связанных с Пушкиным семейных реликвий не могут не интересовать нас, ибо они углубляют и расширяют наши представления о поэте, раскрывают новые грани в его творчестве.

П. В. Нащокин олицетворяет целый культурно-исторический пласт русской жизни. Это также делает интересной и важной для нас семейную хронику Нащокиных, с которой мне хотелось познакомить читателя настоящей книги.



ПРИМЕЧАНИЯ



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Акад.— А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1949.

Спр. том — Справочный том (XVII) *Акад.*, 1959.

Акад. в 10 т.— А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. М.—Л., Изд-во АН СССР; изд. 2-е, 1956—1958.

Аммосов — А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб., 1863.

Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений в 13-ти томах. М., 1953—1959 (АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом).

Воспоминания о Бродянах — А. М. Игумнова. Воспоминания о Бродянах. ИРЛИ, ф. 409, № 32.

Врем. ПК — Временник Пушкинской комиссии. 1963—1970 (АН СССР. Отделение литературы и языка. Пушкинская комиссия).

ГИАМО — Государственный Исторический архив Московской области.

Гоголь — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV, М.—Л., 1937—1952. (АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом).

Гослит в 10 т.— А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Под ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана. М., Гослитиздат, 1959—1962.

ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Дневник Фикельмон — Nina Kauchtschischwili, Il diario di Dar'ja Fëdorovna Ficquelmont (Нина Каухчишвили, Дневник Дарьи Федоровны Фикельмон), 1968.

Звенья — Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX веков. Под ред. Влад.

Бонч-Бруевича. М.—Л., «Academia» — Госкультпросветиздат, 1932—1951.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (Ленинград).

Карамзины — «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов». М.—Л., 1960 (АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом).

Лет. ГЛМ — Летописи Государственного литературного музея, кн. 1. Пушкин. Ред. М. А. Цявловского. М.—Л., Жургазобъединение, 1936.

Летопись — М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., 1951 (АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького).

Письма к Хитрово — Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., Изд-во АН СССР, 1927 (Труды Пушкинского дома), вып. XL, т. 8.

Письмо Фризенгофа — «Письмо барона Густава Фризенгофа, женатого на Александре Николаевне Гончаровой». ИРЛИ, собрание А. Ф. Онегина, 13892. ССП б. 13.

Рассказы о Пушкине — «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1850—1860 годах». Вступ. статья и прим. М. Цявловского, М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1925.

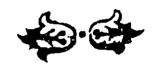
Сони — Comte F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont à la comtesse Tisenhausen (Граф Ф. де Сони. Письма графа и графини Фикельмон к графине Тизенгаузен). Paris, 1911.

Флоровский. Дневник Фикельмон — Antonij Vasilieviç Florovskij. Дневник графини Д. Ф. Фикельмон. Из материалов по истории русского общества тридцатых годов XIX века «Wiener slavistisches Jahrbuch», Graz-Köln, 1959, B. VII, c. 49—99.

Флоровский. Пушкин на страницах дневника — А. Ф. Флоровский. Пушкин на страницах дневника графини Д. Ф. Фикельмон. «Slavia», Praha, 1959, ročn XXVIII, Ses 4, c. 559—578.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

Щеголев — П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928.





ПОРТРЕТЫ ЗАГОВОРИЛИ

В 1965 году в Алма-Ате вышла моя книга «Если заговорят портреты». Она явилась как бы предварительным сообщением о моих пушкиноведческих поисках и находках в дореволюционной Чехословакии.

За истекшие годы я получил возможность ознакомиться с большим количеством новых материалов и произвести некоторые архивные изыскания. Ряд ленинградских и московских пушкинистов поделились со мной своими знаниями и опытом. Благодаря их содействию я смог исправить неточности, допущенные мной.

В особенности я обязан постоянной помощи, критическим замечаниям и вниманию, с которым в течение ряда лет относились к моей работе члены Пушкинской комиссии АН СССР Николай Васильевич Измайлов (Ленинград) и Татьяна Григорьевна Цявловская (Москва). Из моих зарубежных благожелателей особенно много сделали для меня исследовательница литературных русско-итальянских отношений Н. М. Каухчишвили (Милан), чехословацкий литературовед и историк Сильвия Островская (Прага) и А. М. Игумнова (Братислава). Я не имею, к сожалению, возможности перечислить здесь всех моих многочисленных отечественных и иностранных корреспондентов, которые помогли мне составить книгу, предлагаемую теперь вниманию читателя.

Настоящая книга не является еще одним изданием «Если заговорят портреты», хотя в нее наряду с новыми вошли и многие материалы, опубликованные мною в 1965 году.

Интерес к творчеству и личности Пушкина не ослабевает. Очень возросло внимание читателей и к личности Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской, сведения о которой до недавнего времени были очень неполными и носили весьма пристрастный характер. После выхода в свет книги И. Ободовской и М. Дементьева «Вокруг Пушкина» (М., 1975) потребность в новых материалах о Наталье Николаевне, на мой взгляд, можно считать в значительной мере удовлетворенной. Новые материалы, несомненно, будут обнаруживаться и дальше*, но тот искаженный образ жены поэта,

* Вновь найденные материалы всегда значительно уточняют наши выводы. Так, например, недавно выяснилось, что казавшееся долгое время весьма убедительным заключение судебного эксперта, будто бы уличившее князя Долгорукова в составлении рокового диплома, является не бесспорным.

который укоренился в нашем сознании с отроческих лет, надо считать навсегда изжитым.

Письма Натальи Николаевны и ее сестер к брату Дмитрию, обнаруженные путем многолетних поисков исследователей, писавшиеся в то время, когда все три сестры жили одной семьей с Пушкиным, дают возможность увидеть живую картину жизни этой семьи, а также почувствовать характеры всех трех*. Можно пожалеть, что ни одна из сестер в письмах к брату почти ничего не сообщали о Пушкине. Нельзя, конечно, не сожалеть, что до сих пор остаются для нас неизвестными письма Н. Н. Пушкиной к Пушкину, за исключением небольшого добавления к письму Н. И. Гончаровой Пушкину от 14 мая 1834 года. Быть может, время преподнесет нам этот подарок.

Что касается работ Анны Ахматовой, опубликованных после ее смерти и, несомненно, не доведенных знаменитой поэтессой до желательной завершенности, я остановлюсь лишь на отдельных ее положениях, так как полемика с покойным автором, во всяком случае, воздержавшимся от опубликования своих соображений, не представляется мне этически правильной.

Настоящее издание книги, в основном повторяющее «Портреты заговорили» (Алма-Ата, 1976), рассчитано на широкого читателя, интересующегося Пушкиным и его окружением.

ВВЕДЕНИЕ

(Стр. 9)

Стр. 12. *...великого князя Михаила Михайловича.*— Н. Лернер (Зарубежное потомство Пушкина. «Столица и усадьба», 1916, № 67, с. 18) пишет: «Водились Пушкины с царями»,— сказал он (Пушкин.— *Н. Р.*) о некоторых своих предках, но ему и не снилось, что его потомки не только будут «водиться» с представителями царственных династий, но войдут с ними в более близкие, семейные связи, что его родной внук выступит когда-нибудь в качестве законного претендента на один из европейских престолов».

Не мог, конечно, и Николай I предполагать, что его внук женится на внучке поэта, а внучка, дочь Александра II, светлейшая княжна Ольга Александровна Юрьевская, выйдет замуж за внука Пушкина, графа Георга Николая Меренберга. Последний лет за десять до первой мировой войны выступил претендентом на трон великого герцогства Люксембургского, но парламент отверг его кандидатуру, так как мать графа, Наталья Алек-

* Читая письма сестер Гончаровых и Н. Н. Пушкиной в период 1835—1837 гг., нельзя не обратить внимание на несоответствие их содержания тому, что происходило в их жизни в это время. Они полны житейских, по преимуществу светских мелочей, постоянных жалоб на материальные затруднения, а надвигающуюся трагедию в семье Пушкина, в которой они сами принимают непосредственное участие, оставляют в стороне. Приходится предположить, что либо они сами не понимали того, что происходило на их глазах и при их участии, либо не были откровенны даже с любимым братом.

сандровна Пушкина, не принадлежала к владетельному роду. По словам Н. Лернера, «внуку царя русской поэзии не пришлось взойти на трон», по-видимому, в связи с вмешательством германского императора Вильгельма II, соответствующим образом повлиявшего на парламентариев маленького государства.

Породнились потомки поэта и с английской королевской семьей — правнучка Пушкина графиня Нада Торби (Надежда Михайловна) вышла замуж за младшего члена этой династии принца Альберта Баттенбергского.

Приходится, однако, пожалеть о том, что потомки Натальи Александровны принадлежат к семействам, архивы которых чрезвычайно труднодоступны, а в них, быть может, хранятся документы, которые пушкинисты тщетно разыскивают десятками лет. Имеется, например, указание на то, что у графини С. Н. Торби, помимо писем Пушкина к невесте, будто бы хранился «пакет с какими-то документами, относящимися к дуэли» («Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М.—Л., 1966, с. 627).

В ЗАМКЕ БРОДЯНЫ

(Стр. 13)

Стр. 15. *...она герцогиня.*— Бывший учитель детей Н. Г. Ольденбургской Пауль Геннрих говорит о своей книге «Erinnerungen aus meinem Leben» («Воспоминания из моей жизни»), что власти великого герцогства Ольденбургского не только не признавали за Натальей Густавовной права на герцогский титул, а за ее детьми права на титул принцев, но неоднократно, хотя и безуспешно, пытались добиться дипломатическим путем соответствующего запрещения и в Австро-Венгрии, куда герцог переселился после женитьбы.

Стр. 17. *...где Александра Николаевна прожила около сорока лет...*— Впоследствии выяснилось, что после отъезда из России супруги Фризенгоф, по крайней мере некоторое время, постоянно жили в Вене, а после замужества дочери — в замке Эрлаа близ австрийской столицы. Бродяны при жизни барона Фризенгофа являлись летней резиденцией.

Стр. 18. *На пропитание Наталья Ивановна получает изрядные суммы...*— В 1826 году ей было выдано 30 тысяч руб. (ассигнациями), детям на их особые расходы — 1200 руб. и на покупку провизии в доме Натальи Ивановны — 2160 руб., а всего 33 360 руб. (*Лет. ГЛМ*, с. 400).

По архивным данным, опубликованным М. Яшиным, «...Наталья Ивановна получала ежегодно от Афанасия Николаевича по 40 000 рублей» (М. Яшин. Пушкин и Гончаровы.— «Звезда», 1964, № 8, с. 171—172).

В 1823 году Н. И. Гончарова наследовала значительную часть Ярополъца — богатого, но обремененного долгами имения ее отца Ивана Александровича Загряжского. На ее долю пришлось 1396 душ крестьян, приписанных к этому имению.

Стр. 19. *...духовно содержательная и культурная девушка.*— То же впечатление создается при чтении писем Александры Николаевны, опубли-

кованных М. Яшиным («Пушкин и Гончаровы» — «Звезда», 1964, № 8, с. 182—189).

Но в этих более поздних письмах у 24-летней девушки, которой упорно не удается устроить свою судьбу, уже чувствуется большая и глубокая горечь. В июле 1835 года в письме к своему обычному корреспонденту, брату Дмитрию, любительница лошадей и отважная наездница говорит о себе в довольно неожиданном плане: «Одна моя Ласточка умна, за то прошу и беречь, не то избави боже. Никакой свадьбы. Пусть она следует примеру своей хозяйки. А что? Пора, пора! а пора прошла, того и гляди поседеешь». В начале сентября того же года: «Знаешь ли ты — я не удивлюсь, если однажды потеряю рассудок. Не можешь себе представить, как я чувствую себя изменившейся, скисшей, невыносимого характера. Право, я извожу людей, которые меня окружают; бывают дни, когда я могу не произнести ни одного слова, и тогда я счастлива. Надо, чтоб меня никто не трогал, со мной не говорили, не смотрели на меня — и я довольна». Нельзя не заметить, что эта жестокая самохарактеристика в точности совпадает с тем, что говорит в своих воспоминаниях о невыносимом характере тетки ее племянница А. П. Арапова. В этом отношении последней приходится полностью верить. Возможно, что у Александры Николаевны проявлялась тяжелая наследственность со стороны психически больного отца. Похоже и на то, что ее слова о возможности потерять рассудок — не риторическая форма. В своем письме она весьма точно описывает симптомы, с которыми в наше время больных направляют к врачу-специалисту.

У дочери А. Н. Гончаровой-Фризенгоф, судя по рассказу А. М. Игумновой, также проявлялась наследственная психическая неуравновешенность и странности поведения: «Наталья Густавовна была в молодости очень эксцентрична, и у нее чередовались периоды уныния и сильного возбуждения. В 19 лет она горевала, что не родилась мужчиной» *(Воспоминания о Бродянах,* с. 4).

«Фредерика (дочь Н. Г. Ольденбургской) очень страдала от эксцентричности своей матери, которая всюду бросалась в глаза, так как ходила в невероятных платьях и таскала с собой целое стадо собак» (с. 5).

Стр. 21. *...получила фамилию граф фон Вельсбург.*— По словам Пауля Геннриха, когда герцог Элимар скончался, его вдова «после длительных и неприятных переговоров решилась наконец принять для своих детей предложенное ей из Ольденбурга имя графа и графини фон Вельсбург (по названию одного из замков Ольденбургского дома), для того, чтобы сделать возможной для принца жизнь в Германии. Сама она сохранила за собой имя и титул герцогини Ольденбургской».

Стр. 24. *...хранится целый ряд бумаг, полученных из Бродян.*— В описи архива Фризенгофов *(ИРЛИ)* значатся между прочими следующие документы:

5. Фогель фон Фризенгоф, барон, Густав-Виктор и баронесса Александра Николаевна (урожденная Гончарова).

Стихотворения, написанные ими (для внучки) и другие записи; на французском и немецком языках. 7 листов.

9. Фогель фон Фризенгоф, барон, Густав-Виктор и баронесса Александра Николаевна (урожденная Гончарова).

Письма их (50) к дочери — баронессе Наталии Густавовне (в замужестве герцогине Ольденбургской); на французском языке, 1861—1876.

В опись, заключающую 26 номеров, включены 67 писем барона Густава к невесте, впоследствии жене, баронессе Александре Николаевне Фогель фон Фризенгоф, письмо Александры Николаевны (к свояку барону Адольфу Фризенгофу?) и черновые письма (6) супругов Фризенгоф к Ивану Николаевичу Гончарову.

По-видимому, документы, перечисленные в описи, были в свое время кем-то (скорее всего Натальей Густавовной) подобраны по определенному плану. Обращает на себя внимание полное отсутствие каких-либо писем герцогини. Интересно упоминание о стихотворениях (очевидно, французских) Александры Николаевны. Об ее поэтических опытах до сих пор ничего не было известно. Судя по дате написания (1882 год) сочинительнице в это время был уже 71 год. Внучка Фреда, к которой обращены стихи, согласно воспоминаниям Геннриха, родилась в 1877 году.

Уцелевшая часть архива Фризенгофа до настоящего времени остается неизученной за исключением писем барона Густава к брату, многочисленные выдержки из которых опубликовал в словацком переводе А. И. Исаченко. Русский перевод некоторых из них приведен в моей статье «В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой» («Пушкин. Исследования и материалы», т. IV. М.—Л., 1962, с. 391—392).

Стр. 25. *...изучавшая Канта и Шопенгауэра.*— Пауль Геннрих упоминает о том, что с конца 1889 года герцогиня регулярно читала с ним час в день «Критику чистого разума» Канта и «Мир, как воля и представление» Шопенгауэра.

Стр. 26. *...портретов Строгановой известно очень мало.*— Как сообщила мне Т. Г. Цявловская, ею отмечены следующие портреты графини Ю. П. Строгановой: 1. Литография Андерсона и Смирнова с портрета Штейбека («Столица и усадьба», 1917, № 76); 2. Миниатюра работы Жана Урбана Герена (Jean Urban Guérin) — Эрмитаж; 3. Миниатюра Изабе (Jean Baptiste Izabey), исполненная в 1818 году. (Она воспроизведена в издании вел. кн. Николая Михайловича «Русские портреты XVIII и XIX столетий», т. V, выпуск 2. 1909, табл. XXXI, текст — № 175.)

В русских источниках (кроме этого издания) о графине Юлии Павловне Строгановой (1782—1864) имеются только отрывочные сведения. Обычно отмечается лишь ее национальность и присутствие Строгановой в квартире Пушкина, когда он умирал. Между тем графиня, несмотря на огромную разницу в возрасте (тридцать лет), несомненно, была близкой приятельницей Натальи Николаевны. Ее муж, Григорий Александрович (1770—1857) приходился к тому же сестрам Гончаровым двоюродным дядей. Дочь Строгановых, Идалия Григорьевна Полетика, по-видимому, сыграла роковую роль в дуэльной истории, предоставив свою квартиру для свидания Натальи Николаевны с Дантесом.

Наличие в бродянском альбоме портрета и автографа графини Юлии среди рисунков 1852 года показывает, что она бывала в семье Ланских и через пятнадцать лет после смерти поэта.

Надо сказать, что и в весьма преклонном возрасте она казалась гораздо моложе своих лет и соответствующим образом одевалась. Об этом свидетельствует и портрет работы Н. П. Ланского в альбоме Александры Николаевны. Я считал, что на нем изображена женщина лет пятидесяти с небольшим, а в действительности ей в это время было уже семьдесят.

В известной мне отечественной литературе не оказалось никаких сведений о зарубежных родственниках Строгановой. Указываются лишь фамилии отца (обычно неверно) и первого мужа.

Я нашел интересовавшие меня данные в португальской иллюстрированной энциклопедии («Encyclopedia portuguesa illustrata»), имевшейся в Пражской Национальной библиотеке, и отчасти в испанской, названия которой, к сожалению, я не отметил.

Отец Строгановой, граф Карл Август (Carlos Augusto) Ойенгаузен родился в 1738 году и был убит в Лиссабоне в 1793. Он принадлежал к древнему вестфальскому роду, состоял на службе сначала в Англии, потом у ландграфа Гессенского, наконец в 1776 году обосновался в Португалии. Там он, перейдя в католичество, женился на Леоноре д'Альмейда да Лорена и Ленкастре маркизе д'Алорна (1750—1839). Длинный титул невесты после свадьбы обогатился германскими титулами мужа.

Для нас мать Строгановой (неизвестно почему, законная дочь графа Карла-Августа именовалась в России Юлией Павловной; в «Русских портретах» она названа Юлией Петровной) — для нас мать графини интересна в том отношении, что она была видной португальской поэтессой, писавшей под псевдонимом Alcippe. Сочинения маркизы Леоноры д'Алорна (в энциклопедиях она значится под этим именем, хотя стала его носить только после смерти маркиза дона Педро д'Алорна) составляют шесть томов. Среди них много переводов с английского, немецкого и латинского.

Престарелая маркиза пережила Пушкина на два года. Очень вероятно, что Юлия Павловна Строганова писала матери-поэтессе о своем знакомстве с великим русским поэтом и его последних днях. Зарубежным пушкинистам следовало бы поискать архив Леоноры д'Алорна, который, как мне совсем недавно стало известно, сохранился.

Португальская энциклопедия упоминает и о том, что в прелестную дочь маркизы влюбился в 1807 году наполеоновский генерал Жюно и «она, как кажется, не осталась равнодушной к его любви». В другой статье той же энциклопедии говорится определеннее — влюбленная графиня «оказалась в руках первого адъютанта Наполеона». Возлюбленной тридцатишестилетнего генерала (он родился в 1771 году) в это время было не шестнадцать лет, как указывается в некоторых источниках, а двадцать пять.

Короткий роман с Жюно не помешал ей вскоре выйти замуж за камергера королевы Марии I, графа д'Ега (избавлю читателя от перечисления его имен и титулов). Брак этот оказался непрочным. Графиня оставила мужа и стала подругой русского посла в Испании, в это время знаменитого красавца, барона (с 1826 года — графа) Григория Александровича Строганова, об успехах которого у женщин Байрон упоминает в «Дон Жуане». В 1824 году умерли и первая жена Строганова, и граф д'Ега. Фактические супруги, очень любившие друг друга, обвенчались в 1826 году.

Дочь Строгановых, Идалия Григорьевна, вышедшая впоследствии замуж за офицера кавалергардского полка Александра Михайловича Полетику (1800—1854), родилась, во всяком случае, до брака родителей и почему-то носила девичью фамилию д'Обертей.

В год смерти Пушкина Строгановой было пятьдесят пять лет. По-видимому, и за границей и в России ходили слухи о том, что в период связи с генералом Жюно она имела отношение к шпионажу. По крайней мере, в дневнике А. И. Тургенева ее фамилия упомянута в таком контексте: «Жук[овский] о шпионах, о гр. Юлии Строг[ановой]...» (*Щеголев*, с. 299). Сомнительное прошлое графини не помешало ей принимать на своих балах лиц императорской фамилии, а в 1862 году получить звание статс-дамы.

Стр. 28. *Поэт здесь решительно ни при чем.*— Было высказано совершенно справедливое замечание о том, что вынужденное молчание еще не означает забвения.

Думаю все же, что в конце долгой жизни Александры Николаевны Пушкин хоть и не был ею забыт,— этого случиться не могло,— но все же стал лишь потускневшим воспоминанием далекой молодости. Быть может, найдутся, однако, новые материалы, которые докажут ошибочность моего предположения.

...производит впечатление вдумчивого, корректного человека.— Летом 1841 года вдова Пушкина, жившая тогда вместе с сестрой и детьми в Михайловском, пишет брату Дмитрию о приехавшем туда же бароне Густаве и его первой жене Наталье Ивановне: «Фризенгофы тоже очаровательны. Муж — молодой человек (ему было тридцать четыре года.— *Н. Р.*), очень остроумный» (М. Яшин. Семья Пушкина в Михайловском.— «Нева», 1967, № 7, с. 179).

Интересные сведения о Фризенгофе сообщает в статье «Владелец Бродян и Словацкая Матица» писательница Вера Пановова (Dr. Viera Panovová. Majitel' Brodzian a Matica Slovenská. «Svet socialismu», 1968, № 5), изучавшая старинные словацкие журналы шестидесятых — начала семидесятых годов. Оказывается, что барон Фризенгоф состоял тогда действительным членом словацкой «Матицы» — общества, целью которого являлось развитие национальной культуры. В деятельности общества владелец бродянского замка принимал большое участие, причем напечатал ряд статей по народному хозяйству. В одном из словацких журналов было помещено в 1863 году стихотворение, посвященное «просвещенному господину Густаву Фризенгофу, помещику, первому выдающемуся словацкому деятелю (prvému velikásovi slovenskému)».

Симпатии к словацкому народу не ограничивались, как видно, в Бродянах участием знатных дам и барышень в танцах с селянами и ношением в торжественных случаях национальных костюмов.

Стр. 30. *...кое-что из бродянских портретов и бумаг находится в Пушкинском доме и Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде.*— О материалах, хранящихся в рукописном отделении *ИРЛИ* (Пушкинского дома), см. комментарий к с. 26. Во Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде через делегацию чехословацких писателей и журналистов было передано в 1947 году несколько портретов из Бродян, в том числе упоминаемые

в этой книге портреты Александры Николаевны в молодости и первой жены Густава Фризенгофа, Натальи Ивановны, урожденной Ивановой, а также литография с большого портрета Ксавье де Местра, находившегося в Бродянах. Кроме того, в Музей поступили тогда же два альбома — один со снимками, сделанными в Бродянах, другой с фотографическими карточками бродянских и венских знакомых Александры Николаевны 50—60-х годов.

Стр. 33. ...*немало противоречивых и неверных сведений.*— А. П. Арапова излагает весьма романтическую историю женитьбы Ксавье де Местра (Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1907, № 11409, 15 декабря, с. 6). По уверению автора, де Местр, будучи офицером наполеоновской армии, во время Отечественной войны 1812 года попал в плен к русским и в состоянии крайнего истощения был доставлен в дом Гончаровых. Там его выходили, причем «мало-помалу, отстраняя других, София Ивановна завладела правом исключительного ухода за больным, поддаваясь все сильнее обаянию его, на самом деле, выдающейся личности». Когда пленный выздоровел, он сделал предложение Софии Ивановне, и она с радостью его приняла.

Все это повествование от начала до конца неверно. Ксавье де Местр никогда не служил в армии Наполеона, к которому относился враждебно. В 1812 году, будучи полковником русской службы, состоял при императорской Главной Квартире. Предложение фрейлине С. И. Загряжской он сделал еще перед началом войны.

Стр. 35. ...*первой жены Густава Фризенгофа, Натальи Ивановны, урожденной Ивановой.*— В своей работе «Пушкиниана в Словакии» («Puskiniana na Slovensku». «Slovanské Pohl'ady», 1947, № 1, с. 1—16) А. В. Исаченко приводит немецкий текст акта о бракосочетании Н. И. Ивановой и русского (в словацкой транскрипции) свидетельства об ее смерти.

Свадьба состоялась 17 апреля 1836 года в Риме. Жених, барон Густав Фризенгоф, состоял в это время атташе австрийского посольства в Неаполе. Невеста — «девица Наталия Ивановна, родившаяся в Тамбове в России, дочь ныне покойного господина Иоанна Иванова и приемная дочь госпожи графини де Местр, православного вероисповедания...»

«Господин Иоанн Иванов», по-видимому, был крестным отцом внебрачной дочери Ксавье де Местра. Даты рождения брачующихся в акте не указаны.

Баронесса Наталия Ивановна Фогель фон Фризенгоф, «урожденная Загряжская (так!) волею божию помре октября двенадцатого дня тысяча восемьсот пятидесятого года и погребена того же года и месяца семнадцатого числа в Александро-Невской Лавре».

Стр. 36. ...*две стареющие женщины — генеральша Ланская и ее сестра.*— А. М. Игумнова сообщает, что «Наталья Густавовна хорошо помнила Наталью Николаевну, которая несколько раз приезжала в Бродяны, уже будучи за Ланским. В последний раз она была в Бродянах в 1862 году, а в 1863 она скончалась» (*Воспоминания о Бродянах,* с. 4).

Дат предыдущих приездов Н. Н. Ланской мы не знаем. Об ее пребывании в Бродянах в 1862 году некоторые подробности сообщает А. П. Арапова (Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1908, № 11446, 23 января, с. 6).

Здоровье Натальи Николаевны в 1860 году настолько ухудшилось, что весной 1861 врачи признали необходимым отъезд за границу для продолжительного лечения. Лето больная провела на немецких курортах, осень в Женеве, а зиму в Ницце. Следующее лето Наталья Николаевна вместе с дочерьми Ланскими прогостила «в Венгрии, у тетушки Фризенгоф» (словацкое название деревни Brodziany или тогдашнее венгерское Broggyan в воспоминаниях Араповой не упоминается). Туда же приехала младшая дочь Натальи Николаевны и Пушкина Наталья Александровна Дубельт, с двумя старшими детьми, которая рассталась с мужем и получила уже его согласие на развод. Однако Михаил Леонтьевич Дубельт, переменив свое решение, явился в Бродяны и, по словам Араповой, «дал полную волю необузданному, бешеному характеру». В конце концов барон Фризенгоф предложил ему покинуть имение.

Лето для больной Натальи Николаевны из-за домашних сцен и тревог за судьбу дочери, оставшейся без всяких средств, было совершенно испорчено. Результаты лечения сошли на нет.

Осенью приехавший из Петербурга П. П. Ланской снова увез жену и детей в Ниццу. Там Наталья Николаевна провела хорошую зиму, но в мае 1863 года, несмотря на предостережения врачей, настояла на возвращении в Россию. Через полгода ее не стало.

Прах Н. Н. Пушкиной-Ланской покоится на кладбище Александро-Невской Лавры под скромным надгробием из черного мрамора. В той же могиле похоронен и генерал Петр Петрович Ланской, скончавшийся в 1877 году.

...Или его убрали на время перед приездом Ланской? — Мы не знаем, когда портрет Дантеса-Геккерна, рисованный в 1844 году, появился в Бродянах. Вряд ли, однако, можно предположить, чтобы он прислал его свояченице лишь после смерти Натальи Николаевны, то есть девятнадцать лет спустя.

Стр. 37. *Скромная резиденция небогатых помещиков.*— По словам Пауля Геннриха, благосостояние владелицы Бродян было сильно подорвано первой мировой войной и аграрной реформой, предпринятой в Чехословакии. Деньги, вырученные от продажи замка Эрлаа и помещенные в одном из венских банков, были совершенно обесценены во время инфляции. Лучшие земли пришлось уступить крестьянам. «Лишь с трудом удавалось предотвратить полное банкротство, отчасти путем продажи ценных вещей из богатой коллекции драгоценностей герцогини. В общем, мое последнее пребывание (в 1933 году) было печальной противоположностью богатой и веселой жизни, которая протекала раньше в Бродянах».

Стр. 39. *...в последние свои годы ставшая очень чудаковатой.*— Наклонность к чудачествам проявилась в старости, как уже было сказано, и у герцогини Натальи. Очень ее уважающий Пауль Геннрих рассказывает все же о ряде странностей хозяйки бродянского замка. Она находила его, например, слишком душным и построила себе на горе, над часовней, род стеклянной башни, где ночевала в полном одиночестве, но под охраной целой своры крупных собак. Одна из них однажды жестоко искусала самого Геннриха; спустя три года собаки напали на секретаря герцогини и нанесли такие тяжелые ранения, что Наталье Густавовне пришлось, по приговору

суда, платить пострадавшему пожизненно ежемесячное пособие. После ее смерти наследники немедленно освободились от опасных животных, но прекрасно ухоженное собачье кладбище близ семейной усыпальницы я видел. На мраморных плитах, обсаженных цветущим барвинком, выведены золотыми буквами клички любимиц герцогини...

Мать графини Вельсбург рассказала мне, что горничной приходилось порой зимой носить в темноте по глубокому снегу постельные принадлежности в башню. Прибавила при этом неодобрительно: «Знаете, у нас в Германии так с прислугой не обращаются...» — Я ответил, что и в России на моей памяти это было не принято. Про себя подумал, что к просвещенной и доброй европейской женщине все же, кажется, перешли от матери кой-какие крепостные навыки. Похоже на то, что здесь, в Бродянах, совсем недавно попахивало Россией Николая I...

Стр. 42. *...иногда любила надеть в Бродянах словацкий народный костюм.*— П. Геннрих рассказывает, что летними вечерами перед замком нередко играл оркестр цыган, приходивших из соседней деревни. Собиралась крестьянская молодежь в национальных костюмах, и начинались танцы, в которых принимали участие и обитатели замка. «На танцы по случаю праздника жатвы герцогиня, принцесса Фреда и молодые гости, жившие в Бродянах, надевали словацкие костюмы. В торжественной процессии (жнецы) приносили последний сноп; старший рабочий и старшая работница подносили его герцогине с традиционным приветствием, на которое она умела ответить по-словацки. А вечером перед замком при свете факелов начинались веселые танцы под цыганский оркестр, в которых мы также принимали участие до глубокой ночи. Вина и сливовицы тоже бывало достаточно...»

Этот праздник жатвы («dožinky» по-чешски) был древним славянским обычаем, сохранившимся до наших дней. В 1935 году я сам участвовал в «дожинках», будучи гостем в одном из замков Северной Чехии. Их, конечно, устраивали в Бродянах и в первые годы пребывания там Александры Николаевны, когда ей было сорок с небольшим лет. В Бродянах я видел группу, снятую в Вене в начале шестидесятых годов, где Александра Николаевна одета в костюм австрийской крестьянки. На снимке из бродянского альбома, который хранится теперь в фондах Всесоюзного музея А. С. Пушкина, на ней словацкий костюм (возможно, впрочем, что это сцена из домашнего спектакля).

...свою Наталью она даже читать по-русски не выучила...— Поскольку позволило время, я просмотрел «русский шкап» бродянской библиотеки довольно подробно, но в записной книжке отметил, к сожалению, кроме «Посмертного издания» произведений Пушкина, лишь очень немного книг: 1. Учебники сороковых годов, 2. Рассказы А. О. Ишимовой (несколько сборников), 3. Альбом видов Петербурга, 4. Поваренную книгу издания 1848 года (в последнюю был вложен русский рецепт пасхального кулича). Имелся, кроме того, переплетенный комплект немецкого журнала (насколько помню, «Gartenlaube») с переводом известного письма В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину о смерти поэта (в России оно было впервые опубликовано в «Современнике», том пятый, СПб., 1837, с. I—XVIII).

Для Натальи Фризенгоф, будущей герцогини Ольденбургской, родившейся в 1854 году, учебный возраст наступил в начале шестидесятых

годов. Учебники сороковых годов и рассказы Ишимовой, несомненно, предназначались не для нее. По всей вероятности, они были приобретены первой женой барона Густава, Натальей Ивановной, для их сына Григория (Grégoire), родившегося в России в 1840 году. Мальчик пробыл в Петербурге до 1844 года, когда отец был отозван в Австрию. В 1850 году барон Густав снова получил назначение в русскую столицу, вскоре похоронил здесь жену и в 1852 году, женившись на Александре Николаевне, окончательно покинул Россию. Сыну было в это время двенадцать лет. Он прожил на родине матери, в общем, шесть лет, в детстве, несомненно, умел говорить по-русски, и, вероятно, кроме иностранных, у него были и русские учителя.

Впоследствии Григорию Фризенгофу принадлежало маленькое имение Красно (Krasno) в 4 км от Бродян. В 1938 году Георг Вельсбург сообщил мне, что в это время им владели потомки старшего брата Густава Фризенгофа, барона Фридриха Адольфа (1798—1853). В их доме также имелись какие-то «русские портреты».

Стр. 43. *...большинства портретов и миниатюр.*— Нет также сведений о судьбе большого альбома с интересной коллекцией наклеенных визитных карточек, который мне показали в Бродянах. Помимо многочисленных карточек людей «большого света», которых знал Пушкин, там имелись карточки некоторых писателей, в том числе Жуковского. Была также русская карточка Сергея Львовича Пушкина, на которой я, по просьбе хозяев замка, сделал соответствующую французскую надпись, так как русской азбуки в бывшем замке Александры Николаевны никто не знал.

Коллекция, по всей вероятности, составлена Густавом Фризенгофом во время первого периода его службы в Петербурге (1839—1844).

ФИКЕЛЬМОНЫ

(Стр. 52)

Стр. 52. *...в известной мне литературе не было.*— Впоследствии выяснилось, что «в 1913 году были опубликованы в печати оставшиеся неизвестными русским пушкинистам указания на архив Фикельмонов в известном сборнике описаний ряда немецких и чешских архивов. В этом очень суммарном описании бумаг графа Фикельмона, сохранившихся в Теплице-Шанове в северо-западной Чехии в замке князей Кляри-и-Альдринген, не были отмечены личные бумаги супругов Фикельмон. Поиски в Теплице могли, конечно, разъяснить дело» *(Флоровский. Дневник Фикельмон, с. 50).*

Стр. 54. *Старческая бледная лирика (Вяземскому семьдесят один год)...*— Приведу все же несколько стихов из этого notturno, можно думать, навеянного воспоминаниями о недавно умершей графине Фикельмон:

И младая догаресса,
Светлый образ прежних дней,
Под защитою навеса
Черной гондолы своей,
Молча ловит шепот стройный
Ночи неги и мечты,
Ночи яркой и спокойной,
Как царица красоты.

(П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. XII, с. 34).

Стр. 56. *Чешская исследовательница Сильвия Островская* (Sylvie Ostrovská)...— В письме от 29 января 1968 она приводит следующие сведения: «Что касается отца Дарьи — графа Фердинанда — предполагаю, что он схоронен у Вас на Родине. Несколько лет тому назад, когда еще работала в Городском музее, нашла в одном старом журнале из конца прошлого века странную статью о смерти графа Тизенгаузена в деревне близко от Славкова, кресте, там воздвигнутом, и отвозе тела. Попытаюсь этот журнал отыскать, не помню, это был «Svetozor» или «Zlatá Praha».

После опубликования моей книги «Портреты заговорили» моей корреспондентке удалось разыскать упоминаемый ею журнал. Вот что она пишет в письме от 4 августа 1977 года.

«Итак — журнал «Svetozor», 1884 года. Статья Яна Гардена. Название его воспоминаний «Памятники минувшего» (вольный перевод). Автор дает полное описание страшной ночи после сражения и рассказывает о судьбе раненых русских офицеров. Автор статьи сообщает отдельные подробности о смерти графа Фердинанда, который в сражении под Аустерлицем был смертельно ранен и перевезен в деревню Силничка (Штрасендорф). Деревня существует до сих пор и является частью небольшого, но интересного городка Жарошице в южной Моравии. Раненого поместили в доме кузнеца Антонина Хмеля, его жена за ним ухаживала. Между четырьмя и пятью часами ночи на 10 декабря Тизенгаузен скончался.

Слуга покойного вырыл могилу и, к удивлению местных жителей, наполнил ее соломой прежде, чем туда положили покойного. Спустя несколько недель за телом приехали посланцы из России. Гарден помнит офицера в орденах, который выразил благодарность кузнецу и обещал ему пенсию».

Сильвия Островская высказывает предположение о том, что одна из дочерей Кутузова, бывшая замужем за сенатором Толстым, возможно, сохранила в качестве семейного предания сведения о героической смерти своего родственника Фердинанда Тизенгаузена и что, таким образом, Лев Николаевич Толстой мог почерпнуть данные о смерти адъютанта и зятя Кутузова не только из книги Михайловского-Данилевского, но и из семейного предания.

...создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея.— Военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, описывая сражение на Праценских высотах, куда Наполеон направил главный удар, говорит: «Громады французов валили на высоте с разных сторон. Кутузов понесся вперед и был ранен в щеку. <...> Любимый зять Кутузова, флигель-адъютант граф Тизенгаузен со знаменем в руках повел вперед один расстроенный батальон и пал, пронзенный насквозь пулею» (М и х а й л о в с к и й-Д а н и л е в с к и й. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844, с. 183—184).

К. Покровский в статье «Источники романа «Война и мир» («Война и мир». Сборник под ред. В. П. Обнинского и Т. П. Полнера. М., 1912, с. 117—118) впервые включил отрывок в материалы, использованные Толстым.

Стр. 63. *На будущей карьере <...> не отразилось.*— Можно все же думать, что из лейб-гвардии Преображенского полка поручик Хитрово был пе-

реведен в гусарский (судя по малой культурности офицеров,— один из армейских) не по собственному желанию.

Стр. 65. *...переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными.*— При отъезде в 1823 году Е. М. Хитрово с дочерьми из Петербурга в ее штате упоминается «камер-юнгфера» (горничная) Елизавета Воронина, российская подданная» («Санкт-петербургские ведомости», 1823, № 71, вторник, 4 сентября. «Отъезжающие»). Неизвестно, однако, служила ли она раньше (за границей) в семье Хитрово.

Стр. 71. *...побывала с дочерьми в Неаполе.*— По всей вероятности, к этому времени относится очень резкий отзыв приятеля Пушкина кн. Д. И. Долгорукова о попытках Елизаветы Михайловны поскорее устроить судьбу обеих дочерей. 6 октября (год не указан) он пишет брату из Италии: «Г-жа Хитрово имеет вид серого <...> торгаша, который ездит по всем ярмаркам, чтобы за хорошую цену продать свой товар, который заключается в двух прелестных дочерях» («Русский архив», 1915, кн. I, с. 72).

Стр. 72. *...прусского короля Фридриха-Вильгельма III.*— В 1825 году молодая чешская графиня Сидония (по-чешски Здена) Хотек писала во Францию баронессе Монте, приятельнице своей тетки Терезы Хотек: «Вы, конечно, давно знаете о женитьбе прусского короля на M-lle Гаррах <...>. Уже несколько лет он (отец Гаррах.— *Н. Р.*) живет в Саксонии, откуда его дочь приехала в Теплиц, где король с ней и познакомился. Кляри тем более удивлены этим браком, что король казался сильно влюбленным в M-lle Екатерину Тизенгаузен, которую, говоря по правде, мать все время старалась с ним сблизить (mettait toujours dans son chemin). Госпожа Хитрово как-то на днях сказала моей тетке Кляри: «Поймите вы короля! Вы же, однако, видели, как он был влюблен в мою дочь; но это был бы неподходящий брак для внучки генерала Кутузова» («Sauvenirs de la baronne de Montet» («Воспоминания баронессы Монте»), 1785—1866. Paris, 1904, с. 265—266).

Графиня Екатерина королевой Пруссии (как и гр. Гаррах) стать, конечно, не могла. Речь, очевидно, шла о морганатическом браке, который Елизавета Михайловна объявила неподходящим для внучки Кутузова лишь после того, как ее план выдать дочь за короля не удался. Приходится признать, что в данном случае ум и житейская опытность Е. М. Хитрово ей, видимо, изменили. Сомневаться в правдивости Сидонии Хотек нет оснований.

Стр. 95. *...пожаловал ей немалую пенсию не в память ее великого отца...*— Характерно, что в шестнадцати письмах царя к дочери и внучке фельдмаршала М. И. Кутузова его имя ни разу не упоминается. Хорошо известно, что Александр I очень не любил народного героя Кутузова. Скрепя сердце публично обнял его в Вильне по окончании кампании 1812 года, пожаловал ему высшую воинскую награду — орден св. Георгия I степени, но в то же время писал графу Салтыкову: «Слава богу, у нас все хорошо, но несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо» (Георгий Чулков. Императоры. М.—Л., 1928, с. 147).

Стр. 96. *...основала монастырь «Святого сердца» в Нанси...*— Дарья Федоровна снова встретилась с Магдалиной в Генуе в сентябре 1838 года. Ее воспитанница за эти годы совершенно офранцузилась; она была замужем

за ювелиром Дельфас. В декабре того же года молодая женщина умерла от чахотки. Ее смерть очень огорчила графиню, которая упрекала себя в том, что в свое время вырвала девочку из привычной для нее простой среды. Упрекала, как мне думается, не без основания...

Стр. 105. *...первый ребенок — девочка Эдмея-Каролина.*— Княжна Эдмея-Каролина вышла замуж за графа Карло-Феличе-Николис Робилант-Череальо (Carlo-Felice-Nicolis Robilant Cereaglio), ставшего впоследствии видным политическим деятелем объединенной Италии (1826—1888). Возможно, что у потомков его сына, генерала графа Марио-Николис Робиланта (Mario-Nicolis conti di Robilant), командовавшего корпусом в первую мировую войну, хранятся некоторые бумаги Дарьи Федоровны, оставленные княгиней Кляри (умерла в Венеции в 1878 году) единственной своей дочери Эдмее. У них, в частности, могут находиться несомненно существовавшие альбомы графини Фикельмон, которых в Дечинском архиве нет.

Графы Робилант проживают в настоящее время в Риме.

Стр. 112. *...в художественной галерее г. Теплица.*— Многочисленные картины и портреты, украшавшие покои Теплицкого замка, по-видимому, сохранились, но вывезены оттуда и сейчас фактически недоступны для изучения. 28 августа 1963 года А. В. Флоровский писал мне по этому поводу: «Куда-то все из Теплица вывезено и разрозненно стоит в ящиках в разных местах». 24 марта 1964 года он добавил: «...бытовые украшения замка — в различных замках, где утратили свою неповторимую принадлежность к известному интерьеру <...>. Портреты смешаны в одну кучу, и трудно установить их происхождение, и т. д.».

...старика лет семидесяти с лишними.— Фотокопия этого портрета была воспроизведена в первом издании моей книги. Во втором издании представилась возможность поместить портрет графа, написанный в Петербурге в бытность его послом при русском дворе. Именно таким фельдмаршала-лейтенанта графа Фикельмона знал А. С. Пушкин.

Подлинник принадлежит Московскому архитектору С. П. Хаджибаронову.

Стр. 132. *...которые она полностью разделяет, не были для нее новыми.*— Надо сказать, что конфликт Адольфа с обществом чисто личный — он любит женщину, с которой, по мнению окружающих, не должен связывать свою судьбу. В конце концов молодой человек приходит к убеждению, что «...можно несколько времени бороться с участью, но должно наконец покориться ей: законы общества сильнее воли человеческой, и чувства самые повелительные разбиваются о роковое могущество обстоятельств. Напрасно упорствуешь, советуешься с одним сердцем своим: рано или поздно мы осуждены внять рассудку» (перевод П. А. Вяземского).

Однако опубликованная в 10-м томе историко-биографического альманаха «Прометей» за 1974 год статья Н. Б. Востоковой «Пушкин по архиву Бобринских» заставляет нас пересмотреть вопрос об отношении графини Долли к русской литературе вообще, и к творчеству Пушкина, в частности.

Мы узнаем, что в салоне Фикельмон состоялся литературный вечер, посвященный Пушкину.

10 октября 1831 года хорошая знакомая Пушкина графиня Софья Александровна Бобринская пишет своему мужу:

«...Я тебе говорила, что мадам Хитрово с дочерью Долли оказали мне честь, пригласив на литературный вечер. Был разговор только о Пушкине, о литературе и о новых произведениях» («Прометей», т. 10, с. 266).

До сих пор мы могли только предполагать, что в салоне Фикельмон велись разговоры не только о личности А. С. Пушкина, который как человек заинтересовал графиню Долли при первой же встрече, но и о творчестве поэта. Теперь мы видим, что ему, по крайней мере однажды, был посвящен целый литературный вечер. Можно думать, что такие импровизированные Пушкинские вечера бывали у Фикельмон или в салоне ее матери и позднее, особенно при появлении новых произведений поэта.

Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА

(Стр. 186)

Стр. 207. ...*Н. М. Еропкина*...— Надежда Михайловна Еропкина (1808—1895) — дочь коллежского советника, двоюродная сестра П. В. Нащокина, впоследствии знакомая И. С. Тургенева и прототип одного из персонажей романа «Дым». Наблюдательная и умная девушка близко знала юную Гончарову, так как Гончаровы и Еропкины были знакомы домами, и оставила свои воспоминания о Наталье Николаевне и записанные с ее слов в 1882 году (с мало достоверными подробностями) воспоминания о встречах с Пушкиным в Москве (1830 г.).

Стр. 253. ...*которые время от времени возобновляются и в наши дни*.— Из числа современных авторов с большим недоверием к истинности происшествия, о котором рассказал Нащокин, относится А. В. Флоровский. Обращаясь к дневнику графини, он справедливо замечает: «Молчание о факте не может быть опровержением самого факта». Вслед за этим автор тем не менее прибавляет: «Однако — в дневнике нет никаких следов тех переживаний, которые неминуемо должны были бы сопровождать развитие и апогей этого романа. Имя Пушкина, появляющееся на страницах дневника довольно редко, не вызывает у его автора никаких особых интонаций живого интереса или увлечения, что, казалось бы, должно неизбежно и положительно необходимо иметь место в случае достоверности этого романа, хотя бы кратковременного» (*Флоровский. Пушкин на страницах дневника*, с. 569). В отношении отсутствия у графини «живого интереса» к личности Пушкина А. В. Флоровский, безусловно, ошибается. Стоит перечесть им же впервые опубликованные выдержки из ее дневника, а также письма Фикельмон к Вяземскому, чтобы убедиться в противном. Каких-либо признаков увлечения поэтом в дневнике Дарьи Федоровны, действительно, нет до 22 ноября 1832 года, но что было дальше — мы не знаем. Живой Пушкин почему-то навсегда исчезает из писаний графини Долли. Есть в них только воспоминания о погибшем поэте.

Н. Каухчишвили, внимательно изучившая литературу, которая касается спорного вопроса, выдвигает свою собственную гипотезу (*Дневник Фикельмон*, с. 53—56). Она разделяет высказанное многими авторами мнение о неправдоподобности ночного приключения Пушкина и Фикельмон.

Исследовательница считает, что «Пушкин питал к Долли чувства горячей симпатии, вероятно, разделяемые посольшей, но маловероятно, чтобы она решилась компрометировать себя в самом дворце посольства, где помещались также некоторые другие чиновники».

Надо, однако, сказать, что, по-видимому, никто из авторов, споривших о рассказанной Нащокиным истории, не обследовал «место происшествия» — скромный на вид, но очень обширный трехэтажный дом, в котором имеется около ста помещений, многочисленные лестницы, площадки, коридоры и несколько выходов на улицы. Миланская жительница Н. Каухчишвили этого, естественно, сделать не могла, так же как и А. В. Флоровский, почти полвека состоявший профессором Пражского университета.

Отметив ряд малоправдоподобных мест в рассказе друга поэта, Н. Каухчишвили продолжает: «Я допускаю, что рассказы Нащокина, который все же близко знал салон Дарьи Федоровны, не совпадают с тем, что ему поведал Пушкин: возможно, что поэт сказал ему о том, какие чувства он питал к Дарье Федоровне, вероятно несколько их преувеличив, так что впоследствии Нащокин невольно их преувеличил еще больше (li aveva involontarimente ingigantiti).

Н. Каухчишвили, следовательно, считает, что рассказ о «жаркой истории» является плодом воображения друга Пушкина, невольно исказившего действительные слова поэта.

С этой концепцией, на мой взгляд, согласиться нельзя. Речь ведь шла не о тех или иных чувствах поэта к графине, а о совершенно определенном эпизоде, рассказанном Пушкиным. Приходится снова повторить — либо это правда, и тогда поэт допустил лишь нескромность, открыв ее другу, либо это «устная новелла», а в действительности клевета Пушкина на ни в чем не повинную женщину. В последнее я верить отказываюсь и считаю, что это пятно с памяти поэта надо раз и навсегда смыть. Никакого среднего решения здесь быть не может.

Замечу еще, что «близко знать» салон Дарьи Федоровны П. В. Нащокин мог только со слов Пушкина (и, может быть, Вяземского). В годы знакомства поэта с Д. Ф. Фикельмон Павел Воинович не менее двух раз приезжал в Петербург, но никаких сведений о том, что он когда-либо был гостем графини, в литературе нет. Н. Каухчишвили их также не приводит.

Интересного литературного спора об автобиографическом характере одной из сцен «Пиковой дамы» (Н. Каухчишвили его категорически отрицает) я здесь касаться не могу. Этот спор мог бы послужить предметом специального исследования.

Не обнаружив в дневнике никаких следов романтического приключения графини Долли с Пушкиным, автор прибавляет все же: «Единственный элемент, который можно было бы рассматривать, как косвенное подтверждение известной внутренней тревоги, это подавленное состояние, проявляющееся в последние недели 1832 года, однако я скорее склонна объяснять его как первый симптом болезни, которая будет ее мучить в следующие годы <...> ». Еще и еще раз приходится пожалеть о том, что Н. Каухчишвили не удалось опубликовать второй тетради дневника — было бы, в частности, существенно прочесть текст этих записей конца 1832 года. Автор приводит, правда, выдержку из той же записи 22 ноября, в которой

последний раз упоминается имя Пушкина, выдержку, которая на первый взгляд может показаться многозначительной: «Не было ли бы во сто раз лучше погасить в своем сердце нежность, чем рисковать тем, что привяжешь к себе человека, который, не любя, будет только чувствовать усталость от того, что его любят» (*Дневник Фикельмон*, с. 56, 55).

Н. Каухчишвили, правда, считает, что в этих строках графиня Долли критикует «союзы» (unione), в которых нет уверенности на будущее, но, не зная полного текста записи, можно те же строки отнести и к переживаниям самой Фикельмон. У меня, однако, имеется фотокопия соответствующих страниц первой тетради дневника (с. 106—108), и из них мы узнаем, что Дарья Федоровна в данном случае имеет в виду графиню Софию Ивановну Лаваль (1802—1871), которая собирается выйти замуж за графа Борха. Фикельмон не ожидает для Лаваль ничего хорошего от этого брака, так как она влюблена в своего жениха; а тот женится на ней по расчету.

Граф Александр Михайлович Борх родился в 1804 году. Его брат граф Иосиф Борх, служивший в Петербурге, назван в пасквиле, присланном Пушкину, «непременным секретарем» «светлейшего ордена рогоносцев». В записи Фикельмон от 22 ноября есть упоминание и о М-me Борх, свояченице жениха Лаваль, которое, по всей вероятности, относится к жене этого «непременного секретаря», урожденной Любови Викентьевне Голынской, и поэтому представляет известный интерес: «М-me Борх — это маленькая хорошенькая картинка фламандской школы, но нет ничего особенно замечательного под этой беленькой и свежей оболочкой».

ОСОБНЯК НА ДВОРЦОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

(Стр. 265)

Стр. 272. *...на котором на этот раз Пушкин, по-видимому, не присутствовал.*— В некоторых работах упоминается о том, что поэт был на этом балу. Авторы, по-видимому, основываются на записи Пушкина в дневнике под 28 февраля 1834 года: «Сегодня бал у австрийского посланника». Однако несколько дней спустя (8 марта) он отмечает: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон (куда я не явился, потому что все были в мундирах) цареубийцу Скарятина <...>». Речь здесь идет, по всей видимости, именно об официальном посольском бале 28 февраля.

Стр. 274. *Фактическая топография этой части бывшей квартиры Фикельмонов...*— Внимание читателей привлекла небольшая статья Юрия Ракова «Дом Пиковой дамы» («Юность», 1969, № 2, с. 92), в которой автор подробно описывает сохранившуюся до наших дней опочивальню княгини Натальи Петровны Голицыной в некогда принадлежавшем ей доме-дворце (Ленинград, угол Дзержинского, б. Гороховой, и Гоголя, б. Малой Морской, № 10). Пушкин был знаком с этой престарелой статс-дамой (1741—1837), и, как известно, она послужила ему прототипом графини в «Пиковой даме». Ю. Раков считает, что именно ее спальня описана в знаменитой повести. Именно в нее проникает Германн с намерением выведать тайну трех карт.

На мой взгляд, сохранившаяся, по-видимому, без переделок, спальня Д. Ф. Фикельмон, ныне кабинет литературы Института культуры имени Н. К. Крупской, значительно больше соответствует как тексту «Пиковой дамы», так и рассказу Нащокина, записанному Бартеневым. В ней нет, например, как и в повести, такой существенной архитектурной детали, как «огромный альков во внутренней стене» опочивальни Голицыной, описанный Ю. Раковым.

Однако Пушкин, вводя в повесть автобиографический эпизод, естественно, не мог связать его с особняком на Дворцовой набережной. Дом «старинной архитектуры» на одной из главных улиц Петербурга», куда пробирается Германн, по расположению и внешнему виду действительно больше напоминает дворец Голицыной, чем особняк Салтыковых на набережной Невы.

Для читателей «Пиковой дамы», кроме, может быть, очень немногих близких друзей поэта и Д. Ф. Фикельмон, связь между некоторыми страницами повести и личной жизнью автора, несомненно, осталась тайной.

Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН О ДУЭЛИ И СМЕРТИ ПУШКИНА

(Стр. 280)

Стр. 281. *...князь Петр Владимирович Долгоруков.*— В настоящее время заключение судебного эксперта А. Салькова, признавшего Долгорукова автором диплома, подвергается сомнению.

Стр. 282. *...к весьма скромной дворянской семье...*— Дантесы принадлежали к так называемой «наполеоновской знати». Представители старинных фамилий королевской Франции в то время (да и значительно позже) относились к ней свысока.

Стр. 286. *...в духе семейной почтительности.*— Л. Метман утверждает, например, что после смерти Екатерины Николаевны Геккерн-Дантес «неизменно отказывался от новой женитьбы» (*Щеголев*, с. 363). По-видимому, отказывался лишь до поры до времени, что вполне естественно для молодого вдовца (в год смерти жены Дантесу был всего тридцать один год).

Приведу по этому поводу выдержки из моего письма на имя директора Пушкинского дома от 18 февраля 1946 года *(ИРЛИ)*: «... б. профессор международного права Братиславского университета (Чехословакия) Георгий Николаевич Гарин-Михайловский (сын писателя) передал мне и разрешил предать гласности следующее: «В июле — августе 1913 года он, Гарин-Михайловский, проживал в пансионе в Монтре (Швейцария) и там близко познакомился с пожилой дамой (лет 50—55), графиней Жорж де Сурдон, урожденной д'Антес (Georges de Sourdon née d'Anthès), и ее дочерью Франсуазой (лет двадцати), жившими обычно в Дижоне. Графиня сказала Гарину-Михайловскому, что она дочь Дантеса, убившего Пушкина, от второго брака <...>. По словам Гарина-Михайловского, совершенно невероятно, чтобы эта пожилая почтенная француженка выдумала свое происхождение от Дантеса. Вследствие войны (1914—1918) Гарин-Михайловский потерял ее след».

Через несколько месяцев после нашего разговора Г. Н. Гарин-Михайловский скончался.

...а литературой он почти совершенно не интересовался.— Есть, однако, сведения о том, что Геккерн-Дантес оставил три тома воспоминаний, опубликованные в Париже в 1909—1910 гг. под псевдонимом барона д'Амбес (d'Ambès). Щеголев (с. 367), ссылаясь на примечание издателя, указывает, что эти мемуары к Дантесу никакого отношения не имеют. По-видимому, однако, издатель просто не считал возможным раскрыть псевдоним.

Флерио де Лангль (Fleuriot de Langle), автор малоизвестной статьи «Дело д'Антеса — Пушкина» («L'affaire d'Anthès — Pouchkine»), пишет: «Историки Второй Империи редко упоминают фамилию сенатора и думают, что он играл лишь малозначительную роль. Их мнение было бы, однако, совершенно иным, если бы они знали, что он является автором часто цитируемых ими «Воспоминаний», которые появились под псевдонимом барона д'Амбес. Эти анекдотические мемуары изобилуют чертами, свидетельствующими о том, насколько их составитель был интимно связан с жизнью двора, с секретами передних и с подноготной парламентской жизни с начала империи и до ее падения» («Le ruban rouge». 1963, № 19, декабрь, с. 87).

Вопрос об авторстве Дантеса-Геккерна нуждается в исследовании. Если «Воспоминания» действительно составлены им, то, вероятно, сенатор продиктовал их своим секретарям, придавшим труду литературную форму.

Стр. 293. *...подлинное отношение Николая I к «пресловутому Пушкину».—* Царь употребил весьма пренебрежительное выражение «trop fameux Pouchkine» в письме к сестре Марии Павловне, великой герцогине Саксен-Веймарской, от 4/16 февраля 1837 года. В письме к другой своей сестре Анне Павловне, жене принца Вильгельма Оранского, от 3/15 февраля того же года он назвал покойного поэта «trop célèbre Pouchkine». По-русски это несколько менее резкое выражение также передается прилагательным «пресловутый» (Е. В. Муза и Д. В. Сеземан. Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина.— *Врем. ПК,* 1962. Л., 1963, с. 38—39).

...о связи барона Дантеса-Геккерна с русским посольством в Париже.— 28 мая 1852 года посол Киселев сообщил в депеше канцлеру Нессельроде: «...Господин Дантес думает, и я разделяю его мнение, что Президент кончит тем, что провозгласит империю» (А. М. Зайончковский. Восточная война 1853—1856 гг., т. I. Приложения. СПб., 1908, с. 228). Много лет спустя, в день убийства Александра II, 1/13 марта 1881 года русский посол в Париже князь Орлов донес шифрованной телеграммой министру иностранных дел Гирсу: «Барон Геккерн-д'Антес сообщает сведение, полученное им из Женевы, как он полагает, из верного источника: женевские нигилисты утверждают, что большой удар будет нанесен в ближайший понедельник» (Л. Гроссман. Карьера Дантеса. М., 1935, с. 33).

Таким образом, Дантес, по-видимому, в течение многих лет был вхож в русское посольство и являлся его осведомителем.

Стр. 295. *...устроиться где-либо трудно.—* А. П. Арапова, ссылаясь на рассказ самого Дантеса одному из племянников покойной Екатерины Николаевны, утверждает, что барону Жоржу пришлось покинуть Францию из-за того, что «он через меру увлекся соблазнами всемирной столицы и

принялся прожигать жизнь далеко не соразмерно своим весьма скромным средствам. Этим поведением он навлек на себя гнев родителей; подчиниться им он не захотел, произошла размолвка — и юному кутиле предоставлено было личной инициативой проложить себе путь в жизни» (Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1907, № 11416, 22 декабря, с. 6). Это сообщение в отношении парижских кутежей Дантеса вряд ли достоверно — средства его отца, как мы видели, в начале тридцатых годов были настолько ограничены, что «прожигать жизнь» молодому человеку, нигде не служившему, было совершенно не на что. Кроме того, размолвки «с родителями» в 1833 году быть не могло, так как мать Дантеса скончалась раньше. Вернее думать, что «проложить себе путь в жизни» Дантеса заставила не ссора с отцом, а просто тяжелое материальное положение семьи.

Стр. 296. *Общеизвестно, что по пути в Россию он встретился с голландским посланником бароном Геккерном...*— Рассказ о встрече Дантеса, тяжело заболевшего в каком-то германском городке, с Геккерном, который остановился в той же гостинице, где находился Дантес, принадлежит А. П. Араповой. По словам ее, она «передает здесь то, что он [Дантес] сам рассказал много лет спустя одному из племянников своей покойной жены».

Сейчас невозможно, конечно, установить, рассказал ли Дантес о том, что когда-то действительно случилось, или сочинил эту чувствительную историю об одиноком «старике» (Геккерну было тогда 42 года), который был настолько растроган видом страдающего юноши, «что с этой минуты уже не отходил более от него, проявляя заботливый уход самой нежной матери».

Л. Метман, который, казалось бы, должен был знать, как произошла встреча деда с его приемным отцом, никаких подробностей на этот счет не приводит.

Стр. 307. *Возможно, что он считался с реакционными настроениями своего начальника.*— Некоторые дипломаты, аккредитованные в Петербурге, отправили своим министрам по нескольку подробных донесений о дуэли и смерти Пушкина. Почти все они были лично знакомы с поэтом. Сардинский посланник граф Симонетти сообщил о петербургской драме в четырех депешах. Вюртембергский — князь Гогенлоэ-Кирхберг, бывший в дружеских отношениях с рядом наших писателей и женатый на русской, подробно и точно изложил события в семи последовательных депешах. Кроме того, он представил довольно обстоятельную записку о жизни и творчестве Пушкина. Саксонский — барон Лютцероде, отлично изучивший русский язык и даже переводивший Пушкина, в первом из четырех своих донесений назвал его первым поэтом современной эпохи со времени смерти Гете и Байрона. Подобное донесение о дуэли и смерти Пушкина представил также баварский посланник граф Лерхенфельд. Враждебно относившийся к поэту прусский посол Либерман (он был единственным дипломатом, отказавшимся присутствовать на отпевании Пушкина) тем не менее обстоятельно писал о нем в семи депешах. Подробные сообщения представили и некоторые другие посланники[1].

---

[1] Иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1907, № 11416, 22 декабря, с. 6—7.

По сравнению со многими из этих донесений депеша Фикельмона особенно выделяется своей сдержанностью.

Стр. 313. *...было бы невозможно.*— Интересна почти забытая история младшей дочери Дантеса и Екатерины Николаевны, история, которую восстановили в памяти почитателей Пушкина Ободовская и Дементьев.

Родив двух дочерей, Екатерина Николаевна, однако, страстно мечтала о сыне. Поэтому рождение третьей дочери Леони она встретила довольно холодно.

Матери не суждено было узнать, какая странная судьба уготована Леони. По словам парижского корреспондента газеты «Новое время», беседовавшего с сыном Дантеса, последний рассказал ему: «Пушкин! Как это имя связано с нашим! Знаете ли, что у меня была сестра,— она давно покойница, умерла душевно-больной. Эта девушка была до мозга и костей русской. Здесь, в Париже, живя во французской семье, во французской обстановке, почти не зная русских, она изучила русский язык, говорила и писала по-русски получше многих русских. Она обожала Россию и больше всего на свете Пушкина».

Леони, видимо, была девушкой чрезвычайно одаренной. По уверению ее брата, она самоучкой прошла курс труднейшей Ecole Polytechnique[1], что уже совсем не обычно для французской барышни, и «по словам своих профессоров, была первой...».

Стр. 315. *...внебрачного сына, которого она привезла в Россию.*— Матерью мальчика, родившегося в 1820 году, была венгерская графиня Форгач. В России воспитанник Е. М. Хитрово именовался Феликсом Николаевичем Эльстоном. После смерти Елизаветы Михайловны заботы о молодом человеке перешли к ее дочери графине Е. Ф. Тизенгаузен, которая впоследствии передала ему хранившиеся у нее письма Пушкина к матери. Женившись на последней в роде графине Е. С. Сумароковой, Ф. Н. Эльстон получил право присоединить к своей фамилии титул и фамилию жены. То же самое произошло и с его сыном Феликсом Феликсовичем, который женился на последней княжне Юсуповой. Таким образом потомки венгерского мальчика стали российскими князьями Юсуповыми, графами Сумароковыми-Эльстон. Сын Феликса Феликсовича, также Феликс, получил широкую известность, как убийца Распутина.

Стр. 324. *...он предложил А. М. Долгоруковой купить письма Пушкина, которые он ей показал.*— Антонина Михайловна, как я хорошо помню, сказала мне, что, раскрыв пачку, она узнала почерк Пушкина, знакомый ей по репродукциям. Ее мужа П. Д. Долгорукова не было дома. Долгоруковы были очень образованными людьми (Петр Дмитриевич после короткой службы в Кавалергардском полку окончил историко-филологический факультет и, прежде чем купить письма, несомненно, потребовал бы соответствующей экспертизы). Лицо, желавшее продать им пушкинские письма, не могло об этом не знать.

Читая эту книгу, необходимо постоянно делать поправку на то, что Н. А. Раевский поставил своей задачей не рассказ об истинной судьбе поэта, а воссоздание голосов пушкинского времени, рассказ о нравах и

[1] Политехнический институт.

настроениях некоторых современников поэта, об их восприятии и оценке событий, со всеми свойственными им ошибками и заблуждениями. Одним из заблуждений, порожденных интригами и клеветой, является светская сплетня об А. Н. Гончаровой. См. подробнее: «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1974, с. 490—493.

Стр. 327. *...Бобринская...*— София Александровна Бобринская была ровесницей Пушкина (1799—1866). Она была очень красивой и широкообразованной женщиной, хорошей знакомой А. С. Пушкина. Долгое время исследователи колебались, следует ли ее из-за ее добрых отношений с Дантесом причислить к лагерю врагов Пушкина. В настоящее время вопрос этот можно считать решенным отрицательно. София Александровна не одобряла поведение Пушкина последних преддуэльных месяцев. Тем не менее тщательный анализ отношений Бобринской — Пушкина, который дает Н. Б. Востокова, основываясь на документах архива Бобринских, убедительно показывает, что София Александровна относилась к Пушкину отнюдь не враждебно.

Стр. 329. Я. Л. Левкович справедливо замечает, что дочь царя, касаясь гибели поэта, «в основном придерживается официальной версии — здесь фигурирует примирение Пушкина с царем, и признание гения Пушкина Николаем, и его скорбь по поэту» (указ. публикация), между тем как советскому литературоведению известны подлинные обстоятельства, раскрывающие социальный смысл гибели Пушкина и двуличие Николая I *(Ред.)*.

ДРУГ ПУШКИНА ПАВЕЛ ВОИНОВИЧ НАЩОКИН

(Стр. 340)

В 1969 г. я опубликовал в алма-атинском журнале «Простор» (№№ 3, 4, 5) большой очерк «Нащокины».

За истекшие несколько лет, главным образом благодаря содействию ныне здравствующих потомков Павла Воиновича и Веры Александровны Нащокиных, а также некоторых других лиц, я получил в свое распоряжение ряд новых материалов, касающихся прошлого этой семьи. Немало сведений, ранее мною не отмеченных, было также обнаружено в старинных отечественных журналах. Кроме того, из различных источников мне удалось получить ряд малоизвестных иллюстративных материалов.

Все это побудило меня подготовить небольшую книгу, изданную в 1977 году издательством «Наука», которая повторно публикуется в настоящем издании.

Исследования, касающиеся Павла Воиновича Нащокина, его жены Веры Александровны и их потомков, представляют значительные трудности, так как документальных данных (кроме не полностью сохранившейся, но хорошо изученной переписки Пушкина с Нащокиным) до настоящего времени опубликовано очень немного, а в воспоминаниях и письмах современников имеется целый ряд трудно устранимых противоречий. Кроме того, ряд периодов жизни Нащокина и его жены (до ее замужества) до сих пор являются своего рода биографическими «белыми пятнами».

В связи с этим любая работа о Нащокиных — в том числе, конечно, и моя — не может быть абсолютно полной и вполне точной. Я буду искренне благодарен тем читателям моей книги, которые пожелают поделиться со мной своими дополнениями и поправками.

Пользуюсь случаем принести свою благодарность ряду пушкинистов, и прежде всего Н. В. Измайлову, за многочисленные ценные указания и поправки.

Благодаря помощи Веры Андреевны Нащокиной-Зызиной, широко ознакомившей меня со своим небольшим, но очень ценным архивом, а также с надежными семейными преданиями, я имел возможность внести ряд уточнений в жизнеописание ее предков, близких друзей Пушкина. Значительную помощь мне оказали также Е. А. Нащокина и ряд других лиц. Между тем документы пушкинского времени, можно думать, имеются не только у них. Возможно, что и у других ныне здравствующих потомков Павла Воиновича отыщутся воспоминания о поэте, нам неизвестные, и какие-либо семейные реликвии, связанные с Пушкиным и его эпохой.

До сих пор сведения о живущих в Советском Союзе представителях этого замечательного семейства были очень неполны, что лишало нас одной из вполне реальных возможностей получить новые документальные материалы о Пушкине и Нащокине. Считаю поэтому целесообразным привести здесь данные о детях, внуках и правнуках П. В. Нащокина, сообщенные мне в письме Верой Андреевной Нащокиной-Зызиной от 8 декабря 1966 г. и дополненные в ряде ее позднейших писем.

По словам В. А. Нащокиной-Зызиной, у ее деда было два сына и четыре дочери, а именно:

1. Екатерина (2.XI.1834—?). Умерла незамужней.
2. Софья (12.I.1836—28.III.1859). Умерла незамужней.
3. Наталья (2.V.1837—13.IV.1891). Имела дочь Наталью и внучку Наталью; фамилия мужа не выяснена.
4. Александр (2.II.1839—1906). Имел шестерых сыновей: Сергея, Ивана, Павла, Алексея, Николая и Евгения. Сергей Александрович по окончании кадетского корпуса поступил в Павловское военное училище, из которого вышел в л.-гв. Измайловский полк; служил в нем до 1911 или 1912 г., после чего был назначен командиром полка в Киеве; участвовал в первой мировой войне; имел четырех сыновей — Александра, Алексея, Сергея и Владимира и дочь Веру. Иван Александрович обучался в Александровском военном училище, сын его Николай Иванович был жив в 1921 г. Алексей Александрович имел трех дочерей — Елену, Марию и Надежду и четырех сыновей, судьба которых неизвестна.
5. Анастасия (3.II.1841—?). Была замужем за кн. Алексеем Трубецким, имела дочь Анну и сына Николая, который умер после 1945 г. в глубокой старости.
6. Андрей (2.II.1854—2.X.1925). Имел семерых детей — двоих сыновей и пять дочерей:
   1. Валентина, в замужестве Стрельникова (1886—1959).
      Сын Евгений (1919).
   2. Екатерина (1889—1962).
      Дочери Галина (1914) и Вера (1919), сын Павел (1924).

3. Лев (1892—1901).
4. Владимир (1895—1921). Утонул, спасая сослуживца на Волге.
   Дочь Ирина (1918).
5. Наталья (1898).
   Дочь Ирина (1918), сын Владимир (1923—1942), погиб в Великую Отечественную войну, дочь Евгения (1928).
6. Вера (1901), в замужестве Зызина.
   Дочь Вера (1923) и два сына — Алексей и Андрей (оба 1940).
7. Александра (1904).
   Сын Александр (1940).





СОДЕРЖАНИЕ



Раевский Н. А.

Р 16 Избранное. М., «Худож. лит.», 1978. с. 492.

Исследования Н. А. Раевского в увлекательной форме рассказывают о людях и нравах первой половины XIX века, о некоторых друзьях и знакомых А. С. Пушкина.

Издание рассчитано на широкого читателя, интересующегося русской историей и культурой.

Р 2

Р $\frac{70302\text{-}368}{028(01)\text{-}78}$ без объявл.

РАЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Избранное

Редакторы
Т. Сумарокова и *О. Дворцова*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор *Н. Усольцева*



ИБ № 1402

Сдано в набор 31.01.78. Подписано к печати А00983 от 03.08.78. Бумага типогр. № 1. Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. 31 усл. печ. л. 32,844+1 вкл.=32,907 уч.-изд. л. Заказ 998. Тираж 400 000 экз. (3-ий завод 260001—400000 экз.) Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа. Минск-5, Красная, 23

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны, с 1974 года организован сбор макулатуры в обмен на художественную литературу, для чего расширен выпуск популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Сбор и сдача вторичного бумажного сырья — важное государственное дело. Ведь 60 кг макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, которое вырастает в течение 50—80 лет.

Призываем вас активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры — это даст возможность увеличить производство бумаги для дополнительного выпуска нужной населению литературы.

